

УИЛЪЯМ СОМЕРСЕТ

4

МОЭМ

УИЛЪЯМ  
СОМЕРСЕТ

МОЭМ

4.

УИЛЪЯМ  
СОМЕРСЕТ  
**МОЭМ**



УИЛЬЯМ  
СОМЕРСЕТ  
МОЭМ

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ПЯТИ ТОМАХ

Редколлегия:

Н. ДЕМУРОВА,

М. КЛИМОВА,

Н. МИХАЛЬСКАЯ,

В. СКОРОДЕНКО



Москва  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1997

УИЛЬЯМ  
СОМЕРСЕТ

МОЭМ

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

РАССКАЗЫ

*Перевод с английского*



Москва  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1997

ББК 84(4Вл)  
М 87

W. Somerset Maugham  
1874—1965

*Составление и библиографическая справка*

В. СКОРОДЕНКО

*Оформление художника*

С. КУЗЯКОВА

ISBN 5-280-03207-7 (Т. 4)  
ISBN 5-280-03204-2

© Составление, библиографическая  
справка. Скороденко В., 1993 г.  
© Оформление. Кузяков С., 1993 г.

---

## МАКИНТОШ<sup>1</sup>

Он немного поплескался в море: слишком мелко, чтобы плавать, но забираться на глубину было опасно из-за акул. Потом вышел на берег и побрел в душевую. Прохлада пресного душа была очень приятна после соленой липкости тихоокеанских волн, таких теплых даже в семь утра, что купание не бодрило, а, наоборот, еще больше размаривало. Вытерся и, надевая махровый халат, крикнул повару-китайцу, что будет к завтраку через пять минут. По полосе жесткой травы, которую Уокер, администратор, гордо считал газоном, он прошел босиком в свое бунгало одеваться. Оделся он быстро — весь его костюм состоял из рубашки и парусиновых брюк — и перешел через двор в дом начальника. Они обычно ели вместе, но повар сказал, что Уокер уехал верхом в пять утра и вернется не раньше, чем еще через час.

Макинтош спал скверно и с отвращением посмотрел на поставленные перед ним папайю и яичницу с грудинкой. Москиты в ту ночь совсем осатанели. Они тучами летали за сеткой, под которой он спал, их безжалостное, грозное гудение сливалось в одну протяжную, нескончаемую ноту, словно где-то звучал отдаленный орган — и только задремлешь на минутку, как тут же, вздрогнув, просыпаешься в совершенной уверенности, что хоть один из их воинства да проник под полог. Было так жарко, что он лежал совсем голый. Ворочался с боку на бок. И мало-помалу глухое биение прибоя на рифе, такое неумолчно-монотонное, что обычно его не замечаешь, проникло в его сознание, забарабанило по измученным нервам, и он судорожно сжал кулаки, терпя из последних сил. Мысль, что нет никакой

---

<sup>1</sup> © Перевод. Бернштейн И., 1985 г.

возможности оборвать эти звуки, что они так и будут повторяться и повторяться до скончания века, была мучительна и будила в нем сумасшедшее желание вскочить и помериться силой с беспощадной стихией. Казалось, еще немного, и он утратит власть над собой, сойдет с ума! И теперь, глядя из окна на лагуну и белую полосу пены на рифе, он содрогнулся от ненависти к этому ослепительному солнечному пейзажу. А безоблачное небо было как опрокинутая, придавившая его чаша. Макинтош закурил трубку и начал перебирать пачку оклендских газет, привезенных из Апии несколько дней назад. Самая свежая была трехнедельной давности. От них веяло несказанной скукой.

Потом он прошел в канцелярию. Это была большая пустая комната с двумя письменными столами и скамьей у стены. На скамье сидело несколько туземцев — среди них две-три женщины. В ожидании администратора они болтали, а когда вошел Макинтош, поздоровались с ним:

— Талофа-ли!

Он поздоровался в ответ, сел за свой стол и принялся работать над отчетом, который настойчиво требовал губернатор Самоа, а Уокер, как обычно оттягивая время, до сих пор не позаботился приготовить. Макинтош писал и мстительно думал, что Уокер запоздал с отчетом из-за своей малограмотности: у него перо и бумага вызывают непреодолимое отвращение; а вот теперь, когда доклад наконец готов, сжатый, четкий, официальный, он заберет труд своего подчиненного, не сказав ни слова похвалы, даже наоборот, еще сострит как-нибудь и посмеется и отправит вверх по инстанции как собственное произведение. А ведь сам двух слов связать не умеет. Макинтош со злобой подумал, что всякая карандашная вставка шефа заведомо будет по-детски наивно и плохо сформулированной. А если он возразит или захочет сделать ее вразумительной, Уокер разъярится и будет кричать: «Черта ли мне в грамматике? Я хочу, чтоб было сказано именно это и именно так!»

Наконец явился Уокер. Туземцы сразу окружили его, стараясь завладеть его вниманием, но он грубо оборвал их и велел сидеть и помалкивать, не то, если будет шум, он выставит их за дверь и сегодня не примет.

— А, Мак! — кивнул он Макинтошу. — Проспались наконец? Не понимаю, чего вы валяетесь в постели чуть не целый день! Вставали бы до света, как я. Лежебока!

Он тяжело плюхнулся в кресло и утер лоб большим пестрым платком.

— Пить хочется, черт подери!

Он обернулся к полицейскому, который стоял у дверей — эдакая живописная персона в белой куртке и лавалава (набедренной повязке самоанцев), — и приказал подать каву. Чаша с кавой стояла в углу канцелярии. Полицейский зачерпнул половинку скорлупы кокосового ореха и подал Уокеру. Тот брызнул несколько капель на пол, пробормотал требуемое обычаем приветствие присутствующим и жадно осушил скорлупу. Потом велел полицейскому напоить туземцев, и каждый с теми же церемониями напился из скорлупы — по порядку, определяемому возрастом или занимаемым положением.

Только тогда Уокер приступил к делу. Он был заметно ниже среднего роста, просто коротышка, и поражал невероятной толщиной. Крупное мясистое бритое лицо подпирал огромный тройной подбородок, щеки обвисали по сторонам тяжелыми складками; небольшой нос и глаза тонули в сале, и, если не считать полумесяца седых волос на затылке, совершенно голая лысая голова. Что-то вроде мистера Пиквика, нелепая, гротескная фигура — и все же, как ни странно, в нем было свое достоинство. Голубые глазки за большими очками в золотой оправе смотрели пронизательно и весело, а в выражении лица было несокрушимое упорство. Ему уже исполнилось шестьдесят, но природное жизнелюбие не поддавалось натиску возраста. Несмотря на толщину, двигался он быстро, а ступал тяжело и решительно, словно хотел оставить на земле отпечатки своих шагов. Голос у него был громкий и грубый.

С тех пор как Макинтош получил назначение на должность его помощника, прошло уже два года. Уокер, который четверть века занимал пост администратора Талуа, одного из относительно крупных островов архипелага Самоа, был широко известен лично или хотя бы по рассказам в Южных морях, и Макинтош с живым любопытством предвкушал встречу с ним. Перед тем как отправиться на Талуа, он по какой-то причине недели на две задержался в Апии и в гостинице Чаплина и в Английском клубе успел послушаться бесчисленных историй про своего будущего начальника. Теперь он с горечью вспоминал о том, какими интересными они ему поначалу показались. С тех пор он их сто раз слышал от самого Уокера. Уокер знал, что он — легендарная личность, дорожил своей славой и сознательно ей подыгрывал. Он ревниво следил за тем, чтобы анекдоты, которые о нем передавались, были точны во всех подробностях. И смешно сердился, если слышал, что какой-нибудь рассказчик их перевирает.



Сначала Макинтошу нравилось грубоватое добродушие Уокера, а тот, радуясь свежему слушателю, показывал себя с самой лучшей стороны — был весел, сердечен, внимателен. Макинтош до тридцати четырех лет вел тепличное существование лондонского чиновника, пока воспаление легких, грозившее в дальнейшем туберкулезом, не вынудило его просить перевода на острова Тихого океана, и жизнь Уокера показалась ему необыкновенно романтической. Характерно было уже первое приключение, с которого тот начал подчинять себе обстоятельства. В пятнадцать лет он сбежал из дому в море и больше года шуровал уголь на угольщике. Был он заморышем, и матросы, да и помощники капитана его жалели, но сам капитан по какой-то причине терпеть его не мог. Он бил, пинал и гонял мальчика с такой жестокостью, что бедняга часто от боли не мог спать по ночам. Капитана он ненавидел всеми силами души. А потом кто-то подсказал ему лошадь на скачках, и он умудрился занять двадцать пять фунтов у одного знакомого в Белфасте. Лошадь, на которую он поставил, была аутсайдером, и в случае проигрыша ему неоткуда было бы взять деньги для уплаты долга, но ему и в голову не приходило, что он может проиграть. Он был уверен в удаче. Лошадь пришла первой, и он получил более тысячи фунтов наличными. Тут настал его час. Он навел справки, какой нотариус считается в городе лучшим — угольщик стоял тогда у берегов Ирландии, — явился к нему, сказал, что, по его сведениям, судно это продается, и поручил нотариусу осуществить покупку. Нотариус нашел занятным такого юного клиента — Уокеру было шестнадцать, а на вид и того меньше — и, возможно, из симпатии, пообещал все устроить, да еще и наивыгоднейшим образом. И вскоре Уокер стал судовладельцем. Он отправился на угольщик и пережил, по его собственным словам, самую чудесную минуту в своей жизни, объявив шкиперу, что тот уволен и пусть убирается с *его* судна не позже, чем через полчаса. Шкипером он назначил помощника и плавал на угольщике еще девять месяцев, а потом продал его с прибылью.

Он приехал на острова в двадцать шесть лет, чтобы стать плантатором. Обосновался на Талуа еще в то время, когда остров входил во владения Германии и белых там почти не было. Уже тогда он пользовался среди туземцев некоторым влиянием. Немцы сделали его администратором, и он занимал этот пост двадцать лет, а когда остров захватили англичане, должность за ним оставили. Правил он островом деспотично, но вполне успешно. И слава его как управителя тоже вызывала у Макинтоша интерес.

Но они не были созданы друг для друга. Макинтош был некрасивый, тощий мужчина, высокий, с впалой грудью, сутулыми плечами и неуклюжими дергаными движениями. Большие глаза на землистом лице с запавшими щеками смотрели угрюмо. Он питал страсть к чтению, и когда прибыли его книги, Уокер зашел поглядеть на них. Потом с хриплым смешком спросил:

— На кой черт вы приволокли сюда весь этот мусор?

Макинтош багрово покраснел.

— Очень сожалею, что по-вашему это мусор. Свои книги я привез для чтения.

— Когда вы сказали, что к вам должны прийти книги, я-то думал: будет мне что почитать. У вас что, нет никаких детективов?

— Детективные романы меня не интересуют.

— Ну и дурак вы после этого.

— Можете считать и так, если вам угодно.

С каждой почтой Уокер получал массу всякой периодики — газеты из Новой Зеландии, журналы из Америки, и его злило пренебрежение Макинтоша к этим эфемерным изданиям. А книги, которым Макинтош отдавал досуг, его раздражали, он считал, что читать «Упадок и разрушение Римской империи» Гиббона или бертоновскую «Анатомию меланхолии» — одно позерство. А так как держать язык на привязи он был не обучен, то свое мнение высказывал не стесняясь. Макинтош постепенно начинал видеть его в истинном свете и под шумным добродушием обнаружил плебейскую хитрость, которая была ему отвратительна. Уокер оказался хвастлив и нахален, но при всем том еще в глубине души как-то странно робок и оттого питал вражду к людям не своего пошиба. О других он простодушно судил по манере выражаться и если не слышал божбы и грязных ругательств, составлявших значительную часть его собственного лексикона, то глядел на собеседника с подозрением. По вечерам они вдвоем играли в пикет. Уокер играл плохо, но заносился ужасно, выигрывая, глумился над противником, а если проигрывал, выходил из себя. В тех редких случаях, когда к ним заезжали двое-трое плантаторов или торговцев, чтобы составить партию в бридж, Уокер, по мнению Макинтоша, показывал себя во всей красе. Не обращал внимания на партнера, всегда торговался за прикуп, чтобы непременно играть самому, и без конца спорил, перекрикивая все возражения. Чуть что, брал ход обратно и при этом жалобно приговаривал: «Вы уж простите старику, глаза у меня совсем плохи стали». Понимал ли он, что

партнеры предпочитают не навлекать на себя его гнев и сто раз подумают, прежде чем требовать строгого соблюдения правил? Макинтош следил за ним с ледяным презрением. После бриджа они закуривали трубки и, попивая виски, делились друг с другом сплетнями и воспоминаниями. Уокер особенно смачно рассказывал историю своей женитьбы: на свадьбе он так напился, что новобрачная сбежала, и больше он ее никогда не видел. У него было множество приключений с туземками, пошлых и грязных, но он описывал их, безумно гордясь своей лихостью, и оскорблял щепетильный слух Макинтоша. Грубый и похотливый старик, он считал Макинтоша слюнтяем за то, что Макинтош не принимает участия в его амурных похождениях и сидит трезвый в пьяной компании.

Презирал он Макинтоша и за педантичность в исполнении служебных обязанностей. Макинтош любил во всем строгий порядок. Его письменный стол всегда выглядел аккуратно, документы были разложены по местам, чтобы сразу можно было достать, что понадобится, и он знал назубок все правила и инструкции, которыми регулировалось управление островом.

— Чушь собачья,— говорил Уокер.— Я двадцать лет управлял безо всякой канцелярщины и дальше буду.

— Разве вам легче от того, что приходится битый час разыскивать какое-нибудь письмо? — отвечал Макинтош.

— Бюрократ вы чертов. Хотя вообще-то неплохой парень. Поживете тут годик-другой — исправитесь. Ваша беда, что вы не пьете. Напивались бы раз в неделю, так совсем бы человеком были.

Любопытно, что Уокер совершенно не догадывался о неприязни, которая из месяца в месяц зрела в душе его подчиненного. Сам он хотя и смеялся над Макинтошем, но, постепенно привыкнув, почти полюбил его. Он вообще относился к чужим слабостям довольно терпимо и скоро успокоился на том, что Макинтош — безобидный чудак. А может быть, он в глубине души потому и питал к нему нежность, что мог сколько угодно над ним потешаться. Ему нужна была мишень для грубых шуток, в которых выражалось его чувство юмора. А тут все: и дотошность помощника, и его нравственные правила, и трезвые привычки — давало повод для издевки. И сама его шотландская фамилия служила отличным предлогом, чтобы лишний раз припомнить какой-нибудь избитый шотландский анекдот. Уокер прямо-таки упивался, когда приезжали гости и можно было потешать их, высмеивая Макинтоша. Он наплел про него

какие-то небылицы туземцам, и Макинтош, еще не вполне владевший самоанским языком, только видел, что они покатываются со смеху в ответ на непристойности, которые слышат от Уокера. Макинтош добродушно улыбался.

— Очко в вашу пользу, Мак! — громко басил Уокер. — Вы не обижаетесь на шутки.

— А это была шутка? — улыбался Макинтош. — Я не понял.

— Одно слово — шотландец! — вопил Уокер и гулко хохотал. — Чтобы шотландец углядел шутку, его прежде прооперировать надо.

Уокер и не подозревал, что Макинтош не выносил, когда над ним смеялись. Он просыпался среди ночи — среди душной, влажной ночи в сезон дождей — и мучительно, угрюмо переживал заново насмешливое замечание, которое походя обронил Уокер неделю назад. Оно жгло его, переполняло его яростью, и он лежал и придумывал способы, как посчитаться с обидчиком. Сначала он пробовал отвечать ему тем же, но Уокер в карман за словом не лез и тут же отшучивался плоско и банально, всегда выходя победителем. Тупость делала его неуязвимым для тонких насмешек, самодовольство служило непробиваемым щитом. Громкий голос, гулкий смех были оружием, которому Макинтош не мог ничего противопоставить, и он на горьком опыте убедился, что лучше всего ничем не выдавать своего раздражения. Он научился сдерживаться. Но его ненависть все росла и росла, пока не превратилась в настоящую манию. Он следил за Уокером с бдительностью безумца. Он тешил свое больное самолюбие, замечая каждую подлость Уокера, каждое проявление его детского тщеславия, хитрости, вульгарности. Уокер некрасиво ел, жадно и громко чавкал, и Макинтош наблюдал за ним с тайным злорадством. Он упивался каждой глупостью, сказанной Уокером, каждой грамматической ошибкой в его речи. Он знал, что Уокер считает его ничтожеством, и находил в этом горькое презрительное удовлетворение, — чего же еще ждать от этого узколобого самодовольного старика? И особенно его тешило, что Уокер даже понятия не имеет о том, как помощник его ненавидит. Уокер — глупец, любящий, чтобы к нему хорошо относились, вот он и воображает, будто все им восхищаются. Однажды Макинтош услышал, как Уокер говорил про него:

— Он будет молодцом, когда я его хорошенько выдрессирую. Он умный пес и любит своего хозяина.

Над этим Макинтош беззвучно и долго смеялся, не дрогнув ни единым мускулом своего длинного землисто-бледного лица.

Однако ненависть его не была слепой, наоборот, она отличалась необыкновенной пронизательностью, и заслуги Уокера Макинтош оценивал вполне точно. Уокер умело правил своим маленьким царством. Был честен и справедлив. Хотя он имел много возможностей быстрой наживы, он не только не разбогател с тех пор, как занял свой пост, но даже стал заметно беднее и в старости мог рассчитывать только на казенную пенсию, которую должен был получить, уйдя на покой. Главной его гордостью было то, что он с одним помощником и клерком-полукровкой ведет дела куда эффективнее, нежели целая армия чиновников на Уполу—острове, где находится главный город архипелага, Апия. Для поддержания власти в его распоряжении было несколько туземных полицейских, но он никогда не прибегал к их помощи, а обходился одним только нахальством и ирландским юмором.

— Вот требовали, чтобы я построил тут тюрьму. А на кой черт мне тюрьма? Стану я запирать туземцев в тюрьму, как же! Если они что-нибудь натворят, я и так с ними управлюсь.

Главное расхождение с властями в Апии у него было по вопросу о том, имеет ли он абсолютную юрисдикцию над жителями своего острова. Какие бы преступления они ни совершили, он упорно отказывался предать их соответствующим судебным инстанциям, и не раз между ним и губернатором затевалась в связи с этим желчная переписка. Просто он считал туземцев своими детьми. Как ни странно, но этот грубый, вульгарный эгоист горячо любил остров, на котором так долго прожил, и относился к его жителям с суровой нежностью, поистине удивительной.

Он любил разъезжать по острову на старой серой кобыле, и красота вокруг ему никогда не приедалась. Трусая по травянистой тропе между кокосовыми пальмами, он время от времени останавливался полюбоваться пейзажем. Потом сворачивал в туземную деревушку, и староста подавал ему чашу с кавой. А он обводил глазами тесно столпившиеся колоколоподобные хижины с островерхими тростниковыми крышами—ну совсем как ульи на пасеке!—и его жирное лицо расплывалось в улыбке. Зеленые сени хлебных деревьев веселили ему душу.

— Эх, черт! Ну прямо райский сад.

Иногда он поворачивал кобылу к морю и счал вдоль берега, а между древесными стволами сверкали солнечные

воды, и ни единого паруса на пустынном океанском просторе; а иногда поднимался на холм, и его взгляду открывались широкие долины и приютившиеся среди высоких деревьев деревушки — весь мир земной, и так он сидел чуть не час, и душа его замирала от восторга. Но у него не было слов для выражения таких чувств, и, чтобы дать им выход, он отпускал непристойную шутку. Словно не в силах выдержат напряжения, он искал разрядку в грубости.

У Макинтоша его восторги вызывали ледяную брезгливость. Уокер всегда много пил, он любил, вернувшись в очередной раз из Апии, похвастать, как отправил под стол собутыльника вдвое моложе себя, и, по обычаю всех пьяниц, был слезлив и сентиментален. Плакал над журнальными рассказами, но спокойно мог отказать в займе попавшему в беду торговцу, с которым был знаком двадцать лет. Свои деньги он берег.

Как-то Макинтош сказал ему:

— Да, вас не упрекнешь, что вы сорите деньгами.

А Уокер принял это за комплимент. Конечно, его восхищение природой было лишь слезливой чувствительностью пьяницы. Не трогало Макинтоша и отношение начальника к туземцам. Он любил их потому, что они были в его власти — так эгоист любит свою собаку, — и по умственному уровню нисколько их не превосходил. Их юмор был примитивен и груб, и у него тоже всегда была наготове грязная шутка. Он понимал их, а они понимали его. Он гордился своим влиянием на них, смотрел на них как на собственных детей и вмешивался во все их дела. Но к своей власти Уокер относился очень ревниво: сам пас их жезлом железным и не терпел возражений, однако другим белым на острове не давал их в обиду. С особой бдительностью он следил за миссионерами: стоило им чем-то заслужить его неодобрение, и он превращал их жизнь в такой ад, что они бывали рады сами убраться, даже если он не мог добиться их перевода. Туземцы подчинялись ему безоговорочно и по одному его слову отказывали своему пастырю в пище и услугах. Не потакал он и торговцам, заботливо следя за тем, чтобы они не обманывали туземцев, чтобы туземцы получали справедливое вознаграждение за свой труд и свою копру, а торговцы не извлекали непомерной прибыли, сбывая им товары. Он беспощадно пресекал сделки, которые считал нечестными. Иногда торговцы жаловались в Апии, что их притесняют. Но им же было от этого хуже. Уокер не брезговал никакой клеветой, никакой самой возмутительной ложью, лишь бы посчитаться с ними, и они убеждались, что

должны принимать его условия, если желают сносно жить или хотя бы просто существовать. Не раз случалось, что у неугодного ему торговца сгорал дотла склад с товарами, и лишь своевременность этого несчастья свидетельствовала о том, что администратор приложил к нему руку. Однажды торговец-метис, полущвед, полусамоанец, разоренный пожаром, явился к нему и без обиняков обвинил его в поджоге. Уокер расхохотался ему в лицо:

— Паршивый пес! Твоя мать была туземка, а ты обманываешь туземцев. Если твоя грязная лавчонка сгорела, так это кара Божья. Вот-вот: кара Божья. А теперь убирайся отсюда.

Двое туземных полицейских вытолкали торговца, а администратор жирно смеялся ему вслед:

— Кара Божья!

И вот теперь Макинтош смотрел, как Уокер приступает к делам. Начал он с больных, потому что вдобавок ко всему занимался также врачеванием и в комнатухе за канцелярией держал настоящую аптеку. Вперед вышел пожилой мужчина в голубой набедренной повязке, на голове у него топорщилась шапка седых курчавых волос, а испещренная татуировкой кожа была вся сморщенная, как пустой бурдюк.

— Ты зачем явился? — резко спросил Уокер.

Мужчина стал жалобно бормотать, что его рвет после каждой еды и у него болит вот тут, тут и тут.

— Иди к миссионерам, — сказал Уокер. — Ты ведь знаешь, что я лечу только детей.

— Я ходил к миссионерам, и они мне ничем не помогли.

— Тогда отправляйся домой и готовься к смерти. Столько на свете прожил и все еще жить хочешь? Дурак ты, дурак.

Больной заспорил было, но Уокер указал пальцем на женщину с больным ребенком на руках и велел ей подойти к столу. Он задал ей несколько вопросов, посмотрел на ребенка.

— Я дам тебе лекарство, — сказал он и обратился к клерку-метису. — Сходи в аптеку, принеси каломелевых пилюль.

Он заставил ребенка тут же проглотить одну пилюлю, а вторую дал матери.

— Иди и держи малого в тепле. Завтра он либо помрет, либо ему полегчает.

Уокер откинулся на спинку кресла и закурил трубку.

— Удивительная штука — каломель. Я этим снадобьем спас больше больных, чем все лекари в Апии вместе взятые.

Уокер очень гордился своим искусством и с решительностью невежды презирал всех медиков на свете.

— Я что люблю? — рассуждал он. — Чтобы от больного все врачи отказались. Когда врачи говорят, что не могут тебя вылечить, я скажу: «А теперь иди ко мне». Я вам когда-нибудь рассказывал про больного раком?

— Неоднократно, — ответил Макинтош.

— Я его поставил на ноги за три месяца.

— Вы мне никогда не рассказывали про тех, кого не сумели вылечить.

Покончив с врачеванием, Уокер занялся остальными делами. Это была на редкость причудливая смесь. То женщина жаловалась, что не ладит с мужем, то мужчина был обижен, что от него убежала жена.

— Счастливчик! — сказал ему Уокер. — Да тебе каждый женатый позавидует.

Одни долго и запутанно спорили, кому принадлежит крохотный клочок земли, другие не могли поделить улов рыбы. Кто-то жаловался, что белый торговец обвешивает и обмеривает. Уокер внимательно выслушивал всех до единого, быстро принимал и объявлял решение. После этого он уже ничего не слушал, а если жалобщик не унимался, полицейский выводил его из канцелярии. Макинтош наблюдал за происходящим и злился. В целом нельзя было не признать, что тут творилось пусть варварское, но правосудие, однако помощника раздражало, что начальник полагается на свое чутье, а не на факты. Он не принимал во внимание никаких доводов, свидетелями помыкал как хотел, а если они показывали не то, что ему от них было нужно, обзывал их ворами и лгунами.

Напоследок Уокер оставил мужчин, сидевших кучкой в углу. До сих пор он ни разу не взглянул в их сторону. Группа состояла из старого вождя, высокого, благообразного, с короткими седыми волосами, в новой лава-лава и с пестрой метелкой на палке — знаком сана — в руке, его сына и пяти-шести влиятельнейших жителей деревни. Они поссорились с Уокером, и верх одержал он. Теперь он по своей привычке намерен был покуражиться над ними вволю, а заодно и извлечь для себя выгоду из их поражения. История эта была очень своеобразной. Уокер любил строить дороги. Когда он приехал на Талуа, по острову лишь кое-где петляли узкие тропки, но со временем он проложил настоящие дороги от деревни к деревне, и своим благосостоянием остров в значительной степени был обязан именно им. Если прежде было невозможно доставить туземные



товары — в основном копру — на берег, чтобы погрузить на шхуны или моторные катера для перевозки в Апию, то теперь это стало проще простого. Заветным желанием Уокера было построить дорогу по берегу вокруг всего острова, и значительная часть ее была уже готова.

— Через два года я ее докончу, и тогда хоть помирать, хоть в отставку — все равно.

Он надышаться не мог на свои дороги и постоянно объезжал их, проверяя, в порядке ли они содержатся. Дороги были очень примитивны — просто широкие, поросшие травой проселки, которые прокладывались через дикие заросли и плантации. Но приходилось выкорчевывать пни, выкапывать или взрывать каменные глыбы, а в некоторых местах срезать пригорки и засыпать ложбины. Он гордился, что своими силами справлялся со всеми трудностями. Хвастал тем, как удачно выбирал для дороги место — и для дела удобно, и можно любоваться красотами острова, которые были так милы его сердцу. О дорогах он говорил почти как поэт. Они проходили среди очаровательных пейзажей, и Уокер позаботился, чтобы в одних местах они тянулись прямыми зелеными аллеями с высокими деревьями по сторонам, а в других вились и петляли, радуя глаз разнообразием. Поразительно, с какой тонкой находчивостью этот грубый чувственный человек добивался эффекта, подсказанного ему фантазией. Он проявлял чудеса изобретательности, не хуже прославленных японских садовников. Начальство выдало ему субсидию, но гордый Уокер ее почти совсем не трогал, за весь прошлый год истратив из тысячи только сто фунтов.

— А на что им деньги? — гремел он. — Накупят какой-нибудь никому не нужной дряни, и все. Да еще миссионеры сначала заберут львиную долю.

Безо всякой на то причины, разве что из желания показать всем, какой он рачительный хозяин, не то что эти транжиры в Апии, он заставлял туземцев проводить все работы за почти символическую плату. Из-за этого у него и вышел спор с жителями деревни, старейшины которой явились теперь к нему на прием. Сын вождя прожил год на Уполу и, вернувшись, рассказал односельчанам о тех больших суммах, которые платят в Апии за общественные работы. Долгими досужими беседами он сумел разжечь в их сердцах алчность. Рисовал перед ними картины сказочных богатств, и им уже грезилось виски, которого они могли бы тогда накупить — виски стоило дорого, закон запрещал продавать его туземцам, и они платили за него вдвое больше

белых, — грезились сандаловые сундучки для хранения сокровищ, и душистое мыло, и консервированная лососина — словом, все те предметы роскоши, за которые канак готов продать душу. И потому, когда администратор послал за ними и объявил, что они должны проложить дорогу от своей деревни до такого-то места, за что получают двадцать фунтов, они запросили сто. Сына вождя звали Манума. Это был высокий меднокожий красавец, с рыжей, высветленной извесью шевелюрой, шею его обвивала гирлянда из красных ягод, а за ухом, точно язык пламени у смуглой щеки, алел цветок. Манума был обнажен до пояса, но лава-лава заменил на парусиновые брюки в знак того, что жил в Апии и уже больше не дикарь. Он сказал, что они должны стоять друг за друга и администратор уступит. Ведь он очень хочет, чтобы дорога была построена, и когда убедится, что за меньшую плату они работать не согласны, даст им столько, сколько они попросили. Надо только держаться твердо. Что бы он ни говорил, стоять на своем — сказали, сто фунтов, вот пусть сто фунтов и дает. Уокер, услышав эту цифру, разразился своим утробным хохотом. И сказал, чтобы они бросили валять дурака, а поскорее брались бы за работу. Он сегодня добрый и обещает устроить им праздник, после того как дорога будет готова. Когда выяснилось, что они и не думают приступать к работе, он отправился в деревню и спросил, что это за дурацкие шутки. Но Манума их хорошо подготовил. Они говорили очень спокойно и не вступали в спор, хотя канаки обожают спорить; они просто пожалы плечами: они построят дорогу за сто фунтов, а если он им не даст этих денег, они работать не будут. Пусть сам решает. А им все равно. Тут Уокер пришел в ярость. Выглядел он страшно. Короткая толстая шея угрожающе вздулась, красное лицо полиловело, на губах выступила пена. На туземцев обрушились громы и молнии. Уязвить и унижить — это он умел. И запугать тоже. Старики побледнели и оробели. Они готовы были дрогнуть. Если бы не Манума с его вестями из широкого мира и если бы не их страх перед его насмешками, они бы уступили.

Уокеру ответил Манума:

— Заплати нам сто фунтов, и мы будем работать.

Уокер, потрясая кулаками, осыпал его всеми ругательствами, какие только знал. Он испепелил его презрением. Манума сидел, не шевелясь, и улыбался. Возможно, в этой улыбке было больше бравады, чем уверенности, но он должен был показать пример остальным. Он повторил:

— Заплати нам сто фунтов, и мы будем работать.

Они уж было думали, что сейчас Уокер набросится на него: администратору не раз случалось собственноручно избивать туземцев. Они знали, как он силен, и, хотя он был вдвое старше Манумы и на шесть дюймов ниже ростом, никто не сомневался, что Мануме несдобровать. Да и кому бы в голову пришло сопротивляться его бешеному наскоку? Но Уокер только произнес с усмешкой:

— Терять время на разговоры с дураками я не стану. Обсудите между собой. Вы знаете, что я предложил. Если в течение недели вы не начнете работать, пеняйте на себя.

Повернулся, вышел из хижины вождя, отвязал старую кобылу. И встал на удобный камень, чтобы взгромоздиться в седло, а один из стариков повис на другом стремяни — поступок, наглядно характеризующий его отношения с туземцами.

В тот же вечер, когда Уокер, как обычно, прогуливался по дороге за своим домом, вдруг над ухом у него что-то просвистело и ударило в ствол дерева. В него чем-то метнули. Он машинально пригнулся, но потом с криком: «Кто тут?» — кинулся туда, где должен был находиться метатель, и услышал затихающий треск в кустах. Он понимал, что в темноте погоня бессмысленна, и, вскоре запыхавшись, остановился. Вернувшись на дорогу, он поискал то, что было брошено, но в непроглядном мраке ничего не нашел. Поспешно вернувшись в дом, он позвал Макинтоша и слугу-китайца.

— Кто-то из этих чертей запустил в меня чем-то. Идемте поищем, что это было.

Он велел слуге взять фонарь, и они вдвоем вернулись на место происшествия. Осмотрели землю вокруг, но ничего не обнаружили. Внезапно китаец гортанно вскрикнул. Они обернулись, и в луче света, пронзившем темноту, в стволе кокосовой пальмы злое блеснул длинный нож. Брошен он был с такой силой, что его не сразу удалось выдернуть.

— Черт! Не промажь он, хорош бы я сейчас был.

Уокер взял нож — он был сделан по образцу тех матросских ножей, которые появились на островах столетие назад с первыми белыми; теперь ножами рубили пополам кокосовые орехи, чтобы сушить копру, — смертоносное оружие с очень острым двенадцатидюймовым лезвием. Уокер хмыкнул.

— Ну дьявол! Ну и нахальный же дьявол!

Он не сомневался, что нож метнул Манума. Еще каких-то три дюйма, и ему был бы конец. Но он не рассердился, а, наоборот, пришел в самое лучшее расположение духа. Это

происшествие взбодрило его, и, едва войдя в дом, он крикнул, чтобы подали виски.

— Они у меня за это заплатят! — сказал он, злорадно потирая руки.

Его маленькие глазки весело блестели. Напыжившись, как индюк, он принялся во второй раз за полчаса со всеми подробностями излагать Макинтошу обстоятельства дела. Потом предложил перекинуться в пикет и за игрой хвастливо описывал, что намерен теперь предпринять. Макинтош слушал, крепко поджав губы.

— Но почему вы так их прижимаете? — спросил он. — Двадцать фунтов — это не плата за работу, которую вы им поручаете.

— Пусть и за это будут благодарны.

— Но, черт возьми, это же не ваши деньги! Начальство выделяет вам достаточную сумму, и никто не будет в претензии, если вы ее истратите.

— Они в Апии все сплошь дураки.

Макинтош понял, что Уокером движет одно лишь тщеславие, и пожал плечами.

— Какой вам толк, если вы утрете нос чиновникам в Апии, а сами заплатите за это жизнью?

— Господь с вами! Да здешние люди никогда на меня руки не подымут. Я им вот как нужен. Они на меня просто молятся. Манума дурак. И нож-то бросил, просто чтобы меня поугаты.

На следующий день Уокер снова поехал в ту деревню. Она называлась Матауту. Спешиваться он не стал. Подъехав к хижине вождя, он увидел, что мужчины, усевшись кружком на полу, заняты оживленным разговором, и догадался, что они снова обсуждают вопрос о дороге.

Самоанские хижины строятся следующим образом: тонкие стволы размещаются по кругу через промежутки в пять-шесть футов, а в центре вкапывается столб, и от него круто вниз настилается кровля. Ночью или во время дождя опускаются циновки из листьев кокосовой пальмы. Но обычно хижина открыта со всех сторон, чтобы ее свободно продувало ветром. Уокер остановил кобылу у самой хижины и крикнул вождю:

— Эй, Тангату! Твой сын вчера ночью оставил нож в дереве. Я привез его тебе.

Он швырнул нож на землю между сидящими и с хохотом затрусил прочь.

В понедельник он поехал проверить, начали ли они работать. Но никаких приготовлений не обнаружил

и отправился в деревню. Ее обитатели занимались обычными делами: кто-то плел циновки из листьев пандануса, старик выскребывал чашу для кавы, дети играли, женщины занимались стиркой. Уокер, улыбаясь, остановился у хижины вождя.

— Талофа-ли,— сказал вождь.

— Талофа,— ответил Уокер.

Манума плел сеть. Изо рта у него торчала сигарета, и он поглядел на Уокера с торжествующей улыбкой.

— Значит, вы решили дороги не строить?

Вождь ответил:

— Да, если вы не заплатите нам сто фунтов.

— Вы еще пожалуете.— Он повернулся к Мануме.— А у тебя, парень, как бы спина не разболелась, и очень скоро.

Он, посмеиваясь, уехал, а туземцев разобрал страх. Они боялись этого толстого старого грешника, и ни брань, которой его осыпали миссионеры, ни презрение, которому Манума научился в Апии, никак не могли разуверить их в том, что он наделен дьявольской хитростью и что все до единого, кто отваживался ему перечить, рано или поздно за это поплатились. Не прошло и суток, как они узнали, какую уловку он изобрел теперь. Она была вполне в его духе. На следующий день в деревню явилась толпа мужчин, женщин и детей, и их старейшины объяснили, что подрядились строить дорогу. Уокер предложил им двадцать фунтов, и они согласились. Хитрость же заключалась в том, что правила гостеприимства у полинезийцев имеют силу священного закона, и нерушимый этикет требовал, чтобы жители деревни не только предоставили гостям кров, но также кормили и поили их все время, пока те пожелают оставаться у них. Обитатели Матауту попали в ловушку. Каждое утро рабочие всслой толпой отправлялись на строительство: валили деревья, взрывали скалы, выравнивали, где требовалось, полотно, а вечером наводняли деревню, ели и пили—ели так, что за ушами трещало, танцевали, пели духовные гимны и вообще вовсю наслаждались жизнью. Для них это был долгий веселый пикник. Но лица их хозяев постепенно вытягивались. Гости оказались с хорошим аппетитом и ненасытно уничтожали бананы и плоды хлебного дерева; не осталось на ветках ни единого авокадо, а ведь в Апии за них можно было бы получить немалые деньги. Над деревней нависла угроза полного разорения. И тут выяснилось, что работают гости не торопясь. Может быть, Уокер дал им понять, что особой спешки от них не

требуется? При таких темпах, пока построят дорогу, в деревне не останется ни крошки съестного. Хуже того: они стали всеобщим посмешищем. Когда кто-нибудь из жителей Матауту приходил по делам хоть в самое отдаленное селение, выяснялось, что все равно слухи его опередили, и ему навстречу звучал издевательский смех. А для канаков нет ничего страшнее насмешек. Вскоре среди пострадавших поднялся сердитый ропот, Манума перестал быть героем; ему пришлось выслушать немало горьких слов, а затем произошло и то, что напроорочил Уокер: ожесточенный спор перешел в ссору, полдесятка молодых людей набросились на сына вождя и так его отделали, что он неделю пролежал на циновках весь в синяках, ворочаясь с боку на бок и не находя облегчения. Каждый день-два на старой кобыле приезжал администратор и смотрел, как продвигается строительство. Он был не из тех, кто противостоит соблазну поиздеваться над поверженным противником и упустит случай лишний раз напомнить ему о всей глубине его унижения. Он сломил дух жителей Матауту. И как-то утром, спрятав гордость в карман (это чистая фигура речи, так как карманов у них не было), они вместе с гостями отправились на строительство. Дорогу необходимо было закончить как можно скорей, чтобы уберечь хотя бы остатки съестных припасов, и потому в работе приняла участие вся деревня. Но работали они молча, затаив в сердцах ярость и обиду — даже дети трудились и молчали. Женщины плакали, связывая и унося обрубленные ветки. Когда Уокер это увидел, он так захохотал, что чуть не свалился с седла. Весть о новом повороте событий облетела остров и страшно насмешила всех туземцев. Ну и потеха, как он их в конце концов оставил в дураках, этот хитрый белый старик, которого не удалось еще обойти ни одному самоанцу! И они приходили из самых отдаленных деревень, приходили с женами и детьми, чтобы поглядеть на глупых людей, которые не взяли двадцати фунтов, чтобы построить дорогу, а теперь должны работать даром. Но чем усерднее работали хозяева, тем с большей прохладцей трудились гости. Зачем топиться, когда они едят на даровщинку хорошую пищу, и чем дольше будут тянуть, тем смешнее выйдет шутка! Кончилось тем, что несчастные жители деревни не выдержали и в то утро пришли просить администратора, чтобы он отослал рабочих домой. Если он это сделает, то они сами достроят дорогу даром. Он одержал полную и безоговорочную победу. Они были поставлены на колени.

Его широкое бритое лицо расплылось от высокомерного самодовольства, и весь он, казалось, раздулся у себя в кресле, как огромная лягушка. В его облике появилось даже что-то зловещее, Макинтош прямо вздрогнул от отвращения.

А Уокер загремел:

— Что я, строю дорогу для себя? Какая, по-вашему, мне от нее польза? Она вам нужна, чтоб было легко ходить и легко носить вашу копру. Я предложил вам заплатить за работу, хотя работали бы вы на себя. Я предложил щедро вам заплатить. А теперь платить будете вы. Я отошлю людей из Мануа домой, если вы достроите дорогу и заплатите двадцать фунтов, которые я им обещал.

Они возмущенно закричали. Попробовали его уговорить. Объясняли, что у них нет таких денег. Но на все их доводы он отвечал грубыми насмешками. И тут раздался бой часов.

— Пора обедать,— сказал он.— Гоните их всех вон.

Тяжело поднявшись с кресла, он вышел из канцелярии. Когда Макинтош последовал за ним, Уокер уже сидел за столом, подвязав салфетку под подбородком и держа в руках нож с вилкой, готовый наброситься на еду, как только повар-китаец поставит перед ним тарелку. Он был в чудесном настроении.

— Здорово я их отделал,— сказал он, когда Макинтош ссел.— Теперь у меня с дорогами никаких хлопот не будет.

— Я полагаю, вы пошутили,— ледяным тоном заметил Макинтош.

— Это вы о чем?

— Вы же не заставите их действительно уплатить двадцать фунтов?

— Будьте уверены, еще как заставлю!

— Не знаю, есть ли у вас на это право.

— Ах, не знаете? Да у меня есть право делать на этом острове все, что я захочу.

— По моему мнению, вы и так уже достаточно над ними произдевались.

Уокер жирно захохотал. Мнение Макинтоша его совершенно не интересовало.

— Когда мне понадобится ваш совет, я у вас его спрошу.

Макинтош побелел. По горькому опыту он знал, что у него лишь один выход — промолчать; он с трудом заставил себя сдержаться, и ему стало дурно. Кусок не лез в горло, и отвратительно было смотреть, как Уокер впихива-

ет мясо в свою широкую пасть. Старик ел очень неряшливо, и сидеть с ним за одним столом было противно. Макинтоша всего передернуло. Ему мучительно хотелось как-то унизить этого толстокожего, жестокого человека. Он отдал бы все на свете, лишь бы увидеть Уокера повергнутым во прах, страдающим так, как он заставлял страдать других. Никогда еще он не испытывал такой брезгливой ненависти к этому грубому тирану.

День тянулся нескончаемо. После обеда Макинтош прилеж вздремнуть, но сжигавшая сердце ярость гнала сон. Попытался читать, но буквы плавали перед глазами. Солнце палило нещадно, хотелось, чтобы хлынул дождь. Но он знал, что дождь принес бы не прохладу, а только еще более жаркую влажную духоту. Он был родом из Абердина, и сердце его вдруг защемила тоска по ледяным ветрам, свистящим в гранитных улицах этого города. Здесь на острове он был пленником, узником недвижимого океана и своей лютой ненависти к этому мерзкому старику. Он сжал ладонями раскальвающуюся голову. С каким наслаждением он бы его убил. Но он все же одернул себя. Надо чем-то отвлечься, и раз уж не читается, то, пожалуй, можно привести в порядок личные бумаги. Он уже давно собирался этим заняться, но все откладывал и откладывал. Отперев ящик бюро, он достал пачку писем. И увидел там револьвер. Он чуть было не схватил его и не пустил себе пулю в лоб, чтобы вырваться из невыносимых тисков, но отбросил эту мысль, не успев додумать. Заметив, что от сырого воздуха револьвер подернулся ржавчиной, он взял масляную тряпку и начал его протирать. От этого занятия его отвлекло какое-то движение у двери. Он поднял голову и спросил:

— Кто тут?

Прошло несколько секунд, и на пороге показался Манума.

— Что тебе надо?

Сын вождя хмуро молчал. Потом сказал придушенным голосом:

— Мы двадцать фунтов заплатить не можем. У нас нет таких денег.

— А я здесь при чем? — возразил Макинтош. — Ты слышал, что говорил мистер Уокер.

Манума начал упрашивать, мешая самоанские слова с английскими, говоря нараспев дрожащим жалобным голосом, будто нищий, и Макинтош почувствовал гадливость. Его возмущало, что человек позволил так себя раздавить. Какое жалкое зрелище!



— Я ничего не могу сделать,— раздраженно сказал он.— Ты знаешь, что хозяин тут мистер Уокер.

Манума замолчал. Но остался стоять в дверях.

— Я болен,— проговорил он в конце концов.— Дайте мне лекарства.

— Что с тобой?

— Не знаю. Болен. У меня колотье в теле.

— Не стой там,— резко сказал Макинтош.— Подойди, я тебя осматрю.

Манума пересек маленькую комнату и остановился у бюро.

— Колет вот тут и вот тут.— Он прижал руку к пояснице, и лицо его страдальчески сморщилось.

И вдруг Макинтош понял, что юноша смотрит на револьвер, который он отложил, услышав шум на пороге. Обоих сковало молчание, которое Макинтошу показалось бесконечным. Он словно читал мысли канака. И сердце у него при этом бешено стучало. Внезапно он почувствовал, что находится во власти какой-то посторонней силы. Не он сам, но она теперь управляла его движениями, неведомая и чужая. В горле у него пересохло, он машинально прижал ладонь к груди, словно помогая своему голосу, и почему-то, сам того не желая, отвел глаза от Манумы.

— Подожди тут,— с трудом произнес он, будто его душили.— Я принесу тебе чего-нибудь из аптеки.

Он встал. Показалось ему или его и вправду пошатывается? Манума стоял молча, и Макинтош не глядя знал, что тот тупо смотрит в открытую дверь. Из комнаты Макинтоша увела все та же владевшая им чужая сила, но сам он, по своей воле, успел схватить какие-то бумаги и бросить на револьвер, чтобы не было видно. Он добрал до аптеки, взял одну пилюлю, отлил в пузырек синеватой микстуры и вышел наружу. Возвращаться в бунгало он не хотел и крикнул Мануме:

— Иди сюда.

Он протянул ему лекарства и объяснил, как их принимать.

Почему-то он не мог встретиться с юношей взглядом и, давая наставления, смотрел ему в плечо. Манума взял лекарства и выскользнул за калитку.

Макинтош вошел в столовую и начал в который раз листать старые газеты. Читать он не мог. В доме не было слышно ни звука. Уокер спал в своей комнате наверху. Повар-китаец возился на кухне, оба туземных полицейских отправились ловить рыбу. Тишина, окутавшая дом, ощуща-

лась как что-то потустороннее, а в голове у Макинтоша стучало одно: на месте револьвер или нет? Пойти посмотреть не хватало сил. Неуверенность была страшна, но уверенность могла быть еще страшнее. Он покрылся испариной. Наконец он почувствовал, что выдерживать эту тишину больше не может, и решил сходить к торговцу Джарвису, чья лавка находилась от компаунда на расстоянии всего одной мили. Джарвис был метис, но все-таки наполовину белый, так что с ним худо-бедно, но можно было разговаривать. Макинтошу надо было уйти от своего бюро, заваленного ворохом бумаг, под которыми кое-что лежит... или не лежит. И он зашагал по дороге. Из красивой хижины вождя, когда он проходил мимо, донеслось обычное приветствие. Макинтош вошел в лавку. За прилавком сидела дочь торговца, смуглая широколицая девица в розовой блузке и белой тиковой юбке. Джарвис надеялся, что он на ней женится. У торговца водились деньги, и он как-то сказал Макинтошу, что муж его дочери будет состоятельным человеком. Увидев Макинтоша, она слегка покраснела.

— Папа распаковывает ящики, которые привезли утром. Я сейчас за ним схожу.

Он сел, а она вышла в заднюю дверь. Почти сразу же в лавку вплыла ее мать, грузная старуха из рода вождей, владелица многих земель на острове. Она протянула ему руку. Женщина эта была, конечно, толста до безобразия, однако преисполнена величия, приветлива без угодливости и при всем благодущии ни на миг не роняла своего монаршего достоинства.

— Вас совсем не видно, мистер Макинтош. Тереза только нынче утром говорила: «Мистер Макинтош что-то совсем перестал к нам заглядывать».

Он содрогнулся, вообразив себя зятем этой старой туземки. Весь остров знал, что она властно правит мужем, несмотря на его белую кровь. Она была главой и семьи и дела. Пусть белые видели в ней всего лишь миссис Джарвис, но ее отец был вождем из королевского рода, а его отец и отец его отца — королями. Вошел торговец — смуглый маленький брюнет с седеющей черной бородой, красивыми глазами и сверкающими зубами. Он носил парусиновые брюки, держался истым англичанином и уснащал речь жаргонизмами. Тем не менее чувствовалось, что по-английски он говорит как иностранец; в семье он пользовался языком своей матери-туземки. Это был услужливый, подобострастный человек.

— А, мистер Макинтош! Какой чудесный сюрприз. Подай виски, Тереза. Пропустим с мистером Макинтошем по рюмочке.

Он стал рассказывать последние городские новости, все время заглядывая гостю в глаза, чтобы не промахнуться и не сказать неприятного.

— А как Уокер? Что-то он в последнее время совсем не показывается. Миссис Джарвис собирается на этой неделе послать ему молочного поросенка.

— Я утром видела, как он на лошади ехал домой,— вставила Тереза.

— Ну, промочим глотку,— произнес Джарвис, поднимая рюмку.

Макинтош выпил. Жена и дочь торговца не спускали с него глаз,— миссис Джарвис в черном широком балахоне, безмятежная и надменная, и Тереза, спешившая улыбнуться всякий раз, как ей удавалось перехватить его взгляд. А торговец беззастенчиво пересказывал сплетни:

— В Апии говорят, что Уокеру пора на покой. Возраст. С тех пор как он приехал на острова, времена изменились, а он не изменился с ними.

— Он не знает меры,— сказала старая дочь королей.— Туземцы недовольны.

— А отличную, однако, штуку отколол он с дорогой.— Торговец засмеялся.— Я когда в Апии рассказал, все прямо животы надорвали. Нет, все же молодчина Уокер.

Макинтош смерил его свирепым взглядом. Да как он смеет так говорить? Для торговца-полукровки существует не Уокер, а *мистер* Уокер. Надо осадить наглеца. Но что-то, он сам не знал что, удержало его от этого.

— Когда он уйдет, надеюсь, его место займете вы, мистер Макинтош,— продолжал Джарвис.— У нас на острове вы всем по душе. Вы понимаете туземцев. Они теперь просвещенные стали, с ними надо обходиться по-иному, чем в старину. Теперь в администраторы нужен человек образованный. А Уокер, он торговец, вроде меня.

У Терезы заблестели глаза.

— Когда настанет время, что потребуется с нашей стороны, считайте, все будет сделано. Можете на меня положиться. Я сам соберу всех вождей и отправлю с петицией в Апию.

Макинтошу стало почти дурно. Ему не приходило в голову, что преемником Уокера, в случае чего, может оказаться он. Правда, никто из чиновников не знал острова лучше него. Он внезапно встал и, коротко попрощавшись, пошел

обратно. Теперь он, не мешкая, направился к себе. Окинул быстрым взглядом бюро. Пошарил под бумагами.

Револьвера там не было.

Сердце у него отчаянно застучало в ребра. Он стал искать револьвер. Смотрел на креслах, в ящиках. Искал неистово, все время зная, что ничего не найдет. Внезапно раздался хриплый добродушный голос Уокера:

— Чего это вы, Мак?

Он, вздрогнув, обернулся. Уокер стоял в дверях. Макинтош безотчетно шагнул и заслони́л бюро.

— Прибираетесь? — насмешливо спросил Уокер. — Я велел заложить серую в двуколку. Поеду в Тафони купаться. Давайте со мной.

— Хорошо, — ответил Макинтош.

Пока он с Уокером, ничего произойти не может. Им предстояло проехать три мили до пресного озера, вырытого в скалистом грунте с помощью динамита и отделенного от океана узкой перемычкой. Такие места для купания администратор распорядился устроить туземцам на острове повсюду, где только ни бил источник, — пресная вода была прохладной и бодрящей по сравнению с морской, слишком теплой и словно бы липкой. Они бесшумно катили по травянистой дороге, с плеском переезжали мелкие заливчики, где океан вторгался на сушу, миновали две деревни, просторные хороводы островерхих хижин вокруг белой часовни, а за третьей вылезли из двуколки, спутали лошадь и спустились к озеру. За ними увязались несколько девушек и стайка ребятишек. И вскоре все уже с криком и смехом плескались в воде, а Уокер в лава-лава плавал, точно неповоротливый старый дельфин. Он обменивался с девушками сальными шуточками, а они для развлечения подныривали под него и ловко ускользали, когда он пытался их схватить. Утомившись, он растянулся на камне, а девушки и ребятишки окружили его, словно одна счастливая семья. Жирный старик, сиявший лысиной в оторочке седых волос, был похож на состарившееся морское божество. В его глазах Макинтош вдруг увидел непривычное мягкое выражение.

— Такие они все хорошие детишки, — сказал Уокер. — На меня смотрят как на отца.

И тут же, не переводя дух, обратился к одной из девушек с непристойностью, от которой они все так и прыгнули со смеху. Макинтош стал одеваться. Сухопарый и тощий, с длинными руками и ногами, он был смешон и похож на злого Дон Кихота, и Уокер принялся грубо прохаживаться на его счет. Каждая шутка встречалась

приглушенным хихиканьем. Макинтош никак не мог справиться с рубашкой. Он сознавал, что выглядит нелепо, но служить посмешищем не желал. Он не отвечал и хмурился, сдерживая бешенство.

— Если не хотите опоздать к обеду, то пора ехать.

— Вы неплохой парень, Мак. Но глупый. Делаете одно, а помышляете в это время о другом. Разве так можно жить?

Тем не менее он грузно поднялся на ноги и начал одеваться. Они, не торопясь, пошли в деревню, выпили чашу кавы с вождем, а затем под радостные прощальные возгласы всех прохлаждающихся жителей деревни поехали домой.

После обеда Уокер закурил сигару и собрался, как всегда, на вечернюю прогулку. Макинтошу вдруг стало страшно.

— Не кажется ли вам, что выходить одному в темноте сейчас не очень благоразумно?

Уокер уставился на него круглыми голубыми глазами.

— О чем это вы?

— А нож в ту ночь вы помните? Они ведь на вас злы.

— Чуть! Не посмеют.

— Кто-то посмел же.

— Это только так, попугать. Они на меня руки не подымут. Я же им как отец. Они знают: что я ни делаю — все для их же пользы.

Макинтош смотрел на него с тайным презрением. Это чудовищное самодовольство возмущало его, и все же что-то — он сам не понимал что — побуждало его настаивать:

— Вспомните сегодняшний разговор. Не прогуляетесь один вечер, вас не убудет. Давайте партию в пикет.

— Сыграем в пикет, когда я вернусь. Не родился еще тот канак, из-за которого я стану менять свои привычки.

— Ну, так давайте я пойду с вами.

— Никуда вы не пойдете.

Макинтош пожал плечами. Что же, он предостерег его как мог. Если Уокер не желает слушать, дело хозяйское.

Уокер надел шляпу и вышел. А Макинтош взялся за книгу. Но тут же ему пришла в голову одна мысль: пожалуй, лучше, чтобы его местонахождение сейчас было кому-нибудь известно. Под каким-то благовидным предлогом он зашел на кухню и несколько минут поговорил с поваром. Потом вернулся, вытащил патефон и поставил пластинку; но все время, пока из-под иглы лился чувствительный мотивчик лондонской эстрадной песенки, чутко прислушивался, не раздастся ли из темноты внезапный звук. Патефон сипел

и надрывался у самого его локтя, можно даже было разобрать дурацкие слова, но несмотря на это у него было ощущение, будто его окружает глухая, зловещая тишина. Издалека доносился глухой рев прибоя, в верхушках кокосовых пальм вздыхал ветер. Долго ли еще это будет тянуться? Невыносимо!

Тут он услышал хриплый смешок.

— Ну и чудеса! Не так-то часто вы себя ублажаете песенками, Мак.

За окном стоял Уокер, краснолицый, грубый, благодущный.

— Как видите, я жив-здоров. Чего это вы развели музыку?

Он вошел в комнату.

— Нервишки расшалились, а? Поставили песенку, чтобы подбодриться?

— Я поставил ваш реквием.

— Чего-чего?

— «Кружка портера, пинта пива».

— И отличная песня, вот что я вам скажу. Могу слушать хоть сто раз подряд. А теперь давайте-ка я обыграю вас в пикет.

Сели играть. Уокер добивался победы всеми правдами и неправдами: блефовал и бахвалился, подымал противника на смех, дразнил его, стращал, вышучивал и бессовестно злорадствовал при каждом его промахе. И скоро к Макинтошу вернулось прежнее спокойствие, глядя словно со стороны, он только радовался безобразиям этого старого нахала и собственной холодной сдержанности. А где-то затаилась Манума и ждал своего часа.

Уокер выигрывал партию за партией и по окончании игры, торжествуя, сгреб выигрыш.

— Вам, Мак, еще расти и расти, прежде чем со мной тягаться. У меня к картам природный талант.

— Не вижу, при чем тут талант, если я сдал вам четырнадцать тузов.

— Хорошая карта идет хорошим игрокам,— возразил Уокер.— Я и с вашими все равно бы выиграл.

И он пустился в длинные рассуждения о том, как ему случалось играть с заведомыми шулерами, и все равно он им карманы обчистил — они только рты разевали. Он хвастал, он пел себе хвалы. А Макинтош слушал и упивался. Ему нужно было теперь поддерживать в себе ненависть. Каждое слово Уокера, каждый жест делали его только еще отвратительнее. Наконец Уокер встал.

— Пора и на боковую,— сказал он, зевая во весь рот.— У меня завтра много дел.

— Каких?

— Поеду на ту сторону острова. Тронусь в пять, но к обеду, наверно, не обернусь, припоздаю.

Обедали обычно в семь.

— Так, может быть, подождать с обедом до половины восьмого?

— Пожалуй, что и так.

Макинтош смотрел, как он выбивает трубку. Прimitивное жизнелюбие так и бурлило в нем. Было странно думать, что над ним нависла смерть. В холодных угрюмых глазах Макинтоша забрезжила легкая улыбка.

— Не хотите ли, чтобы я поехал с вами?

— За каким дьяволом? Я же поеду на кобыле, а с нее и меня хватит. Зачем ей еще и вас тащить тридцать миль?

— Но вы, возможно, не вполне отдаете себе отчет в том, какое настроение царит сейчас в Матауту. Мне кажется, будет спокойнее, если я поеду с вами.

Уокер разразился насмешливым хохотом.

— Много толку от вас будет в случае чего! Ну, да я не трусливого десятка.

Теперь улыбка появилась и на губах Макинтоша, они болезненно покривились.

— *Quem deus vult perdere prius dementat*<sup>1</sup>.

— А это еще что за тарабарщина? — спросил Уокер.

— Латынь,— отозвался ему вслед Макинтош.

И усмехнулся. Настроение у него изменилось. Он сделал все, что мог, дальнейшее в руках судьбы. Уснул он сладко, как не спал уже много недель. Утром проснулся и вышел за порог. Он хорошо выспался и радовался бодрящей утренней свежести. Океан синел ярче обычного, ослепительные блистали небеса, пассат крепчал, и по лагуне бежала рябь, словно ветер гладил аквамаринный бархат против ворса. Макинтош чувствовал прилив молодых сил и за дневные дела взялся с удовольствием. После второго завтрака он вздремнул немножко, а под вечер приказал оседлать гнедого и неторопливо проехался по лесу. Все вокруг он словно видел новыми глазами. И чувствовал себя почти нормально. Поразительным было то, что об Уокере ему удавалось совсем не думать. Точно его и на свете никогда не было.

Вернулся он поздно, разгоряченный верховой прогулкой, и еще раз выкупался. Потом сел на веранде и, покури-

<sup>1</sup> Кого Бог хочет погубить, того лишает разума (лат.).

вая трубку, смотрел, как угасает день над лагуной. На закате лагуна, вся в розовых, лиловых и зеленоватых отблесках, была удивительно красива. Ему было хорошо и спокойно. Когда на веранду вышел повар и сказал, что обед готов, так подавать или подождать еще? — Макинтош ласково ему улыбнулся и посмотрел на часы.

— Половина восьмого. Больше ждать, пожалуй, не стоит. Кто знает, когда хозяин может вернуться.

Повар кивнул, и минуту спустя Макинтош увидел, что он идет по двору с дымящейся супницей. Он лениво поднялся, прошел в столовую, пообедал. Свершилось или нет? Неопределенность забавляла, и Макинтош засмеялся в тишине столовой. Еда казалась ему не такой уж безвкусной, и даже вечный рубленый бифштекс, которым неизменно потчевал их китаец всякий раз, как исчерпывалась его скудная кулинарная изобретательность, каким-то чудом получился сочный и пряный. После обеда Макинтош неторопливо побрел к себе взять книгу. Кругом стояло удивительное безмолвие, в черном небе уже полыхали яркие звезды. Он крикнул, чтобы принесли лампу, и несколько секунд спустя китаец, пронзая мрак лучом света, прошлепал босыми ногами к бюро, поставил на него лампу и бесшумно выскользнул из комнаты. Макинтош прирос с полу: из-под вороха бумаг на бюро выглядывал револьвер. Макинтош почувствовал мучительное сердцебиение, весь облился потом. Значит, свершилось?

Трясущейся рукой он взял револьвер. Четыре камеры в барабане были пусты. Он настороженно выглянул во тьму ночи — никого. Он быстро вложил четыре патрона в пустые камеры и запер револьвер в ящик.

Потом сел и начал ждать.

Прошел час, второй. Ничего не происходило. Он сидел за бюро и как будто писал. На самом же деле он не писал и не читал. А только слушал. Напрягая слух, он пытался уловить первые, отдаленные звуки. Наконец послышались робкие шаги — это был повар.

— А-Сун! — позвал он.

Китаец подошел к двери.

— Хозяина очена поздно, — сказал он. — Обеда исполтиласа.

Макинтош смотрел на него и гадал: известно ли китайцу, что произошло? И сможет ли он, когда все станет известно, сопоставить происшедшее с отношениями, которые существовали между Уокером и им, Макинтошем? Китаец был тихий, подобострастный, улыбчивый, занимался своим делом, но поди угадай, что у него в голове.



— Наверное, он пообедал где-нибудь. Но на всякий случай суп держи горячим.

Он не успел договорить, как тишина вдруг взорвалась шумом, криками и быстрым топотом босых ног. В компаунд вбежала толпа туземцев — мужчин, женщин и детей. Они окружили Макинтоша, наперебой что-то объясняя. Понять их было невозможно. Лица у всех были взволнованные, испуганные, многие плакали. Макинтош протолкался к воротам. Хотя из их слов он почти ничего не понял, ему было совершенно ясно, что именно произошло. У ворот он встретил двуколку. Старую кобылу вел под уздцы долговязый канак, а на сиденье скорчились еще двое, поддерживая лежащего Уокера. Двуколку сопровождало десятка два туземцев.

Кобылу ввели во двор, туземцы повалили следом. Макинтош крикнул, чтобы они отошли, и двое полицейских, явившиеся бог знает откуда, принялись их яростно отталкивать. К этому времени он уже составил себе понятие о случившемся. Мальчишки, ходившие на рыбалку, возвращались домой и увидели по сю сторону брода двуколку, кобыла пощипывала траву, а между сиденьем и передком смутно белело в темноте грузное тело старика. Сначала они подумали, что он мертвецки пьян, и, посмеиваясь, подошли поближе, но услышали стоны и, сообразив, что дело неладно, кинулись в деревню за помощью. Вернулись в сопровождении полусотни человек и тогда только обнаружили, что Уокера подстрелили.

Макинтош, содрогнувшись, подумал, что, может быть, старик уже умер. Но так или иначе, его необходимо снять с двуколки, а это из-за его толщины оказалось делом нелегким. Потребовались усилия четырех мужчин. Они неловко подхватили его, и он глухо застонал. Значит, пока жив. Его внесли в дом, подняли по лестнице и уложили на кровать. Тут только Макинтош его разглядел, потому что во дворе, при тусклом свете переносных фонарей, ничего не было видно. Белые парусиновые брюки Уокера запятнала кровь, и люди, которые внесли его в спальню, тоже вытирали о свои набедренные повязки липкие окровавленные ладони. Макинтош поднял лампу. Он никак не ждал, что старик мог так побледнеть. Глаза его были закрыты. Он еще дышал, и слабый пульс прощупывался, но он, несомненно, умирал. Неожиданно для себя Макинтош ощутил, как судорога ужаса передернула его с ног до головы. Он заметил в углу туземца-клерка и хриплым от страха голосом приказал ему бежать в аптеку и принести все необходимое для инъекции. Один полицейский принес виски, и Макинтошу

удалось влить несколько капель в рот старика. В спальню набились туземцы. Они сидели на полу, храня испуганное молчание, и лишь изредка прерывали его причитаниями. Было нестерпимо жарко, но Макинтоша пробирал холодный озноб, руки и ноги у него оледенели, и он с большим трудом сдерживал дрожь во всем теле. Он не знал, что делать. Он не знал, продолжается ли кровотечение, и если да, то как его остановить.

Вернулся клерк со шприцем.

— Сделайте вы, — сказал Макинтош. — Вам это привычнее, чем мне.

Голова у него разламывалась от боли. В мозгу словно билась какие-то злобные существа и старались вырваться наружу. Теперь надо было ждать, подействует ли инъекция. Вскоре Уокер медленно открыл глаза. Возможно, он не понимал, где находится.

— Вам не следует шевелиться, — сказал Макинтош. — Вы дома. В полной безопасности.

Губы Уокера дрогнули в легком подобии улыбки.

— Они таки меня прикончили, — прошептал он.

— Я распорядюсь, чтобы Джарвис немедленно послал свой катер в Апию, и завтра после обеда врач будет здесь.

Старик долго молчал, а потом произнес:

— Я к тому времени уже умру.

Бледное лицо Макинтоша мучительно исказилось. Он заставил себя рассмеяться.

— Ерунда! Только лежите смирно, и все будет в порядке.

— Дайте мне выпить, — сказал Уокер. — Покрепче.

Трясущейся рукой Макинтош налил виски, разбавил его наполовину водой и придерживал стакан, пока Уокер жадно пил. Ему словно сразу полегчало. Из груди вырвался глубокий вздох, крупное мясистое лицо немного порозовело. Макинтоша давило ощущение полной беспомощности. Он стоял и смотрел на старика.

— Скажите, что надо сделать, и я сделаю, — пробормотал он.

— Делать-то нечего. Оставьте меня лежать, и все. Со мной кончено.

Этот толстый, оплывший старик на огромной кровати выглядел необыкновенно жалким. Он был так слаб, так незащищен, что прямо сердце сжималось. После передышки сознание у него немного прояснилось.

— Вы были правы, Мак, — проговорил он, помолчав. — Вы ведь меня предупреждали.

— Надо было мне с вами поехать!

— Хороший вы парень, Мак. Только вот не пьете.

Снова оба помолчали, было очевидно, что Уокер быстро слабеет. Внутреннее кровоотечение продолжалось, и даже Макинтош, при всем своем невежестве, понимал, что его начальнику остается жить какой-то час или два. Он неподвижно стоял у кровати. Уокер около получаса пролежал с закрытыми глазами, потом поднял веки.

— На мое место они вас назначат,— медленно проговорил он.— Когда я последний раз был в Апии, я там сказал, что вы годитесь. Достройте мою дорогу. Мне хочется знать, что она будет доделана. Вокруг всего острова.

— Мне ваше место не нужно. И вы обязательно поправитесь.

Уокер слабо покачал головой.

— Я свое отжил. Обходитесь с ними по-честному, это главное. Они же как дети. Всегда про это помните. С ними надо быть твердым, но и добрым тоже. И обязательно справедливым. Я на них ни единого шиллинга не нажил. За двадцать лет не скопил и ста фунтов. Дорога — вот что важно. Достройте дорогу.

У Макинтоша вырвалось что-то вроде рыдания.

— Хороший вы человек, Мак. Вы мне всегда нравились.

Он закрыл глаза, и Макинтош подумал, что больше он их уже, наверно, не откроет. Ужасно хотелось пить, во рту пересохло. Повар-китаец безмолвно подставил ему стул. Он сел рядом с кроватью. Сколько времени так прошло, он не знал. Ночь тянулась нескончаемо. Кто-то из сидевших на полу вдруг по-детски, в голос заплакал, и Макинтош, оглянувшись, увидел, что спальня полна туземцев. Они сидели на корточках, бок о бок, мужчины и женщины, не сводя глаз с кровати.

— Зачем они здесь? — проговорил Макинтош.— У них нет никакого права тут быть. Выгоните их, выгоните их всех до единого.

Его распоряжение, как видно, разбудило Уокера — он снова открыл глаза, теперь совсем мутные, и попытался заговорить. Но сил у него уже почти не было, Макинтош с трудом разбирал слова.

— Пусть останутся. Они мои дети. Их место тут.

Макинтош обернулся к туземцам.

— Оставайтесь. Он хочет, чтобы вы были тут. Но молчите.

Бескровное лицо старика тронула легкая улыбка.

— Поближе,— позвал он.

Макинтош нагнулся к нему. Его глаза были закрыты, и слова прошлестели, как ветер в листьях кокосовой пальмы.

— Дайте мне еще выпить. Мне надо сказать...

На этот раз Макинтош не стал разбавлять виски водой.

Уокер последним напряжением воли собрался с силами.

— Не устраивайте шума. В девяносто пятом во время волнений убили белых, и военные корабли обстреляли деревни. Погибло много ни в чем не повинных людей. В Апии они все дураки. Если поднять шум, наказание понесут не те. Я хочу, чтобы никого не наказывали.

Он умолк, переводя дух.

— Вы скажете, что это был несчастный случай. И никто не виноват. Обещайте.

— Я сделаю все, как вы хотите,— прошептал Макинтош.

— Молодчина. Такого второго поискать. Они же дети. Я их отец. А отец никогда не даст своих детей в обиду.

Он издал что-то вроде слабого призрачного смешка.

— Вы ведь верующий, Мак. Как там сказано насчет прощения? Ну, вы знаете.

Макинтош ответил не сразу. У него дрожали губы.

— «Прости им, ибо не ведают, что творят»?

— Вот-вот. Прости им. Я же их любил, вы знаете. Всегда любил.

Он вздохнул. Его губы еле шевелились, и Макинтошу пришлось почти прижаться к ним ухом, чтобы расслышать.

— Возьмите меня за руку,— попросил Уокер.

Макинтош охнул. Сердце у него невыносимо сжалось. Он взял руку старика, такую холодную и слабую — грубую, мозолистую руку, и так сидел и держал ее, покуда вдруг тишину не нарушил протяжный клокочущий хрип. Жуткий, пугающий. Уокер умер. Туземцы разразились причитаниями. По щекам у них бежали слезы, они рыдали и били себя в грудь.

Макинтош высвободил руку из пальцев мертвеца и пошатываясь вышел, как человек, одурманенный сном. Он добрал до своего бюро, достал из ящика револьвер, спустился к лагуне и вошел в воду. Он брел осторожно, чтобы не споткнуться о коралловый выступ, пока не погрузился по плечи. Тогда он выстрелил себе в висок.

Час спустя на том месте, где он упал, плескались и пенили воду гибкие коричневые акулы.

## ДОЖДЬ

Скоро время ложиться, а завтра, когда они проснутся, уже будет видна земля. Доктор Макфейл закурил трубку и, опираясь на поручни, стал искать среди созвездий Южный Крест. После двух лет на фронте и раны, которая заживала дольше, чем следовало бы, он был рад поселиться на год в тихой Апии, и путешествие уже принесло ему заметную пользу. На следующее утро некоторым пассажирам предстояло сойти в Паго-Паго, и вечером на корабле были устроены танцы,— в ушах доктора все еще отдавались резкие звуки пианолы. Теперь, наконец, на палубе воцарилось спокойствие. Неподалеку он увидел свою жену, занятую разговором с Дэвидсонами, и неторопливо направился к ее шезлонгу. Когда он сел под фонарем и снял шляпу, оказалось, что у него огненно-рыжие волосы, плешь на макушке и обычная для рыжих людей красноватая веснушчатая кожа. Это был человек лет сорока, худой, узкилицый, аккуратный и немного педант. Он говорил с шотландским акцентом, всегда негромко и спокойно.

Между Макфейлами и Дэвидсонами — супругами-миссионерами — завязалась пароходная дружба, возникающая не из-за близости взглядов и вкусов, а благодаря неизбежно частым встречам. Больше всего их объединяла неприязнь, которую все четверо испытывали к пассажирам, проводившим дни и ночи в курительном салоне за покером, бриджем и вином. Миссис Макфейл немножко гордилась тем, что они с мужем были единственными людьми на борту, которых Дэвидсоны не сторонились, и даже сам доктор, человек застенчивый, но отнюдь не глупый, в глубине души чувствовал себя польщенным. И только потому, что у него был критический склад ума, он

позволил себе поворчать, когда они в этот вечер ушли в свою каюту.

— Миссис Дэвидсон говорила мне, что не знает, как бы они выдержали эту поездку, если бы не мы,— сказала миссис Макфэйл, осторожно выпутывая из волос накладку.— Она сказала, что, кроме нас, им просто не с кем было бы здесь познакомиться.

— По-моему, миссионер— не такая уж важная птица, чтобы чваниться.

— Это не чванство. Я очень хорошо ее понимаю. Дэвидсонам не подходит грубое общество курительного салона.

— Основатель их религии был не так разборчив,— со смешком заметил доктор.

— Сколько раз я просила тебя не шутить над религией,— сказала его жена.— Не хотела бы я иметь твой характер, Алек. Ты ищешь в людях только дурное.

Он искоса посмотрел на нее своими бледно-голубыми глазами, но промолчал. Долгие годы супружеской жизни убедили его, что ради мира в семье последнее слово следует оставлять за женой. Он кончил раздеваться раньше ее и, забравшись на верхнюю полку, устроился почитать перед сном.

Когда на следующее утро доктор вышел на палубу, земля была совсем близко. Он жадно смотрел на нее. За узкой полоской серебряного пляжа сразу вставали крутые горы, до вершин покрытые пышной растительностью. Среди зелени кокосовых пальм, спускавшихся почти к самой воде, виднелись травяные хижины самоанцев и кое-где белели церквушки. Миссис Дэвидсон вышла на палубу и остановилась рядом с доктором. Она была одета в черное, на шее— золотая цепочка с крестиком. Это была маленькая женщина с тщательно приглаженными тусклыми каштановыми волосами и выпуклыми голубыми глазами за стеклами пенсне. Несмотря на длинное овечье лицо, она не казалась простоватой, а наоборот, настороженной и энергичной. Движения у нее были по-птичьи быстрые, а голос, высокий, металлический, лишенный всякой интонации, бил по барабанным перепонкам с неумолимым однообразием, раздражая нервы, как безжалостное жужжание пневматического сверла.

— Вы, наверное, чувствуете себя почти дома,— сказал доктор Макфэйл с обычной своей слабой, словно вымученной улыбкой.

— Видите ли, наши острова не похожи на эти— они плоские. Коралловые. А эти— вулканические. Нам осталось еще десять дней пути.

— В здешних краях это то же, что на родине — соседний переулок, — пошутил доктор.

— Ну, вы, разумеется, преувеличиваете, однако в Южных морях расстояния действительно кажутся другими. В этом отношении вы совершенно правы.

Доктор Макфейл слегка вздохнул.

— Я рада, что наша миссия не на этом острове, — продолжала она. — Говорят, здесь почти невозможно работать. Сюда заходит много пароходов, а это развращает жителей; и, кроме того, здесь стоят военные корабли, что дурно влияет на туземцев. В нашем округе нам не приходится сталкиваться с подобными трудностями. Ну, разумеется, там живут два-три торговца, но мы следим, чтобы они вели себя как следует, а в противном случае мы принимаем такие меры, что они бывают рады уехать.

Она поправила пенсне и устремила на зеленый остров беспощадный взгляд.

— Стоящая перед здешними миссионерами задача почти неразрешима. Я неустанно благодарю Бога, что хотя бы это испытание нас миновало.

Округ Дэвидсона охватывал группу островов к северу от Самоа; их разделяли большие расстояния, и ему нередко приходилось совершать далекие поездки на туземных лодках. В таких случаях его жена оставалась управлять миссией. Доктор Макфейл вздрогнул, представив себе, с какой неукротимой энергией она, вероятно, это делает. Она говорила о безнравственности туземцев с елейным негодованием, но не понижая голоса. Ее понятия о нескромности были несколько своеобразными. В самом начале их знакомства она сказала ему:

— Представьте себе, когда мы только приехали, брачные обычаи на наших островах были столь возмутительны, что я ни в коем случае не могу вам их описать. Но я расскажу миссис Макфейл, а она расскажет вам.

Затем он в течение двух часов смотрел, как его жена и миссис Дэвидсон, сдвинув шезлонги, вели оживленный разговор. Прохаживаясь мимо них, чтобы размяться, он слышал возбужденный шепот миссис Дэвидсон, напоминавший отдаленный рев горного потока, и, видя побледневшее лицо и полуоткрытый рот жены, догадывался, что она замирает от блаженного ужаса. Вечером, когда они ушли к себе в каюту, она, захлебываясь, передала ему все, что услышала.

— Ну, что я вам говорила? — торжествуя, вскричала миссис Дэвидсон на следующее утро. — Ужасно, не правда

ли? Теперь вас не удивляет, что я сама не осмелилась рассказать вам все это? Несмотря даже на то, что вы врач.

Миссис Дэвидсон пожирала его глазами. Она жаждала убедиться, что достигла желаемого эффекта.

— Не удивительно, что вначале у нас просто опустились руки. Не знаю, поверите ли вы, когда я скажу, что во всех деревнях нельзя было отыскать ни одной порядочной девушки.

Она употребила слово «девушка» в строго техническом значении.

— Мы с мистером Дэвидсоном обсудили положение и решили, что в первую очередь надо положить конец танцам. Эти туземцы жить не могли без танцев.

— В молодости я и сам был не прочь поплясать,— сказал доктор Макфейл.

— Я так и подумала вчера вечером, когда вы пригласили миссис Макфейл на тур вальса. Я не вижу особого вреда в том, что муж танцует с женой, но все же я была рада, когда она отказалась. Я считаю, что при данных обстоятельствах нам лучше держаться особняком.

— При каких обстоятельствах?

Миссис Дэвидсон бросила на него быстрый взгляд сквозь пенсне, но не ответила.

— Впрочем, у белых это не совсем то,— продолжала она,— хотя я вполне согласна с мистером Дэвидсоном, когда он говорит, что не понимает человека, который может спокойно стоять и смотреть, как его жену обнимает чужой мужчина, и я лично ни разу не танцевала с тех пор, как вышла замуж. Но туземные танцы — совсем другое дело. Они не только сами безнравственны, они совершенно очевидно приводят к безнравственности. Однако, благодарение Богу, мы с ними покончили, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что в нашем округе уже восемь лет, как танцев нет и в помине.

Пароход приблизился ко входу в бухту, и миссис Макфейл тоже поднялась на палубу. Круто повернув, пароход медленно вошел в гавань. Это была большая, почти замкнутая бухта, в которой мог свободно поместиться целый флот, а вокруг нее уходили ввысь крутые зеленые горы. У самого пролива, там, куда с моря еще достигал бриз, виднелся окруженный садом дом губернатора. С флагштока лениво свисал американский флаг. Они проплыли мимо двух-трех аккуратных бунгало и теннисного корта и причалили к застроенной складами пристани. Миссис Дэвидсон показала Макфейлам стоявшую ярдах в трехстах от пирса шхуну, на



которой им предстояло отправиться в Апию. По пристани оживленно сновали веселые добродушные туземцы, собравшиеся со всего острова, кто — поглазеть, а кто — продать что-нибудь пассажирам, направляющимся дальше, в Сидней; они наперебой предлагали ананасы, огромные связки бананов, циновки, ожерелья из раковин или зубов акулы, чаши для кавы<sup>1</sup> и модели военных пирог. Среди них бродили аккуратные, подтянутые американские моряки с бритыми веселыми лицами; в стороне стояла кучка портовых служащих. Пока выгружали багаж, Макфейлы и миссис Дэвидсон разглядывали толпу. Доктор Макфейл смотрел на кожу детей и подростков, пораженную фрамбезией — уродливыми болячками, напоминавшими застарелые язвы, и его глаза заблестели от профессионального интереса, когда он впервые в жизни увидел больных слоновой болезнью — огромные бесформенные руки, чудовищные волочащиеся ноги. И мужчины и женщины были в лава-лава.

— Очень неприличный костюм, — сказала миссис Дэвидсон. — Мистер Дэвидсон считает, что его необходимо запретить в законодательном порядке. Как можно требовать от людей нравственности, если они носят только красную тряпку на чреслах?

— Костюм весьма подходящий для здешнего климата, — отозвался доктор, вытирая пот со лба.

Здесь, на суше, жара, несмотря на ранний час, была невыносимой. Закрытый со всех сторон горами, Паго-Паго задышался.

— На наших островах, — продолжала миссис Дэвидсон своим пронзительным голосом, — мы практически искоренили лава-лава. В них ходят только несколько стариков. Все женщины носят длинные балахоны, а мужчины — штаны и рубашки. В самом начале нашего пребывания там мистер Дэвидсон написал в одном из отчетов: «Обитатели этих островов по-настоящему проникнутся христианским духом только тогда, когда всех мальчиков старше десяти лет заставят носить штаны».

Миссис Дэвидсон птичьим движением повернула голову и взглянула на тяжелые серые тучи, которые, клубясь, поднимались над входом в бухту. Упали первые капли дождя.

— Нам лучше где-нибудь укрыться, — сказала она.

Они последовали за толпой под большой навес из волнистого железа, и тут же начался ливень. Через некоторое

---

<sup>1</sup> Опьяняющий напиток; готовится из корней растения кава — разновидности перца.

время к ним присоединился мистер Дэвидсон. Правда, на пароходе он несколько раз вежливо беседовал с Макфейлами, но, не разделяя любви своей жены к обществу, большую часть времени проводил за чтением. Это был молчаливый, мрачный человек, и чувствовалось, что, стараясь быть любезным, он только выполняет возложенный на себя долг христианина; характер у него был замкнутый, чтобы не сказать — угрюмый. Его внешность производила странное впечатление. Он был очень высок и тощ, с длинными, словно развинченными руками и ногами, впалыми щеками и торчащими скулами; при такой худобе его полные чувственные губы казались особенно неожиданными. Он носил длинные волосы. Его темные, глубоко посаженные глаза были большими и печальными, а красивые руки с длинными пальцами говорили о большой физической силе. Но особенно поражало вызываемое им ощущение скрытого и сдерживаемого огня. В нем было что-то грозное и смутно тревожащее. Это был человек, с которым дружеская близость невозможна.

Теперь он принес неприятную новость. На острове свирепствует корь — болезнь для канаков очень серьезная и часто смертельная, — и один из матросов шхуны, на которой они должны были плыть дальше, тоже заболел. Его свезли на берег и положили в карантинное отделение госпиталя, но из Апии по телеграфу отказались принять шхуну, пока не будет установлено, что больше никто из команды не заразился.

— Это означает, что нам придется пробыть здесь не меньше десяти дней.

— Но ведь меня ждут в Апии, — сказал доктор Макфейл.

— Ничего не поделаешь. Если на шхуне больше никто не заболит, ей разрешат отплыть с белыми пассажирами, туземцам же всякие плаванья запрещены на три месяца.

— Здесь есть отель? — спросила миссис Макфейл.

— Нет, — с тихим смешком ответил Дэвидсон.

— Так что же нам делать?

— Я уже говорил с губернатором. На приморском шоссе живет торговец, который сдает комнаты, и я предлагаю, как только кончится дождь, пойти посмотреть, нельзя ли там устроиться. Особых удобств не ждите. Нам повезет, если мы найдем себе постели и крышу над головой.

Но дождь все не ослабевал, и в конце концов они тронулись в путь, накинув плащи и раскрыв зонтики. Поселок состоял из нескольких казенных зданий, двух лавчонок

и кучки туземных хижин, ютившихся среди плантаций и кокосовых пальм. Дом, о котором шла речь, находился в пяти минутах ходьбы от пристани. Это был стандартный дом в два этажа, с большой верандой на каждом и с крышей из волнистого железа. Его владелец, метис по фамилии Хорн, женатый на туземке, вечно окруженный смуглыми детишками, торговал в лавке на нижнем этаже консервами и ситцем. В комнатах, которые он им показал, почти не было мебели. У Макфейлов стояла только старая расшатанная кровать под рваной москитной сеткой, колченогий стул и умывальник. Они оглядывались по сторонам в полном унынии. Дождь все лил и лил, не переставая.

— Я достану только самое необходимое, — сказала миссис Макфейл.

Когда она распаковывала чемодан, в комнату вошла миссис Дэвидсон, полная обычной кипучей энергии. Безрадостная обстановка совершенно на нее не подействовала.

— Я посоветовала бы вам как можно скорее взять иголку и заняться починкой москитной сетки, — сказала она, — иначе вы всю ночь не сомкнете глаз.

— А здесь много москитов? — спросил доктор Макфейл.

— Сейчас как раз сезон для них. Когда вас пригласят в Апии на вечер к губернатору, вы увидите, что всем дамам дают наволочки, чтобы они могли укрыть в них свои... свои нижние конечности.

— Ах, если бы этот дождь прекратился хоть на минуту! — сказала миссис Макфейл. — При солнце мне было бы веселее наводить здесь уют.

— Ну, если вы собираетесь ждать солнца, вам придется ждать долго. Паго-Паго — пожалуй, самое дождливое место на всем Тихом океане. Видите ли, горы и бухта притягивают влагу, а кроме того, сейчас вообще время дождей.

Она взглянула поочередно на Макфейла и на его жену, стоявших с потерянным видом в разных концах комнаты, и поджала губы. Она чувствовала, что ей придется за них взяться. Такая беспомощность вызывала в ней только раздражение, но при виде беспорядка у нее всегда начинали чесаться руки.

— Вот что: дайте мне иголку с ниткой, и я заштопаю вашу сетку, пока вы будете распаковывать вещи. Обед подадут в час. Доктор, вам следовало бы сходить на пристань приглядеть, чтобы ваш багаж убрали в сухое помещение. Вы же знаете, что такое туземцы, — они вполне способны сложить вещи там, где их будет поливать дождь.

Доктор снова надел плащ и спустился по лестнице. В дверях стоял мистер Хорн. Он разговаривал с боцманом привезшего их парохода и пассажиркой второго класса, которую доктор Макфейл несколько раз видел во время плавания. Боцман, приземистый, сморщенный и необыкновенно грязный человек, кивнул ему, когда он проходил мимо.

— Скверное дело вышло с корью, а, доктор? — сказал он. — Вы как будто уже устроились?

Доктор Макфейл подумал, что боцман слишком фамильярен, но он был застенчив, да и обижаться было не в его характере.

— Да, мы сняли комнату на втором этаже.

— Мисс Томпсон собирается плыть с вами в Апию, вот я и привел ее сюда.

Боцман указал большим пальцем на свою спутницу. Это была женщина лет двадцати семи, полная, с красивым, но грубым лицом, в белом платье и большой белой шляпе. Ее толстые икры, обтянутые белыми бумажными чулками, нависали над верхом белых лакированных сапожек. Она заискивающе улыбнулась Макфейлу.

— Этот типчик хочет содрать с меня полтора доллара в день за какую-то конуру, — сказала она хриплым голосом.

— Послушай, Джо, я же тебе говорю, что она моя хорошая знакомая, — сказал боцман, — и больше доллара в день платить не может, ну и нечего тебе запрашивать больше.

Торговец был жирный, любезный и всегда улыбался.

— Ну, если вы так ставите вопрос, мистер Суон, я посмотрю, нельзя ли что-нибудь устроить. Я поговорю с миссис Хорн, и если мы решим, что можно сделать скидку, то сделаем.

— Со мной этот номер не пройдет, — сказала мисс Томпсон. — Мы покончим все дело сейчас. Я плачу за вашу клетушку доллар в день и ни шиша больше.

Доктор Макфейл улыбнулся. Его восхитила наглость, с какой она торговалась. Сам он был из тех людей, которые всегда платят столько, сколько с них требуют. Он предпочитал переплачивать, лишь бы не торговаться. Хорн вздохнул.

— Хорошо, ради мистера Суона я согласен.

— Вот это разговор, — сказала мисс Томпсон. — Ну, так заходите, и вспрыснем это дело. Берите мой чемоданчик, мистер Суон, в нем найдется неплохое виски. Заходите и вы, доктор.

— Благодарю вас, но мне придется отказаться,— ответил он.— Я иду на пристань приглядеть за багажом.

Он вышел под дождь. Над бухтой пронеслись косые полосы ливня, и противоположного берега почти не было видно. Навстречу ему попались несколько туземцев, одетых только в лава-лава; в руках у них были большие зонты. Они держались прямо, и их неторопливая походка была очень красива; проходя мимо, они улыбались ему и здоровались с ним на непонятном языке.

Он вернулся к самому обеду; стол для них был накрыт в гостиной торговца. Это была парадная комната, которой пользовались только в торжественных случаях, и вид у нее был нежилой и грустный. Вдоль стен были аккуратно расставлены стулья, обитые узорным плюшем, а на потолке висела позолоченная люстра, завернутая от мух в пожелтевшую папиросную бумагу. Дэвидсона не было.

— Он пошел с визитом к губернатору,— объяснила миссис Дэвидсон,— и его, наверное, оставили там обедать.

Маленькая девочка-туземка внесла блюдо рубленых бифштексов, а через некоторое время в комнату вошел сам хозяин, чтобы узнать, всем ли они довольны.

— Кажется, у нас появилась новая соседка, мистер Хорн? — сказал доктор Макфейл.

— Она только сняла комнату,— ответил торговец.— Столоваться она у меня не будет.

Он поглядел на обеих женщин с просительной улыбкой.

— Я поместил ее внизу, чтобы она вам не мешала. Она вас не побеспокоит.

— Она приехала на нашем пароходе? — спросила миссис Макфейл.

— Да, мэм, во втором классе. Она едет в Апию. Получила там место кассирши.

— А!

Когда торговец ушел, Макфейл сказал:

— Ей, наверно, скучно обедать одной у себя в комнате.

— Если она ехала вторым классом, то, надо полагать, это ее вполне устраивает,— сказала миссис Дэвидсон.— Я не совсем представляю себе, кто бы это мог быть.

— Я проходил мимо, когда боцман привел ее сюда. Ее фамилия Томпсон.

— Не она ли вчера танцевала с боцманом? — спросила миссис Дэвидсон.

— Пожалуй,— сказала миссис Макфейл.— Я еще тогда подумала: кто она такая? Она показалась мне чересчур развязной.

— Да, ничего хорошего,— согласилась миссис Дэвидсон.

Они заговорили о другом, а после обеда разошлись, чтобы вздремнуть, так как утром встали непривычно рано. Когда они проснулись, небо было по-прежнему затянуто серыми тучами, но дождь перестал, и они решили пройтись по шоссе, которое американцы провели вдоль берега бухты.

Когда они вернулись, их встретил Дэвидсон — он тоже только что вошел в дом.

— Нас могут задержать здесь на две недели,— недовольно сказал он.— Я возражал, но губернатор говорит, что ничего сделать нельзя.

— Мистеру Дэвидсону не терпится вернуться к своей работе,— сказала его жена, обеспокоенно поглядев на него.

— Мы отсутствовали целый год,— объяснил он, меряя шагами веранду.— Миссия оставлена на миссионеров-туземцев, и я очень боюсь, что они все запустили. Это весьма достойные люди, я ни в чем не могу их упрекнуть: богобоязненные, благочестивые, истинные христиане — их христианство посрамило бы многих и многих так называемых христиан у нас на родине,— но до крайности бездеятельные. Они могут проявить твердость один раз, два раза, но быть твердыми всегда они не могут. Когда оставляешь миссию на миссионера-туземца, то, каким бы надежным он ни был, через некоторое время непременно начнутся злоупотребления.

Мистер Дэвидсон остановился у стола. Его высокая сухопарая фигура и бледное лицо с огромными сверкающими глазами были очень внушительны, пламенные жесты и звучный низкий голос дышали глубочайшей искренностью.

— Я знаю, что мне предстоит большая работа. Я стану действовать — и действовать безотлагательно. Если дерево сгнило, оно будет срублено и предано огню.

А вечером, после заменявшего ужин позднего чая, пока они сидели в чопорной гостиной — дамы с вязаньем, а доктор с трубкой,— миссионер рассказал им о своей работе на островах.

— Когда мы приехали туда, они совершенно не понимали, что такое грех,— говорил он.— Они нарушали заповеди одну за другой, не сознавая, что творят зло. Я бы сказал, что самой трудной задачей, стоявшей передо мной, было привить туземцам понятие о грехе.

Макфейлы уже знали, что Дэвидсон провел пять лет на Соломоновых островах еще до того, как познакомился со

своей будущей женой. Она была миссионером в Китае, и они встретились в Бостоне, куда приехали во время отпуска на съезд миссионеров. После брака они получили назначение на эти острова, где и трудились с тех пор на ниве Господней.

Разговаривая с мистером Дэвидсоном, доктор и его жена каждый раз удивлялись мужеству и упорству этого человека. Он был не только миссионером, но и врачом, и его помощь в любое время могла потребоваться на том или ином острове. В сезон дождей даже вельбот — ненадежное средство передвижения по бушующим валам Тихого океана, а за ним часто присылали просто пирогу, и тогда опасность бывала очень велика. Если его звали к больному или раненому, он никогда не колебался. Десятки раз ему приходилось всю ночь напролет вычерпывать воду, чтобы избежать гибели, и порою миссис Дэвидсон уже теряла надежду вновь его увидеть.

— Иногда я просто умоляю его не ездить, — сказала она, — или хотя бы подождать, пока море немного утихнет, но он ничего не слушает. Он упрям, и если уж примет решение, его ничто не может остановить.

— Как мог бы я учить туземцев уповать на Господа, если бы сам страшился уповать на Него? — вскричал Дэвидсон. — Но я не страшусь, не страшусь. Присылая за мной в час беды, они знают, что я приеду, если это в человеческих силах. И неужели вы думаете, что Господь оставит меня, когда я творю волю Его? Ветер дует по Его велению, и бурные волны вздымаются по Его слову.

Доктор Макфейл был робким человеком. Он так и не сумел привыкнуть к визгу шрапнели над окопами, и когда он оперировал раненых на передовых позициях, по его лбу, затуманивая очки, катился пот — с таким напряжением старался он унять дрожь в своих руках. Он поглядел на миссионера с легким трепетом.

— Я был бы рад, если бы мог сказать, что никогда не боялся.

— Я был бы рад, если бы вы могли сказать, что верите в Бога, — возразил Дэвидсон.

Почему-то в этот вечер мысли миссионера то и дело возвращались к первым дням их пребывания на островах.

— Порой мы с миссис Дэвидсон смотрели друг на друга, а по нашим щекам текли слезы. Мы работали без усталости дни и ночи напролет, но труд наш, казалось, не приносил плодов. Я не знаю, что бы я делал без нее. Когда у меня опускались руки, когда я был готов от-

чаяться, она ободряла меня и поддерживала во мне мужество.

Миссис Дэвидсон потупила глаза на вязанье, и ее худые щеки слегка порозовели. От избытка чувств она не могла говорить.

— Нам не от кого было ждать помощи. Мы были одни среди тьмы, и тысячи миль отделяли нас от людей, близких нам по духу. Когда уныние и усталость овладевали мной, она откладывала свою работу, брала Библию и читала мне, и мир нисходил в мою душу, как сон на глаза младенца, а закрыв наконец священную книгу, она говорила: «Мы спасем их вопреки им самим». И я чувствовал, что Господь снова со мной, и отвечал: «Да, с Божьей помощью я спасу их. Я должен их спасти».

Он подошел к столу и стал перед ним, словно перед аналоем.

— Видите ли, безнравственность была для них так привычна, что невозможно было объяснить им, как дурно они поступают. Нам приходилось учить их, что поступки, которые они считали естественными,—грех. Нам приходилось учить их, что не только прелюбодеяние, ложь и воровство — грех, но что грешно обнажать свое тело, плясать, не посещать церкви. Я научил их, что девушке грешно показывать грудь, а мужчине грешно ходить без штанов.

— Как вам это удалось? — с некоторым удивлением спросил доктор Макфейл.

— Я учредил штрафы. Ведь само собой разумеется, что единственный способ заставить человека понять греховность какого-то поступка — наказывать его за этот поступок. Я штрафовал их, если они не приходили в церковь, и я штрафовал их, если они плясали. Я штрафовал их, если их одежда была неприлична. Я установил тариф, и за каждый грех приходилось платить деньгами или работой. И в конце концов я заставил их понять.

— И они ни разу не отказались платить?

— А как бы они это сделали? — спросил миссионер.

— Надо быть большим храбрецом, чтобы осмелиться противоречить мистеру Дэвидсону,— сказала его жена, поджимая губы.

Доктор Макфейл тревожно поглядел на Дэвидсона. То, что он услышал, глубоко возмутило его, но он не решился высказать свое неодобрение вслух.

— Не забывайте, что в качестве последней меры я мог исключить их из церковной общины.

— А они принимали это близко к сердцу?



Дэвидсон слегка улыбнулся и потер руки.

— Они не могли продавать копру. И не имели доли в общем улове. В конечном счете это означало голодную смерть. Да, они принимали это очень близко к сердцу.

— Расскажи ему про Фреда Олсона,— сказала миссис Дэвидсон.

Миссионер устремил свои горящие глаза на доктора Макфейла.

— Фред Олсон был датским торговцем и много лет прожил на наших островах. Для торговца он был довольно богат и не слишком-то обрадовался нашему приезду. Понимаете, он привык делать там все, что ему заблагорассудится. Туземцам за их копру он платил, сколько хотел, и платил товарами и спиртными напитками. Он был женат на туземке, но открыто изменял ей. Он был пьяницей. Я дал ему возможность исправиться, но он не воспользовался ею. Он высмеял меня.

Последние слова Дэвидсон произнес глубоким басом и минуты две молчал. Наступившая тишина была полна угрозы.

— Через два года он был разорен. Он потерял все, что накопил за двадцать пять лет. Я сломил его, и, в конце концов, он был вынужден прийти ко мне, как нищий, и просить у меня денег на проезд в Сидней.

— Видели бы вы его, когда он пришел к мистеру Дэвидсону,— сказала жена миссионера.— Прежде это был крепкий, бодрый мужчина, очень толстый и шумный; а теперь он исхудал как щепка и весь трясся. Он сразу стал стариком.

Дэвидсон невидящим взглядом посмотрел за окно во мглу. Снова лил дождь.

Вдруг внизу раздались какие-то звуки, и Дэвидсон, повернувшись, вопросительно поглядел на жену. Там громко и хрипло запел граммофон, выкашливая разухабистый мотив.

— Что это? — спросил миссионер.

Миссис Дэвидсон поправила пенсене.

— Одна из пассажирок второго класса сняла здесь комнату. Наверное, это у нее.

Они замолкли, прислушиваясь, и вскоре слышали шарканье — внизу танцевали. Затем музыка прекратилась, и до них донеслись оживленные голоса и хлопанье пробок.

— Должно быть, она устроила прощальный вечер для своих знакомых с парохода,— сказал доктор Макфейл.— Он, кажется, отходит в двенадцать?

Дэвидсон ничего не ответил и поглядел на часы.

— Ты готова? — спросил он жену.

Она встала и свернула вязанье.

— Да, конечно.

— Но ведь сейчас рано ложиться? — заметил доктор.

— Нам еще надо заняться чтением, — объяснила миссис Дэвидсон. — Где бы мы ни были, мы всегда перед сном читаем главу из Библии, разбираем ее со всеми комментариями и подробно обсуждаем. Это замечательно развивает ум.

Супружеские пары пожелали друг другу спокойной ночи. Доктор и миссис Макфейл остались одни. Несколько минут они молчали.

— Я, пожалуй, схожу за картами, — сказал наконец доктор.

Миссис Макфейл посмотрел на него с некоторым сомнением. Разговор с Дэвидсонами оставил у нее неприятный осадок, но она не решалась сказать, что, пожалуй, не стоит садиться за карты, когда Дэвидсоны в любую минуту могут войти в комнату. Доктор Макфейл принес свою колоду, и его жена, почему-то чувствуя себя виноватой, стала смотреть, как он раскладывает пасьянс. Снизу по-прежнему доносился шум веселья.

На следующий день немного прояснилось, и Макфейлы, осужденные на две недели безделья в Паго-Паго, принялись устраиваться. Они сходили на пристань, чтобы достать из своих чемоданов книги. Доктор нанес визит главному врачу флотского госпиталя и сопровождал его при обходе. Они оставили свои визитные карточки у губернатора. На шоссе они повстречали мисс Томпсон. Доктор снял шляпу, а она громко и весело крикнула ему: «С добрым утром, доктор!» Как и накануне, она была в белом платье, и ее лакированные белые сапожки на высоких каблуках и толстые икры, нависающие над их верхом, как-то не вязались с окружающей экзотической природой.

— Признаться, я не сказала бы, что ее костюм вполне уместен, — заметила миссис Макфейл. — По-моему, она очень вульгарна.

Когда они вернулись домой, мисс Томпсон играла на веранде с темнокожим сынишкой торговца.

— Поговори с ней, — шепнул доктор жене. — Она здесь совсем одна, и просто нехорошо ее игнорировать.

Миссис Макфейл была застенчива, но она привыкла слушаться мужа.

— Если не ошибаюсь, мы соседи, — сказала она довольно неуклюже.

— Просто жуть застрять в такой дыре, верно? — ответила мисс Томпсон. — И я слыхала, что мне еще повезло с этой комнатенкой. Я бы не хотела жить в туземной хибаре, а кое-кому приходится попробовать и этого. Не понимаю, почему здесь не заведут гостиницы.

Их разговор продолжался недолго. Мисс Томпсон, громкоголосая и словоохотливая, явно была склонна поболтать, но миссис Макфейл быстро истощила свой небогатый запас общих фраз и сказала:

— Пожалуй, нам пора домой.

Вечером, когда они собрались за чаем, Дэвидсон, входя, сказал:

— Я заметил, что у этой женщины внизу сидят двое матросов. Непонятно, когда она успела с ними познакомиться.

— Она, кажется, не очень разборчива, — отозвалась миссис Дэвидсон.

Все они чувствовали себя усталыми после пустого, бестолкового дня.

— Если нам придется провести так еще две недели, не знаю, что с нами будет, — сказал доктор Макфейл.

— Необходимо заполнить день различными занятиями, распределенными по строгой системе, — ответил миссионер. — Я отведу определенное число часов на серьезное чтение, определенное число часов на прогулки, какова бы ни была погода — в дождливый сезон не приходится обращать внимание на сырость, — и определенное число часов на развлечения.

Доктор Макфейл поглядел на своего собеседника со страхом. Планы Дэвидсона подействовали на него угнетающе. Они снова ели рубленые бифштексы. По-видимому, повар не умел готовить ничего другого. Затем внизу заиграл граммофон. Дэвидсон нервно вздрогнул, но ничего не сказал. Послышались мужские голоса — гости мисс Томпсон подхватили припев. А вскоре зазвучал и ее голос, громкий и сиплый. Раздались веселые крики и смех. Четверо наверху старались поддерживать разговор, но невольно прислушивались к звяканью стаканов и шуму сдвигаемых стульев. Очевидно, пришли еще гости. Мисс Томпсон устраивала вечеринку.

— Как только они там помещаются? — неожиданно сказала миссис Макфейл, перебивая своего мужа и миссионера, которые обсуждали какую-то медицинскую проблему.

Эти слова выдали, о чем она думала все время. Дэвидсон поморщился, и стало ясно, что, хотя он говорил о науке, его

мысли работали в том же направлении. Вдруг, прервав доктора, который довольно вяло рассказывал о случае из своей фронтовой практики во Фландрии, он вскочил на ноги с громким восклицанием.

— Что случилось, Альфред? — спросила миссис Дэвидсон.

— Ну, конечно же! Как я сразу не понял? Она из Иуэлей.

— Не может быть.

— Она села на пароход в Гонолулу. Нет, это несомненно. И она продолжает заниматься своим ремеслом здесь. Здесь!

Последнее слово он произнес со страстным возмущением.

— А что такое Иуэлей? — спросила миссис Макфейл.

Сумрачные глаза Дэвидсона обратились на нее, и его голос дрогнул от отвращения.

— Чумная язва Гонолулу. Квартал красных фонарей. Это было позорное пятно на нашей цивилизации.

Иуэлей находился на окраине города. Вы пробирались в темноте боковыми улочками мимо порта, переходили шаткий мостик, попадали на заброшенную дорогу, всю в рытвинах и ухабах, и затем вдруг оказывались в полосе яркого света. По обеим сторонам дороги тянулись стоянки для машин, блестели витрины табачных лавок и парикмахерских, сияли огнями и позолотой бары, в которых гремели пианолы. Всюду чувствовалось лихорадочное веселье и напряженное ожидание. Вы сворачивали в один из узких проулков направо или налево — дорога делила Иуэлей пополам — и оказывались внутри квартала. Вдоль широких и прямых пешеходных дорожек тянулись домики, аккуратно выкрашенные в зеленый цвет. Квартал был распланирован как дачный поселок. Эта респектабельная симметрия, чистота и щеголеватость выглядели отвратительной насмешкой — никогда еще поиски любви не были столь систематизированы и упорядочены. Несмотря на горевшие там и сям фонари, дорожки были бы погружены во мрак, если бы не свет, падавший на них из открытых окон зеленых домиков. По дорожкам прогуливались мужчины, разглядывая женщин, сидевших у окон с книгой или шитьем и чаще всего не обращавших на прохожих ни малейшего внимания. Как и женщины, мужчины принадлежали ко всевозможным национальностям. Среди них были американские матросы с пароходов, стоявших в порту; военные моряки с канонерок, пьяные и угрюмые; белые и черные

солдаты из расположенных на острове частей; японцы, ходившие по двое и по трое; канаки; китайцы в длинных халатах и филиппинцы в нелепых шляпах. Все они были молчаливы и словно угнетены. Желание всегда печально.

— На всем Тихом океане не было более вопиющей мерзости,— почти кричал Дэвидсон.— Миссионеры много лет выступали с протестами, и наконец за дело взялась местная пресса. Полиция не желала ударить палец о палец. Вы знаете их обычную отговорку. Они заявляют, что порок неизбежен и, следовательно, самое лучшее, когда он локализован и находится под контролем. Просто им платили. Да, платили. Им платили хозяева баров, платили содержатели притонов, платили сами женщины. В конце концов, они все-таки были вынуждены принять меры.

— Я читал об этом в газетах, которые пароход взял в Гонолулу — сказал доктор Макфейл.

— Иуэлей, это скопище греха и позора, перестал существовать в день нашего прибытия туда. Все его обитатели были переданы в руки властей. Не понимаю, как я сразу не догадался, кто такая эта женщина.

— Теперь, когда вы об этом заговорили,— сказала миссис Макфейл,— я вспоминаю, что она поднялась на борт за несколько минут до отплытия. Помню, я еще подумала, что она поспела как раз вовремя.

— Как она смела явиться сюда! — негодуя вскричал Дэвидсон.— Я этого не потерплю!

Он решительно направился к двери.

— Что вы собираетесь делать? — спросил Макфейл.

— А что мне остается? Я собираюсь положить этому конец. Я не позволю превращать этот дом в... в...

Он искал слово, которое не оскорбило бы слуха дам. Его глаза сверкали, а бледное лицо от волнения побледнело еще больше.

— Судя по шуму, там не меньше четырех мужчин,— сказал доктор.— Не кажется ли вам, что идти туда сейчас не совсем безопасно?

Миссионер бросил на него взгляд, исполненный презрения, и, не говоря ни слова, стремительно вышел из комнаты.

— Вы плохо знаете мистера Дэвидсона, если думаете, что страх перед грозящей ему опасностью может помешать ему исполнить свой долг,— сказала миссис Дэвидсон.

На ее скулах выступили красные пятна; она нервно сжимала руки, прислушиваясь к тому, что происходило внизу. Они все прислушивались. Они услышали, как он сбегал по деревянным ступенькам и распахнул дверь. Пе-

ние мгновенно смолкло, но граммофон все еще продолжал завывать пошлые куплеты. Они услышали голос Дэвидсона и затем звук падения какого-то тяжелого предмета. Музыка оборвалась. Очевидно, он сбросил граммофон на пол. Затем они опять услышали голос Дэвидсона — слов они разобрать не могли, — затем голос мисс Томпсон, громкий и визгливый, затем нестройный шум, словно несколько человек кричали разом во всю глотку. Миссис Дэвидсон судорожно вздохнула и еще крепче стиснула руки. Доктор Макфейл растерянно поглядывал то на нее, то на жену. Ему не хотелось идти вниз, но он опасался, что они ждут от него именно этого. Затем послышалась какая-то возня. Шум стал теперь более отчетливым. Возможно, Дэвидсона тащили из комнаты. Хлопнула дверь. Наступила тишина, и они услышали, что Дэвидсон поднимается по лестнице. Он прошел в свою комнату.

— Пожалуй, я пойду к нему, — сказала миссис Дэвидсон.

Она встала и вышла из комнаты.

— Если я вам понадобится, позовите меня, — сказала миссис Макфейл и, когда жена миссионера закрыла за собой дверь, прибавила: — Надеюсь, с ним ничего не случилось.

— И что он суется не в свое дело? — сказал доктор Макфейл.

Они просидели несколько минут в молчании, и вдруг оба вздрогнули: внизу снова вызывающе завопил граммофон и хриплые голоса принялись с издевкой выкрикивать непристойную песню.

На следующее утро миссис Дэвидсон была бледна. Она жаловалась на головную боль и выглядела постаревшей. Она сказала миссис Макфейл, что миссионер всю ночь не сомкнул глаз и был страшно возбужден, а в пять часов встал и ушел из дому. Во время вчерашнего столкновения его облили пивом, и вся его одежда была в пятнах и дурно пахла. Но когда миссис Дэвидсон заговорила о мисс Томпсон, в ее глазах вспыхнул мрачный огонь.

— Она горько пожалеет о том дне, когда надсмехалась над мистером Дэвидсоном, — сказала она. — У мистера Дэвидсона чудесное сердце, и не было человека, который, придя к нему в час нужды, ушел бы неутешенным, но он беспощаден к греху, и его праведный гнев бывает ужасен.

— А что он сделает? — спросила миссис Макфейл.

— Не знаю, но ни за какие сокровища мира не захотела бы я очутиться на месте этой твари.

Миссис Макфейл поежилась. В торжествующей уверенности маленькой миссис Дэвидсон было что-то пугающее. Они собирались в это утро совершить прогулку и вместе спустились по лестнице. Дверь в нижнюю комнату была открыта, и они увидели мисс Томпсон в замызганном халате — она что-то разогревала на жаровне.

— Доброе утро! — окликнула она их. — Как мистер Дэвидсон? Ему полегчало?

Они прошли мимо молча, подняв головы, словно не замечая ее. Но когда она насмешливо захохотала, обе покраснели. Миссис Дэвидсон не выдержала и обернулась.

— Не смейте заговаривать со мной, — взвизгнула она. — Если вы посмеете меня оскорбить, вас вышвырнут отсюда.

— Я ведь не приглашала мистера Дэвидсона навестить меня, как по-вашему?

— Не отвечайте ей, — поспешно прошептала миссис Макфейл.

Они заговорили только тогда, когда она уже не могла их услышать.

— Бесстыжая дрянь! — вырвалось у миссис Дэвидсон.

Она задыхалась от ярости.

Возвращаясь с прогулки, они встретили мисс Томпсон, которая шла в сторону набережной. Она была в своем обычном одеянии. Огромная белая шляпа с безвкусыми яркими цветами была оскорбительна. Проходя мимо, мисс Томпсон весело окликнула их, и два американских матроса, стоявшие неподалеку, широко ухмыльнулись, когда дамы ответили ей ледяным взглядом. Едва они добрались до дому, как снова пошел дождь.

— Надо полагать, ее наряд порядком пострадает, — сказала миссис Дэвидсон со жгучим сарказмом.

Дэвидсон пришел, когда они уже доедали обед. Он промок насквозь, но не захотел переодеться. Он сидел в угрюмом молчании, почти не прикоснувшись к еде, и не отрываясь следил за косыми струями дождя. Когда миссис Дэвидсон рассказала ему о двух встречах с мисс Томпсон, он ничего не ответил. Только по его еще более помрачневшему лицу можно было догадаться, что он ее слышал.

— Как вы думаете, не следует ли потребовать, чтобы мистер Хорн выселил ее? — спросила миссис Дэвидсон. — Нельзя же допускать, чтобы она над нами издевалась.

— Но ведь ей больше некуда идти, — сказал доктор.

— Она может поселиться у какого-нибудь туземца.

— В такую погоду туземная хижина — вряд ли удобное жилье.

— Я много лет жил в туземной хижине,— сказал миссионер.

Когда темнокожая девочка принесла печеные бананы — их ежедневный десерт,— мистер Дэвидсон обратился к ней:

— Узнайте у мисс Томпсон, когда я могу к ней зайти.

Девочка робко кивнула и вышла.

— Зачем тебе нужно заходить к ней, Альфред? — спросила его жена.

— Это мой долг. Я ничего не хочу предпринимать, пока не дам ей возможности вернуться на путь истинный.

— Ты ее не знаешь. Она тебя оскорбит.

— Пусть оскорбляет. Пусть плюет на меня. У нее есть бессмертная душа, и я должен сделать все, что в моих силах, чтобы спасти ее.

В ушах миссис Дэвидсон все еще звучал насмешливый хохот проститутки.

— Она пала слишком низко.

— Слишком низко для милосердия Божьего? — Его глаза неожиданно засияли, а голос стал мягким и нежным.— О нет. Пусть грешник погряз в грехе более черном, чем сама пучина ада, но любовь Господа нашего Иисуса все же достигнет до него.

Девочка вернулась с ответом.

— Мисс Томпсон приказала кланяться, и если только преподобный Дэвидсон придет не в рабочие часы, она будет рада видеть его в любое время.

Эти слова были встречены гробовым молчанием. Доктор поспешил подавить улыбку — он знал, что его жене не понравится, если он сочтет наглость мисс Томпсон забавной.

До конца обеда все молчали. Потом дамы взяли свое вязанье (миссис Макфейл трудилась над очередным шарфом — с начала войны она связала их бесчисленное множество), а доктор закурил трубку. Но Дэвидсон продолжал сидеть неподвижно и только рассеянно глядел на стол. Через некоторое время он поднялся и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Они слышали его шаги на лестнице и вызывающее «войдите», которым мисс Томпсон ответила на его стук. Он оставался у нее около часа. А доктор Макфейл смотрел в окно. Этот дождь начинал действовать ему на нервы. Он не был похож на английский дождик, который мягко шелестит по траве: он был беспощаден и страшен, в нем чувствовалась злоба первобытных сил природы. Он не лил, он рушился. Казалось, хляби небесные разверзлись; он стучал по железной крыше с упорной



настойчивостью, которая сводила с ума. В нем была за- таенная ярость. Временами казалось, что еще немного — и вы начнете кричать; а потом вдруг наступала страшная слабость — словно все кости размягчались, — и вас охва- тывала безнадежная тоска.

Когда миссионер снова вошел в гостиную, Макфейл повернул к нему голову и обе женщины подняли глаза от рукоделия.

— Я сделал все, что мог. Я призывал ее раскаяться. Она закоснела во зле.

Он умолк, и доктор Макфейл увидел, как его гла- за потемнели, а бледное лицо стало суровым и непре- клонным.

— Теперь я возьму бич, которым Господь наш Иисус выгнал продающих и покупающих из храма Всевышнего.

Он начал ходить взад и вперед по комнате. Его рот был крепко сжат, черные брови сдвинуты.

— Если бы она скрылась на краю света, я и там настиг бы ее.

Вдруг он резко повернулся и вышел. Они услышали, как он снова спустился вниз.

— Что он собирается делать? — спросила миссис Мак- фейл.

— Не знаю. — Миссис Дэвидсон сняла пенсне и протер- ла стекла. — Когда он трудится во славу Божию, я не задаю ему вопросов.

Она вздохнула.

— Что с вами?

— Он себя убивает. Он не знает, что значит щадить себя.

О первых результатах деятельности миссионера доктор Макфейл узнал от метиса-торговца, в доме которого они жили. Он окликнул доктора, когда тот проходил мимо лавки, и вышел на крыльцо поговорить с ним. На его жирном лице была тревога.

— Преподобный Дэвидсон напустился на меня за то, что я сдал комнату мисс Томпсон, — сказал он. — Но ведь я же не знал, кто она, когда договаривался с ней. Если люди хотят снять у меня комнату, я интересуюсь только одним — есть ли у них чем платить.

А она заплатила мне за неделю вперед.

Доктор Макфейл предпочел не высказывать своего мнения.

— В конце концов, это ваш дом. Мы вам очень благо- дарны, что вы нас приютили.

Хорн посмотрел на него с некоторым сомнением. Он еще не решил, насколько доктор Макфейл сочувствует миссионеру.

— Миссионеры всегда стоят друг за друга,— начал он неуверенно.— Если они разозлятся на торговца, можно сразу прикрывать дело.

— Он потребовал, чтобы вы ее выгнали?

— Нет. Он сказал, что, пока она будет вести себя прилично, он не может этого требовать. Он сказал, что не хочет поступать несправедливо по отношению ко мне. Я обещал, что посетители к ней больше ходить не будут. Я ей только что об этом объявил.

— И как же она это приняла?

— Обругала меня.

Торговец смущенно поежился. Разговор с мисс Томпсон явно не доставил ему никакого удовольствия.

— Ну, я думаю, она сама куда-нибудь переедет. Вряд ли она захочет оставаться здесь, если ей нельзя будет приглашать гостей.

— Переехать ей некуда, разве что к какому-нибудь туземцу, а из них ее теперь никто не примет, раз она не в ладах с миссионерами.

Доктор Макфейл посмотрел на непрерывно струящийся дождь.

— Пожалуй, нет смысла дожидаться, чтобы прояснилось.

Вечером в гостиной Дэвидсон стал рассказывать им о давних днях, когда он учился в колледже. Он был беден и смог закончить курс только благодаря тому, что подрабатывал в каникулы. Внизу было тихо. Мисс Томпсон сидела в своей комнатухе одна. И вдруг заиграл граммофон. Она завела его назло, стараясь забыть о своем одиночестве, но подпевать было некому, и музыка звучала тоскливо. Это был словно зов о помощи. Дэвидсон и бровью не повел. Он спокойно продолжал свой рассказ. Граммофон все играл. Мисс Томпсон ставила одну пластинку за другой. Казалось, темнота и безмолвие пугали ее. Ночь была безветренной и душной. Макфейлы ушли к себе, но долго не могли уснуть. Они лежали рядом и с открытыми глазами слушали сердитое пение moskitov над сеткой.

— Что это? — вдруг прошептала миссис Макфейл.

За деревянной перегородкой раздавался голос — голос Дэвидсона. Он звучал не затихая, монотонно и торжественно. Миссионер молился вслух. Он молился о душе мисс Томпсон.

Прошло три дня. Теперь, когда они встречали мисс Томпсон на шоссе, она не приветствовала их с иронической сердечностью и не улыбалась: словно не замечая их, она угрюмо проходила мимо, задрав голову и хмуря подведенные брови. Торговец рассказал Макфейлу, что она пыталась найти другую комнату, но не смогла. Каждый вечер она проигрывала все свои пластинки, но это притворное веселье уже никого не обманывало. Бойкие мелодии звучали надрывно, словно фокстрот отчаяния. Когда она завела граммофон в воскресенье, Дэвидсон послал к ней Хорна с просьбой немедленно прекратить музыку, поскольку сегодня — день Господень. Граммофон умолк, и в доме воцарилась тишина, нарушаемая только ровным стуком дождя по железной крыше.

— Мне кажется, она все больше нервничает, — сказал торговец Макфейлу на следующий день. — Она не знает, что задумал мистер Дэвидсон, и боится.

Макфейл уже видел ее в это утро и сразу заметил, что вся ее самоуверенность исчезла. Вид у нее был затравленный.

Хорн искоса поглядел на него.

— Вы, наверно, не знаете, что мистер Дэвидсон предпринял по этому поводу? — осторожно спросил он.

— Не имею ни малейшего представления.

Вопрос Хорна смутил доктора — ему и самому казалось, что миссионер занят какой-то таинственной деятельностью. Ему чудилось, что Дэвидсон упрямо и осторожно плетет сеть вокруг этой женщины, чтобы, когда все будет готово, внезапно затянуть веревку.

— Он велел мне передать ей, — сказал торговец, — что, если он ей понадобится, пусть она в любое время пошлет за ним, и он непременно придет.

— И что же она ответила?

— Ничего не ответила. Я не дожидался. Я только сказал ей то, что он велел сказать, и ушел. Я боялся, что она примется плакать.

— Одиночество действует на нее угнетающе, — сказал доктор. — А тут еще дождь. От этого у кого угодно разыграются нервы, — продолжал он сердито. — Что, он никогда не прекращается на этом чертовом острове?

— В дождливый сезон льет почти без передышки. У нас в год выпадает триста дюймов осадков. Все дело в форме бухты. Можно подумать, что она притягивает дождь со всего океана.

— Черт бы побрал эту бухту с ее формой, — сказал доктор.

Он почесал место, укушенное mosquito. Его душило раздражение. Когда дождь кончался и выглядывало солнце, остров превращался в оранжерею, полную влажных, тяжелых, удушливых испарений, и вас охватывало странное ощущение, что все кругом яростно растет. А в туземцах, которых считают беззаботными и счастливыми, как дети, начинало сквозить что-то зловещее — может быть, из-за их татуировки и крашенных волос, и, услышав за спиной шлепанье босых ног, вы инстинктивно оборачивались. Вы чувствовали, что в любую минуту они могут оказаться рядом и молниеносно всадить вам между лопаток длинный нож. Как знать, какие черные мысли прячутся за их широко расставленными глазами? Они чем-то напоминали изображения на стенах египетских храмов, и от них веяло древним ужасом.

Миссионер приходил и снова уходил. Он был занят, но чем — Макфейлы не знали. Хорн сказал доктору, что он каждый день посещает губернатора, и как-то раз Дэвидсон сам заговорил о нем:

— Он производит впечатление человека решительного, но на поверку оказывается, что у него нет никакой твердости.

— Другими словами, он не желает безоговорочно подчиняться вашим требованиям? — шутливо сказал доктор.

Миссионер не улыбнулся.

— Я требую только одного — чтобы он поступил как должно. Прискорбно, что есть люди, которым приходится напоминать об этом.

— Но ведь могут быть разные мнения, что считать должным.

— Если бы у больного началась гангрена ступни, могли бы вы равнодушно смотреть, как кто-то раздумывает, ампутировать ее или нет?

— Гангрена — вещь вполне реальная.

— А грех?

Что именно сделал Дэвидсон, скоро перестало быть тайной. Все четверо только что пообедали, дамы и доктор собирались, по обыкновению, пойти прилечь, пока не спадет жара (Дэвидсон презирал эту изнеживающую привычку). Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвалась мисс Томпсон. Она обвела их взглядом и затем шагнула к Дэвидсону.

— Что ты, погань, напел на меня губернатору?

Она заикалась от бешенства. На секунду воцарилась тишина. Затем миссионер пододвинул ей стул.

— Садитесь, пожалуйста, мисс Томпсон. Я давно надеялся еще раз побеседовать с вами.

— Сволочь ты поганая.

Она обрушила на него поток площадной ругани. Дэвидсон не спускал с нее внимательного взгляда.

— Меня не трогает брань, которой вы сочли нужным осыпать меня, мисс Томпсон,— сказал он,— но прошу вас не забывать, что здесь присутствуют дамы.

Теперь к ее гневу уже примешивались слезы. Лицо у нее покраснело и вздулось, словно ее что-то душило.

— Что случилось? — спросил доктор Макфейл.

— Ко мне заходил какой-то тип и сказал, чтобы я убиралась отсюда со следующим пароходом.

Блеснули ли глаза миссионера? Его лицо оставалось невозмутимым.

— Едва ли вы могли ожидать, что при данных обстоятельствах губернатор разрешит вам остаться здесь.

— Это твоя работа,— взвизгнула она.— Нечего вилять. Это твоя работа.

— Я не собираюсь вас обманывать. Я действительно убеждал губернатора принять меры, единственно совместимые с его долгом.

— Ну что ты ко мне привязался? Я же тебе ничего не сделала.

— Поверьте, даже если бы вы причинили мне зло, я не питал бы к вам ни малейшего недоброжелательства.

— Да что я, хочу, что ли, оставаться в этой дыре? Я привыкла жить в настоящих городах!

— В таком случае я не понимаю, на что вы, собственно, жалуетесь.

С воплем ярости она выбежала из комнаты. Наступило короткое молчание. Потом заговорил Дэвидсон:

— Очень приятно, что губернатор все-таки решился действовать. Он слабоволен и без конца тянул и откладывал. Он говорил, что здесь она, во всяком случае, больше двух недель не пробудет, а потом уедет в Апию, которая находится в британских владениях и к нему отношения не имеет.

Миссионер вскочил и зашагал по комнате.

— Просто страшно становится при мысли, как люди, облеченные властью, стремятся уклониться от ответственности. Они рассуждают так, словно грех, творимый не у них на глазах, перестает быть грехом. Самое существование этой женщины — позор, и что изменится, если ее переправят на другой остров? В конце концов, мне пришлось говорить прямо.

Дэвидсон нахмурился и выставил подбородок. Он весь дышал неукротимой решимостью.

— Я вас не совсем понимаю,— сказал доктор.

— Наша миссия пользуется кое-каким влиянием в Вашингтоне. Я указал губернатору, что жалоба на его халатность вряд ли принесет ему большую пользу.

— Когда она должна уехать? — спросил доктор.

— Пароход из Сиднея в Сан-Франциско зайдет сюда в следующий вторник. Она отплывет на нем.

До вторника оставалось пять дней. Когда на следующий день Макфейл возвращался из госпиталя, куда он от нечего делать ходил почти каждое утро, на лестнице его остановил метис.

— Извините, доктор Макфейл. Мисс Томпсон нездорова. Вы к ней не зайдете?

— Разумеется.

Хорн проводил доктора в ее комнату. Она сидела на стуле, безучастно сложив руки, уставившись в одну точку. На ней было ее белое платье и большая шляпа с цветами. Макфейл заметил, что ее кожа под слоем пудры кажется желтовато-землистой, а глаза опухли.

— Мне очень жаль, что вы прихворнули,— сказал он.

— А, да я вовсе не больна. Я это просто сказала, чтобы повидать вас. Меня отсылают на пароходе, который идет во Фриско.

Она поглядела на него, и он заметил, что в ее глазах внезапно появился испуг. Ее руки судорожно сжимались и разжимались. Торговец стоял в дверях и слушал.

— Да, я знаю,— сказал доктор.

Она глотнула.

— Ну, мне не очень-то удобно ехать сейчас во Фриско. Вчера я ходила к губернатору, но меня к нему не пустили. Я видела секретаря, и он сказал, что я должна уехать с этим пароходом и никаких разговоров. Ну, я решила все-таки добраться до губернатора и сегодня утром ждала у его дома, пока он не вышел, и заговорила с ним. Сказать по правде, он не очень-то хотел со мной разговаривать, но я от него не отставала, и наконец он сказал, что позволит мне дожждаться парохода в Сидней, если преподобный Дэвидсон будет согласен.

Она замолчала и с тревогой посмотрела на доктора Макфейла.

— Я не вижу, чем я, собственно, могу вам помочь,— сказал он.

— Да я подумала, может, вы согласитесь спросить его. Господом Богом клянусь, я буду вести себя тихо, если он

позволит мне остаться. Я даже никуда из дому не буду выходить, если это ему нужно. Всего-то две недели.

— Я спрошу его.

— Он не согласится,— сказал Хорн.— И не надейтесь.

— Скажите ему, что я могу получить в Сиднее работу — то есть честную. Ведь я не многого прошу.

— Я сделаю, что смогу.

— И сразу придете сказать мне, как дела? Мне надо знать твердо, а то я себе просто места не нахожу.

Это поручение пришлось доктору не слишком по вкусу, и он — что, вероятно, было для него характерно — не стал выполнять его сам. Он рассказал жене о разговоре с мисс Томпсон и попросил ее поговорить с миссис Дэвидсон. По его мнению, требование миссионера было неоправданно суровым, и он считал, что не случится ничего страшного, если мисс Томпсон разрешат остаться в Паго-Паго еще на две недели. Но его дипломатия привела к неожиданным результатам. Миссионер сам заговорил с ним:

— Миссис Дэвидсон сказала мне, что вы имели беседу с мисс Томпсон.

Такая прямолинейность вызвала у доктора Макфейла раздражение, как у всякого застенчивого человека, которого вынуждают пойти в открытую. Он почувствовал, что начинает сердиться, и покраснел.

— Не вижу, какая разница, если она уедет в Сидней, а не в Сан-Франциско, и раз она обещает вести себя здесь прилично, то, по-моему, незачем портить ей жизнь.

Миссионер устремил на него суровый взгляд.

— Почему она не хочет вернуться в Сан-Франциско?

— Я не спрашивал,— запальчиво ответил доктор.— Я считаю, что надо поменьше совать нос в чужие дела.

Возможно, этот ответ был не слишком тактичен.

— Губернатор отдал распоряжение, чтобы ее отправили с первым же пароходом. Он только выполнил свой долг, и я не стану вмешиваться. Ее присутствие здесь — угроза для острова.

— Я считаю, что вы злой и жестокий человек.

Дамы с тревогой посмотрели на доктора, но они напрасно боялись, что вспыхнет ссора,— миссионер только мягко улыбнулся.

— Мне очень грустно, что вы считаете меня таким, доктор Макфейл. Поверьте, мое сердце обливается кровью от жалости к этой несчастной, но ведь я только стараюсь выполнить свой долг.

Доктор ничего не ответил. Он угрюмо посмотрел в окно. Дождь утих, и на другом берегу бухты среди деревьев можно было разглядеть хижины туземной деревушки.

— Я, пожалуй, воспользуюсь тем, что дождь перестал, и пройду немного,— сказал он.

— Прошу вас, не сердитесь на меня за то, что я не могу выполнить ваше желание,— сказал Дэвидсон с печальной улыбкой.— Я вас очень уважаю, доктор, и не хотел бы, чтобы вы думали обо мне дурно.

— Ваше мнение о самом себе, наверное, столь высоко, что мое вас не очень огорчит,— отрезал доктор.

— Сдаюсь!— засмеялся Дэвидсон.

Когда доктор Макфейл, сердясь на себя за неоправданную грубость, спустился вниз, мисс Томпсон поджидала его у приоткрытой двери своей комнаты.

— Ну,— сказала она,— вы с ним говорили?

— Да, но, к сожалению, он отказывается что-нибудь сделать,— ответил доктор, смущенно отводя глаза.

И тут же, услышав рыдание, бросил на нее быстрый взгляд. Он увидел, что ее лицо побелело от ужаса, и испугался.

Вдруг ему в голову пришла новая мысль.

— Но пока не отчаивайтесь. Я считаю, что с вами поступают безобразно, и сам пойду к губернатору.

— Сейчас?

Он кивнул. Ее лицо просветлело.

— Вы меня здорово выручите. Если вы замолвите за меня словечко, он наверняка позволит мне остаться. Я, ей-богу, ничего такого себе не позволю, пока я тут.

Доктор Макфейл сам не понимал, почему он вдруг решил обратиться к губернатору. Он был совершенно равнодушен к судьбе мисс Томпсон, но миссионер задел его за живое, а раз рассердившись, он долго не мог успокоиться. Он застал губернатора дома. Это был крупный, красивый мужчина, бывший моряк, со щеточкой седых усов над верхней губой и в белоснежном мундире.

— Я пришел к вам по поводу женщины, которая сняла комнату в одном доме с нами,— сказал доктор.— Ее фамилия Томпсон.

— Я уже слышал о ней вполне достаточно, доктор Макфейл,— ответил губернатор, улыбаясь.— Я распорядился, чтобы она выехала в следующий вторник, и больше ничего сделать не могу.

— Я хотел просить вас, нельзя ли разрешить ей подождать парохода из Сан-Франциско, чтобы она могла уехать в Сидней. Я поручусь за ее поведение.



Губернатор продолжал улыбаться, но глаза его сузились и стали серьезными.

— Я был бы очень рад исполнить вашу просьбу, доктор, но приказ отдан и не может быть изменен.

Доктор изложил дело со всей убедительностью, на какую был способен, но губернатор совсем перестал улыбаться. Он слушал, угрюмо глядя в сторону. Макфейл увидел, что его слова не производят никакого впечатления.

— Мне очень неприятно причинять неудобства даме, но мисс Томпсон придется уехать во вторник, и говорить больше не о чем.

— Но какая разница?

— Извините меня, доктор, но я обязан объяснять свои решения только моему начальству.

Макфейл внимательно посмотрел на него. Он вспомнил намек Дэвидсона на пущенную им в ход угрозу и почувствовал в поведении губернатора какое-то непонятное смущение.

— Черт бы побрал Дэвидсона. И что он сует нос не в свое дело! — с жаром воскликнул он.

— Говоря между нами, доктор, я не стану утверждать, что у меня сложилось особенно благоприятное мнение о мистере Дэвидсоне, но не могу не признать, что он имел полное право указать мне на опасность, которую представляет собой пребывание женщины, подобной мисс Томпсон, на острове, где военнотружущие живут среди туземного населения.

Он поднялся, и доктор Макфейл тоже был вынужден встать.

— Прошу извинить меня. Мне надо кое-чем заняться. Кланяйтесь, пожалуйста, миссис Макфейл.

Доктор ушел от него в полном унынии. Он знал, что мисс Томпсон будет ждать его, и, чтобы не пришлось самому сообщать ей о своей неудаче, вошел в дом с черного хода и осторожно, как преступник, прокрался по лестнице.

За ужином он чувствовал себя неловко и говорил мало, зато миссионер был оживлен и общителен. Доктору Макфейлу показалось, что взгляд Дэвидсона несколько раз оставался на нем с добродушным торжеством. Неожиданно ему пришло в голову, что Дэвидсон знает о его безрезультатном визите к губернатору. Но откуда? В той власти, которой обладал этот человек, было что-то зловещее. После ужина доктор увидел на веранде Хорна и вышел к нему, сделав вид, что хочет поболтать с ним.

— Она спрашивает, говорили ли вы с губернатором,— шепнул торговец.

— Да. Он отказал. Мне ужасно жаль, но я больше ничего сделать не могу.

— Я так и знал. Они боятся идти против миссионеров.

— О чем вы разговариваете? — весело спросил Дэвидсон, подходя к ним.

— Я как раз говорю, что вряд ли вам удастся выехать в Апию раньше чем через неделю,— без запинки ответил торговец.

Он ушел, а они вернулись в гостиную. После еды мистер Дэвидсон посвящал один час развлечениям. Вскоре послышался робкий стук в дверь.

— Войдите,— сказала миссис Дэвидсон своим пронзительным голосом.

Дверь осталась закрытой. Миссис Дэвидсон пошла и открыла ее. На пороге стояла изменившаяся до неузнаваемости мисс Томпсон. Это была уже не нахальная девка, которая насмеялась над ними на шоссе, а измученная страхом женщина. Ее волосы, всегда тщательно уложенные в прическу, теперь свисали космами. На ней были шлепанцы и заношенные, измятые блузка и юбка. Она стояла в дверях, не решаясь войти; по лицу ее струились слезы.

— Что вам надо? — резко спросила миссис Дэвидсон.

— Можно мне поговорить с мистером Дэвидсоном? — прерывающимся голосом сказала она.

Миссионер встал и подошел к ней.

— Входите, входите, мисс Томпсон,— сказал он сердечным тоном.— Чем я могу служить вам?

Она вошла.

— Я... я извиняюсь за то, что наговорила вам тогда, и за... за все остальное. Я, наверное, была на взводе. Прошу у вас прощения.

— О, это пустяки. У меня спина крепкая и не переломится от пары грубых слов.

Она сделала движение к нему, отвратительное в своей приниженности.

— Вы меня разделили вчистую. Совсем сломали. Не заставляйте меня возвращаться во Фриско.

Его любезность мгновенно исчезла, голос стал суровым и жестким.

— Почему вы не хотите возвращаться туда?

Она вся съежилась.

— Да ведь там у меня родня. Не хочу я, чтобы они меня видели такой. Я поеду, куда вы скажете. Только не туда.

— Почему вы не хотите возвращаться в Сан-Франциско?

— Я же вам сказала.

Он наклонился вперед, устремив на нее огромные сверкающие глаза, словно стараясь заглянуть ей в самую душу. Вдруг он резко перевел дыхание.

— Исправительный дом.

Она взвизгнула и, упав на пол, обхватила его ноги.

— Не отсылайте меня туда. Господом Богом клянусь, я стану честной. Я все это брошу.

Она выкрикивала бессвязные мольбы, и слезы ручьями катились по покрашенным щекам. Он наклонился к ней и, приподняв ее голову, заглянул ей в глаза.

— Так, значит, исправительный дом?

— Я смылась, а то бы меня зацапали,— отрывисто шептала она.— Если я попадусь быкам, мне припают три года.

Он отпустил ее, и она, снова упав на пол, разразилась отчаянными рыданиями. Доктор Макфейл встал.

— Это меняет дело,— сказал он.— Теперь вы не можете требовать, чтобы она вернулась туда. Она хочет начать жизнь снова, не отнимайте же у нее этой последней возможности.

— Я хочу предоставить ей ни с чем не сравнимую возможность. Если она раскаивается, пусть примет свое наказание.

Она не уловила истинного смысла его слов и подняла голову. В ее опухших от слез глазах мелькнула надежда.

— Вы меня отпустите?

— Нет. Во вторник вы отплывете в Сан-Франциско.

У нее вырвался стон ужаса, перешедший в глухой, хриплый визг, в котором не было уже ничего человеческого. Она стала биться головой об пол. Доктор Макфейл кинулся ее поднимать.

— Ну, ну, так нельзя. Пойдите к себе и прилягте. Я дам вам лекарство.

Он поднял ее и кое-как отвел вниз. Он был очень зол на миссис Дэвидсон и на свою жену за то, что они не захотели вмешаться. Метис стоял на площадке, и с его помощью доктору удалось уложить ее на кровать. Она стонала и судорожно всхлипывала. Казалось, она вот-вот лишится чувств. Доктор сделал ей укол. Злой и измученный, он поднялся в гостиную.

— Я наконец уговорил ее лечь.

Обе женщины и Дэвидсон сидели так же, как он их оставил. Очевидно, пока его не было, они не разговаривали и не шевелились.

— Я ждал вас,— сказал Дэвидсон странным, отсутствующим голосом.— Я хочу, чтобы вы все помолились вместе со мной о душе нашей заблудшей сестры.

Он взял с полки Библию и сел за обеденный стол. Посуда после ужина еще не была убрана, и, чтобы освободить место, ему пришлось отодвинуть чайник. Сильным голосом, звучным и глубоким, он прочел им главу, в которой говорится о том, как к Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии.

— А теперь преклоните вместе со мной колени и помолимся о душе возлюбленной сестры нашей Сэди Томпсон.

Он начал с жаром молиться, прося Бога сжалиться над грешницей. Миссис Макфейл и миссис Дэвидсон встали на колени, закрыв лицо руками. Захваченный врасплох, доктор неуклюже и неохотно последовал их примеру. Миссионер молился с яростным красноречием. Он был в иступлении, по его щекам струились слезы. А снаружи лил дождь, лил не ослабевая, с упорной злобой, в которой было что-то человеческое.

Наконец миссионер умолк. На мгновение воцарилась тишина, потом он сказал:

— А теперь прочтем «Отче наш».

Они прочитали молитву и вслед за ним поднялись с колен. Лицо миссис Дэвидсон стало бледным и умиротворенным. На душе у нее, видимо, было легко и спокойно. Но доктора и миссис Макфейл внезапно охватило смущение. Они не знали, куда девать глаза.

— Я, пожалуй, спущусь поглядеть, как она себя чувствует,— сказал доктор Макфейл.

Когда он постучался к ней, дверь открыл Хорн. Мисс Томпсон сидела в качалке и тихонько плакала.

— Почему вы встали? — воскликнул доктор.— Я же велел вам лежать.

— Мне не лежится. Я хочу видеть мистера Дэвидсона.

— Бедняжка, зачем вам это? Вы не сможете его убедить.

— Он сказал, что придет, если я за ним пошлю.

Макфейл кивнул торговцу.

— Сходите за ним.

Они молча ждали, пока Хорн поднимался вверх. Дэвидсон вошел.

— Извините, что я попросила вас спуститься сюда,— сказала она, мрачно глядя на него.

— Я ожидал, что вы пошлете за мной. Я знал, что Господь услышит мою молитву.

Секунду они глядели друг на друга, потом она отвела глаза. Она смотрела в сторону все время, пока говорила.

— Я вела грешную жизнь. Я хочу покаяться.

— Хвала Господу! Он внял нашим молитвам!

Он повернулся к Макфейлу и торговцу.

— Оставьте меня наедине с ней. Скажите миссис Дэвидсон, что наши молитвы были услышаны.

Они вышли и закрыли за собой дверь.

— Мда-а-а! — сказал торговец.

В эту ночь доктор Макфейл никак не мог заснуть; когда миссионер прошел к себе, он поглядел на часы. Было два. И все-таки Дэвидсон лег не сразу — через разделявшую их деревянную перегородку доктор слышал, как он молится, пока сам наконец не уснул.

Когда они встретились на следующее утро, вид миссионера удивил доктора. Дэвидсон был бледнее, чем обычно, и выглядел утомленным, но глаза его пылали нечеловеческим огнем. Казалось, его переполняет безмерная радость.

— Вы не могли бы теперь же спуститься к Сэди? — сказал он. — Боюсь, что ее тело еще не нашло исцеления, но ее душа — ее душа преобразилась.

Доктор чувствовал себя расстроенным и опустошенным.

— Вы долго пробыли у нее вчера, — сказал он.

— Да. Ей трудно было остаться одной, без меня.

— Вы так и сияете, — сказал доктор раздраженно.

В глазах Дэвидсона засветился экстаз.

— Мне была ниспослана величайшая милость. Вчера я был избран вернуть заблудшую душу в любящие объятия Иисуса.

Мисс Томпсон сидела в качалке. Постель не была убрана. В комнате царил беспорядок. Она не позаботилась одеться и сидела в грязном халате, кое-как зашпилив волосы в пучок. Ее лицо распухло и оплыло от слез, хотя она обтерла его мокрым полотенцем. Вид у нее был неряшливый и неприглядный.

Когда доктор вошел, она безучастно посмотрела на него. Она была совсем разбита и измучена.

— Где мистер Дэвидсон? — спросила она.

— Он скоро придет, если он вам нужен, — кисло ответил доктор. — Я зашел узнать, как вы себя чувствуете.

— А, да ничего со мной нет. Не беспокойтесь обо мне.

— Вы что-нибудь ели?

— Хорн принес мне кофе.

Она беспокойно посмотрела на дверь.

— Вы думаете, он скоро придет? Мне не так страшно, когда он со мной.

— Вы все-таки уезжаете во вторник?

— Да, он говорит, что я должна уехать. Пожалуйста, скажите ему, чтобы он пришел поскорее. Вы ничем мне помочь не можете. Кроме него, мне теперь никто не может помочь.

— Очень хорошо,— сказал доктор Макфейл.

Следующие три дня миссионер почти все время проводил у Сэди Томпсон. Он встречался с остальными только за столом. Доктор Макфейл заметил, что он почти ничего не ест.

— Он не щадит себя,— жаловалась миссис Дэвидсон.— Он, того и гляди, заболеет. Но он не думает о себе.

Сама она тоже побледнела и осунулась. Она говорила миссис Макфейл, что совсем не спит. Когда миссионер уходил от мисс Томпсон и поднимался к себе, он молился до полного изнеможения, но даже и после этого засыпал лишь ненадолго. Часа через два он вставал, одевался и шел гулять на берег. Ему снились странные сны.

— Сегодня утром он сказал мне, что видел во сне горы Небраски,— сообщила миссис Дэвидсон.

— Любопытно,— сказал доктор Макфейл.

Он видел их из окна поезда, когда ехал по Соединенным Штатам. Они напоминали огромные кротовые кучи, округлые и гладкие, и круто поднимались над плоской равниной. Доктор Макфейл вспомнил, что они показались ему похожими на женские груди.

Лихорадочное возбуждение, снедавшее Дэвидсона, было невыносимо даже для него самого. Но всепобеждающая радость поддерживала его силы. Он с корнем вырывал последние следы греха, еще таившиеся в сердце бедной женщины. Он читал с ней Библию и молился с ней.

— Это просто чудо,— сказал он как-то за ужином.— Это истинное возрождение. Ее душа, которая была чернее ночи, ныне чиста и бела, как первый снег. Я исполнен смирения и трепета. Ее раскаяние во всем, содеянном ею, прекрасно. Я не достоин коснуться края ее одежды.

— И у вас хватит духа послать ее в Сан-Франциско? — спросил доктор.— Три года американской тюрьмы! Мне кажется, вы могли бы избавить ее от этого.

— Как вы не понимаете! Это же необходимо. Неужели вы думаете, что мое сердце не обливается кровью? Я люблю ее так же, как мою жену и мою сестру. И все время, которое она проведет в тюрьме, я буду испытывать те же муки, что и она.

— А, ерунда! — досадливо перебил доктор.

— Вы не понимаете, потому что вы слепы. Она согрешила и должна пострадать. Я знаю, что ей придется вытерпеть. Ее будут морить голодом, мучить, унижать. Я хочу, чтобы кара, принятая ею из рук человеческих, была ее жертвой Богу. Я хочу, чтобы она приняла эту кару с радостным сердцем. Ей дана возможность, которая ниспосылается лишь немногим из нас. Господь неизречно добр и неизречно милосерд.

Дэвидсон задыхался от волнения. Он уже не договаривал слов, которые страстно рвались с его губ.

— Весь день я молюсь с ней, а когда я покидаю ее, я снова молюсь, целиком отдаваясь молитве, молюсь о том, чтобы Христос даровал ей эту великую милость. Я хочу вложить в ее сердце столь пылкое желание претерпеть свою кару, чтобы, даже если бы я предложил ей не ехать, она сама настояла бы на этом. Я хочу, чтобы она почувствовала в муках тюремного заключения смиренный дар, который она слагает к ногам благословенного Искупителя, отдавшего за нее жизнь.

Дни тянулись медленно. Все обитатели дома, думавшие только о несчастной, терзающейся женщине в нижней комнате, жили в состоянии неестественного напряжения. Она была словно жертва, которую готовят для мрачного ритуала какой-то кровавой языческой религии. Ужас совершенно парализовал ее. Она ни на минуту не отпускала от себя Дэвидсона; только в его присутствии к ней возвращалось мужество, и она цеплялась за него в рабском страхе. Она много плакала, читала Библию и молилась. Порой, дойдя до полного изнеможения, она впадала в апатию. В такие минуты тюрьма действительно казалась ей спасением — по крайней мере, это была конкретная реальность, которая положит конец ее пытке. Ее смутный страх становился все более мучительным. Отрекшись от греха, она перестала заботиться о своей внешности и теперь бродила по комнате в пестром халате, неумытая и растрепанная. В течение четырех дней она не снимала ночной рубашки, не надевала чулок. Комната была замусорена. А дождь все лил и лил с жестокой настойчивостью. Казалось, небеса должны были уже истощить запасы воды, но он по-прежнему падал, прямой и тяжелый, и с доводящей до иступления монотонностью барабанил по крыше. Все стало влажным и липким. Стены и лежавшие на полу башмаки покрыла плесень. Бессонными ночами сердито ныли москиты.

— Если бы дождь перестал хоть на день, еще можно было бы терпеть, — сказал доктор.

Все как избавления ждали вторника, когда должен был прийти пароход из Сиднея. Напряжение становилось невыносимым. Жалость и негодование были вытеснены из души доктора Макфейла единственным желанием — поскорее отделаться от несчастной. Приходится принимать неизбежное. Он чувствовал, что, когда этот пароход наконец отчалит, ему станет легче дышать. На борт ее должен был доставить чиновник губернаторской канцелярии. Он зашел вечером в понедельник и попросил мисс Томпсон собраться к одиннадцати часам следующего утра. У нее был Дэвидсон.

— Я присмотрю, чтобы все было готово. Я сам намерен проводить ее.

Мисс Томпсон молчала.

Когда доктор Макфейл задул свечу и осторожно забрался под москитную сетку, он испустил вздох облегчения.

— Ну, слава богу, все позади. Завтра в это время ее здесь уже не будет.

— Миссис Дэвидсон тоже будет рада. Она говорит, что он совсем замучил себя, — сказала миссис Макфейл. — Она изменилась до неузнаваемости.

— Кто?

— Сэди. Я бы не поверила, что это возможно. Невольно проникаешься смирением.

Доктор Макфейл не ответил и вскоре уснул. Он был очень утомлен и спал крепче обычного.

Его разбудило чье-то прикосновение. Он испуганно вскочил и увидел рядом с кроватью Хорна. Торговец приложил палец к губам и поманил его за собой. Обычно он носил парусиновый костюм, но на этот раз был бос и одет только в лава-лава, как туземец. От этого он неожиданно стал похож на дикаря, и доктор, выбираясь из постели, заметил, что все его тело покрыто татуировкой. Хорн вышел на веранду. Доктор Макфейл соскользнул с кровати и последовал за ним.

— Не шумите, — шепнул торговец. — Вы очень нужны. Накиньте на себя что-нибудь и наденьте башмаки.

Доктор решил, что что-то случилось с мисс Томпсон.

— В чем дело? Захватить инструменты?

— Скорее, ради бога, скорее.

Доктор Макфейл прокрался назад в спальню, надел поверх пижамы плащ и сунул ноги в туфли на резиновой подошве. Он вернулся к торговцу, и они на цыпочках спустились по лестнице. Наружная дверь была открыта, перед ней стояла кучка туземцев.



— В чем дело? — повторил доктор.

— Пойдемте, — сказал Хорн.

Он вышел, и доктор последовал за ним. Туземцы кучкой шли позади. Они пересекли шоссе и вышли к пляжу. Ярдах в двадцати пяти впереди доктор заметил еще группу туземцев, толпившихся вокруг чего-то, лежавшего у самой воды. Они ускорили шаг; туземцы расступились перед доктором. Торговец торопил его. Затем он увидел труп, лежавший наполовину в воде, наполовину на песке, — труп Дэвидсона. Доктор Макфейл нагнулся — он был не из тех, кто теряется в трудную минуту, — и перевернул его. Горло было перерезано от уха до уха, а правая рука все еще сжимала роковую бритву.

— Он совсем остыл, — сказал доктор. — Он умер уже довольно давно.

— Один из них только что заметил его — по дороге на работу, — пришел и сказал мне. Как вы думаете, он сам это сделал?

— Да. Надо послать за полицией.

Хорн сказал что-то на местном наречии, и двое юношей пустились бежать со всех ног.

— Его нельзя трогать до прихода полиции, — добавил доктор.

— Я не позволю отнести его в мой дом. Я не хочу, чтобы он лежал в моем доме.

— Вы сделаете то, что вам скажут, — резко ответил доктор. — Но я полагаю, его отправят в морг.

Они стояли и ждали. Торговец достал из складок лавалава две папиросы и протянул одну доктору. Они курили и глядели на труп. Доктор не мог понять, что произошло.

— Как, по-вашему, почему это он? — спросил Хорн.

Доктор пожал плечами. Вскоре подошли с носилками туземные полицейские под командой белого матроса, а за ними два морских офицера и флотский врач. Они принялись деловито распоряжаться.

— Надо бы поставить в известность его жену, — сказал один из офицеров.

— Раз вы тут, я пойду домой и оденусь. Я позабочусь, чтобы ей сообщили. По-моему, ей не стоит на него смотреть, пока его не приведут в порядок.

— Пожалуй, да, — сказал флотский врач.

Когда доктор Макфейл поднялся к себе, его жена кончала одеваться.

— Миссис Дэвидсон страшно беспокоится о муже, — сказала она, едва увидев его. — Он не ложился всю ночь.

Она слышала, как он ушел от мисс Томпсон в два часа, но он вышел из дому. Если он столько времени гулял, то, конечно, будет смертельно измучен.

Доктор Макфейл рассказал ей о несчастье и попросил осторожно подготовить миссис Дэвидсон.

— Но почему он это сделал? — спросила она в ужасе.

— Не знаю.

— Я не могу. Не могу.

— Надо.

Она испуганно посмотрела на него и вышла. Он слышал, как она вошла в комнату миссис Дэвидсон. Подождав минуту, чтобы собраться с силами, он начал бриться. Потом, одевшись, он сел на кровать и стал ждать жену. Наконец она вернулась.

— Она хочет видеть его.

— Его отнесли в морг. Нам, пожалуй, следует проводить ее. Как она это приняла?

— По-моему, ее словно оглушило. Она даже не заплакала. Но она дрожит как осиновый лист.

— Нужно пойти немедленно.

Когда они постучались, миссис Дэвидсон сразу вышла к ним. Она была очень бледна, но не плакала. В ее спокойствии доктору почудилось что-то неестественное. Не обменявшись ни единым словом, они молча пошли по шоссе. Когда они приблизились к моргу, миссис Дэвидсон заговорила:

— Я хотела бы побыть с ним одна, — сказала она.

Они отступили в сторону. Туземец открыл перед ней дверь и закрыл ее, когда она вошла. Они сели и стали ждать. Подошли несколько белых и шепотом заговорили с ними. Доктор снова рассказал о трагедии все, что знал. Наконец дверь тихо отворилась, и миссис Дэвидсон вышла.

— Теперь можно идти, — сказала она.

Ее голос был ровен и строг. Доктор Макфейл не понял выражения ее глаз. Ее бледное лицо было сурово. Они шли медленно, в полном молчании, и наконец приблизились к повороту, который вел к дому Хорна. Миссис Дэвидсон ахнула, и все трое остановились как вкопанные. Их слух поразили немыслимые звуки. Граммофон, который столько времени молчал, хрипло и громко играл разухабистую песенку.

— Что это? — испуганно вскрикнула миссис Макфейл.

— Идемте, — сказала миссис Дэвидсон.

Они поднялись на крыльцо и вошли в переднюю. Мисс Томпсон стояла в дверях своей комнаты, болтая с матросом.

В ней произошла внезапная перемена. Это уже не была насмерть перепуганная женщина последних дней. Она облачилась в свой прежний наряд: на ней было белое платье, над лакированными сапожками нависали обтянутые бумажными чулками икры, волосы были уложены в прическу, и она надела свою огромную шляпу с яркими цветами. Ее щеки были нарумянены, губы ярко накрашены, брови черны, как ночь. Она стояла выпрямившись. Перед ними была прежняя наглая девка. Увидев их, она громко, насмешливо захохотала, а затем, когда миссис Дэвидсон невольно остановилась, набрала слюны и сплюнула. Миссис Дэвидсон попятилась, и на ее щеках запылали два красных пятна. Потом, закрыв лицо руками, она бросилась вверх по лестнице. Доктор Макфейл был возмущен. Оттолкнув мисс Томпсон, он вбежал в ее комнату.

— Какого черта вы себе позволяете? — закричал он. — Остановите эту штуку.

Он подошел к граммофону и сбросил пластинку.

— А ну, лекарь, не распускай рук. Что тебе понадобилось в моей комнате?

— То есть как? — закричал он. — То есть как?

Она подбоченилась. В ее глазах было неопишное презрение, а в ответе — безграничная ненависть:

— Эх вы, мужчины! Поганые свиньи. Все вы одинаковы. Свиньи! Свиньи!

Доктор Макфейл ахнул. Он понял.

---

## РЫЖИЙ

Шкипер сунул руку в карман брюк и с трудом — он был толст, а карманы у него были не сбоку, а спереди — вытащил большие серебряные часы. Взглянув на них, он перевел взгляд на заходящее солнце.

Канак-рулевой посмотрел на него, но ничего не сказал. Шкипер не отрывал глаз от острова, к которому они приближались. Белая линия пены обозначала риф. Он знал, что в нем должен быть проход, достаточно широкий для его судна, и полагал, что увидит его, как только они подойдут немного поближе.

До наступления темноты оставалось около часа. Лагуна была глубокой и удобной для якорной стоянки. Старейшина деревни, которую он уже мог разглядеть среди кокосовых пальм, был приятелем его помощника, и ночь на берегу обещала быть приятной.

Подошел помощник, и шкипер обернулся к нему.

— Захватим с собой бутылку спиртного и пригласим девочек потанцевать.

— Я не вижу прохода, — сказал помощник.

Это был канак, красивый, смуглый парень, склонный к полноте и несколько напоминавший кого-то из последних римских императоров. Но лицо у него было тонкое, с правильными чертами.

— Я точно знаю, что проход здесь, — сказал шкипер, глядя в бинокль. — Не пойму, куда он девался. Пусть кто-нибудь из ребят посмотрит с мачты.

Помощник шкипера позвал одного из матросов и отдал ему приказание. Шкипер следил, как матрос взбирается на мачту, и стал ждать, что он скажет. Но канак лишь крикнул, что он не видит ничего, кроме сплошной линии пены.

Шкипер, говоривший на языке самоа не хуже туземцев, крепко выругался.

— Пусть сидит там? — спросил помощник.

— Да что проку! — ответил шкипер. — Этот болван все равно ни черта не видит. Будь я там, наверху, я бы уж нашел проход как пить дать!

Он со злостью посмотрел на тонкую мачту. Хорошо туземцам, которые всю жизнь лазят по кокосовым пальмам! Он же тяжел и тучен.

— Слезай! — крикнул он. — Толку от тебя, как от козла молока. Придется идти вдоль рифа, пока не отыщем проход.

Его семидесятитонная парусная шхуна имела вспомогательный двигатель и, если не было встречного ветра, шла со скоростью четырех-пяти узлов. Это была изрядно потрепанная посудина. Когда-то, очень давно, она была окрашена белой краской, но сейчас стала грязной, облезлой, покрылась пятнами. Она насквозь пропахла керосином и копррой, составлявшей ее обычный груз.

Они находились в ста футах от рифа, и шкипер велел рулевому идти вдоль него, пока не достигнут прохода. Пройдя около двух миль, он понял, что проскочил его. Тогда он повернул шхуну и вновь медленно повел ее вдоль рифа. Полоса пены все тянулась, не прерываясь, а солнце стояло уже совсем низко. Проклиная тупость своей команды, шкипер скрепя сердце решил ждать до утра.

— Поворачивай! — приказал он. — Здесь нельзя бросать якорь.

Они отошли подальше в море, и вскоре стемнело. Они бросили якорь. Когда убрали парус, шхуну стало сильно качать. В Апии предсказывали, что когда-нибудь она перевернется вверх дном, и даже хозяин ее, американский немец, владеец одного из крупнейших магазинов в порту, говорил, что ни за какие деньги не согласился бы выйти на ней в море.

Кок-китаец, в белых, очень грязных и изодранных штанах и в тонкой белой рубашке, доложил, что ужин готов. Когда шкипер спустился в каюту, механик уже сидел за столом. Это был долговязый человек с худой шеей, в синем комбинезоне и тельняшке. Худые руки его были татуированы от локтя до самой кисти.

— Чертовски досадно проводить ночь в море, — сказал шкипер.

Механик ничего не ответил, и ужин продолжался в молчании. Каюта освещалась тусклой керосиновой лампой.

После абрикосовых консервов, завершавших ужин, китаец принес чаю. Шкипер закурил сигару и поднялся на палубу. Теперь темная масса острова едва выделялась на фоне ночного неба. Ярко горели звезды. Лишь неумолчный шум прибоя нарушал тишину. Шкипер, усевшись в шезлонг, лениво курил. Вскоре на палубу поднялись трое или четверо матросов и уселись поодаль. У одного было банджо, у другого концертино. Они заиграли, и один из них запел. Странно звучал туземный напев, исполняемый на этих инструментах. Потом под звуки песни двое других матросов стали танцевать. Это был танец варваров, дикий, первобытный, быстрый, с резкими движениями рук, ног, с судорожными подергиваниями всего тела. В нем была чувственность, даже похоть, но без всякой страсти. Он был откровенно животный, причудливый, но без тайн, до такой степени непосредственный, что его можно было даже называть детским.

Наконец, утомившись, матросы растянулись тут же на палубе и заснули. Все стихло.

Шкипер тяжело поднялся с шезлонга и пошел вниз по трапу. Войдя к себе в каюту, он разделся и лег. От ночной духоты он слегка задыхался.

Наутро, когда над безмятежным морем забрезжил рассвет, они увидели чуть дальше к востоку тот самый проход, который никак не могли разглядеть накануне вечером. Шхуна вошла в лагуну. На поверхности воды не было ни малейшей ряби. Глубоко внизу, между кораллами, сновали разноцветные рыбки.

Поставив судно на якорь, шкипер позавтракал и вышел на палубу. В безоблачном небе сияло солнце, но в воздухе еще ощущалась благодатная утренняя прохлада. Было воскресенье, кругом царили покой и тишина, словно сама природа отдыхала, и от этого шкипер тоже почувствовал себя необыкновенно спокойно и хорошо. Он сидел, с ленивым удовлетворением оглядывая лесистый берег. Затем губы его тронула слабая улыбка, и он швырнул окурочек сигары в воду.

— Пора и на берег, — сказал он. — Шлюпку!

Он неуклюже спустился по трапу в лодку, и гребцы доставили его в маленькую бухту.

Здесь пальмы спускались к самой воде, не рядами, но все же в каком-то строгом порядке. Они напоминали кордебалет из старых дев, легкомысленных, несмотря на возраст, застывших в манерных позах, полных жеманной грации былых времен.

Шкипер медленно пошел между ними по едва заметной в густой траве извилистой тропинке. Вскоре она вывела его к речке. Через нее был перекинут мостик, вернее, не мостик, а десяток пальмовых стволов, уложенных впритык и опирающихся концами на развилки, вбитые в дно ручья. Надо было пройти по круглым гладким бревнам, узким и скользким, не имея никакой опоры для рук. Это требовало храбрости и сноровки.

Шкипер остановился в нерешительности. Но на другом берегу среди деревьев виднелась постройка европейского типа. Это заставило его решиться, и он осторожно ступил на первое бревно. Он тщательно примеривался, куда поставить ногу, и в тех местах, где был стык стволов разной толщины, с трудом удерживал равновесие. Со вздохом облегчения добрался он до последнего ствола и наконец почувствовал под ногами твердую почву. Поглощенный трудностями переправы, он не заметил, что за ним наблюдают, и с удивлением услышал обращенные к нему слова:

— Надо иметь крепкие нервы, чтобы ходить по таким мосткам, да еще без привычки.

Шкипер поднял голову и увидел перед собой человека. Очевидно, тот вышел из дома, уже ранее замеченного им.

— Я видел, что вы не сразу решились,— улыбаясь, сказал незнакомец.— Думал, вы вот-вот свалитесь.

— Как бы не так,— ответил шкипер, который вновь обрел уверенность в себе.

— Мне и самому случалось падать здесь. Помню, как-то вечером я возвращался с охоты и упал в воду в чем был, вместе с ружьем. Теперь я беру мальчика, чтобы он носил ружье.

Это был уже немолодой человек с седеющей бородкой и с худощавым лицом. На нем была рубашка без рукавов и парусиновые брюки, но не было ни носков, ни ботинок. По-английски он говорил с легким иностранным акцентом.

— Вы Нейлсон? — спросил шкипер.

— Он самый.

— Слышал о вас. Так и думал, что вы живете в этих краях.

Шкипер последовал за Нейлсоном в маленькое бунгало и тяжело опустился в предложенное ему кресло. Пока Нейлсон ходил за виски и стаканами, он оглядел комнату.

Она поразила его. Он никогда не видел такой массы книг. Все четыре стены, от пола до потолка, занимали полки, тесно уставленные книгами. Был здесь и рояль, заваленный ногами, и большой стол с разбросанными по нему книгами и журналами.

Вид комнаты привел шкипера в смущение. Но он вспомнил, что Нейлсон слывет чужаком. Никто о нем ничего толком не знал, хотя прожил он на островах уже много лет. Однако те, кому приходилось встречаться с ним, в один голос утверждали, что он человек со странностями. По национальности он был швед.

— У вас тут уйма книг,— сказал шкипер Нейлсону, когда тот вернулся.

— Ну что ж, от них вреда нет,— ответил Нейлсон с улыбкой.

— И вы их все прочли? — полюбопытствовал шкипер.

— Большую часть.

— Я и сам люблю почитать. Регулярно получаю «Сатердей ивнинг пост».

Нейлсон налил своему гостю стакан неразбавленного виски и угостил его сигарой. Шкипер счел своим долгом сообщить ему некоторые сведения о себе.

— Я прибыл вчера вечером, но не нашел прохода. Пришлось бросить якорь в море. Мне эта стоянка не знакома, но хозяева приказали мне доставить сюда кое-какой груз. Для Грэя. Вы слышали про такого?

— Да, у него магазин недалеко отсюда.

— Ну так вот, ему нужны консервы, а у него взамен имеется копра. Вот они и решили, что, чем стоять без дела в Апии, лучше мне отправиться сюда. Я обычно хожу между Апией и Паго-Паго, но у них там сейчас оспа, вся жизнь замерла.

Он отпил виски и закурил сигару. Шкипер по натуре был молчалив, но что-то в Нейлсоне нервировало его и заставляло говорить. Швед смотрел на него большими черными глазами, в которых мелькала легкая усмешка.

— У вас тут славный уголок.

— Да, я немало постарался.

— Ваши деревья, надо думать, дают большой доход. Они у вас хороши, а копра сейчас в цене. У меня у самого была когда-то маленькая плантация на Уполу, да пришлось ее продать.

Шкипер вновь оглядел комнату, заставленную книгами, непонятными и, казалось, враждебными ему.

— А вам тут, должно быть, скучновато,— сказал он.

— Ничего, я привык. Я ведь здесь уже двадцать пять лет.

Не зная, что еще сказать, шкипер молча курил. Нейлсону, по всей видимости, не хотелось нарушать молчание. Он задумчиво рассматривал своего гостя. Это был высокий



человек, более шести футов ростом, очень полный. У него было заплывшее жиром лицо, красное и все в пятнах, а щеки покрывала сеть фиолетовых жилок. Глаза были налиты кровью, шея терялась в складках жира. Он был совершенно лыс, если не считать длинной курчавой и почти белой бахромы волос на затылке; высокий блестящий лоб, вместо того чтобы создавать видимость ума, придавал ему, напротив, необыкновенно глупый вид. На нем была голубая фланелевая рубашка, открывавшая заросшую рыжими волосами грудь, и изрядно потрепанные синие шерстяные брюки.

Гость сидел на стуле в тяжелой некрасивой позе, выпятив большой живот и широко расставив толстые ноги. Тело его утратило всякую гибкость. Нейлсон лениво задал себе вопрос, как же выглядел этот человек в молодости. Было почти невозможно представить себе, чтобы эта туша была когда-то резвым мальчишкой.

Шкипер допил свое виски, и Нейлсон пододвинул к нему бутылку.

— Угощайтесь.

Шкипер наклонился и взял бутылку своей огромной ручищей.

— А вы как попали в эти края? — спросил он.

— Я приехал на острова из-за своего здоровья. У меня было неважно с легкими, и доктора сказали, что я не проживу и года. Как видите, они ошиблись.

— Я хотел спросить, как вышло, что вы поселились именно здесь?

— Я человек сентиментальный.

— А!..

Нейлсон видел, что шкипер не имеет ни малейшего понятия о том, что он этим хотел сказать, и в его черных глазах блеснул насмешливый огонек. Но, может быть, именно потому, что шкипер был так неотесан и туп, ему шутки ради захотелось продолжить разговор.

— Когда вы шли по мосткам, вы так боялись свалиться, что вряд ли что замечали вокруг, а ведь это место считается очень красивым.

— У вас здесь славный домишко.

— Ну, его-то здесь как раз не было, когда я сюда приехал. Здесь стояла круглая туземная хижина на сваях, с остроконечной крышей, под огромным деревом с красными цветами, окруженная, как изгородью, кротоновыми кустами с желтыми, красными, золотистыми листьями. А дальше повсюду росли кокосовые пальмы, грациозные,

тщеславные, как женщины. Они стояли у самой воды и целыми днями любовались своим отражением.

Я тогда был еще молод — боже мой, ведь это было четверть века назад! — и я хотел насладиться всей красотой мира за то короткое время, что мне осталось до смерти. Когда я впервые попал сюда, у меня дух захватило, и я думал, что заплачу. Я в жизни не видел такой красоты. Мне было всего двадцать пять лет, и я храбрился — умирать мне не хотелось. И мне почему-то показалось, что самая красота этого места поможет мне примириться с судьбой... Когда я приехал сюда, я почувствовал, что все мое прошлое куда-то исчезло — Стокгольм и Стокгольмский университет, и затем Бонн, как будто это была чья-то чужая жизнь; как будто я только сейчас постиг ту реальность жизни, о которой так много говорят наши доктора философии — между прочим, я и сам доктор философии. «Один год, — сказал я себе, — мне остался один год. Я проведу его здесь, а потом я готов умереть».

Как мы глупы, сентиментальны, мелодраматичны, когда нам двадцать пять лет, но, если б не это, может быть, тогда к пятидесяти годам мы не были бы такими умудренными... Пейте, мой друг, пейте! Не обращайтесь внимания на мою болтовню.

Он жестом указал на бутылку, и шкипер допил свой стакан.

— А вы-то сами ничего не пьете? — спросил он, беря бутылку.

— Я трезвенник, — улыбнулся швед. — Я опьяняю себя другими, более тонкими способами. Но может быть, это просто тщеславие. Во всяком случае, эффект получается более длительный, а результаты менее пагубны.

— Говорят, в Штатах сейчас многие нюхают кокаин, — сказал шкипер.

Нейлсон только усмехнулся.

— Я редко вижу белых, и раз в жизни глоток виски, пожалуй, мне не повредит.

Он налил себе немного виски, добавил содовой и отпил из стакана.

— Наконец я понял, почему это место отличалось такой неземной красотой. Здесь на миг задержалась любовь, как перелетная птица, которая, случайно встретив корабль среди океана, садится на мачту и ненадолго складывает усталые крылья. Благоухание прекрасной страсти носилось здесь в воздухе, как аромат боярышника на лугах моей родины в мае. Мне кажется, что там, где люди сильно

любили или сильно страдали, навсегда сохраняется слабый аромат чувства, как будто оно полностью не умирает, как будто эти места приобретают некую духовную значимость, которая таинственным образом отражается на тех, кто попадает туда. Жаль, что я не могу яснее это выразить,— он слегка улыбнулся,— но все равно, навряд ли вы и тогда поняли бы, что я хочу сказать.

Нейлсон помолчал.

— Может быть, это место казалось мне таким красивым, потому что здесь я пережил красивую любовь.— Он пожал плечами.— А может быть, просто моему эстетическому чувству импонировало удачное сочетание молодой любви и соответствующей оправы.

Даже человек, менее тупой, чем шкипер, был бы озадачен словами Нейлсона, потому что Нейлсон, казалось, сам посмеивался над тем, что говорил. Как будто его откровенность диктовалась чувством, которое разум находил смешным. Он сам назвал себя сентиментальным, но, если к сентиментальности примешивается скепсис, из этого иногда черт знает что получается.

Нейлсон замолк на минуту и посмотрел на шкипера с внезапным любопытством, как бы силясь припомнить что-то.

— Вы знаете, мне все мерещится, что я вас уже где-то встречал,— сказал он.

— Я что-то не припоминаю,— возразил шкипер.

— Странное чувство, как будто ваше лицо мне знакомо. Я все пытаюсь вспомнить, где и когда я вас видел.

Шкипер пожал плечами.

— Уже тридцать лет, как я на островах. Где же тут упомнить всех, с кем встречался за такой срок.

Швед покачал головой.

— Знаете, иногда чувствуешь, что тебе почему-то знакомо место, где ты никогда не бывал. Вот у меня такое же ощущение, когда я смотрю на вас.— На лице его появилась странная улыбка.— А может быть, вы были начальником галеры в Древнем Риме, а я рабом у весла. Так вы говорите, что прожили здесь тридцать лет?

— Тридцать, как один год.

— Не встречался ли вам человек по прозвищу Рыжий?

— Рыжий?

— Я его знаю только под этим прозвищем. Сам я никогда не был с ним знаком и даже в глаза его не видал. И все же я представляю его себе яснее, чем многих других, например, моих братьев, которых я видел ежедневно в течение

многих лет. Он живет в моем воображении так же ясно, как Паоло Малатеста или Ромео. Впрочем, вы, вероятно, не читали ни Данте, ни Шекспира?

— Да вроде нет,— ответил шкипер.

Нейлсон, покуривая сигару, откинулся на спинку кресла и отсутствующим взглядом смотрел на плававший в неподвижном воздухе дым. На губах его играла улыбка, но глаза были серьезны.

Затем он взглянул на шкипера. В неимоверной тучности последнего было что-то отталкивающее. Его лицо отражало безграничное самодовольство, свойственное очень толстым людям. Это было возмутительно, это действовало Нейлсону на нервы. Однако контраст между его гостем и тем человеком, которого он мысленно представлял себе, был приятен ему.

— Похоже на то, что этот Рыжий был красавец хоть куда. Я разговаривал со многими людьми, к тому же белыми, которые знавали его в те дни, и все в один голос утверждали, что он был ослепительно красив.

Рыжим его прозвали за огненные волосы. Они вились от природы, и он носил длинную шевелюру. Должно быть, это был тот чудесный оттенок, на котором были помешаны прерафаэлиты. Не думаю, что он гордился своей шевелюрой — для этого он был слишком прост,— но, если бы и гордился, никто не осудил бы его за такое тщеславие.

Он был высокого роста, шести футов с лишним. В туземной хижине, которая здесь раньше стояла, на центральном столбе, поддерживавшем крышу, была зарубка, отмечавшая его рост. Сложен он был, как греческий бог, широкий в плечах, с узкими бедрами; в его фигуре была та мягкость линий, которую придал Пракситель своему Аполлону, и та же неуловимая женственная грация, волнующая и таинственная. Его кожа была ослепительно белая, бархатистая, как у женщины.

— У меня у самого была довольно белая кожа, когда я был мальчишкой,— сказал шкипер, и его налитые кровью глаза сощурились в усмешке.

Но Нейлсон как бы не слышал его. Он увлекся своим рассказом и не хотел, чтобы его перебивали.

— Лицо его было так же прекрасно, как и тело. У него были большие синие глаза, такие темные, что некоторые утверждали, что они черные. И в отличие от большинства рыжих — темные брови и длинные темные ресницы. Черты лица у него были абсолютно правильные, а рот похож на кровавую рану. Ему было двадцать лет.— На этом швед

выдержал драматическую паузу и отпил глоток виски. Затем он продолжал:— Он был неповторим. Не было человека красивее его. Он был как чудесный цветок на диком растении,— счастливая прихоть Природы.

Однажды Рыжий высадился в той бухте, где вы, должно быть, сегодня утром бросили якорь. Он был американским матросом и дезертировал с военного корабля в Апии. Он уговорил какого-то добросердечного туземца подвезти его на катере, шедшем из Апии в Сафоро. Здесь его ссадили на берег. Почему он дезертировал, я не знаю. Может быть, ему пришлось не по вкусу жизнь на военном корабле с ее строгостями; может быть, у него были неприятности; а может быть, просто на него подействовали Южные моря и эти романтические острова. Иногда они странно действуют на человека, он оказывается пойманным, как муха в паутину. Возможно, он был не в меру впечатлителен, и эти зеленые холмы, этот разнеживающий климат, это синее море отняли у него его силу северянина, как Далила отняла силу у Самсона. Так или иначе, ему нужно было скрыться, и он решил, что здесь можно прожить в безопасности до тех пор, пока его корабль не уйдет с Самоанских островов.

На берегу лагуны была туземная хижина, и пока Рыжий стоял здесь, не зная, куда ему направиться, из хижины вышла девушка и пригласила его войти. Он знал не более двух-трех слов на туземном языке, а она столько же по-английски. Но он отлично понял, что означали ее улыбки и приветливые жесты, и последовал за нею. Он сел на циновку, и она угостила его ломтиками ананаса.

О Рыжем я знаю только понаслышке, но девушку я сам видел через три года после их встречи. Тогда ей было всего девятнадцать лет. Вы не можете себе представить, как она была прелестна. В ней была чувственная грация и богатые краски тропического цветка. Высокая, стройная, с тонкими чертами, присущими ее народу, с большими глазами, похожими на тихие заводи под пальмами. Ее черные вьющиеся волосы рассыпались по спине, а голова была увенчана душистыми цветами. У нее были очаровательные руки, такие маленькие, такой прекрасной формы, что от одного взгляда на них дух захватывало.

В те дни она охотно смеялась. Улыбка у нее была такая нежная, что сердце замирало, а кожа золотилась, как пшеничное поле в солнечный день.

Боже! Как мне описать ее? Она была сказочно хороша.

И эти юные создания — ей было шестнадцать лет, а ему двадцать — влюбились друг в друга с первого взгляда. Тако-

ва истинная любовь, не та любовь, которая вырастает из взаимной симпатии, общих интересов, духовной близости, но любовь простая, первозданная. Так полюбил Адам Еву, когда он проснулся и впервые увидел ее в саду, смотрящую на него влажными глазами. Это была та любовь, которая влечет друг к другу зверей и богов. Та любовь, которая делает мир чудом. Та любовь, которая дает жизни ее внутренний смысл. Вы никогда, вероятно, не слышали об умном и циничном французском герцоге, который сказал, что из двух любовников всегда один любит, а другой только позволяет себя любить; это горькая истина, с которой большинство из нас вынуждено мириться. И очень редко бывает так, что оба любят одинаково. Тогда, наверно, само солнце останавливается, как остановилось оно, когда Иисус Навин воззвал к Богу Израиля.

Даже теперь, после стольких лет, когда я вспоминаю об этих юных существах, таких прекрасных, простых, и об их любви, у меня щемит сердце. Оно сжимается так же, как это иногда бывает, когда я ночью смотрю на полную луну, сияющую в чистом небе над тихой лагуной. Созерцание идеальной красоты всегда рождает боль.

Они были детьми. Девушка была добрая, милая и нежная. О нем я ничего не знаю, но хочу думать, что, по крайней мере, в то время он был бесхитростным и чистосердечным. Мне хочется думать, что душа его была так же прекрасна, как его тело. Но очень возможно, что у него было не больше души, чем у населявших леса созданий, которые делали свирели из камыша и купались в горных ручьях и озерах, когда мир был еще молод и когда маленькие фавны скакали по долинам верхом на бородатых кентаврах. Беспокойная вещь — душа, и с тех пор, как человек приобрел ее, он лишился Эдема.

Да, так вот, незадолго до появления Рыжего на острове здесь разразилась эпидемия, одна из тех, которые заносит в страны Южных морей белый человек; треть обитателей острова вымерла. Девушка потеряла всех своих родных и жила у дальних родичей. Вся семья состояла из двух древних старух, морщинистых и сгорбленных, двух женщин помоложе, мужчины и мальчика.

Рыжий пробыл у них несколько дней. Но то ли его смущала близость берега и возможность встречи с белыми, которые выдадут его убежище, то ли влюбленные не хотели, чтобы посторонние хоть на минуту лишали их радости быть вдвоем; так или иначе, однажды они оба, забрав с собой нехитрые пожитки девушки, отправились в путь

по заросшей травой тропинке под кокосовыми пальмами и пришли к речке, которую вы сейчас видите. Им пришлось перейти мостик, по которому и вы переправлялись, и девушка весело смеялась над робостью Рыжего. Она довела его за руку до конца первого ствола, но тут мужество покинуло его, и ему пришлось вернуться. Он был вынужден снять с себя всю одежду, прежде чем снова рискнул ступить на мост, и девушка перенесла его вещи на голове.

Они поселились в пустой хижине, которая стояла здесь. То ли девушка имела на нее какие-либо права (права на землю на этих островах — сложная вещь), то ли хозяин хижины умер во время эпидемии, во всяком случае, никто их ни о чем не спрашивал, и они завладели хижинкой. Вся их обстановка состояла из пары циновок, на которых они спали, осколка зеркала и двух-трех мисок. Но в таком благословенном уголке этого было вполне достаточно, чтобы зажить своим домом.

Говорят, что у счастливых людей нет истории и, уж конечно, ее нет у счастливой любви. Они целыми днями ничего не делали, и все же дни казались им слишком короткими. У девушки было туземное имя, но Рыжий звал ее Салли. Он быстро научился несложному языку туземцев и часами лежал на циновке, слушая ее веселый щебет. Он был молчалив, а может быть, ум его еще не пробудился... Он беспрестанно курил сигареты, которые она делала ему из туземного табака и листьев пандана, и наблюдал, как она своими ловкими пальцами плела циновки из травы.

К ним часто заходили туземцы; они рассказывали длинные истории о былых временах, когда на острове шла война между племенами. Иногда Рыжий рыбачил на рифе и приносил корзину разноцветной рыбы. Иногда ночью он уходил с фонарем ловить омаров. Вокруг хижины росли бананы. Салли пекла их, и это тоже было частью их скромной пищи. Салли умела делать вкуснейшие кушанья из кокосовых орехов, а хлебное дерево, росшее на берегу речки, давало им свои плоды. По праздникам закалывали поросенка и жарили мясо на горячих камнях. Они вместе купались в речке, а вечером катались на челноке по лагуне.

На закате темно-синее море окрашивалось в цвет красного вина, как море гомеровской Греции; в лагуне же оно переливалось всеми оттенками, от аквамарина до аметиста и изумруда; а лучи заходящего солнца на короткое время придавали ему вид жидкого золота. В море были кораллы всех цветов: коричневые, белые, розовые, красные, фиолетовые. Они были похожи на волшебный сад, а сновавшие

в воде рыбы — на бабочек. Все это напоминало сказку. Среди зарослей кораллов встречались открытые места с белым песчаным дном и с кристально чистой водой, в которой очень хорошо было купаться.

Уже в сумерках они медленно, держась за руки, возвращались к себе по заросшей мягкой травой тропинке, освеженные и счастливые. Птицы майна наполняли кокосовые рощи своим щебетом. Наступала ночь, и огромное небо, сверкавшее золотыми звездами, казалось шире, чем небо в Европе, а легкий ветерок продувал их открытую хижину. Но и эта длинная ночь тоже казалась им слишком короткой.

Ей было шестнадцать, а ему едва минуло двадцать лет. Рассвет проникал между столбов хижины и смотрел на этих прелестных детей, спавших в объятиях друг друга. Солнце, чтобы не потревожить их, сначала пряталось за большими резными листьями бананов, а затем его золотой луч, как будто лапка ангорской кошки, лукаво трогал их лица. Они открывали сонные глаза и улыбкой встречали новый день.

Недели превращались в месяцы, прошел год. Они, казалось, любили друг друга так же — я не хочу сказать страстно, потому что в страсти всегда есть оттенок печали, примесь горечи или муки, — но так же безгранично, так же просто и естественно, как в тот день, когда они впервые встретились и поняли, что в них вселилось божество.

Я уверен, что они не допускали мысли, что их любовь может когда-нибудь иссякнуть. Разве мы не знаем, что главное в любви — это вера в то, что она будет длиться вечно. И все-таки, может быть, в Рыжем уже таилось крошечное семя будущего пресыщения, о котором ни он, ни девушка не подозревали, когда однажды туземец, приехавший со взморья, сказал им, что недалеко от берега стало на якорь английское китобойное судно.

— Вот здорово! — сказал Рыжий. — Уж не попробовать ли мне добыть у них фунта два табаку в обмен на орехи и бананы?

Сигареты из пандановых листьев, которые Салли без устали крутила ему, были крепкими и достаточно приятными на вкус, но они не удовлетворяли его; ему вдруг ужасно захотелось настоящего табаку, забористого и пахучего. Много месяцев он не курил трубки, и при одной мысли об этом у него потекли слюнки.

Можно было бы ожидать, что Салли почувствует недоброе и попытается его отговорить, однако любовь переполняла ее настолько, что она и подумать не могла о том, что есть такая сила на земле, которая может отнять у нее Рыжего. Они



вместе отправились на холмы, набрали большую корзину диких апельсинов, зеленых, но сладких и сочных; возле хижины они нарвали бананов, кокосовых орехов, плодов хлебного дерева и манго и все это снесли на берег. Нагрузив утлый челнок, Рыжий вместе с мальчиком-туземцем, тем самым, который сообщил им о прибытии судна, поплыл за риф.

Больше Салли его никогда не видела.

На другой день мальчик вернулся один, весь в слезах. Он рассказал, что, когда они добрались до судна и Рыжий окликнул людей на борту, показался белый человек и позвал их наверх. Захватив с собой привезенные фрукты, Рыжий вывалил их на палубу. Белый человек заговорил с Рыжим, и они, как видно, о чем-то условились. Один из матросов пошел вниз и принес табаку. Рыжий тут же набил трубку и закурил. Мальчик показал, с каким удовольствием он затаился и выпустил большой клуб дыма.

Затем они ему что-то сказали, и он вошел в каюту.

Мальчик, с любопытством наблюдая через открытую дверь, видел, как принесли бутылку и стаканы. Рыжий пил и курил.

Белье, по-видимому, задали ему какой-то вопрос, потому что он покачал головой и засмеялся. Человек, который первым заговорил с ними, тоже смеялся и снова наполнил стакан Рыжего. Они продолжали разговаривать и пить, и мальчик, устав, в конце концов, наблюдать зрелище, смысла которого он не мог уловить, свернулся калачиком на палубе и заснул.

Он проснулся от пинка; вскочив на ноги, он увидел, что корабль медленно выходит из лагуны. Рыжий крепко спал, сидя за столом и положив отяжелевшую голову на руки. Мальчик шагнул было к нему, чтобы разбудить его, но чья-то рука грубо схватила его за плечо, и хмурый матрос, обругав его на непонятном языке, указал на борт. Тогда он громко окликнул Рыжего, но в ту же секунду его схватили и швырнули в воду. Поняв, что он ничего не может сделать, он подплыл к своему челноку, дрейфовавшему неподалеку, подогнал его к рифу, влез в него и, плача, стал грести к берегу.

Объяснялось все это просто. На китобойном судне не хватало матросов — то ли они болели, то ли разбежались, — и капитан предложил Рыжему завербоваться, а когда тот отказался, напоил его и просто увез.

Салли была вне себя от горя. В течение трех дней она рыдала и билась в отчаянии. Туземцы всячески старались

утешить ее, но напрасно. Она ничего не ела. А потом, совсем обессилев, погрузилась в мрачную апатию.

Долгие дни она проводила на берегу, не спуская глаз с лагуны, в тщетной надежде на то, что Рыжему как-нибудь удастся сбежать. Она часами сидела на белом песке, и слезы лились у нее по щекам, а с наступлением ночи устало брела через речку к маленькой хижине, где она когда-то была счастлива. Люди, с которыми она жила до появления Рыжего на острове, уговаривали ее возвратиться к ним, но она отказалась: она была уверена, что Рыжий вернется, и хотела, чтобы он нашел ее на том же месте, где оставил.

Четыре месяца спустя она родила мертвого ребенка, и старуха, которая пришла помочь ей при родах, осталась жить в ее хижине.

Из ее жизни ушла вся радость. Хотя с течением времени ее боль перестала быть такой невыносимой, на смену ей пришла постоянная меланхолия. Нельзя было себе представить, что среди этого народа, чьи чувства бурны, но мимолетны, найдется женщина, способная на такую длительную страсть. Она не переставала верить, что рано или поздно Рыжий вернется. Она ждала его, и каждый раз, когда кто-нибудь шел по узкому мостику, она поднимала голову в надежде, что наконец увидит его...

Нейлсон умолк и слегка вздохнул.

— Что же с ней было дальше? — спросил шкипер.

Нейлсон горько усмехнулся.

— Через три года она сошлась с другим белым.

— Так у них обычно и бывает, — сказал шкипер с циничным смешком.

Швед бросил на него взгляд, полный ненависти. Он не знал, почему этот грубый, ожиревший человек вызывал в нем такое отвращение. Вскоре, однако, мысли его отвлеклись, и на него нахлынули воспоминания.

Они перенесли его на двадцать пять лет назад, к той поре, когда он впервые приехал на остров из Апии, надоевшей ему своим пьянством, азартными играми и грубым развратом. Он был тяжело болен и пытался привыкнуть к мысли о крушении карьеры, с которой связывал столько честолюбивых мечтаний. Отбросив всякую надежду стать когда-нибудь знаменитым, он старался заставить себя быть довольным теми немногими месяцами осторожной жизни, на которые мог рассчитывать, если будет беречь себя.

Он поселился у метиса-торговца, которому принадлежала лавка на берегу, милях в двух отсюда, на окраине туземной деревни. Однажды, бесцельно бродя по заросшим

травой тропинкам среди кокосовых пальм, он наткнулся на хижину, в которой жила Салли. Красота этого уголка породила в его душе огромный, чуть ли не болезненный восторг. И тут он увидел Салли.

Более красивого создания он еще никогда не встречал, а печаль в ее великолепных черных глазах вызвала в нем странное чувство. Канаки — красивый народ, но красота их скорее напоминает красоту животных. Она пуста. Однако трагические глаза Салли хранили какую-то тайну; в них отражалась вся растерянность и горечь израненной души. Торговец рассказал ему историю Салли, и она тронула его.

— Как по-вашему, Рыжий когда-нибудь вернется? — спросил Нейлсон.

— Какое там! Ведь команду рассчитают не раньше чем года через два, а к тому времени он забудет и думать о Салли. Уверен, что когда он проснулся и понял, что его нарочно спойли и увезли, он порядком взбесился и, наверное, даже полез в драку. Но, в конце концов, ему пришлось смириться, а через месяц он, наверно, был рад-радешенек, что уехал с острова.

Нейлсон не мог выбросить этот рассказ из головы. Может быть, именно потому, что сам он был больной и слабый, брызжущее через край здоровье Рыжего импонировало его воображению. Будучи сам некрасив, с незначительной внешностью, он высоко ценил красоту в других. Он никогда страстно не любил и тем более никогда не был страстно любим. Почему-то взаимная привязанность этих двух юных созданий бесконечно радовала его. В ней была совершенная красота, говорящая о Вечном.

Он снова отправился к маленькой хижине у реки. У него были способности к языкам и энергичный ум, привыкший работать. Он посвятил уже немало времени изучению туземного языка. Теперь в силу старой привычки он собирал материал для научной работы по языку самоанцев.

Старуха, жившая у Салли, пригласила его войти и присесть. Она угостила его кофеем и сигаретами. Она была рада, что ей есть с кем поболтать, а он, пока старуха говорила, разглядывал Салли. Она напомнила ему Психею из Неаполитанского музея. У нее были такие же четкие и чистые черты лица, и хотя она уже прошла через материнство, выглядела она как юная девушка.

Лишь после второй или третьей встречи Нейлсон услышал ее голос. Но и тогда она нарушила молчание лишь для того, чтобы спросить, не встречал ли он в Апии человека

по прозвищу Рыжий. Два года прошло с его исчезновения, но было ясно, что она непрестанно думает о нем.

Вскоре Нейлсон понял, что он влюблен. Только усилием воли он заставлял себя не ходить к речке каждый день, но, даже когда он не видел Салли, его мысли были о ней.

Сначала, считая себя обреченным, он стремился лишь видеть ее, лишь изредка слышать ее голос, и его любовь была для него источником огромного счастья. Он радовался чистоте своего чувства. Он ничего не хотел от Салли, он хотел только сплетать вокруг этой грациозной девушки узор чудесных фантазий.

Но свежий воздух, ровный климат, отдых, простая пища оказали неожиданное действие на его здоровье. У него прекратились опасные ночные скачки температуры, он стал меньше кашлять и прибавил в весе; полгода у него не было кровохарканья, и тогда он вдруг понял, что, может быть, выживет. Он тщательно изучал свою болезнь, и у него появилась надежда, что, соблюдая осторожность, он может пресечь ее развитие.

Возможность снова думать о будущем воодушевила его. Он стал строить планы. Было ясно, что ни о какой напряженной деятельности не может быть и речи, но он мог жить на островах, а его небольшого дохода, которого было бы недостаточно во всяком другом месте, здесь ему вполне хватит. Он станет выращивать кокосовые пальмы,— значит, будет чем заняться; и он выпишет свои книги и рояль; но он быстро понял, что всем этим он только пытается скрыть от себя охватившую его страсть.

Ему нужна была Салли. Он любил не только ее красоту, но и ее душу, которую смутно угадывал по выражению ее страдальческих глаз. Он опьянит ее своей страстью. Он заставит ее забыть. И, отдаваясь нахлынувшему на него чувству, он представлял себе, что сможет дать ей то счастье, которое он считал навсегда утраченным для себя и которое так чудесно обрел.

Он предложил ей жить с ним. Она отказалась. Отказ его не обескуражил — он ожидал его. Но он был уверен, что рано или поздно она уступит. Его любовь одолеет все.

Он сказал старухе о своих намерениях и не без удивления убедился, что и старуха и соседи, давно разгадав их, усиленно уговаривали Салли принять его предложение. Ведь каждая туземная женщина была рада стать хозяйкой в доме белого человека, а Нейлсон, по местным понятиям, был богат.

Торговец, у которого он жил, пошел к Салли и убеждал ее не быть дурой; такая возможность больше не представится,

и теперь, когда прошло столько времени, нельзя рассчитывать, что Рыжий вернется.

Соппротивление девушки только подстегнуло Нейлсона, и то, что прежде было очень чистой любовью, превратилось в мучительную страсть. Он твердо решил смести все преграды. Он не давал Салли покоя. Наконец, сломленная его настойчивостью и то ласковыми, то сердитыми увещеваниями всех окружающих, она согласилась.

Но когда на следующий день он пришел к ней, переполненный радостным чувством, то обнаружил, что ночью она сожгла хижину, в которой когда-то жила с Рыжим. Старуха выбежала ему навстречу, сердито ругая Салли, но он отмахнулся от нее; это неважно, они построят бунгало на том месте, где стояла хижина. Европейский дом будет даже удобнее, раз он собирается выписать сюда рояль и много книг.

Так появился деревянный домик, в котором он впоследствии прожил много лет, и Салли стала его женой. Но после первых недель восторгов, когда Нейлсон удовлетворялся тем, что она давала ему, он все-таки знал мало счастья. Она покорила ему, потому что устала сопротивляться, но отдала только то, чему не придавала цены. Душа ее, которую он смутно угадывал, ускользала от него. Он знал, что она совершенно равнодушна к нему. Она все еще любила Рыжего и все время ждала его возвращения. Нейлсон знал, что, невзирая на всю его любовь, его нежность, его сочувствие и щедрость, она бросила бы его без малейшего колебания по первому знаку Рыжего. Она даже не задумалась бы о том, какое горе это ему причинит.

Для него это стало мукой; он тщетно пытался пробить непроницаемую стену, которую она воздвигла вокруг себя. К его любви примешалась горечь. Он старался растопить сердце Салли добротой, но оно оставалось таким же холодным; он притворялся равнодушным — она не замечала этого. Иногда он выходил из себя и ругал ее, и тогда она молча плакала. Иногда он думал, что сам себя обманул, сам выдумал ее душу и что он потому не может проникнуть в святая святых ее сердца, что этого святая святых вообще не существует.

Его любовь стала тюрьмой, из которой он стремился бежать, но у него не хватало силы просто открыть дверь — большего и не требовалось — и выйти на свободу. Это было мучением, и под конец он потерял надежду и уже не чувствовал боли. Огонь его страсти выгорел, и когда он видел, что ее взгляд на секунду задерживается на мостике,

его охватывала уже не ярость, а досада. Они прожили вместе много лет, связанные узами привычки и удобства, и сейчас он с улыбкой вспоминал свою былую страсть. Она была уже старой женщиной, потому что женщины на островах старятся быстро, и он уже не любил ее, но научился относиться к ней снисходительно. Она больше не была ему нужна. Он вполне довольствовался своим родем и книгами.

Эти мысли вызвали в Нейлсоне желание говорить.

— Когда я оглядываюсь назад и думаю о краткой, но страстной любви Рыжего и Салли, мне кажется, что, пожалуй, они должны благодарить безжалостную судьбу, которая разлучила их, когда их любовь, казалось, была еще в зените. Они страдали, да, но страдания их были красивы. Истинная трагедия любви миновала их.

— Я что-то не совсем вас понимаю,— сказал шкипер.

— Трагедия любви — это не смерть и не разлука. Ведь как знать, сколько бы еще длилась их любовь. Как горько смотреть на женщину, которую когда-то любил всем сердцем, всей душой — любил так, что ни минуты не мог быть без нее, — и сознавать, что ты ничуть не был бы огорчен, если бы больше никогда ее не увидел. Трагедия любви — это равнодушие.

Но пока Нейлсон говорил, произошло нечто очень странное. Хотя он обращался к шкиперу, он говорил не с ним; он просто излагал свои мысли для себя, глядя при этом на человека, сидевшего перед ним. Но вдруг в его сознании возник образ — образ не того, кого он видел перед собой, а другого. Он как будто смотрел в кривое зеркало, которое делает человека или необычайно толстым, или ужасно длинным; только сейчас происходило как раз обратное: в отталкивающем тучном старике он вдруг на мгновение увидел образ юноши.

Он пристально взгляделся в своего гостя. Почему случайная прогулка завела его именно сюда?

У него внезапно дрогнуло сердце. Нелепое подозрение вдруг зародилось в нем. Это казалось невыносимым, а между тем...

— Как ваше имя? — спросил он резко.

Шкипер прищурился и хитро усмехнулся. На лице его появилось злорадное и отвратительно вульгарное выражение.

— Черт побери, меня уже так давно никто не называл по имени, что я и сам почти забыл его; но вот уже тридцать лет, как здесь, на островах, меня все зовут Рыжим.

Его тучное тело затряслось от тихого, почти неслышного смеха. Это было омерзительное зрелище.

Нейлсона передернуло. А Рыжего все это, видимо, очень забавляло, и от смеха в его налитых кровью глазах выступили слезы.

Нейлсон вздрогнул, потому что в эту минуту в комнату вошла женщина. Это была благообразная туземка, полная, но не тучная, очень смуглая — кожа туземцев с возрастом темнеет — и совершенно седая. На ней было свободное платье из тонкой черной ткани, сквозь которую просвечивали ее тяжелые груди. Критический момент наступил.

Женщина что-то сказала Нейлсону насчет домашних дел. Когда он отвечал ей, собственный голос показался ему неестественным, но он не был уверен, почувствовала ли она это. Женщина равнодушно посмотрела на человека, сидевшего у окна, и вышла из комнаты. Критический момент наступил — и прошел.

Нейлсон не мог выговорить ни слова. Он был потрясен. Затем он все же заставил себя сказать:

— Буду рад, если вы останетесь и перекусите со мной, чем Бог послал.

— Боюсь, что не смогу, — сказал Рыжий. — Я должен разыскать этого самого Грэя. Отдам ему его товары и уеду обратно. Мне нужно завтра же быть в Апии.

— Я пошлю мальчика проводить вас.

— Вот и прекрасно.

Рыжий с трудом поднял свое грузное тело с кресла, а швед позвал одного из мальчишек, работавших на плантации. Он объяснил ему, куда нужно идти шкиперу, и мальчик пошел через мостик. Рыжий приготовился следовать за ним.

— Не свалитесь! — сказал Нейлсон.

— Ни в жизнь!

Нейлсон следил за ним, и когда тот исчез за кокосовыми пальмами, он продолжал неподвижно стоять у окна. Затем он тяжело опустился на стул. Неужели это и был тот человек, которого Салли любила все эти годы и которого она так отчаянно ждала. Какая чудовищная насмешка! Внезапно бешенство охватило его. Ему захотелось вскочить и крушить все вокруг. Его обманули. Они встретились наконец и не узнали друг друга. Он невесело засмеялся, и смех его, становясь все громче, напоминал истерику. Боги сыграли над ним жестокую шутку. А сейчас он уже стар...

Наконец вошла Салли и сказала, что обед готов. Он сидел напротив нее и пытался есть. Что бы она сказала, если бы знала, что толстый старик, только что сидевший здесь в кресле, был тот возлюбленный, которого она все еще

помнила со всем пылом юности. Много лет назад, когда он ненавидел ее за то, что она так его мучила, ему доставило бы удовольствие сказать ей это. Он тогда хотел причинить ей боль, такую же, какую она причиняла ему, потому что его ненависть была та же любовь.

Но сейчас ему было все равно. Он безразлично пожал плечами.

— Что нужно было тому человеку? — спросила она.

Он не сразу ответил. Она тоже была старая. Толстая старая туземка. Ему уже было непонятно, почему он когда-то любил ее так безумно. Он сложил к ее ногам все со-кровища своей души, а ей это было совершенно не нужно.

Зря! Все зря!

Сейчас, когда он смотрел на нее, он чувствовал только презрение. Хватит терпеть!

Он ответил:

— Это был капитан шхуны. Приехал из Апии.

— А...

— Он привез мне новости из дома. Мой старший брат очень болен, и я должен вернуться.

— Вы надолго уезжаете?

Он пожал плечами.



---

## МЭЙХЬЮ<sup>1</sup>

Жизнь большинства людей определяется их окружением. Обстоятельства, в которые ставит их судьба, они принимают не только с покорностью, но и охотно. Они похожи на трамваи, вполне довольные тем, что бегут по своим рельсам, и презирающие веселый маленький автомобиль, который шныряет туда-сюда среди уличного движения и резво мчится по деревенским дорогам. Я уважаю таких людей: это хорошие граждане, хорошие мужья и отцы, и, кроме того, должен же кто-то платить налоги; но они меня не волнуют. Куда интереснее, на мой взгляд, люди — надо сказать, весьма редкие, — которые берут жизнь в руки и как бы лепят ее по своему вкусу.

Может быть, свобода воли нам вообще не дана, но иллюзия ее нас не покидает. На развилке дорог нам кажется, что мы вольны пойти и направо и налево, когда же выбор сделан, трудно увидеть, что нас подвел к нему весь ход мировой истории.

Я никогда не встречал более интересного человека, чем Мэйхью. Это был адвокат из Детройта, способный и преуспевающий. К тридцати пяти годам он имел большую и выгодную практику, добился независимого материального положения и стоял на пороге великолепной карьеры. Он был умен, честен, симпатичен. Ничто не мешало ему стать видной фигурой в финансовом или политическом мире.

Как-то вечером он сидел у себя в клубе с друзьями; они немного выпили. Один из них, только что побывавший в Италии, рассказал о доме, который он видел на Капри, — это был дом в большом тенистом саду на холме над Неапо-

---

<sup>1</sup> © Перевод. Ашкенази В., 1979 г.

литанским заливом. Выслушав описание красот самого красивого острова в Средиземном море, Мэйхью сказал:

— Звучит превосходно. А этот дом продается?

— В Италии все продается.

— Пошлем им телеграмму, предложим цену.

— А что, скажи на милость, ты будешь делать с домом на Капри?

— Буду в нем жить, — сказал Мэйхью.

Он послал за телеграфным бланком, заполнил его и отправил. Через несколько часов пришел ответ. Предложение было принято.

Мэйхью не был лицемером и не скрывал, что в трезвом состоянии никогда не совершил бы такого безумного шага, но, протрезвившись, он не жалел об этом. Он не был ни импульсивен, ни излишне эмоционален, это был очень честный и искренний человек. Мэйхью не стал бы упорствовать из чистой бравады, если бы, подумав, расценил свой поступок как безрассудный. Но тут он не счел нужным менять принятое решение. За большим богатством он не гнался, а на то, чтобы жить в Италии, денег у него было достаточно. Ему пришло в голову, что, пожалуй, не стоит тратить жизнь на улаживание мелких дразг незначительных людей. Никакого определенного плана у него не было. Просто ему захотелось уйти от привычной жизни, потерявшей для него всякий интерес.

Друзья, вероятно, решили, что он спятил; некоторые, я думаю, не жалели сил, чтобы отговорить его. Он привел в порядок дела, упаковал мебель и уехал.

Капри — это суровая скала неприступного вида, омываемая темно-синим морем, но живая зелень виноградников украшает ее и смягчает ее суровость. Это ласковый, спокойный, приветливый остров. То, что Мэйхью обосновался в таком чудесном месте, удивляет меня, ибо я не встречал человека, менее восприимчивого к красоте. Не знаю, чего он искал там — счастья, свободы или просто праздности, — но знаю, что он нашел. В этом уголке земли, столь притягательном для чувств, он жил чисто духовной жизнью. Дело в том, что на Капри все дышит историей, и над ним вечно витает загадочная тень императора Тиберия. Из своих окон, выходивших на Неаполитанский залив, Мэйхью видел благородные очертания Везувия, меняющего цвет с каждой переменной освещения, и сотни мест, напоминающих о римлянах и греках. Прошлое завладело его мыслями. Все, что он видел здесь впервые — потому что он никогда раньше не бывал за границей, — волновало его и будило творческое

воображение. Мэйхью был человек действия. Вскоре он решил написать исторический труд. Некоторое время он выбирал тему и наконец остановился на втором столетии Римской империи. Эпоха эта была мало изучена и, как ему казалось, выдвигала проблемы, сходные с современными.

Он начал собирать книги и вскоре стал обладателем огромной библиотеки. За годы своей адвокатской деятельности Мэйхью научился читать быстро. Он принялся за дело.

Вначале он часто проводил вечера в обществе художников и писателей в маленькой таверне на площади, но потом отдалился от них, увлеченный работой. Он успел полюбить купание в этом тихом, теплом море и далекие прогулки среди кудрявых виноградников, но мало-помалу, жалея время, отказался и от прогулок, и от моря. Он работал больше и усерднее, чем когда-либо в Детройте. Начинал в полдень и работал весь день и всю ночь, пока гудок парохода, который каждое утро ходит с Капри в Неаполь, не давал ему знать, что уже пять часов и пора ложиться.

Тема постепенно раскрывалась перед ним во всем своем объеме и значительности, и мысленно он уже видел труд, который поставит его в один ряд с великими историками прошлого. С годами он все больше сторонился людей. Его можно было выманить из дому, только соблазнив возможностью сыграть партию в шахматы или с кем-нибудь поспорить. Его увлекали поединки интеллектов. Он был теперь широко начитан, и не только в области истории, но и в философии, и в естественных науках; он был искусный полемист — быстрый, логичный, язвительный. Но он оставался человеком добрым и терпимым, и хотя победа доставляла ему вполне понятное удовольствие, он не радовался ей вслух, щадя самолюбие противника.

Он приехал на остров крепко сбитым, мускулистым человеком с шапкой черных волос и черной бородой; но постепенно кожа его приобрела бледно-восковой оттенок, он стал худым и слабым. Странная вещь: этот логичнейший из людей, убежденный и воинствующий материалист, презирал тело, смотрел на него как на грубый инструмент, который должен лишь исполнять приказания духа. Ни болезнь, ни усталость не могли помешать ему продолжать работу. Четырнадцать лет он трудился не покладая рук. Он исписал тысячи карточек. Он сортировал и классифицировал их. Он изучал свою тему вдоль и поперек, и наконец

подготовка была закончена. Он сел за стол, чтобы начать писать. И умер.

Тело, с которым он, материалист, обошелся так неуважительно, отомстило ему.

Огромные накопленные им знания погибли безвозвратно. Не сбылась его мечта — нисколько не постыдная — увидеть свое имя рядом с именами Гиббона и Моммзена.

Память о нем хранят немногие друзья, которых с годами, увы, становится все меньше, а миру он после смерти неизвестен так же, как был неизвестен при жизни.

И все же, на мой взгляд, он прожил счастливую жизнь. Картина ее прекрасна и законченна. Он сделал то, что хотел, и умер, когда желанный берег был уже близок, так и не изведав горечи достигнутой цели.

---

## РОВНО ДЮЖИНА <sup>1</sup>

Я люблю Элсом. Этот приморский городок на юге Англии, неподалеку от Брайтона, тоже хранит обаяние эпохи последнего Георга, но там, в отличие от Брайтона, нет ни многолюдья, ни показного блеска. Лет десять назад, когда мне случалось туда наезжать, там еще можно было увидеть какой-нибудь старый дом, основательный и не без претензий (подобный разорившейся дворянке, которая скромно кичится своей родословной, но это вас не раздражает, а только кажется забавным), построенный в царствование «первого джентльмена Европы» и, вполне возможно, служивший пристанищем какому-нибудь опальному царедворцу. Главная улица не лишена была томной жеманности, автомобиль единственного в городке врача выглядел на ней как-то не у места. Хозяйки там хозяйничали не спеша. Они судачили с мясником, пока он, под их внимательным взглядом, отрубал кусок вырезки от большой бараньей туши, и спрашивались у бакалейщика о самочувствии его жены, пока он укладывал им в веревочную сумку полфунта чая и пакетик соли. Я не знаю, был ли когда-нибудь Элсом модным курортом: в мое время он таковым, безусловно, не был, но слыл уважаемым и дешевым. Там жили немолодые дамы, как девицы, так и вдовы. Жили отставные военные и чиновники, отслужившие в Индии, и все они не без трепета ожидали августа, когда начинался наплыв отпускников, однако же не прочь были сдать им дом, а на вырученные деньги пожить несколько недель светской жизнью в каком-нибудь пансионе в Швейцарии. Я ни разу не видел Элсом в ту горячечную пору, когда все меблирован-

---

<sup>1</sup> © Перевод. Лорие М., 1985 г.

ные комнаты были сданы и по набережной разгуливали мужчины в ярких куртках, когда на пляже давали представления бродячие актеры, а в гостинице «Дельфин» до одиннадцати часов вечера слышался стук бильярдных шаров. Я бывал там только зимой. Тогда на набережной во всех оштукатуренных, столетней давности домах с окнами фонарем белели записочки о сдаче комнат, а постояльцев «Дельфина» обслуживали один-единственный официант и коридорный. В десять часов в курительную являлся швейцар и смотрел на вас так выразительно, что вам ничего не оставалось, как только встать и отправиться к себе в номер спать. Элсом в то время располагал к покою, а «Дельфин» был очень удобной гостиницей. Приятно было думать, что к ее крыльцу не раз подкатывал принц-регент с миссис Фицгерберт — выпить чаю в ресторане. В холле висело под стеклом письмо от мистера Теккерея с просьбой оставить за ним гостиную и две спальни с видом на море и в такой-то день выслать на станцию пролетку встретить его.

Однажды в ноябре, через два-три года после войны, я переболел сильной испанкой и поехал в Элсом поправлять здоровье. Я прибыл туда во второй половине дня и, разобрав чемоданы, пошел пройтись по набережной. Небо было в тучах, спокойное море — серое, холодное. Над взморьем носилось несколько чаек. Парусные лодки с убранными на зиму мачтами были вытащены высоко на каменистый берег, купальные кабинки, облупленные, серые, выстроились в длинный ряд. Никто не сидел на скамейках, которые муниципалитет позаботился расставить на набережной, но несколько приезжих бодро прохаживались взад-вперед для моциона. Мне встретился старый полковник с красным носом и в бриджах, топавший в сопровождении терьера, две пожилые женщины в коротких юбках и прочных ботинках и некрасивая девушка в берете. Никогда еще я не видел набережную такой пустынной. Меблированные комнаты выглядели как неопрятные старые девы, все поджидающие возлюбленных, которые никогда не вернутся, и даже у «Дельфина» вид был унылый и заброшенный. Сердце у меня сжалось. Жизнь сразу представилась беспросветно тоскливой. Я вернулся в гостиницу, задернул у себя в номере занавески, помешал угли в камине и попробовал развеять свою меланхолию чтением, однако обрадовался, когда пришло время одеваться к обеду. Когда я спустился в ресторан, постояльцы уже сидели за столом. Я бегло окинул их взглядом. Была там дама средних лет, одна, и два пожилых господина, очевидно игроки в гольф,

краснолицые и плешивые, поглощавшие пищу в угрюмом молчании. Кроме них, в комнате находилась только еще группа из трех человек, сидевшая отдельно в нише окна, та сразу привлекла мое внимание. Составляли эту группу старый господин и две дамы: одна старая — вероятно, его жена, другая моложе — возможно, дочь. В первую очередь меня заинтересовала старая леди. На ней было необъятных размеров черное шелковое платье и черный кружевной чепец; на запястьях массивные золотые браслеты, на шее тяжелая цепочка с большим золотым медальоном, под горлом большая золотая брошь. Я и не думал, что кто-то еще носит такого рода драгоценности. Нередко, проходя мимо антикварной лавки или ломбарда, я задерживался перед витриной поглядеть на эти безнадежно устаревшие украшения, такие громоздкие, дорогие и безобразные, и с улыбкой, к которой примешивалась грусть, думал о давно умерших женщинах, что когда-то их носили. Они наводили на мысль о тех временах, когда криолин уже уступал место турнюрам и оборкам, а плоскую шляпку вытеснял капор с высоченным козырьком и лентами. В те дни англичане любили все добротное и крепкое. В воскресенье утром они ездили в церковь, а после церкви прогуливались в Гайд-парке. Задавали обеды из двенадцати блюд, и хозяин дома сам нарезал ростбиф и цыплят, а после обеда дамы, умевшие играть на фортепьяно, услаждали собравшихся «Песнями без слов» Мендельсона, а джентльмен, обладатель прекрасного баритона, исполнял старинную английскую балладу.

Вторая женщина, та, что помоложе, сидела ко мне спиной, и сперва я только отметил, что она худенькая, как девочка. У нее были роскошные каштановые волосы, уложенные в сложную прическу. Платье на ней было серое. Все трое разговаривали между собой вполголоса, но вот она повернула голову, и я увидел ее профиль. Он был поразительно красив. Носик прямой, изящный, безупречная линия щеки; а прическа-то как у королевы Александры. Обед кончился, и все трое встали с мест. Старшая леди выплыла из комнаты, не глядя ни вправо, ни влево, младшая за ней. И тут я, к ужасу своему, увидел, что она старая. Платье ее было очень простое, юбка подлиннее, чем тогда носили, и в покрое что-то старомодное. Может быть, талия чуть более подчеркнута, чем принято, но общий его рисунок — девический. Она была высокого роста, как героини Теннисона, легкая, длинноногая, грациозная. Нос я уже успел отметить — это был нос греческой богини; рот был прекра-

сен, глаза большие, синие. Кожа, естественно, чуть слишком туго обтягивала кости лица, и на лбу и у глаз обозначились морщинки, но в молодости она, наверно, была очаровательна. Она напоминала тех древнеримских дам с идеально правильными чертами лица, которых писал Альма Тадема и в которых вопреки их античным одеждам сразу можно узнать англичанок. Холодного совершенства этого типа никто не видел уже лет двадцать пять. Теперь он и вовсе умер, как эпитафия. Я ощутил себя археологом, обнаружившим статую, давно погребенную под землей, и меня взволновала эта встреча с реликвией минувшей эры. Ибо никакий день не умирает так прочно, как позавчерашний.

Старый джентльмен встал, когда поднялись его дамы, а потом снова сел. Официант подал ему стакан крепкого портвейна. Он понюхал его, отпил, просмаковал. Я тем временем разглядывал его. Он был невысокого роста, на голову ниже своей дородной супруги, не толстый, но упитанный, с густыми вьющимися седыми волосами. В изрезанном морщинами лице таилась усмешка. Губы плотно сжаты, подбородок квадратный. Одет он был, по нашим понятиям, немного экстравагантно — черный бархатный жакет, сорочка с низким воротничком и жабо, пышный черный галстук и широкие вечерние брюки. Что-то в этом чудилось маскарадное. Он не спеша допил портвейн, встал и с достоинством удалился.

Проходя через холл, я заглянул в книгу приезжающих, мне любопытно было узнать, кто эти странные люди. Угловатым женским почерком, какому молодых девиц обучали в фешенебельных школах сорок лет назад, там было записано: «М-р и м-с Сент-Клер, мисс Порчестер», и адрес: «Ленстер-сквер, 58, Бейсуотер, Лондон». Я спросил у администратора, кто есть мистер Сент-Клер, и узнал, что он, кажется, что-то делает в Сити. Я зашел в бильярдную, погонял шары, а по дороге к себе наверх заглянул в гостиную. Те два краснолицых господина читали вечерние газеты, одинокая дама средних лет дремала над романом. Интересовавшая меня тройца расположилась в углу комнаты. Миссис Сент-Клер вязала, мисс Порчестер прилежно вышивала, а мистер Сент-Клер читал вслух негромко, но внятно. Проходя мимо них, я уловил, что читает он «Холодный дом».

На следующий день я много читал и писал, но среди дня вышел погулять и по дороге домой присел на одну из тех удобных скамеек на набережной. Было не так холодно, как накануне, и ветер улегся. От нечего делать я стал



следить глазами за человеком, издали приближавшимся ко мне. Когда он подошел поближе, я увидел, что это невзрачного вида мужчина в жиденьком черном пальто и поношенном котелке. Руки он засунул в карманы — как видно, озяб. Он взглянул на меня мимоходом, прошел еще несколько шагов, остановился, подумал и повернул обратно. Снова поравнявшись со скамейкой, на которой я сидел, вынул руку из кармана и прикоснулся к шляпе. Я заметил, что перчатки на нем черные, старые, и предположил, что он вдовец в стесненных обстоятельствах. Или, может быть, служащий похоронного бюро, поправляющийся, как и я, после испанки.

— Прошу прощения, сэр, — сказал он, — не найдется ли у вас спички?

— Пожалуйста.

Он сел рядом со мной и, пока я доставал из кармана спички, тоже полез в карман — за папиросами. Он вытащил обертку от «Голдфлейкс», и лицо его вытянулось.

— Надо же, какая досада! Ни одной не осталось.

— Закурите мою, — предложил я улыбаясь.

Я протянул ему портсигар, и он взял папиросу.

— Золотой? — спросил он и постучал пальцем по портсигару, который я успел захлопнуть. — Золотой? Вот чего я никогда не умел хранить. У меня их три было. Все украли.

Он меланхолично уставился на свои башмаки, давно вызывавшие о ремонте. Это был неказистый человек с длинным тонким носом и голубыми глазами. Лицо у него было желтое, в морщинах. Определить его возраст я бы не взялся — то ли тридцать пять лет, то ли шестьдесят. В нем не было ничего примечательного, кроме его заурядности. Но, несмотря на явную бедность, выглядел он опрятно и чисто. Вполне respectable фигура, и держится за свою respectableность. Нет, не служит он в похоронном бюро. Скорее, работает клерком у какого-нибудь юриста, недавно похоронил жену, и добросердечный шеф отправил его в Элсом отдохнуть.

— Вы сюда надолго, сэр? — осведомился он.

— Дней на десять — пятнадцать.

— В Элсоне впервые, сэр?

— Нет, я здесь уже бывал.

— Я-то хорошо его знаю, сэр. Могу смело сказать, в Англии не много найдется приморских курортов, где бы я не побывал. Элсом — один из лучших. Здесь встречаешь людей очень порядочного круга. И никакого шума, никакой вульгарности, вы меня понимаете. Для меня, сэр, Элсом

связан с очень приятными воспоминаниями. Я знал Элсом в давно минувшие дни. Я венчался в церкви святого Мартина, сэр.

— В самом деле? — промямлил я.

— Это был очень счастливый брак, сэр.

— Приятно слышать.

— В тот раз хватило на девять месяцев, — добавил он задумчиво.

Замечание, согласитесь, не совсем обычное. Не могу сказать, что я с восторгом предвкушал явно грозивший мне рассказ о его матримониальном опыте, но сейчас я ждал продолжения если не с жадным нетерпением, то с любопытством. Продолжения не последовало. Он только вздохнул. Наконец я сам нарушил молчание.

— Приезжих здесь, видимо, совсем немного, — заметил я.

— Вот и хорошо. Толпы — это не по мне. Как я уже сказал, я много лет провел на разных курортах, но только не во время сезона. То ли дело зимой.

— Немножко, пожалуй, уныло.

Он повернулся ко мне и рукой в черной перчатке дотронулся до моего рукава.

— Да, уныло. Потому-то каждый луч солнца так радует.

Слова эти показались мне бессмысленными, и я промолчал. Он убрал руку и встал со скамейки.

— Что ж, не буду вас задерживать, сэр. Рад был с вами познакомиться.

Он вежливо приподнял свой поношенный котелок и пошел прочь. Стало холодно, и я решил вернуться в «Дельфин». Как раз когда я добрался до его широких ступеней, к ним подъехало ландо, влекомое парой олов, а из ландо вышел мистер Сент-Клер. Его головной убор являл собой неудачный гибрид из котелка и цилиндра. Он подал руку сперва жене, потом племяннице. Швейцар внес следом за ними подушки и пледы. Я слышал, как мистер Сент-Клер, расплачиваясь с возницей, велел ему подать завтра в обычное время, и заключил из этого, что Сент-Клеры ежедневно совершают прогулку в ландо. Меня бы не удивило, узнай я, что никто из них отроду не ездил в автомобиле.

Администратор рассказала мне, что они держатся особняком, ни с кем в гостинице не знакомятся. Я дал волю воображению. Три раза в день я наблюдал их за едой. По утрам наблюдал мистера и миссис Сент-Клер на веранде гостиницы. Он читал «Таймс», она вязала. Миссис Сент-

Клер, надо полагать, в жизни не прочла ни одной газеты, ведь они признавали только «Таймс», а эту газету ее муж, разумеется, каждый день увозил с собой в Сити. Часов в двенадцать к ним присоединялась мисс Порчестер.

— Как погуляла, Элинора? — спрашивала миссис Сент-Клер.

— Очень хорошо, тетя Гертруда, — отвечала мисс Порчестер.

— Когда закончишь ряд, дорогая, — говорил мистер Сент-Клер, бросив взгляд на вязанье в руках жены, — можно еще пройтись перед вторым завтраком.

— Очень хорошо, — отвечала миссис Сент-Клер. Она складывала работу и отдавала мисс Порчестер. — Ты ведь пойдешь наверх, Элинора, так захвати мое вязанье.

— С удовольствием, тетя Гертруда.

— Ты, наверное, устала после прогулки?

— Да, я немного отдохну до завтрака.

Мисс Порчестер скрывалась в доме, а мистер и миссис Сент-Клер медленно, плечом к плечу, пускались в путь по набережной, с тем чтобы, дойдя до определенного места, так же медленно вернуться назад.

Встречаясь с кем-нибудь из них на лестнице, я раскланивался, и мне отвечали учтивым, без улыбки поклоном. По утрам я даже отваживался поздороваться, но дальше этого дело не шло. Я уж думал, что мне так и не представится случая поговорить с кем-нибудь из них. Но потом мне показалось, что мистер Сент-Клер на меня поглядывает, и, решив, что он узнал мою фамилию, я вообразил — возможно, из чистого тщеславия, — что читаю в этих взглядах любопытство. А еще дня через два, когда я сидел у себя в номере, ко мне явился коридорный с поручением.

— Мистер Сент-Клер велел кланяться, и не одолжите ли вы ему справочник Уитакера?

Я удивился.

— С чего он взял, что у меня есть справочник Уитакера?

— А ему администратор сказала, что вы, мол, пишете.

Какая тут связь — я не понял.

— Передайте мистеру Сент-Клеру, что я бы с удовольствием, но, к сожалению, справочника Уитакера у меня здесь нет.

Вот случай и представился! Теперь мне и вовсе не терпелось поближе познакомиться с этими фантастическими существами. Мне доводилось набрести в сердце Азии на неведомое племя, обитающее в какой-нибудь одной деревушке среди других, чуждых ему племен. Никто не знает,

как эти люди туда попали и почему осели именно здесь. Они живут своей жизнью, говорят на своем языке и не общаются с соседями. Никому не известно, кто они такие — то ли потомки какой-то группы, отставшей от своих соплеменников, когда орды их прокатились по этим местам, то ли последние, вымирающие представители какого-то могущественного народа, некогда владевшего этим краем. Они окружены тайной. У них нет истории и нет будущего. Нечто подобное я усмотрел и в членах этой диковинной семейки. Они принадлежали к эпохе, канувшей в небытие. Напоминали персонажей из неторопливых старомодных романов, какие читали наши отцы. Умудрились прожить последние сорок лет так, словно мир все это время стоял на месте! Они вернули меня в мое детство, привели мне на память многих людей, уже давно лежащих в могиле. Может быть, дело тут в дистанции, но у меня сложилось впечатление, что таких своеобразных людей теперь не бывает. Когда в те времена про человека говорили: «Да, это оригинал!», честное слово, это что-то да значило.

И в тот вечер после обеда я пошел в гостиную и бесстрашно заговорил с мистером Сент-Клером.

— Мне очень жаль, что у меня нет справочника Уитакера, — сказал я. — Возможно, вам пригодится какая-нибудь другая моя книга, так сделайте одолжение.

Мистер Сент-Клер был явно поражен. Его дамы даже не подняли глаз от рукоделия. Наступила неловкая пауза.

— Право же, это неважно. Просто я понял из слов администратора, что вы писатель.

Я напряженно думал. Видимо, какая-то связь между моей профессией и справочником Уитакера все же была, но она от меня ускользала.

— В былые дни мистер Троллоп частенько обедал у нас на Ленстер-сквер, и он, помнится, говорил, что для писателя две самые нужные книги — Библия и справочник Уитакера.

— Оказывается, в этой гостинице когда-то останавливался Теккерей, — сказал я, опасаясь, как бы разговор не иссяк.

— Мистера Теккерейя я всегда недолюбливал, хотя он не раз обедал у моего тестя, покойного мистера Сарджента Сондерса. На мой вкус, он был чересчур циничен. Моя племянница до сих пор не читала «Ярмарку тщеславия».

Мисс Порчестер слегка покраснела, когда разговор коснулся ее. Подали кофе, и миссис Сент-Клер обратилась к мужу:

— Может быть, этот джентльмен доставит нам удовольствие, выпьет кофе с нами?

Хотя вопрос был задан не мне, я поспешил ответить: «Большое спасибо» — и сел.

— Мистер Троллоп всегда был моим любимым писателем, — сказал мистер Сент-Клер. — Он-то был безупречный джентльмен. Чарльзом Диккенсом я восхищаюсь, но Чарльзу Диккенсу не удалось изобразить джентльмена. Я слышал, нынешняя молодежь находит мистера Троллопа скучноватым. Мисс Порчестер, например, предпочитает романы Уильяма Блека<sup>1</sup>.

— Его я, к сожалению, не читал.

— А-а, вы, значит, как и я, несовременны. Моя племянница однажды уговорила меня прочесть роман некоей мисс Роды Броутон<sup>2</sup>, но больше ста страниц я не осилил.

— Я не говорила, что он мне нравится, дядя Эдвин, — попробовала оправдаться мисс Порчестер и опять покраснела. — Я сказала, что, по-моему, написано слишком смело, но что все о нем говорят.

— Уверен, тетя Гертруда предпочла бы, чтобы ты не читала книг такого рода.

— Однажды, — вмешался я, — мисс Броутон мне сказала, что, когда она была молода, ее книги находили слишком острыми, а когда состарилась — слишком пресными, и это очень обидно, потому что она сорок лет писала совершенно одинаково.

— Ах, вы были знакомы с мисс Броутон? — спросила мисс Порчестер, впервые обращаясь ко мне. — Как интересно! А Уиду вы тоже знали?

— Элинор, милая, вот сюрприз! Неужели ты хочешь сказать, что читала Уиду?

— А вот и читала, дядя Эдвин. Я читала «Под двумя флагами»<sup>3</sup>, и мне очень понравилось.

— Ты меня шокируешь. На что только не отваживаются современные девушки, просто уму непостижимо.

— Вы всегда говорили, что, когда мне исполнится тридцать лет, дадите мне полную свободу, разрешите читать все, что я захочу.

— Но, дорогая моя Элинор, свобода и распущенность не одно и то же, — возразил мистер Сент-Клер вполне серьез-

---

<sup>1</sup> Уильям Блек (1841—1898) — плодовитый английский писатель, ныне забытый.

<sup>2</sup> Рода Броутон (1840—1920) — английская писательница, в молодости славившаяся своим вольномыслием.

<sup>3</sup> Уида (псевдоним Марии Луизы де ла Раме, 1839—1908) — автор 45 романов из великосветской жизни в Англии и в Италии. «Под двумя флагами» — ее первый роман (1882).

но, хоть и с легкой улыбкой, чтобы укор не показался ей обидным.

Не знаю, удалось ли мне, пересказывая этот разговор, передать и впечатление, как от прелестной старинной мелодии, которое он на меня произвел. Я мог бы без конца слушать, как они обсуждают развратный век, чья молодость пришлось на восьмидесятые годы. Я бы много дал, чтобы увидеть их большой, вместительный дом на Ленстер-сквер. Я бы сразу узнал обитый красным плюшем гарнитур гостиной — каждый предмет на раз навсегда отведенном ему месте; и при виде горок с дрезденским фарфором воскресло бы мое детство. В столовой, где они обычно сидели по вечерам, поскольку гостиная предназначалась только для приема гостей, наверняка был постелен турецкий ковер и стоял огромный буфет красного дерева, битком набитый серебром. А по стенам висели картины, приводившие в восхищение миссис Хэмфри Уорд и ее дядю Мэтью<sup>1</sup> на академической выставке 88-го года.

На следующее утро в живописном местечке на задах Элсома я встретил мисс Порчестер, возвращавшуюся со своей ежедневной пешеходной прогулки. Я был бы рад составить ей компанию, но меня удержала мысль, что прогулка вдвоем с женщиной, пусть и моего почтенного возраста, чего доброго, отпугнет сию пятидесятилетнюю девушку. Она ответила на мой поклон и покраснела. Как ни странно, чуть подальше я столкнулся с тем забавным человечком в черных перчатках, с которым недавно перекинулся несколькими словами на набережной. Он притронулся к своему ветхому котелку.

— Прошу прощения, сэр, — сказал он, — не найдется ли у вас спички?

— Пожалуйста, — ответил я, — но папирос у меня, к сожалению, при себе нет.

— Закурите мою, — предложил он, доставая из кармана обертку. Она была пуста. — Надо же, и у меня, как на грех, ни одной не осталось.

Он пошел дальше, и мне показалось, что он немного ускорил шаг. Он уже вызывал у меня кое-какие сомнения. Не хватало, чтобы он вздумал приставать к мисс Порчестер. Я чуть не повернул за ним следом, но передумал. Человечек

---

<sup>1</sup> Мэри Августа Уорд, урожденная Арнольд (более известная как миссис Хэмфри Уорд) — английская писательница и филантропка (1851 — 1920). Ее дядя Мэтью Арнольд (1822 — 1888) — известный поэт, критик и эссеист.

он воспитанный и едва ли станет докучать порядочной женщине.

В тот же день я снова его увидел. Я сидел на набережной. Он приближался ко мне мелкими, семенящими шажками. Было ветрено, и ветер словно гнал его по улице, как сухой лист. На этот раз он без всяких колебаний подсел ко мне.

— Вот и еще раз встретились, сэр. Да, тесен мир. Разрешите мне, если не помешаю, немного отдохнуть. Я что-то устал.

— Скамейка общественная, у вас на нее столько же прав, как у меня.

Я не стал дожидаться, когда он попросит спичку, и тут же предложил ему папиросу.

— Вы очень любезны, сэр! Я вынужден ограничивать себя в курении, но те папиросы, которые курю, курю с удовольствием. Житейских радостей с годами остается все меньше, но по опыту скажу — те, что еще остались, особенно ценишь.

— Мысль утешительная.

— Прошу прощенья, сэр, но я не ошибаюсь, вы действительно наш известный писатель?

— Я писатель. Но как вы это узнали?

— Видел ваш портрет в иллюстрированных журналах. Вы-то меня, вероятно, не узнаете?

Я посмотрел на него. Неприглядный человечек в поношенной черной одежде, длинноносый, глаза голубые...

— Простите, не узнаю.

— Немудрено, что я изменился, — вздохнул он. — Одно время мои фотографии печатали во всех газетах Соединенного королевства. Впрочем, все эти газетные фотографии никуда не годятся. Даю слово, есть такие, на которых я бы сам себя не узнал, если б не подпись.

Он помолчал. Было время отлива, и за галькой пляжа протянулась желтая полоса глинистого дна. Волнорезы торчали из нее, как остовы доисторических животных.

— Писать книги — это, должно быть, страшно интересно, сэр. Я часто думал, что у меня у самого есть к этому склонность. В разные периоды моей жизни я очень много читал. В последнее время, правда, почти не читаю. И зрение не то, что было, и вообще. А написать книгу я бы, наверно, мог, если б постарался.

— Говорят, одну книгу может написать каждый, — отозвался я.

— Не роман, знаете ли. До романов я не большой охотник. Предпочитаю исторические труды и всё в таком

роде. Или мемуары. Если б кто согласился издать, я бы не прочь написать мемуары.

— Это сейчас модно.

— Таким разносторонним опытом, как я, мало кто располагает. Не так давно я даже написал об этом письмо в одну воскресную газету, но они мне не ответили.

Он устремил на меня долгий, оценивающий взгляд. Неужели сейчас попросит полкроны? С его-то респектабельной внешностью...

— Вы, конечно, не знаете, кто я такой, сэр?

— Честно говоря, не знаю.

Он как будто что-то обдумал, потом разгладил на пальцах черные перчатки, задержался взглядом на дырочке и наконец не без самодовольства изрек:

— Я — знаменитый Мортимер Эллис.

— Да?

Никакого более подходящего междометия я не придумал, будучи убежден, что слышу это имя впервые. На лице его изобразилось разочарование, и это меня немного смутило.

— Мортимер Эллис, — повторил он. — Неужели это вам ничего не говорит?

— Решительно ничего. Я, понимаете, очень мало живу в Англии.

Интересно, думал я, чем он прославился? Я мысленно перебрал несколько вариантов. Спортсменом он, безусловно, никогда не был, а ведь в Англии только на их долю выпадает настоящая слава, но он мог в прошлом проповедовать «Христианскую науку» или ставить рекорды на бильярде. Самая незаметная фигура — это, конечно, бывший министр, и он вполне мог оказаться министром торговли в каком-нибудь усопшем правительстве. Но и на политического деятеля он не был похож.

— Вот она, слава, — произнес он с горечью. — Да в Англии я много месяцев был притчей во языцех. Посмотрите на меня хорошенько. Не может быть, чтобы вы не видели моих снимков в газетах. Мортимер Эллис.

Я покачал головой.

Он выдержал паузу для пущего эффекта.

— Я — знаменитый многоженец.

Ну что прикажете ответить, когда совершенно незнакомый человек сообщает вам, что он — знаменитый многоженец? Признаюсь, порой я тешу себя мыслью, что за словом в карман не лезу, но тут я буквально онемел. А он продолжал:



— У меня было одиннадцать жен, сэр.

— Многие считают, что и с одной нелегко справиться.

— А это от отсутствия практики. Кто был женат одиннадцать раз, тот женщин наизусть знает.

— Но почему вы остановились на одиннадцати?

— Вот-вот, я так и знал, что вы это спросите. Как увидел вас, сразу подумал, лицо у него умное. Одиннадцать — нелепое число, верно? Что-то в нем есть незаконченное. Три — это может быть у любого, и семь еще туда-сюда, девять, говорят, приносит счастье, десяток тоже неплохо. Но одиннадцать! Я только об этом и сожалею. Все бы ничего, кабы только довести счет до дюжины.

Он расстегнул пальто и извлек из внутреннего кармана бумажник, толстый и сильно засаленный. Из бумажника же достал целую пачку газетных вырезок, грязных, потертых на сгибах, и штуки три развернул.

— Вы только взгляните на эти снимки, и сами скажите, похожи они на меня? Поглядеть на них, можно подумать, что это какой-то уголовник.

Вырезки были длинные, можно было не сомневаться, что среди газетных редакторов Мортимер Эллис в свое время котировался высоко. Одна корреспонденция была озаглавлена «Муки многократного мужа», другая — «Бессердечного мерзавца — к ответу», третья — «Презренный негодяй дождался своего Ватерлоо».

— Хорошей прессой это не назовешь, — протянул я.

Он пожал плечами.

— Вообще-то я на газеты не обращаю внимания. Слишком многих журналистов знал лично. Нет, кого я не могу простить, так это судью. Он обошелся со мной безобразно и себе только навредил — в том же году умер.

Я пробежал глазами корреспонденции.

— Он, я вижу, дал вам пять лет.

— Позор, иначе не назовешь, а вы посмотрите, что тут сказано. — Он ткнул в нужную строку указательным пальцем. — «Три из его жертв подали ходатайства о помиловании». Вот они, значит, как ко мне относились. И после этого он дает мне пять лет. Да еще обзывал по-всякому — бессердечный негодяй — это я-то, добрейшей души человек, — язва на теле общества, опасен для окружающих. Сказал, что, будь его воля, приговорил бы меня к наказанию плетьюми. Не то самое страшное, что он дал мне пять лет — хотя я продолжаю считать, что это чересчур, — но какое он, скажите, имел право так надо мной измываться? Никакого не имел права, и я ему не прощу никогда, проживи я хоть до ста лет.

Щеки многоженца вспыхнули, слезящиеся глаза сверкнули. Для него это была наиболее болезненная тема.

— Можно прочесть? — спросил я.

— Для чего же я вам их и дал. Непременно прочтите, сэр. И если после этого вы не согласитесь, что я — жертва чудовищной несправедливости, значит, вы не тот человек, за какого я вас принимал.

Просматривая одну вырезку за другой, я понял, почему Мортимер Эллис так подробно осведомлен о приморских курортах Англии. Он ездил туда на охоту. Метод его был прост: когда кончался сезон, он приезжал в один из этих городков и снимал комнату, благо пансионаты пустовали. Ему, видимо, не требовалось много времени, чтобы завести знакомство с какой-нибудь девицей или вдовой, в возрасте, как я не мог не заметить, от тридцати пяти до пятидесяти лет. На суде они все показали, как свидетельницы, что познакомились с ним на набережной. Как правило, он уже через две недели предлагал им руку и сердце, а вскоре после этого они сочетались браком. Тем или иным способом он у них выманивал их сбережения, а через несколько месяцев, сославшись на неотложные дела в Лондоне, уезжал и больше не возвращался. Лишь с одной он затем встретился вновь еще до того, как все они, явившись в суд по вызову, увидели его на скамье подсудимых. Это были отнюдь не легкомысленные вертушки. У одной отец был врач, у другой священник; была среди них хозяйка меблированных комнат, вдова коммивояжера и удалившаяся от дел портниха. У каждой был небольшой капитал, от пятисот до тысячи фунтов, но независимо от степени их богатства он обчищал их до последнего пенни. Однако все, как одна, утверждали, что он был им хорошим мужем. Мало того, что три из них действительно ходатайствовали о его помиловании, одна даже заявила, что, если он захочет, она готова принять его обратно. Заметив, что я как раз читаю про это, он сказал:

— И можно не сомневаться, она стала бы на меня работать. Но я так считаю — прошлого не воротить. До сочной отбивной мы все охотники, но остывшая баранина — это, признаюсь, не по мне.

Только несчастный случай помешал Мортимеру Эллису жениться в двенадцатый раз и таким образом довести счет ровно до дюжины, что, видимо, было его заветной целью. Он уже успел обручиться с некоей мисс Хаббард («две тысячи фунтов, не меньше, в облигациях военного займа», — доверительно сообщил он мне), и церковное оглашение уже

состоялось, но тут его случайно увидела одна из бывших жен, навела справки и заявила в полицию. Накануне двенадцатой свадьбы его арестовали.

— Дурная она была женщина, — сказал он мне, — обманула меня без всякой жалости.

— Каким же образом?

— А вот каким. Встретил я ее в Истборне, как-то в декабре, на молу, и в разговоре она упомянула, что была модисткой, а теперь на покое. Сказала, что кое-что сумела отложить на черный день. Сколько именно — утаила, но дала понять, что тысячи полторы у нее имеется. А когда я на ней женился, вы не поверите, оказалось, что у нее всего-то триста фунтов. И она же меня потом продала. А она ведь от меня и слова худого не услышала. Другой бы рвал и метал, если б его так одурачили, а я и виду не подал, до чего огорчился. Просто взял и ушел.

— Однако же триста фунтов с собой прихватили?

— Странно вы рассуждаете, сэр, — возразил он обиженно. — На триста фунтов долго не просуществуешь, а я, как-никак, был женат на ней четыре месяца, прежде чем она созналась.

— Простите за нескромный вопрос, — сказал я, — и ради бога не усмотрите в нем невысокого мнения о ваших внешних данных, но... почему они за вас выходили?

— Потому что я их об этом просил, — отвечал он, явно удивленный моей недогадливостью.

— И вы никогда не получали отказа?

— Очень редко. Четыре-пять раз за все время. Я, конечно, делал предложение лишь после того, как основательно прощупаю почву, но и то случалось промахнуться. Вы же понимаете, нет такого человека, чтобы стрелял без промаха. Бывало, что я несколько недель обхаживал женщину, а потом все-таки убеждался — нет, не то.

Я помолчал, занятый своими мыслями. Но вдруг заметил, что подвижная физиономия моего собеседника расплылась в широкой улыбке.

— Все ясно, — сказал он. — Это моя наружность вас ввела в заблуждение. Вам непонятно, что они во мне находили. Вот что значит читать романы и ходить в кино. Вам кажется, что женщин привлекает только тип ковбоя либо уж романтический испанский гидальго — сверкающие глаза, оливковая кожа, и танцует как бог. Забавно, честное слово.

— Рад, что позабавил вас.

— А вы женатый человек, сэр?

— Да, но у меня всего одна жена.

— Один пример, понимаете, не поддается обобщению. Я вас лучше так спрошу: много вы знали бы о собаках, если б у вас за всю жизнь был всего один бультерьер?

Вопрос был явно риторический, ответа не требовалось. А он выдержал паузу и продолжал:

— Ошибаетесь, сэр. Ничего подобного. Каким-нибудь молодым красавчиком они могут увлечься, но замуж за него не пойдут. Красота, если вникнуть, это для них последнее дело.

— Дуглас Джеррольд, человек столь же безобразный, сколь и остроумный, говаривал, что дай ему десять минут форы, и он отобьет женщину у самого красивого мужчины из всех присутствующих.

— Нет, остроумие им тоже не нужно. Когда мужчина их смешит, они воображают, что ему недостает серьезности. И то же самое думают, если мужчина очень уж хорош собой. А им подавай человека серьезного. Без затей. И чтобы к тому же был внимательный. Я, может быть, не блещу красотой и не бог знает как интересен, но, поверьте, у меня есть то, что нужно любой женщине. Солидность. И вот вам доказательство: всех моих жен я осчастливил.

— Это, безусловно, говорит в вашу пользу — и то, что три из них за вас ходатайствовали, и то, что одна готова была принять вас обратно.

— А как это меня мучило, пока я сидел в тюрьме! Я боялся, что, когда меня выпустят, она будет ждать у ворот. Я даже смотрителя попросил: «Ради бога, сэр, прикажите меня вывести как-нибудь так, чтобы никто не видел».

Он опять разгладил на руках перчатки, и опять его взгляд задержался на дырочке на указательном пальце.

— Вот что значит жить в меблированных комнатах, сэр. Как человеку содержать себя в аккурате без женской заботы? Я столько раз был женат, что просто не могу обойтись без жены. Некоторые мужчины не любят жить в браке. Я их не понимаю. Ведь по-настоящему хорошо делаешь только то, во что вложил душу, а я люблю быть женатым. Мне не составляет труда помнить про всякие пустячки, которые женщины ценят, а иные мужчины считают излишним. Как я уже сказал, женщина дорожит вниманием. Я ни разу, уходя из дому, не забыл поцеловать жену, и то же самое, когда возвращался домой. И почти всегда приносил ей подарочек — либо конфеты, либо цветы. Невзирая на расходы.

— Деньги-то вы тратили не свои, — ввернул я.

— Ну и что ж из этого? Важны не деньги, а внимание. Это женщине дороже всего. Нет, хватать не хочу, но этого у меня не отнимешь — я хороший муж.

Я опять бросил взгляд на отчеты о судебном процессе, которые все еще держал в руках.

— Меня вот что удивляет, — сказал я. — Все это были женщины вполне приличные, не первой молодости, положительные, порядочные. И они выходили за вас замуж, ничего о вас не зная, после такого недолгого знакомства.

Он потрепал меня по руке, как младшего.

— Вот этого-то вы и не понимаете, сэр. Женщины помешаны на замужестве. Молодые и старые, крупные и миниатюрные, блондинки и брюнетки, у всех одна забота: хотят быть замужними. Имейте в виду, я с ними венчался в церкви. Без этого ни одна женщина не чувствует себя спокойно. Вы говорите, я не красавец. Не спорю, я никогда и не считал себя красавцем, но, будь я горбун и без одной ноги, я бы и то нашел сколько угодно женщин, которые с радостью бы за меня пошли. Им не мужчина нужен, а брак. Это у них какая-то мания. Болезнь. Да любая из них пошла бы за меня после второй же встречи, просто я сам предпочитаю не связывать себя, пока не уверен в успехе. Когда все открылось, шум поднялся страшный, потому, видите ли, что я был женат одиннадцать раз. Одиннадцать раз? Подумаешь, даже не полная дюжина. Я, если б захотел, мог бы жениться и тридцать раз. Даю слово, сэр, когда я думаю о моих возможностях, я только поражаюсь собственной умеренности.

— Я помню, вы мне говорили, что любите читать книги по истории.

— Да. Это, кажется, Уоррен Хэстингс<sup>1</sup> сказал? Мне с тех пор запомнилось. Как будто про меня сказано.

— И эти бесконечные идилии вам не приедались?

— Как вам сказать, сэр, у меня, мне кажется, логический склад ума, и мне, понимаете, всегда приятно было убеждаться, что одинаковые причины вызывают одинаковые следствия. Вот, например, женщине, которая еще никогда не была замужем, я выдавал себя за вдовца. Это действовало безотказно. Девушке импонирует мужчина, который кое-что знает о семейной жизни. А вдовам я всегда говорил, что холост, — вдова всегда опасается, что мужчина, который уже был женат, знает об этом слишком много.

---

<sup>1</sup> Уоррен Хэстингс (1732—1818), первый генерал-губернатор английских владений в Индии, якобы произнес эти слова, когда был привлечен к суду за казнокрадство и злоупотребление властью.

Я отдал ему газетные вырезки. Он аккуратно сложил их и убрал в свой засаленный бумажник.

— Нет, как хотите, а на меня возвели напраслину. Вы только вспомните, как меня называли: язва на теле общества, бессовестный негодяй, презренный мерзавец. Ну скажите, разве это на меня похоже? Вы меня знаете, вы разбираетесь в людях, я вам все о себе рассказал. По-вашему, я дурной человек?

— Мы с вами знакомы очень недавно,— ответил я, как мне показалось, достаточно тактично.

— Хотел бы я знать, попробовал ли хоть раз судья, или присяжные, или публика взглянуть на это дело с моей точки зрения. Публика меня освистала, когда меня ввели в зал суда, полиции пришлось оградить меня от насильственных действий. Подумал ли кто-нибудь о том, что я сделал для этих женщин?

— Вы забрали себе их деньги.

— Конечно, забрал, как же иначе, жить-то мне надо. Но что я дал им взамен за их деньги?

Вопрос был опять риторический, и хотя он словно бы ждал ответа, я промолчал: честно говоря, я не знал, что ответить. А он повысил голос, говорил возбужденно. Видно было, что он не на шутку взволнован.

— Я вам скажу, что я им дал взамен за их деньги. Романтику. Поглядите вокруг.—Широким жестом он словно очертил море до самого горизонта.—В Англии есть сотни таких мест. Поглядите на море, на небо; на эти пансионы; на этот мол и набережную. Неужели у вас не сжимается сердце? Сплошная мертвечина. Вам-то хорошо, вы приезжаете сюда на недельку, отдохнуть, подлечиться. А вы подумайте обо всех этих женщинах, которые живут здесь круглый год. Никаких шансов. Знакомых почти нет. Денег только-только хватает на жизнь. И какая это ужасная жизнь! Точь-в-точь как эта набережная—длинная прямая мощеная дорога, что тянется от одного курорта к другому. Даже сезон не сулит им ничего хорошего. Он их не касается.словно их и нет на свете. И вдруг появляюсь я. Не забудьте, я ухаживал только за такими женщинами, которые не скрывали, что им за тридцать пять. И я даю им любовь. Да многим из них мужчина ни разу не застегивал платье на спине. Многие ни разу не сидели в темноте на скамейке, чувствуя, как его рука обвивает их талию. Я вношу в их жизнь восхитительную перемену. Даю им самоуважение. Они уже поставили на себе крест, а я подхожу к ним без шума и спокойно этот крест перечеркиваю. Луч солнца

в безрадостной пустыне — вот чем я для них был. Немудрено, что они в меня вцеплялись, немудрено, что хотели меня вернуть. Та единственная, что продала меня, была модисткой. Она сказалась вдовой. А я полагаю, что она никогда не была замужем. Вы говорите, я поступал с ними подло, а я осчастливил одиннадцать женщин, я озарил их жизнь, когда они уже перестали надеяться. Вы говорите, я негодяй и мерзавец. Неправда. Я филантроп. Мне дали пять лет, а должны были дать медаль Королевского общества человеколюбия.

Он извлек на свет пустую обертку от «Голдфлейкс» и с грустью покачал головой. Когда я протянул ему портсигар, молча взял папиросу. Я наблюдал поучительное зрелище — как праведник пытается сдержать свои чувства.

— А что я с этого имел? — продолжал он после паузы. — Стол и квартиру да мелочь на курево. Но отложить ничего не отложил, и вот вам доказательство: теперь, когда я уже не так молод, в кармане у меня ни полкроны. — Он искоса посмотрел на меня. — Вот до чего докатился. А я всегда жил по средствам, отроду не просил у друзей займы. Я уж подумал, сэр, не могли бы вы ссудить мне малую толику. Совестно на это намекать, но, если б вы не пожалели для меня фунта стерлингов, вы бы меня просто спасли.

Что ж, на фунт стерлингов многоженец, безусловно, меня развлек, и я полез за бумажником.

— С удовольствием, — сказал я.

Он смотрел, как я достаю деньги.

— А двух фунтов не найдется, сэр?

— Наверно, найдется.

Я вручил ему две фунтовые бумажки, и он принял их с легким вздохом.

— Вам не понять, что это значит для человека, привыкшего к домашнему комфорту, — не знать, куда приткнуться на ночлег.

— Одно мне хотелось бы у вас спросить, — сказал я. — Не сочтите меня циником, но у меня сложилось впечатление, что, по мнению женщин, библейское «Блаженнее давать, нежели принимать» относится исключительно к нашему полу. Как вам удавалось убедить этих почтенных и, надо полагать, бережливых женщин так неосторожно вверять вам свои сбережения?

Его ничем не примечательное лицо осветила почти веселая улыбка.

— Вот вам объяснение. Скажите женщине, что за полгода вы удвоите ее капитал, и она вам доверит распоряжаться им, да еще будет торопить — бери поскорее. Жадность — вот что это такое. Жадность.

Переход от моего занятого проходимца к атмосфере респектабельности, лаванды и кринолинов, окружавшей Сент-Клеров и мисс Порчестер, по остроте контраста был подобен горячему соусу с мороженым. С ними я теперь проводил все вечера. Мистер Сент-Клер, как только его дамы удалялись, посылал официанта пригласить меня на стакан портвейна. Потом мы вместе шли в гостиную пить кофе. Тут мистер Сент-Клер с удовольствием выпивал рюмочку коньяку. Этот час в их обществе был так упоительно скучен, что я находил в нем какую-то особенную прелесть.

Администратор, очевидно, рассказала им, что я пишу и пьесы.

— Мы часто ездили в театр, когда сэр Генри Ирвинг играл в «Лицеуме», — сказал однажды мистер Сент-Клер. — Я даже имел счастье с ним познакомиться. Сэр Эверард Милле пригласил меня однажды поужинать в клуб «Гаррик» и представил меня мистеру Ирвингу — он тогда еще не был пожалован титулом.

— Расскажи, что он тебе сказал, Эдвин, — попросила миссис Сент-Клер.

Мистер Сент-Клер встал в позу и очень недурно изобразил высокопарную манеру Генри Ирвинга:

— «У вас, мистер Сент-Клер, лицо актера, — сказал он. — Если надумаете идти на сцену, приходите ко мне, я дам вам роль». — Мистер Сент-Клер снова заговорил естественным тоном: — Какому юноше это не вскружило бы голову!

— А вам не вскружило, — сказал я.

— Не скрою, занимая я другое положение в обществе, я мог бы и соблазниться. Но я должен был помнить о моей семье. Для моего отца это был бы страшный удар, ведь он рассчитывал, что я пойду по его стопам.

— И чем же вы занимаетесь?

— Я торгую чаем, сэр. Моя фирма — старейшая в Сити. Сорок лет жизни я посвятил тому, чтобы по мере сил противодействовать желанию моих соотечественников пить цейлонский чай вместо китайского, который в дни моей молодости пили все.



Мне показалось, что это очень трогательно и так на него похоже — посвятить жизнь тому, чтобы убеждать публику покупать то, чего ей не нужно.

— Но когда мой муж был моложе, — сказала миссис Сент-Клер, — он много участвовал в любительских спектаклях, и его считали очень способным.

— Шекспир, знаете ли, да изредка «Школа злословия». Играть в несерьезных пьесах я никогда не соглашался. Но это дело прошлое. Талант у меня был. Жаль, может быть, что я зарыл его в землю, но теперь поздно горевать. Когда мы устраиваем званый обед, дамам иногда удается уговорить меня прочесть знаменитые монологи из «Гамлета». Не более того.

Батюшки мои! Мне прямо дурно сделалось при мысли об этих званых обедах. А что, если я и сам удостоюсь приглашения? Миссис Сент-Клер подарила меня улыбкой, чуть шокированной и чопорной.

— В молодости мой муж охотно общался с богемой.

— Я отдал дань увлечениям юности. Знал многих художников, писателей, например Уилки Коллинза, даже таких, что сотрудничали в газетах. Уотс написал портрет моей жены. Одну картину Милле я купил. Был знаком кое с кем из прерафаэлитов.

— А что-нибудь Россетти у вас есть?

— Нет. Таланту Россетти я отдавал должное, но его личной жизни не одобрял. Я бы никогда не купил картину художника, которого мне не захотелось бы пригласить к себе в гости.

Голова у меня уже шла кругом, но тут мисс Порчестер взглянула на свои часики и спросила:

— А вы нам сегодня не почитаете, дядя Эдвин?

И я откланялся.

Как-то вечером, когда мы с мистером Сент-Клером попили портвейн, он поведал мне печальную историю мисс Порчестер. Она, оказывается, была когда-то помолвлена с племянником миссис Сент-Клер, молодым юристом, но вдруг стало известно, что он согрешил с дочерью своей уборщицы.

— Это было ужасно, — сказал мистер Сент-Клер. — Просто ужасно. Но моя племянница, конечно, выбрала единственный возможный путь. Она вернула ему кольцо, все его письма и снимки и сказала, что не может за него выйти. Она умоляла его жениться на молодой особе, которую он обольстил, сказала, что будет ей сестрой. Сердце ее было разбито. С тех пор она никого не любила.

— И он женился на той молодой особе?

Мистер Сент-Клер со вздохом покачал головой.

— Нет, мы в нем жестоко ошиблись. Моя бедная жена долго не могла примириться с мыслью, что ее племянник мог поступить так бесчестно. Через некоторое время мы узнали, что он обручен с одной молодой девицей из прекрасной семьи, за которой давали двенадцать тысяч. Я счел своим долгом написать ее отцу и открыть ему глаза. Он ответил мне в высшей степени неучтиво. Написал, что, по его мнению, куда лучше, если молодой человек заводит любовницу до женитьбы, а не после.

— А дальше что было?

— Они поженились, и теперь племянник моей жены — член верховного суда, а жена его носит дворянский титул. Когда племянник моей жены был удостоен рыцарского звания, Элинор предложила, не пригласить ли их к нам на обед, но моя жена сказала, что ноги его не будет в нашем доме, и я ее поддержал.

— А дочка уборщицы?

— Та вышла замуж в своем кругу, теперь держит трактир в Кентербери. У моей племянницы есть немного собственных средств, она очень ей помогла и крестила у нее первого ребенка.

Бедная мисс Порчестер! Принесла себя в жертву на алтарь викторианской морали, и, боюсь, единственной наградой за это ей было сознание, что она поступила как должно.

— Мисс Порчестер на редкость хороша собой, — сказал я. — В молодости она, наверно, была неотразима. Просто непонятно, что она так и не вышла замуж.

— Мисс Порчестер славилась своей красотой. Альма Тадема так восхищался ею, что просил ее позировать для какой-то своей картины, но мы, конечно, не могли на это пойти. — По тону мистера Сент-Клера я понял, что просьба эта в свое время глубоко оскорбила его чувство приличия.

— Нет, мисс Порчестер никогда не любила никого, кроме своего кузена. Она никогда о нем не говорит, и прошло уже тридцать лет с тех пор, как они расстались, но я уверен, что она до сих пор его любит. Она останется ему верна до гроба, сэр, и я, хотя, может быть, и жалею, что радости замужества и материнства не достались ей на долю, не могу не восхищаться ею.

Но сердце женщины неисповедимо, и опрометчиво судит тот, кто предрекает ей постоянство до гробовой доски. Да, дядя Эдвин, опрометчиво. Вы знали Элинор много лет,

ведь, когда ее мать заболела и умерла и вы привезли сироту в ваш богатый, даже роскошный дом на Ленстер-сквер, она была малым ребенком. Но в сущности, дядя Эдвин, много ли вы знаете об Элинор?

Всего через два дня после того, как мистер Сент-Клер поведал мне трогательную историю мисс Порчестер, я, поиграв в гольф, вернулся в гостиницу, где меня встретила администратор, донельзя взволнованная.

— Мистер Сент-Клер велел кланяться и просил, чтобы вы, как только вернетесь, поднялись к нему в двадцать седьмой номер.

— Сейчас пойду. А что там стряслось?

— Ой, полный переполох. Они вам сами скажут.

Я постучал и, услышав: «Да, да, войдите», вспомнил, что мистер Сент-Клер когда-то играл шекспировских героев в лучшей любительской труппе Лондона. Я вошел. Миссис Сент-Клер лежала на диване, на лбу у нее был платок, смоченный одеколоном, в руке пузырек с нюхательной солью. Мистер Сент-Клер стоял перед камином в такой позиции, что никому другому в комнате не могло перепасть ни капли тепла.

— Не обессудьте за столь бесцеремонное приглашение,— сказал он,— но у нас большая беда, и мы подумали, не можете ли вы нам понять то, что случилось.

Он явно был в расстроенных чувствах.

— Но что именно случилось?

— Наша племянница мисс Порчестер сбежала. Нынче утром она послала моей жене записку, сказать, что у нее мигрень. Когда у нее бывают ее мигрени, она всегда просит оставлять ее одну, и жена только часа в четыре решила к ней навеститься, узнать, не нужно ли ей чего. Ее комната оказалась пуста. Чемодан был уложен. Несессер с серебряными застежками исчез. А на подушке лежало письмо, в котором она извещала нас о своем сумасбродном поступке.

— Сочувствую вам,— сказал я,— но ума не приложу, чем я могу быть вам полезен.

— Нам казалось, что, кроме вас, у нее не было в Элсоне ни одного знакомого джентльмена.

В мозгу у меня забрезжила догадка.

— Теперь я вижу, она сбежала не с вами. В первую минуту мы подумали... но раз это не вы, так кто же?

— Право, не знаю.

— Покажи ему письмо, Эдвин,— сказала миссис Сент-Клер, приподнимаясь на диване.

— Лежи, лежи, Гертруда, а то как бы твой прострел не разыгрался.

У мисс Порчестер бывали «свои» мигрени, у миссис Сент-Клер — «свой» прострел. А у мистера Сент-Клера? Я готов был поручиться, что у него имелась «своя» подагра. Он протянул мне письмо, и я стал читать, придав своим чертам подобающее случаю выражение.

«Дорогие дядя Эдвин и тетя Гертруда!

Когда вы получите это письмо, я буду далеко. Я сегодня выхожу замуж за человека, который очень мне дорог. Я знаю, что, не сказавшись вам, поступаю дурно, но я боялась, как бы вы не стали препятствовать моему браку, а поскольку решение мое бесповоротно, я подумала, что, если ничего не скажу заранее, это избавит нас всех от тяжелого разговора. Мой жених любит уединенную жизнь, к тому же длительное пребывание в тропических странах подточило его здоровье, и он решил, что нам лучше пожениться без всякого шума. Когда вы узнаете, как безмерно я счастлива, вы, надеюсь, простите меня. Будьте добры, отошлите мой чемодан в камеру хранения на вокзале Виктории.

Любящая вас племянница

*Элиноф».*

Я вернул письмо мистеру Сент-Клеру.

— Я никогда ей не прощу, — сказал он. — Ноги ее больше не будет в моем доме. Гертруда, я запрещаю тебе помнить о ней в моем присутствии.

Миссис Сент-Клер тихо заплакала.

— Не слишком ли вы суровы? — сказал я. — Почему бы, собственно, мисс Порчестер и не выйти замуж?

— В ее-то возрасте? — возразил он гневно. — Это нелепо. Да мы станем всеобщим посмешищем на Ленстер-сквер. Вы знаете, сколько ей лет? Пятьдесят один год.

— Пятьдесят четыре, — поправила миссис Сент-Клер сквозь слезы.

— Мы берегли ее как зеницу ока. Любили, как родную дочь. Она уже сколько лет была старой девой. С ее стороны помышлять о замужестве просто неприлично.

— Для нас она всегда оставалась молоденькой, — с мольбой напомнила миссис Сент-Клер.

— И кто этот человек, за которого она вышла? Обман — вот что не дает мне покоя. Ведь она, значит, любезничала

с ним прямо у нас под носом. Даже имени его не назвала. Я опасаясь самого худшего.

Внезапно меня озарило. В то утро я вышел купить папирос и в табачной лавке встретил Мортимера Эллиса. Перед тем я не видел его несколько дней.

— Вы сегодня франтом,— сказал я.

Башмаки его были починены и блестели, шляпа вычищена, на нем был новый воротничок и новые перчатки. Я еще подумал, что он неплохо распорядился моими двумя фунтами.

— Еду в Лондон по делу,— сказал он.

Я кивнул и вышел из лавки.

И еще я вспомнил, как две недели назад, гуляя за городом, я встретил мисс Порчестер, а вскоре затем, через несколько шагов,— Мортимера Эллиса. Значит, они гуляли вместе и он нарочно отстал, когда они заметили меня? Да, да, все сходится.

— Вы как будто упоминали, что у мисс Порчестер есть собственный капитал?— спросил я.

— Так, безделица. Три тысячи фунтов.

Последние сомнения отпали. Я смотрел на него, не зная, что сказать. Внезапно миссис Сент-Клер ахнула и вскочила с дивана.

— Эдвин, Эдвин, а вдруг он на ней не женится?

Тут мистер Сент-Клер поднес руку ко лбу и без сил опустился в кресло.

— Этого позора я не переживу,— простонал он.

— Успокойтесь,— сказал я.— Он непременно на ней женится. У него так заведено. Он обвенчается с ней в церкви.

Они пропустили мои слова мимо ушей. Возможно, им почудилось, что я лишился рассудка. А мне теперь все было ясно. Мортимер Эллис добился-таки своего. С помощью мисс Порчестер он довел счет до вожеленной дюжины.

## ЗАПИСКА

На набережной нещадно палило солнце. По оживленной улице неслись потоки автомобилей — грузовиков и автобусов, частных лимузинов и такси, — и все они непрерывно гудели; в сутолоке проворно пробирались рикши и, тяжело дыша, из последних сил покрикивали друг на друга; привычно согнувшись под тяжелыми тюками, мелко трусили кули, взывая к прохожим, чтобы дали дорогу; звонко расхваливали свои товары уличные торговцы. В Сингапуре можно встретить людей всевозможных национальностей, услышать любые наречия; черные тамилы, желтые китайцы, коричневые малайцы, армяне, евреи, бенгальцы — люди всех цветов перекликались здесь охрипшими голосами.

Зато в конторе «Рипли, Джойс и Нейлор» царил приятная прохлада; после слепящей пыльной улицы тут, казалось, было темно, после неумолчного уличного гама — как-то особенно тихо. Включив электрический вентилятор, за столом у себя в кабинете сидел мистер Джойс. Он откинулся в кресле и, облокотившись на ручки, сложил перед собой кончики вытянутых пальцев. Взор его был устремлен на потрепанные тома судебных отчетов, занимавшие длинную полку напротив. На шкафу стояли ящички из черной лакированной жести, на которых краской были выведены фамилии клиентов.

В дверь постучали.

— Войдите!

Появился клерк-китаец, очень подтянутый, в тщательно отутюженном белом полотняном костюме.

— К вам мистер Кросби, сэр.

Он хорошо говорил по-английски, старательно произнося каждое слово, и часто поражал мистера Джойса

богатством своего словаря. Родом из Кантона, Ван Цисэн получил юридическое образование в Лондоне. Он собирался открыть собственную контору, а пока для практики год-другой хотел поработать у «Рипли, Джойса и Нейлора». Это был трудолюбивый, услужливый человек, прекрасно себя зарекомендовавший.

— Пусть войдет, — сказал мистер Джойс.

Он встал, пожал вошедшему руку и предложил ему сесть. Кросби сел лицом к окну. Мистер Джойс остался в тени. Мистер Джойс не был по натуре разговорчив, и некоторое время он молча глядел на Роберта Кросби. Перед ним был широкоплечий мускулистый мужчина высокого роста — футов шести, а то и выше. Это был плантатор, человек, закаленный постоянным движением на воздухе — днем он обходил плантации, а по возвращении домой еще играл в теннис. Кожа его сильно потемнела от загара. У него были большие, заросшие волосами руки, на огромных ногах грубые башмаки; почему-то мистеру Джойсу пришло в голову, что таким кулаком с одного удара можно убить щуплого тамила. Но в голубых глазах Кросби не было жестокости, они были добрые и доверчивые, и лицо с крупными, ничем не приметательными чертами было открытое, простое и честное. Сейчас на нем лежала печать глубокого горя. Он похудел, осунулся.

— Вы неважно выглядите. Наверное, плохо спите последнее время? — сказал мистер Джойс.

— Да.

Мистер Джойс посмотрел на старую фетровую шляпу с двумя козырьками, которую Кросби положил на стол; потом перевел взгляд на его шорты цвета хаки, открывавшие загорелые волосатые ноги, на расстегнутую у ворота теннисную рубашку без галстука и грязную, с подвернутыми рукавами куртку. Словно он только что вернулся, долго пробродив среди каучуковых деревьев. Мистер Джойс слегка нахмурился.

— Так нельзя, возьмите себя в руки.

— Ничего, я держусь.

— Вы сегодня виделись с женой?

— Нет, свидание днем. Такой позор, что она в тюрьме!

— Мне думается, это было необходимо, — ответил мистер Джойс своим мягким, ровным голосом.

— Уж как-нибудь могли бы отпустить ее на поруки.

— Но обвинение очень серьезное.

— К черту их обвинение! На ее месте всякая порядочная женщина поступила бы точно так же. Только у девяти из

десяти пороху бы не хватило. Лесли лучше всех на свете. Она мухи не обидит. Будь я проклят, ведь мы женаты двенадцать лет,— что я, не знаю ее, что ли? Эх, попался бы мне этот тип— шею бы ему свернул! Прихлопнул бы на месте, не задумываясь. И вы бы так поступили.

— Друг мой, все на вашей стороне. Никто и не думает защищать Хэммонда. Мы вызволим Лесли. Я убежден, что и присяжные, и сам судья еще до судебного заседания решат ее оправдать.

— Это издевательство, вся эта история,— выпалил Кросби.— Ее и вообще-то нечего было сажать за решетку, но подвергать бедную девочку еще и суду — и это после всего, что она пережила! Как я приехал в Сингапур, все до одного, кого я ни встречу,— все говорят, что Лесли поступила правильно. Держать ее в тюрьме столько времени — это бесчеловечно!

— Закон есть закон. Не забывайте, она ведь призналась в убийстве. Неприятность немалая, я очень сочувствую и ей и вам.

— Дело не во мне, черт возьми.

— Но нельзя не считаться с фактом — совершено убийство, а в цивилизованном обществе это неизбежно ведет к суду.

— По-вашему, уничтожить ядовитую тварь — это убийство? Она застрелила его, как бешеного пса.

Мистер Джойс опять откинулся в кресле и сомкнул перед собой кончики пальцев. Получилась фигура, напоминающая остов крыши. Он немного помолчал.

— Как ваш адвокат считаю своим долгом указать вам на одну деталь, которая вызывает у меня некоторое сомнение,— негромко произнес он наконец, глядя на своего клиента спокойными темными глазами.— Если бы ваша жена выстрелила один раз, то в деле не было бы никаких затруднений. К несчастью, она выстрелила шесть раз.

— Но ведь она все объяснила. Всякий сделал бы то же, кому ни привелось.

— Возможно,— сказал мистер Джойс,— и, с моей точки зрения, то, что рассказывает Лесли, вполне правдоподобно. Однако нет смысла закрывать глаза на факты. Всегда стоит поставить себя на место другого, и не скрою от вас, что, будь я прокурором, я бы обратил особое внимание именно на это.

— Милейший, что за чушь!

Мистер Джойс быстро взглянул на Роберта Кросби. По его четко очерченным губам пробежала легкая усмешка.



ка. Неплохой парень этот Кросби, но, увы, умом не блещет.

— Пожалуй, действительно, все это не столь важно,— ответил адвокат,— я лишь полагал, что мне следовало об этом упомянуть. Теперь уже недолго ждать, и я вам советую, когда все будет позади, поезжайте куда-нибудь с женой, вам надо развеяться. Перенести такой процесс нелегко, даже когда есть почти полная уверенность в оправдательном приговоре. Так что отдохнуть вам обоим будет полезно.

Впервые Кросби улыбнулся, и улыбка совершенно его преобразила. То, что он грубоват, уже не бросалось в глаза, видно было только, что это человек добрейшей души.

— Мне-то отдыхать потребуется больше, чем Лесли. Она здорово все переносит. Вот стойкая женщина, а?

— Да, самообладание редкостное,— сказал адвокат.— Я бы никогда не предположил, что она окажется столь решительной.

Со дня ареста миссис Кросби мистеру Джойсу в качестве ее адвоката нередко приходилось с ней беседовать. Хотя участь ее всячески старались облегчить, все же она находилась в заключении, ей предстоял суд, и не было бы ничего удивительного, если бы нервы ее сдали. Однако она мужественно переносила испытание. Она много читала, гуляла, сколько было дозволено, и по милостивому разрешению тюремного начальства даже плела кружево — дома это было любимое ее развлечение, за которым она просиживала часами. Она всегда выходила к мистеру Джойсу аккуратно одетая, в легких свежих простых платьях, тщательно причесанная, с маникюром. Была очень сдержанна. Она даже подшучивала над мелкими неудобствами, которые ей приходилось терпеть. Тон, которым она говорила о несчастье, был слегка небрежный, и мистер Джойс думал, что только такие прекрасно воспитанные люди, как миссис Кросби, умеют находить смешные черточки в обстоятельствах, столь серьезных. Это его удивляло, потому что он никогда прежде не замечал в ней чувства юмора.

Они уже давно были добрыми знакомыми. Когда миссис Кросби приезжала в Сингапур, она обычно обедала у Джойсов, и раз или два она даже провела у них в бунгало на взморье субботу и воскресенье. Жена мистера Джойса недели две гостила у Кросби на плантации, там-то ей несколько раз и привелось видеть Джеффри Хэммонда. Хотя обе четы не были задушевными друзьями, они были в хороших приятельских отношениях, и поэтому, когда разразилась беда, Роберт Кросби сразу помчался в Син-

гапур к мистеру Джойсу и умолил его взять на себя защиту его несчастной жены.

То, что она рассказала в первый раз, она никогда впоследствии не меняла даже в самых малейших подробностях. Тогда, спустя всего несколько часов после трагедии, она говорила так же спокойно, как и теперь. Излагала события последовательно, ровным, бесстрастным голосом, и единственный признак смущения — легкая краска на щеках — появлялся, только когда она описывала некоторые эпизоды. Совершенно не верилось, чтобы именно с ней могла приключиться такая история. Это была хрупкая женщина, едва за тридцать, не очень высокая, но и не маленькая, и скорее миловидная, чем красивая. У нее были изящные запястья и щиколотки, она была чрезвычайно худа, и сквозь белую кожу на руках просвечивали косточки и крупные голубые вены. Лицо у нее было очень бледное, с еле приметной желтизной, губы неяркие, глаза неопределенного цвета. У нее была копна светло-каштановых волос, слегка вьющихся от природы. Такие волосы стоит чуть-чуть подвить — и они бывают замечательно красивы, но никому и в голову не могло прийти, что миссис Кросби станет прибегать к подобным уловкам. Тихая, милая, скромная женщина. У нее были приятные манеры, и она не сделалась душой общества только из-за своей застенчивости. Но эта черта в ней понятна — ведь плантаторы ведут уединенный образ жизни; зато у себя дома, среди людей, хорошо знакомых, она умела всех пленить. Миссис Джойс, погостив две недели на плантации Кросби, рассказывала мужу, что Лесли — прелестная хозяйка. Она гораздо глубже, чем кажется; когда с ней познакомишься поближе, только диву даешься, как она начитанна и как с ней интересно поговорить.

Невероятно, чтобы такая женщина могла совершить убийство.

На прощание мистер Джойс постарался как мог утешить Роберта Кросби и, оставшись в кабинете один, принялся перелистывать дело. Он переключивал страницы машинально — он и без того все прекрасно помнил. Это была сенсация, не сходившая с уст во всех клубах, за всеми обеденными столами, на всем полуострове от Сингапура до Пенанга. Судя по словам миссис Кросби, все случилось очень просто. Муж ее уехал по делам в Сингапур, и ей пришлось ночевать одной. Довольно поздно, без четверти девять вечера, она в одиночестве пообедала и села в гостиной плести кружево. Гостиная выходила на веранду. В бунгало не было ни души — все слуги ушли к себе. Вдруг она услышала шаги по

садовой дорожке, усыпанной гравием, шаги человека в обуви — значит, это скорее европеец, чем местный житель, — ей это показалось странным, так как она не слышала, чтобы подъезжала машина, и не могла себе представить, кто бы это мог быть так поздно. Человек поднялся по ступеням, которые вели в бунгало, прошел по веранде и появился у двери в гостиную. В первую минуту она его не узнала. У нее горела только лампа, затененная абажуром, а снаружи совсем стемнело.

— Разрешите войти? — сказал он.

Она не узнала его даже по голосу.

— Кто это? — спросила она.

Она работала в очках; теперь она их сняла.

— Джеф Хэммонд.

— Заходите, рада вас видеть.

Она встала и приветливо пожала ему руку. Она немного удивилась, увидев его, потому что, хотя он и был их соседом, они за последнее время отделились друг от друга и уже много недель не виделись. Он управлял каучуковой плантацией милях в восьми, и она недоумевала, почему ему вздумалось нанести им визит в столь поздний час.

— Роберта нет дома, — сказала она. — Он до завтра в Сингапуре.

Он, видно, понял, что нужно как-то объяснить свой приезд, и сказал:

— Жаль. А мне взгрустнулось одному, и я решил съездить посмотреть, как вы живете.

— Как это вы подъехали? Я не слышала машины.

— Я ее оставил на дороге. Боялся, что вы уже улеглись.

Ну что ж, вполне естественно. Плантаторы поднимаются на заре, чтобы сделать переключку рабочим, поэтому их рано начинает клонить ко сну. Наутро машину Хэммонда действительно нашли в четверти мили от бунгало.

Так как Роберта дома не было, виски и содовую из гостиной унесли. Лесли решила, что бой, должно быть, уже спит, не стала его будить и сходила за всем сама. Гость налил себе стакан и набил трубку.

У Джефа Хэммонда в колонии была куча друзей. Приехал он сюда совсем юнцом, а теперь ему было уже под сорок. Когда началась война, он одним из первых ушел добровольцем на фронт и там быстро отличился. Года через два из-за ранения в колено его уволили из армии, и он вернулся в Малайю с Военным крестом и с орденом «За боевые заслуги». Он славился в колонии как один из лучших бильярдистов. До войны он прекрасно танцевал и иг-

рал в теннис, теперь из-за больного колена он бросил ганцы и в теннис играл намного хуже, но он обладал счастливой способностью нравиться людям, и все его любили. Это был красивый мужчина — высокий рост, чудесные голубые глаза, волнистая черная шевелюра. Старожилы находили у него один-единственный недостаток — он слишком любил женщин — и после катастрофы качали головой: они давно предсказывали, что это не доведет его до добра.

Сейчас он принялся рассказывать Лесли местные новости: про предстоящие скачки в Сингапуре, про цены на каучук, про свои сборы на охоту — в округе недавно появился тигр. Ей хотелось побыстрее закончить кружево — оно предназначалось матери ко дню рождения, и нужно было успеть отослать его в Англию, — поэтому она опять надела очки и придвинула к себе рабочий столик.

— Зачем вам роговые очки, да еще такие большие, — сказал он. — Хорошенькая женщина, а старается себя изуродовать!

Она немного удивилась, услышав его слова. Он никогда не позволял себе говорить с ней в таком тоне. Она решила обратить все в шутку:

— Я не претендую на звание красавицы, и, признаться, меня мало трогает, считаете вы меня дурнушкой или нет.

— Ну какая же вы дурнушка. По-моему, вы очень хорошенькая.

— Благодарю вас, — насмешливо ответила она, — но в таком случае вы, по-моему, не в своем уме.

Он засмеялся. Потом встал и пересел в кресло рядом с ней.

— Надеюсь, вы не посмеете отрицать, что ни у кого на свете нет рук прекрасней ваших, — сказал он.

Он потянулся к ее руке. Она легонько его ударила.

— Перестаньте дурачиться. Сядьте на свое место и будьте умником, а то я отправлю вас домой.

Он не пошевелился.

— Вы же знаете, я безумно люблю вас, — сказал он.

Она осталась невозмутима.

— Нет, не знаю. Я не верю вам ни на грош, но, даже если бы это было так, вы не смеете этого говорить.

Этот разговор тем более удивил ее, что за семь лет знакомства он никогда не оказывал ей особых знаков внимания. Когда он вернулся с войны, они довольно часто виделись, потом как-то раз он заболел, и Роберт привез его к ним на машине. Он тогда прожил у них недели две. Но интересы у них были разные, и знакомство так и не перешло

в дружбу. Последние два-три года они встречались редко. Случалось, он приезжал к ним поиграть в теннис, случалось, они оказывались вместе в гостях у кого-нибудь из соседей-плантаторов, но бывало и так, что они не виделись по месяцу.

Он налил себе еще стакан. Лесли подумала, не выпил ли он еще до приезда к ней. Он был какой-то странный, и ей стало чуть-чуть не по себе. Она посмотрела на него неодобрительно.

— На вашем месте я бы больше не пила,— сказала она еще довольно дружелюбно.

Он залпом опрокинул стакан и поставил его на стол.

— Вы что, думаете, я завел этот разговор, потому что я пьян? — резко спросил он.

— Такое объяснение напрашивается, разве нет?

— Ерунда. Я полюбил вас с первой нашей встречи. Я достаточно долго молчал, хватит. Я люблю вас, люблю страстно!

Она встала и отодвинула столик.

— Спокойной ночи,— сказала она.

— Я не уйду.

Тогда она начала терять терпение.

— Что за глупости! Поймите же, я никогда никого не любила, кроме Роберта, но, даже если бы я не любила Роберта, вы, во всяком случае, герой не моего романа.

— Мне все равно. Роберта нет дома.

— Немедленно убирайтесь, или я позову слуг, и вас вышвырнут вон.

— Они далеко — не услышат.

Теперь она разозлилась. Она сделала шаг к веранде — оттуда слуги наверняка бы ее услышали, но он схватил ее за руку.

— Пустите меня! — гневно крикнула она.

— Ну нет! Теперь ты моя.

Она позвала: «Бой! Бой!» — но он быстро зажал ей рот ладонью. Не успела она опомниться, как он обнял ее и начал страстно целовать. Она вырвалась, отворачивая рот от его горячих губ.

— Нет, нет, нет! — кричала она. — Оставьте меня! Я не хочу!

Что было дальше — она припоминала с трудом. Она четко помнила все, что случилось до этой минуты, но теперь голос его стал доноситься к ней сквозь завесу ужаса и отворачивания. Кажется, он пылко клялся ей в любви, умолял ее о взаимности. И все время неистово сжимал ее в объятиях.

Она не могла вырваться, потому что он был очень сильный и ее руки были крепко притиснуты к бокам; она чувствовала, что слабеет; она боялась потерять сознание, его горячее дыхание было омерзительно. Он целовал ее рот, глаза, щеки, волосы. Он сжимал ее как в тисках. Он поднял ее. Она хотела оттолкнуть его ногами, но он только крепче прижал ее к себе. И понес. Теперь он молчал, но она видела, что он бледен и глаза его горят от желания. Он нес ее в спальню. В него вселился дикарь. На пути оказался стол, он споткнулся. Из-за большого колена он не удержался на ногах и упал вместе со своей ношей. Мгновение — и она выскользнула из его рук. Она бросилась за диван. Он тут же вскочил и метнулся за ней. На письменном столе лежал револьвер. Она не из нервных, но все же Роберт уехал на всю ночь, и она хотела захватить револьвер с собой в спальню. Вот почему он оказался на столе. От страха в голове у нее помутилось. Она не соображала, что делает. Послышался выстрел. Хэммонд покачнулся. Вскрикнул. Что-то сказал — она не знает что. Пошатываясь, побрел на веранду. Она уже совсем обезумела, была в каком-то иступлении, она пошла за ним на веранду, да, именно так оно, вероятно, и было,— пошла за ним, хотя она ничего не помнит, и бессознательно все стреляла и стреляла, пока не кончились патроны. На веранде Хэммонд упал. Он скрючился и застыл, весь залитый кровью.

Когда прибежали слуги, перепуганные выстрелами, она все еще стояла над Хэммондом с револьвером в руке. Хэммонд уже не дышал. Она молча посмотрела на них. Они в страхе сбились в кучу. Она выронила револьвер, молча повернулась и пошла в гостиную. Потом они видели, как она вошла в спальню, и в замке щелкнул ключ. Они не смели дотронуться до трупа и только взволнованно перешептывались, уставившись на него полными ужаса глазами. Потом старший бой пришел немного в себя; это был китаец, человек неглупый, проживший у них много лет. Роберт уехал в Сингапур на мотоцикле, и машина осталась в гараже. Он велел слугам ее вывести, нужно было немедленно ехать к помощнику начальника округа и рассказать о происшествии. Он подобрал револьвер и положил в карман. Помощник начальника округа, по фамилии Уизерс, жил возле ближайшего городка, милях в тридцати пяти. Пока доехали, прошло полтора часа. Весь дом спал, пришлось разбудить слуг. Вскоре вышел сам Уизерс, они ему обо всем рассказали. В подтверждение своих слов старший бой показал револьвер. Помощник начальника округа ушел одеться,

послал за своей машиной и через некоторое время уже мчался за ними по пустынной дороге. Он подъехал к дому Кросби на рассвете. Взбежав на веранду, он как вкопанный остановился перед трупом Хэммонда. Дотронулся до лица — совершенно холодное.

— Где хозяйка? — спросил он у боя.

Китаец показал на спальню. Уизерс подошел к двери и постучал. Никто не отозвался. Он опять постучал.

— Миссис Кросби, — позвал он.

— Кто там?

— Уизерс.

Опять тишина. Потом замок щелкнул, и дверь медленно отворилась. Перед ним стояла Лесли. Она не ложилась, на ней было то же платье, в котором она обедала накануне. Она стояла и молча смотрела на Уизерса.

— Ваш слуга приехал за мной, — сказал он. — Хэммонд. Что вы натворили?

— Он хотел изнасиловать меня, я его застрелила.

— Боже мой! Послушайте, вы бы вышли, а? Вы должны мне все подробно рассказать.

— Только не сейчас. Я не могу. Подождите. Пошлите за мужем.

Уизерс был молод и растерялся, не зная, как ему следует поступить в таких необычных обстоятельствах. Лесли наотрез отказывалась говорить, пока не приехал Роберт. Тогда она им обоим рассказала, как все произошло, и хотя потом много раз повторяла все сызнова, показания ее никогда и ни в чем не менялись.

Мысли мистера Джойса все время возвращались к выстрелам. Как юриста, его тревожило, что Лесли сделала не один выстрел, а шесть, причем осмотр тела показал, что четыре выстрела были сделаны в упор. Выходило, что она продолжала стрелять, когда Хэммонд уже упал. Она признавалась, что память, с такой точностью восстановившая все, что случилось до этой минуты, здесь ей изменила. Провал в памяти. Значит, она впала в неистовую ярость, но как могла такая тихая, скромная женщина поддаться неистовой ярости? Мистер Джойс знал ее не первый год и всегда считал ее уравновешенным человеком; за эти последние несколько недель он не мог надивиться ее самообладанию.

Мистер Джойс пожал плечами.

«По-видимому, — размышлял он, — нет возможности определить, какие варварские инстинкты заложены в самых порядочных женщинах».

В дверь постучали.

— Войдите.

Вошел клерк-китаец и притворил за собой дверь. Он притворил ее неторопливо, осторожно, но решительно и приблизился к столу, за которым сидел мистер Джойс.

— Разрешите беспокоить вас, сэр, небольшим разговором частного порядка?

Мистера Джойса всегда немного забавляла изысканная точность, с которой изъяснялся его клерк, и он улыбнулся.

— Какое же беспокойство, Цисэн,— возразил он.

— Предмет, о котором я желал бы с вами побеседовать, сэр, весьма секретного и деликатного свойства.

— Выкладывайте.

Глаза мистера Джойса и хитрые глаза клерка встретились. Как и всегда, Ван Цисэн был одет по последней местной моде. Сверкающие лакированные ботинки и яркие шелковые носки. В черном галстуке булавка с жемчужиной и рубином, на безымянном пальце левой руки — бриллиантовое кольцо. В кармане хорошо сшитого белого пиджака — золотая авторучка и золотой карандаш. Золотые часы на руке, на переносице — пенсне без оправы. Он легонько кашлянул.

— Это касается дела Кросби, сэр.

— Да?

— Мне стало известно одно обстоятельство, сэр, которое, как мне кажется, может придать делу совсем другую окраску.

— Какое обстоятельство?

— Мне стало известно, сэр, о существовании записки от нашей подзащитной к несчастной жертве трагедии.

— Что же удивительного. Я думаю, за последние семь лет миссис Кросби не раз случалось писать мистеру Хэммонду.

Мистер Джойс был высокого мнения об уме своего клерка и сказал это лишь для того, чтобы скрыть свои мысли.

— Весьма вероятно, сэр. Миссис Кросби, должно быть, нередко писала мистеру Хэммонду, приглашая его, скажем, к обеду или поиграть в теннис. Такова была первая возникшая у меня мысль, когда мне сообщили о записке. Однако оказалось, что эта записка была написана в день смерти ныне покойного мистера Хэммонда.

Мистер Джойс глазом не моргнул. Он продолжал смотреть на Ван Цисэна и, как всегда во время разговора с ним, улыбался, будто слегка забавляясь беседой.



— Откуда вы знаете?

— Об этом обстоятельстве, сэр, мне стало известно от одного моего приятеля.

Мистер Джойс знал, что расспрашивать бесполезно.

— Сэр, я надеюсь, вы помните заявление миссис Кросби о том, что она несколько недель до рокового вечера не общалась с пострадавшим.

— Записка у вас?

— Нет, сэр.

— Что в ней написано?

— Приятель дал мне копию. Не желаете ли взглянуть?

— Покажите.

Ван Цисэн вытащил из внутреннего кармана пиджака пухлый бумажник. Он был набит документами, сингапурскими долларами и картинками из папиросных коробок. Наконец он извлек из этого хаоса половинку листа тонкой почтовой бумаги и положил ее перед мистером Джойсом. Записка гласила:

*«Р. уехал до завтра. Нам совершенно необходимо встретиться. Жду в одиннадцать. Я с ума схожу. Если не увидимся, я не отвечаю за последствия. К дому подъезжать не надо. Л.»*

Записка была написана аккуратным круглым почерком, которому китайцев учат в иностранных школах. Ровные строчки, точно из прописей, как-то странно не вязались с мрачным содержанием.

— Откуда вы взяли, что эту записку написала миссис Кросби?

— У меня есть все основания доверять лицу, передавшему мне эти сведения, сэр,— ответил Ван Цисэн.— К тому же это легко доказуемо. Сама миссис Кросби, конечно, сможет сразу сказать, писала ли она такую записку.

Мистер Джойс с самого начала разговора не отводил взгляда от благообразного лица своего клерка. И теперь ему показалось, что на этом лице мелькнуло выражение насмешки.

— Не верю, чтобы миссис Кросби могла написать подобную записку,— сказал мистер Джойс.

— Если таково ваше мнение, сэр, то разговор, я думаю, можно считать законченным. Мой приятель ввел меня в курс дела лишь потому, что я служу у вас, ибо он полагал, что вам было бы интересно узнать о существовании этой записки, прежде чем она попадет к прокурору.

— У кого оригинал? — резко спросил мистер Джойс.

Ван Цисэн и виду не подал, что он по тону вопроса заметил изменившуюся позицию мистера Джойса.

— Вы, вероятно, помните, сэр, что после кончины мистера Хэммонда обнаружилась его связь с некой китайкой. В настоящее время записка находится в ее руках.

Это была одна из причин, сразу настроивших общественное мнение против Хэммонда. Стало известно, что у него в доме несколько месяцев жила китайка.

Оба помолчали. Все, что нужно, было уже сказано, и они прекрасно поняли друг друга.

— Благодарю вас, Цисэн. Я все обдумую.

— Очень хорошо, сэр. Не желаете ли вы, чтобы я сообщил моему приятелю о результатах нашей беседы?

— Ну что ж, пожалуй, неплохо, если вы будете поддерживать с ним контакт,— без тени улыбки сказал мистер Джойс.

— Хорошо, сэр.

Клерк бесшумно вышел, опять осторожно притворив за собой дверь, и мистер Джойс остался наедине со своими мыслями. Перед ним лежала копия записки Лесли, переписанная аккуратным безликим почерком. В голове теснились смутные подозрения. Они привели его в такое замешательство, что он попробовал как-нибудь от них отделаться. Без сомнения, здесь должна быть очень простая разгадка, и Лесли, вероятно, сразу все объяснит, но, право же, объяснение необходимо. Он поднялся, сунул записку в карман и взял шлем. Выйдя из кабинета, он увидел Ван Цисэна, усердно что-то писавшего за своим столом.

— Я ненадолго отлучусь, Цисэн,— сказал он.

— К вам на двенадцать назначен мистер Джордж Рид, сэр. Как мне ему передать, куда вы ушли?

Мистер Джойс слегка улыбнулся.

— Можете передать, что не имеете об этом ни малейшего понятия.

Но было совершенно ясно— Ван Цисэн понял, что он держит путь в тюрьму. Миссис Кросби перевели в Сингапур, потому что в Беланде, где было совершено преступление и где должен был состояться суд, не было тюрьмы, пригодной для содержания белой женщины.

Ее ввели в комнату, где ожидал мистер Джойс, и она с приветливой улыбкой протянула ему свою красивую худощавую руку. Одета она была, по обыкновению, очень мило и просто, пышные светлые волосы тщательно уложены.

— Я не ждала вас с утра,— любезно сказала она.

Она вела себя так, будто была у себя дома, и мистеру Джойсу даже показалось, что сейчас она кликнет боя, чтобы тот принес гостю коктейль.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он.

— Спасибо, я совершенно здорова. — В глазах ее мелькнула смешливая искорка. — Здесь можно чудесно отдохнуть и поправиться.

Надзиратель ушел, и они остались вдвоем.

— Присаживайтесь, пожалуйста, — сказала Лесли.

Он уселся в кресло. Он не представлял себе, с чего начать. Она была так спокойна, что, казалось, невозможно заговорить с ней о том, ради чего он сюда явился. Нельзя было назвать ее красивой, но она была привлекательна. Полна изящества — не внешнего лоска, а изящества, которое так естественно при хорошем воспитании. Стоило только взглянуть на нее, и становилось понятно, в какой семье, в какой обстановке она выросла. Хрупкость делала ее особенно утонченной. С этой женщиной не вязалась даже малейшая мысль о грубости.

— Днем я жду Роберта, — как всегда весело и непринужденно сказала она. — (Приятно ее слушать, по манере говорить сразу распознается человек из общества.) — Бедняжка, он вконец извелся. Слава богу, еще несколько дней — и все будет позади.

— Осталось всего пять дней.

— Да. По утрам я, как проснусь, говорю себе: «На один день меньше». — Она улыбнулась. — Так бывало в школе перед каникулами.

— Между прочим, скажите, правильно ли я себе представляю: вы в самом деле совершенно не общались с Хэммондом на протяжении нескольких недель до несчастья?

— Конечно. В последний раз мы с ним виделись у Макференсов на теннисе. Насколько я припоминаю, мы с ним и словом-то едва перемолвились. Там два корта, а мы попали в разные партии.

— Вы ему не писали?

— Нет, что вы.

— Вы уверены в этом?

— Что за вопрос, — ответила она с легкой улыбкой. — О чем же мне было ему писать, разве только позвать на обед или на теннис, а я его несколько месяцев не приглашала.

— Одно время вы дружили. Почему вы перестали его приглашать?

Миссис Кросби пожала худыми плечами.

— Люди приедаются. У нас с ним вообще было мало общего. Когда он болел, мы с Робертом, конечно, делали для него все, что могли, но последние года два он был совершенно здоров и пользовался большим успехом. Его прямо на части рвали, к чему же было заваливать его лишними приглашениями.

— Итак, это все, что вы могли бы мне сказать?

Какое-то мгновение миссис Кросби колебалась.

— Пожалуй, вот еще что. До нас дошли слухи, что он живет с китайкой — я ее сама видела, — и Роберт потребовал, чтобы я его не пускала на порог.

Мистер Джойс сидел в кресле с прямой спинкой и, опершись подбородком о ладонь, не отрываясь глядел на Лесли. Неужели ему только показалось, что при этих словах в черных зрачках ее на какую-то долю секунды вдруг блеснул тусклый красный огонек? Мистеру Джойсу стало не по себе. Он переменял позу. Сомкнул перед собой кончики пальцев. И заговорил с расстановкой, подбирая слова:

— Должен сообщить вам, что существует записка к Джефу Хэммонду, написанная вашей рукой.

Он внимательно смотрел на нее. Она не шелохнулась, в лице ничего не дрогнуло, но она заметно помедлила с ответом.

— Мне приходилось посылать ему записки с каким-нибудь приглашением; а иногда, когда я узнавала, что он собирается в Сингапур, я его просила купить там что-нибудь для меня.

— В этой записке вы просите его приехать, потому что Роберт уезжает в Сингапур.

— Это невозможно. Я никогда ничего подобного не писала.

— Ну что ж, прочтите сами.

Он вынул записку из кармана и протянул ей. Она только взглянула и, презрительно улыбнувшись, отдала ее обратно.

— Почерк не мой.

— Да, но мне сказали, что это точная копия оригинала.

Тогда она прочитала записку, и мгновенно в ней произошла страшная перемена. На лицо ее, и без того всегда бледное, нельзя было смотреть без содрогания. Оно позеленело. Кожа туго обтянула кости, будто под ней исчезла плоть. Губы раздвинулись, из-под них, точно в гримасе, показались зубы. Неестественно выгаращенными глазами она уставилась на мистера Джойса. Перед ним была не живая женщина, а мертвец.

— Что это значит? — прошептала она.

Во рту у нее пересохло, из горла вырывался хрип, непохожий на голос человека.

— Объяснить можете только вы, — ответил он.

— Я не писала этого. Клянусь, я этого не писала.

— Подумайте, прежде чем говорить. Если оригинал действительно написан вашей рукой, мы не сможем этого опровергнуть.

— Скажите, что это подделка.

— Это трудно будет доказать. Легче будет доказать, что записка подлинная.

По ее худощавому телу прошла зябкая дрожь. На лбу проступили крупные капли пота. Она достала из сумочки носовой платок и вытерла ладони. Потом опять пробежала записку и исподлобья взглянула на мистера Джойса.

— Здесь нет числа. Если я и писала когда-нибудь такую записку, то с тех пор могло пройти много лет. Подождите, я подумаю, попробую припомнить, как было дело.

— Я заметил, что даты нет. Если записка попадет в руки суда, ваших слуг подвергнут перекрестному допросу. Таким образом быстро выяснится, возили Хэммонду записку в день его смерти или нет.

Миссис Кросби в отчаянии стиснула руки и покачнулась в кресле — мистеру Джойсу показалось, что она теряет сознание.

— Клянусь вам, я не писала этой записки.

Мистер Джойс помолчал. Он перевел взгляд с лица обезумевшей женщины на пол. Он размышлял.

— В таком случае, я полагаю, мы можем оставить эту тему, — медленно сказал он, прервав наконец молчание. — Если обладатель записки найдет нужным передать ее в руки правосудия, это не будет для вас неожиданностью.

По-видимому, мистер Джойс окончил разговор, но он не двинулся с места. Он ждал. Ему казалось, что он ждал очень долго. Не глядя на Лесли, он чувствовал, что она сидит неподвижно. Она не проронила ни звука. И опять заговорил он:

— Если вам больше нечего мне сказать, я, пожалуй, пойду. Меня ждут в конторе.

Тогда она спросила:

— Что можно подумать, если прочесть эту записку?

— Можно решить, что вы сказали заведомую ложь, — резко ответил мистер Джойс.

— Какую?

— Вы определенно утверждали, что не общались с Хэммондом по крайней мере три последних месяца.

— Я пережила страшное потрясение. Такая ужасная ночь, настоящий кошмар. И какая-то одна подробность ускользнула из памяти — разве это не естественно?

— К несчастью, вы сумели точно до мелочей восстановить разговор с Хэммондом, а столь важное обстоятельство, как то, что в день своей гибели он явился к вам по вашему собственному настойчивому приглашению, — это вы забыли.

— Нет, я не забыла. Просто я боялась об этом рассказать. Признайся я, что он приезжал по моему приглашению, кто бы мне поверил! Конечно, это глупость, но у меня голова шла кругом, а раз уж я сказала, что не общалась с Хэммондом, я не могла отступить.

К Лесли снова вернулось ее восхитительное самообладание, и она легко выдержала испытующий взгляд мистера Джойса. Ее женственность обезоруживала.

— Вас попросят объяснить, почему вы пригласили Хэммонда именно в тот вечер, когда уехал Роберт.

Она посмотрела на адвоката широко открытыми глазами. Напрасно он до сих пор считал, что у нее обыкновенные глаза, — глаза у нее чудесные, и сейчас в них, кажется, сверкнули слезы. Голос у нее слегка дрожал.

— Это я готовила Роберту сюрприз. В будущем месяце день его рождения. Он мечтал о новом ружье, а я ничего в спортивных делах не смыслю. Я решила посоветоваться с Джефом. Хотела попросить, чтобы он сам заказал ружье на мое имя.

— По-видимому, вы не совсем отчетливо помните содержание записки. Может, вы взглянете на нее еще раз?

— Нет, зачем же, — быстро сказала она.

— Неужели вы полагаете, что такую записку может написать женщина знакомому, не слишком близкому, собираясь всего-навсего посоветоваться с ним по поводу покупки ружья?

— Да, конечно, записка сумбурная, и тон довольно взволнованный. У меня такой стиль. Я готова признать, что это смешно. — Она улыбнулась. — Кроме того, уж не так мы были далеки с Джефом Хэммондом. Когда он болел, я за ним, как мать, ухаживала. Роберт не желал его у нас видеть, вот и пришлось пригласить его, когда Роберт уехал.

Мистер Джойс устал сидеть в одном и том же положении. Он встал и прошелся по комнате, обдумывая слова, с которыми намерен был к ней обратиться; затем

остановился у своего кресла, опершись на спинку. Заговорил он медленно и очень внушительно:

— Миссис Кросби, мне бы хотелось с вами поговорить весьма и весьма серьезно. До сих пор ваше дело было сравнительно простым. На мой взгляд, только одно обстоятельство в нем требовало объяснения: как это мне представляется, вы не менее четырех раз стреляли в Хэммонда уже после того, как он упал. У вас мягкий характер и тонкая душа, вы умеете прекрасно владеть собой, поэтому трудно допустить, чтобы такой человек, как вы, даже весьма напуганный, поддался бы столь необузданному гневу. Но все же это возможно. Хотя многим Джеффри Хэммонд нравился и вообще мнения о нем все были неплохого, я готов был все же доказать, что он был способен на преступление, в котором вы его обвиняете, оправдывая свои действия. При этом мы могли бы сослаться на вполне определенный факт, который обнаружился после его смерти,— его связь с китайкой. Эта новость решительно восстановила против него общество. Нам представлялось возможным использовать недоброжелательное отношение, которое такая связь вызвала к нему у всех порядочных людей. Сегодня утром я сказал вашему мужу, что уверен в оправдательном приговоре,— и это было сказано не просто для того, чтобы его подбодрить. Я не сомневаюсь, что присяжные заседатели даже не покинули бы зала суда.

Взгляды их встретились. Миссис Кросби сидела как-то неестественно тихо. Она была похожа на птицу, замороженную взглядом змеи. Так же неторопливо он продолжал:

— Но эта записка совершенно меняет дело. Я ваш адвокат, я должен представлять ваши интересы в суде. Вы рассказали мне, что с вами случилось, и я буду защищать вас, опираясь на эти сведения. Может быть, я верю вам, может быть, я сомневаюсь в правдивости ваших слов. Обязанность защитника состоит в том, чтобы убедить присяжных, что улики, которые им представили, не дают оснований признать подсудимого виновным; а личное мнение защитника по поводу того, виновен ли в действительности его клиент, никакого значения для дела не имеет.

С удивлением он заметил мелькнувшую в глазах Лесли улыбку. Это его задело, и он продолжал уже более сухо:

— Вы не станете отрицать, что Хэммонд приехал к вам по вашему настойчивому и, я бы даже сказал, истерическому приглашению?

На какой-то миг миссис Кросби в нерешительности задумалась.

— Да, я послала записку Хэммонду с одним из наших боев. Он ездил на велосипеде. Это можно легко узнать.

— Напрасно вы думаете, что все менее сообразительны, чем вы. Записка наведет на такие подозрения, которые до сих пор никому и в голову не приходили. Я умолчу о впечатлении, которое копия записки произвела на меня. Я не хочу ничего знать сверх того, что спасет вас от петли.

Миссис Кросби пронзительно вскрикнула. Побелев от ужаса, она вскочила.

— Как, вы думаете, меня повесят?

— Если будет доказано, что вы убили Хэммонда не в порядке самозащиты, то присяжные заседатели обязаны будут признать вас виновной. Вас обвинят в убийстве. Судья обязан будет вынести смертный приговор.

— Но что они могут доказать? — с трудом выдохнула она.

— Я не знаю, что они могут доказать. Это знаете вы. Я не желаю знать. Но представьте, у суда возникают подозрения, начинается расследование, допрашивают туземцев — что тогда раскроется?

Она вдруг как-то обмякла. Он не успел ее подхватить — она свалилась на пол. Обморок. Он окинул взглядом комнату — воды не было, а ему очень не хотелось, чтобы мешали их разговору. Уложив ее на полу поудобней, он встал рядом на колени, ожидая, пока она придет в себя. Когда она открыла глаза, он был немало смущен, увидев в них смертельный страх.

— Лежите спокойно, — сказал он, — сейчас вам станет легче.

— Не давайте меня повесить, — шепнула она.

Она в истерике зарыдала, он вполголоса ее успокаивал.

— Ради бога, возьмите себя в руки, — говорил он.

— Да, еще минутку.

Поразительное мужество. Он видел, какого усилия ей стоило овладеть собой, но вскоре она опять была совершенно спокойна.

— Теперь я встану.

Он подал ей руку и помог подняться. Поддерживая ее за локоть, он подвел ее к креслу. Она устало села.

— Помолчите немного, — сказала она.

— Хорошо.

Наконец она заговорила, но сказала совсем не то, что он ожидал. Она легонько вздохнула.

— Боюсь, теперь мне не выпутаться.

Он не ответил, и опять наступило молчание.



— А нельзя как-нибудь получить записку?— спросила она наконец.

— Я подозреваю, что мне не рассказали бы о ней, если бы лицо, владеющее запиской, не намерено было ее продать.

— Кто это?

— Китайка, которая жила у Хэммонда.

На скулах Лесли вспыхнули и погасли розовые пятна.

— Она запросила большую цену?

— Надо полагать, ей прекрасно известно, чего стоит эта записка. Едва ли она обойдется дешево.

— Значит, вы собираетесь отдать меня в руки палачей?

— Вы что же, думаете, что так легко перехватить нежелательную улику? Да это ничем не отличается от подкупа свидетелей. Вы не имеете права делать мне подобное предложение.

— Что же со мной будет?

— Правосудие должно свершиться.

Она очень побледнела. Тело ее судорожно передернулось.

— Я вручаю свою судьбу вам. Я понимаю, что не имею права просить вас о чем бы то ни было незаконном.

Мистер Джойс, привыкший к ее всегда выдержанному тону, был невыносимо тронут этим чуть надтреснутым голосом. И в глазах ее была такая покорная мольба, что, казалось, откажи он—и взор этот будет преследовать его до могилы. Все равно несчастного Хэммонда уже не вернуть к жизни. Любопытно, однако, как могла появиться такая записка. Заключить по ней, что убийство было предумышленным, было бы несправедливо. Двадцать лет мистер Джойс прожил на Востоке, и за эти годы чувство профессиональной чести у него уже несколько притупилось. Он уставился в пол. Он решился на поступок, которому, он понимал, нет оправдания,— от этого его коробило, и он мрачно негодовал на Лесли. Очень неловко он сказал:

— Я плохо знаю финансовые возможности вашего мужа.

Залившись розовой краской, она метнула на него быстрый взгляд.

— У него довольно много акций оловянных компаний и небольшая доля в двух или трех каучуковых плантациях. Наверное, он бы смог раздобыть деньги.

— Придется ему рассказать, для чего.

Минуту она молчала. Она думала.

— Он еще любит меня. Он пожертвует всем для моего спасения. Записку ему показывать обязательно?

Мистер Джойс насупился, и, заметив это, она быстро продолжала:

— Роберт ваш старый друг. Не делайте ничего ради меня, но, умоляю вас, постарайтесь уберечь от лишних страданий простого, доброго человека — он ведь никогда не причинял вам ни малейшей неприятности.

Мистер Джойс не ответил. Он поднялся, и миссис Кросби с присущей ей грацией протянула ему руку. Разговор с мистером Джойсом потряс ее, вид у нее был измученный, но она отважно пыталась выдержать любезный тон.

— Я вам так благодарна, что вы взяли на себя столько хлопот. Трудно выразить, как я вам признательна.

Мистер Джойс вернулся в контору. Сев за стол у себя в кабинете, он отодвинул бумаги и погрузился в размышления. Воображение рисовало самые невероятные картины. Его познабливало. Наконец, как он и ожидал, раздался осторожный стук в дверь. Вошел Ван Цисэн.

— Я хотел бы пойти позавтракать, сэр,— сказал он.

— Пожалуйста.

— Но прежде я хотел узнать, сэр, нет ли у вас ко мне какого-нибудь поручения?

— Нет. Вы назначили мистеру Риду другое время?

— Да, сэр. Он будет в три часа.

— Хорошо.

Ван Цисэн дошел до двери и положил длинные тонкие пальцы на ручку. Потом, как бы вспомнив что-то, он вернулся к столу.

— Не желаете ли вы передать что-либо моему приятелю, сэр?

У Ван Цисэна было великолепное произношение, но звук «р» ему не давался, и получалось «плятель».

— Какому приятелю?

— В связи с запиской миссис Кросби, сэр, которую она написала покойному Хэммонду.

— Ах, вот вы о чем. А я и забыл. Я говорил с миссис Кросби, но она отрицает, что писала что-либо подобное. Очевидно, это фальшивка.

Мистер Джойс вынул копию из кармана и протянул ее Ван Цисэну. Тот словно и не заметил этого жеста.

— В таком случае, сэр, у вас, я думаю, не будет возражений, если мой плятель передаст записку прокурору?

— Разумеется. Но я не совсем понимаю, какая от этого выгода вашему приятелю.

— Мой плятель считает, что он обязан действовать в интересах правосудия, сэр.

— Я никогда не стал бы мешать человеку, стремящемуся исполнить свой долг, Цисэн.

Взгляды адвоката и клерка встретились. Губы их не дрогнули даже от подобия улыбки, но они прекрасно поняли друг друга.

— Я не сомневаюсь в этом, сэр,— сказал Ван Цисэн,— однако, внимательно ознакомившись с делом Кросби, я вынес впечатление, что записка подобного рода может нанести непоправимый ущерб нашему клиенту.

— Я всегда был самого высокого мнения о вашей юридической проницательности, Цисэн.

— У меня появилась мысль, сэр, что, если бы мне удалось через моего плятеля уговорить китайку отдать нам записку, мы бы избежали многих неприятностей.

Мистер Джойс лениво рисовал профили на промокающей бумаге.

— Ваш приятель, разумеется, деловой человек. На каких условиях он согласен расстаться с запиской?

— Записка не у него. Она у китайки. Он только родственник китайки. Она очень невежественная женщина, сэр, и, пока мой плятель ей не растолковал, она не понимала ценности записки.

— И во сколько же он ее оценил?

— Десять тысяч долларов, сэр.

— Да вы рехнулись! Где миссис Кросби взять десять тысяч долларов, как по-вашему? И, кроме того, уверяю вас, записка поддельная.

Говоря это, он не спускал глаз с Ван Цисэна. Его вспышка ничуть не тронула клерка. Он спокойно стоял у стола, полный внимания и почтения.

— Мистер Кросби владеет восьмой долей в Бетонгской каучуковой плантации и шестой долей в каучуковой плантации на Селантан-ривер. У меня есть плятель, который одолжит ему необходимую сумму под залог этой собственности.

— У вас широкий круг знакомых, Цисэн.

— Да, сэр.

— Так вот, пусть все они отправляются к дьяволу. Я никогда не посоветую мистеру Кросби дать хоть на пенни больше пяти тысяч за записку, появление которой легко объяснить.

— Китайка не хочет ее продавать, сэр. Моему плятелю пришлось долго ее уговаривать. И теперь бесполезно предлагать ей сумму меньше упомянутой.

Мистер Джойс по крайней мере три минуты взирал на Ван Цисэна. Клерк не дрогнул под этим пронизывающим взглядом. Он стоял, почтительно склонившись и опустив глаза. Мистер Джойс знал, с кем имеет дело. Хитрая бестия, подумал он, интересно, сколько он получит за эту сделку.

— Десять тысяч долларов — очень крупная сумма.

— Я не сомневаюсь, сэр, что мистер Кросби предпочтет уплатить эту сумму, лишь бы его жену не повесили.

Мистер Джойс опять помолчал. Что еще известно Цисэну? Он явно не желает торговаться, должно быть, у него для этого есть веские основания. И эту сумму они, видимо, назначили потому, что заправились, кто бы они ни были, неплохо осведомлены о возможностях, которыми располагает Роберт Кросби, — знают, что больше денег ему не поднять.

— Где сейчас эта китаянка? — спросил мистер Джойс.

— Она гостит у моего плятеля, сэр.

— Она приедет сюда?

— Мне кажется, сэр, лучше бы вам к ней съездить. Я могу проводить вас туда сегодня вечером, и она отдаст вам записку. Но она очень невежественная женщина, сэр, она совершенно не разбирается в чеках.

— Я и не собирался давать ей чек. Я привезу банкноты.

— Если денег окажется меньше десяти тысяч долларов, сэр, это будет бесполезная трата драгоценного времени.

— Понимаю.

— После завтрака я съезжу предупредить моего плятеля, сэр.

— Прекрасно. Ждите меня у входа в клуб в десять часов вечера.

— С удовольствием, сэр.

Он слегка поклонился и вышел. Мистер Джойс тоже отправился завтракать. В клубе, как он и ожидал, он увидел Роберта Кросби. За его столиком все места были заняты, и мистер Джойс, проходя мимо в поисках свободного места, коснулся его плеча.

— У меня к вам небольшое дело, не уходите, — сказал он.

— Ладно. Когда освободитесь, дайте знать.

Мистер Джойс уже решил, как вести разговор. Он позавтракал и в ожидании, пока клуб опустеет, сел играть в бридж. Ему не хотелось на этот раз приглашать Кросби к себе в контору. Немного спустя Кросби пришел в карточную комнату и стал следить за игрой. Когда партия

кончилась, все игроки разошлись по своим делам, и они остались вдвоем.

— Вышла одна неприятность, дружище,— сказал мистер Джойс как можно более непринужденно.— Оказывается, в тот самый вечер ваша жена послала Хэммонду записку с приглашением приехать к вам.

— Быть этого не может!— вскричал Кросби.— Она ведь все время говорит, что задолго до этого не общалась с Хэммондом. Я сам могу подтвердить, что она месяца два в глаза его не видела.

— Однако факт налицо— записка существует. Она в руках той китайки, с которой жил Хэммонд. Ваша жена собиралась сделать вам подарок ко дню рождения и хотела попросить Хэммонда помочь ей с покупкой. Сразу после трагедии она была так взволнована, что забыла об этом, а потом боялась признаться в ошибке, после того как уже утверждала, что не общалась с Хэммондом. Очень неприятно, но, пожалуй, совершенно закономерно.

Кросби молчал. На его большом красном лице было написано крайнее недоумение, и, оттого что он ничего не понял, у мистера Джойса и отлегло от сердца, и поднялось чувство раздражения. Кросби туповат, а мистер Джойс не выносил тупиц. Но после катастрофы он был в таком отчаянии, что это несколько смягчило сердце адвоката, и миссис Кросби, попросив его помочь ей не ради нее самой, а ради мужа, задела слабую струнку.

— Вы и сами понимаете, весьма нежелательно, чтобы эта записка попала в руки обвинения. Ваша жена солгала, и ей придется объяснить, для чего она это сделала. Если Хэммонд не ворвался в ваш дом, как непрошенный гость, а приехал по приглашению, дело оборачивается совсем иначе. Это может поколебать присяжных.

Мистер Джойс помедлил. Теперь ему предстояло выполнить свое решение. Не будь положение так серьезно, он бы даже улыбнулся при мысли, что вот сейчас он должен совершить такой серьезный шаг, а человек, ради которого он его совершит, и не подозревает всей его важности. Если бы Кросби и призадумался, то, вероятно, вообразил бы, что мистер Джойс делает только то, что входит в обязанности любого адвоката.

— Дорогой Роберт, вы не только мой клиент, но и мой друг. Я думаю, нам надо завладеть этой запиской. За нее просят очень дорого. Иначе я вообще ничего бы вам о ней не рассказал.

— Сколько?

— Десять тысяч долларов.

— Немало. Цены на каучук упали, да и вообще дела сейчас не блестящие — так что это почти все, что у меня есть.

— Вы можете немедленно достать эти деньги?

— Думаю, что да. Чарли Мэдоуз даст мне их под оловянные акции и под мою долю в двух плантациях.

— Итак, решено?

— А без этого не обойтись?

— Если вы хотите, чтобы вашу жену оправдали.

Кросби сильно покраснел. Губы его странно скривились.

— Но... — Он не находил слов, лицо его побагровело. — Но я ничего не понимаю. Она ведь может объяснить. Вы что, хотите сказать, что ее могут признать виновной? Не повесят же ее за то, что она прикончила ядовитую тварь.

— Возможно, ее и не повесят. Могут обвинить лишь в непредумышленном убийстве. Тогда она отделается всего двумя или тремя годами.

Кросби вскочил, лицо его исказилось от ужаса.

— Три года!

И тут что-то будто забрезжило в его неповоротливом мозгу. Тьму его разума внезапно пронзила молния, и, хотя затем вновь наступила такая же непроглядная тьма, в памяти остался след от чего-то, что он едва успел рассмотреть. Мистер Джойс заметил, как большие красные руки Кросби, натруженные и загубевшие, задрожали.

— Какой она собиралась мне сделать подарок?

— Она говорит, что хотела подарить вам новое ружье.

Крупное красное лицо еще гуще побагровело.

— Когда нужны деньги?

Что-то случилось с его голосом. Он говорил так, будто невидимая рука схватила его за горло.

— Сегодня в десять вечера. Часов в шесть принесите их мне в контору.

— Эта женщина будет у вас?

— Нет, я еду к ней.

— Я принесу деньги. Я поеду с вами.

Мистер Джойс быстро взглянул на него.

— Зачем? Мне кажется, вы могли бы целиком предоставить это дело мне.

— Деньги мои, так? И я еду.

Мистер Джойс пожал плечами. Они встали, попрощались. Мистер Джойс с любопытством поглядел ему вслед.

В десять часов они снова встретились в пустом клубе.

— Все в порядке? — спросил мистер Джойс.

— Да. Деньги у меня в кармане.

— Тогда идемте.

Они спустились с крыльца. Автомобиль мистера Джойса поджидал их на площади, пустынной в этот час, и когда они приблизились, из тени дома к ним шагнул Ван Цисэн. Он сел рядом с шофером и показал, куда ехать. Миновав отель «Европа», они повернули у гостиницы для матросов и оказались на улице Виктории. Здесь еще торговали китайские лавки, по тротуарам гуляла публика, взад и вперед деловито сновали рикши, автомобили, повозки. Внезапно остановив автомобиль, клерк обернулся.

— Отсюда нам лучше пройти пешком, сэр,— сказал он.

Они вышли из машины. Он шел впереди, они следовали за ним в двух шагах. Вскоре он остановился.

— Подождите здесь, сэр. Я найду поговорить с моим приятелем.

Он вошел в лавку, у которой не было передней стены; за прилавком стояли три или четыре китайца. Это была одна из тех удивительных лавчонок, где товары не выставлены напоказ и невозможно понять, чем здесь торгуют. Ван Цисэн заговорил с полным человеком в парусиновом костюме с толстой золотой цепью через всю грудь, и тот быстро взглянул в сторону темной улицы. Он дал Цисэну ключ, и клерк вышел. Поманив двух ожидающих его мужчин, он скользнул в дверь рядом с лавкой. Они последовали за ним и оказались у лестницы, ведущей наверх.

— Одну минуту, пожалуйста, сейчас я зажгу спичку,— как всегда, нашелся клерк.— Нужно будет подняться выше.

Он светил перед ними японской спичкой, но она почти не разгоняла темноты, и они пробирались за ним на ощупь. Отперев дверь на втором этаже, он зажег газовый рожок.

— Входите, пожалуйста,— сказал он.

Комната была маленькая, квадратная, с одним окном, и вся мебель состояла из двух низких китайских кроватей, покрытых циновками. Один угол занимал большой сундук с замысловатым замком, на нем стоял облупленный поднос с лампой и трубкой для курения опиума. Слабый приторный запах заполнял комнату. Все сели, и Ван Цисэн предложил им папиросы. Вскоре появился толстый китаец, которого они видели за прилавком. Он поздоровался на прекрасном английском языке и сел рядом со своим соотечественником.

— Женщина сейчас придет,— сказал Цисэн.

Мальчик из лавки принес поднос с чайником и чашками, и китаец спросил, не хотят ли они чаю. Кросби

отказался. Китайцы шепотом заговорили между собой, Кросби и мистер Джойс молчали. Потом за стеной послышался голос: кто-то тихо звал; китаец подошел к двери. Он открыл ее, произнес несколько слов и впустил женщину. Мистер Джойс взглянул на нее. После смерти Хэммонда он немало о ней наслышался, но ни разу ее не видал. Женщина была довольно полная, не очень молодая, с широким флегматичным лицом; она была напудрена и нарумянена, брови тонко вычерчены, но, несмотря на все это, она производила впечатление человека с твердым характером. На ней был голубой жакет и белая юбка — костюм полувосточный, полукитайский, но на ногах были надеты крошечные китайские шелковые туфли. На шее тяжелые золотые цепочки, на руках — золотые запястья, в ушах — золотые серьги, затейливые золотые шпильки в черных волосах. Она вошла тяжелой поступью, неторопливо, как женщина, уверенная в себе, и села на кровать около Ван Цисэна. Он сказал ей что-то, и, кивнув, она равнодушно окинула взглядом двух европейцев.

— Записка у нее с собой? — спросил мистер Джойс.

— Да, сэр.

Не говоря ни слова, Кросби извлек пачку пятисотдолларовых банкнотов. Он отсчитал двадцать бумажек и вручил их Цисэну.

— Проверьте.

Клерк пересчитал их и отдал толстому китайцу.

— Все правильно, сэр.

Китаец еще раз пересчитал деньги и положил их в карман. Он опять сказал что-то женщине, и она вынула из-за пазухи записку. Она отдала ее Цисэну, тот прочел ее.

— Это подлинный документ, сэр, — сказал он и хотел было передать бумагу мистеру Джойсу, но Кросби взял ее у него из рук.

— Разрешите взглянуть, — сказал он.

Мистер Джойс смотрел на Кросби, пока тот не кончил читать, и затем протянул руку к записке.

— Дайте-ка ее мне.

Кросби бережно сложил листок и сунул в карман.

— Нет, пусть будет у меня. Она мне недешево досталась.

Мистер Джойс не стал спорить. Трое китайцев слышали этот краткий разговор, но что они о нем подумали, да и подумали ли что-либо вообще — сказать по их невозмутимым лицам было невозможно.

— Понадоблюсь ли я вам еще сегодня, сэр? — спросил Ван Цисэн.



— Нет.— Мистер Джойс знал, что клерк хочет остаться, чтобы получить свою долю, и обратился к Кросби:

— Вы готовы?

Кросби безмолвно встал. Китаец открыл дверь. Цисэн разыскал огарок свечи и зажег, чтобы осветить на лестнице, и оба китайца проводили их на улицу. Женщина, закулив паниросу, спокойно продолжала сидеть на кровати. На улице китайцы повернулись и вошли обратно в дом.

— Что вы намерены делать с запиской? — спросил мистер Джойс.

— Хранить.

Они подошли к ожидавшей их машине, и мистер Джойс предложил Кросби подвезти его. Кросби покачал головой.

— Я хочу пройтись.— Он нерешительно переступил с ноги на ногу.— Знаете, я в тот вечер уехал в Сингапур потому, что, кроме других дел, я еще хотел купить новое ружье: один знакомый продавал. Спокойной ночи.

И он быстро исчез в темноте.

В день суда все произошло именно так, как и предсказывал мистер Джойс. Присяжные явились в суд, твердо решив оправдать миссис Кросби. Она сама давала показания. Она говорила очень просто и искренне. Помощник прокурора был настроен доброжелательно и явно не получал удовольствия от своей роли. Он задавал необходимые вопросы чуть ли не виноватым тоном. Его обвинительная речь больше была похожа на защитительную, присяжным на обдумывание уже готового решения потребовалось менее пяти минут. Публика, до отказа набившая зал, встретила решение громом аплодисментов. Судья поздравил миссис Кросби, и она стала свободной.

Никто не высказывал более бурного негодования по поводу поведения Хэммонда, чем миссис Джойс; она была предана своим друзьям и настояла, чтобы супруги Кросби после суда поехали прямо к ней (как и все, она не сомневалась в исходе) и пожили у нее, пока не подготовятся к отъезду. Речи быть не могло о том, чтобы милая, отважная Лесли, бедняжка, вернулась к себе в бунгало, где стряслась эта жуткая трагедия. Суд окончился к половине первого. У Джойсов их ожидал грандиозный завтрак. Приготовили коктейли — миссис Джойс славилась своими коктейлями на всю Малайю, — и хозяйка предложила тост за здоровье Лесли. Миссис Джойс была очень живая, болтливая дама, и сегодня она была в ударе. Это было очень кстати, так как все прочие молчали. Она не усмотрела в этом ничего удивительного — муж ее вообще не был словоохотлив, а эти

двое безумно измучены, их так долго терзали. Во время завтрака она бойко и весело вела монолог. Потом подали кофе.

— Ну а теперь, детки,— жизнерадостно засуетилась она,— марш отдыхать, а после чая я повезу вас к морю.

Сам мистер Джойс, завтракавший дома лишь в виде исключения, должен был, конечно, вернуться в контору.

— Боюсь, я не смогу, миссис Джойс,— сказал Кросби.— Мне надо немедленно ехать к себе на плантацию.

— Как, сегодня? — воскликнула она.

— Да, сейчас же. Я очень давно там не был, все запустил, а дела не терпят. Буду очень признателен, если вы приотрите Лесли, пока мы решим, что делать.

Миссис Джойс собиралась возразить, но муж остановил ее.

— Раз нужно ехать — пусть едет, и не о чем спорить.

Что-то в голосе адвоката заставило ее быстро на него взглянуть. Она затихла, и наступила короткая пауза. Снова заговорил Кросби:

— Вы меня простите, я сейчас же в путь, чтобы на месте быть засветло.— Он встал из-за стола.— Проводишь меня, Лесли?

— Конечно.

Они вместе вышли из столовой.

— По-моему, он к ней недостаточно внимателен,— сказала миссис Джойс.— Должен же он понимать, что именно сейчас Лесли хочется побыть с ним.

— Я убежден, что без настоятельной необходимости он бы не поехал.

— Ну, я пойду взгляну, готова ли комната для Лесли. Ей нужен полный покой и уж потом, конечно, развлечения.

Миссис Джойс ушла, адвокат опять сел. Вскоре он услышал, как Кросби завел мотоцикл и с грохотом покатыл по гравию садовой дорожки. Мистер Джойс встал и прошел в гостиную. Миссис Кросби, вперив взор в пространство, стояла посреди комнаты, держа в руке развернутую записку. Ту самую записку. Глаза их встретились — она была смертельно бледна.

— Он знает,— прошептала она.

Мистер Джойс приблизился и взял у нее записку. Он зажег спичку и поднес к бумаге. Лесли смотрела, как записку охватывало пламя. Когда трудно стало держать бумагу в руке, он бросил ее на кафельный пол, и у них на глазах она съежилась и почернела. Тогда он наступил на нее и растер ногой золу.

— Что он знает?

Она посмотрела на него долгим-долгим взглядом, и в глазах ее появилось какое-то странное выражение. Что это, презрение или отчаяние? Мистер Джойс затруднился бы решить.

— Он знает, что Джеф был моим любовником.

Мистер Джойс не шелохнулся и не произнес ни звука.

— Он много лет был моим любовником. Он стал моим любовником почти сразу, как вернулся с войны. Мы понимали, что нужна осторожность. Когда это началось, я притворилась, что он мне надоел, и при Роберте он приезжал к нам редко. Обычно я ездила на машине в одно условленное место, и там мы встречались, это бывало раза два-три в неделю, а если Роберт был в Сингапуре, он приезжал ко мне поздно вечером, когда все слуги уходили к себе на ночь. Мы все время встречались, все эти годы, и ни одна душа ничего не подозревала. Но в последнее время, примерно с год, он стал другим. Я не понимала, что случилось. Я не могла поверить, что он меня разлюбил. Он все время это отрицал. Я сходила с ума. Устраивала ему сцены. Иногда мне казалось, что он меня ненавидит. Если бы вы только знали, какие муки я перенесла. Муки ада. Я видела, что не нужна ему больше, но я не могла его отпустить. Как я страдала! Я любила его. Я отдала ему все. В нем была вся моя жизнь. И вдруг до меня дошли слухи, что он живет с какой-то китайкой. Я не могла поверить. Я не хотела этому верить. Но потом я увидела ее, увидела собственными глазами, она шла по деревне в своих золотых браслетах и ожерельях, старая жирная китайка. Старше меня. Отвратительно! Все в поселке знали, что она его любовница. Когда я проходила мимо, она поглядела на меня, и я увидела — она знает, что я тоже его любовница. Я послала за ним. Я написала, что должна его видеть. Вы читали записку. Сумасшествие — написать такую записку. Я не соображала, что делаю. Мне было все равно. Я не видела его уже десять дней. Вечность. Когда мы расставались в последний раз, он обнял меня, поцеловал и сказал, чтобы я перестала себя истязать. И из моих объятий пошел прямо к ней.

Все это она говорила тихим, страстным голосом; на мгновение умолкнув, она заломила руки.

— Проклятая записка. Мы всегда были так осторожны. Он всегда уничтожал все мои письма, как только прочтет. Как могла я подумать, что эту записку он оставит? Он приехал, и я сказала, что знаю про китайку. Он не сознавался. Сказал, что это сплетни. Я вышла из себя. Не

помню, что я ему наговорила. Как я ненавидела его в ту минуту. Я готова была разорвать его на куски. Я говорила все, что могло причинить ему боль. Оскорбляла его. Чуть не плевала в лицо. И тогда он не выдержал. Он сказал, что я ему опротивела и он не желает больше меня видеть. Он сказал, что я надоела ему до смерти. И признался, что все про китаянку — правда. Он сказал, что познакомился с ней много лет назад, еще до войны, и что она единственная женщина, которая для него что-то значит, а все остальные — только для развлечения. Он сказал, что доволен: теперь я все узнала и наконец оставляю его в покое. Я просто не знаю, что было потом, — я взбесилась, себя не помнила. Я схватила револьвер и выстрелила. Он вскрикнул — значит, попала. Он покачнулся и побежал на веранду. Я — за ним и опять выстрелила. Он упал, а я стояла над ним и все стреляла, стреляла, пока не защелкал пустой барабан и я поняла, что кончились патроны.

Наконец она замолчала, тяжело дыша. Она потеряла человеческий облик, лицо ее исказилось от злобы, ярости и боли. Кто бы поверил, что эта спокойная, утонченная женщина способна на такую дьявольскую страсть. Мистер Джойс отпрянул. Вид ее привел его в ужас. То не было лицо человека — то была омерзительная маска. Из соседней комнаты послышался голос — громкий, дружелюбный, веселый. Голос миссис Джойс:

— Лесли, голубушка, идемте, ваша комната готова. Вы, наверное, падаете с ног от усталости.

Постепенно лицо миссис Кросби обрело обычное выражение. Черты, искаженные бушевавшими в ней страстями, разгладились, точно смятая бумажка, по которой провели рукой, и через минуту лицо это опять было чистым, спокойным и безмятежным. Она была немного бледна, но губы ее раздвинулись в приветливой, любезной улыбке. Вновь это была благовоспитанная светская женщина.

— Иду, милая Дороти. Мне так совестно, что я доставляю вам столько хлопот.

## САЛЬВАТОРЕ

Интересно, удастся ли мне это сделать.

Когда я впервые увидел Сальваторе, это был пятнадцатилетний мальчик, очень некрасивый, но с приятным лицом, смеющимся ртом и беззаботным взглядом. По утрам он лежал на берегу почти нагишом, и его загорелое тело было худым как щепка. Он был необычайно грациозен. То и дело он принимался нырять и плавать, рассекая воду угловатыми легкими взмахами, как все мальчишки-рыбаки. Он взбирался на острые скалы, цепляясь за них шершавыми пятками (ботинки он носил только по воскресеньям), и с радостным воплем бросался оттуда в воду. Отец его был рыбаком и имел небольшой виноградник, а Сальваторе приходилось возиться с двумя младшими братьями. Когда мальчики заплывали слишком далеко, он звал их обратно; когда наступало время скудного обеда, заставлял их одеваться, и они поднимались по горячему склону холма, покрытому виноградниками.

Но на юге мальчишки растут быстро, и вскоре он уже был безумно влюблен в хорошенькую девушку, которая жила на Гранде Марина. Глаза ее были подобны лесным озерам, и держалась она, как дочь Цезаря. Они обручились, но не могли пожениться, пока Сальваторе не отбудет срок военной службы, и когда он — первый раз в жизни — уезжал со своего острова, чтобы стать матросом во флоте короля Виктора-Эммануила, он плакал, как ребенок. Трудно было Сальваторе, привыкшему к вольной жизни птицы, подчиняться теперь любому приказу; еще труднее — жить на военном корабле с чужими людьми, а не в своем маленьком

белом домике среди виноградника; сходя на берег, бродить по шумным городам, где у него не было друзей и где на улицах была такая давка, что он даже боялся их переходить,— ведь он так привык к тихим тропинкам, горам и морю. Он, вероятно, и не представлял себе, что не может обойтись без Искьи — острова, на который он смотрел каждый вечер, чтобы определить, какая будет на следующий день погода (на закате этот остров был совершенно сказочным), — и жемчужного на заре Везувия; теперь, когда он их больше не видел, он смутно осознал, что они так же неотделимы от него, как любая часть его тела. Он мучительно тосковал по дому. Но труднее всего он переносил разлуку с девушкой, которую любил всем своим страстным молодым сердцем. Он писал ей детским почерком длинные, полные орфографических ошибок письма, в которых рассказывал, что все время о ней думает и мечтает о возвращении домой. Его посылали в разные места — в Специю, Бари, Венецию — и наконец отправили в Китай. Там он заболел загадочной болезнью, из-за которой его много месяцев продержали в госпитале. Он переносил это с немим терпением собаки, не понимающей, что происходит. Когда же он узнал, что болен ревматизмом и потому непригоден для дальнейшей службы, сердце его возликовало, так как теперь он мог вернуться домой; его совершенно не беспокоило, вернее, он даже почти и не слушал, когда врачи говорили, что он никогда не сможет полностью излечиться от этой болезни. Какое это имело значение — ведь он возвращался на свой маленький остров, который так любил, и к девушке, ждавшей его!

Когда Сальваторе сел в лодку, встречавшую пароход из Неаполя, и, подъезжая к берегу, увидел на пристани отца, мать и обоих братьев, уже больших мальчиков, он помахал им рукой. В толпе на берегу он искал глазами свою невесту. Но ее не было. Он взбежал по ступенькам, начались бесконечные поцелуи, и все они, эмоциональные создания, немало поплакали, радуясь встрече. Он спросил, где девушка. Мать ответила, что не знает: они не видели ее уже две или три недели. Вечером, когда луна светила над безмятежным морем, а вдали мерцали огни Неаполя, он спустился к Гранде Марина, к ее дому. Она сидела на крыльце вместе с матерью. Он немножко робел, так как давно ее не видел. Спросил, может быть, она не получила письма, в котором он сообщал о своем возвращении. Нет, письмо они получили, и один парень с их же острова рассказал им о его болезни. Именно поэтому он и вернулся;

разве ему не повезло? Да, но они слышали, что ему никогда полностью не выздороветь. Доктора болтали всякую чушь, но он-то хорошо знает, что теперь, дома, он поправится. Они помолчали немного, затем мать слегка подтолкнула дочь локтем. Девушка не стала церемониться. С грубой прямою итальянки она сразу сказала, что не пойдет за человека, недостаточно сильного, чтобы выполнять мужскую работу. Они уже все обсудили в семье, ее отец никогда не согласится на этот брак.

Когда Сальваторе вернулся домой, оказалось, что там уже и раньше всё знали. Отец девушки заходил предупредить о принятом решении, но у родителей Сальваторе не хватило духу рассказать ему это. Он плакал на груди у матери. Он был невероятно несчастен, но девушку не винил. Жизнь рыбака тяжела и требует силы и выносливости. Он прекрасно понимал, что девушке нельзя выйти замуж за человека, который, может быть, не сумеет ее прокормить. Он грустно улыбался, глаза у него были как у побитой собаки, но он не жаловался и не говорил ничего плохого про ту, которую так сильно любил. Через несколько месяцев, когда он уже обжился, втянулся в работу на отцовском винограднике и ходил на рыбную ловлю, мать сказала, что одна молодая женщина из их деревни не прочь выйти за него. Ее зовут Ассунта.

— Она страшна, как черт, — заметил он.

Ассунта была старше его, ей уже было лет двадцать пять, не меньше; жениха ее убили в Африке, где он отбывал военную службу. Она скопила немного денег и, если бы Сальваторе женился на ней, купила бы ему лодку; к тому же они могли бы арендовать виноградник, который, по счастливой случайности, пустовал в это время. Мать рассказала, что Ассунта видела его на престольном празднике и влюбилась в него. На губах Сальваторе появилась его обычная нежная улыбка, и он обещал подумать. В следующее воскресенье, облачившись в грубый черный костюм — в нем он выглядел намного хуже, чем в рваной рубаше и штанах, которые обычно носил, — он отправился в приходскую церковь к обедне и пристроился так, чтобы хорошенько разглядеть молодую женщину. Вернувшись, он сказал матери, что согласен.

Итак, они поженились и поселились в крошечном белом домике, приютившемся среди виноградника. Теперь Сальваторе был огромным, нескладным верзилой, он был высок и широкоплеч, но сохранил свою мальчишескую наивную улыбку и доверчивые ласковые глаза. Держался он с пора-

зительным благородством. У Ассунты были резкие черты и угрюмое выражение лица, и она выглядела старше своих лет. Но сердце у нее было доброе, и она была неглупа. Меня забавляла чуть заметная преданная улыбка, которой она дарила своего мужа, когда он вдруг начинал командовать и распоряжаться в доме; ее всегда умиляла его кротость и нежность. Но она терпеть не могла девушку, которая его отвергла, и, несмотря на добродушные увещевания Сальваторе, поносила ее последними словами.

У них пошли дети. Жизнь была трудная. В течение всего сезона Сальваторе вместе с одним из своих братьев каждый вечер отправлялся к месту лова. Чтобы добраться туда, они шли на веслах не меньше шести или семи миль, и Сальваторе проводил там все ночи за ловлей каракатицы, выгодной для продажи. Потом начинался долгий обратный путь: надо было успеть продать улов, чтобы первым парходом его увезли в Неаполь. Иногда Сальваторе трудился на винограднике — с раннего утра до тех пор, пока жара не загоняла его на отдых, а затем, когда становилось немного прохладнее, — дотемна. Случалось и так, что ревматизм не давал ему работать, и тогда он валялся на берегу, покуривая сигареты, и всегда у него находилось для всех доброе словечко, несмотря на терзавшую его боль. Иностранцы, приходившие купаться, говорили при виде его, что итальянские рыбаки — ужасные лодыри.

Иногда он приносил к морю своих ребятишек, чтобы выкупать их. У него было два мальчика, и в то время старшему было три года, а младшему не исполнилось и двух лет. Они ползали нагишом по берегу, и время от времени Сальваторе, стоя на камне, окунал их в воду. Старший переносил это стоически, но малыш отчаянно ревел. Руки у Сальваторе были огромные, каждая величиной с окорок, они были жестки и огрубели от постоянной работы; но когда он купал своих детей, он так осторожно держал их и так заботливо вытирал, что, честное слово, руки его становились нежными, как цветы. Посадив голого мальчугана на ладонь, он высоко поднимал его, смеясь тому, что ребенок такой крошечный, и смех его был подобен смеху ангела. В такие минуты глаза его были так же чисты, как глаза ребенка.

Я начал рассказ словами: интересно, удастся ли мне это сделать, и теперь я должен сказать, что именно я пытался сделать. Мне было интересно, смогу ли я завладеть вашим вниманием на несколько минут, пока я нарисую для вас портрет человека, простого итальянского рыбака,



у которого за душой не было ничего, кроме редчайшего, самого ценного и прекрасного дара, каким только может обладать человек. Одному Богу известно, по какой странной случайности этот дар был ниспослан именно Сальваторе. Лично я знаю одно: Сальваторе с открытым сердцем нес его людям, но, если бы он это делал не так неосознанно и скромно, многим наверняка было бы трудно его принять. Если вы не догадались, что это за дар, я скажу вам: доброта, просто доброта.

---

## НА ОКРАИНЕ ИМПЕРИИ

Новый помощник прибыл после полудня. Когда мистеру Уорбертону, резиденту, доложили, что прау<sup>1</sup> уже видна, он надел тропический шлем и спустился к реке. Почетный караул — восемь малорослых солдат-даяков — вытянулся в струнку при его появлении. Резидент с удовольствием отметил про себя, что вид у солдат бравый, мундиры опрятны и впору, а оружие так и сверкает. Да, ему есть чем гордиться. Стоя на пристани, он не спускал глаз с поворота реки, из-за которого через минуту стремительно вылетит лодка. В белоснежном полотняном костюме, в белых туфлях он выглядел безукоризненно. Под мышкой он держал пальмовую трость с золотым набалдашником — подарок султана, правителя Перака. Он ждал с двойственным чувством. Конечно, одному человеку не под силу управляться со всеми делами округа, а всякий раз, когда он совершает очередной объезд вверенного ему края, приходится оставлять резиденцию на попечение служащего-туземца, и это очень неудобно; но он слишком долго был здесь единственным белым, и приезд другого белого пробуждал в его душе невольные опасения. Он привык к одиночеству. Во время войны он три года не видел ни одного соотечественника; однажды его предупредили, что к нему приедет специалист по лесоводству, и предстоящая встреча с чужим человеком напугала его до крайности; он распорядился, чтобы приезжего приняли и устроили наилучшим образом, оставил записку, объясняя, что дела вынуждают его отлучиться, — и сбежал; вернулся он лишь после того, как его известили с нарочным, что гость уехал.

---

<sup>1</sup> Прау — малайская лодка.

И вот в том месте, где река изогнулась широкой дугой, показалась прау. На веслах сидели арестанты-даяки, приговоренные к различным срокам заключения; двое конвойных ждали их на пристани, чтобы опять отвести в тюрьму. Даяки, крепкие молодцы, с детства привычные к реке, размеренно и сильно взмахивали веслами. Когда лодка подошла к берегу, из-под навеса на корме поднялся человек и шагнул на пристань. Солдаты взяли на караул.

— Наконец-то приехали! Фу, черт, насилу разогнулся. Я привез вам почту.

Вновь прибывший говорил бойко, весело. Уорбертон учтиво протянул руку:

— Мистер Купер, я полагаю?

— Ну конечно. А вы ждали кого-нибудь еще?

Он, должно быть, шутил, но резидент не улыбнулся.

— Моя фамилия Уорбертон. Пойдемте, я покажу вам, где вы будете жить. Ваши вещи туда принесут.

Он пошел впереди Купера по узкой тропинке, и вскоре они оказались на огороженном участке, перед небольшим бунгало.

— Я велел, насколько возможно, привести этот дом в порядок, но, конечно, чувствуется, что он много лет пустовал.

Дом был построен на сваях. Он состоял из длинной столовой, выходящей на широкую веранду, и двух спален в глубине, разделенных коридором.

— Подходяще, — сказал Купер.

— Очевидно, вы хотите принять ванну и переодеться. Буду очень польщен, если вы сегодня отобедаете у меня. В восемь часов вам будет удобно?

— Мне во всякий час удобно.

Резидент ответил любезной, но несколько растерянной улыбкой и откланялся. Он возвратился к себе в форт. Аллан Купер произвел на него не слишком благоприятное впечатление, но мистер Уорбертон был человек справедливый и понимал, что не следует судить столь поспешно. Много ли узнаешь с одного взгляда? На вид Куперу лет тридцать. Он высок, худощав, лицо изжелта-бледное, без румянца. Оно словно все окрашено одной краской. Большой ястребиный нос, карие глаза. Когда, войдя в дом, он снял шлем и швырнул его слуге, Уорбертон подумал, что такая крупная голова с коротко остриженными каштановыми волосами как-то не очень гармонирует с безвольным подбородком. На Купере были шорты и рубашка хаки, потрепанные и в пятнах, помятый шлем давным-давно не чищен. Впрочем, подумал

мистер Уорбертон, ведь молодой человек провел неделю на каботажном пароходишке, а последние двое суток пролежал на дне прау.

— Посмотрим, в каком виде он явится к обеду.

Мистер Уорбертон прошел в свою комнату, где все уже было для него приготовлено с такой тщательностью, как будто ему служил лакей-англичанин, разделся, спустился по лестнице в душ и облился холодной водой. Климату мистер Уорбертон делал одну-единственную уступку — надевал к обеду белый смокинг, в остальном же он одевался так, словно обедал в своем клубе на Пэл-Мэл: крахмальная сорочка, стоячий воротничок, шелковые носки, лакированные туфли. Рачительный хозяин, он заглянул в столовую и убедился, что там все в идеальном порядке. На столе — яркие орхидеи, серебро ослепительно сверкает. Искусно сложены салфетки. Свечи под колпачками, в серебряных подсвечниках, льют мягкий, приятный свет. Мистер Уорбертон одобрительно улыбнулся и, возвратясь в гостиную, стал ждать. Вскоре явился и гость. На нем были шорты, рубашка хаки и потрепанная куртка — тот самый наряд, в котором он вышел сегодня из лодки. Приветливая улыбка застыла на губах Уорбертона.

— Ого, каким вы франтом! — воскликнул Купер. — Я и не знал, что вы переоденетесь к обеду. Чуть было не заявился к вам в саронге<sup>1</sup>.

— Это не имеет значения. Я понимаю, у ваших слуг сейчас много дела.

— Из-за меня, знаете, вы могли и не утруждать себя.

— Я и не утруждал себя из-за вас. Я всегда переодеваюсь к обеду.

— Даже когда обедаете один?

— В особенности когда обедаю один, — ледяным тоном ответил Уорбертон.

Он заметил насмешливые искорки в глазах Купера, и кровь бросилась ему в лицо. Мистер Уорбертон был вспыльчив, вы тотчас угадали бы это по красному воинственному лицу, по рыжим, теперь уже седеющим волосам; голубые глаза его, обычно холодные и пронизательные, метали молнии, когда его охватывал приступ бешенства; но он был человек светский и, как сам полагал, справедливый. Он должен сделать все возможное, чтобы поладить с этим субъектом.

---

<sup>1</sup> Саронг — национальная мужская и женская одежда малайцев, вид юбки.

— В бытность мою в Лондоне я вращался в кругах, где переодеваться к обеду так же естественно, как принимать ванну каждое утро, иначе вас сочтут просто чужаком. И, приехав на Борнео, я не видел причины изменить этому прекрасному обычаю. Во время войны я три года не видел ни одного белого. Но не было случая, чтобы я не переоделся к обеду,— разве что был болен и вообще не обедал. Вы еще новичок в здешних краях; поверьте мне, это наилучший способ сохранить чувство собственного достоинства. Когда белый человек хоть в малой мере поддается влиянию окружающей среды, он быстро теряет уважение к себе, а коль скоро он перестанет сам уважать себя, можете быть уверены, что и туземцы очень быстро перестанут его уважать.

— Ну, если вы воображаете, что я в такую жару влезу в крахмальную рубашку и стоячий воротничок, так вы сильно ошибаетесь.

— Когда вы обедаете у себя дома, вы, разумеется, вольны одеваться как вам угодно, но в тех случаях, когда вы делаете мне честь обедать у меня, быть может, вы хотя бы из вежливости станете одеваться так, как это принято в цивилизованном обществе.

Вошли два боя-малайца в саронгах и щеголеватых белых куртках с медными пуговицами; один нес коктейли, другой — поднос с маслинами и анчоусами. Затем гость и хозяин перешли в столовую. Мистер Уорбертон гордился тем, что его повар-китаец — лучший повар на всем острове, и всячески старался, чтобы стол у него был образцовый, насколько это возможно в такой глуши. Китаец не жалел труда, изобретая самые тонкие яства, какие можно приготовить из доступных здесь продуктов.

— Не хотите ли посмотреть меню? — спросил мистер Уорбертон, передавая листок Куперу.

Меню было написано по-французски, у всех блюд — звучные, торжественные названия. За столом прислуживали те же два боя. Два других, стоя в противоположных углах столовой, огромными опахалами приводили в движение знойный воздух. Трапеза была великолепная, шампанское — выше всяких похвал.

— И вы каждый день так едите? — спросил Купер.

Уорбертон бросил небрежный взгляд на меню.

— По-моему, обед сегодня такой же, как всегда. Сам я ем очень мало, но поставил за правило, чтобы мне каждый день подавали приличный обед. Это весьма полезно: и для повара практика, и слуги приучены к порядку.

Поддерживать разговор было нелегко. Мистер Уорбертон был изысканно любезен и, может быть, чуточку злорадствовал,— его забавляло, что такая учтивость сбивает собеседника с толку. Купер пробыл в Сембулу всего несколько месяцев и почти ничего не мог рассказать Уорбертону о его знакомых в Куала-Солор.

— Кстати,— спросил Уорбертон,— вы не встречались с неким Хенерли? Он, по-моему, недавно приехал.

— Как же, знаю. Он служит в полиции. Ужасный хам.

— А мне кажется, он должен быть прекрасно воспитан. Он приходится племянником моему другу лорду Бараклафу. Только на днях я получил письмо от леди Бараклаф с просьбой повидать его.

— Да, я слышал, что он кому-то там родня. Наверно, потому и место получил. Он учится в Итоне и Оксфорде и хвастается этим на каждом шагу.

— Вы меня удивляете,— сказал мистер Уорбертон.— Все молодые люди из его рода учатся в Итоне и Оксфорде уже на протяжении нескольких веков. Я думаю, он не видит в этом ничего необыкновенного.

— По-моему, он самодовольный болван.

— А вы какую школу окончили?

— Я родился на Барбадосе. Там и учился.

— Ах, вот как.

Уорбертон ухитрился произнести это короткое замечание таким обидным тоном, что Купер весь вспыхнул. Он молчал, не находя ответа.

— Я получил несколько писем из Куала-Солор,— продолжал Уорбертон,— и у меня создалось впечатление, что молодой Хенерли пользуется там большим успехом. Говорят, он первоклассный спортсмен.

— Ну еще бы, он личность известная. Они там, в Куала-Солор, таких обожают. А я лично не вижу в первоклассных спортсменах никакого толку. Играет человек в гольф и в теннис лучше других — а что с того в конечном-то счете? Что за важность, если он ловко разбивает пирамидку на бильярде? В Англии больно много значения придают всей этой чепухе.

— Вы так полагаете? А мне всегда казалось, что первоклассные спортсмены во время войны показали себя ничуть не хуже других.

— Ну, уж если вы завели речь о войне, так тут я знаю, о чем говорю. Я был с этим Хенерли в одном полку, и можете мне поверить, люди его терпеть не могли.

— Откуда вы знаете?

— Я сам был у него под началом.

— А, так, значит, вы не дослужились до офицера?

— Черта с два я мог дослужиться. Я ведь уроженец колоний, так это называется. Я не учился в привилегированной школе, и у меня нет связей. Вот и проторчал всю эту океанную войну рядовым.

Купер нахмурился. Ему, видно, стоило немалого труда сдержаться и не разразиться бранью. Мистер Уорбертон изучал его, прищутив свои небольшие светлые глаза, изучал — и составил окончательное о нем суждение. Переменив тему, он заговорил о новых обязанностях Купера и, едва часы пробили десять, поднялся.

— Что ж, не смею больше вас задерживать. Вы, вероятно, устали с дороги.

Они обменялись рукопожатием.

— Да, вот еще что, — сказал Купер. — Может быть, вы поможете мне найти боя? Мой прежний слуга исчез, когда я уезжал из Куала-Солор. Погрузил мои вещи в лодку и больше не показывался. Я и не знал, что его нет, пока мы не отплыли.

— Я спрошу своего старшего боя. Без сомнения, он вам кого-нибудь подыщет.

— Вот и хорошо. Вы ему просто скажите, пускай пришлет парня ко мне, я на него погляжу и, если понравится, возьму.

Светила луна, и в фонаре не было нужды. Купер направился через форт к своему бунгало.

«Понять не могу, почему мне прислали этого субъекта? — недоумевал мистер Уорбертон. — Неужели нельзя было найти кого-нибудь получше? Люди этого сорта не многого стоят».

Он прошел в сад. Форт стоял на вершине холма, а сад спускался к самой реке; здесь, на берегу, в зеленой тенистой беседке, Уорбертон любил выкурить послеобеденную сигару. И нередко с реки, текущей у его ног, слышался человеческий голос — голос какого-нибудь робкого малайца, который не осмелился бы прийти к нему при свете дня, — и слух резидента ловил произнесенную шепотом жалобу или обвинение, весть или намек; все это могло ему очень и очень пригодиться, но никогда он не узнал бы этого официальными путями. Он тяжело опустился в плетеный шезлонг. Этот Купер! Завистливый, дурно воспитанный мальчишка, заносчивый, самоуверенный и тщеславный... Но тихий вечер был так хорош, что досада мистера Уорбертона быстро улеглась. Воздух напоен был сладостным ароматом — это

цвело дерево, росшее у входа в беседку,— и в сумерках неторопливо пролетали светлячки, будто мерцающие серебристые искры. По речной глади месяц разостлал светлую дорожку для легконогой возлюбленной бога Шивы, тонко вычерчены в небе силуэты пальм, растущих на том берегу. Мир и покой снизошли в душу мистера Уорбертона.

Странный он был человек и жизнь прожил необычную. В двадцать один год он получил солидное наследство, сто тысяч фунтов, и, окончив Оксфорд, предался развлечениям, какие в то время (мистеру Уорбертону недавно минуло пятьдесят четыре) были к услугам молодого человека из хорошей семьи. У него была квартира на Маунт-стрит, кабриолет, охотничий домик в Уорикшире. Он бывал повсюду, где собирались сливки общества. Красивый, щедрый, занимательный собеседник, он был заметной фигурой в лондонском свете начала девяностых годов — лондонский свет тогда еще не утратил своего блеска и был доступен лишь для избранных. Об англо-бурской войне, которая нанесла ему первый удар, никто еще и не помышлял; мировую войну, его сокрушившую, предрекали одни только заядлые пессимисты. В ту пору роль богатого молодого человека была весьма приятна, и в разгар лондонского сезона каминная доска мистера Уорбертона была завалена приглашениями на званые обеды, балы и вечера. Мистер Уорбертон с удовольствием выставлял их напоказ. Ибо мистер Уорбертон был сноб. Не робкий, застенчивый сноб, которого и самого несколько смущает почтение, испытываемое им к тем, кто стоит выше его; не тот сноб, что добивается близости известных политических деятелей или знаменитостей из мира искусства, и не тот, которого ослепляет богатство,— нет, он был самый обыкновенный, наивный, чистейшей воды сноб, с обожанием взирающий на всякую титулованную особу. Самолюбивый и вспыльчивый, он, однако, предпочитал насмешку лорда лести простого смертного. Его имя упоминалось мельком в «Книге пэров» Бэрка, и любопытно было наблюдать, как ловко умудрялся он в разговоре вернуть словечко о своей косвенной принадлежности к знатному роду; но ни разу ни словом он не обмолвился о добропорядочном ливерпульском фабриканте, от которого через свою мать, урожденную мисс Габбинс, унаследовал свое состояние. Он постоянно терзался страхом, как бы кто-нибудь из его ливерпульских родственников не заговорил с ним на регате в Каусе или на скачках



в Аскоте в ту минуту, когда он будет беседовать с какой-нибудь герцогиней или даже с принцем крови.

Его слабость была столь явной, что быстро стала известна всем и каждому, но этот откровенный снобизм был чересчур нелеп, чтобы вызвать одно лишь презрение. Великие люди, перед которыми он преклонялся, смеялись над ним, однако в глубине души считали это преклонение естественным. Бедняга Уорбертон, конечно, был ужасный сноб, но, в общем, славный малый. Он всегда рад был уплатить по счету за благородного пэра без гроша в кармане, и, оказавшись на мели, вы наверняка могли перехватить у него сотню фунтов. Он угощал отличными обедами. В вист играл плохо, но не горевал о проигрыше, лишь бы партнеры принадлежали к избранным мира сего. Он был страстный игрок по натуре, и притом игрок неудачливый, но он умел проигрывать, и нельзя было не восхищаться хладнокровием, с каким он за один присест выкладывал пятьсот фунтов. Страсть к картам была в нем почти так же сильна, как страсть к титулам, и она-то и привела его к гибели. Он жил на широкую ногу, проигрывал огромные деньги. А играл он все азартнее, увлекся скачками, потом биржей. Он был в какой-то мере простодушен и оказался легкой добычей для иных беззастенчивых хищников. Не знаю, понимал ли он, что его великосветские друзья смеются над ним за его спиной; но, мне кажется, чуть подсказывало ему, что он не должен и виду подавать, будто знает счет деньгам. Он попал в лапы ростовщиков. В тридцать четыре года он был разорен.

До мозга костей проникшийся духом своего класса, он не стал колебаться и раздумывать. Когда человек его круга промотает все свои деньги, ему остается одно: уехать в колонию. Никто не слышал, чтобы Уорбертон возроптал на судьбу. Он не жаловался на то, что некий высокородный приятель посоветовал ему пуститься в рискованную спекуляцию, не стал спрашивать денег с тех, кому давал займы; он уплатил свои долги (знал бы он, что это в нем заговорила презренная кровь ливерпульского фабриканта!) и ни у кого не просил помощи. Он, доньше не ударивший палец о палец, стал искать способа зарабатывать на жизнь. При этом он по-прежнему был весел, беззаботен, всегда в духе. Он вовсе не желал портить людям настроение рассказами о своей беде. Мистер Уорбертон был сноб, но притом он был еще и настоящий джентльмен.

Лишь об одном одолжении попросил он своих высокопоставленных друзей, с которыми водил знакомство долгие

годы: о рекомендательных письмах. Тогдашний султан Сембулу, человек неглупый, взял его на службу. Вечером, в канун отплытия из Англии, он последний раз обедал в своем клубе.

— Я слышал, вы уезжаете, Уорбертон? — спросил его старый герцог Хэрифорд.

— Да, еду на Борнео.

— Боже милостивый, что это вам вздумалось?

— Просто я разорен.

— Вот как? Жаль. Ну что ж, дайте нам знать, когда вернетесь. Надеюсь, вы неплохо проведете время.

— О да. Там, знаете, отличная охота.

Герцог кивнул ему и прошел мимо. Спустя несколько часов мистер Уорбертон с борта корабля следил, как тают в тумане берега Англии и с ними все, ради чего, по его понятиям, стоило жить на свете.

С тех пор прошло двадцать лет. Он вел оживленную переписку со многими знатными дамами, и письма его были веселы и занимательны. Он по-прежнему питал пристрастие к титулованным особам и внимательно следил за каждым их шагом по светской хронике в «Таймс» (лондонские газеты доходили к нему через полтора месяца). Он прочитывал все сообщения о рождениях, смертях и свадьбах и спешил письмом поздравить или же выразить соболезнование. По иллюстрированным изданиям он знал, как меняются лица и моды, и, наезжая время от времени в Англию, всякий раз мог возобновить старые связи, точно они и не прерывались, и вполне осведомлен был о каждом новом человеке, который за последнее время оказался на виду. Высший свет влек его ничуть не меньше, чем в ту пору, когда он и сам был туда вхож. И ему по-прежнему казалось, что в мире нет ничего важнее.

Но мало-помалу нечто новое вошло в его жизнь. Пост, который он теперь занимал, тешил его тщеславие; он уже не был жалким льстецом, жаждущим улыбки великих мира сего, он был господин и повелитель, чье слово — закон. Ему приятно было, что у него есть личная охрана из солдат-даяков и они берут на караул при его появлении. Ему нравилось вершить судьбы своих ближних. Приятно было улаживать раздоры между вождями враждующих племен. В давние времена, когда немало хлопот доставляли охотники за черепами, он сам взялся примерно их наказывать и был весьма горд тем, что во время этой экспедиции вел себя очень недурно. Крайне тщеславный, он не мог не быть отважным, и его дерзкое хладнокровие стало притчей во

языцех: рассказывали, что он один явился в укрепленное селение, где засел кровожадный пират, и потребовал, чтобы тот сдался. Он стал умелым правителем. Он был строг, справедлив и честен.

И понемногу он искренне привязался к малайцам. Его занимали их нравы и обычаи. Он никогда не уставал их слушать. Он восхищался их достоинствами и, с улыбкой пожимая плечами, прощал их грехи.

— В былые времена, — говаривал он, — узы дружбы связывали меня со многими знатнейшими людьми Англии, но никогда я не встречал более безупречных джентльменов, чем иные малайцы хорошего рода, которых я с гордостью могу назвать моими друзьями.

Ему нравились их учтивость и умение себя держать, их кротость и внезапные вспышки страстей. Безошибочное чутье подсказывало ему, как с ними обращаться. Он питал к ним неподдельную нежность. Однако ни на минуту не забывал, что сам он — англичанин и джентльмен, и не прощал тем белым, которые позволяли себе перенимать туземные обычаи. Он не шел ни на какие уступки. Он не последовал примеру многих и многих белых, берущих в жены туземок, ибо интрижки подобного рода, хотя и освященные обычаем, казались ему не только скандальными, но несовместимыми с достоинством настоящего джентльмена. Человек, которого сам Альберт-Эдуард, принц Уэльский, называл просто по имени, разумеется, не вступит в связь с туземкой. И теперь, возвращаясь на Борнео из своих поездок в Англию, он испытывал что-то похожее на облегчение. Его друзья, как и сам он, были уже не молоды, а новое поколение видело в нем просто докучливого старика. Нынешняя Англия, казалось ему, утратила многое из того, что было ему дорого в Англии его юности. А вот Борнео не меняется. Здесь теперь его родной дом. Он останется на своем посту как можно дольше. В глубине души он надеялся, что не доживет до того времени, когда придется подать в отставку. В своем завещании он написал, что, где бы ни пришлось ему умереть, он желает, чтобы прах его перевезли в Сембулу и похоронили среди народа, который он полюбил, на берегу, куда доносится мягкий плеск реки.

Но эти свои чувства он тщательно скрывал, и, глядя на него, полного, коренастого, одетого франтом, на его бритое энергичное лицо и седеющие волосы, никто не заподозрил бы, что он таит в душе столь глубокую и нежную привязанность.

Мистер Уорбертон досконально разобрался в том, как надлежит вести дела, и в первые дни не спускал глаз с нового помощника. Очень скоро он убедился, что Купер — работник дельный и старательный. Лишь одно можно было поставить ему в укор: он грубо обращался с туземцами.

— Малайцы робки и крайне чувствительны, — сказал ему Уорбертон. — Старайтесь обходиться с ними всегда вежливо, с терпением и кротостью, и вы скоро увидите, что это наилучший способ чего-либо от них добиться.

Купер коротко, резко рассмеялся.

— Я родился на Барбадосе, воевал в Африке. Надо думать, негров я знаю неплохо.

— Я их совсем не знаю, — сухо заметил мистер Уорбертон. — Но мы не о неграх говорим. Речь идет о малайцах.

— Да какая разница!

— Вы очень невежественны, — сказал мистер Уорбертон.

На том разговор и кончился.

В первое же воскресенье мистер Уорбертон позвал Купера обедать. Он всегда строго соблюдал этикет, и хотя они виделись накануне в канцелярии и потом, в шесть часов, вместе пили джин на веранде форта, он отправил боя через дорогу с церемонным письменным приглашением. Купер, правда без особой охоты, облачился в смокинг; мистер Уорбертон, хоть и довольный тем, что его желание исполнено, поглядел на молодого человека с тайным презрением: костюм плохо шит, сорочка сидит нескладно. Однако в этот вечер он был в духе.

— Кстати, — сказал он гостю, — я говорил с моим старшим боем о том, чтобы подыскать вам слугу, и он рекомендует своего племянника. Я его видел, он производит впечатление смышленного и старательного юноши. Хотите на него взглянуть?

— Можно.

— Он здесь дожидается.

Мистер Уорбертон позвал старшего боя и велел ему прислать племянника. Через минуту появился высокий, стройный малаец лет двадцати. У него были большие темные глаза и точеный профиль. Саронг, короткая белая куртка, бархатная цвета спелой сливы феска без кисточки — все на нем было опрятно и к лицу. Звался он Аббасом. Мистер Уорбертон посмотрел на него одобритительно, взгляд и голос его невольно смягчились, когда он обратился к юноше; по-малайски он говорил легко и свободно. С белыми мистер Уорбертон часто бывал язвителен, но

в его обращении с малайцами счастливо сочетались снисходительность и дружелюбие. Он был здесь царь и бог. Но он умел, не роняя собственного достоинства, в то же время не подавлять туземцев своим величием.

— Подходит вам этот юноша? — спросил он Купера.

— Что ж, наверно, он не больший негодяй, чем все прочие.

Мистер Уорбертон объявил малайцу, что его наняли, и отпустил.

— Вам очень повезло, — заметил он Куперу. — Юноша из прекрасной семьи. Они переселились сюда из Малакки чуть ли не сто лет тому назад.

— Ну, знаете, его дело чистить мне башмаки и подать напиток, а течет в его жилах голубая кровь или еще какая-нибудь — это меня мало интересует. Мне надо, чтоб он делал, что ему велено, да поживее.

Мистер Уорбертон поджал губы, но не сказал ни слова.

Они прошли в столовую. Обед был превосходный, вино отличное. Скоро оно подействовало на обоих, и они стали беседовать не только без колкостей, но даже дружелюбно. Мистер Уорбертон любил жить в свое удовольствие, а воскресные вечера имел обыкновение проводить еще приятнее, чем будни. Он подумал, что, пожалуй, был не совсем справедлив к Куперу. Разумеется, Купер не джентльмен, но ведь это не его вина, а если узнать его поближе, может быть, он окажется славным малым. Пожалуй, все его недостатки — плод дурного воспитания. И работник он, безусловно, расторопный, добросовестный, на него можно положиться. К тому времени, как подали десерт, мистер Уорбертон преисполнился благожелательности ко всему роду человеческому.

— Сегодня первое ваше воскресенье на новом месте, и я хочу угостить вас стаканчиком совсем особенного портвейна. У меня осталось всего около двух дюжин, я берегу его для торжественных случаев.

Он отдал распоряжение, и вскоре принесли бутылку. Мистер Уорбертон следил за тем, как бой ее раскупоривал.

— Я получил его от моего старого друга Чарлза Холлингтона. У него этот портвейн хранился сорок лет, и у меня он тоже хранится уже долгие годы. Винный погреб Чарлза Холлингтона считается лучшим во всей Англии.

— Он что, торгует вином?

— Не совсем, — улыбнулся мистер Уорбертон. — Я говорю о лорде Холлингтоне из Каслрэя. Он один из самых богатых английских пэров. Мой старинный друг. Я учился в Итоне с его братом.

Подобного случая мистер Уорбертон никак не мог упустить, и он рассказал анекдот, вся соль которого, кажется, заключалась только в том, что он, Уорбертон, знаком был с одним графом. Портвейн и вправду был превосходный; мистер Уорбертон выпил стаканчик, потом другой. Он утратил всякую осмотрительность. Много месяцев не приходилось ему говорить с англичанином. Он пустился в воспоминания. Да, когда-то он был своим человеком среди великих людей. Слушая его, можно было подумать, что стоило ему в ту пору шепнуть словечко на ушко герцогине или в застольной беседе бросить намек ближайшему советнику монарха — и по его подсказке послушно меняли состав кабинета и принимали важнейшие политические решения. Далекие дни Аскота, Гудвуда и Кауса ожили в его памяти. В Йоркшире и в Шотландии каждый год устраивались грандиозные приемы — и он бывал там постоянным гостем.

— У меня служил тогда некий Формен — лучшего лакея я не видывал, — и, как по-вашему, из-за чего он взял расчет? Вы ведь знаете, за столом у мажордома горничные и лакеи сидят по старшинству, согласно рангу их господ. И он заявил мне, что ему надоело ездить на балы и званые обеды, где я — единственный человек без титула. Из-за этого он всегда должен сидеть в самом конце стола, и, пока блюдо дойдет до него, все лучшие куски уже разобраны. Я рассказал об этом герцогу Хэрифорду, и он очень смеялся. «Ей-богу, сэр, — сказал он, — будь я король Англии, я сделал бы вас виконтом только для того, чтобы удружить вашему лакею». — «Возьмите его к себе, герцог, — сказал я. — У меня за всю жизнь не было лучшего слуги». — «Отлично, Уорбертон, — ответил герцог. — Если он подходит вам, значит, подойдет и мне. Пришлите его».

Далее последовал рассказ о Монте-Карло, где мистер Уорбертон вместе с великим князем Федором однажды сорвал банк, а затем — о Мариенбаде. В Мариенбаде мистер Уорбертон играл в баккара с Эдуардом VII.

— Тогда он, разумеется, был еще только принцем Уэльским. Помню, он сказал мне: «Джордж, если вы прикупите к пятерке, вы спустите все до нитки». И он был прав; я думаю, он за всю свою жизнь не сказал ничего более справедливого. Удивительный это был человек. Я всегда говорил, что он величайший дипломат Европы. Но я тогда был молод и глуп, у меня не хватило ума последовать его совету. Послушайся я его, не прикупи я тогда к пятерке, я не сидел бы сейчас здесь.

Купер внимательно слушал. Его карие, глубоко посаженные глаза смотрели жестко и презрительно, губы насмешливо кривились. В Куала-Солор он наслушался рассказов об Уорбертоне. Неплохой малый, говорили про него, и порядок в своем округе навел образцовый, но, Господи, какой сноб! Над ним беззлобно посмеивались — трудно судить строго человека столь щедрого и доброжелательного, — и Купер уже раньше слышал историю о принце Уэльском и об игре в баккара. Но сейчас она не показалась ему занятой. С самого начала его задело поведение резидента. Он был очень самолюбив, и его передергивало от вежливых колкостей мистера Уорбертона. У мистера Уорбертона был особый дар: на слова, которых он не одобрял, отвечать убийственным молчанием. Купер жил в Англии очень недолго и до крайности невзлюбил англичан. Пуще всего он не терпел питомцев привилегированных школ, так как всегда боялся, что они будут смотреть на него свысока. От страха, как бы другие не стали задирать перед ним нос, от желания опередить их, он сам уж до того задирал нос, что все считали его нестерпимо самонадеянным.

— Ну, как ни верти, а в одном отношении война пошла нам на пользу, — сказал он наконец. — Она сокрушила власть аристократии. Бурская война уложила ее в гроб, а четырнадцатый год заколотил крышку.

— Лучшие семейства Англии обречены, — меланхолически произнес мистер Уорбертон, точно эмигрант, вздыхающий о дворе Людовика XV. — Им уже не по средствам жить в своих великолепных дворцах, и их княжеское гостеприимство скоро отойдет в область преданий.

— Туда ему и дорога!

— Мой бедный Купер, что можете вы об этом знать? Что вам «былая слава Греции и Рима блеск былой»?

Мистер Уорбертон широко повел рукою. Глаза его на мгновение затуманились — он созерцал невозвратное прошлое.

— Ну, знаете, мы по горло сыты этой чепухой. Что нам нужно, так это дельное правительство с дельными людьми во главе. Я родился в колонии, в колониях провел чуть не всю жизнь. За ваших высокородных лордов я гроша ломаного не дам. Главная беда Англии — снобизм. А для меня самое ненавистное существо на свете — сноб.

Сноб! Мистер Уорбертон побагровел, глаза его гневно вспыхнули. Всю жизнь его преследовало это слово. Знатные леди, знакомство с которыми так льстило ему в молодости, благосклонно принимали его восхищение, но даже и знат-

ные леди бывают порою не в духе — и не раз мистеру Уорбертону бросали в лицо это ненавистное словечко. Он знал, он не мог не знать, что есть такие ужасные люди, которые называют его снобом. Какая несправедливость! Да ведь, на его взгляд, нет греха отвратительней снобизма! В конце концов, просто ему приятно общаться с людьми своего круга, лишь среди них он чувствует себя как дома — какой же это снобизм, скажите на милость?! Родство душ...

— Совершенно с вами согласен, — сказал он Куперу. — Сноб — это человек, который восхищается другими или презирает их только за то, что они занимают в обществе более высокое положение, чем он сам. Это вульгарнейшая черта английского буржуа.

Глаза Купера насмешливо блеснули. Он ухмыльнулся и прикрыл рот ладонью, отчего эта широкая усмешка стала еще заметнее. У мистера Уорбертона задрожали руки.

Вероятно, Купер так и не понял, как глубоко он оскорбил своего начальника. Сам очень уязвимый и обидчивый, он был до странности глух к чужим обидам.

Они вынуждены были двадцать раз на дню встречаться для коротких деловых разговоров, а в шесть часов вместе выпивали по стаканчику на веранде у мистера Уорбертона. То был испокон веков заведенный в этих краях обычай, и мистер Уорбертон ни за что не желал его нарушить. Но обедали они врозь: Купер — у себя в бунгало, Уорбертон — в форте. Закончив дневную работу, оба любили пройтись, пока не стемнело, но и гуляли они врозь. Тропинки были наперечет, джунгли со всех сторон обступали селение и плантации, и, узнав издали размашистую походку своего помощника, мистер Уорбертон предпочитал сделать крюк, лишь бы с ним не встретиться. Его давно уже раздражали дурные манеры Купера, и заносчивость, и нетерпимость; но, только когда Купер провел в форте месяца три, произошел случай, после которого неприязнь резидента обратилась в жгучую ненависть.

Мистеру Уорбертону нужно было совершить инспекционную поездку по округу, и он спокойно оставил резиденцию на Купера, так как за это время окончательно уверился, что на него можно положиться. Одно плохо: он слишком резок. Честный, справедливый, усердный работник, он совершенно не понимает туземцев. Мистера Уорбертона и возмущало и смешило, что человек, считающий себя ничуть не хуже всякого другого, столь многих людей ставит ниже себя. Он не знает снисхождения, не желает вникать в психологию туземцев, и притом он груб.



Мистер Уорбертон быстро понял, что малайцы невзлюбили Купера и боятся его. Нельзя сказать, чтобы это очень огорчило резидента. Не слишком приятно было бы, если б его помощника стали здесь уважать так же, как его самого. Тщательно все подготовив, мистер Уорбертон отправился в путь и вернулся через три недели. Тем временем прибыла почта. Первое, что бросилось в глаза Уорбертону, когда он вошел в гостиную, была гора распечатанных газет. Купер встретил его, и в дом они вошли вместе. Мистер Уорбертон обратился к одному из слуг, остававшихся дома, и, указывая на газеты, сурово спросил, что это значит.

— Это я хотел узнать подробности уолверхемптонского убийства, вот и позаимствовал вашу «Таймс»,— поспешил объяснить Купер.— Я все газеты принес обратно. Я знал, что вы не будете против.

Бледный от гнева, Уорбертон обернулся к нему:

— Нет, я против. Я решительно против!

— Прошу прощения,— невозмутимо сказал Купер.— Я просто не мог дожидаться, пока вы вернетесь.

— Странно, что вы не вскрыли заодно и моих писем.

Купер улыбнулся, нимало не смущаясь недовольством своего начальника.

— Ну, это ведь не одно и то же. Мне и в голову не пришло, что вы всерьез будете недовольны, если я просмотрю ваши газеты. В них нет ничего личного.

— Мне в высшей степени неприятно, когда кто бы то ни было читает мои газеты раньше меня.— Мистер Уорбертон подошел к заваленному газетами столу. Тут было около тридцати номеров.— Я считаю ваш поступок чрезвычайно дерзким. Все газеты перепутаны.

— Мы сейчас же приведем их в порядок,— сказал Купер, тоже подходя к столу.

— Не прикасайтесь к ним!— воскликнул мистер Уорбертон.

— Послушайте, ну что за ребячество — устраивать сцены из-за такого пустяка.

— Как вы смеете так со мной разговаривать?

— А, да подите вы к черту!— сказал Купер и выбежал вон.

Мистер Уорбертон, весь дрожа от ярости, стоял перед грудой газет. Величайшее наслаждение, какое ему еще оставалось в жизни, погубили грубые, равнодушные руки. Почти все, кто живет вдали от родины, на глухих окраинах, спешат, едва приходит почта, развернуть газеты и хватают

ся: прежде всего за последние номера, чтобы поскорей узнать самые свежие новости. Почти все — но не мистер Уорбертон. Он специально распорядился, чтобы на каждой бандероли, в которой ему высылали газету, проставлены были день и число, и, получив сразу большую пачку, просматривал даты и синим карандашом нумеровал бандероли. Старшему бою велено было каждое утро к чаю, который сервировался на веранде, подавать и газету, и для мистера Уорбертона это было ни с чем не сравнимое удовольствие: вскрыть обертку и за чашкой чаю просмотреть утреннюю газету. В эти минуты ему казалось, что он дома, в Англии. Каждый понедельник он читал понедельничную «Таймс» полуторамесячной давности, каждый вторник — номер от вторника, и так всю неделю. По воскресеньям он читал «Обсервер». Так же, как и привычка переодеваться к обеду, это было нитью, связующей его с цивилизацией. И он гордился тем, что, сколь ни животрепещущими были новости, ни разу не поддался искушению вскрыть газету раньше положенного срока. Во время войны неизвестность подчас становилась нестерпимой, и, прочитав однажды, что началось наступление, он пережил жесточайшие муки ожидания, от которых мог бы легко себя избавить, попросту распечатав следующий номер газеты, лежавший на полке. Никогда еще мистер Уорбертон не подвергал себя более тяжкому испытанию, — но вышел из него победителем. А этот бестактный болван распечатал туго свернутые аккуратные пачки, потому что ему, видите ли, не терпелось узнать, убила ли какая-то мерзавка своего негодяя мужа.

Мистер Уорбертон послал за старшим боем и велел ему принести оберточной бумаги. Он сложил каждый номер как мог аккуратнее, заново обернул и перенумеровал. Но невеселое это было занятие.

— Никогда ему не прощу, — сказал он. — Никогда.

Старший бой, разумеется, сопровождал своего господина в поездке — мистер Уорбертон всегда брал его с собой, потому что он до тонкости изучил вкусы и привычки хозяина, а мистер Уорбертон был не из тех путешественников, которые в джунглях согласны обойтись без удобств, но теперь, возвратясь, бой успел уже поболтать с другими слугами. Он узнал, что у Купера были нелады с его боями и все, кроме Аббаса, ушли от него. Аббас тоже хотел уйти, но дядя определил его в услужение к Куперу потому, что так велел сам резидент, и, не спросясь дяди, он боялся уйти.

— Я ему сказал, что он хорошо поступил, туан<sup>1</sup>,— сказал старший бой Уорбертону.— Но ему там плохо. Он говорит, это нехороший дом, другие ушли, можно ему тоже уйти?

— Нет, он должен остаться. Тому туану нужны слуги. Заменяли ли тех, которые ушли?

— Нет, туан, никто не идет.

Мистер Уорбертон сдвинул брови. Купер — наглый дурак, но он занимает официальное положение, и ему подобает соответствующий штат прислуги. Недопустимо, чтобы в доме у него не было надлежащего порядка.

— Где те слуги, которые убежали от туана Купера?

— Они в деревне, туан.

— Пойди и поговори с ними сегодня же, скажи им, я надеюсь, что завтра на рассвете они вернуться в дом туана Купера.

— Они не захотят идти, туан.

— Если я велю?..

Старший бой прослужил у резидента пятнадцать лет и знал наизусть каждую нотку его голоса. Он не боялся своего туана, они через многое прошли вместе: однажды в джунглях хозяин спас ему жизнь, а один раз их лодку перевернуло на порогах, и, если бы не он, мистер Уорбертон утонул бы; но он хорошо знал, когда следует повиноваться беспрекословно.

— Я пойду в деревню,— сказал он.

Мистер Уорбертон полагал, что его помощник воспользуется первым же удобным случаем и извинится за свою грубость; но Купер, человек дурно воспитанный, не умел просить прощения и, когда на другое утро они встретились в канцелярии, вел себя так, словно ничего не случилось. Поскольку мистер Уорбертон три недели пробыл в отъезде, им не миновать было продолжительной беседы. Покончив с делами, он отпустил Купера:

— Благодарю вас, это все.— Тот повернулся, чтобы уйти, но Уорбертон остановил его:— У вас, кажется, были неприятности с вашими слугами?

Купер зло засмеялся:

— Они пытались меня шантажировать. У них хватило нахальства удрать — у всех, кроме этого бестолкового Аббаса, он-то понимает, что ему крупно повезло,— но я был тверд, как камень. Ну, у них и поубавилось спеси.

— Что вы имеете в виду?

---

<sup>1</sup> Господин (*малайск.*).

— Сегодня утром все они опять были на местах — повар-китаец и прочие. И все как ни в чем не бывало; можно подумать, они у себя дома. Сообразили, надо полагать, что я не так глуп, как им казалось.

— Ничего подобного. Они вернулись по моему специальному распоряжению.

Купер слегка покраснел.

— Я просил бы не вмешиваться в мои личные дела.

— Это не ваше личное дело. Когда от вас сбегают слуги, вы оказываетесь в глупом положении. Сами вы вольны выставлять себя на посмешище, сколько вам угодно, но я не могу допустить, чтобы вас поднимали на смех другие. Вы не должны оставаться без прислуги, это неприлично. Как только я услышал, что ваши бои ушли от вас, я велел им чуть свет снова быть на месте. Вот и все.

Мистер Уорбертон кивнул, давая понять, что разговор окончен. Купер не обратил на это внимания.

— А знаете, что я сделал? Я созвал их и уволил всю эту паршивую шайку. Сказал, чтоб через десять минут их духу не было в доме.

Мистер Уорбертон пожал плечами.

— Почему вы думаете, что вам удастся нанять других?

— Я велел своему секретарю об этом позаботиться.

Мистер Уорбертон минуту подумал.

— По-моему, вы вели себя очень неразумно. Впредь вам полезно помнить, что у хорошего хозяина все слуги хороши.

— Еще чему вы хотите меня учить?

— Я охотно поучил бы вас приличным манерам, но, боюсь, это будет тяжкий и неблагодарный труд, а я не имею возможности тратить время понапрасну. Я позабочусь о том, чтобы вы не остались без прислуги.

— Пожалуйста, не трудитесь. Я и сам достану себе прислугу.

Мистер Уорбертон язвительно улыбнулся. Похоже, что Купер его так же не терпит, как он — Купера, а что может быть досаднее, чем необходимость принять одолжение от ненавистного тебе человека?

— Позвольте сказать вам, что нанять здесь малайцев или китайцев вам теперь будет не легче, чем англичанина-дворецкого или повара-француза. Если кто-либо и пойдет к вам в услужение, то единственно лишь по моему приказу. Угодно вам, чтобы я распорядился?

— Нет.

— Воля ваша. До свидания.

Холодно и насмешливо наблюдал мистер Уорбертон за дальнейшим ходом событий. Секретарю Купера не удалось уговорить ни одного малайца, даяка или китайца пойти на службу к такому хозяину. Аббас, единственный, кто остался ему верен, умел готовить только туземные блюда — и, как ни был неприхотлив Купер, неизменный рис в конце концов ему осточертел. У него не было водоноса, а в такую жару необходимо несколько раз в день принять ванну. Он клял Аббаса на чем свет стоит, но Аббас выслушивал его в угрюмом молчании и делал лишь то, что считал нужным. Купера бесило сознание, что малаец не уходит от него только по приказу резидента. Так продолжалось две недели, а потом в одно прекрасное утро те самые слуги, которым он дал расчет, вновь оказались на своих местах. Купер пришел в ярость, однако за это время он все-таки научился уму-разуму и, ни слова не сказав, оставил их у себя. Он примирился со своим унижением, но странности мистера Уорбертона теперь не только злили его — презрение перешло в угрюмую ненависть: ведь этот ехидный сноб сделал его посмешищем в глазах туземцев!

Теперь эти двое не поддерживали никаких неофициальных отношений друг с другом. Нарушен был освященный годами обычай — в шесть часов вечера выпивать по стаканчику вина с любым белым, оказавшимся в пределах резиденции, все равно, по душе он вам или не по душе. Каждый жил так, словно другого нет на свете. Теперь, когда Купер вполне освоился с работой, им почти не было нужды разговаривать друг с другом и по службе. Мистер Уорбертон все распоряжения передавал своему помощнику только через курьера или письменно, в строго официальной форме. Виделись они постоянно, этого никак нельзя было избежать, но за неделю не обменивались и десятком слов. Уже одно то, что они не могли не попадаться друг другу на глаза, раздражало и злило обоих. Взаимная неприязнь не давала им покоя, и мистер Уорбертон во время вечерней прогулки только о том и думал, до чего ему ненавистен его помощник.

И, что самое ужасное, по всей вероятности, им придется вести такую жизнь один на один, в непримиримой вражде, до тех пор, пока Уорбертон не уедет в отпуск. А это будет только через три года. И у него нет оснований жаловаться высшему начальству. Купер прекрасно справляется со своими обязанностями, а время такое, что нового помощника подыскать нелегко. Правда, до резидента доходили туманные жалобы и намеки на то, что Купер чересчур резок с туземцами. Без сомнения, они недовольны. Но когда

мистер Уорбертон пробовал разобраться в том или ином случае, он мог сказать только, что Купер был суров там, где не повредила бы мягкость, и черств тогда, когда сам он, Уорбертон, проявил бы участие. Однако он не делал ничего такого, за что можно было бы взыскать. Но Уорбертон не спускал с него глаз. Ненависть обостряет зрение. Он догадывался, что Купер едва ли считает туземцев людьми, хоть в обращении с ними и не выходит за рамки законности, понимая, что так он вернее досадит начальнику. Но, пожалуй, настанет день, когда он зайдет слишком далеко. Мистер Уорбертон хорошо знал, каким раздражительным делает человека вечная жара и как трудно после бессонной ночи сохранять самообладание. Он внутренне посмеивался. Рано или поздно Купер сам отдаст себя в его власть.

Когда это наконец случилось, мистер Уорбертон рассмеялся вслух. Купер ведал заключенными; они прокладывали дороги, строили сараи, садились на весла, когда надо было выслать лодку вверх или вниз по реке, поддерживали чистоту в форте и выполняли другие необходимые работы. Те, кто отличался хорошим поведением, иногда даже служили в доме у белых. Купер не давал им пощады. Пусть пошевеливаются! Он с наслаждением изобретал для них все новые и новые задачи; арестанты понимали, что их заставляют тратить силы впустую, и делали все кое-как. Купер в наказание заставлял их работать дольше обычного. Это было против правил, и когда об этом сообщили мистеру Уорбертону, он, ни слова не сказав помощнику, немедленно распорядился, чтобы работы производились только в установленные часы; Купер, выйдя на прогулку, с удивлением увидел, что арестанты возвращаются в тюрьму: по его приказу они должны были работать дотемна. Он спросил надзирателя, почему работу прекратили так рано, и услышал в ответ, что так велел резидент.

Купер побелел от бешенства и зашагал к форту. Мистер Уорбертон, в белоснежном полотняном костюме и аккуратном шлеме, с тростью под мышкой, как раз собирался со своими собаками на вечернюю прогулку. Он видел, как незадолго до того Купер вышел из дому и спустился к реке. Теперь он, перескакивая через две ступеньки, взбежал на веранду и подошел к Уорбертону.

— Какого дьявола вы отменили мой приказ, чтобы арестанты работали до шести? — выпалил он, вне себя от ярости.

Мистер Уорбертон широко раскрыл холодные голубые глаза и изобразил на лице величайшее изумление.

— В своем ли вы уме? Неужели вы до того невежественны, что даже не понимаете, насколько недопустим подобный тон в разговоре со старшим по должности?

— А, идите вы к черту. Арестанты — моя забота, и вы не имеете права вмешиваться. Я в ваши дела не суюсь — и вы в мои не суйтесь. Какого дьявола вы меня выставяете дураком? Каждая собака будет знать, что вы отменили мой приказ.

— Вы были не вправе отдать такой приказ, — по-прежнему холодно и спокойно ответил Уорбертон. — Я отменил его, потому что это тирания и жестокость. Поверьте, я не выставяю вас и вполовину таким дураком, каким вы сами себя выставяете.

— Вы меня сразу невзлюбили, не успел я сюда приехать. Уж как вы старались, чтобы мне стало невмоготу здесь работать, а все потому, что я не желал лизать вам пятки. Вы готовы сжить меня со свету, потому что я к вам не подлаживаюсь!

Купер кричал с пеной у рта: забыв об осторожности, он ступил на зыбкую почву. Глаза мистера Уорбертона стали совсем уж ледяными и колючими.

— Ошибаетесь. Я считал вас наглецом, но был вполне доволен тем, как вы справляетесь со своими обязанностями.

— Сноб. Проклятый сноб. Вы меня считали наглецом, потому что я не учился в Итоне. Да, да, в Куала-Солор мне говорили, чего от вас ждать. Ха, может, вам не известно, что вся колония над вами потешается? Да я чуть не покатился со смеху, когда вы мне стали рассказывать эту вашу знаменитую историю про принца Уэльского. Господи боже мой, какой хохот стоял в клубе, когда мне про это рассказывали! Ей-богу, куда лучше быть наглецом, чем таким вот снобом!

Он угодил в самое больное место.

— Вон из моего дома! — крикнул Уорбертон. — Уходите сию же минуту, или я вас ударю!

Купер подошел к нему вплотную, взглянул прямо в глаза.

— Только тронь! — сказал он. — Ох, черт, хотел бы я поглядеть, как ты меня ударишь! Может, повторить? Сноб! Сноб!

Купер был на три дюйма выше Уорбертона, жилист, молод и силен. Мистеру Уорбертону минуло пятьдесят четыре, и он оброс жирком. Он занес кулак. Купер перехватил его руку и с силой оттолкнул его.

— Не валяйте дурака. Я ведь не джентльмен. Кулаками работать я умею.

Он хрипло захохотал и, скривив лицо в насмешливой гримасе, сбежал с веранды. Мистер Уорбертон бессильно

опустился в кресло. Сердце его неистово колотилось, он горел как в лихорадке. Одну ужасную минуту ему казалось, что он вот-вот расплачется. Но вдруг до его сознания дошло, что на веранде он не один — поодаль стоял старший бой, — и он снова взял себя в руки. Бой подошел ближе и подал ему виски с содовой. Мистер Уорбертон молча выпил стакан до дна.

— Что ты хотел мне сказать? — спросил он, сияясь улыбнуться непослушными губами.

— Туан, этот туан-помощник — плохой человек. Аббас опять хочет от него уйти.

— Пусть немного подождет. Я напишу в Куала-Солор и попрошу, чтобы туан Купер уехал куда-нибудь в другое место.

— Туан Купер недобрый с малайцами.

— Уйди.

Слуга неслышно удалился. Мистер Уорбертон остался наедине со своими мыслями. Ему представился клуб в Куала-Солор: мужчины в светлых спортивных костюмах с наступлением темноты бросили гольф и теннис и собрались за столом у окна; они пьют виски и коктейли и хохочут, пересказывая знаменитую историю о том, как он беседовал в Мариенбаде с принцем Уэльским. Стыд и отчаяние жгли мистера Уорбертона. Сноб! Все они считают его снобом. А он-то всегда считал их очень славными людьми, он, истинный джентльмен, неизменно держался с ними как равный, хотя они и не бог весть кто. Теперь они ему ненавистны. Но эта ненависть — ничто по сравнению с тем, как он ненавидит Купера! А ведь если бы дошло до драки, Купер просто-напросто его отколотил бы! Слезы горького унижения струились по красным пухлым щекам мистера Уорбертона. Так он просидел несколько часов, курил сигарету за сигаретой и жаждал одного: умереть.

Наконец вернулся бой и спросил, угодно ли ему переодеться к обеду. Да, конечно! Он ведь всегда переодевается к обеду. Мистер Уорбертон устало поднялся с кресла, надел крахмальную сорочку и стоячий воротничок. Потом он сидел за нарядно убранном столом и ему, как всегда, прислуживали два боя, а два других размахивали опахалами. А там, в бунгало, в двухстах ярдах от него, поедает свой жалкий обед Купер, и на нем только и надето что саронг да рубаха. Ноги его босы, и за едой он, надо полагать, читает какой-нибудь детектив. Пообедав, мистер Уорбертон сел писать письмо. Султан как раз был в отъезде, но он писал лично и секретно его приближенному советнику. Купер



прекрасно справляется со своими обязанностями, писал мистер Уорбертон, но беда в том, что у него тяжелый характер. Они никак не могут поладить, и он, Уорбертон, был бы в высшей степени признателен, если бы Купера перевели куда-нибудь в другое место.

На следующее утро он отослал письмо с нарочным. Ответ пришел через две недели, вместе с остальной ежесюточной почтой. Это была личная записка, она гласила:

«Дорогой Уорбертон!

Не хочу отвечать на Ваше письмо в официальной форме, поэтому пишу сам несколько строк. Конечно, если Вы настаиваете, я доложу о Вашей просьбе султану, но, мне кажется, с Вашей стороны было бы гораздо благоразумнее оставить все как есть. Я знаю, Купер грубоват, неотесан, но он способный малый, а в годы войны ему пришлось туго, и теперь следует дать ему возможность выдвинуться. Мне кажется, Вы склонны приписывать положению человека в обществе чересчур большое значение. Не забывайте, что времена изменились. Разумеется, это очень хорошо, когда человек еще и джентльмен, но гораздо важнее, чтобы он знал свое дело и работал, не жалея сил. Будьте немножко снисходительнее, и я уверен, что Вы с Купером отлично поладите.

Искренне Ваш *Ричард Темпл*».

Мистер Уорбертон выронил письмо. Не так уж трудно читать между строк. Дик Темпл, с которым они знакомы двадцать лет, Дик Темпл, выросший в прекрасной семье, считает его снобом и потому отмахнулся от его просьбы. Внезапное отчаяние овладело Уорбертоном. Тот мир, что был ему родным, отошел в прошлое, а будущее принадлежит иному, менее достойному поколению. Это поколение олицетворяет собою Купер, а Купера он ненавидит всей душой. Он потянулся за стаканом, и, едва он зашевелился, к нему подошел старший бой.

— Я не знал, что ты здесь.

Бой поднял с полу письмо в казенном конверте. А-а, вот чего он дожидался.

— Туан Купер уедет, туан?

— Нет.

— Будет беда.

Мистер Уорбертон слишком устал, и в первую минуту смысл этих слов не дошел до его сознания. Но только

в первую минуту. Потом он выпрямился в кресле и посмотрел на боя. Он был весь внимание.

— Что это значит?

— Туан Купер нехорошо поступает с Аббасом.

Мистер Уорбертон пожал плечами. Откуда такому Куперу знать, как обращаться со слугами? Мистер Уорбертон часто встречал людей подобного склада: такой будет с лакеем запанибрата, а через минуту накричит и унизит его.

— Пусть Аббас вернется домой.

— Туан Купер не платит ему жалованья, чтобы он не мог убежать. Три месяца ничего не платит. Я уговариваю Аббаса терпеть, но он очень сердит, не хочет слушать. Если туан Купер станет и дальше его обижать, будет беда.

— Ты хорошо сделал, что рассказал мне об этом.

Какой болван! Неужели он так плохо знает малайцев, что воображает, будто их можно безнаказанно оскорбить? Вот всадят ему в спину крис—и поделом, черт возьми. Крис... Сердце мистера Уорбертона на мгновение замерло. Не надо только ни во что вмешиваться—и в один прекрасный день он избавится от Купера. Он слабо улыбнулся, вспомнив крылатое слово об «умелом бездействии». И теперь его сердце забилося чуточку быстрее, ибо ему представилось, как ненавистный Купер лежит ничком на тропинке в джунглях и между лопаток у него торчит кривой малайский нож. Самый подходящий конец для наглеца и грубияна. Мистер Уорбертон вздохнул. Его долг—предупредить Купера, и, разумеется, он так и сделает. Он написал коротенькую официальную записку, предлагая Куперу сейчас же прийти в форт.

Через десять минут Купер явился. С того дня, как Уорбертон едва его не ударил, они не разговаривали друг с другом. И теперь мистер Уорбертон не предложил ему сесть.

— Вы хотели меня видеть?—спросил Купер.

Он был неряшливо одет и, должно быть, не умывался сегодня. Лицо и руки сплошь в красных пятнах, потому что он расчесал до крови укусы moskitov. Похудел, осунулся, смотрит исподлобья.

— Насколько я понимаю, у вас опять нелады с прислугой,— начал Уорбертон.— Аббас, племянник моего старшего боя, жалуется, что вы задерживаете ему жалованье за три месяца. Я считаю, что это чистейший произвол. Юноша хочет от вас уйти, и я нисколько его не осуждаю. Я вынужден настаивать, чтобы вы уплатили Аббасу все, что ему причитается.

— Я не желаю его отпускать. Я удерживаю его жалованье как залог, чтоб он вел себя прилично.

— Вы не знаете нрава малайцев. Они очень чувствительны к оскорблению и к насмешке. Они пылки и мстительны. Мой долг предупредить вас, что, испытывая терпение этого юноши, вы подвергаете себя серьезной опасности.

Купер презрительно фыркнул.

— А что он, по-вашему, сделает?

— По-моему, он вас убьет.

— А вам жалко?

— О нет,— со смешком ответил мистер Уорбертон.— Я мужественно перенесу этот удар. Но, как лицо официальное, я обязан вас надлежащим образом предупредить.

— И вы думаете, я испугаюсь паршивого негра?

— Это мне глубоко безразлично.

— Ладно, к вашему сведению, я и сам сумею о себе позаботиться. Этот ваш Аббас — дрянь, воришка. Пусть только он попробует со мной шутки шутить! Я сверну ему шею, черт подери!

— Это все, что я хотел вам сказать,— произнес мистер Уорбертон.— До свидания.

И он легонько кивнул — это означало, что подчиненный может идти. Купер залился краской, постоял минуту в нерешимости, потом неловко повернулся и вышел. Мистер Уорбертон с ледяной улыбкой смотрел ему вслед. Он исполнил свой долг. Но что бы он подумал, знай он, что Купер, возвратясь к себе, в свое безмолвное и унылое жилище, бросился на кровать и, охваченный горьким чувством одиночества, потерял всякую власть над собой! Грудь его разрывалась от рыданий, по худым щекам катились свинцовые слезы.

После этого мистер Уорбертон почти не видел Купера и ни разу с ним не говорил. Каждое утро он читал «Таймс», потом занимался делами, совершал прогулку, переодевался к обеду, а пообедав, сидел в беседке у реки и курил сигару. Если ему и случалось столкнуться с Купером, он попросту не замечал его. Каждый ежеминутно помнил о близости другого и, однако, вел себя так, словно тот вообще не существует. Время шло, но их вражда оставалась все такой же ожесточенной. Они зорко следили друг за другом, и каждому был известен любой шаг и поступок другого. Мистер Уорбертон в юности был метким стрелком, но с годами вкусы его переменились, и теперь ему претило убивать дикую лесную тварь; Купер же по воскресеньям и в праздники уходил с ружьем в джунгли: если охота бывала удач-

на, он торжествовал победу над Уорбертоном, когда же возвращался ни с чем, мистер Уорбертон фыркал и пожимал плечами. Уж эти приказчики, изображающие из себя спортсменов! Рождественские праздники для обоих были нестерпимо тяжелы: они обедали в одиночестве, каждый у себя, и оба совершенно сознательно напились. Кроме них, на двести миль вокруг не было ни одного белого, а они жили на расстоянии окрика друг от друга. Вскоре после Нового года Купера свалила лихорадка, и, увидав его потом, Уорбертон был поражен — так страшно тот исхудал. Он казался совсем больным и измученным. От одиночества, вдвойне противоестественного потому, что оно не вызывалось необходимостью, Купер совсем извелся. Извелся и Уорбертон, часто по ночам он не мог уснуть. Он лежал и предавался невеселым мыслям. Купер пьет сверх меры, и, без сомнения, недалек час, когда он сорвется; однако с туземцами он осторожен и не дает начальнику повода в чем-либо его упрекнуть. Они вели угрюмую, молчаливую борьбу. Это было испытание выдержки.

Проходили месяцы, и ни тот ни другой не сдавался. Они были точно обитатели страны, где царит вечная ночь, и их угнетало сознание, что никогда для них не наступит рассвет. Казалось, они обречены до скончания века жить все в той же тупой и злобной ненависти.

И когда неизбежное наконец совершилось, оно потрясло Уорбертона, как неожиданный удар. Купер заявил, что Аббас украл у него какие-то рубашки, и, когда бой заспорил, схватил его за шиворот и спустил с лестницы. Аббас потребовал свое жалованье, и Купер обрушил на него все ругательства, какие только знал. Чтобы через час этого негодяя здесь не было, не то сидеть ему в полиции! На другое утро бой подстерег его у форта, когда Купер шел на службу, и снова спросил свое жалованье. Купер с размаху ударил его кулаком в лицо. Аббас упал, а когда поднялся, из разбитого носа у него струилась кровь.

Купер пришел в канцелярию и сел за работу. Но он не мог сосредоточиться. Гнев его остыл, и теперь он понимал, что хватил через край. Его грызла тревога. Он чувствовал себя больным и несчастным, он совсем пал духом. За стеною в своем кабинете сидел Уорбертон, и Куперу захотелось пойти и все ему рассказать; он было привстал со стула, но тут же ясно представил себе, с каким холодным презрением его выслушают. Он уже видел высокомерную улыбку Уорбертона. На минуту ему стало не по себе: Аббас теперь способен на все. Недаром Уорбертон предостерегал его...

Купер вздохнул. Какого он сваял дурака! Но тут же с досадой передернул плечами. Не все ли равно? Что за радость — такая жизнь! А все Уорбертон виноват: если бы он не злился по пустякам, ничего бы такого не случилось. Уорбертон с самого начала отравлял ему существование. Сноб проклятый! Впрочем, все они такие; это потому, что он, Купер, уроженец колоний. Стыд и срам, что его так и не произвели в офицеры, он воевал ничуть не хуже других. Все они паршивые снобы. И теперь он не покорится, черта с два. Конечно, Уорбертон пронюхает о том, что произошло, — старая лиса всегда все знает. Но ему не страшно. Не испугают его никакие малайцы, и пропади он пропадом, этот Уорбертон!

Он не ошибся, Уорбертон действительно узнал о случившемся. Старший бой рассказал ему об этом, когда он вернулся домой ко второму завтраку.

— Где сейчас твой племянник?

— Не знаю, туан. Он ушел.

Мистер Уорбертон промолчал. После завтрака он имел обыкновение вздремнуть, но сегодня ему не спалось. Взгляд его то и дело обращался к бунгалу, где отдыхал Купер.

Остолоп! Ненадолго мистера Уорбертона охватили сомнения. Понимает ли этот Купер, какая ему грозит опасность? Пожалуй, следует за ним послать. Но ведь всякий раз, как пытаешься его вразумить, в ответ слышишь одни только дерзости. Внезапный бешеный гнев всколыхнулся в груди Уорбертона, даже вены на висках вздулись, и он сжал кулаки. Наглец был предупрежден. Теперь пусть получает по заслугам. Его это не касается, и не его вина, если что-нибудь случится. Но в Куала-Солор еще пожалеют, что не вняли его совету и не перевели Купера в другое место.

В этот вечер Уорбертону было особенно тревожно. Пообедав, он принялся шагать взад и вперед по веранде. Когда старший бой собрался уходить, мистер Уорбертон спросил, не видал ли кто-нибудь Аббаса.

— Нет, туан. Он, верно, пошел в деревню, к брату своей матери.

Мистер Уорбертон посмотрел на него в упор, но слуга не поднимал глаз, и взгляды их не встретились. Уорбертон спустился к реке, посидел в беседке. Но не было ему покоя. Река текла тихая, зловещая. Точно огромная змея, лениво скользила она к морю. И в джунглях на том берегу тоже таилась глухая угроза. Ни птичьего пения, ни вдоха ветерка в листве кассий. Все вокруг словно замерло, чего-то ожидая.

Он пересек сад и вышел на дорогу. Отсюда было хорошо видно бунгало Купера. Окно гостиной светилось, и через дорогу долетали звуки рэгтайма: Купер завел граммофон. Уорбертона передернуло, он никак не мог одолеть отворачивания к этому инструменту. Если бы не граммофон, он бы пошел и поговорил с Купером. Он повернулся и побрел к себе. Он читал до глубокой ночи и наконец уснул. Но спал он недолго, его мучили страшные сны, и ему показалось, что разбудил его какой-то крик. Конечно, и это тоже только приснилось, ведь никакой крик — из бунгало, например, — не донесся бы до его спальни. До рассвета он больше не сомкнул глаз. Потом послышались торопливые шаги, голоса, его старший бой, даже без фески, ворвался в комнату, и сердце замерло в груди Уорбертона.

— Туан, туан!

Уорбертон вскочил.

— Сейчас приду!

Он сунул ноги в домашние туфли и в саронге и пижамной куртке прошел к Куперу. Купер лежал на кровати, рот его был открыт, а в сердце вонзился крис. Его убили во сне. Мистер Уорбертон вздрогнул; не потому, что он не ждал увидеть именно такую картину, нет, — он вздрогнул, вдруг почувствовав себя безмерно счастливым. Тяжкий камень скатился с его души.

Купер уже совсем окоченел. Мистер Уорбертон вытащил крис из раны — убийца всадил его с такой силой, что едва удалось его извлечь, — и осмотрел. Нож был ему знаком. Этот самый крис ему предлагал торговец недели три назад, и мистер Уорбертон знал, что его купил Купер.

— Где Аббас? — строго спросил он.

— Аббас в деревне, у брата своей матери.

Сержант туземной полиции стоял в ногах кровати.

— Возьми двух человек, ступай в деревню и арестуй его.

Мистер Уорбертон сделал все, что требовалось сделать безотлагательно. С каменным лицом отдавал он приказания. Они были кратки и властны. Потом он вернулся в форт. Он побрился, принял ванну, оделся и вышел в столовую. Возле прибора его ждала нераспечатанная «Таймс». Мистер Уорбертон взял себе фруктов. Старший бой налил ему чаю, другой подал яичницу. Мистер Уорбертон завтракал с аппетитом. Старший бой все не уходил.

— Что тебе? — спросил мистер Уорбертон.

— Туан, мой племянник Аббас всю ночь провел в доме брата своей матери. Это можно доказать. Его дядя присягнет, что он не выходил из дому.

Мистер Уорбертон, нахмурясь, обернулся.

— Туана Купера убил Аббас. Ты это знаешь не хуже меня. Правосудие должно свершиться.

— Но туан не повесит его?

Мистер Уорбертон мгновение колебался, и хотя голос его по-прежнему был тверд и суров, во взгляде что-то дрогнуло. Какая-то искорка мелькнула в глазах, и глаза малайца ответно блеснули.

— У Аббаса есть некоторое оправдание: не он начал первый. Его посадят в тюрьму.— Наступило короткое молчание, мистер Уорбертон положил себе джема.— Когда он отбудет часть своего срока, я возьму его сюда, он будет служить мне. Ты его как следует обучишь. Я не сомневаюсь, что в доме туана Купера он приобрел дурные привычки.

— Аббасу надо прийти и повиниться, туан?

— Это было бы разумнее всего.

Бой удался. Мистер Уорбертон взял «Таймс» и аккуратно разрезал обертку. Приятно разворачивать плотные, шелестящие страницы. Утро чудесное — такая свежесть, такая прохлада! Мистер Уорбертон обвел дружелюбным взглядом свой сад. Огромная тяжесть свалилась с его души. Он обратился к тем столбцам, где сообщалось о рождениях, смертях и свадьбах. Эти новости он всегда просматривал прежде всего. Знакомое имя привлекло его внимание. Наконец-то у леди Ормскерк родился сын. Господи, до чего, должно быть, рада ее высокородная матушка! Со следующей же почтой надо ее поздравить.

Из Аббаса выйдет отличный слуга.

Болван этот Купер!

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ферма была расположена в долине между холмами Сомерсетшира. Старомодый каменный дом окружали сараи, загоны для скота и другие дворовые строения. Над его входной дверью красивыми старинными цифрами была высечена дата постройки: 1673; и серый, на века сложенный дом был такой же неотъемлемой частью пейзажа, как и деревья, под сенью которых он укрывался. Из ухоженного сада к большой дороге вела аллея великолепных вязов, которая украсила бы любую помещичью усадьбу. Люди, жившие там, были такими же крепкими, стойкими и скромными, как и самый дом. Гордились они только тем, что со времени его постройки все мужчины, принадлежавшие к этой семье, из поколения в поколение рождались и умирали в нем. Триста лет они обрабатывали здесь землю. Джорджу Медоузу было теперь пятьдесят лет, а его жене — на год или два меньше. Оба они были прекрасные, честные люди в расцвете сил, и дети их — два сына и три дочери — были красивые и здоровые. Им были чужды новомодные идеи — они не считали себя леди и джентльменами, знали свое место в жизни и довольствовались им. Я никогда не видал более сплоченной семьи. Все были веселы, трудолюбивы и доброжелательны. Их жизнь была патриархальна и гармонична, что придавало ей законченную красоту симфонии Бетховена или картины Тициана. Они были счастливы и достойны своего счастья. Но хозяином на ферме был не Джордж Медоуз («Куда там», — говорили в деревне): хозяйкой была его мать. «Прямо-таки мужчина в юбке», — говорили про нее. Это была женщина семидесяти лет, высокая, статная, с седыми волосами, и хотя лицо ее было изборождено морщинами, глаза оставались живыми



и острыми. Ее слово было законом в доме и на ферме; но она обладала чувством юмора и властвовала хотя и деспотично, но не жестоко. Шутки ее вызывали смех, и люди повторяли их. У нее была крепкая деловая хватка, и провести ее было трудно. Это была незаурядная личность. В ней уживались, что случается очень редко, доброжелательность и умение высмеять человека.

Однажды, когда я возвращался домой, меня остановила миссис Джордж. (Только к ее свекрови почтительно обращались как к «миссис Медоуз», жену Джорджа называли просто «миссис Джордж».) Она была чем-то сильно взволнована.

— Как бы вы думали, кто к нам сегодня приезжает? — спросила она меня. — Дядя Джордж Медоуз. Знаете, тот, который был в Китае.

— Неужели? Я думал, что он умер.

— Мы все так думали.

Историю дядюшки Джорджа я слышал десятки раз, и она всегда забавляла меня, так как от нее веяло ароматом старинной легенды; теперь меня взволновала возможность увидеть ее героя. Ведь дядюшка Джордж Медоуз и Том, его младший брат, оба ухаживали за миссис Медоуз, когда она еще была Эмили Грин, пятьдесят с лишним лет назад, и когда Эмили вышла замуж за Тома, Джордж сел на корабль и уехал.

Было известно, что он поселился где-то на побережье Китая. В течение двадцати лет он изредка присылал им подарки; затем больше не подавал о себе вестей; когда Том Медоуз умер, его вдова написала об этом Джорджу, но ответа не получила; и наконец все решили, что его тоже нет в живых. Но несколько дней назад, к большому своему удивлению, они получили письмо из Портсмута от экономки приюта для моряков. Она сообщала, что последние десять лет Джордж Медоуз, искалеченный ревматизмом, провел там, а теперь, чувствуя, что жить ему осталось недолго, пожелал снова увидеть дом, в котором родился. Альберт, его внучатый племянник, отправился за ним в Портсмут на своем форде, к вечеру они должны были приехать.

— Только представьте себе, — говорила миссис Джордж, — он не был здесь больше пятидесяти лет. Он даже никогда не видел моего Джорджа, а ему уже пошел пятьдесят первый год.

— А что думает об этом миссис Медоуз? — спросил я.

— Ну, ведь вы ее знаете. Она сидит и улыбается про себя. Сказала только: «Он был красивым парнем, когда

уезжал, но не таким положительным, как его брат». Вот поэтому она и выбрала отца моего Джорджа. Она еще говорит: «Теперь-то, вероятно, он угомонился».

Миссис Джордж пригласила меня зайти познакомиться с ним. С наивностью деревенской жительницы, которая если и уезжала из дома, то не дальше, чем в Лондон, она считала, что, раз мы оба побывали в Китае, у нас должны быть общие интересы. Конечно, я принял приглашение. Когда я пришел, вся семья была в сборе; все сидели в большой старой кухне с каменным полом, миссис Медоуз — на стуле у огня, держась очень прямо и в своем парадном шелковом платье, что меня позабавило, сын с женой и детьми — за столом. По другую сторону камина сидел сгорбленный старик. Он был очень худ, и кожа висела на его костях, как старый, слишком широкий пиджак. Лицо у него было морщинистое и желтое; во рту не осталось почти ни одного зуба.

Мы поздоровались с ним за руку.

— Очень рад, что вы благополучно добрались сюда, мистер Медоуз, — сказал я.

— Капитан, — поправил он меня.

— Он прошел всю аллею, — сказал мне Альберт, его внучатый племянник. — Когда мы подъехали к воротам, он заставил меня остановить машину и заявил, что хочет идти пешком.

— А ведь я целых два года был прикован к кровати. Меня снесли на руках и посадили в машину. Я думал, что никогда уже не смогу ходить, но когда я их увидел, эти самые вязы, — помню, отец их очень любил, — то почувствовал, что опять могу двигать ногами. Я прошел по этой аллее пятьдесят два года тому назад, когда уезжал, а вот теперь снова сам вернулся по ней обратно.

— Ну и глупо! — заметила миссис Медоуз.

— Мне это пошло на пользу. Так хорошо и бодро я не чувствовал себя уже лет десять. Я еще тебя переживу, Эмили.

— Не слишком рассчитывай на это, — ответила она.

Вероятно, уже целую вечность никто не называл миссис Медоуз по имени. Меня это даже немного покорибило, будто старик позволил себе какую-то вольность по отношению к ней. Она смотрела на него, и в глазах у нее мелькнула чуть насмешливая улыбка, а он, разговаривая с ней, ухмылялся, обнажая беззубые десны. Странное чувство я испытывал, глядя на этих двух стариков, не видевшихся полвека, и думая о том, что столько лет назад он любил ее,

а она любила другого. Мне захотелось узнать, помнят ли они, что чувствовали тогда и о чем говорили друг с другом. Мне захотелось узнать, не удивляет ли теперь его самого, что из-за этой старой женщины он покинул дом своих предков, законное свое наследие, и всю жизнь скитался по чужим краям.

— Вы когда-нибудь были женаты, капитан Медоуз? — спросил я.

— Нет, это не для меня, — ответил он надтреснутым голосом и ухмыльнулся, — я слишком хорошо знаю женщин.

— Ты только так говоришь, — возразила миссис Медоуз, — на самом деле в молодости у тебя наверняка было с полдюжины черных жен.

— Тебе не мешало бы знать, Эмили, что в Китае женщины не черные, а желтые.

— Может быть, поэтому ты и сам так пожелтел. Когда я тебя увидела, то сразу подумала: да ведь у него желтуха.

— Я сказал, Эмили, что, кроме тебя, ни на ком не женюсь, и не женился.

Он произнес это без всякого пафоса или чувства обиды, так же просто, как говорят: «Я сказал, что пройду двадцать миль, — и прошел». В его словах звучало даже некоторое удовлетворение.

— Может, тебе пришлось бы раскаиваться, если бы ты женился, — сказала она.

Я немного поговорил со стариком о Китае.

— Я знаю все порты Китая лучше, чем вы — содержимое ваших карманов. Я побывал повсюду, куда только заходят корабли. Вы могли бы здесь просиживать целые дни в течение полугода, и то я не успел бы рассказать вам половины всего, что повидал в свое время.

— Мне кажется, одного ты все же не сделал, — сказала миссис Медоуз, и в глазах ее по-прежнему светилась насмешливая, но добрая улыбка, — ты не разбогател.

— Не такой я человек, чтобы копить деньги. Зарабатывай их и трать — вот мой девиз. Одно могу сказать: если бы мне пришлось начинать жизнь заново, я бы в ней ничего не изменил. А ведь немногие это скажут.

— Конечно, — заметил я.

Я смотрел на него с восторгом и восхищением. Это был беззубый старик, скрюченный ревматизмом, без гроша в кармане, но он хорошо прожил жизнь, так как умел ею наслаждаться. Когда мы с ним прощались, он попросил меня прийти и на следующий день. Если я интересуюсь Китаем, он будет рассказывать о нем сколько угодно.

На следующее утро я решил зайти справиться, хочет ли старик меня видеть. Я медленно прошел великолепную вязовую аллею и, подойдя к саду, увидел, что миссис Медоуз рвет цветы. Услышав, что я здороваюсь с ней, она распрямилась. В руках она уже держала целую охапку белых цветов. Я взглянул в сторону дома и увидел, что на окнах опущены шторы; меня это удивило: миссис Медоуз любила солнечный свет. «Хватит времени налегаться в темноте, когда вас похоронят»,— часто говорила она.

— Как себя чувствует капитан Медоуз?— осведомился я.

— Он всегда был легкомысленным парнем,— ответила она.— Когда Лиззи понесла ему сегодня чашку чая, она нашла его мертвым.

— Мертвым?

— Да. Он умер во сне. Вот я и нарвала цветов, чтобы поставить в его комнату. Я рада, что он умер в этом старом доме. Все эти Медоузы считают, что умирать надо именно здесь.

Накануне очень трудно было убедить его лечь спать. Он все рассказывал о событиях своей долгой жизни. Он так радовался, что вернулся в свой старый дом. Гордился, что без всякой помощи прошел аллею, и хвастался, что проживет еще двадцать лет. Но судьба оказалась милостивой к нему: смерть вовремя поставила точку.

Миссис Медоуз понюхала белые цветы, которые держала в руках.

— Я рада, что он вернулся,— сказала она.— После того как я вышла за Тома Медоуза, а Джордж уехал, я никогда не была вполне уверена, что сделала правильный выбор.

## СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ<sup>1</sup>

Когда я был маленьким, меня заставляли учить наизусть басни Лафонтена, и мораль каждой мне тщательно растолковывали. Была среди них «Стрекоза и муравей», из которой юные умы почерпывают полезнейший вывод: в нашем несовершенном мире трудолюбие вознаграждается, а легкомыслие карается. В этой превосходнейшей басне (прошу прощения за пересказ того, что известно всем, как несколько опрометчиво требует признать вежливость) муравей усердно трудится все лето, собирая запасы на зиму, а стрекоза сидит себе на листочке под солнышком и распевает песенки. Наступает зима, муравей обеспечен всем необходимым, но у стрекозы кладовая пуста. Она отправляется к муравью и просит дать ей еды. И получает от муравья ответ, ставший классическим:

«— Да работала ль ты в лето?

— Я без души лето целое все пела.

— Ты все пела? Это дело: так поди же попляши!»

Думаю, дело было не в извращенности моего ума, а просто в детской непоследовательности — ведь нравственное чувство детству чуждо, — но я никак не мог принять такую мораль. Все мои симпатии были на стороне стрекозы, и еще долго, увидев муравья, я старался наступить на него. Таким категоричным образом (и как мне стало ясно много позже — чисто по-человечески) я пытался выразить неодобрение предусмотрительности и здравому смыслу.

Мне невольно вспомнилась эта басня, когда на днях я увидел в ресторане Джорджа Рэмси, который завтракал там в одиночестве. Лицо его было неопишимо скорбным.

---

<sup>1</sup> © Перевод. Гурова И., 1992 г.

Он смотрел в никуда неподвижным взглядом. Казалось, на его плечи легли все беды мира. Мне стало жаль беднягу — уж конечно, милый братец снова его допек. Я подошел к нему, протягивая руку.

— Как поживаете? — сказал я.

— Не ликуюю, — ответил он.

— Опять Том?

Он вздохнул.

— Да, опять Том.

Наверное, в любой семье есть свой козлище. Двадцать лет Том был для брата источником непреходящей горечи. Жизнь он начал пристойно: занялся коммерцией, женился, родил двух детей. Семья Рэмси была во всех отношениях почтенной, и были все основания полагать, что Том Рэмси проживет полезную и похвальную жизнь. Но в один прекрасный день он ни с того ни с сего объявил, что работать не любит и не годится в отцы семейства. Он хотел наслаждаться жизнью. И не желал слушать никаких уговоров. Он бросил жену и контору. У него были кое-какие деньги, и он прожил два счастливых года в разных европейских столицах. Время от времени до его родных доходили вести о нем, глубоко их шокировавшие. Время он, бесспорно, проводил великолепно. Они покачивали головами и спрашивали, что он будет делать, когда израсходует все свои деньги. Скоро они это узнали. Он начал занимать. Он был обаятелен и нещепетилен. Я не встречал другого человека, которому было бы так трудно не дать в долг. Он брал постоянную дань со своих друзей, а друзей он заводил легко. Но он всегда утверждал, что тратить деньги на самое необходимое невыносимо скучно. Приятно и весело тратить деньги на всякую роскошь. Источником таких денег служил его брат Джордж. Обаяния он на него не расходовал — Джордж был серьезен, и подобные эфемерности его не трогали. Джордж был солиден. Раза два он клевал на обещания Тома исправиться и снабжал его солидными суммами, чтобы тот мог начать жизнь заново. На эти суммы Том приобрел автомобиль и кое-какие недурные драгоценности. Когда же Джордж, поняв, что его брат никогда не остепенится, умыл руки, Том без малейших угрызений совести принялся его шантажировать. Не так-то приятно respectable адвокату узнать, что его брат сбивает коктейли за стойкой бара его любимого ресторана или сидит за рулем такси у дверей его клуба. Том утверждал, что стоять за стойкой бара и водить такси — занятия вполне солидные, однако, если Джордж может услужить ему двумя-тремя сотнями

фунтов, он ради чести семьи от них, так и быть, откажется. И Джордж платил.

Однажды Том чуть не угодил в тюрьму. Джордж был в ужасе. Нет, Том действительно зашел слишком далеко. Прежде он был легкомысленным мотом и эгоистом, но бесчестных поступков не допускал. (Под этим Джордж подразумевал нарушения закона.) И если бы его привлекли к суду, ему несомненно вынесли бы обвинительный приговор. Но нельзя же допустить, чтобы ваш единственный брат попал в тюрьму! Человек, которого Том надул, человек по фамилии Кроншо, был мстителен. Он непременно хотел обратиться в суд. Он сказал, что Том негодяй и должен понести кару. Благополучный исход этого дела обошелся Джорджу во множество хлопот и пятьсот фунтов. И я ни разу не видел его в таком бешенстве, как в тот день, когда он узнал, что Том и Кроншо, едва кассировав чек, укатили вместе в Монте-Карло, где провели преотличнейший месяц.

Двадцать лет Том играл на скачках и в казино, волочился за самыми хорошенькими женщинами, танцевал, ел в самых дорогих ресторанах и одевался с безупречным вкусом. Он всегда выглядел так, словно сошел со страницы модного журнала. Хотя ему было сорок шесть, вы бы от силы дали ему тридцать пять. Он был на редкость остроумным собеседником, и хотя вы знали, что он полная никчемность, это не мешало вам получать большое удовольствие от его общества. Его отличали бодрость, неугасимая веселость и невероятное обаяние. Я нисколько не досадовал на поборы, которые он регулярно брал с меня для удовлетворения насущных потребностей. Всякий раз, когда я отсчитывал ему пятьдесят фунтов, у меня возникало ощущение, что я у него в долгу. Том Рэмси знал всех, и все знали Тома Рэмси. Одобрить его образ жизни вы не могли, но все равно он вам нравился.

Бедняга Джордж был всего годом старше своего беспутного брата, но выглядел он на все шестьдесят. В течение четверти века он позволял себе отдыхать не более двух недель в год. Каждое утро в девять тридцать он уже сидел в своей конторе и уходил не раньше шести. Он был честным, трудолюбивым и во всех отношениях достойным человеком. У него была прекрасная жена, которой он ни разу не изменил даже в мыслях, и четыре дочери, для которых он был лучшим из отцов. Он поставил себе правилом откладывать треть дохода с тем, чтобы в пятьдесят пять лет удалиться на покой в небольшой загородный дом, работать в своем саду и играть в гольф. Его жизнь была безупречной, и он

радовался тому, что стареет: ведь Том тоже старел. Джордж потирал руки и говорил:

— Все шло прекрасно, пока Том оставался молодым и красивым, но он только на год моложе меня. Через четыре года ему стукнет пятьдесят. И тогда жить ему станет не так легко. К тому времени, когда я достигну пятидесяти лет, у меня будет тридцать тысяч фунтов. Двадцать пять лет я говорил, что Том кончит под забором. И вот тогда мы посмотрим, как ему это понравится. Тогда мы посмотрим, что лучше — трудиться или бездельничать.

Бедняга Джордж, я ему от души сочувствовал. И теперь, садясь за его столик, я про себя гадал, в каком постыдном поступке повинен Том на этот раз. Джордж был явно в глубочайшем расстройстве.

— Знаете, что случилось? — спросил он меня.

Я приготовился к худшему. Неужели Том все-таки попал в руки правосудия? Голос у Джорджа прерывался.

— Вы же не станете отрицать, что всю жизнь я был порядочным, респектабельным, честным тружеником. И после долгих лет неустанных усилий и бережливости я могу предвкушать уход на покой, обеспеченный небольшим доходом с государственных ценных бумаг. Я всегда исполнял свой долг в соответствии с тем жребием, какой Провидению было благоугодно мне назначить.

— Совершенно верно.

— И вы не можете отрицать, что Том был никчемным, распущенным и бесчестным бездельником.

— Совершенно справедливо.

Джордж побагровел.

— Несколько недель назад он стал женихом женщины, годившейся ему в матери. А теперь она умерла и оставила ему все свое состояние. Полмиллиона фунтов, яхту, дом в Лондоне и загородный дом.

Джордж стукнул по столу крепко стиснутым кулаком.

— Это нечестно, говорю вам, это нечестно! Черт побери, это нечестно!

Я ничего не мог с собой поделать и, глядя на гневное лицо Джорджа, вдруг захохотал. Я извивался на стуле и чуть не скатился на пол. Джордж так меня и не простил. Но Том часто угощает меня превосходными обедами в своем элегантном доме в Мэйфере, а если иногда и берет у меня взаймы, то лишь по привычке. И никогда больше совершена.



## МИСТЕР ВСЕЗНАЙКА

Я решил, что Макс Келада мне не понравится, еще до того, как увидел его. Война только что кончилась, и движение на океанских линиях стало особенно оживленным. Достать билет на пароход было почти невозможно, и приходилось довольствоваться любым местом, предложенным пароходными агентами. Нечего было и думать об отдельной каюте, и я радовался, что хоть попал в двухместную. Но когда мне назвали фамилию второго пассажира, сердце мое упало. Эта фамилия наводила на мысль о плотно закрытом иллюминаторе и спертom воздухе по ночам. Делить каюту с кем бы то ни было четырнадцать суток (я ехал от Сан-Франциско до Йокогамы) и без того достаточно неприятно, но меня бы это меньше страшило, если б моим попутчиком оказался Смит или Браун.

Когда я вошел в каюту, вещи мистера Келада были уже там. Вид их мне не понравился: слишком уж много наклеек на чемоданах, слишком велик кофр для одежды. Мистер Келада успел разложить свои туалетные принадлежности, и я заметил, что он постоянный клиент несравненного мосье Коти: на умывальнике стояли духи, туалетная вода, бриллиантин от Коти. Черного дерева щетки с золотыми монограммами не мешало бы помыть. Нет, мистер Келада мне определенно не нравился. Я пошел в курительную, потребовал колоду карт и стал раскладывать пасьянс. Только я начал, ко мне подошел один из пассажиров и спросил, не я ли мистер такой-то.

— Я мистер Келада,— добавил он, приоткрыв в улыбке ряд белоснежных зубов, и сел.

— А-а, мы, кажется, в одной каюте.

— Повезло нам, правда? Никогда не знаешь, с кем тебя поместят. Я очень обрадовался, когда узнал, что вы англи-

чанин. По-моему, за границей мы, англичане, должны держаться друг друга, вы ведь меня понимаете.

Я даже заморгал.

— Разве вы англичанин? — спросил я, пожалуй, не совсем тактично.

— Конечно. А вы приняли меня за американца, да? Британец до мозга костей, вот я кто.

В доказательство мистер Келада достал из кармана паспорт и слегка помахал им перед моим носом.

У короля Георга немало удивительных подданных. Мистер Келада был небольшого роста, плотный, с чисто выбритым смуглым лицом, мясистым крючковатым носом и блестящими влажными глазами навывкате. Его длинные вьющиеся волосы были черны и лоснились. Говорил он с несвойственной англичанам живостью и сильно жестикулировал. Без сомнения, при более близком знакомстве с его британским паспортом обнаружилось бы, что небо над родиной мистера Келада куда лазурнее, чем над Англией.

— Что будете пить? — спросил он меня.

Я взглянул на него с недоумением. Сухой закон был в силе и, по всей видимости, на корабле строго соблюдался. А газированная вода и лимонад, когда меня не мучит жажда, мне одинаково противны.

Лицо мистера Келада осветилось восточной улыбкой.

— Виски с содовой или сухой мартини? Скажите лишь слово.

Из карманов брюк он извлек по фляжке и положил передо мной на стол. Я выбрал мартини, и мистер Келада, подозревая официанта, потребовал кубики льда и два стакана.

— Очень хороший коктейль, — сказал я.

— Там, где я это взял, еще много всего, и если у вас здесь есть знакомые, скажите им, что у одного вашего приятеля спиртного хоть отбавляй.

Мистер Келада был болтлив. Он рассказывал о Нью-Йорке и Сан-Франциско. Говорил о пьесах, картинах и политике. Это был патриот. Британский флаг — величественное полотнище, но, когда им размахивает джентльмен из Александрии или Бейрута, я невольно чувствую, что этот флаг несколько теряет в своем достоинстве. Мистер Келада был фамильярен. Я далек от высокомерия, но, на мой взгляд, когда обращаешься к постороннему, не подобает опускать слово «мистер». Между тем мистер Келада — вероятно, чтоб я чувствовал себя проще, — отбросил эту формальность. Не нравился мне мистер Келада. Когда он подсел, я отложил было карты, теперь же, полагая, что для первого раза

наш разговор достаточно затянулся, снова принялся за пасьянс.

— Тройку на четверку, — сказал мистер Келада.

Ничто так не действует на нервы, когда раскладываешь пасьянс и смотришь, куда положить очередную карту, как советы под руку.

— Сходится, сходится! — воскликнул он. — Десятку на валета.

С яростью и ненавистью в душе я закончил. Тогда он завладел колодой.

— Любите карточные фокусы?

— Ненавижу, — ответил я.

— Я все же покажу вам один.

Он показал три. Тогда я заявил, что спущусь в столовую и выберу себе место.

— О, не беспокойтесь, — сказал он. — Место вам уже занято. Я решил, раз мы с вами в одной каюте, хорошо бы и сидеть за одним столом.

Не нравился мне мистер Келада.

Мало того, что я делил с ним каюту и трижды в день ел за одним столом; стоило мне только выйти на палубу, как он оказывался рядом. Отдаться от него было невозможно. Ему и в голову не приходило, что в нем не нуждаются. Он не сомневался, что вам так же приятно видеть его, как ему вас. Если бы в своем собственном доме вы спустили его с лестницы или захлопнули дверь перед его носом, он и тут не заподозрил бы, что с ним не хотят знаться. Он был очень общителен и через три дня знал на пароходе всех. Он поспевал всюду: проводил лотереи, возглавлял аукционы, собирал деньги на призы победителям состязаний, затевал игры в серсо и гольф, организовал концерт, устроил костюмированный бал. Он был вездесущ. И, конечно, возбуждал всеобщую ненависть. Мы называли его мистер Всезнайка даже в глаза. Он принимал это за комплимент. Но особенно невыносим он был в столовой. Тут мы почти на час оказывались в его власти. Он шутил, хохотал, ораторствовал, спорил. Он все знал лучше других, и если вы с ним не соглашались, это был удар по его самолюбию. Даже когда речь шла о пустяках, он не успокаивался до тех пор, пока не склонял вас на свою сторону. Он не допускал и мысли, что может ошибиться. Он из тех, кто знает наверняка. Мы сидели за столом судового врача. Мистеру Келада никто бы здесь не перечил — доктор был ленив, а я подчеркнуто равнодушен, — если бы не сидевший с нами некто Рэмзи. Этот тоже, как и мистер Келада, не терпел возражений,

и его выводила из себя самоуверенность левантинца. Их споры были бесконечны и язвительны.

Рэмзи служил в американском консульстве в Кобе. Это был высокий грузный человек, уроженец Среднего Запада, его тучное тело с трудом умещалось в дешевом костюме. Он возвращался к месту службы после недолгого пребывания в Нью-Йорке, куда ездил за женой, которая провела год на родине. Это была очень хорошенькая женщина с приятными манерами и с чувством юмора. Служба в консульстве больших доходов не приносит, и миссис Рэмзи одевалась очень скромно, но со вкусом. Она умела носить вещи и всегда выглядела элегантно. Я не обратил бы на нее особого внимания, если б не одно ее качество, которое, быть может, и свойственно женщинам, но в наше время обычно ими скрывается. Глядя на миссис Рэмзи, нельзя было не поражаться ее скромности. Скромность украшала ее, как цветок украшает платье.

Как-то за обедом разговор случайно коснулся жемчуга. Газеты много писали о хитроумном способе получения жемчуга, придуманном японцами, и доктор заметил, что их жемчуг неминуемо снизит стоимость настоящего. Этот жемчуг и сейчас уже очень хорош, а скоро его доведут до совершенства. Мистер Келада, по своему обыкновению, ухватился за новую тему. Он сообщил нам все, что можно знать о жемчуге. Думаю, что Рэмзи даже понятия об этом не имел, но он не мог упустить случая сцепиться с левантинцем, и через пять минут разгорелся жестокий спор. Я еще никогда не слышал, чтобы мистер Келада спорил так страстно и многословно, как на этот раз. Наконец что-то сказанное Рэмзи его особенно уязвило, он стукнул кулаком по столу и закричал:

— Я ведь знаю, что говорю. Я еду в Японию, как раз чтобы посмотреть пресловутый японский жемчуг. Это моя специальность, и любой эксперт подтвердит вам, что с моим мнением считаются. Я знаю все лучшие жемчужины в мире, а уж если чего не знаю о жемчуге, того и знать не стоит.

Это было для нас новостью, при всей своей болтливости мистер Келада никому еще не говорил о роде своих занятий. Мы слышали только, что он едет в Японию по каким-то коммерческим делам. Он победоносно оглядел нас.

— Японцам никогда не получить жемчужины, которую такой знаток, как я, не распознал бы с первого взгляда.— Он указал на ожерелье миссис Рэмзи.— Помяните мое слово, миссис Рэмзи, эта нитка никогда ни на один цент не упадет в цене.

Миссис Рэмзи из свойственной ей скромности слегка покраснела и спрятала жемчуг под платье. Рэмзи подался вперед. Он взглянул на нас, и в его глазах мелькнула улыбка.

— Красивая нитка, правда?

— Я сразу обратил на нее внимание,— ответил мистер Келада.— Да, сказал я себе, вот это жемчуг что надо.

— Его покупали без меня. Интересно, сколько, по-вашему, он стоит?

— О, цена ему около пятнадцати тысяч долларов. Но я не удивлюсь, если на Пятой авеню за эту нитку взяли все тридцать.

Рэмзи злорадно улыбнулся.

— А что вы скажете, если миссис Рэмзи в день отъезда из Нью-Йорка купила ее в универсальном магазине за восемнадцать долларов?

Мистер Келада побагровел.

— Вздор. Жемчуг настоящий, притом для своего размера превосходный, я еще не встречал такой нитки.

— Хотите пари? Ставлю сто долларов, что это подделка.

— Идет.

— Ах, Элмер, нельзя же спорить, когда знаешь наверняка,— сказала миссис Рэмзи, слабо улыбаясь.

В ее голосе слышался мягкий упрек.

— Почему же? Деньги сами плывут в руки, надо быть круглым дураком, чтобы упустить такой случай.

— Но как вы докажете?— продолжала она.— Ведь ваши утверждения голословны.

— Дайте мне взглянуть поближе, и, если это подделка, я тут же скажу. Я готов потерять сто долларов,— заявил мистер Келада.

— Сними жемчуг, дорогая. Пусть этот джентльмен смотрит на него, сколько ему угодно.

Миссис Рэмзи мгновение колебалась. Потом подняла руки к замочку.

— Я не могу расстегнуть,— сказала она.— Придется мистеру Келада поверить мне на слово.

Меня вдруг кольнуло предчувствие, что сейчас произойдет какое-то несчастье, но я не нашелся что сказать.

Рэмзи вскочил.

— Дай я расстегну.

Он протянул нитку мистеру Келада. Левантинец вынул из кармана увеличительное стекло и стал внимательно рассматривать жемчуг. Улыбка торжества заиграла на его чисто

выбритом смуглом лице. Он вернул нитку и собрался было заговорить. Внезапно он перехватил взгляд миссис Рэмзи. Она так побледнела, что, казалось, была близка к обмороку. Глаза ее расширились от ужаса. Они молили о спасении; это было до того ясно, что я удивляюсь, как ее муж ничего не заметил.

Мистер Келада застыл с открытым ртом. Он густо покраснел. Было ясно, что он делает над собой усилие.

— Я ошибся,— сказал он.— Это очень хорошая имитация, и, конечно, посмотрев через лупу, я сразу увидел, что жемчуг не настоящий. Пожалуй, больше восемнадцати долларов эта безделка и не стоит.

Он достал бумажник, вынул из него сто долларов и молча протянул мистеру Рэмзи.

— Может, это научит вас впредь не быть таким самоуверенным, мой молодой друг,— сказал Рэмзи, принимая деньги.

Я заметил, что руки у мистера Келада дрожали.

История эта, как обычно бывает, распространилась по всему кораблю, и на долю мистера Келада в тот вечер выпало немало насмешек. Шутка сказать—мистера Всезнайку посадили в калашу. Только миссис Рэмзи ушла в свою каюту, у нее разболелась голова.

На следующее утро я встал и начал бриться. Мистер Келада лежал в постели и курил сигарету. Вдруг послышался слабый шорох, и в щели под дверью показалось письмо. Я отворил дверь и выглянул. Никого. Я поднял конверт. На нем печатными буквами было написано: Макс Келада. Я передал ему письмо.

— От кого бы это? — Он вскрыл конверт.— О!

Из конверта он вынул не письмо, а стодолларовую бумажку. Мистер Келада взглянул на меня и покраснел. Изорвав конверт на мелкие клочки, он протянул их мне.

— Будьте добры, киньте это в иллюминатор.

Я исполнил просьбу и взглянул на него с улыбкой.

— Кому охота разыгрывать из себя шута горохового,— сказал он.

— Жемчуг оказался настоящим?

— Будь у меня хорошенькая жена, я не отпустил бы ее на год в Нью-Йорк, если сам остаюсь в Кобе,— сказал он.

В эту минуту мистер Келада мне почти нравился. Он потянулся за бумажником и бережно положил в него сто долларов.

---

## ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ

Впервые я обратил на него внимание именно из-за этого шрама, широкого и красного, который большим полумесяцем пересекал его лицо от виска до подбородка. Очевидно, это был след страшной раны, то ли от удара саблей, то ли от осколка снаряда. Во всяком случае, этот шрам выглядел странно на его круглом, добродушном лице с мелкими, неприметными чертами и простоватым выражением. Да и само лицо как-то не вязалось с таким огромным телом. Это был могучий человек, выше среднего роста. На нем всегда был один и тот же поношенный серый костюм, рубашка цвета хаки и мягое сомбреро. Вид у него был не слишком опрятный. Каждый день ко времени коктейля он появлялся в гватемальском «Палас-отеле» и, неторопливо расхаживая по бару, продавал лотерейные билеты. Если он этим зарабатывал на жизнь, то жил он, по всей вероятности, очень бедно, потому что я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь купил у него билет; однако изредка ему предлагали выпить. Он никогда не отказывался. Он пробирался между столиками осторожно и как-то вразвалку, словно привык ходить пешком на далекие расстояния, останавливался у каждого столика, с легкой улыбкой называл номера своих билетов и, если на него не обращали внимания, с той же улыбкой двигался дальше. По-видимому, он почти всегда был под хмельком.

Как-то вечером, когда я с одним знакомым стоял у стойки в баре—в гватемальском «Палас-отеле» делают превосходный сухой мартини,—человек со шрамом подошел к нам и снова, уже в который раз, вытащил для моего обозрения свои билеты. Я покачал головой, но мой знакомый приветливо кивнул ему.

— Qué tal, генерал? Как дела?

— Ничего. Не блестяще, но бывало хуже.

— Что будете пить?

— Бренди.

Выпив залпом, он поставил рюмку и кивнул моему знакомому.

— Gracias. Hasta luego<sup>1</sup>.

Затем он отошел от нас и стал предлагать свои билеты другим.

— Кто он такой? — спросил я. — Какой у него ужасный шрам на лице!

— Да, он его не украшает. Этот человек — изгнанник из Никарагуа. Разумеется, головорез и бандит, но неплохой малый. Я даю ему время от времени несколько песо. Он был генералом, возглавил там мятеж, и если бы не кончились боеприпасы, он свергнул бы правительство и был бы теперь военным министром, а не продавал лотерейные билеты в Гватемале. Его захватили вместе со всем штабом и судили военным судом. Такие дела там решаются быстро, и его приговорили к расстрелу. В плену, надо думать, ему сразу стало ясно, что его ждет. Ночь он провел в тюрьме и вместе с остальными — всего их было пятеро — коротал время за игрой в покер, в которой фишками служили спички. Он говорил мне, что никогда у него не было такой полосы невезения. На рассвете в камеру вошли солдаты, чтобы вести заключенных на казнь. К этому времени он успел проиграть больше спичек, чем обычный человек может использовать за целую жизнь.

Их вывели в тюремный двор и поставили к стене, всех пятерых в ряд лицом к солдатам. Но ничего не последовало, и наш друг спросил, какого черта их заставляют ждать. Офицер ответил, что ждут прибытия генерала — командующего правительственными войсками, который пожелал присутствовать при казни.

— В таком случае я еще успею выкурить сигарету, — сказал наш друг. — Генерал никогда не отличался точностью.

Но едва он закурил, как генерал, — между прочим, это был Сан-Игнасио, вы с ним, возможно, встречались, — появился во дворе в сопровождении своего адъютанта. Были выполнены обычные формальности, и Сан-Игнасио спросил осужденных, нет ли у кого-нибудь из них последнего желания. Четверо ответили отрицательно, но наш друг сказал:

---

<sup>1</sup> Спасибо. До скорой встречи (*исп.*).



«Да, я хотел бы проститься с женой».

«Виено<sup>1</sup>, — сказал генерал, — я не возражаю. Где она?»

«Ждет у ворот тюрьмы».

«Тогда это займет не больше пяти минут».

«Даже меньше, сеньор генерал», — сказал наш друг.

«Отведите его в сторону».

Два солдата вышли вперед и отвели осужденного в указанное место. Офицер по кивку генерала дал команду, раздались нестройный залп, и те четверо упали. Они упали странно — не разом, а один за другим, нелепо дергаясь, как марионетки в кукольном театре. Офицер подошел к ним и разрядил оба ствола револьвера в того, который был еще жив. Наш друг докурив сигарету и отшвырнул окурки.

В это время у ворот произошло какое-то движение. Во двор быстрыми шагами вошла молодая женщина — и внезапно остановилась, схватившись рукой за сердце. Потом она вскрикнула и, протянув руки, бросилась вперед.

«Сарамба»<sup>2</sup>, — сказал генерал.

Женщина была вся в черном, волосы покрыты вуалью, лицо мертвенно-бледное. Почти девочка — тоненькая, с правильными чертами лица и огромными глазами. Сейчас в этих глазах застыл ужас. Она бежала, полуоткрыв рот, и так была прекрасна в своем горе, что даже у этих ко всему безразличных солдат вырвался возглас изумления.

Мятежник шагнул ей навстречу. Она кинулась к нему в объятия, и с хриплым страстным криком: «Alma de mi corazón — сердце души моей!» — он прильнул к ее губам. В то же мгновение он выхватил нож из-под рваной рубахи — уму непостижимо, как ему удалось его там спрятать, — и ударил ее в шею. Кровь хлынула из перерезанной вены, обагрив его рубаху. Он снова обнял жену и прижался к ее губам.

Многие не поняли, что произошло — настолько быстро все свершилось, — у других же вырвался крик ужаса, они бросились к нему и схватили его за руки; женщина упала бы, если бы адъютант генерала не подхватил ее. Она была без сознания. Ее полесли на землю и обступили, растерянно глядя на нее. Мятежник знал, как нанести удар: остановить кровь было невозможно. Через минуту адъютант, стоявший возле нее на коленях, поднялся.

«Она мертва», — прошептал он.

---

<sup>1</sup> Хорошо (*исп.*).

<sup>2</sup> Черт возьми (*исп.*).

Мятежник перекрестился.

«Почему ты это сделал?» — спросил генерал.

«Я любил ее».

Словно вздох пробежал по рядам; все взгляды были устремлены на убийцу. Генерал молчал и тоже смотрел на него.

«Это был благородный поступок, — сказал наконец генерал. — Я не могу казнить такого человека. Возьмите мою машину и отвезите его на границу. Сеньор, свидетельствую вам свое уважение, как смелый человек смелому человеку».

Послышался ропот одобрения. Адъютант тронул убийцу за плечо, и тот, не сказав ни слова, зашагал между двумя солдатами к ожидавшей машине.

Мой знакомый умолк, и я некоторое время тоже молчал. Должен заметить, что он был гватемалец и говорил со мной по-испански. Я постарался как можно лучше перевести то, что услышал, сохранив даже и его несколько напыщенный слог. Честно говоря, я думаю, что он вполне соответствует сюжету.

— Но откуда же этот шрам? — спросил я наконец.

— А, это он как-то раз откупоривал бутылку, и она разорвалась у него в руках. Бутылка шипучки.

— Никогда не любил шипучки, — сказал я.

---

## ПОЭТ<sup>1</sup>

Меня мало интересуют знаменитости, и я всегда терпеть не мог страсть, которой одержимы столь многие — испре-менно жать руки великим мира сего. Когда мне предлагают познакомиться с кем-то, кого возвышают над простыми смертными чины или заслуги, я стараюсь, подыскав благо-видный предлог, уклониться от этой чести; и когда мой друг Диего Торре хотел представить меня Санта Анье, я отказал-ся. Но на сей раз объяснил свой отказ чистосердечно: Санта Анья не только великий поэт, он еще и фигура романтиче-ская, и занятно было бы увидеть на склоне его дней челове-ка, чьи приключения стали (по крайней мере, в Испании) легендой; но я знал, что он стар и болен,— надо полагать, его только утомит появление постороннего, и притом ино-странца. Калисто де Санта Анья был последним отпрыском Великой Школы; в мире, где байронизм не в почете, он жил по Байрону и описал свою бурную жизнь в стихах, принес-ших ему славу, какой не ведал ни один его современник. Не могу судить о его творениях, потому что прочитал их впервые в двадцать три года и тогда пришел от них в во-сторг; полные страсти, дерзкой отваги, буйства красок и жизненных сил, они вскружили мне голову — и по сей день эти звучные строки и покоряющие ритмы неотделимы для меня от чарующих воспоминаний юности, и сердце мое начинает биться чаще всякий раз, как я их перечитываю. Я склонен думать, что в странах, где говорят по-испански, Калисто де Санта Анью чтят по заслугам. В ту давнюю пору вся молодежь повторяла его стихи, и мои друзья без конца рассказывали мне о его неукротимом нраве, о его пылких

---

<sup>1</sup> © Перевод. Н. Галь, 1985 г.

речах (ибо он был не только поэт, но и политик), о его язвительном остроумии и любовных похождениях. Он был мятежник, безрассудно смел, и подчас бросал вызов законам; но прежде всего он был любовник. Все мы знали о его страсти к такой-то великой актрисе или к некоей божественной певице, — мы ведь зачитывались пламенными сонетами, в которых он живописал свою любовь, свои страдания, свой гнев, мы твердили их наизусть! — и нам было известно, что испанская принцесса, надменнейшая наследница Бурбонов, уступила его мольбам, а когда он ее разлюбил, постриглась в монахини. Ведь когда какому-нибудь из Филиппов, ее царственных предков, надоедала любовница, она уходила в монастырь, ибо не пристало возлюбленной короля принять потом любовь другого, а разве Калисто де Санта Анья не выше всех земных королей? И мы воздавали хвалы романтическому поступку принцессы — это делает ей честь и лестно для нашего поэта.

Но все это было много лет назад, и дон Калисто, презрев мир, который больше ничего не мог ему предложить, уже четверть века жил отшельником в своем родном городе Эсихе. Я собрался побывать там (я как раз приехал недели на две в Севилью) не ради Санта Аньи, просто это прелестный андалусский городок, милый мне и со многим для меня связанный, и, узнав о моем намерении, Диего Торре предложил представить меня поэту. По-видимому, дон Калисто изредка позволял писателям младшего поколения навещать его и порой в беседах с ними проявлял тот же пыл, что зажигал слушателей в славные дни его расцвета.

— А какой он теперь с виду? — спросил я.

— Великолепен.

— Есть у вас его фотография?

— Если б была! С тридцати пяти лет он не позволяет себя снимать. По его словам, он хочет, чтобы потомки знали его только молодым.

Признаться, этот намек на тщеславие меня растрогал. Я знал, в молодости Санта Анья был красавцем, и сонет, написанный им, когда он понял, что молодость миновала, берет за сердце: чувствуется, с какой болью, с какой горькой насмешкой следил поэт за увяданием своей редкой красоты, которая прежде так всех восхищала.

Однако я отклонил предложение друга; мне довольно было вновь перечитать хорошо знакомые стихи, вообще же я предпочитал свободно бродить по тихим солнечным улицам Эсихи. И потому несколько даже испугался, получив вечером в день приезда собственноручную записку великого

человека. Из письма Диего Торре он узнал о моем приезде, писал Санта Анья, и ему будет очень приятно, если завтра в одиннадцать часов утра я его навещу. Теперь мне ничего другого не оставалось — в назначенный час надо было к нему явиться.

Гостиница моя была на главной площади, в это весеннее утро очень оживленной, но стоило свернуть за угол — и казалось, я иду по городу, покинутому жителями. Улицы, эти извилистые белые улочки, были пустынные, разве что изредка степенно пройдет женщина вся в черном, возвращаясь с богослужения. Эсиха — город церквей, куда ни пойдешь, то и дело перед глазами изъеденные временем стены или башня, на которой свили гнездо аисты. В одном месте я приостановился, глядя на проходящую мимо вереницу осликов. На них были выпуклые красные чепраки, и уж не знаю, что за груз несли они в свисающих по бокам корзинах. А когда-то Эсиха была городом не из последних, и на многих воротах перед белыми домами красовались внушительные гербы, ведь в этот отдаленный уголок стремились богачи Нового Света, и здесь на склоне лет селились авантюристы, которые нажили себе состояния в Северной и в Южной Америке. В одном из таких домов жил и дон Калисто, и, когда я позвонил у решетчатой калитки, мне приятно была мысль, что жилище его так ему подходит. В тяжелых воротах было какое-то обветшалое величие, и оно гармонировало с моим представлением о прославленном поэте. Я слышал, как отдавался в доме звонок, но никто не отворил мне, и я позвонил еще раз, и еще. Наконец к калитке подошла усатая старуха.

— Что вам? — спросила она.

Ее черные глаза были еще красивы, но лицо угрюмое, и я подумал, что это она, должно быть, заботится о старом поэте. Я подал ей свою визитную карточку.

— Ваш хозяин меня ждет.

Она отворила железную калитку ипустила меня. Попросила подождать и ушла по лестнице в дом. После раскаленной солнцем улицы патио порадовал прохладой. Он был благородных пропорций, и можно было подумать, что построен он каким-нибудь последователем конкистадоров; но краска потускнела, плитка под ногами разбита, кое-где отвалились большие куски штукатурки. Всюду следы бедности, но отнюдь не убожество. Я знал, что дон Калисто беден. Бывали времена, когда деньги доставались ему легко, но он относился к ним пренебрежительно и тратил щедрой рукой. И явно живет теперь в нужде, но

замечать ее ниже его достоинства. Посреди патио стоял стол, по сторонам его качалки, на столе — газеты двухнедельной давности. Знать бы, каким грезам предается старик, сидя здесь теплыми летними вечерами и покуривая сигарету, подумал я. По стенам под аркадой развешаны были потемневшие, дурно написанные испанские полотна, кое-где стояли старинные пыльные *barquero*<sup>1</sup> с блестящей, местами поврежденной инкрустацией. По сторонам двери висела пара старинных пистолетов, и я с удовольствием вообразил, что они-то и послужили дону Калисто в знаменитейшей из его многочисленных дуэлей, когда ради танцовщицы Пепы Монтаньес (теперь, наверно, она беззубая старая карга) он убил герцога Дос Эрманоса.

Все вокруг пробуждало образы, которые я смутно угадывал, и так подходило знаменитому поэту-романтику, что дух этого дома всецело завладел моим воображением. Эта благородная нищета окружает его сейчас столь же славным ореолом, как бывшее великолепие его юности; в нем тоже сохранился давний дух конкистадоров, и ему очень к лицу кончить свою прославленную жизнь в этих великолепных полуразрушенных стенах. Конечно же, так и подобает жить и умереть поэту. Я пришел сюда довольно равнодушно, даже немного скучая в предвидении этой встречи, но постепенно мною овладело беспокойство. Я закурил сигарету. Пришел я точно к назначенному часу и теперь недоумевал, что же задерживает старика. Тишина странно тревожила. В этом тихом патио толпились тени прошлого, и давно минувший, невозвратный век вновь обрел для меня некую призрачную жизнь. В те дни людей отличали страсть и неукротимый дух, от каких в нашем мире не осталось и следа. Мы уже не способны поступать столь безрассудно и геройствовать столь театрально.

Я услышал какое-то движение, и сердце мое забилось быстрее. Теперь я волновался, и когда увидел наконец, как он спускается по лестнице, у меня даже дух захватило. В руках он держал мою карточку. Он был высок, очень худ, кожа чуть с желтизной, точно старая слоновая кость; грива седых волос, а густые брови еще темны, и от этого мрачнее кажется огонь, сверкающий в великолепных глазах. Поразительно, что в такие годы его глаза еще сохранили свой блеск. Орлиный нос, плотно сжатые губы. На ходу он не сводил с меня глаз, в них не было приветливости, казалось, он холодно меня оценивает. Он был в черном, в руке

---

<sup>1</sup> Шкафчик с выдвижными ящиками (*исп.*).

широкополая шляпа. Во всей осанке уверенность и достоинство. Он был такой, каким я хотел бы его видеть, и, глядя на него, я понял, как он потрясал умы и покорял сердца. Да, весь его облик говорил: это поэт.

Он спустился в патио и медленно подошел ко мне. Взор у него был поистине орлиный. Для меня настала неповторимая минута, вот он передо мной, наследник великих испанских поэтов прошлого — за ним мне видятся великолепный Эррера, задушевный тоскующий Фрай Луис, мистик Хуан де ла Крус и сложный, темный Гонгора. Он — последний в этой длинной череде, и он достойно шел по их стопам. Странно, в душе моей зазвучала прелестная, нежная песнь, самое знаменитое из лирических творений дон Калисто.

Я смешался. По счастью, у меня заранее заготовлены были первые слова приветствия.

— Маэстро, для меня, чужестранца, необычайная честь познакомиться со столь великим поэтом.

В пронизательных глазах мелькнула насмешливая искорка, и суровые губы на миг дрогнули улыбкой.

— Я не поэт, сеньор, я торгую щетиной. Вы попали не по адресу. Дон Калисто живет в соседнем доме.

Я ошибся дверью.

## БЕЗВОЛОСЫЙ МЕКСИКАНЕЦ<sup>1</sup>

— Вы любите макароны? — спросил Р.

— Что именно вы имеете в виду? — отозвался Эшенден. — Все равно как если бы спросили, люблю ли я стихи. Я люблю Китса, и Вордсворта, и Верлена, и Гёте. Что вы подразумеваете, говоря про макароны: spaghetti, tagliatelli, vermicelli, fettuccini, tufali, farfalli или просто макароны?

— Макароны, — ответил Р., который был скуп на слова.

— Я люблю все простые блюда: вареные яйца, устрицы и черную икру, truite au bleu<sup>2</sup>, лососину на вертеле, жареного барашка (предпочтительно седло), холодную куропатку, пирожок с патокой и рисовый пудинг. Но изо всех простых блюд единственное, что я способен есть каждый божий день не только без отвращения, но с неослабевающим аппетитом, это — макароны.

— Рад слышать, так как хочу, чтобы вы съездили в Италию.

Эшенден прибыл в Лион для встречи с Р. из Женевы и, приехав первым, пробродил до вечера по серым, шумным и прозаичным улицам этого процветающего города. Теперь они сидели в ресторане на площади — Эшенден встретил Р. и привел его сюда, потому что, как считалось, во всей этой части Франции не было другого заведения, где бы так же хорошо кормили. Но поскольку в таком многолюдном месте (лионцы любят вкусно поесть) никогда не знаешь, не ловят ли чьи-нибудь любопытные уши каждое полезное сведение, которое сорвется с твоих уст, они беседовали лишь на безразличные темы. Роскошная трапеза подходила к концу.

<sup>1</sup> © Перевод. Бернштейн И., 1985 г.

<sup>2</sup> Отварная форель (фр.).



— Еще коньяку? — предложил Р.

— Нет, спасибо, — ответил Эшенден, более склонный к воздержанию.

— Надо, по возможности, скрашивать тяготы военного времени, — сказал Р., взял бутылку и налил себе и Эшендену.

Эшенден, сознавая, что ломаться дурно, смолчал, зато счел себя обязанным возразить против того, как шеф держит бутылку.

— Когда мы были молоды, нас учили, что женщину надо брать за талию, а бутылку за горлышко, — негромко заметил он.

— Хорошо, что вы мне сказали. Я буду и впредь брать бутылку за талию, а женщин обходить стороной.

Эшенден не нашелся, что ответить. Пока он маленькими глотками пил коньяк, Р. распорядился, чтобы подали счет. Он, бесспорно, был влиятельным человеком, от него зависели душой и телом многие его сотрудники, к его мнению прислушивались те, кто вершили судьбы империй; однако, когда надо было дать официанту на чай, такая простая задача приводила его в замешательство, заметное невооруженным глазом. Он опасался и переплатить и тем свалить дурака, и недоплатить, а значит, возбудить ледяное презрение официанта. Когда принесли счет, он протянул Эшендену несколько стофранковых бумажек и попросил:

— Рассчитайтесь с ним, ладно? Я не разбираюсь во французских ценах.

Слуга подал им пальто и шляпы.

— Хотите вернуться в гостиницу? — спросил Эшенден.

— Пожалуй.

Была еще совсем ранняя весна, но к вечеру вдруг сильно потеплело, и они шли, перекинув пальто через руку. Эшенден, зная, что шеф любит номера с гостиницами, снял ему двухкомнатный номер, куда они теперь и направились. Гостиница была старомодная, помещения просторные, с высокими потолками. В гостиной стояла громоздкая, красного дерева мебель с обивкой из зеленого бархата, кресла чинно расставлены вокруг большого стола. По стенам на бледных обоях — крупные гравюры, изображающие битвы Наполеона, под потолком грандиозная люстра, первоначально газовая, но теперь переделанная под электрические лампочки. Они заливали неприветливую комнату сильным, холодным светом.

— Прекрасно, — входя, сказал Р.

— Не очень-то уютно, — заметил Эшенден.

— Согласен, но, судя по всему, это здесь самая лучшая комната, так что все превосходно.

Он отодвинул от стола одно из зеленых бархатных кресел, уселся и закурил сигару. И при этом распустил пояс и расстегнул китель.

— Раньше мне казалось, что нет ничего лучше манильской сигары,— сказал он,— но с начала войны я полюбил гаваны. Ну, да вечно она продолжаться не будет.— Углы его рта тронуло подобие улыбки.— Во всяком деле есть своя положительная сторона. Плох тот ветер, который никому не принесит удачи.

Эшенден сдвинул два кресла, одно — чтобы сидеть, другое — чтобы положить ноги. Р. посмотрел и сказал:

— Неплохая мысль,— и, подтянув к себе еще одно кресло, со вздохом облегчения уложил на бархат свои сапоги.

— Что за стеной? — спросил он.

— Ваша спальня.

— А с той стороны?

— Банкетный зал.

Р. встал и медленно прошелся по комнате, отворачивая край тяжелых репсовых портьер, выглянул, будто бы невзначай, в каждое окно, потом возвратился к своему креслу и снова уселся, удобно задрав ноги.

— Осторожность не мешает,— произнес он.

И задумчиво посмотрел на Эшендена. Его тонкие губы слегка улыбались, но белесые, близко посаженные глаза оставались холодными, стальными. Под таким взглядом с непривычки легко было растеряться. Но Эшенден знал, что шеф просто обдумывает, как лучше приступить к разговору. Молчание длилось минуты три. Потом Р. наконец сказал:

— Я жду к себе сегодня одного человека. Его поезд прибывает около десяти.— Он мельком взглянул на часы.— Этот человек носит прозвище Безволосый Мексиканец.

— Почему?

— Потому что он без волос и потому что мексиканец.

— Объяснение исчерпывающее,— согласился Эшенден.

— Он сам вам о себе все расскажет. Он человек разговорчивый. Я познакомился с ним, когда он сидел совсем на мели. Он принимал участие в какой-то революции у них там в Мексике и вынужден был удрать налегке, в чем был. И когда я его нашел, то, в чем он был, уже тоже пришло в негодность. Захотите сделать ему приятное, называйте его «генерал». Он утверждает, что был генералом в армии Уэрты, да, помнится, Уэрты; во всяком случае,

по его словам, если бы обстоятельства сложились иначе, он был бы сейчас военным министром и пользовался бы огромным весом. Он оказался для нас человеком весьма ценным. Худого про него не скажу. Вот только одно: любит пользоваться духами.

— А при чем тут я? — спросил Эшенден.

— Он едет в Италию. У меня для него имеется довольно щедрое поручение, и я хочу, чтобы вы находились поблизости. Я не склонен доверять ему большие суммы. Он игрок и слишком любит женщин. Вы приехали из Женевы с паспортом на имя Эшендена?

— Да.

— У меня есть для вас другой, кстати дипломатический, на имя Сомервилла, с французской и итальянской визой. Думаю, что вам лучше ехать вместе. Он занятый тип, когда разойдется, и вам полезно будет познакомиться поближе.

— А что за поручение?

— Я еще не решил окончательно, насколько вас стоит посвящать в это дело.

Эшенден промолчал. Они сидели и смотрели друг на друга, как смотрят два незнакомых человека в одном купе, вчуже гадая, что собой представляет сосед.

— На вашем месте я бы говорить предоставил в основном генералу. Вам лучше не сообщать ему о себе ничего лишнего. Вопросов задавать он не будет, в этом могу поручиться, он в своем роде, как бы сказать, джентльмен.

— Кстати, а как его настоящее имя?

— Я зову его Мануэль. Не уверен, что ему это нравится, его имя — Мануэль Кармона.

— Насколько я понимаю из того, о чем вы умалчиваете, он проходимец высшей пробы.

Р. улыбнулся своими белесо-голубыми глазами.

— Пожалуй, это слишком сильно сказано. Конечно, он не учился в закрытой школе. Его понятия о честной игре не вполне совпадают с вашими и моими. Может быть, я и побоюсь бы оставить вблизи от него золотой портсигар, но если он проиграет вам в покер, а потом стянет ваш портсигар, он его тут же заложит, чтобы вернуть карточный долг. При мало-мальски удобном случае он непременно соблазнит вашу жену, но в трудную минуту поделится с вами последней коркой. Он будет проливать слезу у патефона, если ему завести «Ave Maria» Гуно, но попробуйте оскорбить его достоинство, и он пристрелит вас как собаку. В Мексике, например, считается оскорбительным становиться между человеком и его выпивкой, так вот, он рассказывал мне, что

один голландец по неведению прошел как-то между ним и стойкой в баре, а он выхватил револьвер и застрелил его.

— И ничего ему не было?

— Нет, он принадлежит к одному из лучших семейств. Дело замяли, в газетах было сообщение, что голландец кончил жизнь самоубийством. Так оно в каком-то смысле и было. Безволосый Мексиканец, кажется, не очень высоко ценит человеческую жизнь.

Эшенден, внимательно слушавший Р., чуть вздрогнул и взглянул пристальнее прежнего в желтое, изможденное, в глубоких складках лицо шефа. Он понимал, что это было сказано не просто так.

— На самом деле о ценности человеческой жизни говорится много вздора. С таким же успехом можно приписывать самостоятельную ценность фишкам, которыми пользуются в покере. Они стоят столько, сколько вы назначите. Для генерала, дающего бой, солдаты — всего-навсего фишки, и очень глупо будет, если он посентиментальничает и позволит себе относиться к ним как к людям.

— Но дело в том, что эти фишки умеют чувствовать и рассуждать и, если сочтут, что их растрачивают впустую, еще, глядишь, откажутся служить.

— Ну, да не о том речь. Мы получили сведения, что некто по имени Константин Андреади выехал из Константинополя, имея при себе ряд документов, которые нам нужны. Он грек, агент Энвера-паши, Энвер ему очень доверяет. Он дал ему устные поручения, настолько важные и секретные, что их сочтено невозможным доверить бумаге. Этот человек отплывает из Пирея на судне «Итака» и высадится в Бриндизи, откуда проследует в Рим. Депеши он должен доставить в Германское посольство, а устное сообщение передать лично послу.

— Так. Понятно.

В это время Италия еще сохраняла нейтралитет. Центральные державы напрягали все силы, стремясь удержать ее в этой позиции, а союзники давили на нее как могли, чтобы она объявила войну на их стороне.

— Мы ни в коем случае не хотим неприятностей с итальянскими властями, это могло бы привести к самым скверным последствиям. Но нельзя допустить, чтобы Андреади попал в Рим.

— Любой ценой?

— За деньгами дело не станет, — сардонически усмехнулся Р.

— И что предполагается предпринять?

— Это не ваша забота.

— Но у меня богатое воображение.

— Я хочу, чтобы вы вместе с Безволосым Мексиканцем поехали в Неаполь. Он сейчас рвется на Кубу. Его друзья готовят выступление, и он стремится быть поблизости, чтобы в удобный момент одним прыжком очутиться в Мексике. Ему нужны деньги. Я привез с собой некоторую сумму в американских долларах и сегодня же передам ее вам. Деньги лучше всего носите при себе.

— Много там?

— Порядочно, но я считал, что вам будет удобнее, если пакет окажется компактным, поэтому здесь тысячедолларовые банкноты. Вы вручите их Безволосому Мексиканцу в обмен на документы, которые везет Андреади.

На языке у Эшендена вертелся вопрос, но он его не задал. Вместо этого он спросил:

— А он знает, что от него требуется?

— Несомненно.

Раздался стук. Дверь отворилась — перед ними стоял Безволосый Мексиканец.

— Я приехал. Добрый вечер, полковник. Счастлив вас видеть.

Р. встал.

— Как доехали, Мануэль? Это мистер Сомервилл, он будет сопровождать вас в Неаполь, генерал Кармона.

— Приятно познакомиться, сэр.

Он с силой пожал Эшендену руку. Эшенден поморщился.

— У вас железные руки, генерал,— заметил он.

Мексиканец бросил взгляд на свои руки.

— Я сделал маникюр сегодня утром. К сожалению, не очень удачно. Я люблю, чтобы ногти блестели гораздо ярче.

Ногти у него были заострены, выкрашены в ярко-красный цвет и, на взгляд Эшендена, блестели, как зеркальные. Несмотря на теплую погоду, генерал был в меховом пальто с каракулевым воротником. При каждом движении он источал резкий парфюмерный запах.

— Раздевайтесь, генерал, и закуривайте сигару,— пригласил Р.

Безволосый Мексиканец оказался довольно рослым и скорее худощавым, но производил впечатление большой физической силы; одет он был в модный синий костюм, из грудного кармана эффектно торчал край шелкового носового платка, на запястье поблескивал золотой браслет. Черты

лица у него были правильные, но неестественно крупные, а глаза карие, с глянцем. У него совсем не было волос. Желтоватая кожа гладкая, как у женщины, ни бровей, ни ресниц; а на голове довольно длинный светло-каштановый парик, и локоны ниспадали на шею в нарочито артистическом беспорядке. Эти искусственные локоны и гладкое изжелта-бледное лицо в сочетании с франтовским костюмом создавали вместе облик, на первый взгляд слегка жутковатый. Безволосый Мексиканец был с виду отвратителен и смешон, но от него трудно было отвести взгляд — в его странности было что-то завораживающее.

Он сел и подпернул брючины, чтобы не разгладилась складка.

— Ну, Мануэль, сколько вы сегодня разбили сердец? — с насмешливым дружелюбием спросил Р.

Генерал обратился к Эшендену:

— Наш добрый друг полковник завидует моему успеху у прекрасного пола. Я убеждаю его, что он может добиться того же, если только послушает меня. Уверенность в себе — вот все, что необходимо. Если не бояться получить отпор, то никогда его и не получишь.

— Вздор, Мануэль, тут нужен ваш природный талант. В вас есть что-то для них неотразимое.

Безволосый Мексиканец рассмеялся с самодовольством, которое и не пытался скрыть. По-английски он говорил прекрасно, с испанским акцентом и с американской интонацией.

— Но раз уж вы спрашиваете, полковник, могу признаться, что разговорился в поезде с одной дамочкой, которая ехала в Лион навестить свекровь. Дамочка не так чтобы очень молодая и посухощавее, чем я люблю, но все же приемлемая и помогла мне скоротать часок-другой.

— А теперь перейдем к делу, — сказал Р.

— Я к вашим услугам, полковник. — Он посмотрел на Эшендена. — Мистер Сомервилл — человек военный?

— Нет, — ответил Р. — Он писатель.

— Что ж, как говорится, Божий мир состоит из разных людей. Я рад нашему знакомству, мистер Сомервилл. У меня найдется немало историй, которые вас заинтересуют; уверен, что мы с вами превосходно поладим, у вас симпатичное лицо. Сказать вам правду, я весь — сплошной комок нервов, и если приходится иметь дело с человеком, мне антипатичным, я просто погибаю.

— Надеюсь, наше путешествие будет приятным, — сказал Эшенден.

— Когда этот господин ожидается в Бриндизи? — спросил Мексиканец у Р.

— Он отплывает из Пирея на «Итаке» четырнадцатого. Вероятно, это какая-то старая калоша, но лучше, если вы попадете в Бриндизи загодя.

— Вполне с вами согласен.

Р. встал с кресла и, держа руки в карманах, присел на край стола. В своем потертом кителе с расстегнутым воротом он рядом с вылощенным, франтоватым Мексиканцем выглядел довольно непрезентабельно.

— Мистеру Сомервиллу почти ничего не известно о поручении, которое вы выполняете, и я не хочу, чтобы вы его посвящали. По-моему, вам лучше держать язык за зубами. Он уполномочен снабдить вас суммой, потребной для вашей работы, но какой именно образ действий вы изберете, его не касается. Разумеется, если вам нужен будет его совет, можете его спросить.

— Я редко спрашиваю и никогда не выполняю чужих советов.

— И если вы провалите операцию, надеюсь, я могу рассчитывать на то, что Сомервилл останется в стороне. Он не должен быть скомпрометирован ни при каких обстоятельствах.

— Я человек чести, полковник,— с достоинством ответил Безволосый Мексиканец,— и скорее позволю себя изрезать на мелкие куски, чем предам товарища.

— Именно это я только что говорил мистеру Сомервиллу. С другой стороны, если все пройдет удачно, Сомервилл уполномочен передать вам оговоренную сумму в обмен на бумаги, о которых у нас с вами шла речь. Каким образом вы их добудете, не его забота.

— Само собой разумеется. Я хочу только уточнить одно обстоятельство. Мистер Сомервилл, надеюсь, сознает, что дело, которое вы мне доверили, я предпринимаю не ради денег?

— Безусловно,— не колеблясь, ответил Р., глядя ему прямо в глаза.

— Я телом и душой на стороне союзников, я не могу простить немцам надругательства над нейтралитетом Бельгии, а деньги если и беру, то исключительно потому, что я прежде всего — патриот. Я полагаю, что мистеру Сомервиллу я могу доверять безоговорочно?

Р. кивнул. Мексиканец обернулся к Эшендену.

— Снаряжаются экспедиционные силы для освобождения моей несчастной родины от тиранов, которые ее экс-

плуатируют и разоряют, и каждый пенс, полученный мною, пойдет на ружья и патроны. Лично мне деньги не нужны: я солдат и могу обойтись коркой хлеба и горстью маслин. Есть только три занятия, достойные дворянина: война, карты и женщины; чтобы вскинуть винтовку на плечо и уйти в горы, деньги не нужны — а это и есть настоящая война, не то что всякие там переброски крупных частей и стрельба из тяжелых орудий, — женщины любят меня и так, а в карты я всегда выигрываю.

Эшендену начинала положительно нравиться эта необыкновенная, вычурная личность с надушенным платочком и золотым браслетом. Не какой-то там «средний обыватель», (чью тиранию мы клянем, но всегда, в конце концов, покоряемся), а яркое, живое пятно на сером фоне толпы, настоящая находка для ценителя диковин человеческой природы. В парике, несуразно мордастый и без единого волоса на коже, он был, бесспорно, по-своему импозантен и, несмотря на нелепую внешность, производил впечатление человека, с которым шутки плохи. Он был великолепен в своем самодовольстве.

— Где ваши пожитки, Мануэль? — спросил Р.

Возможно, что Мексиканец чуть-чуть, самую малость, нахмурился при этом вопросе, заданном, пожалуй, не без доли высокомерия, едва он успел закончить свою пышную тираду. Однако больше он ничем не выказал недовольства. Эшенден подумал, что он, наверно, считает полковника варваром, которому недоступны высокие чувства.

— На вокзале.

— У мистера Сомервилла дипломатический паспорт, он сможет, если угодно, провезти ваши вещи со своим багажом, без досмотра.

— Моя поклажа невелика, несколько костюмов и немного белья, но, пожалуй, будет действительно лучше, если мистер Сомервилл возьмет заботу о ней на себя. Перед отъездом из Парижа я купил полдюжины шелковых пижам.

— А ваши вещи? — спросил Р. у Эшендена.

— У меня только один чемодан. Он находится в моем номере.

— Велите отправить его на вокзал, пока еще в гостинице кто-то есть. Ваш поезд отходит в час десять.

— Вот как?

Эшенден только сейчас впервые услышал о том, что их отъезд назначен на ту же ночь.

— Я считаю, что вам надо попасть в Неаполь как можно скорее.



— Хорошо.

Р. встал.

— Не знаю, как кто, а я иду спать.

— Я хочу побродить по Лиону,— сказал Безволосый Мексиканец.— Меня интересует жизнь. Одолжите мне сотню франков, полковник. У меня при себе нет мелочи.

Р. вынул бумажник и дал генералу одну банкноту. Потом обратился к Эшендену:

— А вы что намерены делать? Ждать здесь?

— Нет,— ответил Эшенден.— Поеду на вокзал и буду там читать.

— Выпьем на прощанье виски с содовой. Вы как, Мануэль?

— Вы очень добры, но я пью только шампанское и коньяк.

— Смешиваете? — без тени улыбки спросил Р.

— Не обязательно,— совершенно серьезно ответил Мексиканец.

Р. заказал коньяк и содовую воду, им подали, он и Эшенден налили себе того и другого, а Безволосый Мексиканец наполнил свой стакан на три четверти неразбавленным коньяком и осушил его в два звучных глотка. А потом поднялся, надел пальто с каракулевым воротником, одной рукой взял свою живописную черную шляпу, а другую жестом романтического актера, отдающего любимую девушку тому, кто достойнее, протянул Р.

— Полковник, пожелаю вам доброй ночи и приятных сновидений. Вероятно, следующее наше свидание состоится не скоро.

— Смотрите, не наломайте дров, Мануэль, а в случае чего — помалкивайте.

— Я слышал, что в одном из ваших колледжей, где сыновья джентльменов готовятся в офицеры флота, золотыми буквами написано: «В британском флоте не существует слова «невозможно». Так вот, для меня не существует слова «неудача».

— У него много синонимов,— заметил Р.

— Увидимся на вокзале, мистер Сомервилл,— сказал Безволосый Мексиканец и с картинным поклоном удалился.

Р. поглядел на Эшендена с подобием улыбки, которое всегда придавало его лицу такое убийственно-проницательное выражение.

— Ну, как он вам?

— Ума не приложу,— ответил Эшенден.— Клоун? Самоупоеение, как у павлина. С такой отталкивающей внеш-

ностью неужели он вправду покоритель дамских сердец? И почему вы считаете, что можете на него положиться?

Р. хмыкнул и потер ладони, как бы умывая руки.

— Я так и знал, что он вам понравится. Колоритная фигура, не правда ли? Я считаю, что положиться на него можно.— Взгляд его вдруг стал каменным.— По-моему, ему нет расчета играть с нами двойную игру.— Он помолчал.— Как бы то ни было, придется рискнуть. Сейчас я передам вам билеты и деньги и простимся; я страшно устал и пойду спать.

Десять минут спустя Эшенден отправился на вокзал. Чемодан двинулся вместе с ним на плече у носильщика.

Оставалось почти два часа до отхода поезда, и Эшенден расположился в зале ожидания. Здесь было светло, и он сидел и читал роман. Подошло время прибытия парижского поезда, на котором они должны были ехать до Рима, а Безволосый Мексиканец не появлялся. Эшенден, слегка нервничая, вышел поискать его на платформе. Эшенден страдал всем известной неприятной болезнью, которую называют «поездной лихорадкой»: за час до обозначенного в расписании срока он начинал опасаться, как бы поезд не ушел без него, беспокоился, что служители в гостинице так долго не несут его вещи из номера, сердился, что автобус до вокзала подают в самую последнюю секунду; уличные заторы приводили его в иступление, а медлительность вокзальных носильщиков — в бессловесную ярость. Мир, словно сговорившись, старался, чтобы он опоздал на поезд: встречные не давали выйти на перрон, у касс толпились люди, покупающие билеты на другие поезда, и так мучительно долго пересчитывали сдачу, на регистрацию багажа затрачивалась бездна времени, а если Эшенден ехал не один, то его спутники вдруг уходили купить газету или погулять по перрону, и он не сомневался, что они обязательно отстанут, то они останавливались поболтать неизвестно с кем, то им срочно надо было позвонить по телефону и они со всех ног устремлялись в здание вокзала. Просто какой-то вселенский комплот. И отправляясь в путешествие, Эшенден не переставал терзаться, покуда не усаживался на свое законное место в углу купе и чемодан уже лежал в сетке над головой, а до отхода поезда все еще добрых полчаса. Были случаи, когда он приезжал на вокзал настолько раньше времени, что поспевал на предыдущий поезд, но это тоже стоило ему нервов, ведь опять-таки выходило, что он едва не опоздал.

Объявили римский экспресс, но Безволосый Мексиканец не показывался; поезд подошел к платформе — а его все

нет. Эшенден не на шутку встревожился. Он быстрыми шагами прохаживался по перрону, заглядывал в залы ожидания, побывал в отделении, где велась регистрация багажа,— Мексиканца нигде не было. Поезд был сидячий, но в Лионе много пассажиров сошло, и Эшенден занял два места в купе первого класса. Стоя у подножки, он озираал платформу и то и дело взглядывал на вокзальные часы. Ехать без Мексиканца не имело смысла, и он решил, как только прозвучит сигнал к отправлению, вытащить из вагона свою поклажу, но зато уж он и задаст этому типу, когда тот отыщется. Оставалось три минуты, две, одна; вокзал опустел, все отъезжающие заняли свои места. И тут он увидел Безволосого Мексиканца — тот не спеша шел по платформе в сопровождении двух носильщиков с чемоданами и какого-то господина в котелке. Заметив Эшендена, Мексиканец помахал рукой:

— А-а, вот и вы, мой друг, а я-то думаю, куда он делся?

— Господи, да поторопитесь, поезд сейчас уйдет.

— Без меня не уйдет. Места у нас хорошие? Начальник вокзала ушел ночевать домой, это его помощник.

Господин в котелке в ответ на кивок Эшендена обнажил голову.

— Да, но это обыкновенный вагон. В таком я ехать не могу.— Он милостиво улыбнулся помощнику начальника вокзала.— Вы должны устроить меня лучше, *mon cher*.

— *Certainment, mon général*, я помещу вас в *salon-lit*. Само собой разумеется.

Помощник начальника вокзала повел их вдоль состава и отпер свободное купе с двумя постелями. Мексиканец удовлетворенно огляделся. Носильщики уложили багаж.

— Вот и прекрасно. Весьма вам обязан.— Он протянул господину в котелке руку.— Я вас не забуду и при следующем свидании с министром непременно расскажу ему, как вы были ко мне внимательны.

— Вы очень добры, генерал. Премного вам благодарен! Прозвучал свисток. Поезд тронулся.

— По-моему, это лучше, чем просто первый класс,— сказал Мексиканец.— Опытный путешественник должен уметь устраиваться с удобствами.

Но раздражение Эшендена еще не улеглось.

— Не знаю, какого черта вам понадобилось тянуть до последней секунды. Хороши бы мы были, если бы поезд ушел.

— Друг мой, это нам совершенно не грозило. Я по приезде уведомил начальника вокзала, что я, генерал Кар-

мона, главнокомандующий мексиканской армии, прибыл в Лион для кратковременного совещания с английским фельдмаршалом, и просил его задержать отправку поезда до моего возвращения на вокзал. Я дал ему понять, что мое правительство, вероятно, сочтет возможным наградить его орденом. А в Лионе я уже бывал, здешние женщины недурны, конечно, не парижский шик, но что-то в них есть, что-то есть, бесспорно. Хотите перед сном глоток коньяку?

— Нет, благодарю,— хмуро отозвался Эшенден.

— Я всегда на сон грядущий выпиваю стаканчик, это успокаивает нервы.

Он сунул руку в чемодан, не шаря, достал бутылку, сделал несколько внушительных глотков прямо из горлышка, утерся рукой и закурил сигарету. Потом разулся и лег. Эшенден затенил свет.

— Сам не знаю, как приятнее засыпать,— раздумчиво проговорил Безволосый Мексиканец,— с поделуем красивой женщины на губах или же с сигаретой во рту. Вы в Мексике не бывали? Завтра расскажу вам про Мексику. Спокойной ночи.

Вскоре по размеренному дыханию Эшенден понял, что его спутник уснул, а немного погодя задремал и сам. Когда через непродолжительное время он проснулся, Мексиканец крепко, спокойно спал; пальто он снял и укрылся им вместо одеяла, а парик на голове оставил. Вдруг поезд дернулся и, громко скрежеща тормозами, остановился; и в то же мгновение, не успев еще Эшенден осознать, что произошло, Мексиканец вскочил и сунул руку в карман брюк.

— Что это? — возбужденно выкрикнул он.

— Ничего. Семафор, наверно, закрыт.

Мексиканец тяжело сел на свою полку. Эшенден включил свет.

— Вы так крепко спите, а просыпаетесь сразу,— заметил он.

— Иначе нельзя при моей профессии.

Эшенден хотел было спросить, что подразумевается: убийства, заговоры или командование армиями,— но промолчал из опасения оказаться нескромным. Генерал открыл чемодан и вынул бутылку.

— Глотните,— предложил он Эшендену.— Если внезапно просыпаетесь среди ночи, нет ничего лучше.

Эшенден отказался, и он опять поднес горлышко ко рту и перелил к себе в глотку щедрую порцию коньяка. Потом вздохнул и закурил сигарету. На глазах у Эшендена он уже почти осушил бутылку, и вполне возможно, что не первую

со времени прибытия в Лион, однако был совершенно трезв. По его поведению и речи можно было подумать, что за последние сутки он не держал во рту ничего, кроме лимонада.

Поезд двинулся, и Эшенден снова уснул. А когда проснулся, уже наступило утро, и, лениво перевернувшись на другой бок, он увидел, что Мексиканец тоже не спит. Во рту у него дымилась сигарета. На полу под диваном валялись окурки, и воздух был прокуренный и сизый. С вечера он уговорил Эшендена не открывать окно на том основании, что ночной воздух якобы очень вреден.

— Я не встаю, чтобы вас не разбудить. Вы первый займетесь туалетом или сначала мне?

— Мне не к спеху, — сказал Эшенден.

— Я привык к походной жизни, у меня это много времени не займет. Вы каждый день чистите зубы?

— Да, — ответил Эшенден.

— Я тоже. Этому я научился в Нью-Йорке. По-моему, хорошие зубы — украшение мужчины.

В купе был умывальник, и генерал, плюясь и кашляя, старательно вычистил над ним зубы. Потом он достал из чемодана флакон одеколона, вылил немного на край полотенца и растер себе лицо и руки. Затем извлек гребенку и тщательно, волосок к волоску, причесал свой парик — то ли парик у него не сбился за ночь, то ли он успел его поправить на голове, пока Эшенден еще спал. И наконец, вынув из чемодана другой флакон, с пульверизатором, и выпустив целое облако благоуханий, опрыскал себе рубашку, пиджак, носовой платок, после чего, с выражением полнейшего самодовольства, в сознании исполненного долга перед миром обратился к Эшендену со словами:

— Ну вот, теперь я готов грудью встретить новый день. Оставляю вам мои принадлежности, не сомневайтесь насчет одеколона, это лучшая парижская марка.

— Большое спасибо, — ответил Эшенден, — но все, что мне нужно, это мыло и вода.

— Вода? Я лично не употребляю воду, разве только когда принимаю ванну. Вода очень вредна для кожи.

На подъезде к границе Эшендену вспомнился недвусмысленный жест Мексиканца, разбуженного среди ночи, и он предложил:

— Если у вас есть при себе револьвер, лучше отдайте его мне. У меня дипломатический паспорт, меня едва ли станут обыскивать, вами же могут и поинтересоваться, а нам лишние осложнения ни к чему.

— Его и оружием-то назвать нельзя, так, детская игрушка,— проворчал Мексиканец и достал из брючного кармана заряженный револьвер устрашающих размеров.— Я не люблю с ним расставаться даже на час, без него я чувствую себя словно бы не вполне одетым. Но вы правы, рисковать нам не следует. Я вам и нож вот отдаю. Я вообще предпочитаю револьверу нож, по-моему, это более элегантное оружие.

— Дело привычки, наверно,— сказал Эшенден.— Должно быть, для вас нож как-то естественнее.

— Спустить курок каждый может, но чтобы действовать ножом, нужно быть мужчиной.

Одним, как показалось Эшендену, молниеносным движением он расстегнул жилет, выхватил из-за пояса и раскрыл длинный, смертоубийственный кинжал. И протянул Эшендену с довольной улыбкой на своем крупном, уродливом, голом лице.

— Отличная, между прочим, вещица, мистер Сомервилл. Лучшего клинка я в жизни не видел — острый, как бритва, и прочный, режет и папиросную бумагу, и дуб может срубить. Устройство простое, не ломается, а в сложенном виде — ножик как ножик, такими школяры делают зарубки на партах.

Он закрыл нож и передал Эшендену, и Эшенден упрятал его в карман вместе с револьвером.

— Может быть, у вас еще что-нибудь есть?

— Только руки,— с вызовом ответил Мексиканец.— Но ими, я думаю, на таможне не заинтересуются.

Эшенден припомнил его железное рукопожатие и внутренне содрогнулся. Руки у Мексиканца были длинные, кисти большие, гладкие, без единого волоска, с заостренными, ухоженными красными ногтями — действительно, довольно страшные руки.

Эшенден и генерал Кармона порознь прошли пограничные формальности, а потом, в купе, Эшенден вернул ему револьвер и нож. Мексиканец облегченно вздохнул:

— Ну вот, так-то лучше. А что, может быть, сыграем в карты?

— С удовольствием,— ответил Эшенден.

Безволосый Мексиканец опять открыл чемодан и вытащил откуда-то из глубины засаленную французскую колоду. Он спросил, играет ли Эшенден в экарте, услышал, что не играет, и предложил пикет. Эта игра была Эшендену в какой-то мере знакома, договорились о ставках и начали. Поскольку оба были сторонниками скорых действий, играли в четыре круга, вместо шести, удваивая очки в первом

и последнем. Эшендену карта шла неплохая, но у генерала всякий раз оказывалась лучше. Вполне допуская, что его партнер не полагается только на слепой случай, Эшенден все время был начеку, но ничего мало-мальски подозрительного не заметил. Он проигрывал кон за коном — генерал справлялся с ним, как с младенцем. Сумма его проигрыша все возрастала и достигла примерно тысячи франков, что по тем временам было достаточно много. А генерал одну за другой курил сигареты, которые сам себе скручивал с фантастическим проворством — завернет одним пальцем, лизнет, и готово. Наконец он откинулся на спинку своей полки и спросил:

— Между прочим, друг мой, британское правительство оплачивает ваши карточные проигрыши, когда вы при исполнении?

— Разумеется, нет.

— В таком случае, я нахожу, что вы проиграли достаточно. Другое дело, если бы это шло в счет ваших издержек, тогда я предложил бы вам играть до самого Рима, но я вам симпатизирую. Раз это ваши собственные деньги, я больше у вас выигрывать не хочу.

Он собрал карты и отодвинул колоду. Эшенден без особого удовольствия вынул несколько банкнот и отдал Мексиканцу. Тот пересчитал их, с присущей ему аккуратностью сложил стопкой, перегнул пополам и спрятал в бумажник. А потом протянул руку и почти ласково потрепал Эшендена по колену.

— Вы мне нравитесь, вы скромны и незаносчивы, в вас нет этого высокомерия ваших соотечественников, и я знаю, вы правильно поймете совет, который я вам дам. Не играйте в пикет с людьми, вам неизвестными.

Наверно, на лице у Эшендена отразилась досада, потому что Мексиканец схватил его за руку.

— Мой дорогой, я не оскорбил ваши чувства? Этого мне бы никак не хотелось. Вы играете в пикет вовсе не хуже других. Не в этом дело. Если нам с вами придется дольше быть вместе, я научу вас, как выигрывать в карты. Ведь играют ради денег, и в проигрыше нет смысла.

— Я думал, все дозволено только в любви и на войне, — усмехнулся Эшенден.

— Ага, я рад, что вы улыбаетесь. Именно так надо встречать поражение. Вижу, у вас хороший характер и умная голова. Вы далеко пойдете в жизни. Когда я снова окажусь в Мексике и ко мне возвратятся мои поместья, непременно приезжайте погостить. Я приму вас, как коро-

ля. Вы будете ездить на лучших моих лошадях, мы с вами вместе посетим бои быков, и если вам приглянется какая-нибудь красotka, только скажите слово, и она ваша.

И он стал рассказывать Эшендену о своих обширных мексиканских владениях, о гасиендах и рудниках, которые у него отобрали. Он живописал свое бывшее феодальное величие. Правда это была или нет, не имело значения, потому что его певучие, сочные фразы источали густой аромат романтики. Он рисовал Эшендену иную, несовременную, широкую жизнь и картинными жестами словно расстилал перед ним неоглядные бурные дали, и зеленые моря плантаций, и огромные стада, и в лунном свете ночей песнь слепых певцов, которая тает в воздухе под гитарный звон.

— Все, все мною утрачено. В Париже я дошел до того, что зарабатывал на кусок хлеба уроками испанского языка или таскался с американцами — я хочу сказать: *americanos del norte*<sup>1</sup>, — показывал им ночную жизнь города. Я, который швырял по тысяче *duros* за один обед, принужден был побираться, как слепой индеец. Я, кому в радость было застегнуть брильянтовый браслет на запястье красивой женщины, пал так низко, что принял костюм в подарок от старой карги, которая годилась мне в матери. Но — терпение. Человек рожден, чтобы мучиться, как искры — чтобы лететь к небу, но несчастья не вечны. Наступает час, когда мы нанесем удар.

Он взялся за свою засаленную колоду и разложил карты на маленькие кучки.

— Посмотрим, что нам скажут карты. Карты не лгут. Ах, если бы только я им больше доверял, мне не пришлось бы совершить тот единственный в моей жизни поступок, который с тех пор камнем висит у меня на душе. Совесть моя чиста. Я поступил так, как и следовало мужчине, однако очень сожалею, что необходимость толкнула меня на поступок, которого я всей душой предпочел бы не совершать.

Он стал просматривать карты в кучках, часть из них отбрасывал по какому-то не понятному для Эшендена принципу, потом оставшиеся перетасовал и опять разложил по кучкам.

— Карты меня предостерегали, не стану этого отрицать, предостерегали внятно и недвусмысленно. Любовь, прекрасная брюнетка, опасность, измена и смерть. Ясно как

---

<sup>1</sup> Североамериканцами (*исп.*).



день. Любой дурак бы на моем месте понял, о чем речь, а ведь я имел дело с картами всю жизнь. Шагу, можно сказать, не ступал, не посоветовавшись с ними. Непростительно. Я просто потерял голову. О, вы, люди северных рас, разве вы знаете, что такое любовь, как она лишает сна и аппетита и ты таешь, словно от лихорадки. Разве вы понимаете, какое это безумство, ты делаешься словно помешанный и ни перед чем не остановишься, чтобы только утолить свою страсть. Такой человек, как я, когда влюбляется, способен на любую глупость, и на любое преступление, *si, seïog*<sup>1</sup>, и на героизм. Он взберется на горы выше Эвереста и переплывет моря шире Атлантики. Он — бог, он — дьявол. Женщины — моя погибель.

Безволосый Мексиканец еще раз перебрал карты в кучках, опять одни отбросил, другие оставил. И перетасовал.

— Меня любило много женщин. Говорю это не из тщеславия. Почему, не знаю. Просто — факт. Поезжайте в Мехико и спросите, что там известно про Мануэля Кармону и его победы. Спросите, много ли женщин устояло перед Мануэлем Кармоной.

Эшенден внимательно смотрел на него, а сам тревожно думал: что, если пронизательнейший Р., всегда с таким безошибочным чутьем избиравший орудия своей деятельности, на этот раз все-таки ошибся? Ему было слегка не по себе. Неужели Безволосый Мексиканец действительно считает себя неотразимым, или же он просто жалкий хвостун? Между тем генерал после повторных манипуляций отбросил все карты, кроме четырех последних, и эти четыре вверх рубашками уложил перед собой в ряд. Он по очереди потрогал их одним пальцем, но переворачивать не стал.

— В них — судьба,— произнес он,— и никакая сила на свете не может ее изменить. Я в нерешительности. Всякий раз в последнюю минуту я колеблюсь и принужден делать над собой усилие, чтобы открыть карты и узнать о несчастьи, быть может, меня ожидающем. Я не из трусливых, но были случаи, когда на этом самом месте мне так и не хватало храбрости взглянуть на четыре решающих карты.

И действительно, он поглядывал на карточные рубашки с откровенной опаской.

— Так о чем я вам рассказывал?

— О том, что женщины не могут устоять перед вашим обаянием,— сухо напомнил Эшенден.

---

<sup>1</sup> Да, сударь (*исп.*).

— И все же однажды нашлась такая, которая осталась равнодушна. Я увидел ее в одном доме, в casa de mujeres<sup>1</sup> в Мехико, она спускалась по лестнице, а я как раз поднимался навстречу; не такая уж красавица, у меня были десятки куда красивее, но в ней было что-то, что запало мне в душу, и я сказал старухе, которая содержала тот дом, чтобы она ее ко мне прислала. Будете в Мехико, вы эту старуху узнаете, ее там зовут Маркиза. Она сказала, что та женщина у нее не живет, а только иногда приходит, и что она уже ушла. Я велел, чтобы завтра вечером она меня дожидалась, но назавтра меня задержали дела, и, когда я приехал, Маркиза мне передала от нее, что она не привыкла ждать и уехала. Я человек покладистый, я не против женских капризов и причуд, они придают женщинам прелести, поэтому я только смеюсь, посылаю ей бумажку в сто duros и с ними — обещание, что завтра буду пунктуальнее. Но назавтра, когда я являюсь, минута в минуту, Маркиза возвращает мне мою сотню и объясняет, что моей избраннице я не нравлюсь. Такая дерзость меня совсем рассмешила. Я снял у себя с пальца бриллиантовый перстень и велел старухе передать ей — может быть, это заставит ее изменить свое отношение. Утром Маркиза приносит мне за перстень... красную гвоздику. Что тут будешь делать, сердиться или смеяться? Я не привык встречать преграды моим желаниям и никогда не жалею, если нужно потратить деньги (зачем они вообще, как не затем, чтобы тратить их на хорошеньких женщин?), и я велел Маркизе пойти к этой женщине и сказать, что я дам ей тысячу duros за то, чтобы она сегодня вечером со мной пообедала. Старуха ушла и возвращается с ответом, что та придет, но при условии, что сразу же после обеда я отпущу ее домой. Я пожал плечами и согласился. У меня и в мыслях не было, что она это всерьез, думал, просто набивает себе цену. И вот она приехала обедать ко мне домой. Не особенно красива, так я, кажется, вам сказал? Самая прекрасная, самая очаровательная из всех женщин, каких я встречал в жизни. Я был околдован. И прелестная, и такая остроумная. Все совершенства настоящей андалусской красавицы. Словом, обворожительнейшая женщина. Я спросил, почему она так со мной нелюбезна, — она засмеялась мне в лицо. Я из кожи лез, чтобы расположить ее к себе. Пустил в ход все мое искусство. Превзошел самого себя. Но как только мы кончили обедать, она поднялась из-за стола и простилась,

---

<sup>1</sup> Публичный дом (исп.).

пожелав мне спокойной ночи. Я спросил, куда она собралась. Она отвечает, что я обещал ее отпустить и как человек чести должен сдерживать слово. Я спорил, уговаривал, бушевал, безумствовал — она стояла на своем. Единственное, чего мне удалось от нее добиться, это согласия завтра опять прийти ко мне обедать на тех же условиях.

Вы скажете, я вел себя как последний дурак? Я был счастливейший из людей; семь вечеров подряд я платил ей по тысяче *duros* за то, что она приходила ко мне обедать. Каждый вечер я ждал, обмирая от волнения, как *novillero*<sup>1</sup> перед первым боем быков, и каждый вечер она играла мной, и смеялась, и кокетничала, и доводила меня до иступления. Я влюбился без памяти. Я за всю мою жизнь, ни прежде, ни потом, никого так страстно не любил. Я забыл обо всем на свете. Ни о чем другом не думал. Я патриот, я люблю родину. Нас собрался небольшой кружок единомышленников, и мы решили, что невозможно больше терпеть деспотизм властей, от которого мы так страдаем. Все прибыльные должности доставались другим, нас облагали налогами, словно каких-то торгашей, и постоянно подвергали невыносимым унижениям. У нас были средства и были люди. Мы разработали планы и уже приготовились выступить. Мне столько всего нужно было сделать — говорить на сходках, добывать патроны, рассылать приказы, — но я был так околдован этой женщиной, что ничему не мог уделить внимания.

Вы, может быть, думаете, что я сердился за то, что она мной помыкает — мной, который привык удовлетворять свою малейшую прихоть; но я считал, что она отказывает мне не нарочно, не для того, чтобы меня распалить, я принимал на веру ее слова, что она отдастся мне, только когда полюбит. И что от меня зависит, чтобы она меня полюбила. Для меня она была ангел. Ради нее я согласен был ждать. Меня сжигало такое пламя, что рано или поздно, я знал, вспыхнет и она — так степной пожар охватывает все на своем пути. И наконец! Наконец, она сказала, что любит. Я испытал безумное волнение, я думал, что упаду и умру на месте. Какой восторг! Какое счастье! Я готов был отдать ей все, что у меня есть, сорвать звезды с неба и украсить ей волосы, мне хотелось сделать для нее что-нибудь такое, чтобы доказать всю безмерность моей любви, сделать невозможное, немислимое, отдать ей всего себя, свою душу, свою честь, все, все, чем владею и что представляю собой; и в ту ночь, когда она лежала у меня в объятьях, я открыл ей тайну

---

<sup>1</sup> Начинающий торeadор (*исп.*).

нашего заговора и назвал его зачинщиков. Я кожей ощутил, как она вдруг насторожилась, почувствовал, как вздрогнули ее ресницы, было что-то, сам не знаю что, может быть, холодная, сухая ладонь, гладившая меня по лицу, но меня вдруг пронзило подозрение, и сразу же вспомнилось, что предрекали карты: любовь, прекрасная брюнетка, опасность, измена и смерть. Трижды предостерегли меня карты, а я им не внял. Но виду я не подал. Она прижалась к моему сердцу и пролепетала, что это так страшно, неужели и такой-то замешан? Я ответил, что да. Мне надо было удостоверить. Понемножку, с бесконечной хитростью, между поцелуями, она выманила у меня все подробности заговора, и теперь я знал наверняка, как знаю, что вы сейчас тут сидите, что она — шпионка, шпионка президента, подосланная, чтобы завлечь меня дьявольскими чарами и вывести у меня наши секреты. И вот теперь мы все у нее в руках, и если она покинет это помещение, можно не сомневаться, что через сутки никого из нас не будет в живых. А я ее любил, любил; о, слова не в силах передать муку желаний, сжигавших мое сердце! Такая любовь — не радость, это боль, но боль восхитительная, которая слаще радости; небесное томление, которое, говорят, переживают святые, когда их охватывает божественный экстаз. Я понимал, что живая она не должна от меня уйти, и боялся, что, если промедлю, у меня может не хватить храбрости.

— Я, пожалуй, посплю,— сказала она мне.

— Спи, любовь моя,— ответил я.

— *Alma de mi sazáón*,— так она меня назвала — «душа моего сердца».

То были ее последние слова. Тяжелые ее веки, темные, как синий виноград, и чуть в испарине, тяжелые ее веки сомкнулись, и скоро по размеренному колыханию ее груди, соприкасающейся с моей, я убедился, что она заснула. Ведь я ее любил, я не мог допустить, чтобы она испытала мучения; да, она была шпионка, но сердце велело мне избавить ее от знания того, чему предстояло свершиться. Странно, но я не питал к ней зла за то, что она предательница; мне следовало бы ненавидеть ее за коварство, но я не мог, я только чувствовал, что на душу мне снизошла ночь. Бедная, бедная. Я готов был плакать от жалости. Я осторожно высвободил из-под нее руку, это была левая рука, правая у меня была свободна, и приподнялся, опираясь на локоть. Но она была так хороша, мне пришлось отвернуться, когда я со всей силой полоснул ножом поперек ее прекрасного горла. Не пробудившись, она от сна перешла в смерть.

Он замолчал, задумчиво глядя на четыре карты, которые все еще дожидались своей очереди, лежа вверх рубашками.

— А на картах все это было. Ну почему я их не послушал? Нет, не хочу на них смотреть. Будь они прокляты. Пусть убираются.

И от взмаха его руки вся колода разлетелась по полу.

— Я неверующий, а все же заказал по ней заупокойную службу.— Он откинулся, свернул сигарету и глубоко затянулся. Потом пожал плечами и спросил: — Вы ведь, полковник говорил, писатель? Что вы пишете?

— Рассказы,— ответил Эшенден.

— Детективные?

— Нет.

— Почему же? Я лично других не читаю. Если бы я был писателем, то непременно писал бы детективы.

— Это очень трудно. Столько всего надо предусмотреть. Один раз я задумал рассказ про убийство, но оно было такое хитроумное, мне самому было непонятно, как разоблачить убийцу, а ведь одно из требований жанра в том как раз и состоит, чтобы тайна, в конце концов, раскрывалась и преступник получал по заслугам.

— Если у вас убийство действительно такое хитроумное, единственный способ доказать вину убийцы— это вскрыть мотивы. Когда мотивы обнаружены, появляются шансы наткнуться и на улики, которых раньше не замечали. А без мотивов даже самые красноречивые улики будут неубедительны. Представьте себе, например, что однажды в безлунную ночь на пустынной улице вы подошли к прохожему и вонзили ему нож в сердце. Ну кому придет в голову подумать на вас? Но если это любовник вашей жены, или ваш брат, или если он вас обманул или оскорбил, тогда клочка бумаги, обрывка веревки или случайной обмолвки может оказаться довольно, чтобы привести вас на виселицу. Докопаются, где вы находились в момент убийства. Обязательно найдутся люди, которые вас видели незадолго перед этим и сразу потом. Но если убитый не имел к вам отношения, никому не придет в голову вас заподозрить. Джек-Потрошитель вон ходил себе по городу, покуда не попался прямо с поличным.

Эшенден по нескольким причинам был склонен переменить тему разговора. В Риме им предстояло расстаться, и надо было успеть обо всем условиться. Мексиканец из Рима ехал в Бриндизи, а Эшенден— в Неаполь. Там он намерен был поселиться в «Отель де Белфаст» — большой второразрядной гостинице вблизи порта, в которой останав-

ливались коммивояжеры и туристы попроще. Генералу следовало знать, в каком номере его можно найти, чтобы в случае чего прямо подняться к нему, не справляясь у портье. Поэтому на следующей остановке Эшенден купил в станционном буфете конверт и дал Мексиканцу, чтобы тот своей рукой написал собственное имя и адрес до востребования в Бриндизи. Теперь Эшендену оставалось только вложить листок с номером и опустить письмо в почтовый ящик.

Безволосый Мексиканец пожимал плечами.

— По мне, так все это детские уловки. Риска нет никакого. Ну, а уж если что случится, можете быть уверены, что на вас не падет и тени подозрения.

— Работа такого рода мне плохо знакома,— сказал Эшенден.— Я предпочитаю придерживаться инструкций полковника и знать только то, что мне совершенно необходимо.

— Вот именно. Если обстоятельства вынудят меня прибегнуть к крайним мерам и случится осечка, я, естественно, буду считаться политическим заключенным, а Италия рано или поздно все-таки должна будет выступить на стороне союзников, и меня освободят. Как видите, я все предусмотрел. Но вас я убедительно прошу не беспокоиться об исходе нашего дела, для вас пусть это будет просто пикник на берегу Темзы.

Все же, когда они наконец расстались и Эшенден очутился один в купе на пути в Неаполь, он вздохнул с великим облегчением. Он рад был, что избавился от своего болтливого, зловещего, фантастического спутника. Мексиканец поехал в Бриндизи на встречу с Константином Адреади, а если хотя бы половина из его рассказов — правда, Эшендену оставалось только поздравить себя с тем, что не он находится на месте этого грека. Интересно, что тот за человек? Становилось жутковато при мысли, что он со своими секретными документами и опасными тайнами плывет сейчас по синему Ионическому морю и, ничего не подозревая, засовывает голову прямо в петлю. Ну да война есть война, и только глупцы думают, будто можно воевать в лайковых перчатках.

По приезде в Неаполь Эшенден снял комнату в гостинице, печатными цифрами записал номер на листке бумаги и отправил Безволосому Мексиканцу. Потом сходил в британское консульство, куда, по уговору с Р., должны были

поступать для него инструкции,—там о нем уже было известно, и стало быть, все в порядке. Он решил, что теперь надо отложить все заботы и пока пожить в свое удовольствие. Здесь, на юге, весна уже была в разгаре, людные улицы заливало жаркое солнце. Эшенден неплохо знал Неаполь. Пьяцца ди Сан-Фердинандо, заполненная оживленной толпой, Пьяцца дель Плебишито, на которой стоит такая красивая церковь, пробудили в его сердце приятные воспоминания. На Страда ди Кьяра было так же шумно, как когда-то. Эшенден останавливался на углах, заглядывал в узкие, круто уходящие кверху проулки, поперек которых между высокими домами сушилось на веревках белье — точно праздничные флажки расцветивания между мачтами; гулял по набережной, щурясь на ослепительную гладь залива и виднеющийся в дымке Капри. Он дошел до Позилиппо, где в старом просторном палаццо с облупленными стенами провел в юности немало романтических часов. И с изумлением отметил легкую боль, которую ощутил в своем сжавшемся сердце при этой встрече с прошлым. Потом сел в извозчичью пролетку, запряженную приземистой, косматой лошадежкой, и с грохотом покатил по булыжникам обратно до Галереи, а там расположился в холодке за столиком, попивая коктейль амегисано, и стал разглядывать людей, которые сидели и стояли вокруг и без умолку, без усталости, оживленно жестикулируя, разговаривали, а он забавлялся тем, что, давая волю воображению, старался по их внешности догадаться, кто они такие в действительной жизни.

Три дня провел Эшенден в полной беспечности, так подходившей к этому фантастическому, неприбранному, приветливому городу. С утра до ночи ничего не делал — только блуждал по улицам, глядя вокруг не глазами туриста, который высматривает то, чем положено любоваться, и не глазами писателя, который ищет всюду свое (и может в красках заката найти красивую фразу или во встречном лице угадать характер), а глазами бродяги, для которого, что ни происходит, все имеет свой законченный смысл. Он сходил в музей взглянуть на статую Агриппины Младшей, которую имел причины вспоминать с нежностью, и воспользовался случаем, чтобы еще раз увидеть в картинной галерее Тициана и Брейгеля. Но всегда возвращался к церкви Санта Кьяра. Ее стройность и жизнерадостность, ее легкое, как бы шутовское обращение с религией и затаенное в глубине взволнованное чувство, ее прихотливые, но изящные линии — все вместе представлялось Эшендену одной несуразной, напыщенной и меткой метафорой этого солнечного,

прелестного города и его предприимчивых обитателей. Она говорила о том, что жизнь сладка и печальна; жаль, конечно, что не хватает денег, но деньги — это еще не все; да и вообще, велика ли важность, ведь сегодня мы есть, а завтра нас уж нет; и все это довольно забавно и увлекательно, и, в конце концов, приходится приспособливаться: *facciamo una piccola combinazione*<sup>1</sup>.

Но на четвертое утро, как раз когда Эшенден, выйдя из ванны, делал попытку вытереться полотенцем, которое не впитывало влагу, дверь его номера вдруг приотворилась, и в комнату быстро проскользнул какой-то человек.

— Что вам угодно? — вскрикнул Эшенден.

— Не волнуйтесь. Это я.

— Господи Боже, Мексиканец! Что это вы с собой сделали?

Парик на нем был теперь черный, коротко остриженный, плотно, как шапочка, облежавший голову. Это решительно изменило его внешность, она была по-прежнему очень странной, но совершенно иной. И одет он был в поношенный серый костюм.

— Я только на мгновение. Пока он бреется.

Эшенден почувствовал, как у него зарделись щеки.

— Значит, вы его нашли?

— Это не представляло труда. Он был единственный пассажир-грек на судне. Я поднялся на борт, как только они встали у причала, и объяснил, что приехал встретить знакомого из Пирея, которого зовут Георгий Диогенидис. Выяснилось, что такого нет, я очень удивился, ну, и разговорился с Андреади. Он путешествует под другим именем, зовет себя Ломбардос. Когда он сошел на берег, я последовал за ним, и знаете, что он предпринял первым делом? Зашел в парикмахерскую и велел сбрить себе бороду. Что вы на это скажете?

— Ничего. Всякий может сбрить бороду.

— А вот я думаю иначе. Он хочет изменить свою внешность. О, это хитрец. Уважаю немцев, они ни одной мелочи не упустят, у него легенда — не подкупаешься, сейчас расскажу.

— Вы, кстати сказать, тоже изменили внешность.

— А, да-да, парик другой; большая разница, правда?

— Я бы вас ни за что не узнал.

— Надо быть осторожным. Мы с ним закадычные друзья. В Бриндизи пришлось провести целый день, а он по-

---

<sup>1</sup> Заключим небольшую сделку (*ит.*).



итальянски ни полслова. Так что он рад был моей помощи. Мы с ним приехали вместе. Я привез его прямо в эту гостиницу. Он говорит, что завтра едет в Рим, но я не спускаю с него глаз, он от меня не улизнет. Теперь он якобы собирается осмотреть Неаполь, и я предложил показать ему все, что тут есть интересного.

— А почему он не едет в Рим прямо сегодня?

— Понимаете, тут все взаимосвязано. Он прикидывается греческим дельцом, разбогатевшим во время войны. Будто бы ему принадлежали два каботажных пароходика. Он их недавно продал и теперь едет кутить в Париж. Говорит, что всю жизнь мечтал побывать в Париже и вот теперь желание его исполняется. Себе на уме человек. Я чего только не делал, чтобы его разговорить, рассказал, что я испанец, что был в Бриндизи для установления связей с Турцией по вопросу о военных материалах. Он слушал, видно было, что заинтересовался, но сам — ни слова, ну, а я, естественно, не стал нажимать. Бумаги у него при себе.

— Откуда вы знаете?

— Он не беспокоится о своем чемодане, зато все время щупает себе поясницу. Они у него либо в поясе, либо под подкладкой жилета.

— А за каким чертом вы притащили его в эту гостиницу?

— По-моему, так будет удобнее. Возможно, нам понадобится обыскать его багаж.

— Так вы тоже здесь остановились?

— Нет, я не такой дурак. Я сказал ему, что уезжаю в Рим ночным поездом и поэтому номер мне не нужен. Но мне пора, я условился встретиться с ним в парикмахерской через четверть часа.

— Ну, хорошо.

— Где я вас найду сегодня вечером, если вы мне понадобится?

Эшенден задержал взгляд на Безволосом Мексиканце, а потом, хмурясь, отвернулся.

— Я буду сидеть в номере.

— Прекрасно. Взгляните-ка, в коридоре никого нет?

Эшенден открыл дверь и выглянул. Никого не было видно. В это время года гостиница вообще пустовала. Иностранцев в городе почти не было, наплыв гостей начинался позже.

— Все в порядке, — сказал Эшенден.

Безволосый Мексиканец бесстрашно вышел в коридор. Эшенден закрыл за ним дверь. Потом побрился, медленно

оделся. На площади по-прежнему сияло солнце, все так же мельтешили прохожие и обтерханные экипажи, запряженные тощими лошаденками, но они больше уже не наполняли душу Эшендена беззаботным весельем. Ему было не по себе. Он сходил в консульство, справился, как обычно, нет ли для него телеграммы. Ничего не было. Потом зашел к Куку, посмотрел расписание поездов на Рим: один отправляется сразу после полуночи, другой в пять утра. Хорошо бы успеть на первый. Какие планы у Мексиканца, он не знал; если действительно ему надо на Кубу, наверное, удобнее всего ехать через Испанию; и Эшенден высмотрел ему пароход до Барселоны, который отплывал из Неаполя на следующий день.

Неаполь прискучил Эшендену. От яркого солнца устали глаза, на улицах несносная пылица, нестерпимый грохот. Он выпил коктейль в Галерее. Посидел. Потом сходил в кино. К вечеру, вернувшись в гостиницу, сказал портье, что завтра чуть свет уезжает и поэтому хочет расплатиться сейчас, а когда с этим было покончено, свез вещи на вокзал, оставив только портфель, в котором у него лежал ключ к шифру и две-три книги для чтения. Потом поужинал. И, наконец, вернувшись к себе в номер, уселся ждать Безволосого Мексиканца. Он вынужден был признаться себе, что сильно нервничает. Взаясь было читать — книга оказалась нудная; попробовал другую — но не смог сосредоточиться. Посмотрел на часы — было еще безнадежно рано. Снова открыл книгу, дав себе обещание не глядеть на часы, пока не прочтает тридцать страниц, но только исправно водил глазами по строчкам и переворачивал страницы, почти совсем не сознавая прочитанного. Опять взглянул на часы — Боже милосердный, только половина одиннадцатого! Интересно, где сейчас Безволосый Мексиканец? Что делает? Как бы не наломал дров. Ужасно. Пожалуй, надо закрыть окно и задернуть шторы. Он выкурил бессчетное множество сигарет. Посмотрел на часы — четверть двенадцатого. Мелькнула одна мысль, от которой бешено забилося сердце; для интереса он сосчитал свой пульс, но пульс, как ни странно, оказался в норме. Ночь была такой теплой, в комнате стояла духота, но руки и ноги у Эшендена были ледяные. До чего неприятно иметь богатое воображение, которое рисует перед тобой яркие картины, хотя тебе вовсе не хочется их видеть! Как писатель Эшенден часто помышлял об убийстве — вот и теперь на память ему пришла страшная история, описанная в «Преступлении и наказании». Думать об этом не хотелось, но мысли сами лезли

в голову, книга лежала забытая на коленях и, глядя в стену (обои были коричневые в блеклых розочках), он стал прикидывать, как лучше всего можно совершить убийство в Неаполе. Ну конечно, ведь здесь есть большой сад с аквариумом на берегу залива; ночью в нем безлюдно и очень темно — под покровом тьмы там творятся разные черные дела, и люди благоразумные стараются после наступления сумерек держаться подальше от его зловещих аллей. Дорога за Позилиппо совсем пустынна, от нее отходят кверху проселки, на них ночью не встретишь ни души, но как заманишь туда человека, если он не бесчувственный чурбан? Можно пригласить его покататься на лодке по заливу, но лодочник, у которого будешь нанимать лодку, вероятно, вас запомнит, да и вообще навряд ли он пустит вас кататься одних; есть портовые гостиницы, где не задают вопросов приезжающим среди ночи и без багажа; но опять же, слуга, провожая тебя в номер, сумеет хорошо разглядеть твое лицо, да еще надо будет заполнить книгу регистрации.

Эшенден опять посмотрел на часы. Он страшно устал. Теперь он сидел просто так, не пытаясь больше читать и ни о чем не думая.

Дверь бесшумно открылась. Он вскочил. По коже побежали мурашки. Перед ним стоял Безволосый Мексиканец.

— Я вас испугал? — с улыбкой осведомился он. — Я подумал, что лучше будет войти без стука.

— Видел вас кто-нибудь?

— Меня впустил ночной портье; он спал, когда я позвонил у парадного, и на меня даже не взглянул. Извините, что так поздно, но мне надо было переодеться.

На Безволосом Мексиканце был теперь прежний франтоватый костюм и светлый парик, в котором он приехал. Это опять разительно изменило его наружность. Он казался теперь выше, ярче; даже лицо стало другое. Глаза блестели, видно было, что человек в отличном расположении духа. Он мельком взглянул на Эшендена.

— Что это вы так бледны, мой друг? Неужели нервничаете?

— Вы достали документы?

— Нет. При нем их не оказалось. Вот все, что у него было.

Он положил на стол пухлый бумажник и паспорт.

— Этого мне не нужно, — быстро сказал Эшенден. — Уберите.

Безволосый Мексиканец пожал плечами и упрятал все к себе в карман.

— А что же было в поясе? Вы говорили, что он все время щупает себе пояснуцу.

— Только деньги. Я перебрал бумажник. Там частные письма и фотографии женщин. Должно быть, он сегодня, перед тем как встретиться со мной, переложил документы в чемодан.

— Черт,— простонал Эшенден.

— Вот ключ от его номера. Нам с вами надо пойти и посмотреть его багаж.

У Эшендена заныло под ложечкой. От замялся. Мексиканец добродушно усмехнулся.

— Опасности никакой, *amigo*<sup>1</sup>,— сказал он, словно успокаивал ребенка.— Но если вам так не хочется, я пойду один.

— Нет, пойдем вместе,— ответил Эшенден.

— В гостинице все спят крепким сном, ну, а господин Андреади нас не потревожит. Можете разуться, если хотите.

Эшенден промолчал. Он заметил, что пальцы у него слегка дрожат, и поморщился. Он расшнуровал и скинул ботинки. Мексиканец сделал то же самое.

— Ступайте вы первый,— сказал он.— Сверните налево, и прямо по коридору. Комната тридцать восемь.

Эшенден открыл дверь и первым вышел в коридор. Здесь было полутемно, лампы горели тускло. Он нервничал и досадовал на себя за это, тем более что его спутник явно не испытывал ни малейшего волнения. Они подошли к двери, Безволосый Мексиканец вставил ключ в замочную скважину, повернул и вошел в номер. Зажег свет. Эшенден вошел следом и закрыл за собой дверь. Жалюзи на окне были опущены.

— Ну вот, теперь все в порядке. Можно не спешить.

Мексиканец вынул из кармана связку ключей, стал пробовать их наудачу, и наконец один подошел. В чемодане лежали носильные вещи.

— Дешевка,— презрительно заметил Мексиканец, вытаскивая их по одной.— Мой принцип — покупать самое лучшее, это всегда в итоге оказывается дешевле. Одно из двух: либо ты джентльмен, либо нет.

— Вам обязательно разговаривать? — буркнул Эшенден.

— Привкус опасности воздействует на людей по-разному. Меня она просто возбуждает, а вас приводит в дурное расположение духа, *amigo*.

---

<sup>1</sup> Дружище (*исп.*).

— Дело в том, что мне страшно, а вам нет,— честно признался Эшенден.

— Это все нервы.

Одновременно Мексиканец быстро, но тщательно прощупывал вынимаемую одежду. Никаких бумаг в чемодане не было. Тогда он вытащил нож и надрезал подкладку. Чемодан был дешевенький, подкладка приклеена прямо к дерматину, ничего лежать там не могло.

— Тут их нет... Наверно, спрятаны где-то в комнате.

— А вы уверены, что он их никуда не сдал? В какое-нибудь консульство, например?

— Я ни на минуту не упустил его из виду, разве только когда он брился.

Безволосый Мексиканец выдвинул ящики комода, распахнул дверцы шкафа. Ковра на полу не было, но под кровать, под матрац, в постель он заглянул. Его цепкие черные глаза обшарили в поисках тайника все стены, все углы.

— Может быть, он оставил их внизу у портье?

— Я бы знал. И он не рискнул бы. Их здесь нет. Непонятно.

Он еще раз недоуменно оглядел комнату, сосредоточенно наморщив лоб.

— Уйдем отсюда,— сказал Эшенден.

— Одну минуту.

Мексиканец опустился на колени и ловко и аккуратно упаковал обратно в чемодан вынутую одежду. Щелкнул замком, встал. Потом выключил свет, осторожно открыл дверь, выглянул в коридор. И, сделав знак Эшендену, вышел. Эшенден вышел следом, и тогда Мексиканец запер номер, спрятал ключ в карман, и они вместе вернулись в комнату Эшендена. Дверь за собой они заперли на задвижку, и Эшенден вытер потные ладони и лоб.

— Слава богу, выбрались!

— Не было ни малейшей опасности. Но что нам теперь делать? Полковник рассердится, что мы не добыли документы.

— Я уезжаю пятичасовым в Рим. И оттуда телеграфно запрошу инструкций.

— Очень хорошо, я еду с вами.

— Я считал, что вам лучше поскорее уехать из страны. Завтра отплывает пароход до Барселоны. Почему бы вам не отправиться на нем, а я, если понадобится, вас там найду?

Безволосый Мексиканец слегка ухмыльнулся.

— Я вижу, вам не терпится от меня избавиться. Ну что ж, не буду противиться вашему желанию, оно извинительно

ввиду вашей неопытности. Поеду в Барселону. У меня есть испанская виза.

Эшенден посмотрел на часы. Самое начало третьего. Еще почти три часа ожидания. Его гость непринужденно свернул себе сигарету.

— Что бы вы сказали насчет небольшого ужина? — предложил он. — Я проголодался, как волк.

Мысль о еде была Эшендену отвратительна, его только мучила жажда. Идти куда-то вместе с Безволосым Мексиканцем не хотелось, но и оставаться одному в гостинице тоже было не заманчиво.

— А куда можно сунуться в такое время?

— Пошли. Я вас отведу.

Эшенден надел шляпу, взял с собой портфель. Они спустились по лестнице. В холле на тюфяке, расстеленном прямо на полу, спал ночной портье. Ступая осторожно, чтобы не разбудить его, Эшенден прошел мимо конторки и увидел в ящичке со своим номером конверт. Вынул — действительно, конверт был адресован ему. Они на цыпочках вышли на улицу, прикрыв за собой дверь. И быстро зашагали прочь. Отойдя шагов на сто, Эшенден остановился под фонарем, достал письмо и прочел; писали из консульства: «Вложенная телеграмма поступила сегодня вечером, на всякий случай отправляю ее к вам в гостиницу с посыльным». Видимо, ее доставили ближе к полуночи, когда Эшенден сидел и ждал у себя в номере. Телеграмма оказалась шифрованная.

— Подождет, — сказал он и сунул ее в карман.

Безволосый Мексиканец шел уверенно, по-видимому, он хорошо ориентировался на пустынных ночных улицах. Эшенден шагал с ним рядом. Наконец они дошли до какой-то дрянной и шумной таверны в одном из пристанских тупиков.

— Правда, не «Риц», — сказал Мексиканец, входя, — но об эту пору ночи только в таких заведениях и могут накормить человека.

Они очутились в длинном смрадном помещении; в дальнем конце сидел за фортепьяно старообразный юнец; у противоположных стен торцами стояли столы, возле столов — скамьи. Здесь находилось с десятков посетителей, мужчин и женщин. Пили вино и пиво. Женщины сидели страшные, старые, размалеванные, их грубое веселье было шумным и в то же время безжизненным. Они все обернулись навстречу входящим Эшендену и Мексиканцу; и Эшенден, усевшись за стол, не знал, куда смотреть, чтобы только не

встретиться с этими искательными, плотоядными взглядами, готовыми загореться зазывной улыбкой. Старообразный пианист заиграл какую-то музыку, и несколько пар поднялись и пошли танцевать. Мужчин не хватало, некоторые женщины танцевали одна с другой. Генерал заказал две порции спагетти и бутылку каприйского вина. Как только вино подали, он с жадностью выпил полный стакан и, сидя в ожидании макарон, разглядывал женщин за другими столами.

— Вы не танцуете? — спросил он Эшендена. — Я сейчас приглашу какую-нибудь из этих девочек.

Эшенден сидел и смотрел, а Мексиканец встал, подошел к одной, у которой были, по крайней мере, блестящие глаза и белые зубы; она поднялась, и он обхватил ее за талию. Танцевал он превосходно. Эшенден видел, как он заговорил со своей дамой, как она рассмеялась, и вот уже безразличное выражение, с которым она приняла его приглашение, сменилось заинтересованным. Скоро уже оба весело болтали. Потом танец кончился, Безволосый Мексиканец отвел ее на место, а сам вернулся к Эшендену и выпил еще стакан вина.

— Как вам моя дама? — спросил он. — Неплоха, верно? Приятная вещь танцы. Почему бы и вам не пригласить которую-нибудь? Прекрасное местечко, а? Можете на меня положиться, я всегда приведу куда надо. У меня инстинкт.

Пианист снова заиграл. Женщина вопросительно оглянулась на Безволосого Мексиканца и, когда он большим пальцем указал ей туда, где топтались пары, с готовностью вскочила со скамьи. Он застегнул на все пуговицы пиджак, выгнул спину и ждал, стоя сбоку у стола. Она подошла к нему, он рванул ее с места, и они поскакали, разговаривая, смеясь, и оказалось, что он уже со всеми в таверне на дружеской ноге. По-итальянски, с испанским акцентом, он перешучивался то с тем, то с этим. Его остроты вызывали смех. Когда же официант принес две тарелки спагетти, Мексиканец, увидев еду, без долгих церемоний бросил свою даму, предоставив ей самостоятельно возвращаться на место, и поспешил к себе за стол.

— Умираю с голоду, — сказал он. — А ведь сытно поужинал. Вы где ужинали? Поешьте немного макарон, а?

— Аппетита нет, — ответил Эшенден.

Однако придвинул тарелку и, к удивлению своему, обнаружил, что тоже голоден. Безволосый Мексиканец ел, набивая рот и получая от еды огромное удовольствие; он поглядывал вокруг блестящими глазами и, не умолкая, раз-

говаривал. Его дама успела рассказать ему все о себе, и теперь он пересказывал Эшендену историю ее жизни. Он отламывал и запихивал в рот огромные куски хлеба. И распорядился принести еще бутылку вина.

— Что вино! — презрительно кричал он. — Вино — это не напиток, вот разве только шампанское. А это все даже жажду не утоляет. Ну как, amigo, получше чувствуете себя?

— Должен признаться, что да, — улыбнулся Эшенден.

— Практика, вот все, чего вам недостает, немного практики.

Он потянулся через стол и похлопал Эшендена по плечу.

— Что это? — вскрикнул Эшенден, весь передернувшись. — Что за пятно у вас на манжете?

Безволосый Мексиканец скосил глаза на край своего рукава.

— Ах, это? Да ничего. Всего-навсего кровь. Несчастный случай, порезался немного.

Эшенден молчал. Глаза его сами отыскивали циферблат часов над входной дверью.

— Беспокойтесь, как бы не опоздать на поезд? Еще один последний танец, и я вас провожу на вокзал.

Мексиканец поднялся, со свойственной ему великолепной самоуверенностью подхватил ближайшую женщину и пустился танцевать. Эшенден хмуро водил за ним глазами. Конечно, он страшный, чудовищный человек, и эта его голая рожа в обрамлении белокурого парика — бр-р-р; но двигался он с бесподобной грацией, небольшие ступни мягко упирались в пол, точно кошачьи или тигриные лапы, и видно было, что свою бедную размалеванную даму он совсем закружил и околдовал. Музыка пронизала его с головы до ног, музыка жила в его крепких, загребущих руках и в длинных ногах, так странно шагающих прямо от бедра. Зловещее, кошмарное существо, но сейчас в нем было какое-то хищное изящество, даже своего рода красота — невозможно было, вопреки всему, им тайно не залюбоваться. Эшендену он напомнил каменные изваяния доацтекской эпохи, в которых грубый примитив сочетается с жизненной силой, в которых есть что-то страшное и жестокое и одновременно есть своя вдумчивая, осмысленная прелесть. Но все равно он бы с удовольствием предоставил Мексиканцу самому коротать остаток ночи в этом жалком притоне, если бы не деловой разговор, который еще надо было с ним провести. Предстоящее объяснение не сулило ничего приятного. Эшенден был уполномочен вручить Мануэлю Кармоне некоторую сумму в обмен на некие документы. Однако



документов нет, и взяться им неоткуда, а больше Эшенден знать ничего не знал, дальнейшее его не касалось.

Безволосый Мексиканец, вальсируя мимо, помахал ему рукой.

— Буду с вами, как только кончится музыка. Расплатитесь пока, и я как раз появлюсь.

Неплохо бы знать, что у него на уме. Эшенден даже отдаленно себе этого не представлял.

Мексиканец, отирая раздушенным платком пот со лба, подошел к столу.

— Хорошо повеселились, генерал?

— Я всегда веселюсь в свое удовольствие. Конечно, это все белая голь, но мне что за дело? Я люблю почувствовать тело женщины у себя в руках, и чтобы глаза у нее затуманились и губы приоткрылись, и чтобы она вся млела и таяла передо мной, как сливочное масло на солнце. Голь-то они голь, да все-таки женщины.

Мексиканец и Эшенден вышли на улицу. Генерал предложил идти пешком — в это время ночи и в этом квартале такси поймать неммыслимо. Небо было звездным — стояла по-настоящему летняя, тихая ночь. Безмолвие шагало об руку с ними, точно тень убитого. Когда подошли к вокзалу, силуэты зданий вдруг оказались серее и четче; чувствовалось, что близок рассвет, и воздух пробрала мимолетная дрожь. То был извечно волнующий миг, когда душа замирает в страхе, унаследованном от несчетных прежних поколений: а вдруг случится так, что новый день не настанет?

Они вошли в помещение вокзала и снова очутились во власти ночи. Там и сям отдыхали носильщики, словно рабочие сцены, которым нечего делать после того, как опущен занавес и убраны декорации. неподвижно стояли на посту два солдата в неразличимой форме.

Зал ожидания пустовал, но Эшенден и Безволосый Мексиканец на всякий случай прошли и уселись в самом дальнем углу.

— У меня еще целый час до поезда. Посмотрим, о чем телеграмма.

Эшенден достал из кармана телеграмму, а из портфеля — ключ к шифру. Шифр, которым он тогда пользовался, был не очень сложен. Ключ состоял из двух частей, одна содержалась в тоненькой книжице у него в портфеле, другую, уместившуюся на одном листке, который он получил и уничтожил, перед тем как оказаться на чужой территории, он хранил в памяти. Эшенден надел очки и приступил к работе. Безволосый Мексиканец сидел в углу деревянного

дивана, сворачивал сигареты и курил; он не обращал внимания на то, что делает Эшенден, а просто предавался заслуженному отдыху. Эшенден одну за другой расшифровывал группы цифр и по ходу дела записывал на листок каждое разгаданное слово. Его метод состоял в том, чтобы до завершения работы не вдумываться в смысл, иначе, как он убедился, начинаешь поневоле делать преждевременные выводы, что может привести к ошибке. Так он сидел и механически записывал слово за словом, не сознавая, что они значат. И только когда наконец все было готово, прочел телеграмму целиком. Текст ее был такой:

«Константин Андреади задержался в Пирее ввиду болезни. Прибыть Неаполь не сможет. Возвращайтесь Женеву и ждите инструкций».

Сначала Эшенден не понял. Перечитал еще раз. Он чувствовал, как с ног до головы его начинает бить дрожь. И, вне себя, выпалил бешеным, сиплым шепотом, совершенно утратив на миг свою хваленую выдержку:

— Чертов болван! Вы не того убили!

## БЕЛЬЕ МИСТЕРА ХАРРИНГТОНА<sup>1</sup>

Когда Эшенден поднялся на палубу и увидел впереди низкий берег и белый город, он почувствовал приятное волнение. Утро только начиналось, солнце едва встало, но море было зеркальным, а небо голубым. Уже становилось жарко, и день обещал палящий зной. Владивосток. Ощущение возникало такое, что ты и правда очутился на краю света. Позади Эшндена был долгий путь — из Нью-Йорка в Сан-Франциско, на японском пароходе через Тихий океан в Иокогаму, затем из Цуруги на русском пароходе — он единственный англичанин среди пассажиров — по Японскому морю на север. Из Владивостока ему предстояло отправиться на транссибирском экспрессе в Петроград. Такого важного поручения он еще не выполнял, и ему нравилось чувство ответственности, которое оно в нем вызывало. Он никому не подчинялся, он располагал неограниченными средствами (в потайном поясе под одеждой он вез аккредитивы на такую гигантскую сумму, что испытывал ошеломление всякий раз, когда вспоминал про них), и хотя от него требовалось сделать то, что превосходило человеческие возможности, он этого не знал и готовился взяться за дело в полной убежденности в успехе. Он верил в свою находчивость. При всем его уважении и восхищении эмоциональностью рода людского, интеллект себе подобных особого почтения ему не внушал: человеку всегда легче пожертвовать жизнью, чем выучить таблицу умножения.

Десять дней в русском поезде Эшенден предвкушал без особого восторга, а в Иокогаме до него дошли слухи, что один-два моста взорваны и поезда не ходят. Ему сообщили,

---

<sup>1</sup> © Перевод. Гурова И., 1992 г.

что солдаты, которые никому и ничему теперь не подчиняются, ограбят его и выкинут голого в степи идти пешком, куда он пожелает. Довольно радужная перспектива. Однако из Владивостока поезд, безусловно, уйдет, и чтобы ни произошло потом (а Эшендена не оставляло ощущение, что положение никогда не бывает таким скверным, как ожидаешь), он твердо решил уехать с ним. Сойдя на берег, он намеревался тут же отправиться в английское консульство и узнать, что они для него устроили. Но когда берег приблизился и он яснее разглядел неряшливый и замызганный город, ему стало тоскливо. По-русски он знал лишь несколько слов. По-английски на пароходе говорил только эконо́м, и хотя он обещал Эшендену всю помощь, на какую был способен, у Эшендена сложилось впечатление, что рассчитывать на него особенно нельзя. И потому он испытал явное облегчение, когда они причалили и щуплый молодой человек с буйной шевелюрой, несомненно еврей, подошел к нему и спросил, не Эшенден ли его фамилия.

— А моя — Бенедикт. Я переводчик при английском консульстве. Мне поручено приглядеть за вами. У нас есть для вас место на поезде, который отходит вечером.

Эшенден ободрился. Они сошли на берег. Еврейчик занялся его багажом, представил для проверки его паспорт, после чего они сели в ожидавшую их машину и поехали в консульство.

— Мне поручено оказывать вам всемерное содействие, — сказал консул. — Только скажите, в чем вы нуждаетесь. На поезд я вас бесспорно устрою, но только Богу известно, доберетесь ли вы до Петрограда. А, да, кстати, у меня для вас есть спутник. По фамилии Харрингтон, американец. Едет в Петроград как представитель какой-то филадельфийской фирмы. Думает заключить контракт с Временным правительством.

— Что он такое? — спросил Эшенден.

— Вполне приемлем. Я хотел пригласить его с американским консулом к завтраку, но они уехали осматривать окрестности. На вокзале вам надо быть часа за два до отхода поезда. Там всегда ужасная давка, и если вы не явитесь загодя, кто-нибудь займет ваше место.

Поезд отходил в полночь, и Эшенден поужинал с Бенедиктом в вокзальном ресторане, единственном, как выяснилось, месте в этом запущенном городе, где можно было прилично поесть. Зал был переполнен. Обслуживали с изнуряющей медлительностью. Когда они вышли, перрон, хотя ждать оставалось еще добрых два часа, уже кишел

людьми. На грудах багажа сидели целые семьи, словно бы разбившие там бивак. Люди куда-то бежали или стояли, сбившись в кучки, и о чем-то яростно спорили. Кричали женщины. Другие тихо плакали. Неподалеку свирепо ссорились двое мужчин. Всюду царил неописуемый хаос. Свет вокзальных ламп был тускло холодным, и белые лица этих людей были как белые лица мертвецов, терпеливо или с боязнью, с отчаянием или с раскаянием ждущих приговора в Судный день. Подали состав — большинство вагонов были уже битком набиты. Когда Бенедикт нашел купе Эшендена, из него выскочил возбужденный мужчина.

— Входите и садитесь, — сказал он. — Я с большим трудом отстоял ваше место. Какой-то субчик хотел ворваться сюда с женой и двумя детьми. Мой консул только что ушел с ним к начальнику станции.

— Это мистер Харрингтон, — сказал Бенедикт.

Эшенден вошел в купе. Оно было двухместным. Носильщик уложил его багаж, а он обменялся рукопожатием со своим спутником.

Мистер Джон Куинси Харрингтон был тощим, ниже среднего роста — желтоватое, обтянутое кожей лицо, большие белесо-голубые глаза. Когда он снял шляпу, чтобы утереть лоб, увлажненный недавними волнениями, обнаружился большой лысый череп, обтянутый кожей, под которой четко и обескураживающе вырисовывались все шишки и впадины. Он носил котелок, черный сюртук с жилетом, брюки в полоску, очень высокие белые воротнички и галстук неяркой расцветки. Эшенден не мог точно сказать, как следует одеваться для десятидневной поездки через Сибирь, но костюм мистера Харрингтона все-таки показался ему несколько эксцентричным. Каждое слово он произносил четко и внятно пронзительным голосом, и по его выговору Эшенден определил в нем уроженца Новой Англии.

Минуту спустя появился начальник станции в сопровождении бородатого русского, видимо, в состоянии иступления. Сзади шла дама, ведя за руки двух детей. По лицу русского катились слезы, губы у него дрожали. Он что-то втолковывал начальнику станции, которому его супруга сквозь слезы, видимо, рассказывала историю своей жизни. Когда они остановились перед дверью купе, спор стал более яростным, и в него вступил Бенедикт, говоривший по-русски с большой беглостью. Мистер Харрингтон не знал ни единого русского слова, но, будучи как будто легко возбудимой натурой, немедленно вмешался и красноречиво объяснил по-английски, что места эти были заранее заказа-

ны консулами Великобритании и Соединенных Штатов Америки соответственно, и хотя за английского короля он не ручается, но скажет им без экивоков, и уж поверьте ему, что президент Соединенных Штатов ни в коем случае не допустит, чтобы американского гражданина лишили места в поезде, за которое он уплатил положенную сумму. Силе он подчинится, но только силе, и если они дотронутся до него хоть пальцем, он тотчас заявит консулу официальный протест. Он высказал все это и много еще чего начальнику станции, который, естественно, понятия не имел, о чем он говорит, однако с большой выразительностью и бурной жестикуляцией произнес в ответ страстную речь. Она привела мистера Харрингтона совсем уж в неистовое негодование: потрясая кулаком перед начальником станции, а сам побелев от бешенства, он прокричал:

— Скажите ему, что я ни слова не понял из того, что он говорит, и понимать не желаю. Если русские хотят, чтобы мы их считали цивилизованными людьми, почему они не говорят на цивилизованном языке? Скажите ему, что я мистер Джон Куинси Харрингтон и еду по поручению господ Кру и Адамса, Филадельфия, с особым рекомендательным письмом к мистеру Керенскому, и если посягательства на мое купе не прекратятся, господин Кру поднимет этот вопрос с правительством в Вашингтоне.

Мистер Харрингтон держался так воинственно, жестикулировал так угрожающе, что начальник станции сдался — молча повернувшись на каблуках, он удалился. За ним последовали бородатый русский с супругой, что-то горячо ему втолковывая, и двое умученных детишек. Мистер Харрингтон отскочил в купе.

— Мне крайне грустно, что я не мог уступить мое место даме с двумя детьми, — сказал он. — Никто более меня не уважает женщину и мать, но я обязан ехать в Петроград на этом поезде, если не хочу упустить очень выгодный контракт, а десять дней просидеть в коридоре не соглашусь даже ради всех российских матерей.

— Я вас не виню, — сказал Эшенден.

— Я женатый человек, у меня самого двое детей. Я знаю, как сложно путешествовать с семьей, но не вижу, что им мешает остаться дома.

Когда вы проводите с кем-то десять суток в уединении железнодорожного купе, то волей-неволей узнаете его почти досконально, а Эшенден на протяжении десяти суток (а точнее говоря, одиннадцати) проводил в обществе мистера Харрингтона двадцать четыре часа. Правда, трижды в день

они ходили есть в вагон-ресторан, но и там сидели напротив друг друга; правда, утром и днем поезд стоял на станции по часу, и можно было поразмять ноги, гуляя по платформе, но гуляли они бок о бок. Эшенден познакомился с некоторыми пассажирами, и порой те заглядывали к ним в купе поболтать. Но если они говорили только по-французски или по-немецки, мистер Харрингтон взирал на них с кислым неодобрением, если же они говорили по-английски, он не давал им вставить ни слова. Ибо мистер Харрингтон был говорлив. Он говорил и говорил, словно это было естественной функцией человеческого организма, столь же не подчиненной человеческой воле, как дыхание или пищеварение. Он говорил не потому, что ему было что сказать, но потому, что это от него не зависело. Говорил пронзительным гнусавым голосом монотонно, без интонаций. Говорил четко, пользовался богатой лексикой, неторопливо строя предложения и никогда не употребляя короткого слова, если имелся многосложный синоним; говорил без пауз. Говорил, говорил, но это был не всесокрушающий водопад слов, бурный и неукротимый, а поток вязкой лавы, неумолимо ползущий вниз по склону вулкана. Он струился с тихой и неодолимой силой, побеждающий на своем пути все.

Эшенден решил, что никогда еще он не знал об одном человеке столько, сколько о мистере Харрингтоне, причем не только о нем, включая все его мнения, привычки и жизненные обстоятельства, но и о его жене, родственниках жены, о его детях и их школьных друзьях, о владельцах его фирмы и о брачных союзах, которые они заключали с лучшими филадельфийскими семьями три-четыре поколения назад. Его собственный род перекочевал в Америку из Девоншира в начале XVIII века, и мистер Харрингтон побывал в деревушке, где на сельском кладбище сохранялись надгробия его пращуров. Он гордился своими английскими предками, но гордился и своим американским происхождением, хотя для него Америка сводилась к узкой полоске атлантического побережья, а американцы — к небольшому числу людей английского или голландского происхождения, чью кровь не загрязнили никакие иностранные примеси. На немцев, шведов, ирландцев и обитателей Центральной и Восточной Европы, которые нахлынули в Соединенные Штаты в последние сто лет, он смотрел как на наглых чужаков. Он отвращал от них взор, как отвращает его девственная обительница старинного английского поместья от фабричных труб, вторгнувшихся в ее уединение.

Когда Эшенден упомянул колоссально богатого человека, владельца некоторых самых прекрасных картин в Америке, мистер Харрингтон сказал:

— Я с ним не знаком. Моя двоюродная бабушка Мария Пенн Уормингтон всегда говорила, что его бабка была отличной кухаркой. Моя двоюродная бабушка Мария была очень огорчена, когда та ушла от нее, вступив в брак. Она говорила, что никто не умел так готовить яблочные шарлотки.

Мистер Харрингтон обожал свою супругу и потчевал Эшендена немислимо длинными рассказами о том, какая она высококультурная женщина и идеальная мать. Здоровье у нее было хрупкое, ей пришлось перенести множество операций — и каждую он описал во всех подробностях. Он и сам дважды оперировался — удалил миндалины, а затем аппендикс, и Эшенден узнал все, что он при этом испытывал, по дням и часам. Все его знакомые оперировались по тому или иному поводу, так что его познания в хирургии были энциклопедичными. У него было два сына, оба школьники, и он серьезно взвешивал, не следует ли сделать им какую-нибудь операцию. Любопытно, что у одного были увеличены миндалины, а аппендикс второго внушал сильные опасения. Ему еще не приходилось видеть, чтобы два брата так преданно любили друг друга, и один его добрый знакомый, лучший филадельфийский хирург, предложил прооперировать их одновременно, чтобы им не пришлось разлучаться. Он показывал Эшендену фотографии мальчиков и их матери. Его путешествие в Россию было их первой разлукой, и каждое утро он писал жене длинное письмо, сообщая ей обо всем, что произошло за сутки, и значительную часть того, что он успел сказать в течение этого срока. Эшенден следил, как он исписывает лист за листом четким, удобочитаемым аккуратным почерком.

Мистер Харрингтон проштудировал все книги об умении вести разговор и знал это искусство досконально. У него была записная книжечка, в которую он заносил все услышанные им анекдоты и забавные истории. Он сообщил Эшендену, что, отправляясь на званый обед, всегда освежает в памяти десяток-другой, чтобы не оказаться на мели. Они были помечены «С», если подходили для смешанного общества, и «М» (только для мужчин), если предназначались лишь для грубого мужского слуха. Он специализировался на тех особого рода анекдотах, которые состоят из длиннейшего описания вполне серьезного происшествия с нагромождением всяческих подробностей, в конце концов



завершающегося комичным финалом. Он не избавлял вас ни от единой дстали, и Эшенден, давным-давно предугадав финал, судорожно сжимал кулаки и сдвигал брови, чтобы не выдать своего нетерпения, а потом заставлял упрямые губы раздвинуться и испускал угрюмый неубедительный смешок. Если кто-нибудь входил в купе в процессе повествования, мистер Харрингтон приветствовал его с большой сердечностью:

— Входите же, входите и садитесь. Я рассказываю моему другу одну историю. Обязательно послушайте. Ничего смешнее вы еще не слышали.

И он принимался рассказывать с самого начала слово в слово, не изменяя ни единого удачного эпитета, пока не достигал юмористического финала. Эшенден как-то предложил выяснить, не отыщутся ли в поезде два любителя бриджа, чтобы можно было коротать время за картами, но мистер Харрингтон сказал, что он карт в руки не берет, а когда Эшенден от отчаяния попробовал разложить пасьянс, сделал кислую мину.

— Не понимаю, как культурный человек может транжирить время на карты, а из всех бессмысленных развлечений, какие мне доводилось видеть, пасьянсы, по-моему, самое бессмысленное. Они убивают беседу. Человек — общественное животное, и он упражняет самую возвышенную часть своей натуры, когда принимает участие в общении с другими.

— В том, чтобы транжирить время, есть свое изящество, — сказал Эшенден. — Транжирить деньги способен любой дурак, но транжиря время, вы транжирите то, что бесценно. К тому же, — добавил он с горечью, — разговаривать это не мешает.

— Как я могу разговаривать, когда мое внимание отвлечено тем, откроется ли у вас черная семерка, чтобы положить ее на красную восьмерку? Беседа требует всей силы интеллекта, и если вы изучили это высокое искусство, то имсете право ждать от собеседника, что он будет слушать вас со всем вниманием, на какое способен.

Он сказал это не оскорбленно, но с мягким добродушием человека, чье терпение подвергается тяжким испытаниям. Он просто констатировал факт, а как к этому отнесется Эшенден — его дело. Художник требовал, чтобы его творчество принимали со всей серьезностью.

Мистер Харрингтон был прилежным читателем. Он читал с карандашом в руке, подчеркивал места, заслужившие его внимание, и своим аккуратным почерком коммен-

тировал на полях прочитанное. Он любил делать это и вслух, а потому, когда Эшенден, тоже пытавшийся читать, внезапно ощутил, что мистер Харрингтон с книгой в одной руке и с карандашом в другой уставился на него большими белесыми глазами, сердце у него болезненно екало. Он не осмеливался поднять головы, не осмеливался даже перевернуть страницу, ибо знал, что мистер Харрингтон сочтет это достаточным предлогом, чтобы пуститься в рассуждения. Он отчаянно вперял взгляд в одно какое-то слово, точно курица, чей клюв прижат к меловой черте, и осмеливался перевести дух, только обнаружив, что мистер Харрингтон отказался от своего намерения и уже опять читает. В те дни он штудировал историю американской конституции в двух томах, а для развлечения погружался в пухлый сборник, якобы содержащий все самые знаменитые речи, когда-либо произнесенные в мире. Ибо мистер Харрингтон был последовательным оратором и прочел все лучшие книги о выступлениях перед публикой. Он абсолютно точно знал, как расположить к себе слушателей, где вставить проникновенные слова, чтобы тронуть их сердца, каким образом с помощью нескольких подходящих к случаю анекдотов завладеть их вниманием и, наконец, какую меру красноречия избрать в данных обстоятельствах.

Мистер Харрингтон очень любил читать вслух. Эшендену часто выпадал случай наблюдать прискорбную склонность американцев к этому времяпрепровождению. В гостиницах разных отелей по вечерам после обеда он часто видел, как отец семейства, расположившись в уютном уголке с женой, двумя сыновьями и дочерью, читал им вслух. На трансатлантических пароходах он иногда с благоговейным страхом наблюдал, как сухопарый господин восседал в центре кружка из пятнадцати дам не первой молодости и звучным голосом читал им историю искусств. Прогуливаясь по паровозным палубам, он проходил мимо раскинувшихся в шезлонгах молодоженов, и до его слуха доносились размеренные интонации новобрачной, читающей своему юному супругу модный роман. Это всегда казалось ему довольно странным способом выражать нежности. У него были друзья, изъявлявшие готовность почитать ему вслух, и он знал женщин, которые говорили, что очень любят, когда им читают вслух, но он всегда вежливо отклонял предложение и упорно пропускал мимо ушей намеки. Он не любил ни читать вслух, ни слушать, как читают ему. В душе он считал национальное пристрастие к этой форме развлечения единственным недостатком в идеальном американском характере.

Но бессмертные боги любят посмеяться над злосчастиями смертных и на этот раз положили его, связанного и беззащитного, под нож верховного жреца. Мистер Харрингтон льстил себя мыслью, что читает он прекрасно, и приобщил Эшендена к теории и практике этого искусства. Эшенден узнал, что существуют две школы — драматическая и естественная, — следуя первой, вы изображали голоса персонажей, когда они разговаривали (если читали роман), и если героиня рыдала, вы рыдали, а если ее душили чувства, вы тоже задыхались. Зато, следуя второй школе, вы читали с полным бесстрашием, словно почтовый каталог чикагской фирмы. К этой школе и принадлежал мистер Харрингтон. За семнадцать лет супружеской жизни он прочел своей жене и своим сыновьям — едва они подросли настолько, чтобы по достоинству оценить указанных авторов, — романы Вальтера Скотта, Джейн Остен, Диккенса, сестер Бронте, Теккерея, Джордж Элиот, Натаниела Готторна и У. Д. Хоуэллса. Эшенден пришел к выводу, что чтение вслух было второй натурой мистера Харрингтона, и воспрепятствовать ему значило бы обречь его на муки курильщика, лишенного табака. Он застигал вас врасплох.

— Вот послушайте! — говорил он. — Нет, обязательно послушайте! — Слово было внезапно поражен мудростью афоризма или изяществом фразы. — Вы согласитесь, что выражено это превосходно. Всего три строки.

Он прочитывал три строки, и Эшенден был готов уделить ему минуту внимания, но он, дочитав их, продолжал читать дальше без передышки. Продолжал. И продолжал. И продолжал. Размеренным пронзительным голосом без интонаций, без выражения он читал страницу за страницей. Эшенден ерзал, закидывал ногу за ногу, то одну, то другую, закуривал сигареты, докуривал их, сидел в одной позе, затем менял ее. Мистер Харрингтон читал и читал. Поезд неторопливо ехал через сибирские степи. Мимо проносились селения, колеса громыхали по мостам. Мистер Харрингтон читал и читал. Когда он дочел до конца знаменитейшую речь Эдмунда Берка, то с торжеством отложил книгу.

— Вот, по моему мнению, один из замечательнейших примеров ораторского искусства на английском языке. И бесспорно это часть нашего общего наследия, на которую мы оба можем оглядываться с законной гордостью.

— А не находите ли вы несколько зловещим, что люди, перед которыми Эдмунд Берк произносил эту речь, все умерли? — мрачно спросил Эшенден.

Мистер Харрингтон собрался было возразить, что удивляться тут особенно нечему, поскольку эта речь была произнесена в восемнадцатом веке, как вдруг до него дошло, что Эшенден (переносивший свалившееся на него испытание с похвальной стойкостью, чего не стал бы отрицать ни один беспристрастный наблюдатель) просто пошутил. Он хлопнул себя по колену и захохотал.

— Ну, отлично! — сказал он. — Сейчас запишу к себе в книжечку. Я уже знаю, как использовать эту шутку, когда будет мой черед произносить спич на званом завтраке нашего клуба.

Мистер Харрингтон был яйцеголовым. Но в этом словечке, придуманном пошляками для поношения, он видел почетное орудие мученичества, вроде решетки Святого Лаврентия, например, или колеса Святой Екатерины, воспринимал его как почетный титул. Он им упивался.

— Эмерсон был яйцеголовым, — говорил он. — Лонгфелло был яйцеголовым. Оливер Уэндэлл Холмс был яйцеголовым. Джеймс Рассел Лоуэлл был яйцеголовым.

Изучение американской литературы увело мистера Харрингтона не далее периода, когда творили эти именитые, но не слишком завлекательные авторы.

Мистер Харрингтон был невероятно зануден. Он раздражал Эшендена и приводил в бешенство, действовал ему на нервы и ввергал в иступление. Но Эшенден не испытывал к нему неприязни. Его самодовольство было колоссальным, но таким наивным, что не задевало. Самолюбование — таким детским, что оставалось только улыбнуться. Он был таким доброжелательным, таким предупредительным, таким обходительным, таким уважительным, что Эшенден, хотя охотно задушил бы его, не мог не признать про себя, что за короткий срок проникся к нему чем-то очень похожим на дружескую привязанность. Манеры его были восхитительны, безупречны, ну, может быть, чуточку церемонны (но это ничему не вредит: поскольку хорошие манеры сами по себе продукт искусственного общества, то привкус пудренных париков и кружевных манжет их не портит), однако, будучи плодом его благовоспитанности, особую приятность они обретали благодаря его доброму сердцу. Он всегда был готов прийти на помощь и не считался ни с какими затруднениями, лишь бы услужить ближнему. Он был удивительно *serviable*<sup>1</sup>. И слово это, пожалуй, потому не имеет точного перевода, что пленительное качество, им

---

<sup>1</sup> Любитель услужить (*фр.*).

обозначаемое, довольно редко среди наших практичных людей. Когда Эшенден прихворнул, мистер Харрингтон преданно за ним ухаживал все двое суток. Эшендену становилось неловко из-за забот, которые он ему причинял, но вопреки сильной боли он не мог удержаться от смеха — с таким хлопотливым усердием мистер Харрингтон мерил ему температуру и с такой твердостью пичкал всевозможными пилюлями, которые извлек из аккуратного упакованного чемодана. И его очень трогали усилия, которых мистер Харрингтон не жалел, лишь бы принести из вагона-ресторана еду, по его мнению, полезную для Эшендена. Он делал для него все, но говорить не переставал.

Безмолвствовал мистер Харрингтон, только когда одевался, ибо его стародавичий ум был всецело поглощен задачей, как, меняя костюм на глазах у Эшендена, не нарушить приличия. Он был чрезвычайно стыдлив. Каждый день он менял белье, аккуратно вынимая из чемодана свежее и аккуратно укладывая туда ношеное, и совершал чудеса ловкости, лишь бы не показать и дюйма обнаженной кожи. После двух-трех дней пути Эшенден оставил попытки быть чистым и аккуратным в этом грязном поезде и вскоре обрел такой же неопрятный вид, как и все пассажиры, но мистер Харрингтон не собирался отступать ни перед какими трудностями. Он совершал свой туалет неторопливо, как бы ни трясли ручку нетерпеливцы, и каждое утро возвращался из уборной вымытым, сияющим чистотой и благоухающий душистым мылом. Облачившись в свой черный сюртук, полосатые брюки и начищенные ботинки, он выглядел таким подтянутым и элегантным, словно только что вышел из своего аккуратного кирпичного особнячка в Филадельфии, чтобы сесть в трамвай, который отвезет его в контору. Однажды пассажирам сообщили, что была попытка взорвать мост впереди, и что на станции за рекой какие-то беспорядки, и не исключено, что поезд остановят, и все, кто едет в нем, будут выброшены из вагонов или арестованы. Эшенден, предвидя, что может расстаться с багажом, на всякий случай натянул на себя самую теплую свою одежду, чтобы поменьше страдать от холода, если уж ему придется зимовать в Сибири. Но мистер Харрингтон не желал слушать никаких доводов. К такого рода случайностям он не подготовился, но Эшенден не сомневался, что мистер Харрингтон, проведи он три месяца в русской тюрьме, все равно сохранил бы свой подтянутый и щеголеватый вид. В тамбуры вагонов вошли казаки и остались стоять там, держа винтовки наготове, и поезд осторожно прогромыхал

по поврежденному мосту. Затем машинист развел пары и промчался через станцию, где, как их предупреждали, могла ждать засада. Мистер Харрингтон был мягко ироничен, когда Эшенден снова надел легкий летний костюм.

Мистер Харрингтон обладал крепкой деловой хваткой. Было очевидно, что взять над ним верх способен только на редкость пронизательный человек, и Эшенден не сомневался, что его патроны поступили очень разумно, выбрав для этого поручения именно его. Он будет всеми силами оберегать их интересы, и если ему удастся заключить с русскими сделку, условия для них будут самые выгодные. Этого требовала его верность фирме. О ее владельцах он говорил с нежной почтительностью. Он любил их и гордился ими, но не завидовал им, потому что богатство их было велико. Ему было достаточно получать жалованье и чувствовать, что платят ему по заслугам, что он может дать образование сыновьям и обеспечить жену на случай своей смерти, а сверх того — к чему ему деньги? В богатстве он ощущал что-то чуточку вульгарное. Культура ему представлялась много важнее денег. Деньги же он берег и после каждого завтрака, обеда и ужина записывал в свою книжечку, во что они ему обошлись. Фирма могла не сомневаться, что он укажет все свои расходы со скрупулезной точностью. Однако обнаружив, что на стоянках к поезду подходят люди просить милостыню, и убедившись, что война действительно их обездолила, он перед каждой остановкой набивал карманы мелочью и, пристыженно посмеиваясь, что попался на удочку таким обманщикам, раздавал ее всю до последней монетки.

— Естественно, я знаю, что они не заслужили подаяния,— говорил он.— И делаю я это не для них, а исключительно для собственного душевного спокойствия: мне было бы очень неприятно думать, что ко мне за помощью обратился истинно голодный, а я отказал ему в куске хлеба.

Мистер Харрингтон был нелеп, но симпатичен. Не верилось, что кто-то способен обойтись с ним грубо — это было бы отвратительно, как ударить ребенка. И Эшенден, внутренне скрипя зубами, но с притворной дружелюбностью, кротко, в истинно христианском духе, сносил все тяготы общения с этим добросердечным, беспощадным существом. Дорога из Владивостока в Петроград заняла одиннадцать суток, и Эшенден чувствовал, что еще одного дня просто не выдержал бы. На двенадцатые сутки он убил бы мистера Харрингтона.

Когда наконец (Эшенден усталый и грязный, мистер Харрингтон свежий, бодрый, поучающий) они достигли

окраин Петрограда и, стоя у окна, рассматривали скученные дома, мистер Харрингтон повернулся к Эшендену и сказал:

— Ну, я просто не поверил бы, что одиннадцать суток в поезде могут промелькнуть так быстро. Мы замечательно провели время. Ваше общество было мне чрезвычайно приятно, как, знаю, и мое вам. Не стану делать вида, будто не отдаю себе отчета в том, что я недурной собеседник. Но раз уж мы так хорошо сошлись, не будем терять связи. Пока я в Петрограде, нам следует видаться как можно больше.

— Мне предстоит много дел,— сказал Эшенден.— Боюсь, я не смогу распоряжаться своим временем.

— Я знаю,— дружески ответил мистер Харрингтон.— Полагаю, что я и сам буду крайне занят, но ведь мы можем завтракать вместе, а по вечерам встречаться и обмениваться впечатлениями. Было бы очень жаль потерять друг друга из вида.

— Очень,— сказал Эшенден со вздохом.

Когда Эшенден в первый раз остался один у себя в номере, он сел и огляделся. Казалось, прошел век. У него не хватало энергии даже распаковать чемоданы. Сколько гостиничных номеров перевидал он за годы войны! Роскошных и убогих, то в одном городе, то в другом, то в одной стране, то в другой. Он устал. Как, спросил он у себя, ему приступить к тому, для чего он прислан сюда? У него было ощущение, что он затерялся в необъятности России и очень одинок. Когда его выбрали для этого поручения, он возражал—слишком уж фантастичным оно выглядело,—но его возражения пропустили мимо ушей. Выбрали его не потому, что высокое начальство считало его наиболее подходящим кандидатом, но потому, что никого более подходящего подыскать не удалось.

В дверь постучали, и Эшенден с удовольствием воспользовался возможностью применить свои несколько русских слов. Дверь открылась. Он вскочил на ноги.

— Входите, входите!—воскликнул он.— Я ужасно рад вас видеть!

Вошли трое мужчин. Он знал их в лицо, так как они плыли с ним на одном пароходе из Сан-Франциско в Йокогаму, но, согласно полученным инструкциям, Эшенден держался от них строго в стороне. Все трое были чехи, изгнанные за революционную деятельность из родной страны и давно обосновавшиеся в Америке. Их послали в Россию оказать содействие Эшендену в его миссии и связать его с профессором З., чей авторитет для чехов в России был

абсолютным. Возглавлял их некий доктор Эгон Орт, высокий, сухопарый, с небольшой седой головой. Он был священником какой-то церкви на Среднем Западе и доктором богословия, но оставил свой приход, чтобы содействовать освобождению родной страны, и у Эшендена создалось впечатление, что он был умен и не чрезмерно догматичен в вопросах совести. Священнослужитель с навязчивой идеей обладает перед мирянином большим преимуществом: он способен внушить себе, что на всем происходящем почитает благословение Всевышнего. Доктора Орта отличали веселые искорки в глазах и суховатый юмор.

У Эшендена было с ним два тайных свидания в Йокогаме, и он узнал, что профессор З., хотя и жаждет освободить свою страну от австрийского ига и, понимая, что достигнуть этого можно только через поражение Центральных держав, предан союзникам душой и телом, тем не менее крайне щепетилен и отказывается действовать наперекор своей совести: все должно быть скрупулезно честным и открытым, и потому кое-какие меры, принимать которые необходимо, приходится принимать без его ведома. Влияние его столь велико, что с его желаниями необходимо считаться, но порой бывает предпочтительно не слишком посвящать его в происходящее.

Доктор Орт прибыл в Петроград за неделю до Эшендена и теперь изложил ему то, что успел узнать о положении вещей. Эшендену оно представилось критичным, и все, что необходимо было сделать, требовалось сделать безотлагательно. В армии царило недовольство и начинались волнения, правительство, возглавляемое слабым Керенским, грозило вот-вот пасть и сохраняло власть только потому, что никто другой не решался ее взять; страна оказалась перед лицом голода, и уже приходилось учитывать возможность того, что немцы двинутся на Петроград. Послы Великобритании и Соединенных Штатов извещены о приезде Эшендена, но его миссия хранится в тайне даже от них, и есть особые причины, из-за которых он не может обратиться к ним за помощью. Эшенден договорился с доктором Ортом о свидании с профессором З., чтобы выяснить его точку зрения и сообщить ему, что он располагает финансовыми возможностями поддержать любой план, сулящий реальную возможность предотвратить катастрофу, которую предвидят союзные правительства — заключение Россией сепаратного мира. Но ему необходимо нащупать связи с влиятельными людьми всех сословий. Мистер Харрингтон, прибывший в Петроград с деловыми



предложениями и письмами к министрам, будет встречаться с членами правительства, и мистер Харрингтон нуждается в переводчике. Доктор Орт говорил по-русски почти как на родном языке, и он идеально подходил для этой роли. Эшенден рассказал ему, как обстоит дело, и они договорились, что доктор Орт зайдет в ресторан, когда мистер Харрингтон с Эшенденом спустятся туда. Он поздоровается с Эшенденом, как будто увидел его только теперь, а Эшенден, познакомив его с мистером Харрингтоном, придаст разговору необходимый оборот, и мистер Харрингтон не замедлит сообразить, что доктор Орт именно тот человек, который ему нужен.

Однако Эшенден рассчитывал на еще одно свое полезное знакомство, и теперь он сказал:

— Вам что-нибудь известно про женщину, которую зовут Анастасия Александровна Леонидова? Она дочь Александра Денисьева.

— Про него, естественно, я знаю.

— У меня есть основания полагать, что она сейчас в Петрограде. Вы не могли бы выяснить, где она живет и чем занимается?

— Безусловно.

Доктор Орт что-то сказал по-чешски одному из двух своих спутников. Оба они — высокий блондин и низенький брюнет — выглядели настороженными, были моложе доктора Орта и, как понял Эшенден, ждали его распоряжений. Блондин кивнул, поднялся на ноги, пожал руку Эшендену и вышел.

— Всю информацию, которую удастся собрать, вы получите до вечера.

— Ну, пока, мне кажется, мы ничего больше сделать не можем, — сказал Эшенден. — Откровенно говоря, я одиннадцать дней не принимал ванны, и мне совершенно необходимо вымыться.

Эшенден так никогда и не решил, где приятнее размышлять — в вагонном купе или в ванне. Когда требовалось что-то придумывать, он, пожалуй, предпочитал поезд, идущий ровно и не слишком быстро, и многие самые лучшие его мысли приходили ему в голову, когда он катил вот так по французским равнинам; но для радости воспоминаний, для сочинения вариаций на уже обдуманную тему ничто не могло сравниться с горячей ванной, это было его твердое убеждение. И теперь, блаженно ворочаясь в мыльной воде, словно буйвол в грязной луже, он перебирал в уме мрачные радости своих отношений с Анастасией Александровной Леонидовой.

В историях про Эшендена почти нет даже беглых намеков на то, что и он порой был способен на страсть, иронично называемую нежной. Специалисты по этой части, очаровательные создания, которые превращают в дело то, что, как знают философы, всего лишь развлечение, утверждают, будто писатели, художники, музыканты — короче говоря, все, кто так или иначе связан с искусством, — в сфере любви особо не блещут. Крику много, толку мало. Они безумствуют или вздыхают, слагают красивые фразы и принимают разные романтические позы, но в конечном счете, любя искусство или себя (а для них это одно и то же) больше объекта своей страсти, предлагают лишь тень, когда указанный объект с присущим их полу здравомыслием требует чего-то существенного. Возможно, что и так и именно в этом причина (впервые опознанная здесь), почему женщины в глубине души питают к искусству такую бешеную ненависть. Но как бы то ни было, последние двадцать лет сердце Эшендена замирало и колотилось из-за одной пленительной особы за другой. Радости было в избытке, и расплачивался он за нее горестью тоже в избытке, но даже в муках безответной любви он был способен говорить себе, хотя и сардонически, что все это — вода на его мельницу.

Анастасия Александровна Леонидова была дочерью революционера, который бежал из Сибири, где его ждала пожизненная каторга, и поселился в Англии. Он был талантливым человеком и, тридцать лет зарабатывая на жизнь беспокойным пером, даже занял почетное место в английской литературе. Когда Анастасия Александровна пришла в возраст, она вступила в брак с Владимиром Семеновичем Леонидовым, также изгнанником из родной страны, и Эшенден познакомился с ней, когда она была замужем уже несколько лет. Наступило то время, когда Европа открыла Россию. Все читали русских романистов, русские балерины пленяли цивилизованный мир, а русские композиторы отзывались трепетом в чувствительных душах, которым приелся Вагнер. Русское искусство обрушилось на Европу с вирулентностью эпидемии гриппа. В моду вошли новые фразы, новые краски, новые эмоции, и без малейших колебаний эрудированные педанты называли себя членами интеллигенции. Писалось это слово не просто, но произносилось легко. Эшенден заразился, как все остальные: сменил подушки в своей гостиной, повесил на стену икону, читал Чехова и ходил в балет.

Анастасия Александровна по рождению, жизненным обстоятельствам и воспитанию была членом интеллигенции —

очень и очень. Она жила с мужем в крохотном особнячке у Риджентс-Парка, и там вся лондонская литературная публика могла в смиренном восхищении взирать на бледнолицых бородатых великанов, которые прислонялись к стене наподобие кариатид, взявших выходной. Они все до единого были революционеры и только чудом находились здесь, а не в сибирских рудниках. Литературные дамы трепетно тянули губы к рюмке с водкой. Если вам улыбалось счастье и вы пользовались особым расположением, то могли там пожать руку Дягилеву, а порой, точно персиковый лепесток, увлекаемый ветерком, там появлялась, чтобы тут же исчезнуть, сама Павлова. В то время успех Эшендена был еще не настолько велик, чтобы оскорбить эрудированных педантов, сам же он в юности бесспорно входил в их число, и хотя кое-кто уже поглядывал на него косо, другие (неизлечимые оптимисты, трогательно верящие в человеческую природу!) еще возлагали на него некоторые надежды. Анастасия Александровна сказала ему в лицо, что он — член интеллигенции. Эшенден был вполне готов этому поверить. Он находился в том состоянии, когда верят чему угодно. Он был наэлектризован и полон смутных предвкусений. Ему чудилось, что наконец-то он вот-вот поймает тот неуловимый дух романтики, за которым так долго гнался. У Анастасии Александровны были прекрасные глаза и хорошая, хотя по нынешним временам и несколько пышноватая, фигура, высокие скулы, курносый нос (такой, такой татарский!), широкий рот, полный крупных квадратных зубов, и бледная кожа. Одевалась она ярковато. В ее темных меланхолических глазах Эшенден видел необъятные русские степи, и Кремль в перезвоне колоколов, и торжественную пасхальную службу в Исаакиевском соборе, и серебристые березовые рощи, и Невский проспект. Чего только он не видел в ее глазах, просто поразительно. Они были круглые, блестящие и чуть навывкате, как у мопса. Они беседовали об Алеше из «Братьев Карамазовых», о Наташе из «Войны и мира», об Анне Карениной и об «Отцах и детях».

Эшенден незамедлительно обнаружил, что муж ее не достоин, а затем узнал, что и она того же мнения. Владимир Семенович был коротышка с большой головой, вытянутой, словно палочка лакрицы, и всклокоченной шевелюрой непокорных русских волос. Он был тихим, незамтным существом, и казалось странным, что царское правительство опасалось его революционной деятельности. Он преподавал русский язык и писал корреспонденции в московские газе-

ты. Он был приветлив и услужлив. Эти качества очень его выручали, так как Анастасия Александровна была женщина с характером: когда у нее болел зуб, Владимир Семенович испытывал адские муки, а когда ее сердце надрывали страдания ее злополучной родины, Владимир Семенович, вероятно, жалел, что родился на свет. Эшенден не мог не признать в нем никчемности, но его безобидность невольно возбуждала симпатию, и когда в надлежащий срок он признался Анастасии Александровне в своей страсти и с восторгом убедился в ее взаимности, его вдруг кольнуло: а что им делать с Владимиром Семеновичем? И Анастасия Александровна и он не находили в себе сил расстаться хотя бы на минуту. Эшенден опасался, что ее революционные взгляды помешают ей дать согласие стать его женой, но, к некоторому его удивлению, а также большому облегчению, согласие она дала, и очень поспешно.

— А Владимир Семенович позволит вам развестись с ним? — спросил он, откинувшись на подушку, цвет которой напомнил ему слегка протухшее мясо, и нежно сжимая ее руку.

— Владимир меня обожает, — ответила она. — Это разобьет ему сердце.

— Он приятный человек, и мне бы не хотелось, чтобы он был несчастен. Но будем надеяться, что у него это пройдет.

— У него это никогда не пройдет. Такова русская душа. Я знаю, когда я его оставляю, он почувствует, что потерял все, ради чего стоило жить. Я еще не видела, чтобы мужчина так всецело предавался женщине, как он мне. Но, конечно, он не захочет помешать моему счастью. Для этого он слишком благороден. Он поймет, что у меня нет права колебаться, когда речь идет о моем саморазвитии. Владимир даст мне свободу, ни о чем не спрашивая.

В то время законы о разводе в Англии были даже еще более запутанными, чем теперь, и Эшенден, полагая, что Анастасия Александровна может и не знать их особенностей, объяснил ей сложность ситуации.

— Владимир ни за что не захочет обречь меня на скандальную известность, неизбежную при бракоразводных процессах. Когда я объясню ему, что решила выйти за вас, он покончит с собой.

— Это было бы ужасно, — сказал Эшенден.

Он растерялся, но и ощутил острое волнение. Так похоже на русский роман! И он словно увидел перед собой страшные и трогательные страницы, и еще страницы, и еще

страницы, на которых Достоевский описал бы подобный случай. Он знал, какие терзания испытывали бы персонажи — разбитые бутылки шампанского, поездки к цыганам, водка, обмороки, каталепсия и длинные-предлинные монологи, которые произносили бы все до единого. Положение было таким жутким, таким упоительным, таким безвыходным!

— Мы из-за этого будем ужасно несчастными, — сказала Анастасия Александровна, — но не вижу, что еще ему остается. Умолять его, чтобы он жил без меня, я не могу. Он будет как корабль без руля, как авто без карбюратора. Я так хорошо знаю Владимира! Он покончит с собой!

— Каким образом? — спросил Эшенден, которого, как реалиста, страстно интересовали подробности.

— Размозжит себе пулей висок.

Эшендену вспомнился «Росмерхольм». В свое время он был пылким ибсенистом и даже кокетничал с мыслью, не выучить ли норвежский, чтобы, читая мэтра в оригинале, проникнуть в тайную суть его мыслей. Однажды он видел Ибсена во плоти, тот допивал кружку мюнхенского пива.

— Но разве вы думаете, что нам выпадет хоть одна светлая минута, если на нашей совести будет смерть этого человека? — спросил он. — Мне кажется, он всегда будет стоять между нами.

— Я знаю, мы будем страдать. Страдать невыносимо, — сказала Анастасия Александровна, — но от нас ли это зависит? Такова жизнь. Мы обязаны подумать о Владимире. Позаботиться о его счастье. Он предпочтет самоубийство.

Она отвернула лицо, и Эшенден увидел, что по ее щекам струятся слезы. Он был глубоко растроган. Ведь сердце у него было мягкое, и страшно было подумать о бедном Владимире, распростертом здесь на диване с пулей в виске.

Ах, эти русские! Как увлекательна их жизнь!

Но когда Анастасия Александровна справилась со своими чувствами, она скорбно повернулась к нему, глядя на него влажными, круглыми и чуть-чуть выпученными глазами.

— Мы должны быть совершенно уверены, что поступаем как должно, — произнесла она. — Никогда себе не прощу, если позволю Владимиру кончить самоубийством, а потом выяснится, что я ошиблась. Мне кажется, нам следует убедиться, что мы любим друг друга по-настоящему.

— Разве вы этого не знаете? — тихо спросил Эшенден. — Я знаю.

— Съездим на неделю в Париж и поглядим. Тогда мы будем знать точно.

Эшенден слегка считался с условностями и растерялся. Но лишь на миг. Анастасия была изумительна! И сообразительна: она заметила его мимолетную нерешительность.

— Неужели у вас есть буржуазные предрассудки? — спросила она.

— Конечно, нет, — торопливо заверил он ее, так как предпочел бы, чтобы его сочли негодяем, лишь бы не носителем буржуазных предрассудков. — По-моему, это замечательный план.

— С какой стати женщина должна ставить всю свою жизнь на одну карту? Узнать мужчину по-настоящему можно, лишь живя с ним. И только — честно дать женщине возможность переменить решение, пока не поздно.

— Совершенно верно, — сказал Эшенден.

Анастасия Александровна не любила терять времени зря, и потому, тут же договорившись обо всем, они уже в воскресенье уехали в Париж.

— Владимиру я не скажу, что еду с вами, — сказала она. — Его это только расстроит понапрасну.

— Было бы очень жаль, — сказал Эшенден.

— А если в конце недели я приду к заключению, что мы сделали ошибку, ему вообще ни к чему будет знать об этом.

— Совершенно верно, — сказал Эшенден.

Они встретились на вокзале Виктории.

— Какой класс вы взяли? — спросила она.

— Первый.

— Я рада. Папа и Владимир из принципа ездят третьим, но меня в поезде всегда мутит, и я люблю класть голову кому-нибудь на плечо. А в купе первого класса это проще.

Когда поезд тронулся, Анастасия Александровна сказала, что у нее начинается головокружение, и, сняв шляпу, положила голову на плечо Эшендена. Он обвил рукой ее талию.

— Сидите смирно, хорошо? — сказала она.

На пароходе она спустилась в дамскую каюту и в Кале смогла плотно перекусить, но в поезде вновь сняла шляпу и положила голову на плечо Эшендена. Он подумал, что скоротает время за чтением, и взял книгу.

— Вы не могли бы не читать? — сказала она. — Меня надо поддерживать, а когда вы переворачиваете страницу, мне становится нехорошо.

В конце концов они добрались до Парижа и отправились в тихую гостиницу на левом берегу, про которую знала Анастасия Александровна. Она сказала, что там есть

атмосфера, а огромные отели на том берегу она не выносит: они безнадежно вульгарны и буржуазны.

— Я поеду, куда вам угодно,— сказал Эшенден,— лишь бы там была ванна.

— Какой вы восхитительно английский! А неделю без ванны вы обойтись не можете? Милый, милый, вам предстоит столько узнать!

До глухой ночи они говорили о Максиме Горьком и Карле Марксе, о судьбах человеческих, о любви и братстве людей и пили чашку за чашкой русский чай, так что наутро Эшенден с радостью позавтракал бы в постели, а встал ко второму завтраку. Но Анастасия Александровна была ранней пташкой. Жизнь так коротка, сделать нужно так много и просто грех завтракать позже половины девятого. Они сидели в убогом зале ресторана, окна которого не открывались по крайней мере месяц. Атмосферы там было хоть отбавляй. Эшенден спросил Анастасию Александровну, что она хотела бы на завтрак.

— Яйца всмятку,— сказала она.

Ела она с аппетитом. Эшенден уже успел заметить, что аппетит у нее очень хороший. Он решил, что это русское свойство: ведь невозможно себе представить, что Анна Каренина днем обходится булочкой с кофе, не правда ли?

После завтрака они отправились в Лувр, а днем пошли в Люксембургский музей. Пообедали пораньше, чтобы успеть в «Комеди франсез». Оттуда они завернули в русское кабаре, где потанцевали. Когда на следующее утро они сели друг напротив друга в ресторане и Эшенден спросил Анастасию Александровну, чего бы ей хотелось, она ответила:

— Яиц всмятку.

— Но ведь мы ели яйца всмятку вчера,— возразил он.

— Ну так возьмем их сегодня еще раз,— улыбнулась она.

— Хорошо.

Этот день они провели точно так же, как предыдущий, только вместо Лувра посетили музей Карнавале и музей Гиме вместо Люксембургского. Но когда на следующее утро в ответ на вопрос Эшендена Анастасия Александровна вновь попросила яиц всмятку, у него упало сердце.

— Но мы же ели яйца всмятку вчера и позавчера,— сказал он.

— Не кажется ли вам, что это вполне веская причина заказать их и сегодня?

— Нет, не кажется.

— Неужели сегодня утром чувство юмора вам немножко изменило?—спросила она.—Я ем яйца всмятку каждый день, я признаю их только в этом виде.

— Ну, хорошо. В таком случае мы, конечно, закажем яйца всмятку.

Однако на следующее утро одна мысль о них привела его в ужас.

— Вы, как всегда, возьмете яйца всмятку?—спросил он у нее.

— Конечно!—Она ласково улыбнулась, показав ему два ряда крупных квадратных зубов.

— Хорошо. Я их вам закажу. А себе возьму яичницу.

Улыбка исчезла с ее губ.

— О?—Она помолчала.—А не кажется ли вам, что в этом есть некоторая бессердечность? По-вашему, честно навязывать повару лишнюю работу? Вы, англичане! Вы все одинаковы, вы смотрите на слуг, как на автоматы. Вам не приходит в голову, что у них такое же сердце, как у вас, такие же чувства, такие же эмоции? Есть ли у вас право удивляться, что недовольство пролетариата закипает, когда буржуа вроде вас столь чудовищно эгоистичны?

— Вы серьезно думаете, что в Англии произойдет революция, если я в Париже закажу яичницу вместо яиц всмятку?

Она негодуя вскинула красивую голову.

— Вы не понимаете. Дело в принципе. Конечно, вы считаете это шуткой, я понимаю, вы острите, и я умею смеяться шуткам не хуже других. Чехов прославился в России как юморист. Но разве вы не видите, чем это чревато? Самое ваше отношение неверно. Полная бесчувственность. Вы не говорили бы так, если бы пережили события тысяча девятьсот пятого года в Петербурге. Стоит мне вспомнить толпы, стоящие на коленях в снегу перед Зимним дворцом, когда на них набросились казаки. На женщин и детей! Нет, нет, нет!

Ее глаза наполнились слезами, лицо исказилось от муки. Она взяла руку Эшендена.

— Я знаю, сердце у вас доброе. Вы просто не подумали, и больше мы о ней говорить не будем. У вас есть воображение. Вы очень чутки. Я знаю. Вы распорядитесь, чтобы яйца вам приготовили так же, как мне, правда?

— Конечно,—сказал Эшенден.

После этого он каждое утро завтракал яйцами всмятку. Официант говорил: «*Monsieur aime les œufs bouillés*»<sup>1</sup>. По

---

<sup>1</sup> Мосье любит вареные яйца (*фр.*).



окончании недели они вернулись в Лондон. От Парижа до Кале он держал Анастасию Александровну в объятиях, а ее голова покоилась у него на плече — что повторилось и от Дувра до Лондона. Он прикинул, что от Нью-Йорка до Сан-Франциско поезд идет пять дней. Когда они вышли на перрон вокзала Виктории и остановились в ожидании извозчика, она поглядела на него круглыми, сияющими и чуть выпученными глазами.

— Мы чудесно провели время, правда? — сказала она.

— Чудесно.

— Я решаюсь. Эксперимент себя оправдал. Я готова выйти за вас замуж, когда вы пожелаете.

Но Эшендену представилось, как он каждое утро до конца жизни ест яйца всмятку. Когда он усадил ее в кеб, то сделал знак другому извозчику, поехал в контору «Кунарда» и взял билет на первый же пароход, отплывавший в Америку. Ни один иммигрант, отправившийся на поиски воли и новой жизни, не смотрел на Статую Свободы с такой ликующей благодарностью, как Эшенден в то ясное, солнечное утро, когда его пароход вошел в порт Нью-Йорка.

С тех пор миновали годы, и Эшенден больше не виделся с Анастасией Александровной. Он знал, что с началом революции в марте они с Владимиром Семеновичем уехали в Россию. Они могли оказаться полезными ему, а Владимир Семенович как-никак был обязан ему жизнью, и он решил написать Анастасии Александровне письмо с вопросом, может ли он навестить ее.

Когда Эшенден сошел в ресторан ко второму завтраку, он чувствовал себя несколько отдохнувшим. Мистер Харрингтон уже ждал его. Они сели за столик и начали есть то, что ставили перед ними.

— Попросите официанта подать нам хлеба, — сказал мистер Харрингтон.

— Хлеба? — повторил Эшенден. — Хлеба нет.

— Но я не могу есть без хлеба, — сказал мистер Харрингтон.

— Боюсь, вам придется обходиться без него. Здесь нет ни хлеба, ни масла, ни сахара, ни яиц, ни картофеля. Только мясо, рыба и зеленые овощи.

У мистера Харрингтона отвисла челюсть.

— Но это же как на войне! — сказал он.

— Во всяком случае, очень похоже.

На момент мистер Харрингтон онемел. Затем он сказал:

— Я сделаю вот что: выполню данное мне поручение как можно быстрее, а потом уберусь из этой страны. Мис-

сис Харрингтон не захотела бы, чтобы я сидел без сахара и масла. У меня очень чувствительный желудок. Фирма ни за что не послала бы меня сюда, если бы не предполагала, что я буду пользоваться всем самым лучшим.

Вскоре к ним подошел доктор Эргон Орт и протянул Эшендену конверт с адресом Анастасии Александровны. Эшенден познакомил его с мистером Харрингтоном. Вскоре стало ясно, что доктор Эргон Орт мистеру Харрингтону понравился, и Эшенден без дальнейших проволочек указал, что лучше переводчика ему не найти.

— По-русски он говорит, как русские. Но он американский гражданин и не подведет вас. Я знаю его не первый год, и, уверяю вас, вы можете на него спокойно положиться.

Мистеру Харрингтону этот совет пришелся по вкусу, и, кончив завтракать, Эшенден ушел, оставив их договариваться о частностях. Он написал Анастасии Александровне и быстро получил ответ, что сейчас она уходит на митинг, но заглянет к нему в отель около семи. Он ожидал ее с некоторым страхом. Разумеется, он знал теперь, что любил не ее, а Толстого и Достоевского, Римского-Корсакова, Стравинского и Бакста, но опасался, что ей это могло в голову и не прийти. Когда она явилась где-то между восьмью и половиной девятого, он пригласил ее пообедать с ним и с мистером Харрингтоном. Присутствие постороннего человека, решил он, смягчит неловкость, но он мог бы не тревожиться: через пять минут после того, как они сели за суп, ему стало ясно, что чувства Анастасии Александровны к нему столь же прохладны, как его к ней. Он испытал некоторое потрясение. Мужчине, как бы скромн он ни был, трудно представить себе, что женщина, прежде его любившая, может больше не питать к нему любви, и хотя он, разумеется, не думал, будто Анастасия Александровна пять лет чахла от безнадежной страсти, он все-таки ожидал, что легким румянцем, движением ресниц, дрожанием губ она выдаст тот факт, что он еще владеет уголком ее сердца. Ничего похожего. Она говорила с ним, как со знакомым, которого рада увидеть после недельного отсутствия, но чья близость с ней чисто светская. Он осведомился о Владимире Семеновиче.

— Он меня разочаровал,— сказала она.— Умным я его никогда не считала, но верила, что он честный человек. А он ждет ребенка.

Рука мистера Харрингтона, подносившего к губам кусок рыбы, замерла в воздухе вместе с вилкой, и он

в изумлении уставился на Анастасию Александровну. В оправдание ему следует сказать, что он за всю свою жизнь не прочел ни единого русского романа. Эшенден, тоже несколько сбитый с толку, посмотрел на нее впросительном.

— Нет, мать не я,— сказала она со смехом.— Такого рода вещи меня не интересуют. Мать — одна моя подруга, известная своими работами по политэкономии. Я не считаю ее взгляды здоровыми, но отнюдь не отрицаю, что они заслуживают рассмотрения. Она не глупа. Очень не глупа.— Повернувшись к мистеру Харрингтону, она спросила: — Вы интересуетесь политэкономией?

Впервые в жизни мистер Харрингтон не нашел что сказать. Анастасия Александровна изложила свои взгляды на предмет, и они начали обсуждать положение в России. Она, казалось, была близка с лидерами разных политических партий, и Эшенден решил прозондировать, не станет ли она сотрудничать с ним. Телячья влюбленность не помешала ему увидеть, что она была чрезвычайно умной женщиной. После обеда он сказал Харрингтону, что должен поговорить с Анастасией Александровной о делах, и увел ее в уединенный угол вестибюля. Он сказал ей столько, сколько счел нужным, и убедился, что она очень заинтересовалась и полна желаний помочь. У нее была страсть к интригам, и она жаждала власти. Когда он намекнул, что у него в распоряжении есть большие суммы, она тотчас сообразила, что через его посредство сможет влиять на ситуацию в России. Это приятно пощекотало ее тщеславие. Она была пламенной патриоткой, но, подобно многим и многим патриотам, чувствовала, что ее собственное возвеличивание служит пользе ее родины. Когда они расстались, между ними уже было заключено рабочее соглашение.

— Весьма замечательная женщина,— сказал мистер Харрингтон на следующее утро за завтраком.

— Не вздумайте влюбиться в нее,— улыбнулся Эшенден.

Однако на эту тему мистер Харрингтон шутить не умел.

— С тех пор, как я сочетался браком с миссис Харрингтон,— сказал он,— я ни разу не поглядел на другую женщину. Этот ее муж, видимо, скверный человек.

— А я бы сейчас не отказался от яиц всмятку,— вдруг без всякой связи сказал Эшенден. Их завтрак состоял из чашки чая без молока и ложечки повидла вместо сахара.

Располагая помощью Анастасии Александровны и с доктором Ортом на заднем плане, Эшенден приступил к делу.

Положение в России ухудшалось с каждым днем. Керенского, главу Временного правительства, снедало тщеславие, и он убирал всех министров, чуть только замечал в них способности, грозящие подорвать его собственный престиж. Он произносил речи. Он произносил нескончаемые речи. Возникла угроза, что немцы внезапно нападут на Петроград. Керенский произносил речи. Нехватка продовольствия становилась все серьезнее, приближалась зима, а топлива не было. Керенский произносил речи. За кулисами активно действовали большевики, Ленин скрывался в Петрограде, и ходили слухи, что Керенский знает, где он, но не решается дать распоряжение об аресте. Он произносил речи.

Эшендена забавляло безразличие, с каким мистер Харрингтон бродил среди этой сумятицы. Вокруг творилась история, а мистер Харрингтон занимался своим делом. Что было крайне трудно. Его вынуждали давать взятки секретарям и всякой мелкой сошке под предлогом, что так ему будет обеспечен доступ к власти имущим. Его часами заставляли ждать в приемных, а потом бесцеремонно отсылали до следующего дня. Когда же он все-таки добирался до власти имущих, выяснялось, что предложить они ему могут только пустые слова. Он заручался их обещаниями, а через день-два выяснялось, что обещания эти ничего не стоят. Эшенден советовал ему махнуть рукой и уехать назад в Америку, но мистер Харрингтон ничего не желал слушать: фирма возложила на него поручение, и он его выполнит или погибнет в процессе выполнения. Только так! Затем за него взялась Анастасия Александровна. Между ними возникла своеобразная дружба. Мистер Харрингтон считал ее весьма замечательной и глубоко оскорбленной женщиной. Он рассказал ей все о своей жене и двух сыновьях, он рассказал ей все о конституции Соединенных Штатов; она со своей стороны рассказала ему все о Владимире Семеновиче и рассказывала ему про Толстого, Тургенева и Достоевского. Они чудесно проводили время друг с другом. Он сказал, что называть ее Анастасией Александровной не станет: так сразу и не выговоришь! — и окрестил ее Далилой. Теперь она отдала в его распоряжение всю свою неистощимую энергию, и они вместе посещали тех, кто мог быть ему полезен. Но дело приближалось к кульминации. Вспыхивали беспорядки, ходить по улицам становилось небезопасно. Иногда по Невскому проспекту на бешеном ходу проносились броневики с недовольными резервистами, которые, протестуя против своих бед, палили наугад по

проходим. Один раз, когда мистер Харрингтон и Анастасия Александровна ехали в трамвае, окна разлетелись от пуль, и им пришлось лечь на пол. Мистер Харрингтон был возмущен до глубины души.

— На мне растянулась толстая старуха, а когда я начал выбираться из-под нее, Далила хлопнула меня по щеке и сказала: «Не егози, дурак!» Мне ваши русские замашки не нравятся, Далила!

— Но егозить вы перестали! — засмеялась она.

— Вашей стране требуется чуть поменьше искусства и чуть побольше цивилизованности.

— Вы буржуй, мистер Харрингтон, вы не член интеллигенции.

— Вы первая, от кого я это слышу! Если уж я не член интеллигенции, то кто же тогда? — с достоинством возразил мистер Харрингтон.

Затем в один прекрасный день, когда Эшенден сидел у себя в номере и работал, раздался стук в дверь, и вошла Анастасия Александровна, за которой в некотором смущении плелся мистер Харрингтон. Она была явно взволнованна.

— Что случилось? — спросил Эшенден.

— Если этот человек не уедет в Америку, его убьют. Да втолкуйте же ему это! Не будь с ним меня, все могло кончиться очень скверно.

— Ничего подобного, Далила! — раздраженно сказал мистер Харрингтон. — Я прекрасно могу сам о себе позаботиться. И ни малейшей опасности мне не грозило.

— Но что все-таки произошло? — спросил Эшенден.

— Я повезла мистера Харрингтона в Александро-Невскую лавру на могилу Достоевского, — сказала Анастасия Александровна, — и на обратном пути мы увидели, как солдат вел себя довольно грубо со старухой.

— Довольно грубо! — воскликнул мистер Харрингтон. — Старушка шла по тротуару и несла в руке корзинку с провизией. Сзади к ней подскочили два солдата, один вырвал у нее корзинку и пошел дальше. Она начала кричать и плакать. Я не понимал, что она говорит, но мог догадаться, а второй солдат схватил свою винтовку и ударил ее по голове прикладом. Ведь так, Далила?

— Да, — ответила она, не сдержав улыбки. — И не успела я помешать, как мистер Харрингтон выскочил из пролетки, подбежал к солдату с корзинкой, вырвал ее и принялся ругать обоих, называя их ворами. Сначала они совсем растерялись, но потом пришли в ярость. Я бросилась туда и объяснила им, что он иностранец и пьян.

— Пьян? — вскричал мистер Харрингтон.

— Да, пьян. Конечно, собралась толпа. И ничего хорошего это не сулило.

Мистер Харрингтон улыбнулся своими большими белесо-голубыми глазами.

— А мне показалось, что вы высказали им свое мнение, Далила. Смотреть на вас было лучше всякого театра.

— Не говорите глупостей, мистер Харрингтон! — воскликнула Анастасия Александровна, вдруг вспыхив, и топнула ногой. — Неужто вы не понимаете, что эти солдаты вполне могли убить вас, а заодно и меня, и никто из зевак пальцем не пошевелил бы, чтобы нам помочь?

— Меня? Я американский гражданин, Далила. Они и волоска на моей голове не посмели бы тронуть.

— А где бы они его взяли? — сказала Анастасия Александровна, которая в гневе забывала про благовоспитанность. — Но если вы полагаете, будто русские солдаты вас не убьют, потому что вы американский гражданин, то вас ждет большой сюрприз, и в самые ближайшие дни.

— Но как же старуха? — спросил Эшенден.

— Через какое-то время солдаты ушли, и мы вернулись к ней.

— И с корзиной?

— Да. Мистер Харрингтон вцепился в нее мертвой хваткой. Старуха лежала на тротуаре, из головы у нее хлестала кровь. Мы усадили ее в пролетку и, когда она сумела сказать, где живет, отвезли ее домой. Кровь текла совершенно жутко, и мы остановили ее с большим трудом.

Анастасия Александровна как-то странно поглядела на мистера Харрингтона, и Эшенден с удивлением увидел, что тот краснеет.

— В чем дело?

— Видите ли, нам нечем было перебинтовать ей голову. Носовой платок мистера Харрингтона вымок насквозь. А с себя я снять быстро могла только...

Но мистер Харрингтон не дал ей докончить.

— Вам незачем объяснять мистеру Эшендену, что именно вы сняли. Я женатый человек и знаю, что дамы их носят, но не вижу нужды называть их вслух.

Анастасия Александровна хихикнула.

— В таком случае поцелуйте меня, мистер Харрингтон. Или я назову!

Мистер Харрингтон заколебался, видимо, взвешивая все «за» и «против», но он понял, что Анастасия Александровна твердо намерена привести свою угрозу в исполнение.

— Ну, хорошо, в таком случае целуйте меня, Далила, хотя, должен сказать, не понимаю, какое удовольствие это может вам доставить.

Она обняла его за шею, расцеловала в обе щеки и вдруг без малейшего предостережения разразилась слезами.

— Вы храбрый человек, мистер Харрингтон. Вы нелепы, но великолепно, — рыдала она.

Мистер Харрингтон удивился меньше, чем ждал Эшенден. Он поглядел на Анастасию с узкогубой, чуть насмешливой улыбкой и потрепал ее по плечу.

— Ну, ну, Далила, возьмите себя в руки. Это вас очень напугало, ведь так? Вы совсем расклеились. У меня будет прострел в плече, если вы и дальше будете орошать его слезами.

Сцена была забавной и трогательной. Эшенден засмеялся, чувствуя, как в горле у него поднимается комок.

Когда Анастасия Александровна ушла и они остались одни, мистер Харрингтон погрузился в глубокую задумчивость.

— Странные они какие-то, эти русские. Вы знаете, что сделала Далила? — сказал он внезапно. — Встала в экипаже посреди улицы и на глазах у всех прохожих сняла с себя панталоны. Разорвала их пополам и одну половину отдала мне, а вторую использовала как бинт. В жизни я не чувствовал себя так нелепо.

— Скажите, почему вы решили называть ее Далилой? — спросил Эшенден с улыбкой.

Мистер Харрингтон чуть-чуть покраснел.

— Она чарующая женщина, мистер Эшенден. Муж поступил с ней глубоко непорядочно, и, естественно, я проникся к ней сочувствием. Эти русские очень эмоциональны, и я не хотел, чтобы мою симпатию она сочла чем-то иным. Я объяснил ей, что глубоко привязан к миссис Харрингтон.

— Не спутали ли вы Далилу с женой Пентефрия? — спросил Эшенден.

— Не понимаю, что вы подразумеваете, мистер Эшенден, — ответил мистер Харрингтон. — Миссис Харрингтон всегда давала мне понять, что для женщин я почти неотразим, а потому я подумал, что, называя нашу милую приятельницу Далилой, я точно покажу свою позицию.

— Мне кажется, мистер Харрингтон, Россия страна не для вас, — сказал Эшенден, улыбувшись. — На вашем месте я бы выбрался отсюда как можно скорее.

— Я не могу уехать сейчас. Наконец-то мне удалось вырвать у них согласие на наши условия, и на той неделе

мы подписываем контракт. Тогда я упакую свой чемодан и уеду.

— Но будут ли эти подписи хоть чего-нибудь стоить? — сказал Эшенден.

Сам он наконец разработал план кампании. Сутки тяжелой работы ушли на то, чтобы составить шифрованную телеграмму, в которой он изложил свои намерения тем, кто послал его в Петроград. Они были одобрены, все необходимые деньги ему обещали. Эшенден понимал, что осуществить что-то он сможет, только если Временное правительство продержится еще три месяца,—но на носу была зима, а продовольствия с каждым днем становилось все меньше. Армия бунтовала. Народ требовал мира. Каждый вечер Эшенден выпивал в «Европе» чашку шоколада с профессором З. и обсуждал с ним, как лучше всего использовать преданных ему чехов. Анастасия Александровна нашла Эшендену укромную квартиру, где он встречался с самыми разными людьми. Составлялись планы. Принимались меры. Эшенден доказывал, убеждал, обещал. Ему приходилось преодолевать колебания одного и бороться с фатализмом другого. Ему приходилось решать, кто полон решимости, а кто самодоволен, кто честен, а кто слабоволен. Ему приходилось проглатывать раздражение на русское многословие. Ему приходилось сохранять терпение с людьми, которые готовы были говорить о чем угодно, лишь бы не о деле. Ему приходилось сочувственно выслушивать бешеные тирады и бахвальство. Ему приходилось остерегаться предательства. Ему приходилось лстыть самолюбию дураков и обороняться от алчности честолюбцев. А время не ждало. Слухи о деятельности большевиков становились все грознее, все многочисленнее. Керенский панически метался, как перепуганная курица.

Затем грянул гром. В ночь на 7 ноября 1917 года большевики подняли восстание, министров Керенского арестовали, и Зимний дворец разгромила толпа. Бразды правления были подхвачены Лениным и Троцким.

Анастасия Александровна пришла в номер к Эшендену рано утром. Эшенден зашифровывал телеграмму. Ночь он провел на ногах — сначала в Смольном, потом в Зимнем дворце. И падал от усталости. Лицо у нее было бледным, блестящие карие глаза — полны трагизма.

— Вы слышали? — спросила она у Эшендена.

Он кивнул.

— Для них все кончено. Говорят, Керенский бежал. Они даже не пытались сопротивляться.— Ее охватила ярость.— Шут! — взвизгнула она.



В дверь постучали, и Анастасия Александровна оглянулась на нее с испугом.

— Вы знаете, большевики составили список тех, кого намерены расстрелять. Моя фамилия включена в него. А может быть, и ваша.

— Если это они и если они хотят войти, им достаточно повернуть ручку,— сказал Эшенден с улыбкой, но у него неприятно засосало под ложечкой.— Войдите!

Дверь отворилась, и вошел мистер Харрингтон. В коротком черном сюртуке и полосатых брюках, начищенных ботинках и котелке на лысой голове, он, как всегда, выглядел очень щеголевато. Котелок он снял, едва увидел Анастасию Александровну.

— Не думал застать вас здесь так рано! Я заглянул к вам по дороге, хотел сообщить вам мои новости. Я хотел рассказать вам вчера вечером и не смог. Вы не пришли к обеду.

— Да, я был на митинге,— сказал Эшенден.

— Вы оба должны меня поздравить: вчера я получил все подписи и мое дело завершено.

Мистер Харрингтон сиял на них улыбкой, полной тихого довольства, и выпятил грудь, как бантамский петух, разогнавший всех соперников. Анастасия Александровна разразилась истерическим смехом, и он посмотрел на нее с недоумением.

— Далила, что с вами? — спросил он.

Анастасия Александровна хохотала, пока у нее из глаз не потекли слезы, а тогда она зарыдала. Эшенден объяснил:

— Большевики свергли правительство. Министры Керенского в тюрьме. Большевики собираются пролить кровь. Далила говорит, что ее фамилия значится в списке. Ваш министр подписал вчера ваш контракт, так как понимал, что это ни малейшего значения не имеет. Ваши контракты не стоят ничего. Большевики намерены заключить мир с Германией как можно скорее.

Анастасия Александровна овладела собой с той же внезапностью, с какой дала волю слезам.

— Вам лучше уехать из России немедленно, мистер Харрингтон. Теперь это не место для иностранцев, и вполне вероятно, что через несколько дней вам это уже не удастся.

Мистер Харрингтон переводил взгляд с нее на Эшендена и обратно.

— О-о! — сказал он.— О-о! — Воскликание это было явно неадекватным.— Вы говорите мне, что русский министр просто меня дурачил?

Эшенден пожал плечами.

— Кто может знать, о чем он думал? Возможно, у него сильно развито чувство юмора и ему показалось забавным подписать контракт на пятьдесят миллионов долларов вчера вечером, зная, что сегодня утром его вполне могут поставить к стенке и расстрелять. Анастасия Александровна права, мистер Харрингтон. Садитесь на первый же поезд, который доставит вас в Швецию.

— Ну а вы?

— Мне здесь больше делать нечего. Я запрашиваю инструкций и уеду, как только получу указания. Большевики нас опередили, и людям, с которыми я работал, теперь остается думать только о том, как спасти свою жизнь.

— Утром расстреляли Бориса Петровича,— хмуро сказала Анастасия Александровна.

Они поглядели на мистера Харрингтона, но он уставился в пол. Он так гордился своим успехом! И теперь весь обмяк, как пробитый воздушный шар. Но через минуту поднял голову и чуть-чуть улыбнулся Анастасии Александровне. Эшенден впервые заметил, какой привлекательной и доброй была его улыбка. В ней было что-то обезоруживающее.

— Если большевики гонятся за вами, Далила, так не лучше ли вам будет уехать со мной? Я о вас позабочусь, а если вы решите поехать в Америку, я убежден, что миссис Харрингтон сделает для вас все, что в ее силах.

— Представляю лицо миссис Харрингтон, если вы явитесь в Филадельфию под руку с русской беженкой,— засмеялась Анастасия Александровна.— Боюсь, это потребует больше объяснений, чем вам под силу. Нет, я останусь здесь.

— Но если вам угрожает опасность?

— Я русская. Мое место здесь. Я не покину родину, когда родина особенно нуждается во мне.

— Далила, это чушь,— очень тихо сказал мистер Харрингтон.

Анастасия Александровна говорила с глубоким чувством, но теперь вздрогнула и бросила на него насмешливый взгляд.

— Знаю, Самсон,— ответила она.— Откровенно говоря, я думаю, нас всех ждет черт знает что. Одному Богу известно, во что это все выльется, но я хочу присутствовать. И за миллион ни от единой секунды не откажусь.

Мистер Харрингтон покачал головой.

— Любопытство — проклятие вашего пола, Далила,— сказал он.

— Идите, соберите ваши вещи, мистер Харрингтон,— сказал Эшенден улыбаясь,— и мы отвезем вас на вокзал. Поезд будут брать штурмом.

— Ну, хорошо, я уеду. И с удовольствием. Я здесь за все это время ни разу прилично не поел, и я пошел на то, о чем даже помыслить не мог — пил кофе без сахара, а когда мне выпадала удача и я получал ломтик ржаного хлеба, то был вынужден есть его без масла. Миссис Харрингтон просто не поверит, что мне пришлось перенести. Этой стране требуется организованность.

Когда он оставил их вдвоем, Эшенден и Анастасия Александровна начали обсуждать положение. Эшенден был расстроен, потому что все его тщательно разработанные планы оказались лишними, но Анастасия Александровна горела возбуждением и гадала вслух, чем кончится эта новая революция. Она напускала на себя очень серьезный вид, но в глубине души видела во всем этом увлекательную игру. Она жаждала все новых и новых событий. Тут в дверь снова постучали, но Эшенден не успел открыть рот, как в номер ворвался мистер Харрингтон.

— Нет, обслуживание в этом отеле из рук вон! — возмущенно вскричал он. — Я звоню пятнадцать минут, и никакого внимания!

— Обслуживание? — воскликнула Анастасия Александровна. — Так ведь вся прислуга разбежалась.

— Но мне нужно белье, которое я отдал в стирку. Его обещали доставить еще вчера.

— Боюсь, теперь у вас нет никаких шансов его получить, — сказал Эшенден.

— Я не поеду без своего белья. Четыре рубашки, два комплекта нижнего белья, пижама и четыре воротничка. Носовые платки и носки я стираю в номере сам. Мне нужно мое белье, и без него я из отеля не уйду.

— Не валяйте дурака! — воскликнул Эшенден. — Вы должны выбраться отсюда, пока это еще возможно. Раз за вашим бельем некого послать, вам придется уехать без него.

— Прошу прощения, сэр, ничего подобного я не сделаю. Я схожу за ним сам. Я натерпелся достаточно в этой стране и не намерен бросать здесь четыре отличные рубашки, чтобы их носили орды чумазных большевиков. Нет, сэр, пока я не получу моего белья, из России я не уеду!

Анастасия Александровна на мгновение уставилась в пол, а потом с легкой улыбкой подняла глаза. Эшендену показалось, что бессмысленное упрямство мистера Харрингтона нашло в ней какой-то отклик. На свой русский лад она поняла,

что мистер Харрингтон никак не может уехать из Петрограда без своего белья. Его настойчивость возвела это белье в символ.

— Я спущусь вниз и постараюсь найти кого-нибудь, кто знает адрес прачечной, и если это мне удастся, схожу туда с вами, и вы сможете забрать свое белье.

Мистер Харрингтон оттаял. Он ответил со своей ласковой, обезоруживающей улыбкой:

— Вы очень любезны, Далила. И не имеет значения, готово оно или нет. Я возьму его в любом виде.

Анастасия Александровна вышла из номера.

— Ну, так что же вы думаете о России и о русских теперь? — осведомился мистер Харрингтон у Эшендена.

— Я сыт ими по горло. Я сыт по горло Толстым, сыт по горло Тургеневым и Достоевским, сыт по горло Чеховым. Я сыт по горло интеллигенцией. Я стосковался по людям; которые не меняют своих намерений каждые две минуты, которые, обещая, не забывают о своем обещании час спустя, на чье слово можно положиться; меня тошнит от красивых фраз, от красноречия и позерства...

Эшенден, заразившись местной болезнью, собирался произнести речь, но его перебил дробный звук, словно на барабан бросили горсть горошин. В городе, окутанном непривычной тишиной, он прозвучал резко и странно.

— Что это? — спросил мистер Харрингтон.

— Винтовочная стрельба. По-моему, на том берегу реки.

Мистер Харрингтон забавно скосил глаза. Он засмеялся, но лицо у него побледнело, и Эшенден его не винил.

— Да, мне пора выбираться отсюда. Я не о себе беспокоюсь, но мне надо думать о жене и детях. Я так давно не получал писем от миссис Харрингтон, что немного тревожусь. — Он помолчал. — Я хотел бы познакомить вас с миссис Харрингтон. Она удивительная женщина. Лучшей жены быть не может. До этой поездки я со дня нашего брака не расставался с ней больше чем на трое суток.

Вернулась Анастасия Александровна и сказала, что узнала адрес.

— Идти туда минут сорок, и если вы пойдете сейчас, я вас провожу, — добавила она.

— Я готов.

— Поберегитесь, — сказал Эшенден. — По-моему, улицы сегодня небезопасны.

Анастасия Александровна посмотрела на мистера Харрингтона.

— Я должен забрать свое белье, Далила, — сказал он. — Я никогда себе не прощу, если брошу его здесь, и миссис

Харингтон не даст мне об этом забыть до конца наших дней.

— Ну, так идемте.

Они вышли, а Эшенден вернулся к тягостной задаче облекать в очень сложный шифр сокрушающие новости, которые был обязан сообщить. Телеграмма получилась длинной, а ему еще предстояло запросить дальнейшие инструкции для себя. Работа была чисто механической, но тем не менее требовала полного внимания. Ошибка в одной цифре могла обесмыслить всю фразу.

Внезапно дверь распахнулась, и в номер вбежала Анастасия Александровна. Она потеряла шляпу, волосы у нее растрепались. Она задыхалась, глаза у нее вылезли на лоб, и видно было, что она вне себя от волнения.

— Где мистер Харрингтон? — крикнула она. — Он здесь?

— Нет.

— У себя в номере?

— Не знаю. А что такое? Если хотите, пойдете посмотрим. Почему вы не привели его с собой?

Они прошли по коридору и постучали в дверь мистера Харрингтона. Ответа не было. Они подергали ручку. Дверь оказалась запертой.

— Его там нет.

Они вернулись в номер Эшендена. Анастасия Александровна упала в кресло.

— Дайте мне, пожалуйста, воды. Я совсем задыхаюсь. Я бежала бегом.

Она выпила весь стакан, который ей налил Эшенден. И вдруг всхлипнула.

— Только чтобы с ним ничего не случилось! Никогда себе не прощу, если его ранили. Я надеялась, что он вернулся сюда до меня. Белье он свое забрал. Мы нашли прачечную. Там была только какая-то старуха, и она его не отдавала. Но мы настояли. Мистер Харрингтон был в ярости, потому что ничего выстирано не было. Оно все еще было увязано, как он сам его увязал. Его обещали принести вчера вечером, а даже узла не развязали! Я сказала: это же Россия, и мистер Харрингтон сказал, что он предпочитает негров. Я вела его боковыми улицами, думала, так лучше, и мы пошли назад. Переходили проспект, и я увидела дальше по нему небольшую толпу. Там кто-то произносил речь. «Пойдемте, послушаем, что он говорит», — предложила я. Видно было, что они спорят. Могло оказаться что-то интересное. Мне хотелось узнать, что происходит. «Идемте дальше, Далила», — сказал он. — Не будем вмешиваться не

в свое дело», — сказал он. «Возвращайтесь в отель, укладывайте вещи», — сказала я. — А я намерена посмотреть, что там». Я побежала туда, а он пошел за мной. Там собралось двести — триста человек. Речь произносил студент, на него кричали какие-то рабочие. Я люблю споры и начала пробираться в первый ряд. Вдруг раздались выстрелы, и мы оглянуться не успели, как по проспекту понеслись два броневика. С солдатами. И они стреляли на ходу. Не знаю зачем. Наверное, просто баловались, а может быть, были пьяны. Мы прыснули во все стороны, как кролики. Побежали, спасая жизнь. Мистера Харрингтона я потеряла. Не понимаю, почему его нет. По-вашему, с ним что-то случилось?

Эшенден помолчал.

— Надо пойти поискать его, — сказал он. — Не знаю, какого черта он не мог бросить этого белья.

— А я понимаю. Так понимаю!

— Это утешительно, — сказал Эшенден с раздражением. — Идемте!

Он надел пальто и шляпу, и они спустились по лестнице. Отель выглядел непривычно пустым. Они вышли на улицу. Прохожих почти не было. Они направились к углу. Трамваи не ходили, и тишина в огромном городе наводила жуть. Магазины стояли закрытые. И когда мимо на бешеной скорости промчался автомобиль, они невольно вздрогнули. Редкие унылые встречные боязливо косились по сторонам. Когда они вышли на проспект, то ускорили шаг. Людей там было много. Они нерешительно стояли, словно не зная, что делать дальше. По мостовой, сбившись в кучки, шли резервисты в серых шинелях. Они молчали. Они походили на овец, разыскивающих пастуха. Потом они добрались до улицы, по которой бежала Анастасия Александровна, но с противоположного конца. Много окон было разбито шальными пулями. Улица была пуста. Однако следы панического бегства остались: оброненные в спешке вещи — книги, мужская шляпа, дамский ридикюль и корзинка. Анастасия Александровна дернула Эшендена за рукав — на тротуаре, склонив голову на колени, сидела женщина. Она была мертва. Немного дальше лежали двое мужчин. Тоже мертвые. Раненые, вероятно, сумели кое-как уйти, или их унесли друзья. Затем они нашли мистера Харрингтона. Его котелок скатился в канаву. Он лежал ничком в луже крови. Шишковатая лысина была совсем белой, щеголеватый черный сюртук запачкан кровью и грязью. Но его рука крепко сжимала узел, хранивший четыре рубашки, два комплекта нижнего белья, пижаму и четыре воротничка. Мистер Харрингтон не расстался со своим бельем.

## БРАК ПО РАСЧЕТУ<sup>1</sup>

Я отплыл из Бангкока на маленьком, повидавшем виды суденышке грузоподъемностью четыреста — пятьсот тонн. В тусклом салоне, служившем также столовой, вдоль стен тянулись два узких стола, по обе стороны которых стояли вращающиеся кресла. Каюты находились во внутренней части корабля, и в них было очень грязно. По полу разгуливали тараканы, и даже если вы человек совершенно невозмутимый, вам будет не по себе, когда, подходя к раковине помыть руки, вы увидите, как из нее лениво выползает жирный таракан.

Мы спустились вниз по широкой, неторопливой, добродушной реке, зеленые берега которой были усыпаны домишками на сваях, стоявшими прямо у воды. Мы прошли заставу, и взору моему открылось море, голубое и спокойное. Увидев его, вдохнув его запах, я почувствовал прилив восторженной радости.

На корабль я сел рано утром и вскоре обнаружил, что судьбе было угодно поместить меня в чрезвычайно разношерстное общество. На борту находились два французских коммерсанта, бельгийский полковник, итальянский тенор, владелец цирка, американец с женой и какой-то французский чиновник в отставке, тоже с женой. Владелец цирка был, что называется, компанейским парнем, людей такого типа вы всегда можете, в зависимости от настроения, приблизить к себе или держать на расстоянии, но я в то время был вполне доволен жизнью, и не прошло и часа, как мы уже успели сыграть в кости на стаканчик спиртного, после чего он показал мне своих животных. Это был очень низкорослый,

---

<sup>1</sup> © Перевод. Загот М., 1992 г.

полный человек, его белая, не отличавшаяся особой чистотой куртка плотно облегла благородные контуры его живота, однако воротник ее был настолько узок, что оставалось только удивляться, как это он не задыхается. На красном, чисто выбритом лице его светились веселые голубые глаза, а короткие рыжеватые волосы торчали во все стороны. Потрепанный тропический шлем лихо сидел на затылке. Родом он был из Орегона, из города Портленда, звали его Уилкинс. Оказывается, жители стран Востока равнодушны к цирку, и вот уже двадцать лет мистер Уилкинс колесил по всему Востоку, от Порт-Саида до Иокогамы (Аден, Бомбей, Мадрас, Калькутта, Рангун, Сингапур, Бангкок, Сайгон, Ханой, Гонконг, Шанхай — имена городов со вкусом слетают с языка, наполняя воображение солнечным светом, громкими звуками и бьющей в глаза пестротой), со своим зверинцем и каруселями. Он жил удивительной, странной жизнью, и можно было предположить, что в жизни этой происходит много интересного и любопытного, но как ни парадоксально, этот маленький толстяк был совершенно заурядной личностью, и вы нисколько не удивились бы, окажись он владельцем гаража или хозяином третьеразрядного отеля в каком-нибудь заштатном калифорнийском городишке. Истина, подтверждение которой я встречал в жизни столь часто и которая тем не менее всегда меня озадачивает, заключается в том, что человек, живущий в необычных условиях, сам от этого необычнее не становится, но, с другой стороны, человек необычный сделает свою жизнь необычной, даже если он всего-навсего рядовой сельский священник.

Жаль, что здесь будет не вполне уместна история отшельника, которого я навестил в Торресовом проливе; этот моряк с потерпевшего кораблекрушение судна прожил на острове в полном одиночестве целых тридцать лет, но когда пишешь книгу, ты заточен в четыре стены своего сюжета, и хотя, дабы ублажить мой отвлекающийся мозг, я сейчас об этой истории вспоминаю, в конце концов, мне придется этот кусочек выкинуть. Короче говоря, суть в том, что при длительном и тесном общении с природой и собственными мыслями человек этот по прошествии этих уникальных тридцати лет остался таким же нудным, бесчувственным и вульгарным чурбаном, каким был прежде.

Мимо нас прошел певец-итальянец, и мистер Уилкинс сказал мне, что этот тенор родом из Неаполя и плывет в Гонконг, чтобы присоединиться к своей труппе, от которой он отстал из-за приступа малярии, случившегося с ним в Бангкоке. Италиянец был крупного телосложения,



довольно толст, и когда он плюхнулся в кресло, оно испуганно под ним скрипнуло.

Он снял шлем, и миру предстала крупная голова с длинными, курчавыми и засаленными волосами, по которым он провел толстыми окольцованными пальцами.

— Не очень общительный малый,— заметил мистер Уилкинс.— Я угостил его сигарой, но выпить со мной он отказался. Не удивлюсь, если мне скажут, что он немного не того. Согласитесь, тип не из приятных.

На палубе появилась невысокая полная женщина в белом платье. За руку она вела небольшую обезьяну, которая важно шествовала рядом.

— Позвольте вам представить миссис Уилкинс,— объявил владелец цирка,— и нашего младшего сыночка. Берите кресло, миссис Уилкинс, и знакомьтесь с этим джентльменом. Я не знаю его имени, но он уже дважды заплатил вместо меня за виски, и если бросать кости лучше он не умеет, ему придется угостить чем-нибудь и тебя.

С глубокомысленным, отсутствующим выражением на лице миссис Уилкинс опустила в кресло и, не отрывая глаз от голубых волн, дала понять, что не имеет ничего против бутылочки лимонада.

— Боже, какая жара,— пробормотала она, обмахиваясь шлемом.

— Миссис Уилкинс плохо переносит жару,— сообщил ее муж.— Она борется с ней вот уже двадцать лет.

— Двадцать два с половиной года,— поправила миссис Уилкинс, все так же глядя в волны.

— И так к ней и не привыкла.

— Никогда не привыкну, и тебе об этом прекрасно известно,— отрезала миссис Уилкинс.

Ростом она была под стать мужу и почти такая же полная, лицо, как и у него, было красное и круглое, и такие же рыжеватые, чуть растрепанные волосы. Интересно, подумал я, они потому и женились, что так похожи друг на друга, или с течением лет их черты приобрели такое поразительное сходство! Не поворачивая головы, она продолжала с рассеянным видом смотреть на море.

— Ты уже показал ему животных? — спросила она.

— Даю голову на отсечение, что да.

— Как ему понравился Перси?

— Он был им совершенно очарован.

Я не мог не почувствовать, что меня самым несправедливым образом вытесняют из беседы, предметом которой я частично являлся, поэтому я решил вмешаться:

— Кто такой Перси?

— Наш старший сынок. Смотри, Элмер, летающая рыба. Он орангутанг. Он сегодня хорошо позавтракал?

— Прекрасно. Это самый большой орангутанг, живущий в неволе. Я не отдал бы его и за тысячу долларов.

— А кем вам приходится слон? — спросил я.

Миссис Уилкинс не удостоила меня взглядом, ее голубые глаза продолжали безразлично созерцать море.

— Никем не приходится, — ответила она. — Просто другом.

Мальчик-слуга принес лимонад миссис Уилкинс, виски с содовой — ее мужу, а мне — джин с тоником. Мы бросили кости, и я подписал счет.

— Он может обанкротиться, если всегда проигрывает в кости, — негромко произнесла миссис Уилкинс, обращаясь к береговой линии.

— Мне кажется, дорогая, Эгберт хочет попробовать твоего лимонада, — сказал мистер Уилкинс.

Миссис Уилкинс чуть повернула голову и взглянула на обезьянку, сидевшую у нее на коленях.

— Хочешь, Эгберт, мамочка даст тебе глотнуть лимонада?

Обезьянка чуть взвизгнула, и, обхватив ее покрепче, миссис Уилкинс протянула ей соломинку. Обезьянка пососала немножко лимонада и, утолив жажду, удобно устроилась на просторной груди миссис Уилкинс.

— Миссис Уилкинс без ума от Эгберта, — пояснил ее муж. — Ничего удивительного, он ведь ее младшенький.

Взяв новую соломинку, миссис Уилкинс задумчиво допила лимонад.

— Об Эгберте не беспокойтесь, — заметила она. — С ним все в порядке.

В этот момент французский чиновник, все время мирно сидевший в сторонке, поднялся и принялся прогуливаться по палубе. В порту его провожали французский посланник в Бангкоке, несколько секретарей, один из королевских наследников. Они долго раскланивались с отъезжающим, жали ему руки, а когда корабль наконец отчалил от пирса, махали платками и шляпами. Видимо, он был важной персоной. Я слышал, как капитан обращался к нему *Monsieur le gouverneur*<sup>1</sup>.

— На нашем корабле это самая крупная птица, — оживился мистер Уилкинс. — Он был губернатором в одной из французских колоний, а сейчас просто путешествует.

---

<sup>1</sup> Господин губернатор (*фр.*).

В Бангкоке он был на моем представлении. Пожалуй, спрошу, не хочет ли он чего-нибудь выпить. Как мне к нему обратиться, дорогая?

Миссис Уилкинс медленно повернула голову и взглянула на француза, прохаживающегося взад-вперед по палубе. В петлице у него была закреплена розетка ордена Почетного легиона.

— Никак не обращайся,— отозвалась она.— Покажи ему обруч, и он сам в него прыгнет.

Я едва удержался от смеха. *Monsieur le gouverneur* был невысокий человек, много ниже среднего роста, хлипкого телосложения, с маленьким некрасивым лицом и крупными, почти негроидными чертами. Кроме того, у него были густые седые волосы, густые седые брови и густые седые усы. Он действительно чем-то смахивал на пуделя, и глаза у него, как у пуделя, были добрые, умные и блестящие. Когда он в очередной раз проходил мимо, мистер Уилкинс окликнул его:

— *Monsoo. Qu'est-ce que vous prenez?*<sup>1</sup>— Я не могу воспроизвести всю эксцентричность его акцента.— *Une petite verre de porto*<sup>2</sup>.— Он повернулся ко мне:— Иностранцы всегда пьют порто, тут уж впросак не попадешь.

— Только не голландцы,— откликнулась миссис Уилкинс, глядя за борт.— Они ни к чему, кроме шнапса, и не притронутся.

Высокопоставленный француз остановился и взглянул на мистера Уилкинса в некотором смущении, мистер же Уилкинс, легонько стукнув себя в грудь, объявил:

— *Moа, propriétaire Cirque. Vous avez visité*<sup>3</sup>.

Тут мистер Уилкинс по необъяснимой причине изобразил руками обруч, как бы приглашая пуделя прыгнуть сквозь него.

Затем он указал на обезьянку, которая продолжала сидеть на коленях миссис Уилкинс.

— *La petit fils de mon femme*<sup>4</sup>,— представил он.

Губернатор весь просиял и захохотал, смех у него был особый — музыкальный и очень заразительный. Мистер Уилкинс тоже начал смеяться.

— *Oui, oui*,— закричал он.— *Moа, владеец цирка. Une petite verre de porto. Oui. Oui. N'est-ce pas*<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Мосье, что вы будете пить? (*фр.*)

<sup>2</sup> Рюмочку порто (*фр.*).

<sup>3</sup> Я владеец цирка. Вы посещали (искаж. *фр.*).

<sup>4</sup> Младший сын моей супруги (*фр.*).

<sup>5</sup> Да, да. Рюмочку порто. Да, да. Не так ли? (*фр.*)

— Мистер Уилкинс говорит по-французски, как настоящий француз,— сообщила миссис Уилкинс бегущим волнам.

— Mais très volontiers<sup>1</sup>,— согласился губернатор, все еще улыбаясь.

Я пододвинул ему кресло, и, поклонившись миссис Уилкинс, он уселся рядом с нами.

— Скажи пуделю, что нашего сыночка зовут Эгберт,— сказала она, глядя на море.

Я подозвал мальчика, и мы заказали всем выпить.

— Подпиши счет, Элмер,— сказала миссис Уилкинс.— Нечего мистеру, не знаю, как там его, играть в кости, если он не может выбросить больше двух троек.

— Vous comprenez le français, madame?<sup>2</sup>— вежливо обратился губернатор к миссис Уилкинс.

— Он спрашивает, дорогая, говоришь ли ты по-французски.

— Вот еще! Он что, считает, что я родом из Неаполя?

Тогда губернатор, бурно жестикулируя, разразился потоком английского, настолько фантастического, что мне потребовалось все мое знание французского, чтобы его понять.

Мистер Уилкинс тут же потащил его вниз показать своих животных, а через некоторое время мы снова собрались в душном салоне на обед. Появилась жена губернатора, которую посадили справа от капитана. Губернатор представил ей всех присутствующих, после чего она грациозно нам поклонилась. Это была крупная женщина, высокая, крепкого сложения, лет пятидесяти—пятидесяти пяти, одетая в несколько строгое платье из черного шелка. На голове она носила огромный круглый шлем. Черты ее были настолько правильные и крупные, формы настолько внушительные, что вам сразу приходили на ум те могучие женщины, без которых не обходится ни одна процессия. Она была бы прекрасным олицетворением Америки или Британии в какой-нибудь патриотической демонстрации. Она возвышалась над своим миниатюрным мужем, как небоскреб над хижинкой. Он беспрерывно болтал, с живостью и остроумием, и когда он говорил что-нибудь особенно забавное, ее солидные черты расплывались в широкую нежную улыбку.

— Que tu es bête, mon ami<sup>3</sup>,— сказала она. Повернувшись к капитану, она добавила:— Пожалуйста, не обращайтесь на него внимания. Он всегда такой.

---

<sup>1</sup> С удовольствием (*фр.*).

<sup>2</sup> Вы понимаете по-французски, мадам? (*фр.*)

<sup>3</sup> Ну что ты за шут, друг мой (*фр.*).

Мы действительно хорошо позабавились за обедом и, когда все было съедено, разошлись по своим каютам, чтобы переспать послособеденную жару. На таком маленьком корабле, однажды познакомившись со всеми попутчиками, было просто невозможно, даже если бы я этого и хотел, избежать компании друг друга, разве что сидеть, запершись в каюте. Единственным человеком, державшимся особняком, был итальянец-тенор. Он ни с кем не заговаривал, а сидел в сторонке и тихонько тренькал на гитаре, и чтобы уловить мелодию, приходилось напрягать слух. Беседуя то об одном, то о другом, мы наблюдали, как догорает день, ужинали, а потом снова сидели на палубе и глядели на звезды. Два коммерсанта, несмотря на духоту, играли в салоне в пикет, бельгийский же полковник присоединился к нашей маленькой группке. Он был робок и толст и открывал рот лишь для того, чтобы произнести какую-нибудь вежливую фразу. Приход ночи и наступление темноты, видимо, вдохновили сидящего на корме тенора, дав ему ощущение, что он с морем один на один, ибо, подыгрывая себе на гитаре, он начал петь, сначала совсем тихо, потом громче, и, наконец, музыка целиком захватила его, и он запел во весь голос. У него был настоящий итальянский голос, полный спагетти, оливкового масла и солнечного света, и пел он неаполитанские песни, которые я слышал в годы моей юности, а также арии из «Богемы», «Риголетто» и «Травиаты». Пел он с чувством, но довольно наигранно, и тремоло его напоминали вам любого третьеразрядного итальянского тенора, однако в эту прекрасную ночь под открытым небом напыщенность его пения лишь вызывала улыбку, и вы чувствовали, как вас переполняет ленивое наслаждение. Он пел примерно час, и все мы тихо сидели и слушали. Потом он смолк, но остался сидеть, и его могучий силуэт смутно вырисовывался на фоне закатного неба.

Я обратил внимание, что маленький французский губернатор держит в руке руку своей большой жены, зрелище это было нелепым и в то же время трогательным.

— Знаете ли вы, что сегодня годовщина того дня, когда я впервые встретил свою жену? — разорвал он внезапно тишину, которая, безусловно, давила его, потому что он был на редкость словоохотлив. — Сегодня также годовщина дня, когда она обещала стать моей женой. Вам это может показаться странным, но оба эти события произошли в один день.

— *Voyons, mon ami* <sup>1</sup>,— с укоризной сказала его жена,— неужели ты собираешься уморить всех этой старой историей? Ты совершенно невыносим.

Но на крупном, строгом лице ее играла улыбка, а по тону можно было предположить, что она не прочь послушать эту историю снова.

— Но им это будет интересно, *mon petit chou* <sup>2</sup>.— Именно так он всегда обращался к жене, что при ее импозантности и статуарности, при его малом росте было весьма забавно слышать.— Разве нет, *monsieur*,— обратился он ко мне.— Это романтическая история, а разве все мы не романтичны в душе, особенно в такую прекрасную ночь!

Я уверил губернатора, что мы будем очень рады его послушать, а бельгийский полковник не упустил случая в очередной раз продемонстрировать хорошее воспитание.

— Видите ли, брак наш был браком по расчету в самом чистейшем виде.

— *C'est vrai* <sup>3</sup>,— подтвердила супруга.— Было бы глупо это отрицать. Но иногда любовь приходит не до свадьбы, а после нее, и такая любовь вернее. Она длится дольше.

Я заметил, как губернатор нежно пожал ее руку.

— Видите ли, я долго служил во флоте, и когда вышел в отставку, мне было сорок девять лет. Я чувствовал, что полон сил и энергии, и жаждал найти себе какое-нибудь занятие. Я начал искать, я использовал все имевшиеся у меня связи. К счастью, у меня был двоюродный брат, который имел кое-какой вес. В этом заключается одно из преимуществ демократического правления: если ты обладаешь определенным влиянием и имеешь определенные заслуги, это уже не пройдет незамеченным и тебе воздастся должное.

— Ты сама скромность, *mon pauvre ami* <sup>4</sup>,— сказала она.

И вот однажды меня вызвал к себе министр по делам колоний и предложил пост губернатора в одной из колоний. Место, куда он собирался меня послать, находилось довольно далеко, к тому же было на отшибе, но так как всю свою жизнь я таскался из порта в порт, это обстоятельство меня ничуть не смутило. Я принял предложение с радостью. Министр велел мне быть готовым к выезду через месяц. Я ответил, что старому холостяку, у которого за душой нет

---

<sup>1</sup> Право же, друг мой (*фр.*).

<sup>2</sup> Моя лапунечка (*фр.*).

<sup>3</sup> Это правда (*фр.*).

<sup>4</sup> Мой бедный друг (*фр.*).

ничего, кроме необходимой одежды да книг, много времени на сборы не потребуется.

— *Comment, mon lieutenant*<sup>1</sup>, — воскликнул он, — вы холостяк?

— Да, — отвечал я. — И намереваюсь в этом качестве остаться.

— В таком случае, боюсь, мне придется свое предложение снять. Для назначения на этот пост вам необходимо иметь супругу.

Это длинная история, но суть ее в том, что мой предшественник, холостяк, оскандалился из-за того, что у него прямо в резиденции жили местные девушки, и это вызывало постоянные жалобы наших соотечественников — колонистов и жен служащих. После этого было решено, что губернатор должен быть образцом добродетели. Я пытался возражать. Я спорил. Я перечислил свои заслуги перед страной, говорил о том, насколько полезным может оказаться мой двоюродный брат на предстоящих выборах. Но все мои доводы не произвели на министра никакого впечатления. Он был непреклонен.

— Но что же мне делать? — воскликнул я в отчаянии.

— Вы можете жениться, — посоветовал министр.

— *Mais voyons, monsieur le ministre*<sup>2</sup>, у меня нет ни одной знакомой женщины. Я никогда не пользовался у них успехом, и мне сорок девять лет. Каким же образом я могу найти себе жену?

— Нет ничего проще. Поместите объявление в газете.

Я был настолько ошарашен, что у меня даже язык отнялся.

— Обдумайте все как следует, — сказал на прощание министр. — Найдете за месяц жену — можете ехать, не найдете — места не получите. Это мое последнее слово. — Он чуть улыбнулся, ему ситуация рисовалась вполне комичной. — Если надумаете давать объявление в газету, могу порекомендовать «Фигаро».

Когда я вышел из министерства, сердце мое переполняла великая скорбь. Я был знаком с местом моего возможного назначения и знал, что оно устроило бы меня во всех отношениях, климат был вполне сносным, а здание резиденции — большим и удобным. Перспектива стать губернатором вовсе не была мне неприятна, а жалованье, учитывая, что, кроме пенсии морского офицера, я не имел ни гроша,

---

<sup>1</sup> Как, лейтенант (*фр.*).

<sup>2</sup> Но послушайте, господин министр (*фр.*).

тоже не оказалось бы лишним. И тогда я решился. Я пошел в редакцию «Фигаро», написал объявление и отдал его для публикации. Но могу сказать вам: когда я шел по Елисейским полям, сердце мое колотилось с таким неистовством, с каким не колотилось, даже когда мой корабль собирался вступить в бой.

Губернатор подался чуть вперед и сжал мне рукой колено.

— *Mon cher monsieur*<sup>1</sup>, в это трудно поверить, но я получил четыре тысячи триста семьдесят два ответа. Это была настоящая лавина. Я ожидал получить максимум полдюжины писем, но мне пришлось нанять кеб, чтобы перевезти всю почту к себе в отель. Комната была буквально завалена письмами. Четыре тысячи триста семьдесят две женщины выражали желание разделить мое одиночество и стать губернаторшей. Я был потрясен. Они были всех возрастов, от семнадцати до семидесяти. Здесь были девицы с безупречной родословной и прекрасным образованием, здесь были незамужние женщины, которые в определенный период своей жизни совершили маленькую ошибку и теперь хотели стабилизировать свое положение; были здесь и вдовы, мужа которых погибли при самых трагических обстоятельствах; были и вдовы, чьи дети могли бы стать мне утешением на старости лет. Были блондинки и брюнетки, высокие и невысокие, полные и худощавые; одни свободно говорили на пяти языках, другие умели отлично играть на фортепьяно. Одни предлагали мне любовь, другие жаждали ее получить; третьи могли мне обещать только верную дружбу, основанную на глубоком уважении; четвертые владели состоянием и прочими несметными богатствами. Я был подавлен. Я был сбит с толку. В конце концов, будучи человеком вспыльчивым, я совершенно вышел из себя, стал топтать ногами все эти письма вместе с фотографиями и кричать, что не женюсь ни на одной из них. Ведь не было никакой надежды на то, что в течение оставшегося месяца я смогу встретиться со всеми четырьмя тысячами женщин, претендующих на мою руку. Я чувствовал, что, если не встречу с каждой из них, меня до конца дней будет мучить мысль, что я прошел мимо женщины, которая предназначалась мне судьбой. Поэтому я решил отказаться от этой авантюры.

Мне стало жутко в своей комнате, засыпанной смятыми письмами и фотографиями, и, чтобы немного развеяться, я отправился на бульвар посидеть в кафе де ля Пе. Через

---

<sup>1</sup> Мой дорогой мосье (*фр.*).



некоторое время появился один мой приятель; заметив меня, он кивнул мне и улыбнулся. Я попытался ответить ему улыбкой, но на душе у меня скребли кошки. Я представил, что до конца жизни мне придется прозябать на скромную пенсию. Мой знакомый остановился, подошел ко мне и сел рядом.

— Почему у тебя такой мрачный вид, *mon cher*?<sup>1</sup> — осведомился он.

Я был рад, что нашелся кто-то, кому я могу поведать о своих бедах, и рассказал ему всю историю. Он хохотал до упаду. Позже мне неоднократно приходило в голову, что со стороны этот случай должен был выглядеть достаточно комичным, но, уверяю вас, в тот момент я не видел в нем ничего смешного. Я так и сказал моему приятелю, причем в довольно резкой форме, и тогда, стараясь, по возможности, сдержать свое веселье, он спросил меня:

— Но, дорогой мой, ты в самом деле собрался жениться?

Тут уж я окончательно потерял над собой контроль.

— Ты безмозглый идиот! — заявил ему я. — Если бы я не собирался жениться, причем жениться немедленно, в течение двух недель, разве стал бы я три дня подряд сидеть над любовными письмами от женщин, которых никогда и в глаза не видел?

— Успокойся и слушай, что я тебе скажу, — сказал он тогда. — У меня в Женеве есть двоюродная сестра. Она швейцарка. У нее совершенно безупречная репутация, она достаточно молода, старой девой осталась потому, что последние пятнадцать лет ухаживала за своей больной матушкой, которая недавно умерла, она очень образованна и во все не безобразна.

— Прямо пример для подражания, — сказал я.

— Этого я не утверждаю, но она получила хорошее воспитание и вполне справится с ролью, которую ты можешь ей предложить.

— Ты забываешь одну маленькую деталь. Где те доводы, которые заставят ее бросить друзей, отказаться от привычного образа жизни ради того, чтобы сопровождать в ссылке сорокадевятилетнего мужчину, которого к тому же никак не назовешь красавцем?

*Monsieur le gouverneur* прервал свой монолог и, пожав плечами столь выразительно, что голова его почти скрылась между ними, повернулся к нам:

---

<sup>1</sup> Мой друг (*фр.*).

— Я уродлив, и мне об этом прекрасно известно. Бывает уродство, которое внушает уважение или страх, мой же тип уродства способен вызвать лишь смех, и этот тип — самый худший. Когда люди видят меня впервые, они не содрогаются от ужаса, что в какой-то степени было бы лестно, а просто начинают смеяться. Вы знаете, когда сегодня утром наш чудесный мистер Уилкинс показывал мне своих животных, орангутанг Перси, увидев меня, протянул мне навстречу лапы и, если бы не решетка клетки, прижал бы меня к груди, как давно пропавшего без вести родного брата. Однажды, когда я гулял по парижскому зоопарку и вдруг услышал, что сбежала человекообразная обезьяна, я как можно скорее направился к выходу, боясь, что, ошибочно приняв меня за беглеца, меня схватят и, не слушая никаких объяснений, упрячут в обезьяний вольер.

— *Vous, mon ami*<sup>1</sup>, — сказала его супруга своим напевным бархатистым голосом, — ты совсем зарাপортовался. Я не говорю, что ты Аполлон, в твоём положении это и не требуется, но ты полон достоинства, умеешь прекрасно держаться в обществе, любая женщина даст тебе самую лучшую аттестацию.

— Я продолжу свой рассказ. Итак, когда я с сомнением отнесся к предложению моего приятеля, он мне сказал:

— Поступки женщин не поддаются логике. В женитьбе есть нечто такое, что привлекает их самым удивительным образом. Чем ты, собственно говоря, рискуешь? В конце концов, когда женщине предлагают руку и сердце, для нее это комплимент. В худшем случае она откажется.

— Но я ведь твою двоюродную сестру даже не знаю и не имею понятия, как с ней познакомиться. Не могу же я просто прийти к ней в дом, спросить ее и, когда меня проведут в гостиную, объявить: «*Voilà*<sup>2</sup>, я приехал просить вас выйти за меня замуж». Она примет меня за сумасшедшего и станет звать на помощь. Кроме того, я человек крайне застенчивый и на такой шаг в жизни не решусь.

— Я научу тебя, как поступить, — сказал мой приятель. — Поезжай в Женеву и повези ей от меня коробку шоколада. Она будет рада новостям обо мне и примет тебя с удовольствием. Ты можешь с ней немного поболтать, и если она тебе не понравится, ты просто распрощаешься и уйдешь, и все останется на своих местах. Если же,

---

<sup>1</sup> Послушай, друг мой (*фр.*).

<sup>2</sup> Ну вот (*фр.*).

напротив, она тебе понравится, мы займемся этим вопросом серьезно, и ты сделаешь ей официальное предложение.

Я был в отчаянии. Казалось, другого выхода у меня не было. Не теряя времени, мы пошли в магазин, купили огромную коробку шоколада, и вечером того же дня я поездом выехал в Женеву. Прибыв туда, я тотчас послал ей письмо, извещая, что у меня находится подарок для нее от ее двоюродного брата и я с большим удовольствием передал бы этот подарок лично. Через час пришел ответ, в котором она сообщала, что будет рада принять меня в четыре часа дня. Все оставшееся время я провел перед зеркалом, я семнадцать раз завязывал и снова развязывал галстук. Ровно в четыре часа я появился на пороге ее дома, и меня сразу провели в гостиную. Она меня ждала. Ее двоюродный брат сказал, что она не безобразна. Представьте, как я изумился, увидев молодую женщину, enfin<sup>1</sup> женщину еще молодую, с благородной осанкой, величавую, как Юнона, красивую, как Венера, во взгляде которой светился ум Минервы.

- Ты совсем утратил чувство меры,—поморщилась его супруга.—Но всем уже и так ясно, что тебя здорово заносит.

- Клянусь вам, я не преувеличиваю. Я был так поражен, что чуть не выронил коробку с шоколадом. Но я тут же сказал себе: «*La garde meurt mais ne se rend pas*»<sup>2</sup>. Я передал ей коробку конфет и рассказал о ее двоюродном брате. Я нашел ее очень общительной. Так мы проговорили четверть часа, после чего я приказал себе: «Вперед». И тогда я сказал ей:

- Mademoiselle, я должен признаться, что прибыл сюда не только для того, чтобы передать вам коробку шоколада.

Улыбнувшись, она ответила, что у меня, вполне естественно, были более серьезные причины для приезда в Женеву.

- Я приехал сюда, чтобы просить вашей руки.

Она вздрогнула.

- Но, monsieur, вы сошли с ума,—сказала она.

- Умоляю вас не отвечать, прежде чем вы не выслушаете факты, — прервал ее я и, не дав ей произнести ни слова, выложил все, как было, от начала до конца.

Я рассказал ей об объявлении в «Фигаро», и она смеялась так, что по щекам ее текли слезы. Потом я повторил свое предложение.

- Вы это серьезно? — спросила она.

---

<sup>1</sup> По крайней мере (фр.).

<sup>2</sup> Гвардия умирает, но не сдается (фр.).

— Как никогда в жизни серьезно.

— Глупо отрицать, что ваше предложение является для меня неожиданностью. О замужестве я и не помышляла, возраст у меня уже не тот, но тем не менее ваше предложение не из тех, которые женщины отвергают не задумываясь. Оно мне льстит. Мне нужно на размышление несколько дней.

— Mademoiselle, я в полном отчаянии,— воскликнул я,— но у меня абсолютно нет времени! Если вы не согласитесь выйти за меня замуж, мне придется вернуться в Париж и снова усесться за чтение, ибо тысячи полторы писем еще требуют моего внимания.

— Но, помилуйте, совершенно ясно, что я не могу вам дать ответ немедленно! Четверть часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я должна посоветоваться с друзьями и родственниками.

— Да какое они к этому имеют отношение? Вы взрослый, самостоятельный человек. Дело очень срочное. Ждать я не могу. Я вам обо всем рассказал. Вы умная женщина. Разве может длительное размышление повлиять на решение, принятое под влиянием момента?

— Я надеюсь, вы не требуете от меня ответа сию же минуту? Это уж слишком.

— Именно об этом я и прошу. Мой поезд отправляется в Париж через два часа.

Она задумчиво посмотрела на меня.

— Вы сумасшедший, это совершенно ясно. Вас нужно посадить под замок для вашей собственной безопасности и для безопасности окружающих.

— Так какой же будет ответ? — не отступал я. — Да или нет?

Она пожала плечами.

— Mon Dieu<sup>1</sup>. — Минуту она молчала, а я сгорал от нетерпения, мучительно ожидая ответа. — Да.

Губернатор простер руку в сторону жены:

— И вот вам моя жена. Через неделю мы вступили в брак, и я стал губернатором колонии. Я взял в жены настоящее сокровище, уважаемые господа, женщину с прекрасным характером, какой встретишь у одной из тысячи, человека с мужским умом и женским сердцем, восхитительную женщину.

— Но, mon ami, попридержи хоть чуточку свой язык,— урезонивающе произнесла его супруга. — Теперь ты не только себя, но и меня выставляешь на посмешище.

---

<sup>1</sup> Господи (*фр.*).

Он повернулся к бельгийскому полковнику:

— Вы, кажется, холостяк, полковник? Если это так, я самым решительным образом рекомендую вам отправиться в Женеву. Там настоящий цветник (он сказал: «une periniègre») очаровательных молодых девушек. Такую жену, как там, вы не найдете нигде. Кроме того, Женева — чудесный город. Не теряйте времени, полковник, езжайте туда, я дам вам адрес племянницы моей супруги.

Черту под рассказом подвела она:

— Дело в том, что при браке по расчету вы не рассчитываете на многое, поэтому вряд ли будете сильно разочарованы. И поскольку вы не предъявляете друг к другу повышенных требований, причин для злости и раздражения нет. Вы и не ищете в другом совершенства, поэтому к недостаткам друг друга относитесь терпимо. Страсть, конечно, прекрасная вещь, но она не является надежной основой для брака. Видите ли, двое могут быть счастливы в браке лишь тогда, когда они в состоянии уважать друг друга, когда они занимают одинаковое положение в обществе, когда у них есть общие интересы. В этом случае, если оба они порядочные люди, если готовы не только брать, но и давать, если готовы жить не только для себя, но и для другого, их союз может оказаться таким же счастливым, как наш.— Она сделала паузу.— Но, кроме всего прочего, мой муж — в высшей степени достойный человек.

---

## ЧУВСТВО ПРИЛИЧИЯ<sup>1</sup>

Я не люблю принимать приглашения задолго. Как поручиться, что в такой-то день через три недели или через месяц захочешь обедать у таких-то? Возможно, тем временем подвернется случай провести этот вечер приятнее, а когда приглашают так задолго, явно соберется многочисленное и церемонное общество. Ну; а как быть? День назначен давным-давно, званые гости вполне могли заранее освободить его, и нужен очень веский предлог для отказа, иначе оскорбишь хозяев неучтивостью. Принимаешь приглашение, и целый месяц это обязательство тяготит тебя и омрачает настроение. Оно нарушает дорогие твоему сердцу планы. Оно вносит беспорядок в твою жизнь. По сути, есть только один выход — увильнуть в самую последнюю минуту. Но на это у меня то ли не хватает мужества, то ли совесть не позволяет.

Однажды июньским вечером, около половины девятого я не без досады вышел из квартиры, которую снимал на улице Полумесяца, и отправился за угол, на обед к Макдональдам. Макдональды мне нравились. Много лет назад я взял себе за правило не делить трапезу с людьми, которых не люблю или презираю, и тем самым отказался от тостеприимства многих, в чьих домах мог бы приятно проводить время, однако и по сей день полагаю, что решил правильно. Макдональды очень милы, но вечера у них — сущая лотерея. Они почему-то воображают, что, если пригласить шесть человек, которым совершенно не о чем друг с другом говорить, вечер обречен на неудачу, но если утроить число таких гостей

---

<sup>1</sup> © Перевод. Н. Галь, 1985 г.

и пригласить восемнадцать, все пройдет прекрасно. Я немного запоздал, это почти неизбежно, когда живешь по соседству с домом, куда приглашен, и незачем брать такси, и в комнате, куда меня ввели, было уже полно народу. Знакомых лиц я почти не увидел и с тоской представил себе, как за долгим обедом буду мучительно искать тему для разговора, сидя между двумя незнакомками. Я вздохнул с облегчением, когда вслед за мной появились Томас и Мэри Уортон, и еще больше обрадовался, обнаружив, что за столом мое место рядом с Мэри.

Томас Уортон, художник-портретист, когда-то пользовался немалым успехом, но не оправдал надежд, которые подавал в молодости, и критики давно уже не принимают его всерьез. Зарабатывает он прилично, однако на ежегодной выставке в Королевской Академии, куда он неизменно посылает добросовестно выполненные, но скучные портреты процветающих коммерсантов или землевладельцев — любителей охоты на лисиц, посетители едва удостаивают эти портреты беглым взглядом. Вы бы и рады восхищаться его работами, ведь сам он человек благодушный и доброжелательный. Если вы — писатель, он искренне восхищается всем, что вы написали, радуется каждой вашей удаче, и так приятно было бы с чистой совестью тепло отозваться о его произведениях. Но это невозможно, и остается прибегнуть к единственно спасительной фразе, какая еще остается приятелю художника-портретиста.

— Видимо, сходство поразительное, — говорите вы.

Мэри Уортон в прошлом известная певица, еще и сейчас в голосе ее сохранилось что-то от былой прелести. Наверно, в молодости она была очень хороша собой. Теперь, в пятьдесят три, лицо у нее изможденное. Черты утратили женственность, кожа огрубела; но коротко стриженные седеющие волосы все еще густы и выются, а в чудесных глазах светится ясный ум. Одевается она не строго по моде, но живописно, и у нее слабость к ожерельям и каким-то необыкновенным серьгам. Она резковата, мгновенно подмечает чужую глупость, язычок у нее острый, и потому ее многие не любят. Но все признают, что она умница. Она не только настоящий музыкант, но и очень начитанна и до страсти увлекается живописью. Она на редкость тонко чувствует искусство. Интерес к современному искусству у нее не показной, а искренний, и она за гроши покупала картины безвестных художников, к которым потом приходила слава. В ее доме слышишь новейшую сложную музыку, и стоит в Европе появиться поэту или романисту, способному сказать новое,

необычное слово, она немедленно ринется за него в бой против филистеров. Вы скажете, что она интеллектуалка — так оно и есть; но вкус у нее едва ли не безошибочный, ее суждения здравы и восторги непритворны.

Больше всех ею восхищается Томас Уортон. Он влюбился в нее, когда она еще пела на концертной сцене, и стал преследовать предложениями руки и сердца. Раз пять или шесть она ему отказывала и, как я подозреваю, вышла за него не без колебаний. Она думала, что он станет большим художником, и когда он оказался всего лишь приличным ремесленником, лишенным оригинальности и воображения, почувствовала себя обманутой. Ее оскорбляло, что знатоки смотрят на него свысока. Томас Уортон любил жену. Он глубоко уважал ее мнение, и ее одобрительное слово было бы ему дороже хвалебных рецензий во всех лондонских газетах. Но она была слишком честна, чтобы говорить не то, что думала. Его жестоко уязвляло, что жена так мало ценит его работу, и, хотя он пытался обратить это в шутку, видно было, что втайне он обижен ее замечаниями. В иные минуты его длинная лошадиная физиономия багровела от еле сдерживаемого гнева и взгляд омрачала ненависть. Другим известно было, что супруги не ладят. У них была злосчастная привычка ссориться на людях. Уортон неизменно говорил о жене с восхищением, но Мэри, не столь сдержанная, не скрывала от близких друзей, как муж ее раздражает. Она признавала его достоинства — доброту, великодушие, бескорыстие, признавала охотно; но недостатки у него такие, из-за которых с человеком трудно ужиться: он узкокобий, самоуверенный и притом заядлый спорщик. По натуре он не художник, а для Мэри Уортон искусство превыше всего. В том, что касается искусства, она не способна на уступки. И потому не замечает, что грехи Уортона, которые так бесят ее, объясняются в значительной мере его уязвленным самолюбием. Она то и дело ранила его, а он, обороняясь, становился высокомерен и нетерпим. Нет муки злее, чем презрение единственного человека, чьей похвалы жаждешь больше всего на свете, и хоть Томас Уортон был невыносим, нельзя было ему не посочувствовать. Но если в моем описании Мэри выглядит вечно недовольной, капризной и в общем-то утомительной особой, значит, я оказался несправедлив. Она была верным другом и очаровательной собеседницей. С ней можно было поговорить о чем угодно. Она была весела и остроумна. Жизнь была в ней ключом.

Сейчас она сидела по левую руку от хозяина, и вокруг нее завязался общий разговор. Я занят был соседкой



с другой стороны, но по взрывам смеха, которым встречали каждую шуточку Мэри, догадывался, что она сегодня блистает остроумием. Если она бывала в таком настроении, с нею никто не мог сравниться.

— Вы сегодня в ударе,— заметил я, когда наконец она повернулась ко мне.

— Вас это удивляет?

— Нет, ничего другого я от вас и не ждал. Не удивительно, что вы всюду нарасхват. У вас неоценимый дар вносить оживление в любое общество.

— Стараюсь, как могу, заслужить угощение.

— Кстати, что с Мэнсоном? На днях мне кто-то говорил, будто он ложится в больницу на операцию. Надюсь, ничего серьезного?

Мэри мгновенно помедлила с ответом, но улыбалась все так же весело.

— Вы разве не видели вечернюю газету?

— Нет, я играл в гольф. Только и забежал домой принять ванну и переодеться.

— Он умер сегодня в два часа дня.— У меня чуть не вырвался возглас изумления и ужаса, но Мэри меня остановила: — Осторожнее. Том следит за мной зорче рыси. Все за мной следят. Все знают, что я обожала Мэнсона, но никто не знает наверняка, был ли он моим любовником; даже Том не знает; они хотят видеть, как на меня подействовала его смерть. Старайтесь делать вид, что мы говорим о русском балете.

Тут к ней обратился кто-то из сидящих напротив, и Мэри, по привычке чуть откинув голову, с улыбкой на полных губах, тотчас ответила так остроумно и метко, что все вокруг расхохотались. Разговор опять сделался общим, а я оцепенел, ошеломленный.

Я знал, все мы знали, что добрых двадцать пять лет Джерарда Мэнсона и Мэри Уортон соединяла пылкая привязанность. Это длилось так долго, что даже самые строгие пуритане среди ее друзей, если поначалу их это и коробило, давно научились относиться к ее слабости терпимо. Оба были уже немолоды, Мэнсону шестьдесят, Мэри немногим моложе, и нелепо им было бы в их возрасте не поступать, как хочется. Порой эту пару видели в тихом углу какого-нибудь захудалого ресторанчика или встречали на дорожке зоопарка, и даже странно было, чего ради они все еще стараются скрыть то, что никого, кроме них, не касается. Впрочем, нельзя забывать о Томасе. Он безумно ревновал жену. Он закатывал ей дикие скандалы и не так

давно, под конец одной бурной полосы в их жизни, вырвал у нее обещание больше с Мэнсоном не встречаться. Конечно, она не сдержала слово и, хоть знала, что Томас об этом подозревает, всячески остерегалась, чтобы он не убедился в правоте своих подозрений.

Томасу приходилось нелегко. Думаю, они с Мэри довольно сносно тянули бы супружескую лямку и Мэри примирилась бы с тем, что он всего лишь посредственный художник, если бы связь с Мэнсоном не заставила ее судить строже. Слишком жесток был контраст между посредственностью мужа и яркой одаренностью возлюбленного.

— С Томом мне душно, как в закупоренной наглухо комнате, забитой пыльными безделушками,— сказала она мне однажды.— С Джерардом я дышу чистым воздухом горных высей.

— Неужели женщина может влюбиться в ум мужчины? — спросил я из чистого любопытства.

— А что еще есть в Джерарде?

Вопрос, признаться, не из легких. По-моему, больше ничего в Джерарде не было; но секс непредсказуем, и я вполне готов поверить, что Мэри увидела в Джерарде Мэнсоне обаяние и физическую привлекательность, к которым почти все оставались слепы. Он был маленький, сморщенный, бледное умное лицо, за стеклами очков блеклые голубые глаза, огромный выпуклый лоб и сияющая лысина. Внешность отнюдь не романтического любовника. С другой стороны, он бесспорно был очень тонкий критик и отличный эссеист. Меня несколько раздражало, что он пренебрежительно отзывался обо всех английских авторах, кроме тех, кто благополучно отошел в мир иной; но это лишь возвышало его в глазах нашей интеллигенции, охотно верящей, будто на почве отечества не произрастает ничего путного, и в этой среде он пользовался большим влиянием. Однажды я сказал ему, что достаточно изречь пошлость по-французски, чтобы он счел ее остроумной, и он настолько оценил мою шуточку, что вставил ее как свою в очередное эссе. Если уж он снисходил до похвалы современным авторам, то хвалил лишь тех, кто пишет на чужом языке. Но вот что досадно — сам он, бесспорно, писал блестяще. Стиль его был безупречен. Познания широки и разносторонни. Он умел быть серьезным без высокопарности, забавным без легкомыслия, изысканным без жеманства. Самая незначительная его статья отлично читалась. Каждое его эссе — маленький шедевр. Что до меня, я не считал его таким уж приятным собеседником. Возможно, мне не удалось разглядеть лучшие

его стороны. Хотя мы были знакомы много лет, ни разу я не слышал от него забавной шутки. Он был не речист, и когда уж произносил два слова, то будто не говорил, а вещал. Если бы мне предстояло провести вечер с ним вдвоем, я пришел бы в отчаяние. Меня всегда поражало, что этот скучный, напыщенный человек способен писать так изящно, остроумно и весело.

Еще больше я поражался, что общительная, жизнерадостная Мэри Уортон пылает к нему такой нежной страстью. Подобные загадки непостижимы, видно, было в этом немолодом, недоброжелательном, злонравном человеке что-то притягательное для женщин. Жена его обожала. Она была толстая, нудная и настырная. Она отравляла Джерарду жизнь и нипочем не соглашалась дать ему свободу. Она поклялась, что покончит с собой, если он от нее уйдет, и Мэнсон опасался, как бы она при своем неуравновешенном, истеричном нраве не исполнила угрозу. Однажды, когда Мэри позвала меня на чашку чаю, я заметил, что она неспокойна и чем-то расстроена, спросил, что случилось, и она вдруг расплакалась. Оказалось, перед тем она завтракала с Мэнсоном, и он был совсем выбит из колеи, жена закатила ему ужасную сцену.

— Так продолжаться не может! — воскликнула Мэри. — Его жизнь идет прахом. У всех у нас жизнь идет прахом.

— Почему бы вам не сжечь свои корабли?

— То есть?

— Вы так давно любите друг друга, вы успели изучить друг в друге и самое хорошее, и самое дурное; вы оба уже немолоды, много ли вам осталось; обидно, чтобы пропадало понапрасну чувство, которое выдержало такое испытание временем. И какая от вашей жертвы польза Тому и миссис Мэнсон? Разве они счастливы оттого, что вы оба мучаетесь?

— Нет.

— Тогда почему бы вам попросту все не бросить и не укатить вдвоем, а там будь что будет?

Мэри покачала головой.

— Мы без конца это обсуждали. Больше четверти века обсуждали. Это невозможно. Многие годы Джерард не мог так поступить из-за дочерей. Может быть, миссис Мэнсон была очень нежной матерью, но матерью очень плохой, и правильно воспитывать девочек было некому, кроме Джерарда. А теперь, когда они уже замужем, у него сложились свои привычки. Что нам было делать? Уехать во Францию или в Италию? Я не могу вырвать Джерарда из привычного

окружения. Он был бы глубоко несчастен. Он слишком стар, чтобы все начинать сначала. И потом, хоть Томас изводит меня и скандалит и мы ссоримся и действуем друг другу на нервы, он меня любит. В сущности, у меня бы просто не хватило духу от него уйти. Без меня он пропадет.

— Положение безвыходное. Мне очень грустно за вас.

Внезапно полные яркие губы Мэри дрогнули, сияющая улыбка преобразила изможденное немолодое лицо; честное слово, на минуту она стала красавицей.

— Можете не грустить. Я приуныла было, а вот выплакалась, и стало легче. Сколько боли, сколько страданий ни принес мне наш роман, ни за что на свете я бы от него не отказалась. Ради считанных минут восторга, которые подарила мне эта любовь, я готова бы всю свою жизнь пережить сызнова. И, думаю, он сказал бы вам то же самое. О, поверьте, игра вполне стоила свеч.

Я поневоле был тронут.

— Никакого сомнения, — сказал я. — Это настоящая любовь.

— Да, это любовь, и мы просто не можем от нее отмахнуться. Этот узел не развяжешь.

И вот теперь с трагической внезапностью узел развязался. Я чуть повернулся, посмотрел на Мэри, и она, почувствовав на себе мой взгляд, тоже повернулась. С губ ее не сходила улыбка.

— Почему вы сегодня пришли сюда? Должно быть, для вас это пытка.

Она пожала плечами.

— А что было делать? В больницу он просил не звонить из-за жены. Я прочла извещение в вечерней газете, когда переодевалась. Это меня убило. Убило. Сюда нельзя было не пойти. Нас пригласили месяц назад. Что я могла объяснить Тому? Предполагалось, что мы с Джерардом уже два года не видимся. А мы двадцать лет писали друг другу каждый день! — Нижняя губа ее слегка задрожала, но Мэри закусила губу, на мгновенье лицо ее странно исказилось; потом она взяла себя в руки и улыбнулась. — Он — единственное, что было у меня в жизни, но не могла я испортить людям вечер, правда? Он всегда говорил, что мне присуще чувство приличия.

— К счастью, мы сегодня не засидимся допоздна, и вам можно будет уйти домой.

— Не хочу я домой. Не хочу оставаться одна. Я не смею плакать, тогда у меня будут опухшие красные глаза,

а завтра у нас завтракает куча народу. Кстати, может быть, и вы придете? За столом не хватает одного мужчины, и я должна быть в хорошей форме; Том надеется, что после этого завтрака ему закажут портрет.

— Вы храбрая женщина, черт возьми.

— Вы думаете? Понимаете, для меня все кончно. Наверно, от этого мне легче. Джерард хотел бы, чтобы я держалась молодцом. Он бы оценил иронию судьбы. Он всегда считал, что французские романисты прекрасно описывают подобные случаи.

## НИЩИЙ

Бог знает, сколько раз я сетовал, что не имею хотя бы части времени сделать хотя бы часть того, что мне хочется. Не помню, когда у меня в последний раз была свободная секунда. Много раз я тешил себя мечтами о том, как целую неделю ничего не буду делать. Большинство людей когда не работают, то развлекаются: сдзят верхом, купаются, либо играют в теннис или в карты. Я же мечтал о полном безделье. Все утро я буду лентяйничать, днем лодырничать, а вечером бить баклуши. Мое сознание уподобится грифельной доске, а каждый час — губке, стирающей с нее каракули, набросанные рукою чувственного мира. Время, которое так быстротечно, время, уходящее безвозвратно, — вот драгоценнейшее достояние человека, и выбрасывать его на ветер есть самая изощренная форма расточительства. Клеопатра растворила в вине бесценную жемчужину... но отдала его выпить Антонию. Растрчивать же попусту короткие золотые часы своей жизни — значит выплеснуть на землю вино с растворенной в нем жемчужиной. Жест великолепный, но, как и все великолепные жесты, бессмысленный. И в этом, конечно, его оправдание. Я не сомневался, что в течение недели, которую обещал себе, я буду читать, потому что для человека, привыкшего к чтению, оно становится наркотиком, а он сам — его рабом. Попробуйте отнять у него книги, и он станет мрачным, дерганным и беспокойным, а потом, подобно алкоголику, который, если оставить его без спиртного, набрасывается на политуру и денатурат, он с горя примется за газетные объявления пятилетней давности и телефонные справочники. Но писатель, читая, редко может избавиться от профессионального интереса. А я хотел, чтобы чтение было лишь одной из форм безделья.

Я решил, что, если только наступят желанные дни и я смогу отдаться безмятежному досугу, я совершу то, что давно влекло меня к себе, но о чем, подобно путешественнику, только-только вступившему в неизведанные земли и не знающему, что его ждет впереди, я имел очень смутное представление: я прочитаю всего «Ника Картера»<sup>1</sup>.

Однако я всегда думал, что сам выберу такое время да в придачу — обстановку себе по вкусу, и никак не предполагал, что мне его навяжут. И когда неожиданно оказалось, что мне совершенно нечего делать и нужно как-то выходить из положения, я был захвачен врасплох (совсем как бывает, когда где-нибудь посреди Тихого океана пригласишь знакомого по кораблю пассажира заходить к тебе запросто и он без предупреждения ввалится в твою лондонскую квартиру с кучей багажа). Я приехал из Мехико в Веракрус, чтобы на одном из белых и прохладных судов Уордовской компании плыть на Юкатан, и тут, к ужасу своему, узнал, что накануне вечером в порту началась забастовка и пароход не зайдет в гавань. Я застрял в Веракруссе. Заняв номер в отеле «Дилихенсиас» на центральной площади, я провел утро, осматривая местные достопримечательности. Послonyaлся по переулочкам, заглядывая в непривычные моему глазу дворики, побывал в церкви: контрфорсы и причудливые карнизы, увенчанные каменными страшилищами, придают ей живописный вид; соленые ветры и палящее солнце много поработали над ее массивными шершавыми стенами, наложив на них смягчающую печать старины; купол сверкает белыми и синими изразцами. После этого оказалось, что смотреть больше нечего. Я занял столик под прохладными сводами галереи, окружающей площадь, и заказал виски. Солнце обрушивалось на площадь во всем своем безжалостном великолепии. Кокосовые пальмы сникли, покрывшись пылью и грязью. Большие черные грифы неуклюже опускались на них и тут же срывались вниз, чтобы подхватить с земли какие-нибудь отбросы, а потом, тяжело поднимая крылья, взлетали на колокольню. Я наблюдал за людьми, снующими по площади. Это были негры, индейцы, креолы, испанцы — пестрая толпа побережья Карибского моря, люди самых разных оттенков кожи — от черного дерева до слоновой кости. Ближе к полудню столики вокруг меня стали заполняться, главным образом мужчинами, которые зашли сюда пропустить стаканчик

---

<sup>1</sup> Серия бульварных детективных рассказов о «короле сыщиков» — Нике Картере.

перед обедом. Большинство из них были в белых брюках. Но некоторые, несмотря на жару, были облачены в темные костюмы, служившие неотъемлемой частью их профессиональной респектабельности. Маленький оркестр — гитарист, слепой скрипач, арфистка — наигрывал танцевальные мелодии. После каждого двух номеров гитарист с тарелкой в руках обходил столики. Я уже купил местную газету и проявлял негибкую твердость перед упорными попытками газетчиков навязать мне еще несколько экземпляров ее же. По меньшей мере двадцать раз я отказался от услуг чумазных мальчишек, желавших почистить мои и без того сверкавшие туфли, а так как в конце концов у меня не осталось мелочи, я только покачивал головой в ответ на назойливые приставания нищих. От них не было спасения. Индианки в бесформенных лохмотьях, каждая с ребенком, завернутым в шаль и привязанным за спиной, протягивали пергаментные руки и клянчащим голосом рассказывали одну и ту же печальную историю; маленькие мальчики подносили к моему столу слепцов; больные, увечные, калеки демонстрировали язвы и уродства, которыми наградила их природа или несчастный случай; без конца хныкали, выпрашивая медяки, полуголые голодные детишки. Все они боялись толстого полицейского, который время от времени выныривал откуда-то и начинал хлестать их плеткой по спине и по голове. Тогда они бросались от него врассыпную, но возвращались обратно, как только он, обессиленный от столь непомерного напряжения, снова впадал в летаргию.

Внезапно я обратил внимание на нищего, резко отличавшегося от всех других, да и от людей, сидевших вокруг меня — смуглых и черноволосых, — цветом своих ослепительно рыжих волос и бороды. Он не расчесывал их, наверное, уже несколько месяцев, борода его свалаялась, длинные патлы на голове торчали во все стороны. На нем не было ничего, кроме брюк и бумажной фуфайки, но таких засаленных и драных, что непонятно было, почему они еще не развалились. Никогда не приходилось мне видеть такой худобы; его ноги, его обнаженные руки были кожа да кости, сквозь дыры в фуфайке проглядывали резко очерченные ребра, а на покрытых пылью ступнях можно было сосчитать все косточки. Среди всех этих жалких подобию человека он выглядел самым несчастным. Он не был стар, ему вряд ли перевалило за сорок, и я невольно задумался над тем, что же могло довести его до такой жизни. Трудно было предположить, что он не стал бы трудиться, если бы мог достать работу. Единственный из



всех нищих на площади, он молчал. Все остальные вопили о своих страданиях и, если это не приносило подаяний, продолжали клянчить до тех пор, пока их не отгоняли грубым окриком. Этот не произносил ни слова. Он, вероятно, понимал, что его фигура лучше всяких слов говорит о его бедности. Он даже не протягивал руки, а просто смотрел на вас, и в глазах у него было столько отчаяния, вся его поза выражала такую безнадежность, что становилось страшно. Он стоял и стоял, молча и неподвижно, а затем, если на него не обращали внимания, медленно переходил к следующему столику. Если ему не подавали ничего, он не выказывал ни разочарования, ни злобы. Когда ему подавали монету, он делал небольшой шаг вперед, протягивал руку, похожую на когтистую лапу птицы, без слова благодарности брал деньги и все так же безразлично двигался дальше. Мне нечего было дать ему, и, когда он подошел ко мне, я покачал головой, чтобы не заставлять его ждать понапрасну.

— *Dispense Usted por Dios*<sup>1</sup>, — сказал я, прибегнув к вежливой кастильской формуле, которой испанцы отказывают нищим.

Он не обратил ни малейшего внимания на мои слова. Он стоял предо мною ровно столько же, сколько и у других столов, и смотрел на меня трагическими глазами. Никогда еще я не видел такой глубины падения. В его внешности было что-то ужасающее. Так не может выглядеть нормальный человек. Наконец он отошел от меня.

Пробило уже час, я пошел завтракать. Когда я проснулся после дневного отдыха, все еще стояла духота, но ближе к вечеру дуновение ветерка, проникшего в комнату через окно, которое я отважился открыть, соблазнило меня выйти на улицу. Я снова уселся в тени галерси и взял себе виски. Вскоре площадь заполнилась народом, появившимся из окружающих улиц, за столиками не осталось свободных мест, и на эстраде посреди площади заиграл оркестр. Народу становилось все больше. По краям площади на скамейках набилось столько людей, что они сидели, прижавшись друг к другу, словно виноградки в грозди. В воздухе стоял шумок разговора. Большие черные птицы, пронзительно вскрикивая, летали над головой и то падали камнем на землю, когда замечали что-нибудь съедобное, то с шумом вспархивали из-под ног у прохожих. К закату они уже кишели на колокольне, слетевшись туда, казалось, со всех

---

<sup>1</sup> Бог подаст (*исп.*).

концов города. Птицы тяжело кружили вокруг колокольни, хрипло сорясь и переругиваясь, а потом уселись на нее и угомонились на всю ночь. И снова меня осадили чистильщицы обуви, снова продавцы газет старались всучить мне влажные от типографской краски листы, снова я услышал жалобные вымогательства нищих. Того странного рыжеволосого человека я тоже увидел и стал наблюдать, как он, жалкий и подавленный, застывал поочередно перед каждым столиком. Перед моим он не задержался. Видимо, он запомнил меня с утра и, не получив тогда от меня ни гроша, счел бесполезным повторять попытки. Рыжеволосые мексиканцы попадают не так-то часто, к тому же людей, обнищавших до такой степени, я встречал только в России, поэтому я задал себе вопрос, не русский ли он, случайно. Но у него было нерусское лицо. Черты резкие, не расплывчатые, и разрез голубых глаз совершенно не русский. Мне пришло в голову, что, может быть, он моряк — англичанин, скандинав или американец, сбежавший со своего корабля и постепенно докатившийся до такого состояния. Он исчез. Поскольку мне ничего иного не оставалось, я просидел за своим столиком, пока не почувствовал голод, а пообедав, вернулся на то же место. И снова сидел до тех пор, пока народ не начал расходиться по домам. Пора было спать. Признаться, тот день показался мне бесконечно долгим, и я уже с тревогой подумывал о том, сколько же таких вот дней я обречен провести здесь.

Проснулся я очень скоро и никак не мог снова заснуть. В комнате нечем было дышать. Я распахнул ставни и выглянул на улицу. Передо мною высилась церковь. Луны не было, однако очертания ее проступали в свете ярких звезд. Черные птицы усеяли крест над куполом церкви и карнизы колокольни и по временам шевелились. Это производило очень неприятное впечатление. И тут, не знаю почему, мне вспомнилось это рыжее чучело и появилось странное чувство, будто я где-то уже видел его. Чувство это было так сильно, что мне окончательно расхотелось спать. Я был уверен, что встречал его, но когда и где, сказать не мог. Я пробовал нарисовать себе обстановку, в которой мог его встретить, но видел всего лишь неясный, маячащий в тумане силуэт. На рассвете стало прохладнее, и я наконец уснул.

Второй день в Веракрусе прошел так же, как и первый. Но я ждал прихода рыжеволосого нищего и, когда он остановился у столика неподалеку от меня, принялся внимательно его рассматривать. Теперь я был уверен, что где-то видел этого человека. Я был даже уверен, что знал его

и разговаривал с ним, но все же мне совсем не припоминались связанные с этим обстоятельства. Он прошел мимо моего столика еще раз и опять не остановился, и, когда наши взгляды встретились, я заглянул ему в глаза, надеясь уловить в них хотя бы искру воспоминания. Ничего. Может быть, я ошибся, подумал я, может быть, я видел его так же, как, делая иной раз что-нибудь, видишь каким-то внутренним зрением, что все это уже было. Я не мог отделаться от впечатления, что в свое время он пересек мой жизненный путь. Я изо всех сил пытался вспомнить. Теперь я был убежден, что он либо англичанин, либо американец. Однако обратиться к нему было неловко. Я перебирал в голове случаи, когда мог с ним встретиться. Невозможность связать его с какой-то определенной обстановкой действовала мне на нервы. Так бывает, когда тщетно стараешься припомнить имя, которое вертится на кончике языка. А время шло.

Наступил еще один день, еще одно утро, еще один вечер. Было воскресенье, на площади стало многолюднее. За столиками в галерее все места были заняты. Как обычно, появился и рыжий нищий, произведший на меня такое ужасающее впечатление своим молчанием, отвратительными лохмотьями и кричащей бедностью. Он стоял столика за два от меня, безмолвно умоляя о милостыне и не делая ни одного движения. Затем я увидел, как полицейский, который время от времени предпринимал попытки избавить публику от назойливости всех этих попрошайек, внезапно вырос из-за колонны и звонко щелкнул его плетью по спине. Тощее тело рыжего вздрогнуло, однако он не произнес ни звука и не выразил ни малейшего негодования. Он, казалось, принял этот резкий удар, как нечто само собой разумеющееся, и так же незаметно, как появился, бесшумно исчез в сгущавшихся на площади сумерках. Но грубый удар подстегнул мою память, и я вдруг вспомнил.

Не имя—оно все еще ускользало от меня,—но все остальное. Должно быть, он узнал меня, так как за прошедшие двадцать лет я мало изменился, и поэтому он ни разу больше не задерживался перед моим столиком. Да, я встречался с ним двадцать лет назад. Я проводил зиму в Риме и обычно обедал в ресторанчике на Виа Систина, где подавали превосходные макароны и можно было получить хорошее вино. Завсегдатаями этого ресторанчика были несколько студентов—американцев и англичан, изучавших искусство,—и два-три писателя. Мы засиживались допоздна, увлекшись бесконечными спорами об искусстве и литературе. Он заходил туда вместе с молодым художником,

своим другом. Он был совсем еще мальчиком, не старше двадцати двух лет, и очень привлекательной внешности — голубоглазый, с прямым носом и ярко-рыжими волосами. Он, помнится, много разглагольствовал о Центральной Америке, у него до этого было место в «Америкэн фрут компани», но он бросил его, потому что хотел стать писателем. Его в нашей среде недолюбливали за высокомерие, никто из нас не был настолько умудрен житейским опытом, чтобы проявить терпимость к высокомерию молодости. Он считал нас мелюзгой и не колеблясь говорил нам об этом. Он не показывал нам своих работ, потому что наши похвалы ничего не значили для него, а нашу критику он презирал. Тщеславие его было безмерно. Это раздражало нас, но кое-кому казалось, что, может быть, оно и оправданно. Возможно ли, чтобы такое обостренное сознание собственной гениальности не имело под собой никакой почвы? Он пожертвовал всем, чтобы стать писателем. Он так верил в себя, что заразил этой верой и некоторых своих друзей.

Я вспомнил его веселый нрав, подвижность, его уверенность в будущем и его бескорыстие. Невероятно, чтобы это был тот же человек, и все же я в этом не сомневался. Я встал, заплатил за виски и вышел на площадь, чтобы найти его. Мысли мои мешались. Мне и прежде случалось вспоминать о нем и от нечего делать задумываться, что же из него вышло. Никогда бы я не мог вообразить, что он живет в такой страшной нищете. Сотни, тысячи молодых людей, окрыленных надеждами, вступают на трудный путь служения искусству, но в большинстве своем они примиряются с собственной посредственностью и находят где-нибудь в жизни закоулок, в котором спасаются от голодной смерти. Это было ужасно. Я спрашивал себя, что могло с ним случиться. Какие несбывшиеся надежды сломили его дух, какие разочарования подорвали его силы, какие потерянные иллюзии стерли его в порошок? Я спрашивал себя: неужели это конец? Я обошел всю площадь. Под колоннадой его не было. Нечего было и думать найти его в толпе, окружавшей эстраду. Темнело, и я боялся, что потерял его. Потом я подошел к церкви и там увидел его сидящим на ступенях. Не могу описать, какое жалкое зрелище он собою представлял. Он попал в лапы к жизни, и она искалечила и изломала его, а потом бросила истекать кровью на каменные ступени этой церкви. Я подошел к нему.

— Вы помните Рим? — спросил я.

Он не пошевелился. Не ответил. Не обратил на меня никакого внимания, словно перед ним было пустое место.

Он не смотрел на меня. Его отсутствующий взгляд застыл на черных грифах, которые отвратительно кричали и дрались на ступенях за какие-то отбросы. Я не знал, как мне поступить. Я вынул из кармана желтую кредитку и сунул ему в руку. Он не посмотрел на нее. Но рука его чуть шевельнулась, тонкие пальцы-когти сомкнулись и смяли ее; он скомкал бумажку в маленький шарик, а потом, положив его на ноготь большого пальца, подбросил в воздух, и шарик упал среди галдящих птиц. Я инстинктивно оглянулся и увидел, как одна из них схватила шарик в клюв и полетела прочь, с шумом преследуемая двумя другими. Когда я опять повернул голову, человека не было.

В Веракруссе я провел еще три дня. Его я больше не видел.

---

## НЕЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ<sup>1</sup>

Кажется, я всегда попадаю в Италию только в мертвый сезон. В августе и сентябре разве что остановлюсь проездом дня на два, чтобы еще разок взглянуть на милые мне по старой памяти места или картины. В эту пору очень жарко, и жители Вечного города весь день слоняются взад и вперед по Корсо. «Кафе национале» полным-полно, посетители часами сидят за столиками перед стаканом воды и пустой кофейной чашкой. В Сикстинской капелле видишь бело-брысых, обожженных солнцем немцев в шортах и рубашках с открытым воротом, которые прошагали по пыльным дорогам Италии с рюкзаками, а в соборе св. Пэтра — кучки усталых, но усердных паломников, прибывших из какой-нибудь далекой страны. Они находятся на попечении священнослужителя и говорят на непонятных языках. В отеле «Плаза» той порой прохладно и отдохновенно. Холлы темны, тихи и просторны. В гостиной в час вечернего чая только и сидят молодой щеголеватый офицер да женщина с прекрасными глазами, пьют холодный лимонад и негромко разговаривают с чисто итальянской неутомимой живостью. Поднимаешься к себе в номер, читаешь, пишешь письма, через два часа опять спускаешься в гостиную, а они все еще разговаривают. Перед обедом кое-кто заглядывает в бар, но в остальное время он пуст, и бармен на досуге рассказывает о своей матушке в Швейцарии и о своих похождениях в Нью-Йорке. Вы с ним рассуждаете о жизни, о любви и о том, как подорожали спиртные напитки.

Вот и в этот раз отель оказался чуть не в полном моем распоряжении. Провожая меня в номер, служащий сказал,

---

<sup>1</sup> © Перевод. Н. Галь, 1985 г.

будто все переполнено, но, когда я, приняв ванну и пересевшись, отправился вниз, лифтер, давний знакомец, сообщил, что постояльцев сейчас всего человек десять. Усталый после долгой поездки в жару по Италии, я решил мирно пообедать в отеле и лечь пораньше. Когда я вошел в просторный, ярко освещенный ресторан, было уже поздно, но заняты оказались лишь три или четыре столика. Я удовлетворенно огляделся. Очень приятно, когда ты один в огромном и, однако, не совсем чужом городе, в большом, почти безлюдном отеле. Чувствуешь себя восхитительно свободно. Крылышки моей души радостно затрепетали. Я помедлил минут десять у стойки и выпил martini. Спросил бутылку хорошего красного вина. Ноги гудели от усталости, но все существо мое с ликованием встретило еду и напитки, и мне стало на редкость беззаботно и легко. Я съел суп и рыбу и предался приятным мыслям. На ум пришли обрывки диалога, и воображение пустилось весело играть действующими лицами романа, над которым я в ту пору работал. Я попробовал на вкус одну фразу, она была лучше вина. Я задумался о том, как трудно описать наружность человека, чтобы читатель увидел его таким же, каким его видишь сам. Для меня это едва ли не труднее всего. Что, в сущности, дает читателю, если описываешь лицо черточку за черточкой? По-моему, ровно ничего. И, однако, иные авторы выбирают какую-нибудь особенность, скажем, кривую усмешку или бегающие глазки, и подчеркивают ее, что, конечно, действует на читателя, но не решает задачу, а скорее запутывает. Я поглядел по сторонам и задумался — как можно бы описать посетителей за другими столиками. Какой-то человек сидел в одиночестве напротив меня, и, чтобы попрактиковаться, я спросил себя, как набросать его портрет. Он высокий, худощавый и, что называется, долговязый. На нем смокинг и крахмальная сорочка. Лицо длинновато, блеклые глаза; волосы довольно светлые и волнистые, но уже редуют, отступают с висков, от чего лоб приобрел некоторое благородство. Черты ничем не примечательные. Рот и нос самые обыкновенные; лицо бритое; кожа от природы бледная, но сейчас покрыта загаром. Судя по виду, человек интеллигентный, но, пожалуй, заурядный. Похоже, какой-нибудь адвокат или университетский преподаватель, любитель играть в гольф. Скорее всего, у него неплохой вкус, он начитан и, наверно, был бы очень приятным гостем на светском завтраке в Челси. Но как, черт возьми, описать его в нескольких строчках, чтобы получился живой, интересный и верный портрет, не знаю, хоть убейте.

Может быть, лучше отбросить все остальное и подчеркнуть главное — впечатление какого-то утомленного достоинства. Я задумчиво разглядывал этого человека. И вдруг он подался вперед и чопорно, но учтиво кивнул мне. У меня дурацкая привычка краснеть, когда я застигнут врасплох, и тут я почувствовал, как вспыхнули щеки. Я даже испугался. Надо ж было несколько минут глазеть на него, точно это не человек, а манекен. Должно быть, он счел меня отъявленным нахалом. Очень смущенный, я кивнул и отвел глаза. К счастью, в эту минуту официант подал мне следующее блюдо. Насколько мне помнилось, я никогда прежде не видел того человека. Может быть, он поклонился мне в ответ на мой настойчивый взгляд, решив, что мы когда-нибудь встречались, а может быть, я и правда когда-то с ним сталкивался и начисто об этом забыл. У меня плохая память на лица, а тут у меня есть оправдание: людей, в точности на него похожих, великое множество. В погожий воскресный день на площадках для гольфа вокруг Лондона видишь десятки его двойников.

Он покончил с обедом раньше меня. Поднялся, но, проходя мимо моего столика, остановился. И протянул руку.

— Здравствуйте,— сказал он.— Я не сразу вас узнал, когда вы вошли. Я совсем не хотел быть невежливым.

Голос у него был приятный, интонации чисто оксфордские, которым старательно подражают многие, кто в Оксфорде не учился. Он явно знал меня и столь же явно не подозревал, что я-то его не узнаю. Я встал, и, поскольку он был много выше, он посмотрел на меня сверху вниз. В нем чувствовалась какая-то вялость. Он слегка сутулился, от этого еще усиливалось впечатление, будто вид у него немножко виноватый. Держался он словно бы чуть высокомерно и в то же время чуть стесненно.

— Не выпьете ли со мной после обеда чашку кофе? — предложил он.— Я совсем один.

— Спасибо, с удовольствием.

Он отошел, а я все еще не понимал, кто он такой и где я его встречал. Я заметил одну странность. Пока мы обменивались этими несколькими словами, пожимали друг другу руки и когда он кивнул мне отходя, ни разу на лице его не мелькнула хотя бы тень улыбки. Увидав его ближе, я заметил, что он по-своему недурен собой: правильные черты, красивые серые глаза, стройная фигура; но все это, на мой взгляд, было неинтересно. Иная глупая дамочка сказала бы, что он выглядит романтично. Он напоминал



какого-нибудь рыцаря с картин Берн-Джонса, только покрупнее, и незаметно было, чтобы он страдал хроническим колитом, как эти несчастные тощие герои. Воображаешь, что человек такой наружности будет изумителен в экзотическом костюме, а когда увидишь его в маскараде, окажется, он нелеп.

Вскоре я покончил с обедом и вышел в гостиную. Он сидел в глубоком кресле и, увидав меня, подозвал официанта. Я сел. Подошел официант, и он заказал кофе и ликеры. По-итальянски он говорил отлично. Я ломал голову, как бы выяснить, кто он такой, не оскорбив его. Людям всегда обидно, если их не узнаешь, они весьма значительны в собственных глазах, и их неприятно поражает открытие, что для других они значат очень мало. По беглой итальянской речи я узнал этого человека. Я вспомнил, кто он, и в то же время вспомнил, что не люблю его. Звали его Хэмфри Кэразерс. Он служил в министерстве иностранных дел, занимал довольно важный пост. Возглавлял какой-то департамент. Побывал в качестве атташе при нескольких посольствах и, надо думать, в Риме оказался потому, что в совершенстве владел итальянским языком. Глупо, как я сразу не понял, что он связан именно с дипломатией. Все приметы его профессии бросались в глаза. Его отличала надменная учтивость, тонко рассчитанная на то, чтобы выводить из себя широкую публику, и отрешенность дипломата, сознающего, что он не чета простым смертным, и в то же время некоторая стеснительность, вызванная неуютным сознанием, что простые смертные, пожалуй, не вполне это понимают. Я знал Кэразерса многие годы, но встречал лишь изредка, за завтраком у кого-нибудь в гостях, где разве что с ним здоровался, да в опере, где он мне холодно кивал. Считалось, что он умен; несомненно, он был человек образованный. Он мог поговорить обо всем, о чем говорить полагается. Непростительно, что я его не вспомнил, ведь в последнее время он приобрел немалую известность как писатель. Его рассказы появлялись сначала в каком-нибудь журнале из тех, которые порой надумает издавать иной благодетель, намеренный предложить разумному читателю нечто достойное внимания, и которые испускают дух, когда владелец потеряет на них столько денег, сколько готов был истратить; и, появляясь на этих скромных, изящно отпечатанных страницах, рассказы его привлекали ровно столько внимания, сколько позволял ничтожный тираж. Затем они вышли отдельной книгой. И произвели сенсацию. Редко я читал столь единодушные хвалы в еженедельных

газетах. Почти все уделили книге целую колонку, а литературное приложение к «Таймс» поместило отзыв о ней не в куче рецензий на рядовые романы, но особо, рядом с воспоминаниями почтенного государственного деятеля. Критики приветствовали Хэмфри Кэразерса как новую звезду на литературном небосклоне. Они превозносили его оригинальность, его изысканность, его тонкую иронию и пронизательность. Превозносили его стиль, чувство красоты и настроение его рассказов. Наконец-то появился писатель, поднявший рассказ на высоты, давно утраченные в англоязычных странах, вот литература, которой вправе гордиться англичане, достойная статья наравне с лучшими образцами этого жанра, созданными в Финляндии, России и Чехословакии.

Три года спустя вышла вторая книга Хэмфри Кэразерса, и критики с удовлетворением отметили, что он не спешил. Это вам не вульгарный писака, торгующий своим дарованием! Похвалы, которыми встретили эту книгу, оказались несколько прохладнее тех, какие расточали первому тому, критики успели собраться с мыслями, однако приняли ее достаточно восторженно, такими отзывами счастлив был бы любой обыкновенный автор, пером зарабатывающий свой хлеб, и, несомненно, Кэразерс занял в литературном мире прочное и почетное место. Наибольшее одобрение заслужил рассказ под названием «Кисточка для бритвы», и лучшие критики подчеркивали, как прекрасно автор всего лишь на трех-четырёх страницах раскрыл трагедию души парикмахерского подмастерья.

Но самый известный и притом самый длинный его рассказ назывался «Суббота и воскресенье». Он дал название всей первой книге Кэразерса. Речь шла о приключениях компании, которая субботним днем отправилась с Паддингтонского вокзала погостить у друзей в Тэпло и в понедельник утром вернулась в Лондон. Описывалось это весьма деликатно, даже трудновато было понять, что же, собственно, происходит. Некий молодой человек, секретарь некоего министра, совсем уже готов был сделать предложение дочери некоего баронета, но не сделал. Двое или трое других участников поездки пустились в плоскодонном яlike по реке. Все очень много разговаривали, сплошь намеками, но каждый обрывал фразу на полуслове, и лишь по многоточиям и тире можно было догадываться, что же они хотели сказать. Было множество описаний цветов в саду и прочувствованное изображение Темзы под дождем. Повествование велось от лица немки-гувернантки,

и все единодушно заявляли, что Кэразерс с прелестным юмором передал ее взгляд на происходящее.

Я прочитал обе книги Хэмфри Кэразерса. Полагаю, писателю необходимо знать, что пишут его современники. Я всегда рад чему-то научиться и надеялся открыть в этих книгах что-нибудь полезное для себя. Меня ждало разочарование. Я люблю рассказы, у которых есть начало, середина и конец. Мне непременно нужна «соль», какой-то смысл. Настроение—это прекрасно, но одно только настроение—это рама без картины, оно еще ничего не значит. Впрочем, может быть, я не замечал достоинств Кэразерса оттого, что мне самому чего-то доставало, и, возможно, два самых нашумевших его рассказа я описал без восторга потому, что задето было мое самолюбие. Ведь я прекрасно понимал: Хэмфри Кэразерс считает меня неважным писателем. Я уверен, он не прочел ни одной моей строчки. Я популярен, и этого довольно, чтобы он решил, что я не стою его внимания. На время вокруг него поднялся такой шум, что казалось, он и сам станет жертвой презренной популярности, но, как вскоре выяснилось, его изысканное творчество недоступно широкой публике. Очень трудно определить, насколько многочисленна интеллигенция, зато совсем несложно определить, многие ли из среды интеллигенции согласны выложить деньги, чтобы поддержать свое возлюбленное искусство. Спектакли, чересчур утонченные, чтобы привлечь посетителей коммерческого театра, могут рассчитывать на десять тысяч зрителей, а книги, требующие от читателя больше понимания, чем можно ожидать от заурядной публики, находят сбыт в количестве тысячи двухсот экземпляров. Ибо интеллигенция, сколь она ни чувствительна к красоте, предпочитает ходить в театр по контрамарке, а книги брать в библиотеке.

Я уверен, Кэразерса это не огорчало. Он был человек искусства. И притом служил в министерстве иностранных дел. Как писатель он составил себе имя; успех у обывателей его не привлекал, а стань его книги ходким товаром, это, пожалуй, повредило бы его карьере. Я терялся в догадках, чего ради ему вздумалось пить со мной кофе. Правда, он здесь один, но, надо полагать, отнюдь не скучал бы наедине со своими мыслями, и уж наверно не надеется услышать от меня хоть что-то сму интересное. А между тем явно изо всех сил старается быть любезным. Он напомнил мне, где мы в последний раз встречались, и мы потолковали немного об общих лондонских знакомых. Он спросил, как я попал в Рим в это время года, и я объяснил. Он сообщил, что

прибыл только сегодня утром из Бриндизи. Разговор не очень вязался, и я решил встать и распрощаться, как только позволят приличия. Но вот странно, вскоре, не знаю отчего, почувствовал, что он уловил это мое намерение и отчаянно старается меня удержать. Я удивился. Стал внимательней. Заметил, что, едва я умолкаю, он находит новый предмет для беседы. Пытается хоть чем-то меня заинтересовать, лишь бы я не ушел. Просто из кожи вон лезет, чтоб быть мне приятнее. Но не страдает же он от одиночества; при его дипломатических связях уж наверно у него полно знакомств, нашлось бы с кем провести вечер. В самом деле, странно, почему он не обедает в посольстве; даже сейчас, летом, там уж наверно есть кто-нибудь знакомый. И еще я заметил, что он ни разу не улыбнулся. Он говорил слишком резко, нетерпеливо, будто боялся даже мимолетного молчания и звуком собственного голоса силился заглушить некую мучительную мысль. Все это было престранно. И хоть я не любил его, ни в грош не ставил и его общество меня даже раздражало, мне поневоле стало любопытно. Я посмотрел на него испытующе. То ли мне почудилось, то ли и правда в его блеклых глазах есть что-то затравленное, точно у побитой собаки, и в бесстрастных чертах, наперекор привычной выдержке, сквозит намек на гримасу душевного страдания. Я ничего не понимал. В мозгу промелькнуло с десятков нелепейших догадок. Не то чтобы я ему сочувствовал, но насторожился, как старый боевой конь при звуках трубы. Еще недавно меня одолевала усталость, теперь я был начеку. Внимание напрягло свои чуткие щупальца. Я вдруг стал примечать малейшее изменение в его лице, малейшее движение. Я отбросил мысль, что он сочинил пьесу и хочет услышать мое мнение. Таких вот утонченных эстетов почему-то неотвратимо влечет блеск рамп, и они не прочь заполучить подсказку профессионала, чью искусственность будто бы презирают. Но нет, тут что-то другое. В Риме одинокому человеку с изысканными вкусами легко попасть в беду, и я уже спрашивал себя, не впутался ли Кэразерс в какую-нибудь историю, когда за помощью меньше всего можно обратиться в посольство. Я и прежде замечал, что идеалисты порой бывают неосмотрительны в плотских развлеченьях. Подчас они ищут любви в таких местах, куда некстати заглядывает полиция. Я подавил затаенный смешок. Боги — и те смеются, когда самодовольный педант попадает в двусмысленное положение.

И вдруг Кэразерс произнес слова, которые меня поразили.

— Я страшно несчастен,— пробормотал он.

Он сказал это без всякого перехода. И явно искренне. Голос его прервался каким-то всхлипом. Чуть ли не рыданием. Не могу передать, как ошарашили меня его слова. Чувство было такое, как будто шел по улице, повернул за угол и порыв встречного ветра перехватил дыхание и едва не сбил с ног. Совершенная неожиданность. В конце концов, знакомство у нас было шапочное. Мы не друзья. Он мне очень мало приятен, я очень мало приятен ему. Я всегда считал, что в нем маловато человеческого. Непостижимо, чтобы мужчина, такой сдержанный, прекрасно воспитанный, привычный к рамкам светских приличий, ни с того ни с сего сделал подобное признание постороннему. Я по природе человек замкнутый. Как бы я ни страдал, я постыдился бы открыть кому-то свою боль. Меня передернуло. Его слабость меня возмутила. На минуту во мне вскипела ярость. Как он посмел взвалить на меня свои душевные муки? Я едва не крикнул:

— Да какое мне дело, черт возьми?

Но смолчал. Кэразерс сидел сгорбившись в глубоком кресле. Благородные черты, напоминающие мраморную стагую одного из государственных деятелей викторианской поры, исказились, лицо обмякло. Казалось, он сейчас заплачет. Я колебался. Я растерялся. Когда он сказал это, кровь бросилась мне в лицо, а теперь я чувствовал, что бледнею. Он был жалок.

— От души сочувствую,— сказал я.

— Я вам все расскажу, вы позволите?

— Расскажите.

Многословие в эту минуту было неуместно. Кэразерсу, я думаю, шел пятый десяток. Он был хорошо сложен, на свой лад даже крепок, с уверенной осанкой. А сейчас казался на двадцать лет старше и словно бы усох. Мне вспомнились убитые солдаты, которых я видел во время войны, смерть делала их странно маленькими. Я смутился, отвел глаза, но почувствовал, что он ищет моего взгляда, и опять посмотрел на него.

— Вы знакомы с Бетти Уэлдон-Бернс? — спросил он.

— Встречал ее иногда в Лондоне много лет назад. Но давно уже не видел.

— Она, знаете, живет теперь на Родосе. Я сейчас оттуда. Я гостил у нее.

— Вот как?

Он замялся.

— Боюсь, вам кажется дикостью, что я так с вами говорю. Только сил моих больше нет. Надо кому-нибудь все выложить, не то я сойду с ума.

Прежде он заказал с кофе двойную порцию коньяка, а тут окликнул официанта и спросил еще. В гостиной мы были одни. На столике между нами горела небольшая лампа под абажуром. Говорил он вполголоса, ведь в любую минуту мог кто-нибудь войти. Как ни странно, тут было довольно уютно. Не сумею повторить в точности рассказ Кэразерса, невозможно было бы запомнить все, слово в слово; мне удобнее пересказать это по-своему. Иногда он не мог заставить себя что-то сказать прямо, и мне приходилось угадывать, что он имеет в виду. Иногда он чего-то не понимал, и, похоже, в каких-то отношениях я лучше разбирался в сути дела. Бетти Уэлдон-Бернс одарена тонким чувством юмора. Кэразерс же начисто его лишен. Я уловил много такого, что от него ускользнуло.

Бетти я встречал часто, но знал больше понаслышке. В свое время она привлекала всеобщее внимание в тесном лондонском мирке, и я много слышал о ней еще прежде, чем увидел. А встретил ее впервые на балу в Портленд-Плейс вскоре после войны. Тогда она была уже на вершине славы. Какую иллюстрированную газету ни раскроешь, непременно увидишь ее портрет, кругом только и разговору, что о ее сумасбродных выходках. Ей тогда было двадцать четыре года. Ее мать умерла, отец, герцог Сент-Эрт, уже старый и не слишком богатый, большую часть года проводил в своем корнуоллском замке, а Бетти жила в Лондоне у вдовеющей тетушки. Когда грянула война, она отправилась во Францию. Ей только-только минуло восемнадцать. Она была сестрой милосердия в госпитале при военной базе, потом научилась водить машину. Она играла в труппе, которую послали в воинские части для развлечения солдат; в Англии она участвовала в живых картинах на благотворительных вечерах и во всяких благотворительных базарах и продавала флажки на Пикадилли. Каждая ее затея широко рекламировалась, и в каждой новой роли ее несчетно фотографировали. Полагаю, она и тогда ухитрялась недурно проводить время. Но когда война кончилась, Бетти разгулялась напропалую. Тогда все немножко потеряли голову. Молодежь, освобождаясь от гнета, что давил на нее долгих пять лет, пускалась в самые безрассудные затеи. И непременной их участницей была Бетти. Иногда, по разным причинам, сообщения о таких забавах попадали в газеты — и в заголовках неизменно красовалось ее имя. В ту пору начали процветать ночные клубы — Бетти там видели каждую ночь. Ее жизнь полна была лихорадочного веселья. Только самая банальная фраза тут и подходит,

потому что это была сама банальность. Британская публика по странной причуде воспылала к Бетти нежными чувствами, и в любом уголке на Британских островах ее называли запросто «леди Бетти». Женщины толпились вокруг нее, увидав ее на чьей-нибудь свадьбе, а на театральных премьерах галерка аплодировала ей, словно знаменитой актрисе. Молоденькие девчонки перенимали ее манеру причесываться, фабриканты мыла и косметики платили ей за право поместить ее фотографию на своих товарах.

Скучные тугодумы, те, кто помнил прежние порядки и жалел о них, разумеется, ее осуждали. Они издевались над тем, что она всегда на виду. Говорили, что она помешана на саморекламе. Говорили, что она распушенная особа. Что она слишком много пьет. Что она слишком много курит. Признаюсь, все, что я о ней слышал, не располагало в ее пользу. Я невысокого мнения о женщинах, которые, кажется, считают войну удобным случаем поразвлечься и показать себя. Мне надоели газеты с фотографиями светских особ, разгуливающих в Каннах или играющих в гольф в Сент-Эндрюсе. Я всегда считал «золотую молодежь» безмерно утомительной. Стороннему наблюдателю веселая жизнь кажется скучной и глупой, но неразумен моралист, который станет судить ее сурово. Сердиться на молодежь за это веселье так же нелепо, как на щенят, которые носятся бессмысленно взад-вперед, барахтаются в куче или ловят собственный хвост. Лучше спокойно стерпеть, если они разроют клумбу в саду или разобьют какую-нибудь фарфоровую вещицу. Кое-кого из них утопят, потому что они окажутся хороши не по всем статьям, а из остальных вырастут вполне добропорядочные собаки. Буйствуют они просто по молодости, от избытка жизненных сил.

Бетти отличалась как раз избытком жизненных сил. Жажда жизни горела в ней ослепительно ярким огнем. Мне, наверно, не забыть, какой я увидел ее впервые на том балу. Она была подобна менаде. Она самозабвенно отдавалась танцу, нельзя было не смеяться, на нее глядя, так явно наслаждалась она и музыкой, и движениями своего молодого тела. Каштановые волосы слегка растрепались от резких движений, а глаза синие-синие, молочно-белая кожа и румянец как лепестки роз. Она была красавица, но в ней не было холодности признанных красавиц. Она поминутно смеялась, а если не смеялась, так улыбалась, и в глазах искрилась радость жизни. Она была точно служанка с молочной фермы богов. В ней чувствовались здоровье и сила простонародья, и, однако, по независимым повадкам, по

какой-то благородной прямоте во всем облике угадывалась настоящая леди. Не знаю, как верней передать тогдашнее мое ощущение — что хоть держалась она просто, безыскусственно, однако не забывала о своем положении в обществе. Мне казалось, если понадобится, она обретет все свое достоинство и станет поистине величественна. Она была мила со всеми и каждым, вероятно, потому, что, не очень об этом задумываясь, втайне полагала — все вокруг ничтожны. Мне стало понятно, отчего ее обожают фабричные девчонки в Ист-Энде и отчего сотням тысяч людей, которые видели ее только на фотографиях, она кажется задушевной подружкой. Меня ей представили, и несколько минут она со мной поговорила. Необыкновенно лестно было, что она слушает с живейшим интересом; понимаешь, что едва ли она так уж рада с тобой познакомиться, как это кажется, и не так уж ее восхищает каждое твое слово, и все же это покоряло. Она обладала даром с легкостью преодолевать неловкость первого знакомства, не пройдет пяти минут, а уже кажется, будто знаешь ее всю жизнь. Кто-то перехватил ее у меня и увлек в танце, и она отдалась в руки партнера с тем же радостным нетерпением, какое выразилось на ее лице, когда она села рядом и заговорила со мной. Две недели спустя мы встретились в гостях, и я с удивлением убедился, что она в точности помнит, о чем мы говорили в те десять минут среди шума и танцев. Она обладала всеми достоинствами светской молодой женщины.

Я рассказал об этом случае Кэразерсу.

— Она очень неглупа,— заметил он.— Мало кто знает, какая она умница. Она писала очень хорошие стихи. Она всегда весела, всегда беззаботна, ни с кем ничуть не считается, вот люди и думают, будто у нее ветер в голове. Ничего подобного. Она умна как бес. Трудно понять, откуда у нее взялось на это время, но она очень много читала. Едва ли кто-нибудь знает ее с этой стороны так, как знаю я. По воскресеньям мы с нею часто гуляли за городом, а в Лондоне ездили в Ричмонд-парк и там тоже гуляли и разговаривали. Она любила цветы, и траву, и деревья. Интересовалась всем на свете. Очень много знала и очень здраво рассуждала. Говорить могла о чем угодно. Иногда среди дня мы гуляли, а потом встречались в ночном клубе, ей довольно было выпить бокал другой шампанского, и она уже в ударе, она душа общества, вокруг нее кипит веселье, а я поневоле думаю, как же все изумились бы, если бы знали, какие серьезные разговоры мы с ней вели несколькими часами раньше. Поразительный



контраст. Как будто в ней жили две совсем разные женщины.

Кэразерс сказал все это без улыбки. Он говорил печально, так, словно речь шла о ком-то, кого вырвала из дружеского круга безвременная смерть. Он глубоко вздохнул.

— Я был без памяти в нее влюблен. Раз шесть просил ее стать моей женой. Понимал, конечно, что надеяться нечего, ведь я был всего лишь мелким чиновником в министерстве иностранных дел, но не мог с собой совладать. Она мне отказывала, но при этом всегда была ужасно мила. И это ничуть не мешало нашей дружбе. Понимаете, она очень хорошо ко мне относилась. Я давал ей что-то, чего она не находила в других. Я всегда думал, что ко мне она привязана, как ни к кому другому. А я с ума по ней сходил.

— Полагаю, вы не единственный,— заметил я, надо ж было что-то сказать.

— Еще бы. Она получала десятки любовных писем от совершенно незнакомых людей, ей писали фермеры из Африки, рудокопы, полицейские из Канады. Кто только не предлагал ей руку и сердце! Она могла выбрать в мужья кого вздумается.

— По слухам, даже члена королевской семьи.

— Да, но она сказала, что такая жизнь не по ней. А потом вышла за Джимми Уэлдон-Бернса.

— Кажется, всех это порядком удивило?

— А вы его знали?

— Как будто нет. Может быть, и встречал, но он мне не запомнился.

— Он никому не мог запомниться. Совершеннейшее ничтожество. Отец его был крупный промышленник где-то на севере. Во время войны нажил кучу денег и приобрел титул баронета. По-моему, он даже говорить правильно не умел. Джимми учился со мной в Итоне, родные очень старались сделать из него джентльмена, и после войны он постоянно вращался в лондонском свете. Всегда готов был устроить роскошный прием. Никто не обращал на него внимания. Он только платил по счету. Отчаянно скучный и нудный тип. Такой, знаете, чопорный, до тошноты вежливый; с ним всегда было неловко, чувствовалось, до чего он боится совершить какой-нибудь промах. Костюм носил так, будто только что в первый раз надел и все ему немножко жмет.

Когда Кэразерс однажды утром, ничего не подозревая, раскрыл «Таймс» и, просматривая светские новости, наткнулся на сообщение о помолвке Элизабет, единственной

дочери герцога Сент-Эрта, с Джеймсом, старшим сыном сэра Джона Уэлдон-Бернса, баронета, он был ошеломлен. Он позвонил Бетти и спросил, правда ли это.

— Конечно,— ответила она.

Потрясенный Кэразерс не находил слов. А Бетти продолжала:

— Он приведет к нам сегодня завтракать своих родных, познакомит их с папой. Смею сказать, предстоит суровое испытание. Можете пригласить меня в «Кларидж» и подкрепить мои силы коктейлем, хотите?

— В котором часу? — спросил Кэразерс.

— В час.

— Хорошо. Встречаемся там.

Он уже ждал, когда вошла Бетти. Вошла такой легкой, пружинистой походкой, будто ногам ее не терпелось понестись в танце. Она улыбалась. Глаза ее сияли, ее переполняла радость оттого, что она живет и жить в этом мире прекрасно. Едва она вошла, ее узнали, вокруг перешептывались. Кэразерсу почудилось, будто она внесла в невозмутимое, но несколько подавляющее великолепие гостиной «Клариджа» солнечный свет и аромат цветов. Он даже не поздоровался, сразу выпалил:

— Бетти, вы этого не сделаете. Это просто невозможно.

— Почему?

— Он ужасен.

— Не думаю. По-моему, он довольно милый.

Подошел официант и выслушал заказ. Бетти смотрела на Кэразерса, прекрасные синие глаза ее умели смотреть сразу и так весело, и так ласково.

— Он вульгарнейший выскочка, Бетти.

— Не говорите глупостей, Хэмфри. Он ничуть не хуже других. По-моему, вы просто сноб.

— Он совершенный тупица.

— Нет, он просто тихий. Не уверена, что мне нужен чересчур блестящий супруг. По-моему, он будет для меня прекрасным фоном. Он очень недурен собой и мило держится.

— О господи, Бетти!

— Не валяйте дурака, Хэмфри.

— И вы станете уверять, что влюблены в него?

— Я думаю, это будет только тактично, вы не согласны?

— Чего ради вы за него выходите?

Она холодно посмотрела на Кэразерса.

— У него куча денег. И мне уже скоро двадцать шесть.

Больше говорить было не о чем. Кэразерс отвез Бетти

в дом ее тетки. Свадьбу справили с большой пышностью, на тротуарах по дороге к церкви св. Маргариты в Вестминстере толпился народ, буквально все члены королевской семьи прислали подарки, медовый месяц молодые провели на яхте, которую предоставил им на это время свекор Бетти. Кэразерс попросил направить его служить за границу и послан был в Рим (я правильно угадал, именно там он в совершенстве овладел итальянским), а затем в Стокгольм. Здесь он получил пост советника и здесь написал первые свои рассказы.

Быть может, брак Бетти разочаровал британскую публику, которая ждала от своей любимицы большего, а быть может, просто в роли молодой жены она уже не волновала присутствующие этой публике романтические чувства; ясно одно: она быстро перестала привлекать всеобщее внимание. О ней почти уже не было слышно. Вскоре после свадьбы прошел слух, что она ждет ребенка, а потом — что ребенок родился мертвый. Она не перестала бывать в обществе, думаю, продолжала встречаться с друзьями, но больше не привлекала все взоры каждым своим шагом. И уж конечно ее теперь редко видели на беспорядочных сборищах, где полинявшие аристократы заводят дружбу с мелкой шушерой, трущейся около искусства, и тешат себя мыслью, будто они причастны сразу и высшему свету и высокой культуре. Говорили, что она остепенилась. Спрашивали себя, как она ладит с мужем, а раз задавшись этим вопросом, тотчас порешили, что не ладит. Вскоре стали сплетничать, будто Джимми выпивает лишнее, года через два прошел слух, что у него открылся туберкулез. Чета Уэлдон-Бернс провела две зимы в Швейцарии. А потом стало известно, что они расстались и что Бетти поселилась на Родосе. Странное выбрала место.

— Там, наверно, скука смертная, — говорили ее друзья.

Теперь мало кто ее навещал, а возвратясь, рассказывали о красоте острова и очаровании неторопливо текущей там жизни. Но, конечно, там очень одиноко. Странно, что Бетти, такая блестящая, такая деятельная, довольна этой тихой пристанью. Она купила дом. У нее на Родосе только и знакомых что несколько итальянских чиновников, в сущности, там не с кем водить знакомство; но, похоже, она вполне счастлива. Посетители просто не могли этого понять. Однако жизнь в Лондоне хлопотлива, а человеческая память коротка. Люди перестали интересоваться беглянкой. Ее забыли. А потом, месяца за два до того, как я встретился

в Риме с Хэмфри Кэразерсом, «Таймс» сообщила о смерти сэра Джеймса Уэлдон-Бернса, второго баронета. Титул унаследовал его младший брат. У Бетти ведь детей не было.

Кэразерс и после замужества Бетти продолжал с ней встречаться. Всякий раз, как он наезжал в Лондон, они вместе завтракали. Она умела с легкостью возобновлять дружеские отношения после долгой разлуки, словно никакого перерыва не было, так что при встрече они вовсе не чувствовали отчуждения. Бывало, она его спрашивала, когда же он женится.

— Вы ведь не становитесь моложе, Хэмфри. Если вы вскорости не женитесь, вы станете вроде старой девы.

— А вы сторонница брака?

Не очень великодушный вопрос, ведь он, как и все, слышал, что с мужем у нее нелады, но ее слова его уязвили.

— В общем, сторонница. Пожалуй, неудачный брак лучше, чем никакого.

— Вы прекрасно знаете, ничто на свете не заставит меня жениться, и знаете, почему.

— Ну, мой дорогой, не станете же вы уверять, будто до сих пор в меня влюблены?

— Да, влюблен.

— Вы просто дурень.

— Ну и пусть.

Бетти улыбнулась ему. Она смотрела и дразняще, и вместе ласково, от ее взгляда у него сладко щемило сердце. Забавно, он даже мог в точности показать, где щемит.

— Вы славный, Хэмфри. Сами знаете, я очень нежно к вам отношусь, но замуж я за вас не вышла бы, даже если б была свободна.

После того как она рассталась с мужем и уехала на Родос, Кэразерс с ней больше не виделся. Она ни разу не приезжала в Англию. Но они постоянно переписывались.

— Письма были удивительные, — сказал он. — Казалось, так и слышишь ее голос. Ее письма — в точности как она сама. Тут и ум и остроумие, непоследовательность и при этом редкое здравомыслие.

Он предложил на несколько дней приехать к ней на Родос, но она ответила — лучше не надо. Он понял, почему. Всем известно, что он был безумно в нее влюблен. Всем известно, что он и сейчас влюблен. Он не знал точно, при каких обстоятельствах распрощались супруги Уэлдон-Бернс. Возможно, они расстались врагами. Возможно, Бетти опасается, что его приезд бросит тень на ее доброе имя.

— Когда вышла моя первая книга, она мне написала прелестное письмо. Вы ведь знаете, эту книгу я посвятил ей. Ее удивило, что мои рассказы так хороши. Все приняли их очень мило, и она была от этого в восторге. А я, наверно, больше всего радовался ее радости. В конце концов, я ведь не профессиональный писатель, я не придаю большого значения литературному успеху.

Болван, подумал я, и враль. Неужели он воображает, будто я не замечал, каким самодовольством преисполнен он был оттого, что его книги встречали благосклонный прием? За самодовольство я его не осуждаю, что может быть простительней, но чего ради так усердно это отрицать? А вот что он наслаждался известностью, которую принесли ему книги, главным образом из-за Бетти, это, несомненно, чистая правда. Он чего-то достиг, теперь ему было что ей предложить. Он мог принести к ее ногам не только свою любовь, но и громкое имя. Бетти уже не так молода, ей тридцать шесть; ее замужество, ее жизнь за границей многое изменили; она уже не окружена поклонниками; она утратила былой ореол всеобщего восхищения. Их больше не разделяет неодолимая пропасть. Он один столько лет оставался ей верен. Нелепо ей и дальше хоронить свою красоту, и ум, и светское обаяние на каком-то острове, затерянном в Средиземном море. И ведь она очень нежно относится к нему, Хэмфри Кэразерсу. Не может быть, чтобы ее не трогала его неизменная преданность. И жизнь, которую он теперь может ей предложить, наверняка для нее привлекательна. Он твердо решил, что снова попросит ее стать его женой. Он может освободиться в конце июля. И он написал ей, что намерен провести отпуск на греческих островах и, если она хочет его повидать, остановится на день-другой на Родосе, по слухам, итальянцы открыли там отличную гостиницу. Из деликатности он упомянул об этом словно бы между прочим. Дипломатическая служба научила его избегать прямолинейности. Никогда он по доброй воле не поставил бы себя в такое положение, из которого не мог бы тактично вывернуться. Бетти ответила ему телеграммой. Просто чудесно, что он приедет на Родос, писала она, и, конечно, он должен, по крайней мере, две недели погостить у нее, и пускай телеграфирует, с каким пароходом его встречать.

Когда корабль, на который он сел в Бриндизи, вскоре после восхода солнца вошел наконец в чистенькую, красивую гавань Родоса, Кэразерс был вне себя от волнения.

В эту ночь он не сомкнул глаз, вскочил спозаранку и смотрел, как величественно выступает остров из рассветной мглы и солнце восходит над теплым морем. Пароход стал на якорь, навстречу вышли лодки. Спустили трап. Опершись на поручни, Хэмфри смотрел, как поднимаются по трапу врач, портовые чиновники и орава посыльных из гостиницы. На борту он был единственный англичанин. Он сразу бросался в глаза. Какой-то человек, поднявшись на палубу, уверенно подошел к нему.

— Вы — мистер Кэразерс?

— Да.

Он хотел было улыбнуться и протянуть руку, но мгновенно заметил, что этот человек хотя тоже англичанин, однако не джентльмен. И, оставаясь в высшей степени учтивым, невольно стал чуточку суховат. Конечно, он мне этого не сказал, но вся сценка представляется мне очень ясно, и я могу уверенно ее описать.

— Ее милость надеется, вы не в обиде, что она сама вас не встретила, пароход-то прибывает рано, а до нашего дома больше часа езды.

— Ну, разумеется. Ее милость здорова?

— Да, спасибо. Ваши вещи сложены?

— Да.

— Вы мне покажите, где они, и я велю какому-нибудь малому перенести их в лодку. С таможей у вас хлопот не будет. Я это уладил, и сразу поедем. Вы позавтракали?

— Да, благодарю вас.

По речи чувствовалось, что это человек не очень образованный. Кэразерсу неясно было, кто он такой. Не то чтобы он держался невежливо, но в его манере была некоторая бесцеремонность. Кэразерс знал, что у Бетти здесь солидное имение; возможно, это ее управляющий. Он, видимо, очень дельный. Отдавая распоряжения носильщикам, он свободно объяснялся по-гречески, а когда сели в лодку и гребцы попросили прибавки, он сказал что-то, отчего все засмеялись, пожали плечами и спорить не стали. Багаж Кэразерса на таможе не досматривали, его спутник обменялся с чиновниками рукопожатием, и оба вышли на залитую солнцем площадь, где стоял большой желтый автомобиль.

— Вы сами поведете машину? — спросил Кэразерс.

— Я шофер ее милости.

— А, вот как. Я не знал.

Он был одет не как шофер. Белые парусиновые брюки, сандалии на босу ногу, белая теннисная рубашка без

галстука, с распахнутым воротом, и соломенная шляпа. Кэразерс нахмурился. Напрасно Бетти позволяет шоферу садиться за руль в таком виде. Правда, ему пришлось подняться до рассвета и, похоже, ехать до виллы будет жарко. Может быть, обычно он носит ливрею. Он не маленького роста, хоть и ниже Кэразерса — в том метр восемьдесят два, — но плечистый, крепко сбит и кажется коренастым. Не толстый, скорее упитанный; похоже, у него отличный аппетит и ест он в свое удовольствие. Еще молод, лет тридцать, тридцать один, но уже очень плотный и когда-нибудь станет просто тушей. А пока он отменный здоровяк. Широкое лицо покрыто темным загаром, вздернутый нос толстоват, выражение словно бы недовольное. Светлые усики. Странно, Кэразерсу показалось, будто когда-то он уже видел этого человека.

— Давно вы служите ее милости?

— Да, можно сказать, порядком.

Кэразерс нахмурился чуть сильнее. Ему не очень нравилось, как разговаривает этот шофер. И почему-то не обращается к нему «сэр». Пожалуй, Бетти дает ему слишком много воли. Очень на нее похоже — не держать прислугу в строгости. Но это большая ошибка. При случае надо будет ей намекнуть. Он встретился глазами с шофером — никаких сомнений, у того блеснула во взгляде веселая искорка. Непонятно почему, Кэразерс не представлял, что в нем может показаться забавным.

— Это, я полагаю, древний город крестоносцев, — сухо сказал он, указывая на зубчатые крепостные стены.

— Да. Ее милость вам покажет. В бойкое время у нас тут полно туристов.

Кэразерс хотел держаться приветливо. Он подумал, что можно, пожалуй, сесть рядом с шофером, а не отдельно позади, и уже собирался это предложить, но его не спросили. Шофер велел носильщикам сложить чемоданы Кэразерса на заднее сиденье и, усаживаясь за руль, сказал:

— Залезайте, поедем.

Кэразерс сел с ним рядом, и они покатали по белой дороге вдоль берега. Через несколько минут выехали из города. Ехали молча. Кэразерс держался с подчеркнутым достоинством. Он чувствовал, что шофер склонен к фамильярному обращению, и не желал дать для этого повод. Он льстил себя мыслью, что умеет заставить тех, кто ниже его, знать свое место. И втайне язвительно усмехнулся: не придется долго ждать, чтобы этот шофер начал величать его сэром. Но утро было чудесное; белая дорога бежала среди

оливковых роцц, порой проезжали мимо крестьянских домиков с белыми стенами и плоскими крышами, это напоминало Восток, будоражило воображение. А впереди ждала Бетти. Кэразерс любил, а потому настроен был доброжелательно ко всем на свете и, закуривая, решил из великодушия предложить сигарету и шоферу. В конце концов, Англия очень далеко, они на Родосе, да и времена теперь демократические. Шофер взял сигарету и остановил машину, чтобы закурить.

— А табак вы захватили? — вдруг спросил он.

— Что захватил?

У шофера вытянулось лицо.

— Ее милость посылала вам телеграмму, просила захватить два фунта «Плейера». Я для того и уладил на таможне, чтоб ваш багаж не досматривали.

— Я не получал никакой телеграммы.

— Вот черт!

— Зачем, спрашивается, ее милости понадобился трубочный табак? — надменно спросил Кэразерс.

Ему не понравилось восклицание шофера. Тот искоса глянул на него, взгляд явно был дерзкий. Сказал коротко:

— Нам тут его не достать.

Он чуть ли не со злостью отшвырнул египетскую сигарету, которую дал ему Кэразерс, и опять повел машину. Лицо у него стало угрюмое. Больше он не сказал ни слова. Кэразерс решил, что напрасно пытался быть общительным. Остаток пути он не замечал шофера. Сидел с ледяным видом, который весьма успешно напускал на себя, когда какой-нибудь ничем не замечательный англичанин обращался к нему, секретарю британского посольства, за помощью. Некоторое время ехали в гору, и вот длинная невысокая ограда, распахнутые ворота. Шофер повернул в ворота.

— Уже приехали? — воскликнул Кэразерс.

— Шестьдесят пять километров за пятьдесят семь минут. — Шофер вдруг улыбнулся, у него оказались прекрасные белые зубы. — Неплохо по этакой дороге.

Он пронзительно засигналил. Кэразерс задохнулся от волнения. По неширокой дороге через оливковую рощу подъехали к низкому, расплзшемуся вширь белому дому. В дверях стояла Бетти. Кэразерс выскочил из машины и расцеловал ее в обе щеки. С минуту он не в силах был заговорить. Но бессознательно отметил, что у входа вытянулись немолодой дворецкий в белых парусиновых брюках и два лакея в юбках — национальном греческом одеянии. Они выглядели щеголевато и живописно. Какую бы волю ни



давала Бетти шоферу, в доме явно установлен был порядок, подобающий ее положению. Через прихожую — просторную, с выбеленными известковой стенами и, как он смутно заметил на ходу, красиво обставленную — Бетти провела Кэразерса в гостиную. Здесь тоже было просторно, низкий потолок, так же выбелены стены, и Кэразерс тотчас ощутил сочетание роскоши и уюта.

— Прежде всего подойдите и полюбуйтесь, какой отсюда вид,— сказала Бетти.

— Прежде всего я должен полюбоваться вами.

Она была вся в белом. Руки, лицо и шея очень загорелые; глаза, кажется, еще синее прежнего, и ослепительно белые зубы. Она замечательно выглядела. Элегантная, подтянутая. Волосы подвиты, ногти наманикюрены; а он было забеспокоился, вдруг при беззаботной жизни на этом романтическом острове она позволит себе распуститься.

— Честное слово, Бетти, вам не дашь больше восснадцати. В чем тут секрет?

— В счастье,— улыбнулась Бетти.

Это больно кольнуло его. Он вовсе не жаждал увидеть ее очень уж счастливой. Он жаждал сам дать ей счастье. Но сейчас она непременно хотела вывести его на веранду. Туда вели из гостиной пять стеклянных дверей, и от веранды спускался к морю поросший оливами косогор. А у подножия холма виднелась крохотная бухточка, и там стоял на якоре, отражаясь в безмятежно спокойной воде, белый кораблик. За углом веранды, на холме подальше, белели домики греческого селения, а еще дальше вставал громадный серый утес, увенчанный зубчатыми стенами средневекового замка.

— Это одна из крепостей крестоносцев,— сказала Бетти.— Сегодня вечером я вас туда свезу.

Да, вид был прелести несказанной. Просто дух захватывало. Все так мирно и, однако, полно странной живости. Пробуждает не желание созерцать, но стремление действовать.

— Надеюсь, вы благополучно провезли табак.

Кэразерс вздрогнул от неожиданности.

— К сожалению, нет. Я не получил телеграмму.

— Но ведь я телеграфировала и в посольство, и в «Эксельсиор».

— А я останавливался в «Плазе».

— Какая досада! Альберт будет взбешен.

— Кто это Альберт?

— Он вас привез. Все другие сорта ему не нравятся, а «Плейер» здесь не достать.

— А, шофер.— Кэразерс показал на поблескивающий внизу белый кораблик.— Это и есть яхта, про которую я слышан?

— Да.

Бетти купила когда-то большой каяк, велела поставить на нем добавочный мотор и принарядить. И странствовала на нем по греческим островам. К северу добиралась до самых Афин, к югу — до Александрии.

— Если у вас найдется время, мы вас покатаем,— сказала Бетти.— Раз уж вы здесь, вам надо повидать Кос.

— А кто управляет яхтой?

— У меня, конечно, есть гребцы, но яхту водит чаще всего Альберт. Он большой мастер по части моторов и всякой механики.

Кэразерс сам не знал, отчего ему стало как-то не по себе, когда она опять заговорила о шофере. Может быть, она чересчур полагается на этого Альберта. Большая ошибка — давать слуге слишком много воли.

— Знаете, мне почему-то кажется, что я уже где-то видел вашего шофера. Только не понимаю, где и когда.

Бетти весело улыбнулась, глаза блеснули так ей свойственным радостным оживлением, которое придавало выражению лица очаровательную непосредственность.

— Вы должны бы его помнить. Он был вторым лакеем в доме тети Луизы. Наверно, он тысячу раз отворял вам парадную дверь.

Тетя Луиза была та самая тетушка, у которой Бетти жила до замужества.

— Так вот он кто! Наверно, я его видел, но не замечал. А как он здесь очутился?

— Приехал из нашего английского имения. Когда я вышла замуж, он захотел служить у меня, и я его взяла. Одно время он был у Джимми камердинером, а потом я отправила его обучаться механике, он без ума от автомобилей, и, в конце концов, сделала его своим шофером. Не знаю, как бы я теперь без него обходилась.

— А вам не кажется, что это ошибка — слишком зависеть от слуги?

— Не знаю. Никогда об этом не задумывалась.

Бетти показала Кэразерсу приготовленные для него комнаты, он переоделся, и они пошли на берег. Там их ждала лодка, они переправились к яхте и с борта искупались. Вода была теплая, потом они полежали на палубе, позагорали. Яхта была просторная, удобная, роскошная. Бетти всю ее показала гостю, в машинном отделении они

увидели Альберта. В замасленном комбинезоне он хлопотал у моторов, руки черные, лицо перепачкано смазкой.

— Что случилось, Альберт? — спросила Бетти.

Он встал, почтительно вытянулся перед ней.

— Ничего худого, миледи. Просто гляжу, что да как.

— У Альберта только две страсти в жизни. Одна — автомобиль, другая — эта яхта. Правда, Альберт?

Она весело улыбнулась шоферу, и его довольно невыразительное лицо просияло. Блеснули прекрасные белые зубы.

— Чистая правда, миледи.

— Знаете, он даже ночует на яхте. Мы устроили для него на корме очень миленькую каюту.

Кэразерс легко свыкся со здешней жизнью. Бетти купила это имение у некоего турецкого паши, сосланного на Родос султаном Абдул-Хамидом, и пристроила к живописному дому еще одно крыло. А окружающую дом оливковую рощу превратила в причудливый сад. Вырастила розмарин, лаванду и златоцветник, выписала из Англии ракичник, насадила розы, которыми славится Родос. Весной, сказала она Кэразерсу, здесь сплошным ковром цветут анемоны. Она показывала свои владения, делилась планами и задуманными нововведениями, а ему все время было не по себе.

— Вы говорите так, будто собираетесь остаться здесь на всю жизнь, — сказал он.

— Очень возможно, — с улыбкой ответила Бетти.

— Что за вздор! В ваши-то годы!

— Мне уже под сорок, милый друг, — беспечно ответила она.

К удовольствию Кэразерса, оказалось, что повар у Бетти отменный, и приятно было по всем правилам приличия обедать с нею в великолепной столовой, мебель итальянской работы радовала глаз, за столом прислуживали греки — величественный дворецкий и два красивых, живописно одетых лакея. Дом обставлен был с большим вкусом; в комнатах ничего лишнего, но каждая вещь превосходна. Бетти жила на широкую ногу. Назавтра после приезда Кэразерса к обеду явился губернатор острова с несколькими подчиненными, и тут она показала свое хозяйство во всем блеске. Губернатор вступил в дом между двумя рядами ливрейных лакеев, блистательных в своих накрахмаленных юбках, расшитых куртках и бархатных фесках. Чуть ли не почетный караул. Кэразерсу эта пышность была по вкусу. Обед проходил очень весело. Бетти свободно болтала по-итальянски,

Кэразерс говорил безупречно. Молодые офицеры из свиты губернатора выглядели в своей форме заправскими франтами. Они были необычайно внимательны к Бетти, она отвечала им дружеской непринужденностью. И слегка поддразнивала. После обеда завели граммофон, и она по очереди с ними танцевала.

Когда гости отбыли, Кэразерс спросил:

— Видно, все они в вас безумно влюблены?

— Не знаю. Иногда мне намекают, что неплохо бы заключить союз, постоянный или не очень, но ничуть не обижаются, когда я с благодарностью отвергаю предложение.

Все это несерьезно. Молодые поклонники слишком зеленые, а те, что постарше, толстые и лысые. Какие там чувства они ни питали к Бетти, Кэразерс ни минуты не верил, что она поставит себя в дурацкое положение ради какого-нибудь неродовитого итальянца. Но дня через два случилось нечто странное. Он был у себя, переодевался к обеду; за дверью в коридоре послышался мужской голос, Кэразерс не разобрал, что было сказано и на каком языке, но вдруг раздался смех Бетти. Она чудесно смеялась, звонко, весело, как девочка, так радостно, беззаботно, так заразительно. Но с кем же это она? Разговаривая со слугами, так не смеются. Как-то очень интимно звучал этот смех. Может показаться странным, что Кэразерс разобрал все это во взрыве смеха, но не следует забывать, что он человек весьма проникательный. Его рассказы отличаются как раз такими штришками.

Через несколько минут они встретились на веранде, и, смешивая коктейль, он попробовал удовлетворить свое любопытство.

— Над чем это вы сейчас так хохотали? У вас кто-то был?

Бетти посмотрела на него с неподдельным удивлением.

— Нет.

— Я думал, вас навестил кто-то из ваших молодых итальянских офицеров.

— Нет.

Конечно, годы не прошли для Бетти бесследно. Она была красива, но красотой зрелой женщины. Она всегда держалась уверенно, теперь в ней появилось спокойствие; безмятежность стала такой же неотъемлемой частью ее красоты, как синие глаза и чистый лоб. Казалось, она живет в мире с целым светом; рядом с нею можно было отдохнуть душой, как отдыхаешь, лежа среди олив и глядя на море цвета темного вина. Хоть она по-прежнему была весела

и остроумна, теперь очевидна стала и присущая ей серьезность, о которой когда-то никто, кроме Кэразерса, не подозревал. Никто уже не мог бы упрекнуть ее в ветрености; невозможно было не заметить, что это натура утонченная. Вернее даже сказать, благородная. Черта редкая в современной женщине, и Кэразерс подумал, что это какой-то атавизм; Бетти ему напоминала знатных дам восемнадцатого века. Она всегда обладала чувством слова, в юности писала изящные, музыкальные стихи, и когда она сказала, что взялась за солидный исторический роман, Кэразерс принял это не столько с удивлением, сколько с любопытством. Она собирала материалы о пребывании на Родосе воинов св. Иоанна. Тут столько романтических приключений. Бетти повезла Кэразерса в город, показала ему величавые крепостные стены, вдвоем они бродили среди гордых, суровых зданий. Прошли по безмолвной улице Крестоносцев, где прелестные каменные фасады и надменные гербы внятно говорили об ушедшем в прошлое рыцарстве. Тут Бетти его удивила. Оказалось, она купила один из старых домов и заботливо восстановила его былой величественный облик. Войдя в тесный внутренний дворик с высеченной в камне лестницей, посетитель попадал в далекое средневековье. В крохотном садике, обнесенном каменной оградой, росли розы и среди них смоковница. Дом был невелик, таинствен и тих. Рыцари в старину достаточно долго соприкасались с Востоком, чтобы перенять восточные понятия об уединенности.

— Когда мне надоедает на вилле, я на два-три дня приезжаю сюда и устраиваю себе праздник. Иногда приятно отдохнуть от многолюдья.

— Но не одна же вы здесь остаетесь?

— В сущности, одна.

Они вошли в маленькую, строго обставленную гостиную.

— А это что такое? — с улыбкой спросил Кэразерс, увидев на столе спортивное приложение к «Таймс».

— А, это газета Альберта. Наверно, он оставил ее здесь, когда поехал вас встречать. Он каждую неделю получает ее и еще «Всемирный вестник». Тем самым он в курсе всего, что делается на белом свете.

Она снисходительно улыбнулась. Рядом с гостиной находилась спальня, почти пустая, только с широчайшей кроватью.

— Дом раньше принадлежал англичанину, отчасти поэтому я его и купила. Это некий сэр Джайлз Керн, а один из моих предков был женат на Мэри Керн, сэр Джайлз с нею в родстве. Их род из Корнуолла.

Обнаружив, что работать дальше над историческим сочинением не удастся, не овладев латынью настолько, чтобы легко читать средневековые материалы, Бетти принялась изучать этот классический язык. Она дала себе труд лишь познакомиться с основами грамматики, а затем, пожив рядом перевод, стала читать интересующих ее авторов. Это прекрасный способ изучать язык, и я часто удивлялся, почему его не применяют в школе. Он избавляет от необходимости то и дело рыться в словарях и кропотливо подыскивать нужное значение. Спустя девять месяцев Бетти читала по-латыни так же свободно, как большинство из нас читает по-французски. Кэразерса немножко позабавило, что прелестная, блестящая женщина так серьезно относится к своей работе, и, однако, он был тронут; в ту минуту ему хотелось схватить ее в объятия и расцеловать не как женщину, но как смыслсного не по годам ребенка, чьим умом вдруг поневоле восхитишься. Но потом он призадумался над услышанным. Он и сам, конечно, очень умен, иначе не достиг бы высокого положения в министерстве иностранных дел, и глупо было бы утверждать, будто две его книги наделали столько шуму, не обладая никакими достоинствами; если я выставил его отчасти дураком, так просто потому, что не люблю его, а если высмеял его рассказы, так потому только, что рассказы в этом духе, на мой взгляд, глуповаты. У него хватало такта и проницательности. Он убежден был, что покорить Бетти можно лишь одним способом. Она вошла в какую-то колею и счастлива, ее планы на будущее ясны и определены; но как раз потому, что ее жизнь на Родосе такая налаженная, такая упорядоченная и приятная, привычку к ней можно побороть. Вся надежда на то, чтобы пробудить в Бетти беспокойство, таящееся в душе каждого англичанина. И Кэразерс стал говорить с нею об Англии, Лондоне, общих знакомых, о художниках, писателях и музыкантах, с которыми познакомился благодаря своим литературным успехам. Говорил о сборищах светской богемы в Челси и об опере, о том, как en bande<sup>1</sup> ездили в Париж на костюмированный бал, а в Берлин на театральные премьеры. Он воскрешал в ее воображении мир яркий, беззаботный, изменчивый, богатый пищей для ума, всеми дарами культуры и цивилизации. Пусть она почувствует, что здесь, в глуши, ее засасывает, как в болоте. Жизнь мчится вперед, от новизны к новизне, а она застряла на месте. Наш век необыкновенный, волнующий, а она все

---

<sup>1</sup> Всей компанией (*фр.*).

на свете упускает. Разумеется, он не сказал этого напрямик; пусть сама делает выводы. Он говорил увлекательно и вдохновенно, у него была отличная память на хорошие анекдоты, он был забавен и весел. Я знаю, в моем описании Хэмфри Кэразерс вовсе не выглядит умным человеком, а леди Бетти блистательной женщиной. Придется читателю поверить мне на слово. Все признавали, что Кэразерс интересный собеседник, а это уже наполовину обеспечивает победу; от него неизменно ждали остроумия и клятвенно уверяли, что каждое его слово чудо как забавно. Разумеется, это — истинно светское остроумие. Тут требуются слушатели, которые понимают любой намек и обладают тем же совсем особым чувством юмора. На Флит-стрит найдется десятка два газетчиков, за которыми не угнаться самому прославленному светскому остряку: быть блестящими и остроумными изо дня в день их обявляет профессия. Мало кого из светских красавиц, чьими фотографиями пестрят газеты, взяли бы в мюзик-холл петь и плясать за три фунта в неделю. К любителям надо иметь снисхождение. Кэразерс знал, что Бетти приятно в его обществе. Они много смеялись. Дни летели незаметно.

— Мне будет ужасно не хватать вас, когда вы уедете, — с обычным прямодушием сказала она. — Просто праздник, что вы у меня погостили. Вы прелесть, Хэмфри.

— А вы только сейчас это заметили?

Он мысленно похвалил себя. Тактика выбрана правильно. Даже интересно, как удался его нехитрый план. Точно колдовство. Пусть профаны насмеются над дипломатами, но, без сомнения, дипломатическая служба учит обращаться с неподатливыми людьми. Теперь только надо выбрать удобную минуту. Он чувствовал, что никогда Бетти не относилась к нему нежнее. Надо выждать до самого отъезда. Бетти так живо все чувствует. Ей будет жаль с ним расставаться. Без него Родос покажется очень унылым. С кем ей поговорить, когда он уедет? После обеда они обычно сидят на веранде и любуются морем, в котором отражаются звезды; воздух теплый, благоуханный, в нем смутно улавливаешь и аромат ее духов; вот в такой час, накануне отъезда, он и попросит ее стать его женой. Всем существом он чувствовал, что она согласится.

Однажды утром, когда он пробыл на Родосе немногим больше недели, Кэразерс поднялся на второй этаж и в коридоре встретил Бетти.

— Вы мне еще не показывали свою комнату, Бетти,— сказал он.

— Разве? Что ж, зайдите посмотрите. Она довольно славная.

Бетти повернулась, и он вошел за нею следом. Ее комната, расположенная над гостиной, была почти так же просторна. Обставлена она была в итальянском стиле и, как это принято по новой моде, походила скорее не на спальню, а на небольшую гостиную. По стенам прекрасные полотна Панини<sup>1</sup>, два красивых шкафчика. Кровать венецианская, чудесно раскрашенная.

— Внушительных размеров ложе для вдовствующей дамы,— пошутил Кэразерс.

— Громадина, да? Но прелесть. Я не могла ее не купить. Она стоила безумных денег.

Взгляд Кэразерса упал на столик подле кровати. На столике лежали две-три книги, пачка сигарет и на пепельнице вересковая трубка. Странно! Для чего Бетти возле постели курительная трубка?

— Посмотрите-ка на этот cassone<sup>2</sup>. Правда, чудесная роспись? Я чуть не закричала от радости, когда на него наткнулась.

— Наверно, он тоже стоил безумных денег.

— Даже не решаюсь вам сказать, сколько я за него заплатила.

Когда они выходили из комнаты, Кэразерс опять бросил беглый взгляд на столик. Трубка исчезла.

Странно, зачем Бетти в спальне трубка, уж наверно сама она трубку не курит, а если бы курила, не стала бы это скрывать, но, конечно, тут может найтись десяток разумных объяснений. Возможно, это приготовленный кому-то подарок — одному из знакомых итальянцев или даже Альберту. Кэразерс не разглядел, обкуренная трубка или новая, а может быть, это образчик, который она попросит его взять с собой в Англию, чтобы он прислал еще такие же. С минуту Кэразерс недоумевал и, пожалуй, немножко забавлялся этим пустяковым случаем, а потом выбросил его из головы. В тот день они думали поехать на дальнюю прогулку, взяв с собой поесть, вести машину Бетти собиралась сама. Перед отъездом Кэразерса предполагалось двухдневное плаванье, чтобы он повидал Патмос и Кос, и Альберт готовил яхту,

---

<sup>1</sup> Панини Джованни-Паоло — итальянский живописец середины XVIII в.

<sup>2</sup> Ларь (*ит.*).



возился с моторами. День выдался на славу. Бетти с Кэразерсом побывали на развалинах старинного замка, взобрались на гору, поросшую златоцветником, гиацинтами и нарциссами, и вернулись смертельно усталые. Почти сразу после ужина они разошлись, и Кэразерс лег в постель. Почитав немного, он погасил свет. Но сон не шел. Под москитной сеткой было жарко. Он ворочался с боку на бок. Потом подумал, что хорошо бы пойти к бухточке у подножия холма и искупаться. До нее каких-нибудь три минуты ходу. Он надел сандалии, захватил полотенце. Светила полная луна, и за ветвями олив блестела на море лунная дорожка. Но, оказалось, он не один догадался, что в такую лучезарную ночь приятно искупаться: он уже хотел выйти из-под олив на берег, как вдруг слышал чье-то присутствие. И вполголоса выбранился — досадно, кто-то из слуг Бетти купается, не очень-то удобно им помешать. Деревья подступали чуть не к самой воде, он нерешительно помедлил в их тени. И вздрогнул, неожиданно услышав слова:

— Где мое полотенце?

Говорили по-английски. Из воды вышла женщина, остановилась у песчаной кромки. Навстречу из темноты вышел обнаженный мужчина, только полотенце обернуто вокруг бедер. Эта женщина — Бетти. Совершенно нагая. Мужчина накинул на нее купальный халат и принялся растирать ее. Она оперлась на него, вытянула сначала одну ногу, потом другую, и он, поддерживая, обнял ее за плечи. Это был Альберт.

Кэразерс повернулся и кинулся бежать в гору. Бежал вслепую, спотыкался. Один раз чуть не упал. Задышался, точно раненый зверь. У себя в комнате бросился на кровать, сжал кулаки, и сухие мучительные всхлипывания, раздиравшие ему грудь, наконец вылились слезами. Как видно, разразилась самая настоящая истерика. Все стало ясно ему, все предстало с той ужасающей яркостью, с какой в бурную ночь молния обнажает изуродованную безжизненную пустошь, отвратительно, безжалостно ясно. По тому, как Альберт вытирал ее и как она оперлась на его плечо, нельзя не понять — это не страсть, а давняя, привычная близость, и та трубка на ночном столике — знак мерзостного супружества. Так человек курит трубку, читая перед сном в постели. Спортивное приложение к «Таймс»! Вот для чего ей тот домик на улице Крестоносцев — чтобы они могли проводить там два-три дня по-семейному, наедине. Глядя на них, подумаешь, что они давным-давно женаты. Хэмфри спросил себя, сколько могла продолжаться эта гнусность, и внезап-

но понял: многие годы. Десять, двенадцать, четырнадцать лет: это началось, когда молодой лакей только-только приехал в Лондон, он был тогда совсем мальчишкой, и, несомненно, не он сделал первый шаг; все те годы, когда она была кумиром британской публики, когда все обожали ее и она могла выйти замуж за кого пожелает, она была любовницей второго лакея в доме своей тетки. Она взяла его с собой, когда вышла замуж. Почему она решилась на тот странный брак? И раньше времени родился мертвый ребенок. Конечно, поэтому она и вышла за Уэлдон-Бернса, потому что должна была родить ребенка от Альберта. Бесстыжая, бесстыжая! А потом, когда Джимми заболел, она заставила его взять Альберта в камердинеры. Что знал Джимми, что он подозревал? Он пил, с этого у него и начался туберкулез; но отчего он начал пить? Быть может, чтобы заглушить подозрение, столь гнусное, что он даже думать о нем был не в силах. И ради того, чтоб жить с Альбертом, она оставила Джимми, ради того, чтоб жить с Альбертом, поселилась на Родосе. С Альбертом, у которого обломанные ногти и руки не отмываются от машинного масла, корявым, коренастым, который красным лицом и неуклюжей силой напоминает мясника, с Альбертом, который даже и не молод уже, и толстеет, необразован, вульгарен, говорит, как настоящий простолудин. С Альбертом, с Альбертом — как она могла?

Кэразерс поднялся, выпил воды. Бросился в кресло. О постели даже думать было невыносимо. Он курил сигарету за сигаретой. Утро он встретил совсем разбитый. За всю ночь он ни на минуту не уснул. Ему принесли завтрак; он только выпил кофе, кусок не шел в горло. Вскоре раздался быстрый стук в дверь.

— Пойдемте к морю, Хэмфри, искупаемся?

От этого веселого голоса его бросило в жар. Он собрался с духом и открыл дверь.

— Пожалуй, сегодня не пойду. Мне нездоровится.

Бетти посмотрела на него.

— Дорогой мой, у вас совсем больной вид! Что это с вами?

— Не знаю. Наверно, вчера солнцем напекло.

Голос его звучал безжизненно, глаза были трагические. Она всмотрелась внимательней. Помолчала минуту. И, кажется, побледнела. Он знает! Потом во взгляде ее мелькнула смешливая искорка, все это показалось ей забавным.

— Бедненький, подите лягте, я пришлю вам аспириин. Может быть, ко второму завтраку вам станет лучше.

Он лежал у себя в полутемной комнате с завешенными окнами. Чего бы он ни отдал, лишь бы убраться отсюда и никогда больше не видеть Бетти, но невозможно, паролод, которым он должен вернуться в Бриндизи, прибывает на Родос почти через неделю. Он тут пленник. А завтра предстоит плавание к островам. На яхте от Бетти совсем уж никуда не денешься, им придется с утра до ночи мозолить глаза друг другу. Немыслимо. Он сгорает со стыда. А ей ничуть не стыдно. В ту минуту, когда она поняла, что секрет раскрыт, она улыбнулась. С нее станется все ему рассказать. Невыносимо. Это уж слишком. В конце концов, не может она быть уверена, что он знает, в лучшем случае она только могла это заподозрить; если вести себя как ни в чем не бывало, если во время завтрака и в оставшиеся дни держаться по-прежнему весело и оживленно, она подумает, что ошиблась. Довольно и того, что он все знает, выслушать вдобавок всю мерзкую историю от нее самой свыше его сил, не желает он такого унижения. Но за завтраком первые слова Бетти были:

— Ужасная досада, Альберт говорит, что-то не в порядке с мотором, нам не удастся выйти на яхте. На паруса я в это время года не надеюсь. Штиль может тянуться неделю.

Она говорила самым легким тоном, и Кэразерс ответил так же небрежно:

— Что ж, признаться, в сущности, я не слишком огорчен. Здесь очень мило, и меня, в сущности, не так уж привлекало это плавание.

Он сказал, что аспирин помог и он чувствует себя лучше; греку-дворецкому и двум лакеям в юбочках должно было казаться, будто гость и хозяйка беседуют так же оживленно, как всегда. В тот вечер к обеду явился британский консул, назавтра — какие-то итальянские офицеры. Кэразерс считал дни, считал часы. Ох, скорей бы ступить на палубу корабля, избавиться от этого ужаса, терзающего ежеминутно, с утра до ночи! Он безмерно устал. Но Бетти держалась так уверенно, что порой он спрашивал себя, подлинно ли она догадалась, что ему известна ее тайна. Правду она ему сказала, будто яхта не в порядке, или, как однажды пришло ему в голову, это был только предлог? И просто ли совпадение, что все время являются какие-то посетители и он с Бетти теперь совсем не бывает только вдвоем. Беда, когда ты слишком тактичен, невозможно понять, естественно ведут себя окружающие или просто у них тоже развито чувство такта. Бетти такая спокойная, держится так непринужденно, так явно счастлива, глядя на нее, невозможно поверить в мерзкую истину. Но ведь он все

видел собственными глазами. А что дальше? Что ее ждет впереди? Подумать страшно. Рано или поздно правда выйдет наружу. Подумать только, Бетти — всеобщее посмешище, отверженная, во власти грубого мужлана, стареющая, утратившая свою красоту; и ведь этот шофер на пять лет ее моложе. В один прекрасный день он заведет любовницу, пожалуй, одну из ее же горничных, с которой ему будет легко и просто, как никогда не было со знатной дамой, и что ей тогда делать? К чему она должна подготовиться, с каким унижением мириться! Возможно, он станет обращаться с ней жестоко. Возможно, станет бить ее. Ох, Бетти, Бетти.

Кэразерс ломал руки. И вдруг его осенила мысль, пронзившая мучительным восторгом; он отогнал ее, но она вернулась; он не мог от нее отделаться. Надо спасти Бетти, слишком сильно и слишком долго он ее любил, чтобы дать ей погибнуть, погибнуть вот так, как гибнет она; его захлестнула страстная жажда самопожертвования. Наперекор всему, хотя любовь его умерла и он испытывает к Бетти чуть ли не физическое отвращение, он на ней женится. Он невесело засмеялся. Во что превратится его жизнь? Но ничего не поделаешь. О себе думать нечего. Это единственный выход. Его охватил необычайный восторг и в то же время смирение, он ощутил благоговейный трепет при мысли о высотах, которых способен достичь божественный дух, заключенный в человеке.

Пароход отчаливал в субботу, и в четверг, когда уехали после обеда гости, Кэразерс сказал:

— Надеюсь, завтра вечером мы будем одни.

— Вообще-то на завтра я пригласила одну египетскую семью, они проводят здесь лето. Она — сестра бывшего хедива<sup>1</sup>, очень умная женщина. Я уверена, вам она понравится.

— Но ведь завтра мой последний вечер. Разве мы не можем побыть одни?

Бетти кинула на него быстрый взгляд. Ее глаза смеялись, но он смотрел серьезно.

— Как хотите. Могу условиться с ними на другой день.

— Да, пожалуйста.

Назавтра Кэразерсу предстояло выехать спозаранку, вещи его были уже уложены. Бетти сказала, что ему незачем переодеваться к столу, но он возразил, что предпочитает

---

<sup>1</sup> Х е д и в — титул вице-короля Египта, наместника турецкого султана в период зависимости Египта от Турции (1867—1914).

одеться, как подобает. В последний раз они сидели за обедом друг против друга. Столовая с приглушенным абажурами освещением была пустынна и чопорна, но в огромные распахнутые окна вливался летний вечер и придавал всему какую-то ненавязчивую роскошь. Словно это особая трапезная в монастыре, куда удалилась вдовствующая королева, дабы провести остаток дней своих во благочестии, но без чрезмерной строгости. Кофе пили на веранде. Кэразерс выпил рюмочку-другую ликера. Он изрядно нервничал.

— Бетти, дорогая, я должен вам кое-что сказать,— начал он.

— Вот как? На вашем месте я ничего не стала бы говорить.

Она сказала это мягко. Она сохраняла полное спокойствие, зорко следила за ним, но в синих глазах ее поблескивала усмешка.

— Я не могу иначе.

Она пожала плечами и промолчала. Кэразерс почувствовал, что голос его немного дрожит, и обозлился на себя.

— Вы знаете, что многие годы я был безумно в вас влюблен. Даже не знаю, сколько раз я просил вас стать моей женой. Но, в конце концов, все на свете меняется, и люди тоже меняются, не так ли? Мы с вами уже немолоды. Теперь вы согласитесь выйти за меня, Бетти?

Она улыбнулась ему своей бесконечно обаятельной улыбкой — такой доброй, такой открытой и все еще, все еще такой поразительно невинной.

— Вы прелесть, Хэмфри. Ужасно мило с вашей стороны опять сделать мне предложение. Я очень, очень тронута. Но, знаете, я верна своим привычкам, я привыкла вам отказывать и не могу изменить этой привычке.

— Почему?

Это прозвучало у него воинственно, почти зловеще, так что Бетти вскинула на него глаза. Она вдруг побледнела от гнева, но тотчас овладела собой.

— Потому что не хочу,— с улыбкой сказала она.

— Вы намерены выйти за кого-то еще?

— Я? Нет. Конечно, нет.

Она надменно выпрямилась, словно на миг в ней разыгралась гордость, унаследованная от предков, и вдруг рассмеялась. Но только она одна могла бы сказать, позабавило ее чем-то предложение Хэмфри или насмешила какая-то мимолетная мысль.

— Бетти, умоляю вас, будьте моей женой.

— Ни за что.

— Вам нельзя дальше так жить.

Он произнес это со всей силой душевной муки, лицо его страдальчески исказилось. Бетти ласково улыбнулась.

— Почему нет? Не будьте ослом, Хэмфри. Я вас обожаю, но все-таки вы старая баба.

— Бетти. Бетти.

Неужели она не понимает, что он хочет этого ради нее? Не любовь заставила его заговорить, но истинно человеческая жалость и стыд. Она встала.

— Не будьте таким надоедой, Хэмфри. Идите-ка спать, вам ведь надо подняться ни свет ни заря. Утром мы не увидимся. Прощайте, всех вам благ. Просто чудесно, что вы меня навестили.

Она расцеловала его в обе щеки.

Назавтра, когда Кэразерс спозаранку вышел из дому — в восемь ему надо было быть уже на пароходе, — его ждал Альберт с машиной. На нем были парусиновые брюки, трикотажная нижняя рубашка и берет, какие носят баски. Чемоданы лежали на заднем сиденье. Кэразерс повернулся к дворецкому.

— Положите мои вещи рядом с шофером, — сказал он. — Я сяду сзади.

Альберт промолчал. Кэразерс сел, и машина тронулась. Когда приехали в порт, к ним подбежали носильщики. Альберт вышел из машины. Кэразерс посмотрел на него с высоты своего роста.

— Вам незачем провожать меня на борт. Я прекрасно справлюсь сам. Вот ваши чаевые.

И он протянул бумажку в пять фунтов. Альберт густо покраснел. Застигнутый врасплох, он бы рад был отказаться, да не знал, как это сделать, и сказала многолетняя привычка к подобию страсти. Может быть, он и сам не знал, как у него вырвалось:

— Благодарю вас, сэр.

Кэразерс сухо кивнул ему и пошел прочь. Он заставил любовника Бетти сказать ему «сэр». Как будто ударил ее с размаху по смеющимся губам и швырнул в лицо позорное слово. И это наполнило его горьким удовлетворением.

Он пожал плечами, и я видел — даже эта маленькая победа теперь его не утешает. Некоторое время мы молчали. Мне сказать было нечего. Потом Кэразерс снова заговорил:

— Понимаю, вам очень странно, что я вам все это рассказал. Пусть так. Знаете, мне уже все безразлично. Чувство такое, как будто в мире не осталось никакой порядочности. Бог свидетель, я не ревную. Нельзя ревновать не любя, а любовь моя умерла. Она была убита мгновенно. После стольких лет. Я не могу без ужаса думать об этой женщине. Я погибаю, я безмерно несчастен от одной мысли о том, как низко она пала.

Что ж, говорилось же, будто не ревность заставила Отелло убить Дездемону, а страдание от того, что та, кого он считал ангельски непорочной, оказалась нечистой и недостойной. Благородное сердце его разбилось оттого, что добродетель способна пасть.

— Я думал, ей нет равных. Я так ею восхищался. Я восхищался ее мужеством и прямоотой, ее умом и любовью к красоте. А она просто притворщица и всегда была притворщицей.

— Ну, не знаю, верно ли это. По-вашему, все мы такие цельные натуры? Знаете, что мне пришло в голову? Пожалуй, этот Альберт для нее — только орудие, так сказать, дань прозе жизни, почва под ногами, позволяющая душе воспарить в эмпирии. Возможно, как раз потому, что он настолько ниже ее, с ним она чувствует себя свободной, как никогда не была бы свободна с человеком своего класса. Дух человеческий причудлив, всего выше он возносится после того, как плоть вываливается в грязи.

— Не говорите чепуху, — в сердцах возразил Кэразерс.

— По-моему, это не чепуха. Может быть, я не очень удачно выразился, но мысль вполне здравая.

— Много мне от этого пользы. Я сломлен, разбит. Я конченный человек.

— Что за вздор. Возьмите и напишите об этом рассказ.

— Я?

— Вы же знаете, какое огромное преимущество у писателя над прочими людьми. Когда он отчего-нибудь глубоко несчастен и терзается и мучается, он может все выложить на бумагу, удивительно, какое это дает облегчение и утешение.

— Это было бы чудовищно. Бетти была для меня всем на свете. Не могу я поступить так по-хамски.

Он немного помолчал, я видел — он раздумывает. Я видел, наперекор ужасу, в который привел его мой совет, он с минуту рассматривал все происшедшее с точки зрения писателя. Потом покачал головой.

— Не ради нее, ради себя. В конце концов, есть же у меня чувство собственного достоинства. И потом, тут нет материала для рассказа.

---

## КРАЙ СВЕТА<sup>1</sup>

Джордж Мун сидел в своей конторе. Работу он закончил, но все медлил, не хватало мужества отправиться в клуб. Близился час завтрака, и у бара будет толочья народ. Двое-трое непременно предложат выпить с ними. А его страшит их сердечность. Иных он знает уже тридцать лет. Они наскучили ему, и, в общем, не любит он их, но теперь, когда он видит их в последний раз, у него сжимается сердце. Нынче вечером они устраивают в его честь прощальный обед. Придут все и поднесут ему серебряный чайный сервиз, который совсем ни к чему. Будут произносить речи, превозносить его деятельность в колонии, уверять, будто им жаль, что он их покидает, и желать ему еще долгие годы наслаждаться вполне заслуженным отдыхом. Он ответит как подобает. Он приготовил речь, в которой сделал обзор перемен, что произошли с тех пор, как зеленым юнцом он впервые сошел на землю Сингапура. Поблагодарит их за верную службу во все эти годы, когда он имел честь быть резидентом в Тимбанг-Белуде, и нарисует картину блестящего будущего, которое ожидает всю страну и в особенности Тимбанг-Белуд. Напомнит, что застал Тимбанг-Белуд захудалым поселком с несколькими китайскими лавчонками, а покидает процветающий город с мощеными улицами, по которым бегут трамваи, с каменными домами, с богатым китайским кварталом и великолепным зданием клуба, которое уступает только сингапурскому. Они споют «Наш славный малый» и «За дружбу старую...». Потом примутся танцевать, а из тех, кто помоложе, многие напьются. Малайцы уже устраивали в его честь прощальный вечер,

---

<sup>1</sup> © Перевод. Облонская Р., 1992 г.



а китайцы задали всем пирам пир. Завтра на станцию придет множество народу, и все окончательно с ним распрощаются. Интересно, что станут о нем говорить. Малайцы и китайцы станут говорить, что он был строг, но признают, что и справедлив. Управляющие плантациями всегда его не любили. Считали, что с ним трудно иметь дело — он не позволял жестоко обращаться с рабочими. Подчиненные его боялись. Он не давал им спуска. Он не выносил, когда работали неумело и спустя рукава. Себя он не щадил и не видел оснований щадить других. Они считали его бесчеловечным. Он и правда был не из обаятельных. Даже в клубе не забывал о своем чине, не смеялся, услышав неприличный анекдот, ни над кем не подшучивал и не допускал, чтобы подшучивали над ним. Он сознавал, что его появление омрачает непринужденную атмосферу клуба, а сесть с ним за бридж (он любил играть каждый вечер от шести до восьми) считалось не столько удовольствием, сколько честью. Когда за каким-нибудь столом молодые люди слишком шумно выражали свое хорошее настроение, он ловил брошенные на него взгляды, а иной раз кто-нибудь из мужчин постарше подходил к расшумевшимся членам клуба и вполголоса советовал им вести себя потише. У Джорджа Муна вырвался легкий вздох. По службе он преуспел, таких молодых резидентов еще не бывало, и за особые заслуги его наградили орденами св. Михаила и св. Георгия 3-й степени, но что он преуспел как личность, пожалуй, не скажешь. Его уважали, уважали за ум, работоспособность и надежность, но слишком он был проникновен, чтобы хоть на миг вообразить, будто пользуется любовью. Никто о нем не пожалеет. Через несколько месяцев о нем и думать забудут.

Он мрачно улыбнулся. Он не был сентиментален. Власть его радовала, и он испытывал суровое удовлетворение от того, что держал всех в надлежащей форме. Сознание, что его скорее не любили, а боялись, несколько его не огорчало. Свою жизнь он представлял как некую задачу из области высшей математики, для разработки которой требовалось напрячь все силы, но от результата практически ничего не зависело — интересна была сама сложность и красота решения. Как и подобает отвлеченной красоте, она никуда не вела. Будущее ничего ему не сулило. Ему исполнилось пятьдесят пять, он был полон энергии, и ему казалось, ум его сохраняет прежнюю остроту, а знание людей и дел огромны; однако теперь только и оставалось, что поселиться в провинциальном городишке в Англии или в недорогой

части Ривьеры и играть в бридж с пожилыми дамами и в гольф с оставшимися полковниками. Во время отпуска он встречал прежнее свое начальство и заметил, с каким трудом оно приспособлялось к изменившимся обстоятельствам. Все предвкушали, как, выйдя в отставку, обретут свободу, и представляли, как восхитительно станут проводить досуг. Пустые мечты. Не очень-то приятно оказаться в тени после того, как занимал высокое положение, поселиться в тесном домишке после того, как жил в просторном особняке, обходиться двумя служанками, когда привык пользоваться услугами полудюжины китайцев; а главное, неприятно понимать, что ни для кого гроша ломаного не стоишь, тогда как прежде льстило сознание, что похвала, услышанная из твоих уст, приведет в восторг человека любого звания, а недовольная мина — унизит.

Джордж Мун протянул руку и взял из сигаретницы, что стояла на столе, сигарету. При этом заметил, как много морщин на тыльной стороне ладони и как усохли тонкие пальцы. Он с отвращением нахмурился. Рука была старческая. В кабинете висело расписное китайское зеркало, купленное давным-давно, увозить его с собой Мун не собирался. Он встал, посмотрелся в зеркало. Увидел тонкое желтое лицо, морщинистое, с поджатыми губами, седые волосы, усталые, невеселые глаза. Был он довольно высокий, очень худой, узкоплечий, держался прямо. Он всегда играл в поло и даже теперь мог обыграть в теннис большинство молодых игроков. Когда с ним разговаривали, он пристально смотрел на собеседника, слушал внимательно, но выражение его лица не менялось, и невозможно было сказать, как он воспринимает услышанное. Вероятно, он не понимал, в какое замешательство это всех приводит. Улыбался он редко.

Вошел дежурный, подал визитную карточку. Джордж Мун бросил на нее взгляд и распорядился впустить посетителя. Потом снова сел в кресло и холодно смотрел на дверь, из которой должен был появиться посетитель. Это был Том Саффари, интересно, что ему надо. Скорее всего что-то связанное с вечерним торжеством. Занятно, что именно Том Саффари возглавляет комиссию, устраивающую обед, ведь в последний год отношения у них были не самые сердечные. Саффари — управляющий плантацией, и один из надсмотрщиков-тамилов подал на него жалобу за оскорбление действием. Надсмотрщик вел себя весьма вызывающе, и Саффари его вздул. Джордж Мун понимал, искушение было слишком велико, но он всегда решительно

выступал против управляющих, которые самочинно вершили суд и расправу, и когда разбиралось дело Саффари, приговорил его к штрафу. Но после окончания суда, желая показать Саффари, что не питает к нему недобрых чувств, пригласил его отобедать, однако Саффари, возмущенный, как он полагал, незаслуженным публичным оскорблением, резко отказался и с тех пор не желал поддерживать с резидентом никаких отношений, кроме официальных. Он отвечал Джорджу Муну, когда тот мимоходом, но с твердым намерением не выказывать обиду, заговаривал с ним, а вот ни в бридж, ни в теннис с резидентом не играл. Он был управляющим самой крупной в округе каучуковой плантации, и Джорджу Муну пришлось на ум: уж не потому ли он устраивает обед и собирает для этого по подписке деньги, что полагает, будто этого требует его положение, а может быть, теперь, когда резидент уезжает, сей благородный жест приятен его сентиментальной натуре. Со свойственным Джорджу Муну холодным юмором он не без удовольствия думал, что Тому Саффари придется произносить вечером главную застольную речь, распространяться о превосходных свойствах отбывающего резидента и от имени всей колонии выразить сожаление по поводу столь невозможной потери.

Тома Саффари впустили. Резидент поднялся с кресла, пожал вошедшему руку и скупой улыбнулся.

— Здравствуйте. Присаживайтесь. Угодно сигарету?

— Здравствуйте.

Саффари сел в предложенное ему кресло, и резидент ждал, когда он заговорит о том, что его сюда привело. Ему казалось, посетитель смущен. Был он высокий, крупный, плотный человек, лицо румяное, с двойным подбородком, волосы кудрявые, черные, глаза голубые. Мужчина что надо, силен как бык, но сразу видно, слишком себе потакает. Много пьет, ест с отменным аппетитом. Однако человек деловой и работящий. Плантацией управляет умело. В колонии пользуется популярностью. По общему признанию славный малый. Щедр и попавшему в беду готов протянуть руку помощи. Резиденту пришлось на ум, что Саффари явился перед обедом, чтобы уладить их ссору. К чувству, вызвавшему у Саффари это желание, резидент отнесся не без добродушного презренья. У него у самого врагов не было — слишком мало значили для него отдельные личности, чтобы он стал их ненавидеть, но уж если бы они были, он бы ненавидел их до своего последнего часа, подумалось ему.

— Мой приход, наверно, удивил вас, и вы, должно быть, очень заняты, ведь сегодня вы здесь последний день, и все такое.

Джордж Мун не ответил, и Саффари продолжал:

— У меня к вам довольно щекотливый разговор. Дело в том, что мы с женой не сможем быть вечером на обеде, и я подумал, после нашей с вами прошлогодней размолвки будет правильно зайти и сказать, что она тут ни при чем. По-моему, вы обошлись со мной тогда чересчур сурово, штраф — бог с ним, а вот такого унижения я не заслужил, ну да что было, то прошло. Вы уезжаете, и я не хочу, чтоб вы думали, будто я все еще на вас в обиде.

— Я так и понял, когда услышал, что вы главный устроитель проводов,— любезно отозвался резидент.— Жаль, что не сможете быть вечером.

— Мне тоже жаль. Это из-за смерти Нобби Кларка.— Саффари запнулся было, потом продолжал:— Мы с женой очень расстроились.

— Очень печально. Он ведь, кажется, был ваш большой друг?

— Мой самый большой друг в колонии.

В глазах Тома Саффари заблестели слезы. До чего же толстяки эмоциональны, подумал Джордж Мун.

— Вполне понимаю, что в этом случае вам не может быть по душе нынешнее вечернее собрание, оно ведь, похоже, обещает быть довольно шумным,— мягко сказал он.— Что-нибудь об обстоятельствах вам известно?

— Нет, ничего, только то, что было в газете.

— Казалось, он был вполне здоров, когда уезжал.

— Насколько мне известно, он ни разу в жизни ни дня не хворал.

— Должно быть, сердце. Сколько ему было?

— Мы однолетки. Тридцать восемь.

— В таком возрасте умирать рано.

Нобби Кларк был управляющим плантацией, расположенной по соседству с землями Тома Саффари. Муну он нравился. Был он довольно уродлив: рыжий, скуластый, с запавшими висками, бесцветными ввалившимися глазами и большим ртом. Но он славно улыбался и нрав имел легкий. Занятный был, притом мастер рассказать какую-нибудь интересную историю. Беспечный, всегда в хорошем расположении духа, он нравился людям. Хорошо играл в разные игры. Был не дурак. Джордж Мун сказал бы, что он личность довольно бесцветная. За время службы он много таких знавал. Они появлялись и исчезали. Две недели

назад Нобби Кларк отправился в Англию в отпуск, и резидент знал, что в день его отъезда Саффари дал в его честь обед, пригласил множество гостей. Нобби Кларк был женат, и жена, разумеется, поехала с ним.

— Мне жаль ее,— сказал Джордж Мун.— Для нее это, должно быть, ужасный удар. Его, кажется, похоронили в море?

— Да. Так написано в газете.

Новость дошла до Тимбанга накануне вечером. Сингапурские газеты доставили в шесть вечера, как раз когда люди отправились в клуб, и многие не принимались за бридж или бильярд, пока не просмотрят их. Вдруг один из присутствующих воскликнул:

— Подумать только. Вы видали? Нобби умер.

— Это какой же Нобби? Неужто Нобби Кларк?

В колонке общих новостей был абзац из трех строчек:

«Господа Стар, Моусли и К° получили каблогранму, сообщившую, что по дороге на родину внезапно скончался и похоронен в море Хэрولد Кларк из Тимбанга Бату».

Один из мужчин подошел к говорящему, взял у него из рук газету и недоверчиво прочел сообщение своими глазами. Другой уставился в газету через его плечо. Те, что просматривали в эти минуты газету, нашли нужную страницу и прочли эти три бесстрастные строчки.

— Господи!— воскликнул один.

— Это ж надо, такой несчастный жребий,— сказал другой.

— Он когда уезжал, был совершенно здоров.

Дрожь смятения пронзила этих крепких, веселых, беспечных людей, и на миг каждый вспомнил, что и он смертен. Собирались и еще члены клуба, и когда входили, взбодренные мыслью о предстоящей им в шесть выпивке и предвкушением встречи с приятелями, их встречали печальной вестью.

— Подумать только, вы слышали? Бедняга Нобби Кларк умер.

— Не может быть? Какой ужас!

— Вот ведь горькая участь.

— Да уж.

— А до чего человек хороший.

— Из самых лучших.

— Я как увидел это в газете,— случайно наткнулся, меня прямо страх взял.

— Еще бы.

Кто-то с газетой в руках прошел в бильярдную, чтобы сообщить печальное известие. Там играли решающую пар-

тию на кубок принца Уэльского. Августейшая персона преподнесла его клубу по случаю своего посещения Тимбанга-Белуда. Том Саффари играл против человека по имени Дуглас, а резидент, который проиграл предыдущую партию, сидел с десятком других членов клуба и наблюдал за игрой. Маркер монотонно объявлял счет. Вошедший обождал, пока Том Саффари разбил фигуру, и тогда сказал ему:

— Послушайте, Том, умер Нобби.

— Нобби? Неправда.

Тот протянул ему газету. Его окружили трое или четверо, хотели прочесть сообщение вместе с ним.

— Боже милостивый!

На миг воцарилось испуганное молчание. Газету передавали из рук в руки. Странное дело, никто не хотел верить известию, пока сам не убеждался, что это написано черным по белому.

— Вот ведь жалость.

— Как это ужасно для его жены,— сказал Том Саффари.— Она ведь ждет ребенка. А моя-то бедняжка как расстроится.

— Он уехал всего две недели назад.

— И был тогда совершенно здоров.

— В расцвете сил.

Толстое румяное лицо Саффари сразу как-то обмякло, он подошел к столу, рывком схватил стакан, отхлебнул.

— Послушайте, Том,— сказал его противник.— Хотите отменить партию?

— Да нет, пожалуй,— взгляд Саффари скользил по доске, он увидел, что идет впереди.— Нет, давайте доведем до конца. А потом пойду домой, скажу Вайолет.

Дуглас ударил и получил четырнадцать очков. У Тома Саффари был легкий шар, но он его не забил. Дуглас опять сделал удар, но безрезультатно, а Саффари опять не положил в лузу, хотя обычно при таком расположении непременно получал очко. Он чуть нахмурился. Он знал, что друзья поставили на него, и изрядно, и ему совсем не хотелось их подвести. Дуглас получил двадцать два очка. Саффари осушил стакан и усилием воли, что было совершенно очевидно сочувствующим наблюдателям, взял себя в руки и сосредоточился на игре. Он сделал неловкий удар по восемнадцатому, ему чуть не удалась длинная Дженни, и друзья наградили его аплодисментами. Сейчас он был в себе уверен и начал быстро набирать очки. Дуглас тоже был в форме, и теперь все взволнованно

свели за поединком. Те несколько минут, пока мысли Саффари были далеко, дали возможность его противнику сравнять счет, и теперь была ровная игра.

— Даю фору двести тридцать пять,— выкрикнул малаец на своем странном, ломаном английском.— Против двухсот двадцати восьми. Играем.

Дуглас получил восемь очков, а следующим ударом Саффари довел свой счет до двухсот сорока. Он перекрыл противнику удар двумя шарами. Дуглас промахнулся и дал Саффари следующий ход.

— Даю фору двести сорок три,— крикнул маркер.— Против двухсот сорока одного.

Саффари сделал три красивых удара от красного шара и закончил игру.

— Победа что надо! — закричали наблюдатели.

— Поздравляю, старик,— сказал Дуглас.

— Поди-ка,— позвал Саффари слугу,— спроси джентльменов, что они будут пить. Бедняга Нобби.

Он тяжело вздохнул. Принесли напитки, и Саффари подписал счет. Потом сказал, что будет двигаться. За бильярдный стол уже встали двое других.

— Молодцом себя повел,— сказал кто-то, когда дверь за Саффари закрылась.

— Да, выдержки ему не занимать.

— Я сперва подумал, его игра пошла прахом.

— Сумел взять себя в руки. Он знал, на него многие поставили. И не хотел их подвести.

— Такое узнать — это ведь не шутка.

— Они были близкие друзья. Интересно, отчего он умер.

— Что да, то да.

Вспоминая эту сцену, когда, услышав о смерти друга, Том Саффари держался с таким самообладанием, Джордж Мун недоумевал, что сейчас это явно дается ему так тяжело. Быть может, как случается на войне, раненый сознает, что ранен, лишь спустя некоторое время, вот и Саффари ощутил, какой тяжкий удар для него смерть Нобби Кларка, лишь когда имел время подумать. Однако резиденту казалось, что предоставленный самому себе Саффари, скорее всего, вел бы себя как обычно, искал утешения в компании приятелей, но его жена из традиционного чувства приличия настояла, что не годится им идти на праздничный обед, постигшее их горе требует на время избегать праздничных сборищ. Вайолет Саффари была славная женщина, небольшого росточка, года на четыре моложе мужа; не сказать,

чтоб хорошенькая, но смотреть на нее было приятно, и одевалась она всегда к лицу; приветливая, похожая на настоящую леди и скромная. В ту пору, когда резидент был в дружеских отношениях с четой Саффари, он время от времени у них обедал. Он находил ее милой, но не очень интересной. Разговаривали они лишь о предметах самых заурядных. В последнее время он редко ее видел. Если им случалось встретиться, она дружески ему улыбалась, а он иногда говорил ей несколько любезных слов. Но всякий раз ему стоило труда узнать ее, не спутать с полудюжиной других дам из их колонии, с которыми положение обязывало его поддерживать отношения.

Похоже, Саффари сказал все, ради чего пришел, и резидент недоумевал, почему он все сидит и не уходит. Саффари странно обмяк на стуле, и ощущение было такое, будто позвоночник перестал его поддерживать и грузные тела обвисли и придавили его к стулу. Он тупо уставился на письменный стол, что отделял его от резидента. Глубокий вздох вырвался у него.

— Постарайтесь не принимать это так близко к сердцу, Саффари,— сказал Джордж Мун.— Вы ведь знаете, как ненадежна жизнь на Востоке. Приходится мириться с потерей тех, кого любишь.

Взгляд Саффари медленно оторвался от стола и устремился прямо в глаза Джорджа Муна. Не мигая, они уставились друг на друга. Джорджу Муну нравилось, когда люди смотрели ему в глаза. Возможно, ему казалось, что, когда он вот так приковывает их взгляд, они в его власти. И тут из глаз Саффари выкатились две слезы и медленно поползли по щекам. Вид у Саффари был непривычно недоуменный. Что-то его перевернуло. Смерть? Нет. Что-то, что казалось ему хуже смерти. Он был испуган. Выражение лица у него было такое, что на ум сразу приходил несправедливо побитый пес.

— Не в том дело,— запинаясь, пробормотал он.— С этим я бы справился.

Джордж Мун промолчал. Холодно, спокойно не отпускал взгляд этого крупного, сильного человека и ждал. И с удовольствием сознавал, что происходящее нисколько его не волнует. Саффари с тревогой посмотрел на бумаги на столе.

— Боюсь, я злоупотребляю вашим временем.

— Нет, я сейчас ничем не занят.

Саффари взглянул в окно. Его чуть передернуло.казалось, он в нерешительности.



— Не знаю, можно ли спросить у вас совета,— произнес он наконец.

— Разумеется,— ответил резидент, и тень улыбки промелькнула на его лице.— На то я сюда и посажен, это одна из моих обязанностей.

— У меня дело сугубо личное.

— Можете быть совершенно спокойны. Что бы вы ни сказали, все останется между нами.

— Нет, в этом я не сомневаюсь, но дело деликатное, говорить о нем не больно ловко, и видеть вас после этого разговора мне было бы трудно. Но вы завтра уезжаете, и это все упрощает, если вы понимаете, что я имею в виду.

— Вполне понимаю.

Саффари заговорил, негромко, угрюмо, словно стыдясь, и говорил с трудом, как человек, не привыкший к длинным речам. Он возвращался к уже сказанному, повторялся. Путался. Начиная длинную, искусно составленную фразу и вдруг обрывал ее — не знал, как закончить. Джордж Мун слушал молча, лицо — ничего не выражающая маска, курил и отрывал взгляд от Саффари, только чтобы взять из стоящей перед ним сигаретницы сигарету и зажечь от той, которую уже докуривал. Он слушал, а перед его мысленным взором всплывал однообразный круг жизни этого управляющего плантацией. То был словно беззвучный аккомпанемент, когда в четкий ритм мелодии неожиданно вплетаются намеренные диссонансы.

При том, по какой низкой цене шел сейчас каучук, нельзя было пренебречь малейшей экономией, и хотя плантация у Тома Саффари была большая, ему приходилось заниматься делами, для которых в лучшие времена у него имелся помощник. Он вставал затемно и шел к месту сбора всех кули. Едва рассветет и можно разобрать в списке имена рабочих, он выкликал их одного за другим и иных бранил за то, как они отзывались, и по группам рассылал на работы. Одних — устанавливать трубки для подсочки, других — полоть, а остальных — прочищать канавы. Потом он возвращался домой, плотно завтракал, закурил трубку и опять уходил — поглядеть, что делается в поселке, где живут кули. Повсюду ползала малышня, резвились ребяташки. На обочинах дорожек тамильские женщины готовили все тот же неизменный рис. Их черная кожа лоснится, тела у всех задрапированы в тускло-красный хлопок, в волосах — золотые украшения. Иные хороши собой, отличная осанка, тонкие черты лица и маленькие изящные руки; но все равно они ему отвратительны. Из поселка он отправлял-

ся в свой обычный обход. Высокие деревья, рядами высаженные на его плантации, вызвали дивное ощущение ухоженного леса из немецкой сказки. Земля была густо усыпана засохшими листьями. Тома Саффари сопровождал надсмотрщик-тамилец — длинные черные волосы его на затылке собраны в пучок, он босой, в саронге и баджу, с броским кольцом на пальце. Саффари шагал тяжело, перепрыгивал через канавы, что встречались на пути, весь покрывался потом. Он осматривал деревья, хотел убедиться, что подсочка сделана правильно, а когда подходил к работающему кули, смотрел, как сделан срез, и если находил его чересчур глубоким, разругав работника, лишал его половины дневного заработка. Если какое-либо дерево уже не надо было подсаживать, он велел надсмотрщику убрать чашу и проволоку, которой она была привязана к стволу. Полольщики работали группами.

В полдень Саффари возвращался к себе в бунгало и пил пиво — льда в доме не водилось, и потому пиво было тепловатое. Он сбрасывал шорты цвета хаки, фланелевую рубашку, тяжелые башмаки и носки — все, в чем обходил плантацию, — брился и мылся. За второй завтрак садился в саронге и баджу. Полчасика отдыхал, а потом шел в свою контору и работал там до пяти; выпивал чаю и шел в клуб. Часов в восемь возвращался к себе в бунгало, обедал, а полчаса спустя ложился спать.

Но вчера вечером он вернулся домой, как только кончил партию на бильярде. В тот день Вайолет не пошла с ним в клуб. Пока Кларки не отправились в Англию, они все вместе встречались в клубе каждый вечер, а теперь она стала ходить реже. Говорила, что нет там никого, с кем было бы особенно интересно, а все тамошние разговоры она уже слышала и сыта ими по горло. В бридж она не играет, а слоняться по клубу, пока играет он, скучно. Она сказала Тому, чтоб не беспокоился, что оставляет ее одну. Дома полно дел.

Увидав, как рано он возвратился, она решила, что он пришел рассказать о своей победе. От такого вот небольшого триумфа он, точно мальчишка, бывал исполнен самодовольства. Она знала, добрый и простодушный, он радуется своей победе не только за себя, но и потому, что думает, будто и ей доставил удовольствие. Очень мило с его стороны, что он поспешил домой, чтобы, не откладывая, сообщить о своем выигрыше.

— Ну, как прошел матч? — спросила она, как только он ввалился в гостиную.

— Я победил.

— Легко?

— Ну, не так легко, как хотел бы. Я его чуть опередил, а потом застрял, у меня руки опустились, а ты ведь знаешь, какой он, Дуглас, ничем особым не поразит, зато упорный, и он меня нагнал. Тогда я себе сказал — если не взбодрюсь, мне крышка. И вот мне один раз повезло, другой, а там... короче говоря, я обогнал его на семь очков.

— Замечательно! Теперь, должно быть, выиграешь кубок, да?

— Ну, мне осталось еще три партии. Если выйду в полуфинал, чем черт не шутит.

Вайолет улыбнулась. Ведь Том надеялся, что ей очень интересно, и она очень старалась показать ему, что так оно и есть.

— А ты почему тогда расстроился?

Лицо у него потемнело.

— Я потому сразу и пришел. Я бы отменил игру, только подумал, не годится подводить всех, кто на меня поставил. Не знаю, как и сказать тебе, Вайолет.

Она бросила на него вопрошающий взгляд.

— Почему, в чем дело? Неужто дурные вести?

— Хуже некуда. Нобби умер.

Долгую минуту она не отрывала от него взгляда, и ее лицо, ее милое, дружелюбное личико осунулось от ужаса. Поначалу казалось, будто она никак не может понять услышанное.

— Ты что хочешь сказать? — воскликнула она.

— Это напечатано в газете. Он умер на корабле. Его похоронили в море.

Она вдруг пронзительно вскрикнула и рухнула на пол. Она была в глубоком обмороке.

— Вайолет, — закричал он, опустился на колени, приподнял ее голову. — Эй, кто там, ко мне!

Слуга, испуганный потрясенным голосом хозяина, вбежал в комнату, и Саффари велел принести бренди. С трудом он влил немного меж сомкнутых губ жсны. Вайолет открыла глаза, но едва вспомнила, что произошло, они потемнели от муки. Лицо скривилось, будто у ребенка, готового разразиться слезами. Саффари взял ее на руки и положил на софу. Она отвернулась.

— Ох, Том, это неправда. Этого не может быть.

— Боюсь, что правда.

— Нет, нет, нет.

Она разразилась слезами. Судорожно рыдала. Слушать

эти рыдания было нестерпимо. Саффари не знал, что делать. Он опустился на колени подле жены, пытался ее успокоить. Он хотел ее обнять, но она неожиданно его оттолкнула.

— Не тронь меня! — крикнула она, да так резко, что он испугался.

Он поднялся с колен.

— Постарайся не слишком расстраиваться, дорогая, — сказал он. — Я знаю, это страшный удар. Нобби был один из самых лучших.

Она зарылась лицом в подушки и горько плакала. Тому Саффари было мучительно видеть, как ее сотрясают неудержимые рыдания. Она была вне себя. Он ласково положил руку ей на плечо.

— Милая, не надо так убиваться. Тебе это вредно.

Она стряхнула его руку.

— Оставь меня, Бога ради, в покое! — воскликнула она. — О, Хэл, Хэл. — Саффари никогда не слышал, чтобы она так называла его умершего друга. Конечно, его имя Хэролд, но все звали его Нобби. — Как мне быть? — причитала Вайолет. — Я этого не вынесу. Не вынесу я.

Теперь Тома Саффари взяла досада. Такое горе — это уж чересчур. Обычно Вайолет куда сдержанней. Видно, все этот проклятый климат. Женщины тут делаются нервные, легко теряют равновесие, Вайолет уже четыре года не была дома. Теперь она больше не прятала лицо. Лежала на самом краю софы, того гляди упадет, от нестерпимого горя рот раскрыт, из глаз, что уставились в одну точку, катятся слезы. Совсем стала как безумная.

— Выпей еще немного бренди, — сказал он. — Постарайся взять себя в руки, дорогая. Сколько ни убивайся, Нобби все равно уже ничем не помочь.

Вайолет вдруг вскочила и оттолкнула его. И с ненавистью на него посмотрела.

— Уйди, Том. Не нужно мне твое сочувствие. Я хочу побыть одна.

Она метнулась к креслу, опустилась в него. Откинула голову, несчастное побелевшее лицо исказила мучительная гримаса.

— Ох, как несправедливо, — простонала она. — Что теперь будет со мной? О Господи, лучше б мне умереть.

— Вайолет.

В его голосе прорвалась боль. Он тоже был на грани слез. Она нетерпеливо топнула ногой.

— Уходи. Я же сказала, уходи.

Он вздрогнул. Уставился на нее, и вдруг у него перехватило дыхание. По его массивному телу прошла дрожь. Он шагнул к ней, остановился, но все не спускал глаз с ее белого, исполненного мукой лица; он так на нее смотрел, будто что-то в ее лице его ошеломило. Потом опустил голову и, ни слова не сказав, вышел из комнаты. Прошел в маленькую гостиную в глубине дома и тяжело опустился на стул. Сидел и думал. Скоро прозвучал гонг, призывающий к ужину. А он ведь не искупался. Кинул взгляд на руки. Нет, не до мытья ему. И медленно направился в столовую. Велел слуге пойти сказать Вайолет, что ужин готов. Слуга вернулся и объявил, что она ничего не желает.

— Ну ладно. Тогда подавай мне,— сказал Саффари.

Он налил Вайолет тарелку супу, положил тост, а когда подали рыбу, положил кусок на тарелку для нее и велел слуге ей отнести. Но тот мигом все принес обратно.

— Мэм говорит, она ничего не хочет,— сказал он.

Саффари ужинал один. Ел по привычке, вяло, одно знакомое блюдо за другим. Выпил бутылку пива. Когда кончил, слуга принес ему чашку кофе, и он закурил черуту. Он сидел не шевелясь, пока не кончил. Он думал. Наконец встал и вернулся на большую веранду, где они всегда сидели. Вайолет, по-прежнему съездившись, полулежала в кресле. Глаза ее были закрыты, но, услышав его шаги, она их открыла. Он взял легкий стул и сел напротив нее.

— Кем был тебе Нобби, Вайолет? — спросил он.

Она чуть вздрогнула. Отвела глаза, но ничего не сказала.

— Я никак не возьму в толк, почему ты пришла в такое отчаяние, услышав о его смерти.

— Это ужасный удар.

— Конечно. Но как-то странно, чтобы из-за смерти просто друга вот так совсем потерять себя.

— Не понимаю, что ты говоришь,— сказала Вайолет.

Она с трудом произносила слова, он видел, губы ее дрожат.

— Я никогда не слышал, чтобы ты называла его Хэл. Даже его жена звала его Нобби.

Вайолет ничего не ответила. Глаза ее, полные горя, уставились в пустоту.

— Посмотри на меня, Вайолет.

Она слегка повернула голову и равнодушно взглянула на него.

— Он был твоим любовником?

Она закрыла глаза, и из них покатались слезы. Рот был странно искривлен.

— Тебе совсем нечего сказать?

Она помотала головой.

— Ты должна мне ответить, Вайолет.

— Я не в силах сейчас с тобой разговаривать,— простонала она.— Как можно быть таким бессердечным?

— Боюсь, я не очень способен сейчас тебе сочувствовать. Нам надо поговорить начистоту теперь же. Дать тебе воды?

— Ничего я не хочу.

— Тогда ответь на мой вопрос.

— Ты не имеешь права спрашивать об этом. Это оскорбительно.

— Ты что ж, хочешь, чтоб я поверил, будто такая женщина, как ты, услышав о смерти знакомого, способна упасть в обморок, а придя в себя, станет так вот заливаться слезами? В такое отчаяние не впадают даже из-за смерти своего единственного ребенка. Когда мы узнали о смерти твоей матери, ты, конечно, плакала, и я знаю, тебе было очень горько, но ты искала утешения у меня и говорила, ты не знаешь, что бы стала делать без меня.

— Но сегодня это такая ужасная неожиданность.

— Смерть твоей матери тоже была неожиданной.

— Ну конечно же, я очень любила Нобби.

— Как именно любила? Так любила, что, услышав о его смерти, сама не ведала, что говоришь? Почему ты сказала, что это несправедливо? Почему сказала: «Что теперь будет со мной?»

Вайолет глубоко вздохнула. Повернула голову в одну сторону, в другую, точно овца, которая старается не угодить в руки мясника.

— Не думай, будто я совсем уж дурак, Вайолет. Говорю тебе, не может быть, чтобы ты была так потрясена, если б между вами ничего не было.

— Ну хорошо, если ты так думаешь, зачем же тогда мучишь меня вопросами?

— Дорогая моя, что толку недоговаривать. Так дело не пойдет. Как по-твоему, что чувствую я?

При этих словах она посмотрела на него. До этой минуты она совсем о нем не думала. Слишком была поглощена своим несчастьем, не до него ей было.

— Я так устала,— со вздохом сказала она.

Он наклонился к ней, схватил за руку.

— Говори! — потребовал он.

— Ты делаешь мне больно.

— А как насчет меня? Думаешь, мне не больно? Как ты можешь заставлять меня так страдать?

Он отпустил ее руку, вскочил. Прошел в другой конец веранды, потом обратно. Казалось, при этом в нем вдруг вспыхнула ярость. Он схватил Вайолет за плечи, рывком поставил на ноги. Стал ее тряссти.

— Если не скажешь мне правду, я тебя убью,— кричал он.

— Хорошо бы,— сказала она.

— Он был твоим любовником?

— Да.

— Шлюха ты.

Одной рукой все удерживая ее, чтобы она не могла ускользнуть, Саффари другой рукой размахнулся и несколько раз подряд с силой ударил ее по щеке. Ее бросило в дрожь, но она не уклонилась, не вскрикнула. А он все бил и бил. И вдруг почувствовал, что она вся как-то отяжелела, отпустил ее, и она без чувств рухнула на пол. Страх объял его. Он наклонился, тронул ее, позвал по имени. Она не шевельнулась. Он поднял ее, снова усадил в кресло, из которого так недавно вырвал. Бренди, что слуга принес, когда она в первый раз потеряла сознание, был еще в комнате, и Саффари взял его, попытался силой влить ей в рот. Она поперхнулась, бренди разлился по подбородку, по шее. На бледном лице одна щека наливалась лиловато-синим от ударов его тяжелой руки. Короткий вздох вырвался у нее, и она открыла глаза. Поддерживая ее голову, он опять поднес стакан к ее губам, и она чуть пригубила спиртного. Саффари смотрел на нее тревожно и покаянно.

— Прости меня, Вайолет. Я этого не хотел. Мне отчаянно стыдно. Никогда не думал, что могу пасть так низко, ударить женщину.

Она была сейчас невероятно слаба, и лицо болело, однако губы тронула улыбка. Бедняга Том. Это так на него похоже. Он так чувствовал. А как возмущен он был бы, если б его спросили, почему мужчине нельзя ударить женщину. Но Саффари, увидев этот проблеск улыбки, счел его доказательством ее неукротимого мужества. Господи, какая же она отважная, эта маленькая женщина. Да, жертвой ее не назовешь.

— Дай мне сигарету,— сказала Вайолет.

Саффари достал из портсигара сигарету и сунул ей в рот. Раза три безуспешно щелкнул зажигалкой. Ничего не получалось.

— Не лучше ли взять спичку? — сказала Вайолет.

На миг она забыла о надрывающем душу горе, и ей стало даже забавно. Саффари взял со стола коробок и поднес к ее сигарете зажженную спичку. Вайолет затянулась, и ей сразу же стало легче.

— Просто не могу тебе сказать, как мне стыдно, Вайолет, — вымолвил Саффари. — Я сам себе противен, не знаю, что на меня нашло.

— Да ничего страшного. Все вполне естественно. Почему бы тебе не выпить? Тебе полегчает.

Ни слова не говоря, сгорбленный, словно его придавила тяжелая ноша, он выпил бренди с содовой. Потом, все так же молча, сел. Вайолет смотрела, как поднимаются голубые колечки дыма.

— Как ты поступишь? — спросила она наконец.

Он устало, безнадежно пожал плечами.

— Поговорим об этом завтра. Сегодня тебе это не под силу. Как докуришь сигарету, тебе лучше лечь в постель.

— Ты уже достаточно знаешь, лучше узнать все.

— Не сейчас, Вайолет.

— Нет, сейчас.

Она заговорила. Саффари слышал слова, но едва ли их понимал. Ощущение у него было такое, как у человека, который любовно построил себе дом и думал прожить в нем всю жизнь, а потом вдруг видит, как, непонятно почему, являются мастера по сносу домов и кирками и тяжелыми молотами начинают крушить комнату за комнатой, пока не превращают прекрасное жилище в груды обломков. Самое ужасное, что все это дело рук Нобби Кларка. Они с Нобби приехали в эти места на одном корабле и поначалу работали на одной плантации. Молодого управляющего, у которого служили, они прозвали холуем, и на улицах Сингапура он выделялся фетровой шляпой и пальто цвета хаки с подвернутыми на запястьях рукавами. Зеленые юнцы, они слонялись по улицам, во все глаза смотрели по сторонам, китайцы навязывали им всякий хлам, привезенный из Бирмингема, они его покупали, думая, что это восточные диковинки, и посылали домой; сидели в гостиных дешевых отелях, без конца пили виски с содовой и, проведя вечер в кино, нанимали рикш и катили на ночь в китайский квартал. Том и Нобби были неразлучны. Том — крупный, могучий, простодушный, честный, трудолюбивый; Нобби постоянно отпускал шуточки, а Том хохотал. Первым женился Том. Он познакомился с Вайолет, когда поехал в отпуск. Дочь врача, убитого на войне, она была гувернанткой в семье, живущей там же, где отец Тома. Том влюбился в нее



оттого, что она совсем одна на свете, и его нежное сердце сжималось при мысли о том, какая ее ожидает бесцветная жизнь. А Нобби женился оттого, что женился Том и без друга он чувствовал себя совсем потерянным, женился на девушке, которая приехала на Восток провести зиму у родственников. В ту пору Инид Кларк была очень хорошенькая блондиночка с круглым личиком, она еще и сейчас хорошенькая, хотя ее кожа, прежде чистая и свежая, поблекла; но уж очень у нее маленький, незначительный, безвольный подбородок и в профиле что-то овечье. У нее красивые соломенные волосы, совсем прямые — в тамошней влажной жаре волнистость не удерживалась — и зеленовато-голубые глаза. Хотя было ей всего двадцать шесть, она уже выглядела усталой. Через год после свадьбы она родила, но ребенок прожил всего два года. Как раз тогда Том Саффари сумел устроить Нобби управляющим на соседней плантации. Мужчинам приятно было возобновить былую дружбу, а их жены, которые до тех пор едва знали друг друга, скоро подружились. Они обменивались выкройками, одалживали друг другу слуг и посуду, когда собирали гостей. Все четверо виделись каждый день. Всюду ходили вместе. Том Саффари считал, что это замечательно.

Странное дело, но три года Вайолет и Нобби Кларк состояли в таких вот дружеских отношениях и только потом влюбились друг в друга. Ни он, ни она не подозревали о приближающейся любви. Ни он, ни она не подозревали, что удовольствие, которое они испытывают в обществе друг друга, свидетельствует не просто о случайной дружбе двух людей, оказавшихся вместе волею обстоятельств. Бывая вместе, они испытывали не какую-то особую радость, но безмятежное чувство покоя. Если в какой-нибудь день они не виделись, обоим делалось как-то скучно. Казалось, это вполне естественно. Ведь они вместе играли в разные игры. Вместе танцевали. Подшучивали друг над другом. Можно было подумать, будто чувство открылось им случайно. В тот вечер они все вместе потанцевали в клубе и возвращались в автомобиле Саффари. Им было по пути, и Том хотел довести Кларков до дому. Вайолет и Нобби сидели на заднем сиденье. Нобби изрядно выпил, но пьян не был. Руки их нечаянно соприкоснулись, и Нобби задержал ее руку в своей. Оба молчали. Оба очень устали. Но опьянение от выпитого шампанского тотчас прошло, Нобби совершенно отрезвел. Оба мигом поняли, что отчаянно влюблены друг в друга, и притом осознали, что никогда еще не были влюблены. У бунгало Кларков Том сказал:

— Пересядь лучше ко мне, Вайолет.

— Я ужасно устала, не могу шевельнуть пальцем,— сказала она.

В ногах была такая слабость, что она подумала, ей никогда не встать.

Когда наавтра они встретились, ни один не помянул о случившемся, но оба знали: произошло неизбежное. Они вели себя друг с другом как обычно,— и так продолжалось многие недели,— но чувствовали, что все теперь по-иному. Наконец естество взбунтовалось, и они стали любовниками. Но им казалось, что в их отношениях плотские узы играют самую последнюю роль, и в самом деле, их образ жизни не давал возможности, разве что очень изредка, наслаждаться близостью. Довольно того, что они виделись каждый день, правда не наедине; взгляд, прикосновение руки убеждали их в любви, а только это и было им важно. Плотская близость всего лишь подтверждала союз их душ.

О Томе и Инид они разговаривали редко. Если им случалось посмеяться над слабостями тех двоих, они смеялись беззлобно. Если б они дали себе труд задуматься, им, наверно, показалось бы странно, что два человека, которых они постоянно видят, вовсе перестали для них существовать. Отношения с ними превратились в ту жизненную рутину, которую никто не замечает, вроде бритья, одеванья и еды трижды в день. Они испытывали к ним нежность. Даже старались их порадовать, как постарались бы порадовать прикованного к постели инвалида,— ведь счастье их так велико, и любовь велит делать все возможное для тех, кому не так повезло в жизни. Угрызений совести они не испытывали. Слишком они были поглощены друг другом, не до раскаяния им было. Приятно однообразную жизнь, какой они жили так долго, теперь захватывающе озарила красота.

А потом произошло событие, которое их ужаснуло. Компания, в которой служил Том, вступила в переговоры, намереваясь купить огромные каучуковые плантации на Британском Северном Борнео, и предложила Тому стать там управляющим. Работа несравненно лучше нынешней, с окладом выше, а поскольку там у него будут помощники, ему не придется работать так напряженно, как сейчас. Саффари принял предложение. И Кларку и Саффари предстоял отпуск, и обе пары загодя условились ехать домой вместе. Уже были забронированы места на пароходе. Теперь все изменилось. Том не сможет уехать, по крайней мере, ближайший год. К тому времени, когда Кларки вернутся, чета Саффари уже поселится на Борнео. Вайолет и Нобби,

не долго думая, решили, что выход только один. Пока они были уверены, что можно видаться постоянно, пока чувствовали, что впереди бездна времени, а будущее освещено счастьем, которому нет пределов, они готовы были оставить все как есть, несмотря на препятствия, что мешали наслаждаться любовью, но они и помыслить не могли о расставанье. Было решено бежать, и тогда вдруг показалось, что каждый день, отделяющий их от времени, когда они смогут быть вместе всегда и постоянно,— потерянный день. Любовь приобрела иной облик. Всепоглощающая страсть охватила их и уже не оставляла никаких чувств для других. Боль, которую они неизбежно причинят Тому и Инид, уже мало их заботила. Это неприятно, но неизбежно. Они все тщательно продумали. Нобби отправится в Сингапур якобы по делу, а Вайолет скажет Тому, что хочет провести недельку у друзей, живущих в той же стороне, и присоединится к нему. Они отправятся на Яву, а оттуда пароходом в Сидней. В Сиднее Нобби постарается подыскать работу. Когда Вайолет сказала Тому, что Маккензи пригласили ее провести у них несколько дней, он обрадовался.

— Это замечательно. Тебе, по-моему, необходимо переменить обстановку, дорогая,— сказал он.— Мне кажется, у тебя последнее время немного усталый вид.

Он нежно погладил ее по щеке. Его нежность болью отозвалась у нее в сердце.

— Ты всегда так добр ко мне, Том,— сказала она, и ее глаза вдруг наполнились слезами.

— Ну а как иначе я могу к тебе относиться. Такую, как ты, не сыщешь в целом свете.

— Ты был счастлив со мной эти восемь лет?

— Безгранично.

— Ну, это что-нибудь да значит, верно? Этого у тебя уже никто не отнимет.

Он легко утешится, уверяла она себя, такой уж он человек. Он любит женщин и, вновь оказавшись свободным, довольно скоро найдет женщину, на которой захочет жениться. И с новой женой будет так же счастлив, как был с ней. Возможно, он женится на Инид. Инид существо несамостоятельное, такие ее раздражали, и ей казалось, та не способна на глубокое чувство. Самолюбие Инид будет уязвлено, а сердце не разобьется. Но сейчас, когда жребий брошен, все оговорено и назначен день, ее охватила тревога. Нахлынуло раскаяние. Вот если б можно было не причинять такое ужасное горе этим двум людям, Вайолет дрогнула.

— Мы очень хорошо тут жили, Том,— сказала она.— Не знаю даже, разумно ли все это покидать. Мы меняем уверенность неизвестно на что.

— Детка моя дорогая, такой случай выпадает один раз на миллион, и денег гораздо больше.

— Деньги еще не все. Счастье важнее.

— Знаю, но с какой стати нам думать, будто на Борнео мы не будем так же счастливы, как здесь. К тому же у меня нет выбора. Я себе не хозяин. Правление хочет, чтобы я поехал, вот и все.

Вайолет вздохнула. У нее тоже не было выбора. Она пожалала плечами. Это отвратительно — причинять людям боль, но иногда ничего не поделаешь. Для нее Том значил не больше, чем случайный попутчик в поездке, который с ней вежлив; и было бы нелепо требовать, чтобы она пожертвовала жизнью ради него.

Кларки должны были отплыть в Англию через две недели, и это определило день побега. Время шло. Вайолет была беспокойна и взволнованна. С радостью почти болезненной она предвкушала покой, который обретет, когда они окажутся на борту парохода и заживут жизнью, которая наконец-то принесет ей истинное счастье.

Она принялась паковать вещи. У друзей, к которым она якобы ехала, постоянно бывают гости, и под этим предлогом она могла взять с собой особенно много нарядов. Отправляясь она на следующий день. Было одиннадцать часов утра, и Том обходил свои владения. Вошел слуга, сказал, что ее хочет видеть миссис Кларк, и ее окликнула Инид. Вайолет поспешно закрыла чемодан и вышла на веранду. К ее удивлению, Инид кинулась к ней, обняла за шею, стала горячо целовать. Вайолет взглянула на Инид — ее обычно бледные щеки пылали, глаза сияли. Она разразилась слезами.

— Инид, милая, что случилось? — воскликнула Вайолет.

В первую минуту она испугалась, что Инид все знает. Но Инид взволновалась от радости, ни ревность, ни гнев тут были ни при чем.

— Я прямо от доктора Хэрроу,— сказала она.— Я ничего не хотела говорить. У меня уже были две-три ложные тревоги, но на этот раз он говорит, все в порядке.

У Вайолет похолодело на сердце.

— Ты что хочешь сказать? Уж не собираешься ли ты...

Она посмотрела на Инид, и та кивнула.

— Да, он говорит, на этот раз никаких сомнений. Он говорит, уже, по крайней мере, три месяца. Ох, Вайолет, я безумно счастлива.

Инид опять кинулась в объятия Вайолет и со слезами прильнула к ней.

— Ну, милая, не плачь.

Вайолет чувствовала, что сама побледнела как смерть, понимала, что, если тотчас не возьмет себя в руки, она упадет в обморок.

— Нобби знает?

— Нет, я ни слова ему не сказала. Он прежде так был разочарован. Когда малыш умер, он весь исстрадался. И так хотел, чтобы я еще родила.

Вайолет заставила себя произносить все положенные слова, но Инид не слушала. Ей хотелось подробно рассказать про свои надежды и страхи, про все симптомы, а потом про разговор с доктором. Она говорила и говорила без умолку.

— Когда ты думаешь сказать Нобби? — спросила наконец Вайолет. — Сейчас, когда придет домой?

— Ох, нет, с обхода он возвращается усталый и голодный. Подожду до вечера, скажу после обеда.

Вайолет не дала прорваться раздражению; Инид хочет торжественно преподнести новость и выбирает подходящую минуту, но ведь это так естественно. Удачно, можно будет первой увидеть Нобби. Едва отделавшись от Инид, она ему позвонила. Она знала, что по дороге домой он всегда заглядывает в свою контору, и передала, чтобы он ей позвонил. Вот только боязно, успеет ли позвонить до возвращения Тома, но попробовать стоило. Раздался звонок, а Том еще не вернулся.

— Хэл?

— Да.

— Ты можешь быть в хижине в три?

— Да. Что-нибудь случилось?

— Скажу, когда увидимся. Не волнуйся.

Она повесила трубку. Хижиной называли хибарку на плантации Нобби, куда она могла без труда дойти и где они изредка встречались. В рабочее время мимо проходили кули, там не уединишься, но все же можно было увидеться и перекинуться несколькими словами, не вызывая лишних толков. В три Инид будет отдыхать, а Том — работать у себя в конторе.

Когда Вайолет вошла, Нобби уже был в хижине. Он взглянул на нее испуганно и удивленно.

— Вайолет, у тебя в лице ни кровинки.

Она протянула ему руку. Они никогда не знали, кто видит их в эту минуту, и потому вели себя так, будто находятся на людях.

— Утром ко мне зашла Инид. Тебе она скажет вечером. Я подумала, надо тебя предупредить. Она ждет ребенка.

— Вайолет!

Он смотрел на нее с ужасом. Она заплакала. Они никогда не разговаривали об его отношениях с женой и ее с мужем. Этой темы они избегали — слишком она была болезненна для обоих. Вайолет понимала, что за жизнь она ведет; она удовлетворяла желания мужа; но оттого, что никакой радости ей это не доставляло, она с чисто женским странным равнодушием не придавала этому значения; но почему-то убедила себя, что у Хэла в семье по-другому. Сейчас он интуитивно почувствовал, как глубоко ранило ее то, что она узнала. Он попытался оправдаться.

— Милая, я ничего не мог поделать.

Вайолет тихонько плакала, а он смотрел на нее несчастными глазами.

— Я понимаю, это выглядит ужасно, — сказал он. — Но что мне было делать? Ведь не было у меня никаких причин...

Вайолет не дала ему договорить.

— Я тебя не виню. Это было неизбежно. Просто я дура, оттого мне так и больно.

— Милая!

— Надо было нам уехать два года назад. Какое это было безумие — думать, будто так может продолжаться без конца.

— Ты уверена, что Инид не ошиблась? Однажды, три или четыре года назад ей уже показалось, будто она в положении.

— О нет, не ошиблась. Она страшно счастлива. Она говорит, ты безумно хотел ребенка.

— Это прямо как гром среди ясного неба. Я все никак не могу опомниться.

Вайолет посмотрела на него. Он не отрывал встревоженных усталых глаз от усыпанной листьями земли. Она чуть улыбнулась.

— Бедный Хэл, — с глубоким вздохом произнесла Вайолет. — Ничего тут не поделаешь. Теперь нам конец.

— Что это значит? — воскликнул он.

— Ох, мой дорогой, теперь ты ведь не можешь ее оставить, верно? Раньше все бы еще ничего. Она бы погоревала, а потом утешилась. Но теперь все иначе. Для женщины это и так не самое легкое время. Месяц за месяцем ей неможется. Ей нужна любовь. Забота. Бросить ее, чтобы она со всем этим справлялась одна, было бы ужасно. Нельзя поступить так не по-людски.

— Ты что же, хочешь, чтобы я вернулся с ней в Англию? Вайолет скорбно кивнула.

— Нам повезло, что ты уезжаешь. Когда ты уедешь и мы не будем каждый день видеться, станет легче.

— Но я уже не могу без тебя.

— О нет, можешь. Должен. Я могу. А мне будет трудней, чем тебе, ведь я остаюсь и лишаюсь всего.

— Ох, Вайолет, это невысказано.

— Дорогой мой, что толку спорить. Как только она мне сказала, я поняла, что это означает для нас. Потому и хотела увидеть тебя раньше, чем она. Боялась, как бы от неожиданности ты не проговорился. Ты ведь знаешь, я люблю тебя больше всего на свете. Она никогда не делала мне ничего дурного. Не могу я сейчас отнять тебя. Нам с тобой не повезло, но так уж оно случилось, не посмею я совершить такую подлость.

— Лучше б мне умереть,— простонал он.

— От этого ни ей, ни мне не будет легче,— улыбнулась Вайолет.

— Ну, а в будущем? Мы что ж, так навсегда и загубим свою жизнь?

— Боюсь, что да. Дорогой мой, это звучит жестоко, но, я думаю, рано или поздно мы с этим свыкнемся. Человек со всем свыкается.

Она глянула на свои часики.

— Мне пора. Скоро вернется Том. В пять все встречаемся в клубе.

— Мы с Томом собирались играть в теннис.— Нобби жалобно на нее посмотрел.— Ох, Вайолет, мне так тяжело.

— Знаю. Мне тоже. Но от разговоров легче не станет.

Она протянула ему руку, но он обнял ее и поцеловал, и когда она высвободилась, ее щеки были мокры от его слез. Но сама она уже не могла плакать, в таком она была отчаянии.

Десять дней спустя Кларки отплыли в Англию.

Джордж Мун слушал все, что смог ему рассказать Саффари, и со свойственной ему невозмутимостью и беспристрастием размышлял о том, как странно, что этих заурядных людей, живущих столь однообразной жизнью, может сотрясать такая трагедия. Кто бы мог подумать, что, когда Вайолет Саффари, такая скромная и сдержанная, сидит в клубе и листает иллюстрированные газеты или болтает с приятельницами за стаканом лимонного сока, у нее болит душа из-за любви к этому ничем не примечательному человеку? Джорджу Муну вспомнилось, что он

видел Нобби в клубе вечером накануне отплытия. Казалось, он в весьма приподнятом настроении. Приятели завидовали ему — ведь он отправляется домой. Те, которые недавно вернулись из Англии, советовали ни в коем случае не пропустить представление в Павильоне. Вино лилось рекой. Хотя резидента и не пригласили на прощальный вечер, который чета Саффари устраивала в честь Кларков, но он хорошо знал, как там все было — отличное угощение, сердечность, подшучиванье, а после обеда завели патефон и все пошли танцевать. Каково было Вайолет и Кларку танцевать друг с другом, думал резидент. При мысли об отчаянии, что, должно быть, наполняло их сердца, когда они делали вид, будто им безумно весело, он испытывал странное смятение.

И в душе всплывали воспоминания о собственном прошлом. Лишь очень немногие знали эту историю. Ведь случилось все двадцать пять лет назад.

— Как вы собираетесь поступить, Саффари? — спросил он.

— Да вот хотел услышать ваш совет. Теперь, когда Нобби умер, я не знаю, что будет с Вайолет, если я с ней разведусь. Я подумал, может, надо, чтобы не я развелся с Вайолет, а она со мной.

— Значит, вы хотите развестись?

— Да, иначе я не могу.

Джордж Мун закурил следующую сигарету, проследил взглядом за колечками дыма, что уплывали вверх...

— Вам известно, что я был женат?

— Да, по-моему, я об этом слышал. Вы, кажется, вдовец?

— Нет, я развелся с женой. У меня двадцатисемилетний сын. Он фермер в Новой Зеландии. В последний раз я видел свою жену, когда был в Англии в отпуске. Мы встретились в театре. Не сразу узнали друг друга. Она со мной заговорила. Я пригласил ее позавтракать в «Баркли».

Джордж Мун усмехнулся про себя. Он пришел в театр один. Давали музыкальную комедию. Он оказался рядом с крупной, полной, темноволосой женщиной, которую, кажется, когда-то видел, но как раз начался спектакль, и он больше не посмотрел в ее сторону. Когда после окончания первого действия занавес опустился, она посмотрела на него блестящими глазами и заговорила:

— Как поживаешь, Джордж?

Он вздрогнул. То была его жена. Она держалась очень уверенно, дружелюбно и чувствовала себя вполне непринужденно.



— Давненько мы не виделись,— сказала она.

— Да.

— Как тебе живется?

— О, прекрасно.

— Ты теперь, наверно, резидент. Ты все еще служишь, да?

— Да. К сожалению, скоро уйду на пенсию.

— Почему? Ты неплохо выглядишь.

— Возраст подходит. Считают, что превращусь в старого хрыча и не будет от меня никакого толку.

— Тебе повезло, ты не растолстел. А я ужасна, да?

— Не сказать, что ты чахнешь.

— Знаю. Я полная, и все время полнею. Ничего не могу с собой поделать, и поесть люблю. Не могу устоять против сливок и хлеба и картошки.

Джордж Мун засмеялся, но не тому, что она сказала, а своим мыслям. За прошедшие годы ему не раз казалось, что они могут случайно встретиться, но он вовсе не думал, что произойдет это вот так. Когда спектакль окончился и она с улыбкой пожелала ему доброй ночи, он сказал:

— Ты не против как-нибудь со мной позавтракать?

— Охотно.

Они договорились о дне и в условленное время встретились. Джордж Мун знал, что она вышла замуж за человека, из-за которого он с ней развелся, и по тому, как она одета, рассудил, что она отнюдь не в стесненных обстоятельствах. Они пили коктейль. Она с удовольствием ела hors-d'oeuvres. Ей было пятьдесят, ни больше, ни меньше, но возраст явно ее не тяготил. От нее веяло весельем, беспечностью, она была находчива, разговорчива и смеялась искренним, заразительным смехом толстой женщины, которая дала себе волю. Не зная он, что ее семья уже сотню лет находится на государственной службе в Индии, он бы подумал, что она в прошлом хористочка. Не сказать, что она была развязна, но чувствовалась некая экзальтация, наводящая на мысль о театральных подмостках. Она нисколько не смущалась.

— Ты так больше и не женился, да? — спросила она.

— Да.

— Жаль. Ведь если первый брак оказался неудачным, это не значит, что и второй будет такой же.

— Мне нет нужды спрашивать тебя, счастлива ли ты.

— Мне не на что жаловаться. По-мосму, у меня счастливый характер. Джим всегда добр ко мне. Знаешь, он уже на пенсии, и мы живем за городом, и я обожаю Бетти.

— Кто это Бетти?

— Да моя дочка. Два года назад она вышла замуж. В любой день могу стать бабушкой.

— Это здорово старит.

Она рассмеялась.

— Бетти двадцать два. Очень мило, Джордж, что ты пригласил меня позавтракать. В конце концов, было бы глупо таить обиду из-за того, что случилось так давно.

— Просто идиотизм.

— Мы не подходили друг другу, и нам повезло, что мы поняли это не слишком поздно. Я, конечно, была глупая, но ведь совсем молоденькая. А ты тоже был счастлив?

— Я добился успеха.

— Что ж, наверно, по твоим понятиям, это и есть счастье.

Он улыбнулся, по достоинству оценив ее пронизательность. А она не стала больше возвращаться к этим давним делам и с легкостью заговорила о другом. Хотя по решению суда сын остался на попечении Джорджа Муна, он не мог его воспитывать и позволил матери его забрать. В восемнадцать лет мальчик эмигрировал и теперь уже женат. Сын был чужой Джорджу Муну, и, встретясь они на улице, отец бы его не узнал. Слишком он был искренним человеком и потому не стал притворяться, будто особенно им интересуется. Все-таки немного они о нем поговорили, а потом заговорили об актерах и спектаклях.

— Что ж,—наконец сказала она,—мне пора бежать. Мы чудно с тобой позавтракали. Было интересно повидаться, Джордж. Большущее тебе спасибо.

Он посадил ее в такси и, так и не надев шляпы, зашагал в одиночестве по Пикадилли. Бывшая жена показалась ему очень приятной и забавной, и он засмеялся, подумав, что в свое время был безумно в нее влюблен. И когда он вновь заговорил с Томом Саффари, губы его все еще улыбались.

— Когда я на ней женился, она была чертовски хорошенькая. В этом вся беда. Хотя не будь она такая красотка, я бы, конечно, на ней не женился. Мужчины вились вокруг нее, как мухи над банкой меда. У нас бывали чудовищные ссоры. И наконец я ее застал на месте преступления. И конечно развелся с ней.

— Конечно.

— Да, но теперь я понимаю, это была ужасная глупость.— Резидент подался вперед.— Дорогой мой Саффари, теперь я понимаю, что имей я хоть каплю разума, я должен был бы закрыть на это глаза. Она бы угомонилась и была мне отличной женой.

Как хотелось бы ему втолковать своему посетителю, что, когда он сидел и болтал с этой веселой, уютной, добродушной женщиной, он думал о том, до чего нелепо было поднимать такой шум из-за того, что сейчас казалось сущим пустяком.

— Но нельзя же забывать о собственной чести, — сказал Саффари.

— Бог с ней, с честью. Нельзя забывать о собственном счастье. При чем тут честь, если ваша жена легла с другим? Мы с вами не рыцари и не испанские гранды. Моя жена мне нравилась. Я не говорю, будто я не имел других женщин. Имел. Но было у нее что-то такое, чего мне не могла дать никакая другая женщина. Ну и дурак я был, отбросил то, чего желал больше всего на свете, только потому, что не мог владеть этим единолично!

— От кого-кого, а от вас я таких слов не ждал.

Джордж Мун слегка улыбнулся смущению, которое так ясно читалось на толстом встревоженном лице Саффари.

— Вероятно, вам никто еще не говорил голой правды, — парировал он.

— Вы что ж, хотите сказать, что, если бы можно было к этому вернуться, вы поступили бы по-другому?

— Будь мне опять двадцать семь, наверно, я сваял бы такого же дурака, как тогда. Но обладай я своим сегодняшним разумом, я бы вот что сделал, если бы узнал, что жена мне неверна. То же, что вы вчера вечером: как следует бы ее отделал — и этим удовлетворился.

— Вы хотите, чтобы я простил Вайолет?

Резидент медленно покачал головой и улыбнулся.

— Нет. Вы ее уже простили. Я просто советую вам не поступать во вред самому себе.

Саффари бросил на него беспокойный взгляд. Его смущило, что этот холодный, педантичный человек сумел разглядеть в его сердце чувства, которые ему самому казались такими неестественными, что он и думать о них не хотел.

— Вы не знаете, как у нас обстояло дело, — сказал он. — Мы с Нобби были точно братья. Я устроил его на это место. Он всем мне обязан. И если бы не я, Вайолет могла бы на всю жизнь остаться в гувернантках. Мне казалось, это такое жалкое существование, ну как было ее не пожалеть. Понимаете, сперва мною руководила именно жалость. Вам не кажется, что это уж чересчур — ведешь себя с людьми самым порядочным образом, а они из кожи лезут вон, чтоб тебе напакоstitь? Ужасная неблагодарность.

— Ох, дорогой мой, не ждите благодарности. Ни у кого нет на нее никакого права. В конце концов, вы совершаете

добро, потому что вам это доставляет удовольствие. Это самый бескорыстный из всех видов счастья. Ожидать в таком случае признательности, право, уже слишком. Если вы ее получаете, что ж, считайте, вы получили добавочный дивиденд на акции, по которым дивиденд уже получен; замечательно, но только не думайте, будто вам это положено по праву.

Саффари нахмурился. Он был озадачен. Не укладывалось у него в голове, что Джордж Мун так чудно думает о вещах, о которых, кажется, не может быть двух мнений. В конце концов, всему есть предел. Иными словами, если у вас есть хоть какое-то представление о приличиях, следует вести себя как положено порядочному человеку. Нельзя забывать о собственном достоинстве. Занятно, что не кто иной, а Джордж Мун привел основания, которые кажутся невероятно соблазнительными, побуждают поступить так, как ты и сам рад бы, если б только знал, как это сделать,— да, черт возьми, именно так. Джордж Мун, он, конечно, странная личность. Никто никогда до конца его не понимал.

— Нобби Кларк умер, Саффари. Теперь что ж к нему ревновать. Никто, кроме вас, вашей жены и меня, ничего не знает, а я завтра навсегда покину эти места. Почему бы вам не забыть прошлые обиды?

— Вайолет только станет меня презирать.

Джордж Мун улыбнулся, и в необычной для этого строгого, чопорного лица улыбке была своеобразная мягкость.

— Я совсем мало ее знаю. Но всегда находил, что она очень славная. Неужели она такая дрянь?

Саффари вздрогнул и покраснел до ушей.

— Она само великодушие. Это я дрянь, что так о ней сказал.— Голос его прервался, он всхлипнул.— Видит Бог, я хочу поступить правильно.

— Правильно — значит по-доброму.

Саффари закрыл лицо ладонями. Он не мог совладать с охватившим его волнением.

— Мне кажется, я отдаю, отдаю без конца, а мне хоть бы кто-нибудь сделал что-то хорошее. Что из того, что мое сердце разбито, все равно надо жить.— Он провел рукой по глазам и глубоко вздохнул.— Прошу ее.

Джордж Мун задумчиво на него посмотрел.

— На вашем месте я не поднимал бы из-за этого большого шума,— сказал он.— Вам следует вести себя очень осмотрительно. Ей тоже многое придется вам простить.

— Это оттого, что я ее побил? Я знаю, это было ужасно.

— Вовсе нет. Это ей на благо. Я имел в виду другое. Вы ведете себя очень великодушно, старина, а вы знаете, от человека требуется бездна такта, чтобы люди сумели простить ему великодушие. Женщины, к счастью, легкомысленны и очень скоро забывают о дарованных им милостях. Не то жизнь с ними была бы, разумеется, невозможна.

Саффари взирал на него, раскрыв рот.

— Право слово, я еще таких, как вы, не видывал, — сказал он. — Иногда вы твердый как сталь, а потом так заговариваете, ну прямо по-человечески, и только подумаешь, мол, неверно я о нем судил, все-таки есть у него сердце, вы такое отколете, только диву даешься. Наверно, это и называется циник.

— Я не слишком об этом задумывался, — улыбнулся Джордж Мун. — Но если глядеть правде в лицо и не возмущаться, как бы неприятна она ни была, и принимать человеческую натуру такой, какая она есть, улыбаться, когда она нелепа, и печалиться, не впадая в крайности, когда жалка, значит быть циником, тогда, вероятно, я циник. По большей части человеческая натура и нелепа, и одновременно жалка, но если жизнь научила тебя терпимости, ты находишь в ней больше такого, что вызывает у тебя улыбку, а не слезы.

Когда Том Саффари ушел, резидент не спеша закурил сигарету, как он полагал, последнюю перед завтраком. То была новая для него роль — мирить разгневанного супруга с согрешившей женой, и роль эту он воспринял не без удовольствия. Он продолжал размышлять о человеческой натуре. Холодная улыбка пробегала по его бледным губам. Ему вспомнилось, как он, бывало, стоял на берегу высохших ручьев и с интересом наблюдал за илистыми прыгунами. Иной раз их там бывали сотни, от крохотных, в два-три дюйма длиной, до жирных и крупных, с его ступню. Были они цвета ила, в котором живут. Сидят и смотрят на тебя большими круглыми глазами и вдруг рывком зарываются в свою норку. Поразительное это зрелище, когда они стремительно и плавно несутся на своих плавниках по илу. Им нет числа. Со страхом ощущаешь, будто сам ил каким-то таинственным образом оживает, и древний ужас леденит кровь, когда вспоминалось, что лишь подобные существа, но только гигантские и чудовищные, и населяли землю в незапамятные времена. Что-то было в этих прыгунах жуткое, но и забавное. Уж очень они напоминали людей. Так занятно бывало постоять там полчаса, глядя на их прыжки.

Джордж Мун снял с крючка тропический шлем и вполне довольный жизнью вышел на солнце.

---

## СУМКА С КНИГАМИ<sup>1</sup>

Одни читают для пользы, что похвально; другие для удовольствия, что безобидно; немало людей, однако, читают по привычке, и это занятие я бы не назвал ни безобидным, ни похвальным. К этим последним отношусь, увы, и я. Разговор, в конце концов, нагоняет на меня скуку, от игры я устаю, а собственные мысли рано или поздно истощаются, хотя, как утверждают, размышления — лучший отдых благоразумного человека. Тут-то я и хватаюсь за книгу, как курильщик опиума за свою трубку. Чем обходиться без чтения, я уж лучше буду читать каталог универмага «Арми энд нейви» или справочник Брэдшо<sup>2</sup>; кстати, каждое из этих изданий доставило мне немало приятных часов. Было время — я не выходил из дому без букинистического списка в кармане. По мне, так нет чтения лучше. Разумеется, такое пристрастие к чтению столь же предосудительно, как тяга к наркотику, и я не перестаю дивиться глупости великих книголюбцев, которые только потому, что они книголюбцы, презирают людей необразованных. Разве, с точки зрения вечности, достойнее прочесть тысячу книг, чем поднять плугом миллион пластов? Давайте признаемся, что мы так же не можем без книги, как иные без опиума, — кому из нашей братии неизвестно беспокойство, чувство тревоги и раздражительность, когда приходится подолгу обходиться без чтения, и вздох облегчения, что исторгает из груди вид странички печатного текста? — и будем по этой причине

---

<sup>1</sup> © Перевод. Куняева Н., 1992 г.

<sup>2</sup> Издававшийся в 1839—1961 гг. справочник расписания движения на железных дорогах Великобритании.

столь же смиренны, как несчастные рабы иглы или пивной кружки.

Подобно наркоману, который не выходит из дому без запаса губительного зелья, я ни за что не отправлюсь в поездку без достаточного количества печатной продукции. Книги мне так необходимы, что когда в поезде я не вижу ни одной в руках моих дорожных попутчиков, то прихожу в самое настоящее смятение. Когда же мне предстоит долгое путешествие, проблема эта вырастает до грозных размеров. Жизнь меня научила. Как-то раз из-за болезни я на три месяца застрял в горном городишке на Яве. Я прочитал все привезенные с собой книги и, не зная голландского языка, был вынужден закупить школьных хрестоматий, по которым смышленные яванцы, очевидно, изучают французский и немецкий. Так по прошествии двадцати пяти лет я перечитал холодные пьесы Гёте, басни Лафонтена, трагедии нежного и строгого Расина. Я преклоняюсь перед Расином, но должен признать, что читать его пьесы одну за другой требует от человека, которого донимают кишечные колики, известных усилий. С той поры я положил за правило брать в поездки самый большой мешок, предназначенный для грязного белья, доверху набитый книгами на любой случай и настроение. Он весит добрую тонну, под его тяжестью спотыкаются и крепкие носильщики. Таможенники косятся на него с подозрением, однако в испуге отшатываются, стоит мне их заверить, что в нем одни только книги. Неудобство сумки заключается в том, что именно то издание, которое мне вдруг приспичило почитать, обязательно оказывается на самом дне, и чтобы до него добраться, приходится вываливать на пол все содержимое. Но если б не это, я бы, скорее всего, так никогда и не узнал необычную историю Оливии Харди.

Я путешествовал по Малайе, останавливаясь там и тут — на неделю-другую, если имелась гостиница или пансион, и на пару дней, если нужно было пожить в доме местного плантатора или начальника округа, чьим гостеприимством мне не хотелось злоупотреблять; в тот раз я оказался в Пенанге. Это милый городок, и тамошняя гостиница, на мой взгляд, вполне приемлема, но приезшему там решительно нечем заняться, так что я тяготился избытком свободного времени. В один прекрасный день я получил письмо от человека, которого знал только по имени. То был Марк Фезерстоун, исполнявший обязанности Резидента — сам Резидент отбыл в отпуск — в местечке под названием Тенгара. Там правил султан, и, как сообщалось в письме,

должно было состояться какое-то празднество на воде, которое, считал Фезерстоун, могло бы меня заинтересовать. Он писал, что будет рад принять меня на несколько дней. Я телеграфировал, что с удовольствием принимаю приглашение, и на другой день выехал поездом в Тенгару. Фезерстоун встретил меня на перроне. На вид я бы дал ему около тридцати пяти. Он был высокий красивый мужчина с выразительными глазами и сильными суровым лицом. У него были жесткие черные усы и кустистые брови. Он больше походил на военного, чем на государственного чиновника. В своих белых парусиновых брюках и белом тропическом шлеме он выглядел просто великолепно, одежда сидела на нем точно влитая. Держался он несколько скованно, что было странно для такого рослого парня с решительной повадкой, но я отнес это исключительно за счет того, что общество загадочного создания, именуемого писателем, ему в новинку, и понадеялся в скором будущем вернуть ему непринужденность.

— Мои слуги присмотрят за вашим барангом<sup>1</sup>, — сказал он, — а мы отправимся в клуб. Дайте им ключи — они выложат вещи к нашему возвращению.

Я объяснил, что багажа у меня много и проще взять самое необходимое, а все прочее оставить на вокзале, но он не хотел об этом и слышать:

— Ни малейшего неудобства. В моем доме будет надежнее. Баранг всегда лучше держать при себе.

— Хорошо.

Я вручил ключи и квитанцию на чемодан и сумку с книгами слуге-китайцу — тот стоял чуть позади моего любезного хозяина. За вокзалом нас ждал автомобиль, в него мы и сели.

— Вы играете в бридж? — спросил Фезерстоун.

— Играю.

— Мне казалось, большинство писателей не играют.

— Не играют, — согласился я. — В литературной среде бытует мнение, что игра в карты — признак слабоумия.

Клуб представлял собой бунгало, милое, хотя и незамысловатое; имелись большая читальня, бильярдная на один стол и комнатка для игры в карты. В самом клубе мы застали двух-трех человек, читавших английские еженедельники; на теннисных кортах играли несколько пар. На веранде было больше народа — сидели, курили, наблюдали за игрой, потягивали напитки. Фезерстоун представил меня

---

<sup>1</sup> Вещи, багаж (*малайск.*).



двум или трем. Однако смеркалось, и скоро игроки едва различали мяч. Фезерстоун предложил одному из тех, с кем только что меня познакомил, сыграть роббер. Тот согласился. Фезерстоун поискал глазами четвертого партнера. Его взгляд остановился на мужчине, сидевшем несколько на отшибе. Фезерстоун подумал — и пошел к нему. Они обменялись парой слов, подошли к нам, и мы проследовали в игорную. Поиграли мы хорошо. Я не очень присматривался к своим случайным партнерам. Они заказали мне выпивку за свой счет, и я, как временный член клуба, в свою очередь заказал им за собственный. Порции, впрочем, были весьма умеренные, виски на три четверти с содовой, и за два часа, что мы провели за картами, каждый получил возможность продемонстрировать свою щедрость, не злоупотребляя спиртным. Когда до закрытия клуба времени осталось как раз на последний роббер, мы перешли на джин с горькой настойкой. Роббер закончился, Фезерстоун затребовал клубный реестр и внес в него выигрыши и проигрыши.

— Что ж, мне пора, — произнес, поднимаясь, один из игравших.

— Назад в Имение? — спросил его Фезерстоун.

— Ага, — кивнул тот и обратился ко мне: — Вы завтра придете?

— Надеюсь.

— Заеду за моей благоверной и — домой обедать, — сказал другой.

— Нам тоже пора собираться, — заметил Фезерстоун.

— Я готов, дело за вами, — ответил я.

Мы сели в машину и отправились к Фезерстоуну. Ехали довольно долго. Было темно, я мало что видел, но понял, когда дорога довольно круто пошла в гору. Так мы добрались до Резиденции.

Вечер как вечер, приятный, но отнюдь ничем не отмеченный, таких вечеров у меня бывало предостаточно, всех не упомнить. И от этого вечера я тоже не ждал ничего особенного.

Фезерстоун провел меня в гостиную — уютную, но несколько заурядную. В ней стояли большие плетеные кресла, обитые кретоном, стены были сплошь увешаны фотографиями в рамках, на столах и столиках валялись какие-то бумаги, журналы, служебные отчеты вперемешку с трубками, желтыми коробками сигарет из беспримесного табака и розовыми жестянками с табаком. На вытянутых в ряд книжных полках беспорядочно теснились книги с корешками, попорченными плесенью и полчищами белых муравь-

ев. Фезерстоун провел меня в отведенную мне комнату и удалился со словами:

— Перед обедом выпьем джину с настойкой. За десять минут управитесь?

— Без труда,— ответил я.

Я принял ванну, переоделся и спустился на первый этаж. Фезерстоун, управившийся еще быстрее, принялся готовить джин, заслышав мои шаги на деревянной лестнице. Мы пообедали. Поговорили. Празднество, посмотреть которое меня пригласили, должно было состояться через день, но Фезерстоун сообщил, что еще до этого меня примет султан, о чем он договорился.

— Милейший старик,— сказал он.— Да и во дворце есть на что поглядеть.

После обеда мы еще немного побеседовали; Фезерстоун завел граммофон, мы пролистали последние прибывшие из Англии еженедельники. Потом отправились спать. Фезерстоун заглянул узнать, не нужно ли мне чего.

— Боюсь, книг вы с собою не прихватили,— заметил он,— а то мне решительно нечего читать.

— Книг?— воскликнул я и указал на сумку. Она стояла стоймя, раздувшись с одного бока, так что напоминала наклюкавшегося горбатого карлика.

— Так у вас там книги? А я думал— грязное белье, складная койка или еще что. Найдется что-нибудь для меня?

— Выбирайте сами.

Слуги Фезерстоуна развязали сумку, но, убоявшись зрелища, которое им открылось, этим и ограничились. За долгие годы я наловчился ее вытряхивать. Завалив ее на бок, я вцепился в кожаное дно и попятился, потянув за собой мешок, который отдал свое содержимое. Книги потоком хлынули на пол. Фезерстоун взирал на это с обалделым видом.

— Неужто вы и вправду возите с собою всю эту библиотеку? Надо же так обмануться!

Он наклонился и стал быстро переворачивать книги, проглядывая названия. Книги были самые разные. Томики стихов, романы, философские монографии, критические исследования (говорят, книги о книгах бесполезны, но читать их, ей-богу, весьма приятно), жизнеописания, исторические сочинения; книги для чтения во время болезни и книги для чтения, когда живой и бодрый ум жаждет вступить в единоборство с какой-нибудь проблемой; книги, которые всю жизнь хотелось прочесть, да дома за суетой все было недосуг; книги для чтения в плавании, когда без определенной

цели бороздишь на «диком» пароходике проливы, и книги для непогоды, когда каюта скрипит сверху донизу и приходится привязывать себя к койке, чтобы не вывалиться; книги, отобранные исключительно из-за толщины, — их берут с собой, когда надо путешествовать налегке, и книги, которые можно читать, когда нет сил читать все другое. В конце концов, Фезерстоун отобрал недавно вышедшее жизнеописание Байрона.

— Ага, что я вижу? — сказал он. — Помнится, я читал на нее рецензию.

— Думаю, очень хорошая книга, — ответил я. — Сам я еще не успел прочесть.

— Можно взять? На эту ночь мне ее, во всяком случае, хватит.

— Конечно. Берите любые.

— Спасибо, мне этой достаточно. Что ж, спокойной вам ночи. Завтрак в половине девятого.

Когда я утром спустился в гостиную, старший слуга сообщил, что Фезерстоун уже с шести часов за работой, но скоро будет. Дождаясь его прихода, я разглядывал книги на полках.

— Я вижу, у вас тут отменное собрание изданий по бриджу, — заметил я, когда мы сели за завтрак.

— Да, покупаю все, что выходит. Я очень увлекаюсь бриджем.

— Парень, с которым мы вчера играли, — хороший игрок.

— Это который? Харди?

— Имен не помню. Не тот, который собирался захватить за женой, а другой.

— Да, Харди. Поэтому я его и пригласил. Он в клубе нечастый гость.

— Надеюсь, сегодня он явится.

— Я бы не стал на это рассчитывать. У него плантация миль за тридцать от города. Не так уж и близко, чтобы приезжать только ради партии в бридж.

— Он женат?

— Нет. То есть да. Но жена его — в Англии.

— Мужчинам на этих плантациях без жен, верно, страшно одиноко, — заметил я.

— Ну, ему еще не так худо, как некоторым. Не думаю, чтобы он очень рвался бывать в обществе. В Лондоне, по-моему, ему было бы так же одиноко.

В том, как произнес это Фезерстоун, я уловил нечто не совсем обычное. Самим своим тоном он словно захлопнул

какую-то дверцу — иначе я просто не могу описать. Кажется, он разом от меня отдалился. Такое впечатление, будто ты шел поздним вечером по улице, на минутку остановился полюбоваться в освещенное окно на уютную комнату, и тут невидимая рука внезапно опустила штору. Его глаза, обычно откровенно смотревшие в лицо собеседнику, на этот раз уклонились от моего взгляда, и у меня сложилось впечатление, что гримаса боли, мелькнувшая у него на лице, мне отнюдь не привиделась. Оно на миг передернулось, как бывает при невралгии. Мне ничего не приходило на ум, да и Фезерстоун тоже молчал. Я понял, что его мысли отвлеклись от меня и от темы нашего разговора и обратились к вещам, мне неизвестным. Вскоре, однако, он с едва заметным, но явным вздохом встрепенулся и усилием воли взял себя в руки.

— После завтрака я сразу отправлюсь на службу, — сказал он. А вы чем намерены заняться?

— Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь. Буду себе бездельничать. Прогуляюсь до центра, погляжу на город.

— Достопримечательностей у нас раз-два и обчелся.

— Тем лучше, а то они мне до смерти надоели.

Как выяснилось, вида с Фезерстоуновой веранды мне хватило на все утро. А вид был из самых волшебных, что мне доводилось встречать в ФМШ<sup>1</sup>. Дом стоял на вершине холма, к нему прилегал большой ухоженный сад. Огромные деревья придавали саду удивительное сходство с английским парком. В нем имелись обширные газоны, на которых темнокожие худые тамилы косили траву; их движения были неспешны и прекрасны. Дальше, у подножия холма, плотные джунгли шли до берега широкой извилистой быстротекущей реки, а за ней, насколько хватало взгляда, простирались поросшие лесом холмы Тенгары. Контраст между аккуратными газонами с их неожиданно английским обликом и дикими зарослями джунглей, начинающихся сразу за садом, приятно будоражил воображение. Я сидел, читал и покуривал. Моя профессия — узнавать все о людях, и я задался вопросом: как этот мирный вид, исполненный тем не менее трепетного и темного смысла, действует на Фезерстоуна, у которого он постоянно перед глазами? Фезерстоун видит его во всякое время суток — на рассвете, когда поднимающийся от реки туман окутывает его в призрачные покровы; в полуденном блеске; наконец, в тот сумеречный час, когда

---

<sup>1</sup> Федеративные Малайские Штаты.

тени крадучись выползают из джунглей, как воинство, осторожно пробирающееся по неразведанной местности, и вот уже укрывают безмолвием ночи зеленые газоны, и громады цветущих деревьев, и гордые плюмажи кассии. И я задумался: а что, если нежный и, однако же, странно зловещий характер ландшафта, незаметно для самого Фезерстоуна накладываясь на его психику и одиночество, наделил его некими тайными свойствами, так что жизнь, которую он ведет, — жизнь способного администратора, спортсмена и доброго малого, — время от времени кажется ему не совсем настоящей? Я улыбнулся своим фантазиям, ибо наша беседа вечером накануне решительно не обнаружила в нем какого-либо томления духа. На меня он произвел впечатление славного малого. Он учился в Оксфорде и состоял в хорошем лондонском клубе. Похоже, он придавал большое значение своему положению в обществе. Он был джентльменом и не забывал о том, что принадлежит к лучшему сословию, чем большинство англичан, с которыми его сводила жизнь. Столовую его дома украшали разнообразные серебряные кубки, из чего я заключил, что он преуспевает в спортивных играх. Он играл в теннис и на бильярде. На отдыхе он занимался охотой и, заботясь о фигуре, соблюдал тщательную диету. Он охотно распространялся о том, чем займется, уйдя на пенсию. Его мечтой было зажить сельским джентльменом: домик в Лестершире, пара охотничьих собак и соседи, с которыми можно сыграть в бридж. Будет идти пенсия, есть и собственный небольшой капитал. Пока же он упорно трудился, выполняя свою работу если не с блеском, то, безусловно, со знанием дела. Не сомневаюсь, что в глазах начальства он был надежным исполнительным работником. Шаблон, по которому его скроили, был мне слишком знаком, чтобы вызывать особенный интерес. Он напоминал собою роман — тщательно написанный, правдивый и дельный, однако несколько заурядный, а потому похожий на что-то уже читанное, так что вяло перелистываешь страницы, зная, что книга не удивит, не затронет души.

Но люди непредсказуемы, и глуп тот, кто внушает себе, будто ему ведомо, на что человек способен.

Днем Фезерстоун повел меня к султану. Нас встретил один из его сыновей, застенчивый улыбающийся юноша, выполняющий при отце роль адъютанта. На нем был изящный синий костюм, однако поверх брюк он носил саронг<sup>1</sup> из желтой материи в белый цветочек, на голове — красную

---

<sup>1</sup> Национальная одежда, представляющая собой кусок ткани, обернутый вокруг бедер в виде юбки ниже колен.

феску, а на ногах — американские ботинки из грубой кожи. Построенный в мавританском стиле, дворец напоминал большой кукольный дом и был выкрашен в ярко-желтый цвет — цвет правящей династии. Нас провели в просторную комнату, обставленную мебелью, какую можно найти в английском пансионе на море, только кресла были обиты желтым шелком. На полу лежал брюссельский ковер, а на стенах висели фотографии в роскошных позолоченных рамах, запечатлевшие султана при отправлении различных государственных обязанностей. В стеклянной горке было выставлено большое собрание вышивок тамбуром, все с изображением разнообразных фруктов. Вошел султан, с ним несколько человек свиты. На вид ему было около пятидесяти; низенький и полный, он был облачен в брюки и китель из материи в крупную белую и желтую клетку; вокруг талии у него был обмотан очень красивый желтый саронг, на голове — белая феска. В больших красивых глазах светилось дружелюбие. Нам было предложено: из напитков — кофе, из еды — сладкие пирожки, а из курева — манильские сигары. Беседа текла непринужденно, поскольку султан был очень приветлив. Он сказал мне, что ни разу не был в театре и не брал в руки карт, ибо крепок в вере, что у него четыре жены и двадцать четыре ребенка. Единственное, что, видимо, омрачало ему счастье, так это требования элементарной порядочности, из-за которых ему приходилось делить свое время поровну между женами. Он сказал, что с одной час тянется месяц, тогда как с другой пробегает за пять минут. Я заметил, что профессор Эйнштейн — или Бергсон? — высказал аналогичное наблюдение о природе времени, более того, именно в связи с таким вопросом дал человечеству хороший повод для размышлений. Вскоре мы откланялись. На прощанье султан подарил мне несколько изящнейших белых тросточек из ротанга<sup>1</sup>.

Вечером мы отправились в клуб. Когда мы вошли, один из наших вчерашних партнеров поднялся из кресла.

— Не сгонять ли робберок? — предложил он.

— А где наш четвертый? — спросил я.

— Ну, тут у нас найдутся ребята, которые будут только рады сыграть.

— А тот, с кем мы играли вчера?

Я забыл его имя.

— Харди? Его нет.

— Ждать его не имеет смысла, — сказал Фезерстоун.

---

<sup>1</sup> Род пальм.

— Он редко бывает в клубе. Я удивился, когда вчера его увидел.

Не знаю, почему у меня возникло впечатление, что за словами обычными этими двоих крылось какое-то непонятное замешательство. На меня Харди не произвел впечатления, я даже не помнил, как он выглядит. Четвертый партнер за карточным столом, только и всего. У меня возникло чувство, что они настроены против него. Впрочем, меня это не касалось, и я охотно уселся играть с партнером, которого мы заполучили на этот вечер. На сей раз игра пошла куда веселее. Все напропалую поддразнивали друг друга. Играли не так сосредоточенно, как накануне, много смеялись. Я не мог понять, то ли мои партнеры стали меньше стесняться неожиданно свалившегося на них гостя, то ли общество Харди их как-то сковывало. В половине девятого встали из-за стола, и мы с Фезерстоуном возвратились домой обедать.

После обеда мы развалились в креслах и закурили по манильской сигаре. Беседа почему-то не клеилась. Я затронул одну за другой несколько тем, но так и не сумел расшевелить Фезерстоуна. Мне было подумалось, что за последние сутки он высказал все, что имел сказать. Несколько обескураженный, я замолк. Молчание затягивалось, и снова, не знаю почему, мне почудился в нем скрытый смысл, которого я не мог уловить. Мне стало слегка не по себе. У меня возникло странное чувство, порой возникающее у человека в пустой комнате,—будто кроме него тут есть кто-то еще. До меня дошло, что Фезерстоун сверлит меня настойчивым взглядом. Я сидел у лампы, а он в тени, поэтому я не видел выражения его лица. У него, однако, были большие блестящие глаза, и в полумраке они, казалось, тускло светились. Мне они напомнили новые пуговицы на ботинках, мерцающие в отраженном свете. Я не понимал, почему он на меня так уставился. Посмотрев на него и перехватив его упорно прикованный ко мне взгляд, я слабо улыбнулся.

— Любопытная книжка—та, что вы мне вчера одолжили,—неожиданно произнес он; я не мог не заметить, что его голос звучал не вполне естественно. Слова срывались у него с губ, словно кто-то выталкивал их изнутри.

— А, жизнь Байрона?—заметил я беззаботно.—Вы уже прочитали?

— Большую часть. Читал до трех утра.

— Мне говорили, что написано крепко. Правда, до такой степени Байрон меня едва ли интересует—слишком

много в нем было страшно посредственного. Даже как-то неудобно за него становится.

— Много, по-вашему, правды в том, что рассказывали о нем и его сестре?

— Августе Ли? Я мало что знаю об этом. «Астарту»<sup>1</sup> я не читал.

— Как вы думаете, они и в самом деле любили друг друга?

— Вероятно. Недаром молва утверждает, что она была единственной женщиной, которую он любил по-настоящему.

— Вы способны это понять?

— Честно говоря, нет. Не то чтобы меня это сильно шокировало, просто кажется очень противоестественным. Впрочем, «противоестественный», пожалуй, не то слово. Такое недоступно моему разумению. Я не способен настроиться таким образом, чтобы подобное представилось возможным. Вы понимаете, о чем я,—именно так писатель постигает своих героев, ставя себя на их место, заражаясь их чувствами.

Я видел, что выражаю свои мысли неясно, но я пытался описать ему ощущения, работу подсознания, которые прекрасно знал по личному опыту, однако не мог точно определить ни одним из известных мне слов. Я продолжал:

— Она, понятно, была ему лишь сводной сестрой, но привычка — как она убивает любовь, так, казалось бы, не допускает и ее зарождения. Если двое с младенчества знают друг друга и всю жизнь тесно общаются, мне трудно вообразить, с чего бы это между ними пробежать внезапной искре, от которой зажжется любовь. Скорее всего, их соединит взаимная привязанность; я же не знаю большей противоположности любви, чем привязанность.

Я едва различил в полумраке тень улыбки, скользнувшей по массивному и, как мне тогда показалось, мрачному лицу моего хозяина.

— Так вы верите только в любовь с первого взгляда?

— Пожалуй, да, но с одной оговоркой — можно встречаться раз двадцать, прежде чем по-настоящему взглянуть друг на друга. У глагола «глядеть» два смысла — активный и пассивный. Большинство тех, с кем нас сводит жизнь, так мало для нас значат, что мы не даем себе труда на них поглядеть. Они проходят перед глазами — и дело с концом.

---

<sup>1</sup> История взаимоотношений Байрона и его сводной сестры Августы Ли изложена в книге «Астартга» (1905) Р. Милбэнка.



— Да, но часто приходится слышать о супружеских парах, когда будущие муж и жена были знакомы долгие годы, никому и в голову не приходило, будто они питают друг к другу малейший интерес, а в один прекрасный день они взяли да поженились. Чем вы это объясняете?

— Ну, раз уж вы требуете от меня логики и последовательности, я бы сказал, что их любовь — это любовь другого рода. В конце концов, страстная любовь не единственное основание для вступления в брак; возможно, даже не лучшее. Браки, бывает, заключаются и от одиночества, и между добрыми друзьями, и просто ради удобства. Хотя я говорил, что привязанность — первейший враг любви, я не подумаю спорить с тем, что она же и прекрасный ее заменитель. Не берусь утверждать, что браки, основанные на привязанности, не получаются и счастливейшими.

— Что вы думаете о Тиме Харди?

Я как-то не ждал этого внезапного вопроса, который вроде бы не имел касательства к теме нашего разговора.

— Я о нем особо не задумывался. Мне он показался вполне симпатичным. Почему вы об этом спрашиваете?

— На ваш взгляд, он такой, как все?

— Да. Разве в нем есть что-то особенное? Если б предупредили, я бы к нему пригляделся.

— Он очень сдержанный, правда? Кто про него ничего не знает, тот, пожалуй, на него лишний раз и не посмотрит.

Я попытался вспомнить, как он выглядит. За карточным столом мое внимание привлекло в нем только одно — красивые руки. Я тогда еще лениво подумал, что для плантатора очень уж они необычны. Но почему у плантатора руки должны быть не такие, как у всех прочих? — таким вопросом я не удосужился задаться. У Харди руки были крупноваты, но очень изящные, с необыкновенно длинными пальцами и превосходной формы ногтями. Очень мужественные руки, однако же на удивление нежные. Я это отметил и перестал о них думать. Но если вы писатель, то инстинкт и многолетняя привычка закрепляют в вашей памяти впечатления, о которых сами вы и не подозреваете. Порою они, конечно, не соответствуют действительности. Скажем, какая-то женщина остается у вас в подсознании как нечто темное, крупное и волоокое, тогда как на самом деле она довольно миниатюрна и волосы у нее неопределенного цвета. Но это не важно. Иной раз впечатление бывает куда правдивей, чем голая истина. Вот и теперь, стараясь вызвать из глубин сознания облик этого человека, я ощутил в нем какую-то двойственность. Он был чисто выбрит, и его

лицо, продолговатое, однако не худое, показалось мне до странности бледным под слоем многолетнего тропического загара. Черты лица я видел неясно. Не знаю, запомнил ли я это с того раза или вообразил только сейчас, но округлый его подбородок оставлял впечатление известной слабости. У него были густые каштановые волосы, едва тронутые сединой, и длинная их прядь постоянно падала на лоб. Он отбрасывал ее назад привычным движением. В его довольно больших карих глазах чуть проглядывала печаль; легко представить, что их мягкая чувственность могла быть весьма обаятельной.

Фезерстоун, помолчав, продолжал:

— Довольно странно, что после стольких лет я здесь снова встретился с Тимом Харди. Впрочем, в ФМШ такое не редкость. Люди переезжают с места на место, и неожиданно сталкиваешься с человеком, с которым водил знакомство много лет тому назад в другой части страны. Я познакомился с Тимом, когда он владел плантацией неподалеку от Сибуку. Вы там бывали?

— Нет. А где это?

— Много северней. Ближе к Сиаму. Специально туда ехать не стоит — место как место, в ФМШ таких полно. Довольно милое. Там был замечательный маленький клуб и жили вполне приличные люди. Директор школы и начальник полиции, доктор, католический священник и управляющий общественным строительством. Сами знаете, обычный набор. Несколько плантаторов. Три-четыре женщины. Я работал тогда помощником начальника округа, это было мое первое назначение. У Тима Харди была плантация миль за двадцать пять. Он жил там с сестрой. У них водились деньги, вот он и купил себе участок. Цены на каучук тогда были высокие, так что он недурно зарабатывал. Мы с ним вроде как подружились. С плантаторами, ясное дело, всегда приходится идти на риск. Среди них встречаются очень порядочные ребята, но они не совсем... — Он поискал словечко или фразу, от которых бы не отдавало снобизмом. — В общем, они не из тех, с кем, как правило, станешь водиться дома. Но Тим и Оливия — эти были мне ровня, вы понимаете, что я имею в виду.

— Оливия — так звали сестру?

— Да. Прошлое у них было далеко не веселое. Родители разошлись, когда дети были еще маленькие, лет семи-восьми, мать забрала Оливию, а Тим остался с отцом. Тима отдали в Клифтон<sup>1</sup> — семья была родом из Западных

---

<sup>1</sup> Закрытая школа-интернат для мальчиков.

графств,— и домой он приезжал только на каникулы. Его отец, флотский на пенсии, жил в Фоуи. А вот Оливия отправилась с матерью в Италию. Она училась во Флоренции, в совершенстве знала итальянский язык, да и французский тоже. Все эти годы брат с сестрой ни разу не виделись, но регулярно писали друг другу письма. В детстве они были очень дружны. Насколько я мог понять, их существование, когда родители еще жили вместе, было довольно бурным, сплошные сцены и ссоры, как оно всегда бывает, если супруги в разладе, так что детям волей-неволей приходилось рассчитывать на самих себя. Их подолгу оставляли друг с другом. Потом миссис Харди умерла, Оливия возвратилась в Англию и приехала к отцу. В это время ей исполнилось восемнадцать, а Тиму — семнадцать. Через год разразилась война, Тим пошел на фронт добровольцем, а отец, которому перевалило за пятьдесят, нашел работу в Портсмуте. Как я понимаю, он любил погулять и приложиться к бутылке. В конце войны он свалился и умер после долгой болезни. Родственников у них, видимо, не было. Они оказались последними в довольно древнем роду и наследовали роскошный старейший дом в Дорсетшире, который принадлежал семье уже много поколений, однако жить там им было не по средствам, так что дом сдавался. Я, помнится, видел его на фотографиях — настоящий особняк сельского джентльмена, довольно величественный, из серого камня, с изваянием герба над парадным входом и оконными рамами со средниками. Их честолюбивой мечтой было заработать достаточно денег, чтобы переехать в него жить. Они много говорили на эту тему. По их разговорам выходило, что ни он, ни она не собираются вступать в брак, а навсегда останутся друг с другом, словно все уже решено и подписано. Это было несколько странно, учитывая их юные годы.

— А сколько им тогда было? — поинтересовался я.

— Если не ошибаюсь, ему двадцать пять или двадцать шесть, ей на год больше. Когда я впервые приехал в Сибукку, они приняли меня с распростертыми объятиями. Я сразу пришелся им по душе. Видите ли, у них оказалось больше общего со мной, чем с большинством тамошних. По-моему, они обрадовались моему появлению. Особой любовью они там не пользовались.

— Почему? — спросил я.

— Они вели довольно замкнутый образ жизни, и было невозможно не видеть, что общество друг друга они предпочитают всем остальным. Не знаю, замечали ли вы, но такое отношение, похоже, всегда вызывает у людей раз-

дражение. Если они чувствуют, что вы прекрасно можете обходиться без них, им это почему-то бывает не по нутру.

— Неприятное чувство, не правда ли? — заметил я.

— Других плантаторов глодала обида, что Тим сам себе хозяин и имеет собственные деньги. Им приходилось довольствоваться стареньким фордом, а Тим разъезжал в классном автомобиле. Посещая клуб, Тим и Оливия бывали со всеми мило, они участвовали в первенствах по теннису и всем прочем, но возникало впечатление, что они с радостью возвращались к себе домой. Они не отказывались от приглашений отобедать и были очень любезны с хозяевами, но было ясно, что они охотней остались бы дома. Здравомыслящий человек не мог поставить им это в вину. Не знаю, часто ли вам доводилось гостить у плантаторов, но в их домах мрачновато. Сплошь грубая мебель, поделки из серебра и тигровые шкуры. И отвратительная еда. А вот Харди обставил свое бунгало довольно красиво. Ничего особо роскошного — все удобно, по-домашнему и уютно. Гостиная — как в английском сельском особнячке. Чувствовалось, что хозяева любят свои вещи и давно с ними сроднились. Бывать в таком доме было одно удовольствие. Бунгало стояло посредине плантации, но на кромке холма, так что за кронами каучуковых деревьев виднелось далекое море. Оливия тщательно следила за садом, он был у нее просто великолепный. В жизни не видел такого разнообразия канн. Обычно я приезжал к ним на субботу и воскресенье. До моря было с полчаса езды, мы брали с собой еду, купались и ходили под парусом. У Тима была маленькая шлюпка. Славные были дни. Я и не представлял, что можно так наслаждаться жизнью. Там прекрасное побережье, мы и вправду проводили время в высшей степени романтично. А затем, вечерами, раскладывали пасьянсы, играли в шахматы или заводили граммофон. Еда тоже была чертовски отменная — приятное разнообразие по сравнению с обычным тамошним рационом. Оливия научила повара готовить итальянские блюда, и мы с огромным наслаждением уплетали макароны, ризотто<sup>1</sup>, клецки и другие подобные кушанья. Я против воли завидовал их жизни, безмятежной и радостной, а когда они заводили разговор про то, чем займутся, насовсем возвратившись в Англию, я обычно вставлял, что они всегда будут вздыхать о здешней жизни.

«Здесь мы очень счастливы», — говорила Оливия.

---

<sup>1</sup> Блюдо из риса на мясном бульоне с тертым сыром и специями.

У нее была обаятельная манера поглядывать на Тима, искоса бросая из-под длинных ресниц долгий взгляд.

В собственном доме они держались совсем по-другому, чем за его стенами,—раскованно и сердечно. Это все признавали; должен сказать, что люди любили у них бывать. Они частенько приглашали гостей. У них был особый дар, благодаря которому гости чувствовали себя легко и свободно. Очень счастливый был дом, если вы знаете, что я хочу сказать. Все, понятно, видели, что они друг к другу очень привязаны,— это бросалось в глаза. И что бы там ни болтали про их высокомерие и эгоизм, людей не могла не трогать их взаимная нежность. Говорили, что будь они мужем и женой — и то бы не жили дружнее, а поглядеть на иные супружеские пары, так сравнение напрашивалось само собой: рядом с ними большинство браков смотрелись не лучшим образом. Одни и те же мысли, казалось, приходили к ним одновременно. У них были свои, непонятные для других, шутки, над которыми они смеялись, как дети. Они так мило опекали друг друга, были такие веселые и счастливые, что в их обществе человек — как бы это лучше сказать — и вправду отдыхал душой. Других слов не найти. Погостив у них пару дней, ты, уезжая, чувствовал, что отчасти проникся их безмятежностью и мягкой радостью. Словно промыл душу родниковой водой. Как будто от чего-то очистился.

Столь восторженные речи были необычны для Фезерстоуна. В своем нарядном белом коротком пиджаке того фасона, что прозывается «зад застудишь», он выглядел таким собранным, усы у него были так ровно подстрижены, а густые курчавые волосы так тщательно расчесаны, что высокопарные его излияния слегка меня ошарашили. Я, однако, сообразил, что на свой неумелый лад он пытается выразить нечто глубоко прочувствованное.

— Как она выглядела, Оливия Харди? — спросил я.

— Сейчас покажу, у меня много любительских снимков.

Он встал, подошел к полке и вернулся с толстым альбомом. Обычный набор — посредственные фотографии различных компаний, неприкрашенное сходство отдельных снимков людей с оригиналами. Снимались в купальных костюмах, в шортах или в теннисной форме, лица у всех, как правило, перекошены из-за яркого солнца или в морщинках и складках от смеха. Я узнал Харди: за десять лет он не очень изменился, непокорная прядь и тогда свисала ему на лоб. Поглядев на снимки, я яснее его припомнил. Они запечатлели его молодым, милым и полным сил. Лицо его

привлекало живостью черт, чего я как раз не отметил тогда в клубе. В глазах искрилась и плясала жажда жизни, что было видно даже на выцветшем снимке. Я взглянул на фотографию его сестры. Купальник хорошо обрисовывал ее ладную, крепко сложенную, но при этом тонкую фигуру. Ноги у нее были длинные и стройные.

— Они довольно похожи,— заметил я.

— Да, хотя она была годом старше, они вполне могли сойти за близнецов — до того были похожи. У обоих один и тот же овал лица, одинаковая бледная кожа, никакого румянца, одни и те же ласковые карие глаза, удивительно чистые и подкупающие, так что становилось понятно: как бы они себя ни вели, сердиться на них просто невозможно. И оба отличались врожденным изяществом, благодаря чему могли носить что угодно, позволять себе неряшливость в одежде — и все равно очаровательно выглядеть. Теперь-то, думаю, он утратил это качество, а ведь оно у него было, было, когда мы познакомились. Они всегда напоминали мне брата с сестрой из «Двенадцатой ночи»<sup>1</sup>. Вы понимаете, о ком я.

— Виолу и Себастиана.

— Они, казалось, не полностью принадлежали нашему времени. Было в них что-то елизаветинское<sup>2</sup>. У меня возникало ощущение — думаю, не только по молодости лет, — что они какие-то удивительно романтические. Их было легко представить живущими в Иллирии<sup>3</sup>.

Я еще раз глянул на один из снимков.

— У девушки, судя по ее виду, характер был много тверже, чем у брата,— заметил я.

— Много тверже. Не знаю, назвали бы вы Оливию прекрасной, но она была страшно привлекательной. В ней чувствовалась поэзия, своего рода лирическое начало, оно окрашивало ее движения, поступки, все-все. Оно как бы приподнимало ее над будничными заботами. В лице у нее было столько искренности, в манере держаться столько смелости и независимости, что... ну, не знаю, а только обычная красота выглядела по сравнению с этим пресной и плоской.

---

<sup>1</sup> Комедия У. Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно».

<sup>2</sup> То есть относящееся к эпохе правления (1558—1603) английской королевы Елизаветы I.

<sup>3</sup> Историческая область на северо-западе Балканского полуострова от среднего течения Дуная до Адриатического моря, населенная иллирийцами — обширной группой индоевропейских племен; незадолго до начала новой эры была завоевана римлянами.

— Вы говорите так, словно были в нее влюблены,— вставил я.

— Конечно, был. Я думал, вы сразу догадаетесь. Я был в нее по уши влюблен.

— Любовь с первого взгляда? — улыбнулся я.

— Да, пожалуй, но с месяц или около того я этого не понимал. А когда меня вдруг осенило, что мое чувство к ней — не знаю, как лучше описать, это было какое-то оглушительное смятение, завладевшее всем моим существом, — что это любовь, тут я понял, что оно возникло с самого начала. И не в одной миловидности было дело, хотя она была невероятно пленительна, не в белой бархатной коже, не в том, как на лоб падали волосы, и не в сдержанном очаровании ее карих глаз — нет, тут было нечто большее. Когда она была рядом, возникало ощущение благодати, вы чувствовали, что можно дать себе отдых, быть самим собой и не притворяться кем-то другим. Чувствовали, что она не способна на подлость. Было невозможно представить, чтобы она могла завидовать или злобствовать. Она, казалось, обладала природной щедростью души. В ее обществе вы могли промолчать добрый час и, однако, почувствовать, что прекрасно провели время.

— Редкий дар, — заметил я.

— Она была чудесным товарищем. Стоило что-нибудь предложить, как она с радостью соглашалась. Я в жизни не встречал девушки покладистой. Вы могли подвести ее в самую последнюю минуту, и, как бы она ни огорчалась, это не имело последствий. При следующей встрече она была все та же сердечность и безмятежность.

— Почему вы на ней не женились?

У Фезерстоуна потухла сигара. Он выбросил окурок и не спеша зажег новую. Он не торопился с ответом. Человеку, живущему в высокоцивилизованной стране, может показаться странным, что Фезерстоун решил поделиться сокровенным с лицом посторонним; мне это странным не показалось. Со мной такое случалось не впервой. Люди отчаянно одинокие, живущие в удаленных уголках земли, находят облегчение в том, чтобы поведать кому-нибудь, с кем скорее всего больше не встретятся, тайну, которая, возможно, долгие годы днем давила на мысли, а ночами — на сны. Подозреваю, что уже одно то, что вы писатель, вызывает таких людей на откровенность. Они чувствуют, что их рассказ пробудит у вас бескорыстный интерес, и поэтому легче будет раскрыть перед вами душу. К тому же,

как все мы знаем по личному опыту, рассказывать о своей особе всегда приятно.

— Почему вы на ней не женились? — спросил я.

— Я об этом мечтал, — ответил Фезерстоун после долгого молчания, — но не решался сделать предложение. Она была со мной неизменно мила, мы легко находили общий язык, были добрыми друзьями, и все же меня никогда не оставляло чувство, что ее окружает какая-то тайна. Хотя она была такой простой, такой искренней и естественной, в ней все время ощущалось глубоко запрятанное ядрышко отчужденности, как будто в своей святая святых она хранила — нет, не загадку, но некую неприкосновенность души, до которой никто из смертных не был допущен. Не знаю, может, я говорю непонятно.

— Мне кажется, я понимаю.

— Я объяснял это ее воспитанием. О матери они не говорили, но у меня почему-то возникло впечатление, что она была из тех невротических, легковозбудимых женщин, что разрушают собственное счастье и портят кровь своим близким. Я подозревал, что во Флоренции она жила довольно беспорядочной жизнью, и это натолкнуло меня на мысль, что в основе восхитительной безмятежности Оливии кроется огромное усилие воли и что ее отчужденность не более чем своего рода стена, которой она отгородилась от познания всего постыдного в жизни. И уж конечно, эта ее отчужденность брала в плен. Если бы она вас полюбила и вы на ней женились, вам, в конце концов, удалось бы добраться до скрытых корней ее тайны, — от такой мысли сладко заходило сердце, и вы понимали, что когда б вы разделили с ней эту тайну, это стало бы исполнением всех ваших самых заветных желаний. Бог с ним, с райским блаженством. Но знаете, это так же не давало мне жить, как запретная комната в замке — жене Синея Бороды. Передо мной открывались все комнаты, но я бы ни за что не успокоился, не проникнув в ту, последнюю, что была на запоре.

Я заметил на стене под потолком чик-чака, головастую домашнюю ящерку коричневого цвета. Это мирная маленькая тварь, увидеть ее в доме — добрая примета. Она, замерев, следила за мухой. Внезапно она рванулась, но муха улетела, и ящерка, как-то судорожно дернувшись, опять застыла в странной неподвижности.

— Я не решался и еще по одной причине. Меня пугало, что, если я сделаю ей предложение, а она откажет, мне больше не позволят так запросто навещать к ним в гости. Этого я решительно не хотел, я страшно любил там



бывать. Ее общество дарило мне счастье. Но вы знаете, как оно бывает — иной раз невозможно удержаться. Я таки сделал ей предложение, правда, это получилось почти случайно. Как-то вечером после обеда мы сидели вдвоем на веранде, и я взял ее за руку. Она тут же спрятала руку.

«Зачем вы так?» — спросил я.

«Не люблю, когда ко мне прикасаются, — ответила она, с улыбкой повернувшись ко мне вполоборота. — Вы обиделись? Не обращайтесь внимания, такая уж у меня прихоть, и с этим ничего не поделать».

«Неужели вам ни разу не пришло в голову, что я в вас ужасно влюблен?» — произнес я. Боюсь, вышло жутко нескладно, но до этого мне не доводилось предлагать руку и сердце, — заметил Фезерстоун не то со смешком, не то со вздохом. — А по-честному, я и после не делал никому предложений. С минутой она помолчала, потом сказала:

«Я очень рада, но хотела бы, чтобы этим вы и ограничились».

«Почему?»

«Я не могу бросить Тима».

«А если он женится?»

«Он никогда не женится».

Я уже зашел достаточно далеко, поэтому решил не останавливаться. Но в горле у меня так пересохло, что говорил я с трудом. Меня била нервная дрожь.

«Оливия, я вас безумно люблю. Больше всего на свете мне хочется, чтобы вы за меня вышли».

Она легко коснулась моей руки — так падает на землю цветок.

«Нет, милый, я не могу», — сказала она.

Я молчал. Мне было трудно произнести то, что хотелось. Я по натуре довольно застенчив. Она была девушкой. Не мог же я объяснять ей, что жить с мужем и жить с братом — не совсем одно и то же. Она была нормальным здоровым человеком; ей, должно быть, хотелось иметь детей; было неразумно подавлять свои естественные инстинкты. Нельзя было так расточать молодые годы. Но она первой нарушила молчание.

«Давайте больше не будем об этом, — сказала она. — Договорились? Раз или два мне показалось, что вы, возможно, равнодушны ко мне. Тим тоже заметил. Я огорчилась, испугавшись, что это положит конец нашей дружбе. Я этого не хочу, Марк. Мы же прекрасно ладим друг с другом, все трое, нам так весело вместе. Не представляю, как мы будем обходиться без вас».

«Я тоже думал об этом», — согласился я.

«По-вашему, все должно кончиться?» — спросила она.

«Дорогая моя, я этого не хочу», — ответил я. — Вы, верно, знаете, до чего мне приятно к вам приходить. Я еще нигде не чувствовал себя таким счастливым».

«Вы на меня не сердитесь?»

«С какой стати? Это не ваша вина. Просто вы меня не любите. Любили бы — и думать забыли про Тима».

«Вы просто прелесть», — сказала она, обвила мою шею рукой и коснулась губами щеки. Мне показалось, что для нее это внесло в наши отношения окончательную ясность. Меня приняли в дом на правах второго брата.

Через несколько недель Тим отплыл в Англию. Съемицик их дома в Дорсете собирался выезжать, и хотя на его место уже имелся желающий, Тим решил, что ему лучше самому приехать и лично обо всем договориться. Заодно он собирался приобрести кое-какое оборудование для плантации. По его расчетам, он должен был задержаться в Англии месяца на три, не больше, и Оливия решила не ехать. В Англии у нее знакомых почитай что и не было, для нее это, можно сказать, была чужая страна, она не возражала пожить одной и приглядеть за плантацией. Конечно, они могли оставить вместо себя управляющего, но это было бы уже не то. Цена на каучук падала, и кому-то из них не мешало быть на месте на всякий случай. Я обещал Тиму за ней присмотреть — если я ей понадобится, мне всегда можно позвонить. Брачное мое предложение не имело ровным счетом никаких последствий. Мы продолжали вести себя так, как будто его и не было. Я даже не знаю, сказала ли она о нем Тиму. Он не подал и вида, что знает. Я, понятно: любил ее по-прежнему, но свои чувства держал при себе. Самообладания мне, как известно, не занимать. Я понимал, рассчитывать не на что — и только надеялся, что со временем моя любовь претворится во что-то другое и мы станем самыми добрыми друзьями. Как ни странно, но, представьте, любовь так и осталась любовью. Видимо, она пустила слишком глубокие корни, чтобы ее можно было полностью выгравить.

Она отбыла в Пенанг с Тимом проводить его на пароход; когда она вернулась, я встретил ее на вокзале и отвез домой. В отсутствие Тима я не мог позволить себе заявляться туда с ночевкой, но по воскресеньям приезжал к позднему завтраку, после которого мы отправлялись на море купаться. Знакомые, проявляя участие, приглашали ее пожить у них, но она отклоняла приглашения. Она редко покидала

плантацию. Дел у нее хватало. Она много читала. Ей никогда не бывало скучно, одиночество ее вполне устраивало, а если она и принимала гостей, то лишь потому, что так было принято. Ей не хотелось прослыть неблагодарной. Но удовольствия ей это не доставляло, и она говорила мне, что облегченно вздыхает, когда уходят последние гости и она вновь остается сама с собой в блаженном одиночестве бунгало. Очень странная она была женщина. Непонятно, как можно было в ее годы пренебрегать вечеринками и прочими скромными развлечениями, какие мог предложить наш городишко. В духовном плане,—вы понимаете, что я имею в виду,—она полагалась исключительно на саму себя. Не знаю, откуда пошло, что я в нее влюблен; по-моему, я не выдал себя ни словом, ни взглядом, однако же мне то там, то тут намекали, что это не тайна. Я заключил, что все считают, будто Оливия не уехала в Англию только из-за меня. Одна из дам, некая миссис Серджисон, жена шефа полиции, даже спросила, когда они будут иметь удовольствие меня поздравить. Я, естественно, сделал вид, будто не понимаю ее намеков, но она мне не больно поверила. Все это невольно меня забавляло. Мысль обо мне как о возможном муже была настолько чужда Оливии, что, уверен, она и думать забыла о моем предложении. Не могу утверждать, чтобы она была со мной жестока, по-моему, она вообще была неспособна на жестокость; но она обходилась со мной с той легкой небрежностью, с какой сестры подчас относятся к младшим братьям. Она была старше меня года на два или на три. Она всегда бурно радовалась моим приездам, но ни разу не подумала чем-нибудь ради меня поступиться; со мной она держалась поразительно задушевно, но это получалось у нее само собой, понимаете, так обычно ведешь себя с человеком, которого знаешь всю жизнь и с которым в голову не придет манерничать. Для нее я был отнюдь не мужчиной, а чем-то вроде старого жакета, который носишь не снимая, потому что в нем легко и удобно и можно делать любую работу. Я был бы последним кретином, когда б не видел, что любовью тут и не пахнет.

В один прекрасный день, недели за три-четыре до возвращения Тима, я приехал к ней и заметил, что она плакала. Меня это ошеломило — она всегда держала себя в руках, я ни разу не видел ее расстроенной.

«Вот те на, что случилось?» — спросил я.

«Ничего».

«Не запирайтесь, милая,— сказал я.— Почему вы плакали?»

Она попыталась улыбнуться и ответила:

«И зачем только вы такой наблюдательный! По-моему, я веду себя глупо, но только что пришла телеграмма от Тима. Он сообщает, что задерживается».

«Господи, какая жалость,— сказал я.— Вы, верно, жутко огорчились».

«Я каждый денечек считала. Мне так его не хватает».

«Он объяснил, почему задерживается?»

«Нет, сообщил, что напишет в письме. Я покажу телеграмму».

Я видел, что она очень переживает. Ее обычно спокойный медлительный взгляд был исполнен страха, между бровями обозначилась тревожная складка. Она вышла в спальню и вернулась с телеграммой. Читая, я чувствовал на себе ее беспокойный взгляд. Насколько я помню, текст был такой: «Дорогая отплыть седьмого не получается тчк Пожалуйста прости тчк Подробности письмом тчк Нежно люблю Тим».

«Что ж, возможно, оборудование, за которым он отправился, еще не готово, а без него он не решился отплыть»,— предположил я.

«Разве его нельзя было отправить другим рейсом, попозже? Оно все равно еще проваляется в Пенанге».

«Может, задержка связана с домом».

«Тогда почему было так и не сказать? Ведь знает же, что я себе места не нахожу».

«Да он просто не подумал,— заметил я.— В конце концов, до уехавшего не всегда доходит, что оставшиеся могут не знать того, что для него само собой разумеется».

Она снова улыбнулась, уже веселее.

«Пожалуй, вы правы. Вообще-то это похоже на Тима, он всегда отличался легкомыслием и небрежностью. Пожалуй, я и вправду делаю из мухи слона. Наберусь терпения и стану ждать письма».

Самообладания Оливии было не занимать; у меня на глазах она усилием воли взяла себя в руки. Складочка между бровями разгладилась, она вновь стала сама собой— безмятежной, улыбающейся, сердечной. Ей вообще была свойственна мягкость, но в тот день ее небесная кротость просто ошеломляла. Однако же после я не мог не заметить, что она обуздывает беспокойство только тем, что постоянно вызывает к своему здравому смыслу. Ее, видимо, одолевали дурные предчувствия. Они не покинули ее и накануне того дня, как должна была прийти почта из Англии. Тревога ее тем более вызывала сострадание, что она изо всех сил

пыталась ее скрыть. Я бывал занят по «почтовым» дням, но обещал заехать на плантацию ближе к вечеру узнать новости. Я уже собрался отправиться, когда саис<sup>1</sup> Харди прибыл в автомобиле с настоятельной просьбой от амы<sup>2</sup> немедленно ехать к хозяйке. Ама была достойная пожилая женщина; я еще раньше вручил ей пару долларов, сказав, чтобы она сразу же мне сообщила, если на плантации что случится. Я бросился к своей машине. Ама поджидала меня на ступеньках.

«Утром пришло письмо»,— сказала она.

Я не стал дальше слушать и взбежал по ступенькам. В гостиной никого не было.

«Оливия»,— позвал я.

Выйдя в коридор, я услышал звуки, от которых сердце у меня екнуло. Ама — она шла за мной по пятам — открыла дверь в спальню Оливии. То, что я слышал, были ее рыдания. Я вошел. Она лежала на постели лицом вниз, все ее тело сотрясало от рыданий. Я положил руку ей на плечо.

«Что случилось, Оливия?»

«Кто тут?» — вскрикнула она, вскочив на ноги, словно до смерти перепугалась. И затем: «А, это вы». Она стояла передо мной, закинув голову и закрыв глаза, и слезы бежали у нее по щекам. Жуткое зрелище. «Тим женился»,— всхлинула она, и лицо у нее исказилось от боли.

Должен признаться, меня на мгновение охватило ликование, словно в сердце ударило током; меня осенило, что теперь появился шанс и она вдруг да захочет за меня выйти. Знаю, с моей стороны это был чудовищный эгоизм, но вы должны понять, что новость застала меня врасплох. Впрочем, это длилось всего мгновение; меня растрогало ее страшное горе, и осталась только глубокая жалость к несчастной женщине. Я обнял ее за талию.

«Господи, вот напасть-то,— сказал я.— Пойдемте-ка отсюда в гостиную, вы сядете, и мы обо всем поговорим. А я вам чего-нибудь налью».

Она позволила отвести себя в соседнюю комнату, и мы уселись на диван. Я велел аме принести виски и сифон, смешал порцию покрепче и заставил Оливию пригубить. Я обнял ее и положил ее голову себе на плечо. Все это она покорно сносила. По ее сведенному горем лицу струились крупные слезы.

«Как он мог?» — стонала она.— Как он мог?»

---

<sup>1</sup> Саис (*инд.*) — конюх, грум; здесь — шофер.

<sup>2</sup> Ама (*инд.*) — кормилица, няня; горничная, камеристка.

«Дорогая моя,— произнес я,— рано или поздно это должно было случиться. Он человек молодой. Не могли же вы рассчитывать, что он так и будет ходить холостым. Что он женился — это только естественно».

«Нет, нет, нет», — всхлипывала она.

В кулаке у нее я заметил скомканное письмо и понял, что оно от Тима.

«Что он пишет?» — спросил я.

Она испуганно дернулась и прижала письмо к груди, словно решила, что я хочу его отнять.

«Пишет, что ничего не мог поделать. Пишет, что выхода у него не было. Что это значит?»

«Ну, понимаете, он по-своему такой же привлекательный, как вы сами. В нем много очарования. Вероятно, он безумно влюбился в какую-то девушку, а она в него».

«Он такой слабовольный», — простонала она.

«Они приезжают?» — спросил я.

«Вчера отплыли. Он пишет, что это ничего не изменит. Он с ума сошел. Разве я *смогу* здесь остаться?»

Она истерически расплакалась. Было мучительно видеть, как ее, обычно такую сдержанную, раздирают чувства. Я всегда подозревал, что за ее восхитительной безмятежностью скрывается способность к сильным переживаниям. Однако меня просто убило самозабвение, с каким она предавалась своему горю. Держа ее в объятиях, я покрывал поцелуями ее глаза, ее мокрые щеки, ее волосы. По-моему, она не понимала, что я делаю. Да и сам я вряд ли понимал, до того глубоко я был тронут.

«Что мне делать?» — запричитала она.

«Выйти за меня замуж».

Она попыталась высвободиться из моих объятий, но я не позволил.

«В конце концов, это решит все проблемы», — сказал я.

«Как я могу выйти за вас? — простонала она. — Я на несколько лет вас старше».

«Ну, это сущие пустяки — какие-нибудь два-три года. Что мне за дело до такой чепухи?»

«Нет, нет».

«Но почему?» — настаивал я.

«Я вас не люблю», — ответила она.

«Ну и что? Зато я вас люблю».

Не помню, что я ей пел. Я заявил, что постараюсь сделать ее счастливой. Я сказал, что никогда не попрошу у нее того, чего она не в состоянии дать. Я говорил и говорил. Я попытался воззвать к ее здравому смыслу. Я видел,

что ей не хочется там оставаться, жить рядом с Тимом, и заверил ее, что скоро получу перевод в другой округ. Я подумал, может, хоть это ее соблазнит. Она не может не согласиться, что мы с ней всегда отлично ладили. Она, похоже, немного утихла. Я почувствовал, что она прислушивается к моим словам. Больше того, мне показалось — она понимает, что я ее обнимаю, и это ее утешает. Я заставил ее отхлебнуть еще капельку виски. Дал ей сигарету. Наконец я решил, что можно позволить себе чуть-чуть пошутить.

«Честное слово, не так уж я плох,— заявил я.— Могли бы нарваться на кого и похуже».

«Вы меня не знаете,— сказала она.— Вы обо мне ничегошеньки не знаете».

«Я схватываю на лету»,— возразил я.

Она слабо улыбнулась.

«Вы ужасно добрый, Марк».

«Оливия, скажите — да»,— умолял я.

Она глубоко вздохнула и долго не поднимала глаз. Но и не шевелилась, я ощущал ее мягкое тело в своих объятиях. Я ждал. Нервы у меня были напряжены до предела, время, казалось, застыло на месте.

«Хорошо»,— молвила она наконец, словно и не заметила, что между моей мольбой и ее ответом прошло столько времени.

Я был так взволнован, что не нашел нужных слов. Но когда я попытался поцеловать ее в губы, она отвернулась и не позволила. Я предложил сразу и пожениться, но тут она решительно воспротивилась и настояла, чтобы мы подождали до возвращения Тима. Вы знаете — порой читаешь чужие мысли яснее, чем если бы их произнесли вслух; я видел — она не может до конца поверить в то, что Тим написал ей правду, и все еще цепляется за жалкую надежду, что тут какая-то ошибка и вдруг да он по-прежнему неженат. Это меня уязвило, но я так ее любил, что смирился. Я был готов снести от нее что угодно. Я ее обожал. Она не позволила даже рассказать кому-нибудь о нашей помолвке, взяла с меня клятву, что я ни словом о ней не обмолвлюсь, пока Тим не вернется. Она заявила, что не вынесет даже мысли о поздравлениях и всем остальном. Объявить о женитьбе Тима — она и этого мне не дала. Уперлась — и все. У меня сложилось впечатление, что она решила: если о его женитьбе станет известно, та превратится в свершившийся факт, а этого ей как раз и не хотелось.

Но тут уж от нее ничего не зависело. На Востоке новости распространяются неисповедимыми путями. Не знаю, какие

слова вырвались у Оливии, когда она прочитала письмо, но ама, видимо, их услышала; во всяком случае, саис Харди рассказал саису Серджисонов, и стоило мне после этого появиться в клубе, как на меня набросилась миссис Серджисон.

«Я слышала, Тим Харди женился»,—заявила она.

«Вот как?»—ответил я с непроницаемым видом, не желая вязываться в обсуждение.

Она улыбнулась и сообщила, что, как только узнала от своей амы об этом слухе, сразу позвонила Оливии спросить, правда ли это. Оливия ответила довольно невразумительно. Подтвердить не подтвердила, но сказала, что Тим прислал ей письмо с известием о женитьбе.

«Странная она девушка,—заметила миссис Серджисон.—Когда я спросила о подробностях, она сказала, что таковыми не располагает, а когда спросила: «У тебя дух не захватывает?»—то вообще не ответила».

«Оливия предана Тиму, миссис Серджисон,—возразил я.—Понятно, что его женитьба выбила ее из колеи. Она ничего не знает о жене Тима, поэтому и переживает».

«А когда вы двое намерены пожениться?»—выпала она.

«Что за нескромный вопрос!»—попробовал я отшутиться.

Она проникательно на меня посмотрела:

«Даете честное слово, что вы с ней не помолвлены?»

Мне не хотелось ни говорить ей заведомую ложь, ни грубо ее осаживать, но я искренне обещал Оливии хранить молчание до возвращения Тима. Я уклонился от прямого ответа:

«Миссис Серджисон, когда мне будет что сообщить, обещаю, что вы первая об этом узнаете. Сейчас же могу сказать лишь одно: больше всего на свете я хотел бы жениться на Оливии».

«Я рада, что Тим женился,—ответила она на это.—Надеюсь, что и она не преминет выйти за вас. Эта парочка вела там, у себя на плантации, патологически нездоровый образ жизни. Слишком много времени они проводили друг с другом и слишком были друг другом поглощены».

Я виделся с Оливией почти каждый день. Чувствуя, что ей не хочется со мной физической близости, я ограничивался поцелуями при встрече и на прощанье. Она была со мной очень милой, заботливой и доброй; я знал, что она радовалась, когда я приходил, и с сожалением меня отпускала. Обычно она любила помолчать, но в те дни на нее напала



разговорчивость, которой я раньше за ней не замечал. Но она ни разу не заговаривала о будущем или о Тиме и его жене. Она много рассказывала о том, как жила с матерью во Флоренции. Вела она там удивительно одинокую жизнь, общаясь в основном со слугами и гувернантками, тогда как матушка, насколько я понял, постоянно меняла любовников, вступая в связь с сомнительными итальянскими графьями и русскими князьями. Я подозревал, что к четырнадцати годам она мало чего не знала о жизни. Для нее было естественным совсем не считаться с условностями: в том мире, который она только и знала до восемнадцати лет, об условностях не говорили, потому что их не было. Постепенно к Оливии, видимо, вернулась ее безмятежность; я бы даже подумал, что она начала привыкать к мысли о женитьбе Тима, когда б ее бледность и усталый вид не бросались в глаза. Я твердо решил настоять на немедленной свадьбе сразу же после его возвращения. Короткий отпуск я мог получить в любую минуту, а к концу отпуска рассчитывал добиться перевода на новую должность. В чем она нуждалась, так это в смене обстановки.

День прибытия корабля в Пенанг был, конечно, известен, а вот час — нет, и непонятно было, успеет ли Тим на поезд; я отправил письмо агенту «Полуостровного и Восточного пароходства» с просьбой уведомить меня телеграфом, как только он будет знать точное время. Получив телеграмму, я отправился к Оливии; оказалось, ей только что пришла телеграмма от Тима. Корабль пришвартовался утром, Тим должен был приехать на другой день. По расписанию поезд прибывал в восемь утра, но обычно опаздывал, когда на час, а когда и на шесть часов. Я привез Оливии приглашение от миссис Серджисон приехать (я бы ее подвез) и заночевать у нее, с тем чтобы уже быть на месте и отправиться на вокзал, лишь когда станет известно, что поезд на подходе.

У меня с души будто камень свалился. Я думал, что когда удар наконец обрушится, Оливия перенесет его не столь болезненно. Она успела взвинтить себя до такой степени, что, по моим расчетам, пришла пора разрядиться. Может быть, невестка ей даже полюбится. Всем трем ничто не мешало наладить прекрасные отношения. К моему великому удивлению, Оливия заявила, что не поедет встречать их на станцию.

«Они страшно огорчатся», — сказал я.

«Лучше я подожду их здесь», — произнесла она со слабой улыбкой. — И не спорьте, Марк, я твердо решила».

«А я-то велел моему повару приготовить завтрак на всех»,— сказал я.

«Вот и хорошо. Вы их встретите, повезете к себе, угостите завтраком, а уж после этого пусть едут сюда. Я, понятно, отправлю за ними машину».

«Не думаю, чтоб они без вас сели завтракать»,— возразил я.

«Сядут, будьте уверены. Если поезд не опоздает, им и в голову не придет позавтракать до прибытия, так что они приедут голодные. Им не захочется пускаться в долгую поездку на пустой желудок».

Я ничего не понимал. Она с таким нетерпением ждала возвращения Тима, а вот теперь пожелала дожидаться в одиночестве, пока мы будем ублажать себя завтраком. Странно. Я предположил, что она очень переживает и хочет до самой последней минуты оттянуть встречу с женщиной, которая приехала занять ее место. Это казалось бессмысленным. На мой взгляд, часом раньше или часом позже — погоды не делало, но я знал о женских причудах, да и в любом случае, как я чувствовал, Оливия не в том настроении, чтобы ее уговаривать.

«Позвоните перед выездом, чтобы я знала, когда вас ждать»,— попросила она.

«Позвоню,— сказал я,— только вы не забыли, что я не смогу с ними приехать? Сегодня у меня «лахадский» день».

Лахад — это город, куда мне полагалось отправляться раз в неделю слушать дела. Путь туда был неблизкий, к тому же приходилось перебираться паромом через реку, что тоже отнимало время, поэтому возвращался я поздно вечером. Там жили несколько европейцев и был клуб, куда мне тоже, как правило, приходилось заглядывать — пообщаться и посмотреть, все ли в порядке.

«Кроме того,— добавил я,— Тим впервые вводит жену в свой дом, так что мое присутствие едва ли желательно. Вот если вам захочется пригласить меня к обеду, я с удовольствием приеду».

Оливия улыбнулась.

«Боюсь, впредь не мне уже рассылать приглашения, а? Придется вам попросить новобрачную».

Она обронила это так беззаботно, что я возликовал. Наконец-то, подумал я, она решила примириться с изменившимися обстоятельствами, больше того, делала это охотно. Она пригласила меня остаться пообедать. Обычно я уезжал от нее около восьми и обедал дома. В тот вечер она была со мной очень милой, чуть ли не нежной. Таким счастливым

я не бывал уже много недель, и никогда еще я не любил ее так безнадежно. За обедом я пропустил пару стаканчиков джина с горькой настойкой и, как мне кажется, был в ударе. Знаю, мне удалось ее рассмешить. Я почувствовал, что она наконец освобождается от бремени тяжкого горя. Поэтому я и позволил себе не очень серьезно отнестись к тому, что произошло в конце.

«Вам не кажется, что пришло время попроситься с задержавшейся, как считают, в девичестве дамой?» — спросила она, и спросила так легко и беспечно, что я, не задумываясь, ответил:

«Ох, любимая, вы глубоко заблуждаетесь, полагая, что от вашего доброго имени хоть что-то осталось. Не может быть, чтобы вы и вправду считали, будто дамы Сибуку не знают о моих ежедневных визитах к вам на протяжении целого месяца. Общее мнение таково, что если мы еще не поженились, то давно пора это сделать. Не кажется ли вам, что неплохо бы объявить им о нашей помолвке?»

«Ну, Марк, не нужно так уж серьезно относиться к нашей помолвке», — возразила она.

Я рассмеялся.

«Как же прикажете мне к ней относиться? Это вполне серьезно».

Она чуть покачала головой:

«Нет. В тот день я была расстроена и не в себе. А вы были со мной очень нежны. Я согласилась, потому что не было сил сказать «нет». Но с тех пор у меня было время прийти в себя. Не считайте меня жестокой. Я ошиблась и очень перед вами виновата. Вы должны меня простить».

«Дорогая, все это вздор. Вам не в чем себя упрекать».

Она пристально на меня посмотрела. Она была совершенно спокойна, в глубине ее глаз даже таилась тень улыбки.

«Я не смогу за вас выйти. Я ни за кого не смогу выйти. С моей стороны глупо было даже подумать об этом».

Я не стал торопиться с ответом. Она была какая-то странная, и я почел за благо не спорить.

«Что ж, не могу же я тащить вас силком к алтарю», — сказал я.

Я протянул ей руку, она вложила в нее свою. Я обнял ее за плечи — она не отстранилась и позволила, как было заведено, поцеловать себя в щеку.

Утром я встречал поезд. В кои веки раз он пришел вовремя. Тим помахал мне из окна, когда его вагон проплы-

вал мимо. Поезд остановился, я подошел; он уже слез и помогал спуститься жене. Он тепло потряс мне руку.

«Где Оливия? — спросил он, скользнув взглядом по перрону.— Познакомьтесь, это Салли».

Я пожал ей руку, одновременно объясняя, почему не приехала Оливия.

«Ей пришлось бы вставать в такую рань, правда?» — сказала миссис Харди.

Я сообщил, что порядок действий таков: они едут ко мне перекусить, а потом отправляются домой.

«Мечтаю о ванне», — сказала миссис Харди.

«Будет вам ванна», — пообещал я.

Она и в самом деле была весьма хорошенькая малышка, очень светлая, с огромными голубыми глазами и прямым очаровательным носиком. У нее была удивительно нежная кожа — розы с молоком. Она, конечно, чуть смахивала по типу на хористку, и ее красота могла бы кое-кому показаться довольно слащавой, но в своем стиле она была обаятельна. Мы поехали ко мне; и он и она приняли ванну, а Тим еще и побрился. Я побыл с ним наедине всего несколько минут. Он спросил, как Оливия отнеслась к его женитьбе. Я ответил, что очень расстроилась.

«Этого я и боялся, — заметил он, нахмурившись, и вздохнул: — Я не мог поступить по-другому».

Я не понял, что он хотел сказать. В эту минуту появилась миссис Харди и взяла мужа под руку. Он взял ее руку в свою, нежно пожал и посмотрел на нее довольным и каким-то насмешливо-любящим взглядом, словно не принимал ее совсем уж всерьез, но получал удовольствие от сознания, что она ему принадлежит, и гордился ее красотой. Она и вправду была миловидной. К тому же отнюдь не робкого десятка и быстро соображала; мы не были знакомы и десяти минут, как она предложила мне звать ее просто Салли. Понятно, они только что приехали, и в ней еще не улеглось возбуждение. Ей не доводилось бывать на Востоке, тут у нее от всего дух захватывало. Было ясно как день, что она по уши влюблена в Тима. Она с него глаз не сводила, ловила каждое его слово. Мы весело позавтракали и распрощались. Они сели в свою машину, чтобы ехать домой, я — в свою, чтобы ехать в Лахад. Оттуда я обещал отправиться прямоком на плантацию, да мне и в самом деле пришлось бы дать большого крюка, чтобы заглянуть к себе. Смену белья я прихватил в машину. Я не видел, почему бы Салли не прийти к Оливии по душе: искренняя, веселая, остроумная, совсем молоденькая — ей было никак не больше девятнадцати, — а

ее чудесная миловидность не могла не тронуть Оливию. Я был рад, что подвернулась уважительная причина на целый день предоставить эту троицу самим себе, однако из Лахада я выехал с мыслью о том, что они обрадуются моему приезду. Я подкатил к бунгалу и посигналил, ожидая, что кто-нибудь выйдет навстречу. Ни души. Дом был погружен во мрак. Я удивился. Стояла мертвая тишина. Я ничего не понимал. Они же должны быть у себя. Очень странно, подумал я. Я еще чуточку подождал, вылез из машины и поднялся по ступенькам. На верхней я обо что-то споткнулся, похоже, о тело. Выругавшись, я наклонился и пригляделся. Человек вскрикнул. Я увидел, что это ама. Когда я к ней прикоснулся, она отпрянула, скорчившись от ужаса, и разразилась стенаниями.

«Что случилось, черт побери?» — заорал я. Тут я почувствовал, что кто-то трогает меня за плечо, и услышал: «Туан, туан»<sup>1</sup>. Я обернулся и различил в темноте старшего слугу Тима. Он заговорил придушенным голосом. Я слушал с нарастающим ужасом. То, что он рассказал, было чудовищно. Я оттолкнул его и бросился в дом. В гостиной царил мрак. Я включил свет. Первое, что я увидел, — это съезжившуюся в кресле Салли. Мое внезапное появление испугало ее, она вскрикнула. Я едва мог вымолвить пару слов. Я спросил ее, правда ли это. Она сказала, что да, и комната поплыла у меня перед глазами. Мне пришлось сесть. Когда машина с Тимом и Салли свернула на подъездную дорожку и Тим просигналил, объявляя об их прибытии, а слуги и ама выбежали их встретить, раздался выстрел. Они кинулись в спальню Оливии и увидели ее лежащей перед зеркалом в луже крови. Она застрелилась из револьвера Тима.

«Она умерла?» — спросил я.

«Нет, послали за врачом, он отвез ее в больницу».

Я не соображал, что делаю. Даже не удосужился сообщить Салли, куда еду. Я поднялся и вышел, шатаясь. Усевшись в машину, я велел саису что есть мочи гнать в больницу. Я ворвался в приемный покой и спросил, где она. Меня пытались не пустить, но я всех растолкал. Я знал, где палаты для частных пациентов. Кто-то вцепился мне в руку, я вырвался. До меня смутно дошло, что врач приказал никого к ней не пускать. Мне было не до запретов. У двери дежурил санитар; он загородил вход рукой. Я выругался и велел ему убираться. Вероятно, я устроил скандал, но

---

<sup>1</sup> Господин (малайск.).

я уже сам себя не помнил. Дверь отворилась, и появился врач.

«Это кто тут шумит? — спросил он. — А, это вы. Что вы хотели?»

«Она умерла?»

«Нет. Но без сознания. Она так и не приходила в себя. Через час-два все будет кончено».

«Я хочу ее видеть».

«Это невозможно».

«Мы с ней помолвлены».

«Помолвлены?! — воскликнул он и так странно на меня посмотрел, что я заметил это даже в тогдашнем моем состоянии. — Тогда тем более».

Я не понял, что он имел в виду, я отупел от этих страшных событий.

«Вы ведь можете как-то ее спасти», — сказал я умоляюще.

Он покачал головой.

«Видели бы вы ее, так не стали бы об этом просить», — произнес он.

Я в ужасе на него уставился. В наступившей тишине я услышал судорожные всхлипывания какого-то мужчины.

«Кто это?» — спросил я.

«Ее брат».

Тут меня тронули за руку. Я обернулся. Это была миссис Серджисон.

«Бедный вы мой», — сказала она, — как я вам сочувствую».

«Почему, почему она это сделала?» — простонал я.

«Уйдемте, голубчик», — сказала миссис Серджисон. — Здесь вы уже ничем не можете».

«Нет, я должен остаться», — возразил я.

«Что ж, ступайте посидите у меня», — предложил врач.

Я был совсем огушен и позволил миссис Серджисон отвести меня за руку в личный кабинет врача. Она заставила меня сесть. Я все никак не мог поверить, что это правда. Я внушал себе, что это какой-то чудовищный кошмар, от которого я должен очнуться. Не знаю, сколько мы там просидели. Три часа. Может быть, четыре. Наконец пришел врач.

«Все кончено», — сообщил он.

Тут я не выдержал и разревелился. Меня мало заботило, что они обо мне подумают. Я был в такой горе.

Мы похоронили ее на другой день.

Миссис Серджисон проводила меня до дома и посидела со мной какое-то время. Она хотела, чтобы я пошел с нею в клуб. У меня не хватило духа. Она была само участие, но я вздохнул с облегчением, когда она ушла. Я попробовал читать, однако не понимал ни слова. Внутри у меня все умерло. Вошел слуга, включил свет. Голова у меня раскальвалась от боли. Снова появился слуга и сказал, что меня хочет видеть дама. Я спросил, кто это. Он ответил, что не уверен, но думает, что это новая жена туана с плантации в Путатане. Я не представлял себе, что ей могло от меня понадобиться. Я встал и вышел. Слуга не ошибся. Это была Салли. Я пригласил ее в дом. Я заметил, что она смертельно бледна. Мне ее было жалко. Для девушки ее лет это было скверное испытание, а для новобрачной — жуткий приезд в дом мужа. Она присела. Она была вся на нервах. Чтобы ее успокоить, я принялся говорить банальности. Я чувствовал себя очень неловко, потому что она уставилась на меня своими огромными голубыми глазами, которые просто омертвели от ужаса. Вдруг она меня перебила.

«Кроме вас, я никого тут не знаю, — заявила она. — Больше мне не к кому было идти. Я хочу, чтобы вы меня увезли отсюда».

Я опешил.

«В каком это смысле — увез?» — спросил я.

«Я не хочу, чтобы вы меня расспрашивали. Я хочу одного — чтобы вы меня увезли. Немедленно. Я хочу вернуться в Англию!»

«Но вы не можете сейчас так вот взять да и бросить Тима, — возразил я. — Милая моя, нельзя давать волю нервам. Понимаю, каково вам, но подумайте и о Тиме. То есть для него ваш отъезд будет такое несчастье. Если вы его любите, самое меньшее, что вы можете сделать, — это постараться хоть чуточку облегчить его горе».

«Ох, ничего вы не понимаете, — воскликнула она, — а я не могу объяснить. Это так мерзко. Умоляю — помогите мне. Если есть ночной поезд, посадите меня на поезд. Мне бы только до Пенанга добраться, а там уж я сяду на корабль. Мне не хватит сил провести здесь еще одну ночь. Я сойду с ума».

Я был в полном недоумении.

«Тим знает?» — спросил я.

«Я не видела Тима со вчерашнего вечера. И больше никогда не увижу. Лучше смерть».

Я попытался выиграть время.

«Как вы поедете без вещей? Вы собрали багаж?»

«Какое это имеет значение?! — нетерпеливо возразила она. — Все, что понадобится в дороге, у меня с собой».

«А деньги у вас имеются?»

«Мне хватит. Так есть ночной поезд?»

«Есть, — сказал я. — Приходит в самом начале первого».

«Слава Богу. Вы все уладите? Можно я пока побуду у вас?»

«Вы ставите меня в ужасное положение, — сказал я. — Я не представляю, как тут лучше всего поступить. Вы, знаете ли, делаете крайне серьезный шаг».

«Если б вы все узнали, то сами поняли, что по-другому нельзя».

«Ваш отъезд вызовет здесь грандиозный скандал. Трудно представить, какие пойдут разговоры. Вы подумали о том, каково будет Тиму? — спросил я; мне было тревожно и грустно. — Видит Бог, я не рвусь вмешиваться в то, что меня не касается, но раз вы желаете, чтобы я вам помог, я должен понимать, что к чему, чтобы себя не винить. Вы обязаны мне рассказать, что случилось».

«Не могу. Скажу только, что мне все известно».

Она закрыла лицо руками и вздрогнула. Затем встряхнулась, словно отгоняя от себя нечто непередаваемо мерзкое.

«Не было у него права на мне жениться. Это было чудовищно».

Голос у нее сделался пронзительный и визгливый. Я испугался, что у нее вот-вот начнется истерика. Ее хорошенькое кукольное личико было искажено от ужаса, глаза не мигая уставились в одну точку.

«Вы его больше не любите?» — спросил я.

«После такого?»

«Что вы будете делать, если я не стану вам помогать?»

«Надеюсь, тут есть священник или врач. Уж проводить-то вы меня проводите, не откажетесь».

«Как вы сюда добрались?»

«Привез старший слуга. Он откуда-то раздобыл машину».

«Тим знает, что вы уехали?»

«Я оставила ему записку».

«Он узнает, что вы у меня».

«Он не будет пытаться мне помешать. Это я вам обещаю. Он не посмеет. Ради всего святого, не пытайтесь и вы. Говорю вам, еще одна ночь здесь — и я сойду с ума».

Я вздохнул. В конце концов, она была достаточно взрослая, чтобы распорядиться собой.



Я, записавший все это, долго молчал.

— Вы поняли, что она имела в виду? — наконец спросил я Фезерстоуна.

Он посмотрел на меня долгим измученным взглядом.

— Она могла иметь в виду только одно, то, о чем нельзя сказать вслух. Да, я понял, можете не сомневаться. Это все объясняло. Бедная Оливия. Бедная моя любимая. Вероятно, я забыл тогда о логике и здравом смысле, но эта хорошенькая белокурая малышка с затравленными глазами в ту минуту вызывала у меня одно отвращение. Я ее ненавидел. Я помолчал, потом сказал, что сделаю все, как она хочет. Она даже не сказала «спасибо». По-моему, она догадалась о моих чувствах. Когда пришло время обедать, я заставил ее поесть. Она спросила, не найдется ли комнаты, где она смогла бы прилечь до того, как нужно будет ехать на станцию. Я отвел ее в свободную спальню и оставил одну. Сам я уселся в гостиной и принялся ждать. Господи, как же медленно тянулось время. Я думал, часы никогда не пройдут двенадцать. Я позвонил на вокзал, мне сказали, что поезд придет около двух ночи. В полночь она пришла в гостиную, мы прождали с ней полтора часа. Говорить нам было не о чем, поэтому мы молчали. Потом я отвез ее на вокзал и посадил на поезд.

— А грандиозный скандал — он был или нет?

Фезерстоун скривился.

— Не знаю. Я уехал в краткосрочный отпуск, а после получил назначение на новое место. До меня дошли слухи, что Тим продал плантацию и купил другую, но я не знал, где именно. Когда я его здесь увидел, я поначалу просто опешил.

Фезерстоун встал, подошел к столу и налил себе виски с содовой. В наступившем молчании я услышал монотонное кваканье лягушачьего хора. И тут с дерева неподалеку от дома подала голос птица, которую в здешних краях прозвали «птичка-лихорадка». Сперва три ноты в понижающейся хроматической гамме, затем пять, затем четыре. Ноты, меняясь, следовали одна за другой с тупым упорством, против воли заставляя прислушиваться и вести им счет. Поскольку же угадать их число было никак невозможно, это было форменной пыткой.

— Будь она проклята, эта птица, — сказал Фезерстоун. — Значит, мне ночью не спать.

## ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА

Народу в баре было много. Сэнди Весткот выпил пару коктейлей и теперь почувствовал, что ему хочется есть. Он взглянул на часы. Скоро десять, а он был приглашен к обеду на половину десятого. Ева Баррет всегда опаздывает, как бы не пришлось ему просидеть голодным еще целый час. Он снова обернулся к бармену, чтобы заказать себе коктейль, и в это время к стойке подошел человек.

— Хэлло, Котмен,— сказал Сэнди,— выпьете со мной?

— Пожалуй, не откажусь, сэр.

Котмен был приятного вида мужчина лет, вероятно, около тридцати, маленького роста, но так ладно сложенный, что это было незаметно, в элегантном двубортном смокинге, пожалуй, зауженном в талии, и с галстуком-бабочкой, определенно великоватым. У него были густые, волнистые черные волосы, жесткие и блестящие, которые он зачесывал со лба назад, и большие жгучие глаза. Выражался он очень интеллигентно, но выговор у него был простонародный.

— Как Стелла? — спросил Сэнди.

— Отлично, сэр. Она, знаете ли, каждый раз должна немного полежать перед выступлением. Говорит, что это очень успокаивает.

— Я бы и за тысячу фунтов не согласился повторить ее фокус.

— Да уж, конечно. Никто, кроме нее, не сможет этого сделать, то есть, понятно, если с такой высоты и воды всего только пять футов.

— В жизни я не видывал такого жуткого зрелища.

Котмен хмыкнул. Он счел это замечание лестным. Стелла была его женой. Правда, проделывала трюк и рисковала

жизнью она, но пламя придумал он, а ведь именно пламя особенно нравилось публике и обеспечило их номеру такой огромный успех. Стелла прыгала в резервуар с лестницы в шестьдесят футов высотой, а уровень воды в резервуаре, как он только что упомянул, был всего только пять футов. Перед самым ее прыжком на поверхность воды выливали немного бензина, и он поджигал его; пламя взмывало вверх, и она бросалась прямо в огонь.

— Пако Эспинель говорит, что у них в казино никогда еще не было такой приманки для публики,— сказал Сэнди.

— Я знаю. Он говорил, что в этом году в июле они продали столько обедов, сколько обычно продают в августе. И все, говорит, благодаря нам.

— Ну, надеюсь, вы на этом тоже кое-что сколачиваете?

— Да как вам сказать, сэр. Ведь у нас с ним заключен контракт, ну и мы, конечно, не знали, что будет такой бешеный успех. Но мистер Эспинель поговаривает о том, чтобы продлить контракт еще на месяц. Так вот, откровенно скажу вам: на прежних условиях или вроде того он нас больше не заполучит. Да мне только сегодня утром пришло письмо от одного агента, он зовет нас в Довиль.

— Вон пришли мои друзья,— сказал Сэнди.

Он кивнул Котмену и отошел. Из дверей выплыла Ева Баррет в сопровождении остальных гостей, которых она встретила еще внизу. Всего с Весткотом восемь человек.

— Я так и знала, что мы найдем вас тут, Сэнди,— сказала она.— Я не опоздала?

— Только на полчаса.

— Спросите всех, кому какой коктейль, а потом мы пойдем обедать.

Когда они подошли к стойке, где теперь уже почти никого не было, так как публика перебралась на террасу к обеденным столикам, проходивший мимо Пако Эспинель остановился, чтобы поздороваться с Евой Баррет. Пако Эспинель был молодой человек, промотавший свои деньги и теперь зарабатывавший на жизнь тем, что устраивал зрелища, которые должны были привлекать публику в казино. В его обязанности входило быть любезным с богатыми и знатными. Миссис Челонер Баррет была американка, вдова и обладательница огромного состояния; она не только щедро угощала знакомых, но также играла. А ведь в конечном-то счете все эти обеды и ужины и два эстрадных выступления в придачу существовали только для того, чтобы публика легче расставалась со своими деньгами за зеленым столом.

— Найдется для меня хороший столик, Пако? — спросила Ева Баррет.

— Самый лучший.— Его глаза, блестящие, черные аргентинские глаза выражали восхищение обильными стареющими прелестями миссис Баррет. Это тоже полагалось по должности.— Вы уже видели Стеллу?

— Конечно. Три раза. Никогда в жизни не видела ничего страшнее.

— Сэнди вот приходит каждый день.

— Я хочу присутствовать при ее смерти. В один прекрасный вечер она неизбежно разобьется насмерть, и мне бы не хотелось пропустить этот момент.

Пако рассмеялся.

— У нее такой успех, думаем продержат ее еще месяц. Все, что мне нужно,—это чтоб она не убилась до конца августа. А потом пусть делает что ей вздумается.

— О господи, неужели мне придется до конца августа каждый вечер питаться форелью и жареными цыплятами? — ужаснулся Сэнди.

— Сэнди, вы чудовище,—сказала Ева Баррет.— Ну, пошли, пора: я умираю с голоду.

Пако Эспинель спросил у бармена, не видал ли он Котмена. Бармен ответил, что тот пил здесь недавно с мистером Весткотом.

— Если он зайдет еще, скажите ему, что он мне нужен на пару слов.

На верхней ступеньке лестницы, ведущей на террасу, миссис Баррет задержалась ровно настолько, чтобы женщина-репортер, маленькая, изможденная, с неаккуратной прической, успела подойти к ним с блокнотом в руке. Сэнди шепотом сообщил ей имена приглашенных. Компания собралась типичная для Ривьеры. Английский лорд со своей леди, оба долговязые и тощие, готовые обедать со всяким, кто согласен кормить их бесплатно. Эти двое еще до полуночи будут пьяны, как сапожники. Здесь же была сухопарая шотландка с лицом, как у перуанского идола, выстоявшего натиск бесчисленных бурь на протяжении десяти столетий, и ее муж-англичанин. Биржевой маклер по профессии, он имел тем не менее бравый вид и замашки грубоватого добряка. Он производил впечатление такой честности, что вы испытывали больше жалости к нему, чем к себе, когда, следуя его настоятельному совету, который он давал вам из особого к вам расположения, вы же оказывались в дураках. Присутствовали здесь также одна графиня-итальянка, которая не была ни итальянкой, ни графиней,

зато прекрасно играла в бридж; и русский князь, преисполненный готовности сделать миссис Баррет княгиней, а куда занятый перепродажей шампанского, автомобилей и полотен старых мастеров. На террасе танцевали, и в ожидании, пока кончится танец, миссис Баррет с презрительным видом, который придавала ее лицу короткая верхняя губа, глядела на плотную толпу танцующих. В этот вечер в ресторане был объявлен бал, и столики стояли тесно придвинутые друг к другу. А за террасой лежало море, спокойное и немое. Музыка кончилась, и метрдотель, любезно улыбаясь, поспешил навстречу, чтобы провести Еву Баррет к столику. Она величаво прошествовала вниз по ступеням.

— Отсюда нам будет отлично видно, как она ныряет,— заметила она, усаживаясь.

— Я люблю сидеть подле самого резервуара, чтобы видеть ее лицо,— сказал Сэнди.

— А что, она хорошенькая?— спросила графиня.

— Не в том дело. Главное — это выражение ее глаз. Ей каждый раз бывает до смерти страшно.

— Ну, я лично этому не верю,— проговорил биржевой маклер, откликнувшийся на имя «полковник Гудхарт», хотя откуда у него это звание, никому не было известно.— Уверю вас, вся эта чертовщина — не более как фокус, то есть на самом деле здесь нет никакого риска.

— Быть этого не может! Она ныряет с такой высоты и воды в резервуаре так мало, что она должна вывернуться с молниеносной быстротой, как только коснется воды. Если это ей не удастся, она угодит головой прямо в дно и сломает шею.

— Вот-вот, в том-то и дело, старина,— сказал полковник.— Фокус. Тут и спорить нечего.

— Ну, если здесь нет настоящего риска, тогда и вообще смотреть не на что,— заявила Ева Баррет.— Продолжается все какую-то минутку. И если на самом деле она не рискует жизнью, то это — величайшее надувательство наших днсь. Что же это получается: мы приходим сюда по столько раз, а тут все, оказывается, сплошной обман?

— Как и все в нашей жизни, уж можете мне поверить.

— Ну что ж. Кому и знать, как не вам,— сказал Сэнди.

Если полковник и почувствовал в его словах издевку, он отлично сумел это скрыть.

— По совести сказать, я и вправду кое-что знаю,— согласился он, смеясь.— Я всегда держу ухо востро, и меня не так-то просто провести.

Резервуар находился в левом конце террасы, а позади него поднималась поддерживаемая подпорками, необычайно высокая лестница с маленькой площадкой наверху.

Сыграли еще несколько танцев, а потом, как раз когда за столом Евы Баррет ели спаржу, музыка смолкла и лампы потускнели. На резервуар направили прожектор. В сияющем кругу стоял Котмен. Он поднялся на несколько ступенек и остановился на одном уровне с краями резервуара.

— Леди и джентльмены,—выкрикнул он громко и отчетливо,—сейчас вы увидите удивительнейший номер нашего столетия. Мировая чемпионка по прыжкам в воду, мадам Стелла, прыгнет с шестидесятифутовой высоты в озеро пламени глубиной в пять футов. Это никому еще не удавалось, и мадам Стелла согласна заплатить сто фунтов всякому, кто решится сделать попытку. Леди и джентльмены, имею честь представить вам мадам Стеллу!

На широкой лестнице, ведущей на террасу, появилась маленькая фигурка, быстро пробежала к резервуару и поклонилась аплодирующей публике. На ней был мужской шелковый халат и купальная шапочка. Худое лицо загримировано, как для сцены. Графиня-итальянка навела на нее лорнет.

— Даже не хорошенькая,—высказалась она.

— Фигура красивая,—сказала Ева Баррет.— Сейчас увидите.

Стелла выскользнула из халата и отдала его Котмену. Он спустился вниз. Она постояла еще минуту, глядя на публику. В зале было темно, ей видны были только расплывчатые белые лица и белые манишки. Она была замечательно сложена — маленькая, с длинными ногами и стройными бедрами. Купальный костюм едва прикрывал ее тело.

— Вполне согласен с вами насчет фигуры, Ева,—сказал полковник.— Не очень развитые формы, конечно, но я знаю, вы, женщины, считаете, что это как раз то, что надо.

Стелла начала подниматься по ступенькам, прожектор следовал за ней. Казалось, лестнице нет конца. Ассистент вылил на поверхность воды бензин. Котмену подали горящий факел. Он подождал, пока Стелла достигла верхушки лестницы и стала на площадке.

— Готово? — крикнул он.

— Да.

— Allez!

И с этим возгласом он сунул в воду горящий факел. Вспыхнуло пламя, языки устрашающе взметнулись ввысь. В тот же миг Стелла прыгнула. Она мелькнула молнией —

прямо в огонь, который погас, едва она скрылась под водой. Еще секунда — и она была на поверхности, и выскочила из резервуара навстречу грому, целой буре аплодисментов. Котмен набросил на нее халат. Она все кланялась и кланялась. Аплодисменты не стихали. Заиграла музыка. Сделав на прощание плавный жест рукой, она сбежала по ступенькам, пробралась между столиками и скрылась за дверь. Включили свет, и официанты, словно спохватившись, засуетились со своими подносами.

Сэнди Весткот вздохнул, разочарованно или облегченно — он и сам не знал.

— Шикарно, — сказал английский вельможа.

— Явное надувательство, — сказал полковник с чисто британским упорством. — Готов поспорить на что угодно.

— Не успеешь оглянуться, как уже все кончилось, — сказала супруга английского лорда. — Право же, за свои деньги можно бы ожидать большего.

Деньги-то, конечно, были не ее. Она своих денег никогда не платила. Графиня-итальянка перегнулась через стол. Она говорила по-английски свободно, но с сильным акцентом.

— Ева, дорогая, кто эти удивительные люди, вон за столиком возле двери, которая под балконом?

— Умора, а? — отозвался Сэнди. — Я прямо глаз от них отвести не могу.

Ева Баррет взглянула туда, куда указывала графиня, и русский князь, который сидел спиной к тому столику, тоже обернулся.

— Невероятно! — воскликнула Ева. — Нужно спросить у Анджело, кто это такие.

Миссис Баррет принадлежала к числу женщин, которые знают по именам метрдотелей во всех лучших ресторанах Европы. Она велела официанту, наливавшему ей вино, прислать к ней Анджело.

Действительно, то была очень странная пара. Они сидели одни за маленьким столиком. Они были очень стары. Он, высокий и грузный, с целой шапкой белых волос, большими мохнатыми белыми бровями и огромными белыми усами, напоминал покойного короля Италии Умберто, но только вид у него был более королевский. Сидел он идеально прямо. На нем был фрак, белый галстук и воротничок, из тех, что уже лет тридцать как вышли из моды. С ним была маленькая старушка в черном атласном бальном платье с большим декольте и затянутая в талии. На шее у нее висело несколько ниток цветных бус. Сразу было видно, что

она носит парик, и притом плохо пригнанный — сплошные кудряшки и локончики цвета воронова крыла. Лицо у нее было грубо размалевано — ярко-синяя краска под глазами и на веках, брови неестественно черные, на щеках по пятну очень красных румян, а губы фиолетово-пурпурные. Кожа висела на лице глубокими складками. У нее были большие и смелые глаза, и она метала от столика к столику взоры, исполненные живого интереса. Она разглядывала все вокруг, то и дело указывая на кого-нибудь своему спутнику. Вид этой четы среди модной публики, среди мужчин в смокингах и женщин в легких платьях светлых тонов, был настолько фантастичен, что глаза многих были устремлены в их сторону. Однако это, видимо, ничуть не смущало старушку. Чувствуя, что на нее смотрят, она начинала лукаво поднимать брови, улыбаться и играть глазами. Кажалось, она вот-вот вскочит и поклонится, прижав ручку к сердцу.

Анджело поспешил подойти к выгодной клиентке, какой была Ева Баррет.

— Вы желали меня видеть, миледи?

— Ах, Анджело, нам просто до смерти интересно узнать, кто эти удивительнейшие люди там за столиком, возле двери?

Анджело оглянулся и тут же принял сокрушенный вид. Всем своим лицом, движением плеч, поворотом спины, жестом руки, быть может, даже подергиванием пальцев на ногах он как бы и подсмеивался и оправдывался.

— Пожалуйста, не взъежитесь, миледи.— Он, разумеется, знал, что у миссис Баррет не было права на такое обращение (точно так же, как он знал, что графиня-итальянка не была ни итальянкой, ни графиней и что английский лорд никогда не платил за себя сам, если это мог за него сделать кто-нибудь другой), но он знал также, что такое обращение не было ей неприятно.— Они очень просили, чтоб я дал им столик, потому что им хотелось увидеть, как ныряет мадам Стелла. Они когда-то сами выступали. Я, конечно, знаю, они не того сорта публика, какая бывает в нашем ресторане, но они так настаивали, что у меня просто не хватило духу им отказать.

— Ах, но ведь они сплошной восторг. Они мне страшно нравятся.

— Это мои старинные знакомые. С ним мы земляки,— метрдотель снисходительно усмехнулся.— Я сказал, что оставляю за ними столик при условии, что они не будут танцевать. На это я, понятно, пойти не мог, миледи.



— Ах, а мне бы так хотелось поглядеть, как они танцуют.

— Всему должен быть предел, миледи,— важно произнес Анджело.

Он улыбнулся, поклонился еще раз и отошел.

— Глядите! — воскликнул Сэнди. — Они уходят.

Смешная старая чета уже расплачивалась. Старик встал и набросил на плечи своей супруге большое боа из белых, но не слишком чистых перьев. Она поднялась. Он подал ей руку, держась очень прямо, и она, такая маленькая рядом с ним, засемила к выходу. У ее черного атласного платья был длинный шлейф, и Ева Баррет (которой было уже за пятьдесят) завизжала от восторга.

— Поглядите-ка, я помню, моя мамочка носила такие платья, когда я ходила в школу.

Забавная пара все так же рука об руку прошла по просторным залам казино и остановилась у двери. Старик обратился к швейцару:

— Будьте добры сказать нам, как пройти в артистическую. Мы хотим засвидетельствовать свое почтение мадам Стелле.

Швейцар оглядел их критическим взглядом. С такими людьми не обязательно быть особенно вежливым.

— Ее там нет.

— Разве она уже ушла? Я думал, что в два часа она выступает еще раз?

— Правильно. Они, наверно, в баре сидят.

— По-моему, худого в том не будет, если мы заглянем туда, Карло,— заметила старая леди.

— Хорошо, моя милая,— ответил он, налегая на раскатистое «р».

Они медленно поднялись по широкой лестнице и вошли в бар. Здесь не было никого, кроме помощника бармена и какой-то парочки, сидящей в креслах в углу. Старая леди сразу же отпустила локоть мужа и засемила к ним, еще издали протягивая обе руки.

— Здравствуйте, милочка. Я сижу там и чувствую, что просто непременно должна поздравить вас, ведь я тоже англичанка. И потом, я сама выступала. У вас отличный номер, моя милая, вы заслужили этот успех.— Она повернулась к Котмену.— А это муж ваш?

Стелла поднялась из кресла и с застенчивой улыбкой на губах смущенно слушала говорливую старую леди.

— Да, это Сид.

— Очень приятно,— сказал он.

— А вот это мой,— сказала старая леди, легонько поведя локтем в сторону своего спутника.— Мистер Пенецци. На самом-то деле он граф, а я по всем правилам графиня Пенецци, но мы теперь не ставим титул, с тех пор как кончили выступать.

— Может быть, вы выпьете с нами? — предложил Котмен.

— Нет, нет, позвольте нам угостить вас,— запротестовала миссис Пенецци, опускаясь в кресло.— Карло, закажи.

Подошел бармен, и после небольшого совещания были заказаны три бутылки пива. Стелла пить отказалась.

— Она никогда ничего не пьет до второго выступления,— объяснил Котмен.

Стелла была маленькая хрупкая женщина лет двадцати шести, со светло-каштановыми волосами, коротко подстриженными и завитыми, и серыми глазами. Она подкрасила губы, но румян у нее на щеках почти не было, она казалась бледной. Ее нельзя было назвать красивой, но у нее было ясное, точеное личико. На ней было очень простое вечернее платье из белого шелка. Принесли пиво, и мистер Пенецци, человек, очевидно, не очень разговорчивый, сделал несколько больших глотков.

— А вы чем занимались?— вежливо спросил Котмен.

Миссис Пенецци устремила на него взгляд своих живых подведенных глаз и обратилась к мужу:

— Скажи им, кто я, Карло.

— Женщина — Пушечное ядро,— провозгласил он.

Миссис Пенецци радостно заулыбалась и по-птичьки быстро перевела взгляд с Котмена на Стеллу. Оба с тревогой глядели на нее.

— Флора, Женщина — Пушечное ядро,— повторила она.

Она так явно рассчитывала произвести на них впечатление, что они просто растерялись. Стелла озадаченно взглянула на своего Сида. Он поспешил на помощь:

— Это, верно, было еще до нас.

— Конечно, до вас. Ведь мы ушли со сцены в тот самый год, как умерла покойница королева Виктория. Наш уход тоже вызвал целую сенсацию. Вы наверняка слышали обо мне.— Она видела, что лица их по-прежнему выражают недоумение; тон ее несколько изменился.— Но ведь у меня в Лондоне был такой шумный успех. Я выступала в старом «Аквариуме». Все самые важные люди приходили посмотреть на меня. Принц Уэльский, да и вообще, кого там только не было. Весь город обо мне говорил. Правда, Карло?

— Публика целый год валом валила из-за нее в «Аквариум».

— Это у них за все время был самый эффектный номер. Да вот, еще совсем недавно я как-то пошла и представилась леди Де Бат. Знаете, Лили Лэнгтри. Она тогда здесь жила. Так она меня отлично помнила. Она сказала, что видела меня десять раз.

— А что вы делали? — спросила Стелла.

— Мною выстреливали из пушки. Поверьте, это была целая сенсация. А после Лондона я объездила со своим номером весь мир. Да, моя милая, теперь я женщина старая и не собираюсь отрицать этого. Мистеру Пенецци вот семьдесят восемь лет исполнилось, да и мне уже за семьдесят, но когда-то мои портреты были расклеены по всему Лондону. Леди Де Бат сказала мне: «Дорогая моя, вы были такой же знаменитостью, как и я». Но ведь знаете, какая у нас публика, увидят что-нибудь хорошее, так прямо голову теряют, да только подавай им все время новенькое, а то им надоедает и они перестают ходить. Так будет и с вами, моя милая, в точности как и со мной. Это никого не минует. Но у мистера Пенецци всегда была голова на плечах. Он сызмальства артистом. В цирке. Он был шталмейстером, когда я с ним познакомилась. Я тогда выступала в акробатической труппе. Акробаты на трапеции, знаете? Он и сейчас еще видный мужчина, но посмотрели бы вы на него тогда, как он в русских сапогах и бриджах и в облегающем сюртуке со шнурами по всему переду целкал своим длинным хлыстом, а лошади его скакали по арене круг за кругом, — я красивей мужчины в жизни не видывала.

Мистер Пенецци ничего не сказал, но задумчиво pokrutil свои огромные белые усы.

— Ну и вот, я уже вам сказала, он не из тех, кто без толку швыряется деньгами, и когда нам не могли больше устроить ангажемент, он говорит: «Давай перестанем выступать совсем». И он, конечно, был прав: ведь если ты первая звезда в Лондоне, так после этого уж нельзя вернуться обратно в цирк, а мистер Пенецци на самом-то деле граф, и ему нужно о своем достоинстве помнить, — вот мы и приехали сюда, купили себе дом и открыли пансион. Мистер Пенецци всегда мечтал о чем-нибудь в этом роде. Мы уже тридцать пять лет живем здесь. И дела у нас шли не так-то плохо, вот только за последние два-три года, когда случился кризис, стало похуже, да и клиенты теперь пошли совсем не те, что были, когда мы только начинали, все им чего-то надо: то подавай электричество, то водопро-

вод в комнатах, а то вообще бог весть что. Дай им нашу карточку, Карло. Мистер Пенецци сам стряпает, и если когда-нибудь вам нужен будет настоящий домашний уют вдали от дома, вы теперь знаете, где его найти. Я люблю артистов, и у нас с вами будет о чем поговорить, моя милая. Я так считаю, кто был артистом, тот уж им и останется.

В этот момент вернулся старший бармен, отлучавшийся поужинать. Он увидел Сиду.

— Мистер Котмен, вас искал мистер Эспинель, ему непременно нужно вас видеть.

— Вот как? А где он?

— Поищите, он где-то здесь.

— Ну мы пойдем,— сказала миссис Пенецци, поднимаясь.— Заходите к нам как-нибудь позавтракать. Я бы показала вам мои старые фотографии и вырезки из газет. Подумать только, вы даже не слышали про Женщину— Пушечное ядро! Да ведь я была знаменита не меньше, чем лондонский Тауэр!

Миссис Пенецци не обидело, что эти молодые люди даже не слышали о ней. Ее это просто забавляло.

Они распрощались, и Стелла снова опустилась в кресло.

— Сейчас допью пиво,— сказал Сид,— и пойду узнаю, что нужно Пако. Ты здесь останешься, детка, или подынешься к себе?

Она сидела, крепко сжав кулаки. На вопрос она не ответила. Сид взглянул на нее и поспешно отвел глаза.

— Эта старушка просто прелесть,— жизнерадостно продолжал он.— Вот комичное создание! А ведь она нам, кажется, правду рассказала. Хотя трудно поверить, ей-богу. Представить себе, что лет этак сорок тому назад за ней весь Лондон бегал. А она-то думает, что ее и теперь помнят, вот забавно. Никак в толк не могла взять, что мы о ней даже не слышали.

Он снова взглянул на Стеллу, украдкой, чтобы она не заметила, что он на нее смотрит. Она беззвучно плакала. Слезы катились по ее бледному лицу.

— В чем дело, девочка?

— Сид, я не могу прыгать сегодня второй раз,— всхлинула она.

— Да почему же?

— Я боюсь.

Он взял ее за руку.

— Ну, нет. Я достаточно хорошо тебя знаю,— сказал он.— Ты самая храбрая женщина в мире. Выпей-ка бренди, это тебя подбодрит.

— Нет, от этого только хуже будет.

— Но ведь ты не можешь обмануть ожидания публики.

— Это подлая публика! Скоты, только и знают, что пить и объедаться. Сборище болтливых болванов, которым некуда деньги девать. Видеть их не могу. Им наплеватель, что я жизнью рискую.

— Конечно, они ищут сильных ощущений, я не спору,— в замешательстве сказал он.— Но ведь ты знаешь не хуже моего, что риска тут нет, если только не терять самообладания.

— А я совсем потеряла самообладание, Сид. Я разобьюсь.

Она слегка повысила голос, и он быстро оглянулся на бармена. Но бармен был занят чтением газеты и не обращал на них внимания.

— Ты ведь не знаешь, как это все выглядит сверху, когда смотришь оттуда вниз, на резервуар. Честное слово, я сегодня думала, я упаду в обморок. Я не могу прыгать сегодня второй раз, слышишь? Ты должен избавить меня от этого, Сид.

— Если ты смалодушничаеть сегодня, то завтра тебе будет еще труднее.

— Нет, не труднее. Меня доконало, что нужно прыгать по два раза, да еще ждать столько времени. Ты пойди к мистеру Эспинелю и скажи ему, что я не могу давать по два выступления за вечер. У меня нервы не выдерживают.

— Он никогда на это не пойдет. Все их доходы от ужинов держатся на тебе. Ведь люди приходят сюда в это время, только чтобы поглядеть на тебя.

— Ничего не поделаешь. Говорю тебе, я больше так не могу.

Он помолчал. По ее бледному лицу все еще катились слезы, и он видел, что она быстро теряет над собой власть. Он уже несколько дней чувствовал что-то неладное и беспокоился. Пытался не дать ей заговорить. Он смутно понимал, что лучше будет, если она не выразит словами то, что чувствует. Но он волновался. Потому что он ее любил.

— Эспинель все равно хотел меня видеть,— сказал он.

— Что ему надо?

— Не знаю. Я скажу ему, что ты не можешь давать больше одного выступления за вечер, и посмотрим, что он на это ответит. Ты меня здесь подождешь?

— Нет, я пойду к себе наверх.

Десять минут спустя он прибежал к ней возбужденный, веселый, довольный. Он широко распахнул дверь.

— У меня для тебя отличные новости, дорогая. Они оставляют нас еще на месяц и будут платить вдвое.

Он подскочил к ней, чтобы обнять и поцеловать ее, но она его оттолкнула.

— Должна я прыгать сегодня второй раз?

— Боюсь, что да. Я пробовал было договориться только на одно выступление в день, но он и слушать не захотел. Говорит, это совершенно необходимо, чтобы ты прыгала во время ужина. И право же, за двойную-то плату дело стоит того.

Тут она бросилась на пол и разразилась целой бурей слез.

— Не могу я, Сид, не могу! Я разобьюсь насмерть.

Он сел подле нее на пол, поднял ее голову, он обнял ее и ласково погладил.

— Возьми себя в руки, детка. Не можем же мы отказаться от такой суммы. Подумай только, этого хватит нам на целую зиму, и можно будет ничего не делать. Да и осталось-то всего каких-нибудь четыре дня в июле, а потом — только один август.

— Нет, нет, я боюсь. Я не хочу умирать, Сид. Я люблю тебя.

— Я знаю, детка, а я люблю тебя. Да я с тех пор, как мы поженились, ни разу не взглянул на другую женщину. У нас еще никогда не было таких денег и никогда больше не будет. Ты же знаешь, как это бывает, сейчас у нас шумный успех, но ведь рано или поздно это кончится. Надо ковать железо, пока горячо.

— Неужели ты хочешь, чтобы я умерла, Сид?

— Глупенькая. Ну что бы я делал без тебя? Нельзя так распускаться. Не забывай о собственном достоинстве. Ведь ты мировая знаменитость.

— Как Женщина — Пушечное ядро,— подхватила она со злобным смешком.

«Проклятая старуха»,— подумал он.

Он знал, что это было последней каплей. Обидно, что Стелла так ко всему этому относится.

— Она открыла мне глаза,— продолжала Стелла.— Ну для чего они по столько раз приходят и смотрят, как я прыгаю? Надеются, а вдруг им повезет и они увидят, как я разобьюсь насмерть. Я умру, а через неделю они забудут даже, как меня звали. Вот она какая, твоя публика. Я все поняла, когда увидела эту размалеванную старую куклу. О Сид, как я несчастна!— Она обвила руками его шею, прижалась щекой к его щеке.— Не уговаривай меня, Сид. Я не могу прыгать второй раз.

— Сегодня не можешь? Если ты в самом деле так сегодня расстроилась, я скажу Эспинелю, что тебе стало дурно. Думаю, на один раз это сойдет.

— Не сегодня, а вообще. Никогда.

Она почувствовала, что он весь замер.

— Сид, милый, не думай, что это у меня каприз. Это не сегодня ко мне пришло, оно назревало уже давно. По ночам я заснуть не могу, все думаю об этом, а как только задремлю, мне снится, что я стою на верхушке лестницы и смотрю вниз. Я сегодня едва на нее поднялась, так я дрожала, а когда ты поджег бензин и крикнул «allez», меня словно что-то не пускало вниз. Сама не знаю, как я прыгнула. Помню только, что уже стою внизу, а кругом все хлопают. Сид, если бы ты любил меня, ты бы не заставлял меня идти на такую пытку.

Он вздохнул. У него и у самого глаза были мокры от слез, потому что он преданно любил ее.

— Ты ведь знаешь, что это для нас означает. Прежняя жизнь. Марафоны и все такое.

— Что угодно, только не это.

Прежняя жизнь. Они оба помнили ее. Сид с восемнадцати лет был танцором-жиголо; он был очень хорош собой, смуглый, похожий на испанца и горячий, старухи и пожилые женщины охотно платили за то, чтобы потанцевать с ним, и он никогда не сидел без работы. Из Англии его забросило на континент, и здесь он и остался, кочуя из отеля в отель — зимой на Ривьере, а летом на водах во Франции. Жилось неплохо, их обычно было двое-трое, и они вместе снимали где-нибудь дешевую комнату. Вставать они могли поздно, чтобы только успеть одеться к двенадцати часам, когда надо было являться в отель и танцевать с толстыми женщинами, которые хотели похудеть. После этого до пяти они были свободны, а потом снова приходили в отель и садились за столик все втроем, поглядывая по сторонам, всегда готовые обслужить желающих. У них были свои постоянные клиентки. Вечером они переходили в ресторан, и администрация кормила их вполне приличным обедом.

В перерыве между блюдами они танцевали. Можно было неплохо заработать. Обычно от тех, с кем они танцевали, они получали от пятидесяти до ста франков. Иной раз какая-нибудь богатая дама, потанцевав со своим жиголо два или три вечера подряд, давала ему даже целую тысячу. А иной раз пожилая женщина предложит провести с ней ночь, и тогда ты получаешь за это двести пятьдесят франков. И всегда оставалась надежда, что какая-нибудь старая

дура потеряет голову, и тогда можно было получить платиновое кольцо с сапфиром, портсигар, что-нибудь из одежды и часы-браслетку. Один из приятелей Сида женился на такой, она годилась ему в матери, но зато подарила ему автомобиль, давала деньги на игру, у них была красивая вилла в Биаррице. То были хорошие времена, когда денег у всех было хоть отбавляй. Потом наступил кризис и больно ударил по их профессии. Гостиницы пустовали, и редко кто готов был платить за удовольствие потанцевать с красивым молодым человеком. Все чаще и чаще случалось, что Сид за целый день не зарабатывал себе даже на выпивку, и не раз уже бывало, что какая-нибудь жирная старуха весом в тонну имела наглость заплатить ему десять франков. Расходы его не сократились,— надо было хорошо одеваться, иначе управляющий отелем делал замечание, уйму денег стоила стирка, а сколько белья ему было нужно, со стороны и не представишь себе; потом, ботинки, на этих полах ботинки прямо горели, а нужно было, чтобы они выглядели, как новые. И еще он должен был платить за комнату и завтрак.

Именно в это время он встретился со Стеллой. Было это в Эвианс, где сезон оказался просто катастрофическим. Она давала уроки плавания. Она приехала из Австралии, где прославилась своими прыжками в воду. По утрам и после обеда она демонстрировала публике свое искусство. На вечера она была ангажирована на танцы в отель. Они обедали вдвоем в ресторане за отдельным столиком в стороне от посетителей, а когда оркестр начинал играть, они танцевали, чтобы увлечь публику своим примером. Но часто никто не соблазнялся, и они танцевали одни. Ни ему, ни ей платные партнеры почти не подвертывались. Они влюбились друг в друга и к концу сезона поженились.

Они никогда не раскаивались в этом. Им пришлось несладко. Даже несмотря на то, что по деловым соображениям они скрывали свой брак (пожилым дамам как-то не очень нравилось танцевать с женатым мужчиной в присутствии его жены), все-таки достать в отелях работу на двоих было довольно сложно, а одному Сиду никак не под силу было заработать им обоим на жизнь, даже на самую скромную. Дела для жиголо были из рук вон плохи. Они уехали в Париж и там подготовили танцевальный номер, но конкуренция была просто ужасная, и ангажемент на эстрадные выступления почти невозможно было получить. У Стеллы отлично получались бальные танцы, но в то время в моде была акробатика, и, сколько бы они ни тренировались, ей ни разу не удалось сделать ничего из ряда вон выходящего.



А танец апашей всем уже приелся. Они по неделям сидели без работы. Часы-браслетка Сида, его золотой портсигар, его платиновое кольцо — все ухнуло в ломбард. Наконец они оказались в Ницце, доведенные до такого состояния, что Сиду пришлось заложить свой парадный костюм. Это была полная катастрофа. Они вынуждены были принять участие в марафоне, который затеял какой-то предприимчивый антрепренер. Они танцевали двадцать четыре часа в сутки с перерывом в пятнадцать минут каждый час. Это было страшно. У них болели ноги, деревнели ступни. Иногда они надолго переставали сознавать, что делают. Просто двигались в такт музыке, стараясь по возможности беречь силы. Это принесло им немного денег, им давали франков по сто или двести для ободрения, и время от времени, чтобы привлечь к себе внимание присутствующих, они, встряхнувшись, принимались танцевать «на публику», со всем своим искусством. Если публика была настроена доброжелательно, это давало им приличную сумму. Они страшно устали. На одиннадцатый день Стелла упала в обморок, и ей пришлось выйти из игры. Сид продолжал танцевать один, двигаясь и двигаясь без остановки, в своем гротескном танце без партнерши. То было самое тяжелое время в их жизни. Полное падение. Оно оставило по себе страшную, унижительную память.

Но именно тут-то Сида и осенило вдохновение. Оно пришло к нему в танцевальной зале, когда он медленно двигался один по кругу. Стелла всегда говорила, что могла бы нырять в блюдце. Тут требовалось только мастерство.

— Странно это, как идеи приходят в голову, — говорил он потом. — Будто вспышка молнии.

Он вдруг вспомнил, как какой-то мальчишка поджег однажды у него на глазах пролитый на мостовую бензин и как сразу взметнулись языки пламени. Потому что, конечно, именно это пламя, этот эффектный прыжок в огонь привлек к ним внимание публики. Он сразу же бросил танцевать, до того разволновался. Он переговорил со Стеллой, и она тоже увлеклась этой затеей. Он написал одному своему знакомому агенту; Сида все любили, он был симпатичный паренек, и агент ссудил их деньгами на реквизит. Он устроил им ангажемент в парижском цирке, и их номер понравился. После этого дело пошло. Ангажементы следовали один за другим. Сид заново оделся с головы до ног, а вершиной всего был тот день, когда они устроились в летнее казино на побережье. Сид вовсе не преувеличивал, говоря, что Стелла имеет бешеный успех.

— Теперь наши тяготы позади, старушка, — ласково говорил он. — Мы можем отложить кое-что про черный день, а когда этот номер публике приестся я возьму и придумаю что-нибудь еще.

И вот теперь, в самый разгар их процветания, Стелла вдруг хочет все бросить. Он не знал, что ей сказать. У него сердце разрывалось, оттого что ей было так плохо. Он любил ее теперь еще больше, чем тогда, когда они поженились. Он любил ее за все то, что они пережили вместе; ведь как-то они целых пять дней питались ломтем хлеба в день и стаканом молока на двоих, и он любил ее за то, что она вытаскала его из этой жизни; у него теперь опять были хорошие вещи и еда три раза в день. Он не мог смотреть на нее, не мог видеть страдальческого выражения ее милых серых глаз. Она робко протянула руку и коснулась его руки. Он глубоко вздохнул.

— Ты ведь знаешь, что это для нас означает. Связи в отелях мы растеряли, да и вообще со старым покончено. Если и есть там еще что, так это достается тем, кто помоложе нас с тобой. Ты ведь не хуже меня знаешь, чего хотят старые женщины — им подавай мальчиков, — да и потом, у меня рост маловат. Это было не так уж важно, пока я был младенцем. А что толку говорить, будто сейчас я не выгляжу на свои тридцать лет?

— Может, мы могли бы сниматься в кино?

Он пожал плечами. Они уже один раз пытались, когда дела у них были особенно плохи.

— Я бы на любую работу пошла. Хоть продавщицей в магазин.

— Ты думаешь, работа у тебя на дороге валяется?

Она снова заплакала.

— Не надо, дорогая, тырываешь мне сердце.

— У нас ведь кое-что отложено.

— Да, верно. Месяцев на шесть хватит. А потом будем голодать. Сначала позакладываем всякую мелочь, а потом пойдет и одежда, как в тот раз. А потом танцы по захудалым пивным за бесплатный ужин и пятьдесят франков в ночь. Целые недели без работы. И марафон — всякий раз, как его объявят. Да и долго ли публика будет интересоваться ими?

— Я знаю, Сид, ты думаешь, что с моей стороны это безрассудство.

Теперь он повернулся, поглядел на нее. У нее в глазах были слезы. Он улыбнулся ей своей неотразимой, ласковой улыбкой.

— Нет, я так не думаю, детка. Я хочу, чтоб тебе было хорошо. Ведь, кроме тебя, у меня никого нет. Я тебя люблю.

Он обнял ее и прижал к себе. Он слышал, как у нее бьется сердце. Раз Стелла так к этому относится, значит, ничего не поделаешь. Ведь правда, вдруг она разобьется насмерть? Нет, нет, пусть лучше она все бросит, и к чертям эти деньги.

Она слегка пошевелилась.

— Ты что, девочка?

Она высвободилась и встала. Подошла к туалетному столику.

— Мне пора уже, наверно, готовиться к выходу.

Он вскочил.

— Ты сегодня не будешь прыгать.

— И сегодня, и каждый день, куда не убьюсь. Что же еще остается? Ты прав, Сид, я понимаю. Я не смогу вернуться опять в эти вонючие номера в третьсразрядных отелях и чтоб опять нечего было есть. Ох, эти марафоны. И зачем ты только о них вспомнил? Целые дни движешься усталая, грязная, а потом все-таки приходится выйти из игры, потому что сил человеческих нет больше терпеть. Может быть, я и правда продержусь еще месяц, и тогда у нас будет довольно денег, чтобы ты успел подыскать что-нибудь.

— Нет, дорогая. Я так не могу. Бросим это. Как-нибудь устроимся. Мы с тобой и раньше голодали, можем и еще поголодать.

Она скинула с себя всю одежду и мгновение стояла в одних чулках, глядя в зеркало. Она безжалостно улыбнулась своему отражению.

— Я не могу обмануть ожидания публики,— со смешком сказала она.

---

## ВКУСИВШИЙ НИРВАНЫ<sup>1</sup>

Люди в большинстве,— собственно говоря, в подавляющем большинстве,— ведут ту жизнь, которую им навязывают обстоятельства, и хотя некоторые тоскуют, чувствуют себя не на своем месте и думают, что обернись все иначе, так они сумели бы себя показать, прочие же, как правило, приемлют свой жребий если не безмятежно, то покорно. Они подобны трамваю, который вечно катит по одним и тем же рельсам. И они неизменно движутся взад-вперед, взад-вперед, пока в силах, а потом идут на слом. И не так часто встречаешь человека, который сам смело определил ход своей жизни. Если вам подобная встреча выпадет, к такому человеку стоит присмотреться получше.

Вот почему мне было любопытно познакомиться с Томасом Уилсоном. Он поступил необычно и смело. Разумеется, эксперимент еще не кончился, а до тех пор судить о его успешности не приходилось. Но то, что мне довелось о нем услышать, рисовало его в необычном свете, и я решил, что с ним стоит познакомиться. Меня предупредили, что он очень замкнут, но терпение и такт, казалось мне, в конце концов обязательно побудят его выбрать меня в наперсники. Я хотел услышать всю историю из его собственных уст. Люди преувеличивают, они склонны романтизировать, и я был готов к тому, что его история окажется далеко не такой особенной, как меня уверяли.

И впечатление это подтвердилось, когда я наконец с ним встретился. Это было на пляже в Капри (я проводил там август на вилле друга) и незадолго до заката, когда почти все обитатели городка — и туземцы и иностранцы —

---

<sup>1</sup> © Перевод. Гурова И., 1992 г.

собираются там поболтать с приятелями в вечерней прохладе. Одна терраса выходит на Неаполитанский залив, и когда солнце медленно опускается в море, остров Искья вырисовывается темным силуэтом на фоне многоцветного сияния. Это одно из самых прекрасных зрелищ в мире. Я стоял, созерцая его, рядом с моим другом и хозяином, как вдруг он сказал:

— Поглядите, вон Уилсон.

— Где?

— Сидит на парапете спиной к нам. В голубой рубашке.

Я увидел ничем не примечательную спину, небольшую голову, короткие, довольно жидкие, седые волосы.

— Вот если бы он обернулся! — сказал я.

— Обернется через минуту-другую.

Мгновение ошеломляющей красоты миновало. И солнце макушкой апельсина погружалось в винно-багряное море. Мы повернулись и, прислонясь к парапету, смотрели на людей, которые прогуливались взад и вперед, оживленно разговаривая. Веселая многоголосица бодрила и радовала, а тут еще зазвонил церковный колокол, заметно надтреснутый, но тем не менее звучный и гулкий. Пьяцца в Капри, где башенка с часами осеняет пешеходную дорожку, поднимающуюся от порта, и широкие ступени ведут выше к церкви, выглядит идеальной декорацией какой-нибудь опере Доницетти: так и кажется, что говорливая толпа вот-вот преобразится в поющий хор. Все было пленительным и нереальным.

Это зрелище меня поглотило, и я не заметил, что Уилсон прыгнул с парапета и направился в нашу сторону. Когда он проходил мимо, мой друг его окликнул:

— А, Уилсон! Последние дни вас что-то на пляже не видно.

— Перемены ради я купался за мысом.

Мой друг познакомил нас. Уилсон пожал мне руку — вежливо, но безразлично. В Капри на несколько дней или недель приезжает множество людей, и, естественно, он постоянно знакомился с кем-то, кто только что приехал и завтра уедет. Затем мой друг пригласил его пойти с нами выпить.

— Но я иду домой ужинать, — сказал он.

— А ужин подождать не может? — спросил я.

— Наверное, может, — улыбнулся он.

Зубы у него были довольно скверными, но улыбка — очень приятной. Мягкой и доброй. На нем была бумажная

рубашка и серые брюки из тонкого холста, мятые и не слишком чистые, а на ногах — старенькие сандалии. Облечение это выглядело очень живописно и подходило и к месту и к климату, но не вязалось с его лицом — морщинистым, вытянутым, черным от загара, тонкогубым, с небольшими, близко посаженными серыми глазами и правильными мелкими чертами. Лицо не то чтобы невзрачное — в молодости Уилсон, возможно, был даже красив, — но чопорное. Голубая рубашка была расстегнута на груди, а серые холщовые брюки он носил так, словно они ему не принадлежали, но потерпев кораблекрушение в одной пижаме, он вынужден был надеть то, чем его снабдили добрые люди. Даже в таком прихотливом костюме он выглядел, как управляющий отделением страхового общества, которому положено носить черный сюртук с темно-серыми брюками, белый воротничок и галстук неяркой расцветки. Мне даже представилось, как я прихожу к нему получить страховые деньги за потерянные часы и, отвечая на его вопросы, все больше чувствую себя угнетенным его несомненным, несмотря на безупречную вежливость, убеждением, что люди, предъявляющие подобные претензии, либо дураки, либо мошенники.

Мы неторопливо пошли вместе по пянце и дальше по улице до «У Моргано». И сели в саду. Вокруг нас другие посетители разговаривали по-русски, по-немецки, по-итальянски и по-английски. Мы заказали выпить. Донна Лючия, супруга хозяина, вперевалку подошла к нашему столику и низким мелодичным голосом пожелала нам доброго вечера. Уже в годах и дородная, она все еще сохраняла остатки той несравненной красоты, которая тридцать лет назад заставляла художников писать столько скверных ее портретов. Глаза, большие и томные, были глазами волоокой Геры, а улыбка — ласковой и любезной. Мы, трое, некоторое время болтали о том о сем — в Капри все время разыгрываются скандалы и скандалчики, давая пищу для таких разговоров, но ничего интересного сказано не было, и вскоре Уилсон попрощался и ушел. А мы не спеша побрели на виллу моего друга ужинать. По дороге он спросил меня, как мне показался Уилсон.

— Никак, — сказал я. — По-моему, в вашем рассказе нет ни слова правды.

— Почему?

— Он не такой человек, чтобы поступить так.

— Как знать, на что бывает способен человек?

— Я определил бы его, как абсолютно нормального, ушедшего на покой дельца, который живет на проценты

с капитала, помещенного в государственные бумаги. Мне кажется, история, которую вы мне рассказали, обычные каприйские сплетни.

— Ну, пусть так,— сказал мой друг.

Обычно мы отпраплялись купаться на пляж, который назывался «Бани Тиберия». Брали извозчика, оставляли его у поворота дороги и шли напрямик через лимонные рощи и виноградники, звенящие цикадами, напоенные жарким запахом солнца, до края обрыва, откуда тропинка крутыми петлями спускалась к морю.

Дня через два, когда мы были уже почти внизу, мой друг сказал:

— А! Уилсон снова здесь.

Похрустывая галькой, мы пошли по пляжу, единственным недостатком которого было отсутствие песка. Уилсон увидел нас и помахал рукой. Он стоял, выпрямившись, с трубкой в зубах, одетый только в трусы. Тело у него было темно-коричневым и худощавым, но не худым, и по контрасту с морщинистым лицом и седыми волосами выглядело почти молодым. Разгоряченные ходьбой, мы быстро разделись и кинулись в воду. В шести футах от берега она была глубиной в тридцать футов, но такой прозрачной, что было видно дно. Хотя и теплая, она бодрила и освежала.

Когда я выбрался на берег, Уилсон лежал на животе, подстелив под себя полотенце, и читал книгу. Я закурил сигарету, подошел и сел возле.

— Ну как искупались?— спросил он, заложил книгу трубкой, закрыл и опустил на гальку у себя под рукой. Он явно был расположен поговорить.

— Чудесно,— сказал я.— Такого купанья нет нигде в мире.

— Люди, естественно, верят, будто это были бани Тиберия.— Он махнул рукой в сторону бесформенных развалин, частично уходящих в море.— Полная чепуха. Просто одна из его вилл, знаете ли.

Я знал. Но зачем мешать людям, когда им хочется что-то вам рассказать. Если вы позволяете им просвещать вас, они проникаются к вам расположением.

Уилсон засмеялся.

— Забавный старичок, Тиберий. Жаль, что теперь утверждают, будто во всех историях о нем нет ни слова правды.

Он принялся рассказывать мне про Тиберия. Ну, я тоже читал Светония и исторические исследования возникновения Римской империи, а потому ничего особенно нового не

услышал. Но я заметил, что он довольно эрудирован, о чем и упомянул.

— Ну, когда я тут обосновался, мне, естественно, стало интересно, а времени читать у меня предостаточно. Когда живешь в месте, где полно всяких исторических ассоциаций, то история как будто приближается к тебе. Как будто ты сам живешь в исторические времена.

Следует сказать, что происходило это в 1913 году. Мир был уютным, благоустроенным местом, и никому в голову не могло прийти, что хоть что-нибудь серьезное может нарушить его тихую безмятежность.

— А вы здесь давно? — спросил я.

— Пятнадцать лет.— Он взглянул на спокойное синее море, и его узкие губы тронула странно-нежная улыбка.— Я влюбился в этот остров с первого взгляда. Полагаю, вы слышали про легендарного немца, который приехал сюда на неаполитанском пароходике просто пообедать и осмотреть Голубой грот,— и остался на сорок лет. Ну, со мной было не совсем так, но в конечном счете свелось к тому же. Только в моем случае сорока лет не будет. Двадцать пять. Но это все-таки лучше, чем ничего.

Я молчал, ожидая продолжения. Из его слов как будто следовало, что необычная история, которую мне рассказали, все-таки опиралась на факты. Но тут из воды, рассыпая брызги, вылез мой приятель, гордясь тем, что проплыл мимо, и разговор перешел на другие темы.

Потом я еще несколько раз встречался с Уилсоном — либо на пьядце, либо на пляже. Он держался дружески и деликатно, всегда был рад поболтать, и я выяснил, что он знает как свои пять пальцев не только весь остров, но и берега Неаполитанского залива. Он много читал о самых разных предметах, однако его специальностью была история Рима, в которой он был весьма осведомлен. Воображением он не отличался и интеллектуально был зауряден. Много смеялся, но сдержанно, и его чувство юмора отзывалось на самые простенькие шутки. Ничем не примечательный человек. Я не забыл его странных слов в нашем первом разговоре наедине, но больше он к этой теме даже косвенно не возвращался. Как-то, вернувшись с пляжа на пьядцу, мы с моим другом, отпуская извозчика, предупредили, чтобы он был готов в пять часов отвезти нас в Анакапри. Мы намеревались подняться на Монте-Соляро, пообедать в облюбованной нами таверне, а потом спуститься вниз при свете луны. Было полнолуние, и ночные пейзажи отличались необыкновенной красотой. Пока мы отдавали



распоряжение извозчику, Уилсон стоял рядом (мы подвезли его, чтобы избавить от необходимости подниматься по жаркой пыльной дороге); и больше из вежливости, чем по какой-либо другой причине, я спросил, не хочет ли он присоединиться к нам.

— Это, собственно, моя экскурсия,— сказал я.

— С большим удовольствием,— ответил он.

Однако к пяти часам мой друг почувствовал легкое недомогание — перекупался, как он сказал,— и долгая, утомительная прогулка его не прельщала. Поэтому я отправился вдвоем с Уилсоном. Мы вскарабкались на гору, полюбовались широким видом и вернулись в гостиницу перед самыми сумерками разгоряченные, счастливые, замученные жаждой. Обед мы заказали заранее. Отличный обед, потому что Антонио был прекрасным поваром, и мы пили вино из его виноградника. Оно было таким легким, что казалось, будто его можно пить, как воду, и мы прикончили первую бутылку за макаронами. Когда мы допили вторую, жизнь представлялась нам великолепной. Мы сидели в садике под толстой лозой, отягощенной гроздьями. Воздух был изумительно мягок. Вечер был тихий, мы были одни. Служанка принесла нам чудесный местный сыр и тарелку инжира. Я заказал кофе и стрегу — самый лучший итальянский ликер. От сигары Уилсон отказался и закурил трубку.

— У нас еще много времени,— заметил он.— Луна поднимется из-за горы не раньше, чем через час.

— Луна луной,— сказал я решительно,— но времени у нас, безусловно, много. В том-то и прелесть Капри, что никуда торопиться не нужно.

— Досуг!— сказал он.— Если бы люди знали. Это самое драгоценное, что только может выпасть на человеческую долю, а они такие глупцы, что даже не знают, к чему им следует стремиться. Работа? Они работают во имя работы. У них не хватает ума понять, что единственный смысл работы — обрести досуг.

Некоторых людей вино соблазняет на общие рассуждения. Его слова были справедливы, но никто не счел бы их оригинальными. Я промолчал и только чиркнул спичкой, чтобы зажечь мою сигару.

— Когда я в первый раз приехал на Капри, было полнолуние,— продолжал он задумчиво.— Словно и луна была та же, что вот сейчас.

— Она и была та же!— Я улыбнулся.

Он ухмыльнулся в ответ. Сад освещался только керосиновым фонарем, который висел у нас над головой. Слишком

тусклым, чтобы было удобно ужинать, но как раз для исповеди.

— Я хотел сказать другое: словно все было вчера. Пятнадцать лет! А когда я оглядываюсь назад, кажется, что и месяца не прошло. Я никогда раньше в Италии не бывал. Приехал в летний отпуск. Пароходом из Марселя до Неаполя. Осмотрел достопримечательности — Помпею, Пестум, еще что-то, а потом отправился сюда на неделю. Остров мне сразу понравился. То есть, я хочу сказать, еще с моря, когда я смотрел, как он приближается. И потом, когда мы спустились в шлюпки и высадились на набережной. Орава вопящих людей: кто хватает твой багаж, кто расхваливает отель. И ветхие домики на набережной, и дорога вверх к отелю, и ужин на террасе — все это околдовало меня. Я просто не понимал, что со мной делается. Я прежде не пил каприйского вина, но я про него слышал и, наверно, немножко перепил. Все ушли спать, а я сидел на террасе, смотрел на луну над морем. А вдали Везувий и багровый столб дыма над ним. Конечно, теперь я знаю, что пил чернила. Каприйское вино, как бы не так! Но тогда мне казалось, что так и надо. Но опьяняло меня не вино, а форма острова, и эти вопящие люди, и луна с морем, и олеандры в саду отеля. Я еще ни разу не видел олеандров.

Это был длинный монолог, и у него пересохло в горле. Он взял свою рюмку, но она была пуста. Я спросил, не выпьет ли он еще стреги.

— Слишком липкая штука. Давайте возьмем бутылку вина. Совсем другое дело: чистый виноградный сок и никому повредить не может.

Я заказал еще вина и, когда его подали, наполнил наши рюмки. Он сделал большой глоток, вздохнул от удовольствия и продолжал:

— На следующий день я отыскал пляж, где мы сейчас бываем. Хорошее купание, подумал я, и пошел бродить по острову. Мне повезло: в Пунта-ди-Тимберо была festa<sup>1</sup>, и я вдруг увидел процессию. Статуя Пресвятой Девы, священники, служки с кадильницами, а за ними валит толпа веселых, хохочущих, радостных людей, разнаряженных, кто как может. Я там встретил одного англичанина и спросил у него, что тут происходит. «Празднуется День Успения, — сказал он. — Во всяком случае, так утверждает католическая церковь, но, по обыкновению, передергивает. Это праздник Венеры. Чисто

---

<sup>1</sup> Церковный праздник.

языческий, понимаете? Афродита, рождающаяся из морской пены, и все прочее». От его слов мне как-то странно сделалось. Будто вдруг древностью на меня пахнуло, не знаю, как выразить. А потом как-то вечером я пошел поглядеть на Фаральони при лунном свете. Если бы судьба хотела, чтобы я и дальше оставался управляющим банка, так помешала бы этой моей прогулке.

— Так вы были управляющим банка? — спросил я.

Его былого занятия я не угадал, но ошибся не так уж сильно.

— Да. Отделения «Йорк и Сити» на Крофорд-стрит. Мне это было очень удобно, потому что я жил под Хендонном, и дорога от двери до двери брала тридцать семь минут.

Он попыхтел трубкой и снова ее разжег.

— Это был мой последний вечер, да. Утром в понедельник мне нужно было быть в банке. Я смотрел на эти две огромные, встающие из воды скалы, на огоньки рыбацких лодок, занятых ловлей кальмаров, и все было таким мирным, таким прекрасным, что я сказал себе: а зачем, собственно, мне возвращаться? Ведь не то чтобы я был кому-то нужен. Моя жена умерла от бронхиального воспаления легких еще четыре года назад, а девочку взяла к себе бабушка, мать моей жены. Старая дура толком за девочкой не смотрела, и у нее началось заражение крови. Ей ампутировали ногу, но спасти все равно не смогли, она умерла, бедная малышка.

— Ужасно, — сказал я.

— Да. Мне было очень тяжело, хотя, конечно, меньше, чем если бы она жила со мной. И, может быть, в конечном счете так было лучше. У одноногой девушки что за жизнь? Я и о жене горевал. Хотя не знаю, долго ли бы это продлилось. Она была из тех женщин, кого всегда заботит, что подумают другие люди. Путешествовать она не любила. Ей для отдыха довольно было Истберна. Знаете, я в первый раз побывал на континенте только после ее смерти.

— Но, вероятно, у вас есть родственники?

— Никого. Я был единственным ребенком. У отца был брат, но он уехал в Австралию еще до моего рождения. Думаю, в мире нашлось бы мало таких одиноких людей, как я. И я не видел, почему не могу поступить так, как хочу. Мне тогда было тридцать четыре.

Он уже сказал, что прожил на Капри пятнадцать лет. Следовательно, теперь ему было сорок девять. Примерно столько лет я ему и дал бы.

— Я работал с семнадцатью лет. И впереди меня ждало все одно и то же, одно и то же, пока я не уйду на пенсию. И я спросил себя: стоит ли оно того? Почему не бросить все и не провести здесь оставшуюся мне жизнь? Ничего прекраснее я нигде не видел. Но я прошел деловую школу, и я осторожен по натуре. «Нет,— сказал я,— не надо поддаваться влиянию минуты. Я уеду завтра, как собирался, и хорошо подумаю. Может быть, в Лондоне все будет выглядеть иначе». Идиот я был, верно? Потерял целый год.

— Так вы не передумали?

— Конечно, нет. Все время, пока я работал, я вспоминал купание здесь, и виноградники, и прогулки по горам, и луну, и море, и пьющу по вечерам, когда все собираются на ней поболтать после трудового дня. Меня только одно смущало: имею ли я нравственное право не работать, как работают остальные люди. И тут мне попалась историческая книга какого-то Мэрьона Крофорда, и там был рассказ о Сибарисе и Кротоне. Это были два города, и в Сибарисе они только развлекались и наслаждались жизнью, а в Кротоне были суровы, трудолюбивы и все прочее. И вот однажды кротонцы обрушились на Сибарис и стерли его с лица земли, а через некоторое время откуда-то явилась какая-то орда и стерла с лица земли Кротону. От Сибариса не осталось ни единого камня, а от Кротона сохранилась одна колонна. Это для меня все и решило.

— Каким образом?

— Так ведь в конечном счете вышло одно, верно? И если взглянуть теперь, кто больше остался в дураках?

Я не ответил, и он продолжал:

— Все упиралось в деньги. Банк давал пенсию только после тридцати лет службы, но тому, кто уходил раньше, выплачивалось выходное пособие. Его вместе с тем, что я выручил бы от продажи дома, и небольшими сбережениями, которые я умудрился сделать, не хватало для покупки пожизненной ренты. Было бы глупо пожертвовать всем ради того, чтобы вести приятную жизнь, и не располагать деньгами, которые делали бы ее приятной. Я хотел иметь собственный домик, служанку, которая вела бы хозяйство, и достаточно денег на табак, приличную еду, иногда на книги, ну и еще что-нибудь на непредвиденные расходы. Я точно знал, сколько мне нужно, и выяснилось, что денег у меня как раз хватит для ренты на двадцать пять лет.

— Вам тогда было тридцать пять?

— Да. Она обеспечивала меня до шестидесяти. А в конце-то концов еще вопрос, удастся ли дотянуть до шестидесяти.

Очень многие умирают на шестом десятке, да и вообще, когда человеку стукнет шестьдесят, все лучшее у него так или иначе позади.

— С другой стороны, нельзя же быть уверенным, что обязательно умрешь в шестьдесят.

— Ну, не знаю. Все зависит от самого человека, верно?

— На вашем месте я бы остался в банке, пока не получил бы права на пенсию.

— Мне было бы тогда сорок семь. Я был бы еще не настолько стар, чтобы не получать удовольствия от моей жизни тут (мне ведь теперь уже больше, чем сорок семь, и я наслаждаюсь ею точно так же), но я был бы уже не способен испытывать ту радость, какую дает молодость. Понимаете, и в пятьдесят можно получать от жизни не меньше удовольствия, чем в тридцать. Но оно другое. А я хотел пожить идеальной жизнью, пока у меня еще оставалось достаточно энергии и бодрости изведать ее со всей полнотой. Двадцать пять лет представлялись мне долгим сроком. И за двадцать пять лет счастья, видимо, стоило заплатить чем-то очень весомым. Я уже решил протянуть еще год и протянул, а тогда объявил, что ухожу, подождал, чтобы мне выплатили пособие, тут же купил ренту и приехал сюда.

— Ренту на двадцать пять лет?

— Совершенно верно.

— И вы ни разу не пожалели?

— Ни единого. Я уже получил за свои деньги сполна. А у меня еще десять лет впереди. Согласитесь, после двадцати пяти лет абсолютного счастья следует удовлетвориться и поставить точку.

— Может быть.

Он не сказал прямо, что сделает тогда, но его намерения были очевидны. Примерно так все это уже мне рассказал мой друг, но когда я услышал историю Уилсона из уст его самого, она обрела иное звучание. Я исподтишка покосился на него. Все в нем выглядело заурядным. Никто, глядя на это вполне обыкновенное, чопорное лицо, ни на секунду не заподозрил бы, что он способен на разрыв с общепринятым. Я его не осуждал. Так странно он распорядился не чьей-то, а собственной жизнью, и я не видел причин, почему он не мог поступить с ней, как ему хотелось. И все же по спине у меня пробежала холодная дрожь.

— Озябли? — Он улыбнулся. — Так пойдёмте. Луна уже должна подняться высоко.

Когда мы прощались, Уилсон спросил, не хочу ли я посмотреть его домик, и два-три дня спустя, узнав, где он

живет, я отправился к нему. Жил он в крестьянской хижине посреди виноградника, довольно далеко от города и с видом на море. У двери рос старый олеандр в полном цвету. Хижина вмещала две комнатухи и крохотную кухню, к которой примыкал дровяной навес. Спальня была обставлена как монашеская келья, но гостиная, приятно пахнувшая табаком, выглядела уютной — два покойные кресла, которые он привез из Англии, внушительное бюро с полукруглой крышкой, небольшое пианино и битком набитые книжные полки. На стенах в рамках висели гравюры с картин Д. Ф. Уоттса и лорда Лейтона. Уилсон объяснил, что дом принадлежит владельцу виноградника, который живет в другом доме выше по склону, и его жена приходит каждый день убирать и готовить. Он нашел эту хижину еще в свой первый приезд на Капри, а когда вернулся, снял ее и с тех пор живет здесь. Увидев, что пианино открыто и на пюпитре стоят ноты, я попросил его сыграть что-нибудь.

— Я ведь только бренчу, но музыку люблю и получаю от этого большое удовольствие.

Он сел за пианино и сыграл одну из частей бетховенской сонаты. Играл он не слишком хорошо. Я посмотрел его ноты — Шуман и Шуберт, Бетховен, Бах и Шопен. На столе, за которым он ел, лежала пухлая колода карт.

Я спросил, раскладывает ли он пасьянсы.

— Постоянно.

Благодаря этому визиту и тому, что я слышал от других людей, у меня сложилась, мне кажется, достаточно верная картина жизни, которую он вел пятнадцать лет. Она, бесспорно, была очень тихой. Он купался, много гулял, и как будто по-прежнему свежо воспринимал красоту острова, который узнал так близко. Играл на пианино, раскладывал пасьянсы, читал. Когда его приглашали в гости, он приходил и был хотя и скучноватым, но приятным собеседником. Если его забывали пригласить, он не оскорблялся. Люди ему нравились, но как-то отвлеченно, что мешало дружескому сближению. Он жил экономно, но с комфортом. И никому не был ничего должен, даже мелочи. Мне представляется, что плоть никогда особой роли в его жизни не играла, и если в первые годы у него время от времени завязывался мимолетный роман с какой-нибудь туристкой, поддавшейся романтической атмосфере, его чувства, я убежден, все время оставались под контролем. По-моему, он твердо решил оградить независимость своего духа от любых посягательств. Единственной его страстью была красота природы, и он искал радости в самом простом и естественном, в том,

что жизнь предлагает всем. Возможно, вы скажете, что он вел весьма эгоистичное существование. Да, так. От него никому не было пользы, но, с другой стороны, он никому не приносил и вреда. Его занимало только собственное счастье, и, казалось, он его обрел. Мало людей знает, где искать счастья, но еще меньше находят его. Не берусь судить, был ли он глуп или мудр. Но, во всяком случае, он знал, чего хочет. Меня в нем удивляла его заурядность. Я бы тут же забыл о нем, когда бы не знал, что в некий день через десять лет, если только случайная болезнь не оборвет его жизни раньше, он должен будет сознательно проститься с миром, который так любит. И, может быть, именно мысль об этом, все время таившаяся в уголке его сознания, и объясняет тот особый жар, с каким он наслаждался каждым мгновением каждого дня.

Было бы нечестно по отношению к нему, если бы я не упомянул, что у него вовсе не было привычки рассказывать о себе. По-моему, он доверился только одному человеку — моему другу, у которого я гостил. И мне он рассказал свою историю, я уверен, только потому, что подозревал, что я ее уже знаю, а к тому же выпил в тот вечер много вина.

Время моего визита подошло к концу, и я уехал с острова. Год спустя разразилась война. В моей жизни произошли разные события, и ход ее изменился. Так что миновало тринадцать лет, прежде чем я снова попал на Капри. Мой друг вернулся туда уже довольно давно, но он больше не был богат и переехал в другой дом, где было слишком тесно, так что мне предстояло жить в отеле. Он встретил меня на пристани, и мы пообедали вместе. За обедом я спросил его, где расположен его новый дом.

— Вы его знаете, — ответил он. — Это хижина, где жил Уилсон. Я пристроил еще одну комнату. Получилось очень недурно.

Слишком много другого все эти годы занимало мои мысли, и я совершенно забыл Уилсона. Но теперь вспомнил с некоторым страхом. Десять лет, оставшиеся ему, когда я с ним познакомился, уже, наверное, давно истекли.

— Он покончил с собой, как собирался?

— Это довольно мрачная история.

План Уилсона был верным. С одним только недостатком, которого, полагаю, предусмотреть он не мог. Ему не приходило в голову, что через двадцать пять лет полного счастья в этом тихом захолустье, где ничто не нарушало безмятежности его существования, он постепенно утратит твердость характера. Воле нужны препятствия, чтобы со-

хранять силу. Когда ничто не идет ей наперекор, когда осуществление желаний не требует никакого напряжения, ибо желаешь ты лишь того, что можно получить, просто протянув руку, воля становится дряблой. Если все время ходить по плоскости, мышцы, необходимые для подъема в гору, атрофируются. Банально, но верно. Когда срок ренты истек, у Уилсона уже не хватало решимости сделать то, что было ценой, которую он согласился уплатить за эти долгие годы счастливой безмятежности. Насколько я могу судить по тому, что узнал в тот вечер от моего друга, а позже и от кое-кого еще, дело было не в том, что ему не достало мужества. Просто он никак не мог решиться и откладывал со дня на день.

Он прожил на острове так долго и всегда платил за все с такой пунктуальностью, что ему нетрудно было получить кредит. Никогда прежде он не брал займы и теперь обнаружил, что есть много людей, готовых при первой просьбе ссудить его небольшой суммой. За свою хижину он столько лет платил аккуратно, что его домохозяин, чья жена, Ассунта, по-прежнему убирала у него и стряпала, готов был несколько месяцев ничего не менять. Все поверили ему, когда он рассказал, что скончался один его родственник и он временно оказался в стесненном положении, так как не может получить причитающиеся ему деньги, пока не будут завершены необходимые юридические формальности. Таким манером он просуществовал год с небольшим. Затем местные торговцы отказали ему в кредите, и никто больше не ссужал ему денег. Домохозяин потребовал, чтобы он освободил дом, если не заплатит задолженности до такого-то дня.

Накануне этой даты он вошел в свою крохотную спальню, закрыл дверь и окно, задернул занавески и разжег древесный уголь в жаровне. На следующий день, когда Ассунта пришла приготовить ему завтрак, она нашла его без сознания, но живого. Под кровлей гуляли сквозняки, и хотя он что-то сделал, чтобы закрыть доступ свежего воздуха в спальню, это большой роли не сыграло. Казалось даже, что в последний момент, несмотря на всю отчаянность его положения, ему не хватило целеустремленности. Уилсона доставили в больницу, и хотя некоторое время состояние его было очень тяжелым, он все-таки поправился. Но то ли от отравления угарным газом, то ли от потрясения у него помутилось в голове. Он не был сумасшедшим — во всяком случае, в такой степени, чтобы поместить его в приют для умалишенных, однако было ясно, что он не в своем рассудке.



— Я побывал у него в больнице,— сказал мой друг.— И попытался разговорить его, но он только глядел на меня каким-то странным взглядом, словно не мог вспомнить, где видел меня раньше. В постели он выглядел страшновато — недельная седая щетина на подбородке и щеках,— но если не считать странного выражения глаз, казался вполне нормальным.

— Какого странного?

— Не знаю, как точно его описать. Недоумение, растерянность. Сравнение, конечно, нелепое, но представьте себе, вы подбросили камень, а он не упал и повис в воздухе...

— Да, это может поставить в тупик.

— Ну, вот такими и были его глаза.

Решить, что делать с ним дальше, оказалось непросто. У него не было ни денег, ни возможности их заработать. Его имущество продали, но вырученных денег не хватило и на уплату его долгов. Он был англичанином, и итальянские власти не желали брать на себя ответственность за него. Английский консул в Неаполе не располагал казенными суммами для подобного случая. Конечно, его можно было бы отправить в Англию, но никто не знал, что с ним делать там. И тут Ассунта, служанка, сказала, что он много лет был хорошим хозяином и хорошим жильцом и, пока у него были деньги, всегда платил аккуратно. Так пусть спит в дровяном сарайчике при хижине, в которой живут они с мужем, и ест с ними. Ему предложили такой выход. Понял он или нет, решить было трудно. Когда Ассунта явилась забрать его из больницы, он пошел с ней без всяких возражений. Собственной воли у него, казалось, больше не было. Она содержит его вот уже третий год.

— Условия не слишком комфортабельные,— сказал мой друг.— Они поставили ему колченогую кровать и дали пару одеял, но окошка нет, зимой там ледяной холод, а летом жарко, как в духовке. И еда убогая. Вы же знаете, как сдят эти крестьяне: макароны по воскресеньям, а мясо раз в год по обещанию.

— Но как он проводит время?

— Бродит по горам. Раза два я пытался с ним повидаться. Но это бесполезно: увидев кого-нибудь, он убегает, как заяц. Ассунта иногда заходит ко мне поболтать, и я даю ей немножко денег ему на табак, но только Богу известно, что она с ними делает.

— Они обращаются с ним прилично? — спросил я.

— Ассунта, я уверен, о нем заботится. Она смотрит на него как на ребенка. Ее муж, боюсь, не слишком хорош с ним. Не думаю, чтобы он допускал какие-нибудь жестокости, но, видимо, держится с ним сурово. Заставляет таскать воду, чистить коровник, ну и так далее.

— Да, скверно,— сказал я.

— Он сам на себя это навлек. В конце-то концов, он получил только то, что заслужил.

— Мне кажется, в целом мы все получаем то, что заслужили,— сказал я.— Но все равно, это выглядит жутковато.

Два-три дня спустя мы с моим другом прогуливались по тропинке, петлявшей в маслиновой роще.

— Вон Уилсон,—внезапно сказал мой друг.— Не поворачивайте головы. Вы его только напугаете. Идите прямо.

Я шел, глядя на тропинку, но уголком глаза заметил человека, спрятавшегося за стволом маслины. При нашем приближении он не шелохнулся, но я чувствовал, что он внимательно следит за нами. Едва мы прошли мимо, как сзади послышались бегущие шаги. Точно затравленный зверек, Уилсон кинулся в безопасное убежище. Больше я его не видел.

В прошлом году он умер. Эту жизнь он терпел шесть лет. Однажды утром его нашли на склоне горы. Лицо у него было мирным, словно он умер во сне. С того места, где он лежал, ему были видны Фаральони — две гигантские скалы, поднимающиеся из моря. Было полнолуние, и, наверное, он пошел туда поглядеть на них при лунном свете. Может быть, он умер, не выдержав такой красоты.

## В ЛЬВИНОЙ ШКУРЕ <sup>1</sup>

Многие были поражены, узнав, что капитан Форестьер погиб во время пожара, спасая собачку, случайно оказавшуюся запертой в доме. Одни говорили, что не предполагали в нем способности на такое, другие — что такого вполне можно было ожидать, но вкладывали в эти слова разный смысл. После этого трагического происшествия миссис Форестьер нашла приют на вилле супругов Харди, с которыми она и ее муж познакомились совсем недавно. Капитан Форестьер их недолюбливал, во всяком случае терпеть не мог Фреда Харди, но ей казалось, что если б он не погиб в ту ужасную ночь, то изменил бы свое мнение об этом человеке. Он понял бы, как много в Харди хорошего, несмотря на его репутацию, и, будучи истинным джентльменом, не колеблясь, признал бы, что был неправ. Миссис Форестьер не представляла, как бы ей удалось сохранить рассудок после смерти человека, бывшего для нее всем на свете, если бы не восхитительная сердечность Харди. Их неизменное сочувствие было единственным утешением в ее глубоком горе. Они, можно сказать, видевшие собственными глазами его высокое самопожертвование, знали, как никто другой, каким замечательным человеком был ее муж. Она никогда не сможет забыть тех слов, что сказал ей Фред Харди, сообщая ужасную весть. Именно эти слова помогли ей не только пережить тяжелую утрату, но и взглянуть в лицо своему печальному будущему с таким мужеством, что, несомненно, понравилось бы тому смелому человеку, истинному джентльмену, которого она так любила.

---

<sup>1</sup> © Перевод. Вознякевич Д., 1985 г.

Миссис Форестьер была очень милой женщиной. Обычно так отзываются о женщине добродушные люди, когда им нечего сказать о ней, и это следует понимать как сдержанную похвалу. Я имею в виду несколько другое. Миссис Форестьер не была ни очаровательной, ни красивой, ни умной: напротив, она была нелепой, невзрачной и глупой; однако чем больше вы узнавали ее, тем больше она вам нравилась, но если спросить почему, вам оставалось лишь повторить, что это очень милая женщина. Ростом и фигурой она походила на мужчину; у нее был широкий рот, крупный с горбинкой нос, светло-голубые подслеповатые глаза и большие, некрасивые руки. Лицо ее было морщинистым и огрубелым, но она сильно красилась, ее длинные волосы были окрашены в золотистый цвет, тщательно завиты и старательно причесаны. Она делала все возможное, чтобы смягчить вызывающую мужеподобность своей внешности, но добивалась лишь сходства с водевильным актером, исполняющим женскую роль. Голос у нее был высокий, но вам постоянно казалось, что, как бывает в конце представления, он вдруг перейдет в глубокий бас, а если снять этот золотистый парик, под ним окажется лысина. Она тратила большие деньги на одежду от самых фешенебельных портных Парижа, однако, несмотря на свои пятьдесят лет, имела нелепое пристрастие выбирать платья, изысканно выглядевшие на стройных манекенщицах в расцвете юности. На ней всегда было много дорогих украшений. Движения ее были неуверенными, а жесты — неловкими. Появляясь в гостиной, где имелась нефритовая статуэтка, она ухитрялась свалить ее на пол; если она обедала с вами, а у вас был сервиз, которым вы дорожили, она непременно разбивала что-нибудь в мельчайшие осколки.

Однако эта нескладная внешность скрывала нежную, романтическую и возвышенную душу. Требовалось некоторое время, чтобы понять это, потому что сперва эта женщина казалась вам смешной, потом, когда вы узнавали ее лучше (и страдали от ее неуклюжести), она раздражала вас, но когда вы постигали ее душу, то удивлялись, что не поняли ее с самого начала, в тот миг, когда она взглянула на вас светло-голубыми близорукими глазами несколько застенчиво, но с таким чистосердечием, не заметить которое мог только глупец. Эти изысканные муслины и органди весенних расцветок, эти яркие шелка покрывали не ее нескладное тело, а свежий девичий дух. Вы забывали, что она разбила ваш фарфор и похожа на мужчину в женском платье, вы видели ее такой, какой видела она себя сама,

какой, несомненно, была бы в действительности, будь видна ее подлинная сущность, — славной крошкой с золотым сердцем. Узнав ее, вы понимали, что она проста, как ребенок; за малейшее внимание к себе она бывала трогательно признательна; собственная ее доброта была беспредельной, к ней можно было обратиться с любой просьбой, даже самой обременительной, и она исполняла ее так охотно, словно вы оказывали ей услугу, дав возможность постараться для вас. У нее был редкий дар бескорыстной привязанности. Вы понимали, что ни единая недобрая или коварная мысль не мелькала в ее голове. И, признав все это, вы снова повторяли, что миссис Форестьер очень милая женщина.

К сожалению, она была еще и круглой душой. Это вы понимали, когда знакомились с ее мужем. Капитан Форестьер был англичанином, а миссис Форестьер — американкой. Родилась она в Портленде, штат Орегон, и не бывала в Европе до 1914 года, пока не началась война. Поскольку ее первый муж недавно скончался, она стала медицинской сестрой и отправилась во Францию. По американским понятиям она была не очень богата, но по нашим, английским, — купалась в роскоши. Судя по образу жизни, какой вели Форестьеры, ее годовой доход составлял около тридцати тысяч долларов. Она, я уверен, была замечательной медсестрой, если не считать того, что непременно путала лекарства, накладывала повязки так, что они были хуже чем просто бесполезны, и ломала всякую утварь, какую можно было сломать. Думаю, что она не брезговала никакой работой и без колебания бралась за все; вне всякого сомнения, на работе она не щадила себя и ни разу не теряла самообладания; мне кажется, немало бедняг имело причины благословлять нежность ее сердца, и, возможно, кое-кому из них доброта ее золотой души придавала мужества перед последним, мучительным шагом в неизвестность. Случилось так, что капитан Форестьер в последний год войны попал под ее попечение, и вскоре после заключения мира они поженились. Поселились они в прекрасной вилле на холмах близ Канна и вскоре стали заметными людьми в светских кругах Ривьеры. Капитан Форестьер хорошо играл в бридж и увлекался гольфом. Кроме того, он был неплохим теннисистом. У него имелась парусная яхта, в летнее время они с женой приглашали на нее гостей и устраивали прогулки между островами. После семнадцати лет совместной жизни миссис Форестьер по-прежнему обожала своего красавца мужа, и тем, кто давно знал ее, непременно приходилось выслушивать всю историю их отношений.

— Это была любовь с первого взгляда,— растягивая слова на орегонский манер, рассказывала она.— Его привезли не в мое дежурство, и, заступив, я увидела его на одной из своих коек — о, я ощутила такую боль в сердце, мне даже показалось, что я слишком много работала и перенапрягалась. В жизни я не встречала такого красивого мужчины.

— Тяжело он был ранен?

— Собственно говоря, ранен он не был. Знаете, это в высшей степени удивительный случай, он прошел всю войну, иной раз месяцами находился под огнем и, конечно же, двадцать раз на дню рисковал жизнью, он из тех людей, которые просто не знают, что такое страх; но он не получил ни царапины. У него были карбункулы.

С этого неромантичного заболевания и началось страстное чувство. Миссис Форестьер была несколько застенчива, и хотя карбункулы капитана Форестьера весьма занимали ее, ей всякий раз было трудно объяснить, где они находились.

— Они были в самом низу спины, даже еще ниже, и ему было неприятно, что мне приходилось их перевязывать. Англичане удивительно скромны, я не раз замечала, и его это мучило ужасно. Можно было подумать, что эти условия, вы понимаете, о чем я говорю, придадут нашим отношениям интимности. Но почему-то этого не получалось. Он был очень неприветлив. Когда во время обхода я подходила к его койке, у меня перехватывало дыхание и так начинало биться сердце, что я даже не могла понять, что со мной. Обычно я не такая уж неуклюжая, я ничего не роняю и не разбиваю, но, поверите ли, когда я давала Роберту лекарство, то роняла ложку или разбивала стакан,—воображаю, что он должен был думать обо мне.

Когда миссис Форестьер рассказывала об этом, было почти невозможно удержаться от смеха. Она мягко улыбалась.

— Видимо, для вас это звучит странно, но, понимаете, я никогда не испытывала ничего подобного. Когда я выходила за первого мужа — он был вдовец, имевший взрослых детей, но прекрасный человек и один из самых видных граждан штата,— это было совсем не то.

— И как же вы поняли наконец, что влюблены в капитана Форестьера?

— Знаете, я не прошу вас верить, так как понимаю, что звучит это смешно, но мне сказала об этом одна из сестер, и, конечно же, я сразу поняла, что это правда. Сперва я ужасно переживала. Понимаете, я ничего не знала о нем.

Как все англичане, он был очень неразговорчив, могло оказаться, что у него уже есть жена и с полдюжины детей.

— Как же вы узнали, что он холост?

— Я спросила его. Узнав, что он не женат, я тут же решила, что всеми правдами и неправдами выйду за него замуж. Он очень страдал, бедняжка; представляете, ему почти все время приходилось лежать вниз лицом, лечь на спину для него было пыткой, а чтобы сесть, так он и подумать об этом не мог. Но мне не верится, что его мучения были тяжелее моих. Мужчинам нравятся облегающие шелка и всякие пышные штучки, вы понимаете, что я имею в виду, а я из-за униформы медсестры была в очень невыгодном положении. Старшая сестра, типичная старая дева из Новой Англии, терпеть не могла косметики, да и все равно в те времена косметикой я не пользовалась: мой первый муж не любил этого; и волосы мои были не так хороши, как сейчас. Бывало, он глядел на меня своими чудесными голубыми глазами, и мне казалось, что он, должно быть, думает, какая я некрасивая. Он был очень подавлен, и я считала своим долгом делать все возможное, чтобы подбодрить его; едва у меня выдавалось несколько свободных минут, я шла к нему. Ему была невыносима мысль, что он, сильный, крепкий парень, лежит в постели неделю за неделей, когда все его друзья в окопах. Говоря с ним, нельзя было не понять, что радость жизни он сильнее всего ощущает, когда вокруг свищут пули и следующий миг может оказаться последним. Опасность была для него стимулятором. Не стану скрывать от вас, что, отмечая в истории болезни его температуру, я прибавляла несколько десятых, и врачи считали, что ему немного хуже, чем было на самом деле. Я знала о его стремлении поскорее выписаться и считала, что будет вполне справедливо не допускать этого. Во время наших разговоров он задумчиво глядел на меня, и я знала, что он всегда ждет возможности поболтать со мной. Я сообщила ему, что недавно овдовела, ни от кого не завишу и после войны собираюсь остаться в Европе. Постепенно он стал ко мне привыкать. О себе он говорил не много, но стал подшучивать надо мной, знаете, у него великолепное чувство юмора, и мне временами начинало казаться, что я все же нравлюсь ему. Наконец стало известно, что его выписывают. К моему удивлению, в последний вечер он пригласил меня поужинать. Мне удалось отпроситься у старшей сестры, и мы отправились в Париж. Вы не можете представить, как он был красив в военной форме. Я никогда не встречала столь изысканного человека. Аристократа до кончиков ног-

тей. Но почему-то он был не в таком хорошем настроении, как я ожидала. Ему не терпелось вернуться на фронт.

«Почему вы сегодня такой понурый? — спросила я его. — Ведь ваше желание наконец исполняется».

«Знаю, — ответил он. — И если, несмотря на это, мне сегодня немного грустно, вы разве не догадываетесь почему?»

Я просто не смела вдуматься в смысл его слов и решила отшутиться.

«Я не очень догадлива, — ответила я со смехом. — Если хотите, чтоб я знала, скажите сами».

Он опустил взгляд, и я заметила, что он нервничает.

«Вы были очень добры ко мне, — сказал он. — Я никогда не смогу отблагодарить вас за вашу сердечность. Такой замечательной женщины, как вы, я еще не встречал».

Его слова прямо-таки потрясли меня. Вы знаете, какие англичане странные: раньше он никогда не говорил мне комплиментов.

«Я делала лишь то, что на моем месте сделала бы любая медсестра», — ответила я.

«Увижу ли я вас еще?» — спросил он.

«Это зависит от вас», — сказала я. Надеюсь, он не заметил дрожи в моем голосе.

«Мне очень не хочется расставаться с вами», — сказал он.

Я едва не лишилась дара речи.

«А это необходимо?»

«Пока мой король и моя страна нуждаются во мне, я в их распоряжении».

Когда миссис Форестьер доходила до этого места, ее светло-голубые глаза наполнялись слезами.

«Но война не будет длиться вечно», — сказала я.

«Когда война кончится, — сказал он, — если только пуля не оборвет мою жизнь, у меня не будет ни гроша. Я не знаю, как буду сводить концы с концами. Вы очень богаты, я нищий».

«Вы английский джентльмен», — сказала я.

«Какое это имеет значение, если мир был создан для демократии?»<sup>1</sup> — с горечью ответил он.

Я чуть не расплакалась. Все, что он говорил, было так прекрасно. Конечно, я понимала, что он имеет в виду. Он считал, что просить моей руки будет неблагородно. Я знаю,

---

<sup>1</sup> «Мир создан для демократии» — слова американского президента В. Вильсона.



что он скорей бы умер, чем позволил предположить, что ему нужны мои деньги. Он был прекрасным человеком. Я знала, что недостойна его, но, раз он был мне нужен, надо было набраться решимости и действовать.

«Нет смысла притворяться, будто я не без ума от вас, потому что это так»,— сказала я.

«Не надо, мне и без того тяжело»,— хрипло произнес он.

Я думала, что умру. Я так любила его, когда он сказал это. Теперь я знала все, что мне было нужно. Я протянула ему руку.

«Женитесь вы на мне, Роберт?»— спросила я очень просто.

«Элеонора»,— ответил он.

И тут рассказал, что увлекся мною с первого же дня. Сперва он отнесся к этому несерьезно, он думал, что я обыкновенная медсестра, и собирался завести со мной роман, но потом, узнав, что я женщина не такого типа и располагаю кое-какими деньгами, решил, что должен подавить свою любовь. Понимаете, он считал, что о нашем браке не может быть и речи.

Очевидно, Элеоноре больше всего льстила мысль, что капитан Форестьер намеревался завести с нею интрижку. Наверняка ей никто не делал «гнусных» предложений, и хотя Форестьер не делал их тоже, сознание, что он питал такую мысль, было для нее неиссякаемым источником удовлетворения. Когда они поженились, родственники Элеоноры, практичные люди с Запада, сочли, что мужу надо работать, а не жить на ее средства, и капитан Форестьер был полностью с этим согласен. Единственной его оговоркой было следующее:

— Элеонора, есть вещи, за которые джентльмен браться не должен. Все прочее я буду делать с радостью. Видит Бог, я не придаю значения этим пустякам, но сахиб всегда остается сахибом, и у каждого, черт побери, есть долг перед своим классом, особенно в наше время.

По мнению Элеоноры, было вполне достаточно и того, что ради своей страны он в течение четырех долгих лет рисковал жизнью в кровопролитных боях, но она слишком гордилась им, чтобы позволить кому-то говорить, будто он женился на ней ради денег, и решила не возражать, если он подыщет себе что-нибудь стоящее. К сожалению, представлявшаяся работа всегда оказывалась не особенно подходящей. Но он никогда не отказывался от нее сам.

— Решай ты, Элеонора,— говорил он.— Стоит тебе сказать слово, и я возьмусь за нее. Мой бедный старый отец

перевернулся бы в гробу, увидев меня за этим занятием, но тут уж ничего не поделаешь. Мой долг перед тобой превышает всего.

Элеонора не хотела и слышать об этом, и постепенно вопрос о его работе отпал. Большую часть года они жили в своей вилле на Ривьере. В Англии бывали редко; Роберт говорил, что после войны это не место для джентльмена и что все хорошие ребята, настоящие белые люди, с которыми он общался, когда сам был «одним из этих парней», погибли на фронте. Ему хотелось бы проводить зимы в Англии, по три дня в неделю бывать на охоте; это подходящая жизнь для мужчины, но бедная Элеонора, ей все это будет так скучно, он не может просить ее о такой жертве. Элеонора была готова на любую жертву, но капитан Форестьер качал головой. Он уже не так молод, и его охотничьи дни позади. Теперь он довольствовался тем, что разводил породистых собак и кур. Земли у них было много; дом стоял на вершине холма, на плато, с трех сторон его окружал лес, а перед домом был сад. Элеонора говорила, что более всего он бывал счастлив, когда в старом твидовом пиджаке бродил по своим владениям с псарем, заодно приглядывавшим за цыплятами. Именно тогда в нем были видны все предшествующие поколения деревенских сквайров. Элеонору трогали и занимали его долгие беседы с псарем о породах кур; казалось, он говорит о фазанах со своим старшим лесничим; о собаках он заботился словно о стае гончих, и невольно казалось, что он свыкся с гончими еще в юные годы. Прадед капитана Форестьера был одним из самых известных повес времен Регентства. Он разорил семью, и все поместья пришлось продать. У них было чудесное старое имение в Шропшире, принадлежавшее им в течение нескольких веков, и, хотя оно уже было чужим, Элеоноре хотелось там побывать; однако капитан Форестьер сказал, что ему это будет мучительно и он ни за что туда не поедет.

Они часто принимали гостей. Капитан Форестьер был знатоком вин и гордился своим погребом.

— Отец Роберта, — говорила Элеонора, — славился в Англии своим тонким вкусом, и Роберт унаследовал его.

Друзьями их были главным образом американцы, французы и русские. Роберт находил их в целом более интересными, чем англичан, а Элеоноре нравилось все, что нравилось ему. Роберт считал, что англичане сейчас находятся не на должной высоте. Большинство тех, кого он знал в прежние времена, были членами стрелковых, охотничьих и рыболовных клубов; они, бедняги, теперь все разорились, и,

хотя он, слава богу, не сноб, ему не хотелось бы, чтобы его жена общалась с какими-то выскочками. Миссис Форестьер была отнюдь не столь разборчивой, но она уважала его предрассудки и восхищалась его исключительностью.

— Конечно, у Роберта есть свои причуды и капризы,— говорила она,— но, мне кажется, я обязана считаться с ними. Зная, из какой среды он вышел, нельзя не видеть, как они для него естественны. За все годы нашей совместной жизни я лишь однажды видела его в раздражении, когда в казино ко мне подошел платный танцор и пригласил на танец. Роберт чуть не избил его. Я сказала, что бедняга выполнял свою работу, но он ответил, что не позволит этой грязной свинье приглашать свою жену.

У капитана Форестьера были высокие моральные нормы. Он благодарил Бога за то, что лишен предрассудков, но должен же существовать какой-то предел; и даже на Ривьере он не желал водить компанию с пьяницами, мотами и повесами. Снисхождения к половой распущенности он не знал и запрещал Элеоноре бывать в обществе женщин сомнительной репутации.

— Понимаете,— говорила Элеонора,— он человек абсолютной порядочности; чистейший человек, какого я только знала; и если иной раз он проявляет нетерпимость, то надо иметь в виду, что он никогда не требует от других того, к чему не готов сам. В конце концов, нельзя не восхищаться человеком, если принципы его так высоки и он готов отстаивать их любой ценой.

Когда капитан Форестьер говорил Элеоноре, что такой-то человек, которого все считали приятной личностью, не «пукка сахиб», спорить было бессмысленно. Она знала, что суждение ее мужа окончательно, и была готова безоговорочно с ним согласиться.

После двадцати лет совместной жизни у Элеоноры было, по крайней мере, одно твердое убеждение, и заключалось оно в том, что Роберт Форестьер — совершенный тип английского джентльмена.

— И я не знаю, создавал ли Бог что-нибудь более прекрасное,— говорила она.

Надо сказать, что капитан Форестьер был слишком уж совершенным типом английского джентльмена. В сорок пять лет (Элеонора была на два или три года старше) он был все еще красивым мужчиной с волнистыми, обильно тронутыми сединой волосами и франтоватыми усиками; у него была обветренная, здоровая загорелая кожа человека, много бывающего на свежем воздухе. Он был высоким,

худощавым, широкоплечим и с головы до пят выглядел солдатом. Держался он просто и открыто, смех его был громким и откровенным. В разговоре, в манерах, в одежде он был настолько типичен, что в это почти не верилось. Он был до такой степени сквайром, что это наводило на мысль об актере, превосходно исполняющем свою роль. Прогуливаясь по набережной Круазетт с трубкой в зубах, в брюках гольф и твидовом пиджаке, он так походил на английского спортсмена, что это было просто поразительно. И его разговор, банальная легковесность суждений, его очаровательная учтивая тупость были так характерны для отставного офицера, что невольно приходило на ум, будто он играет роль.

Когда Элеонора узнала, что дом у подножия их холма снял сэр Фредерик Харди, она очень обрадовалась. Роберту будет приятно иметь по соседству людей своего класса. Она навела справки у друзей. Оказалось, что сэр Фредерик после недавней смерти своего дяди стал баронетом и решил провести на Ривьере два или три года, пока не будет выплачен налог на наследство. Ходили слухи, что в молодости он был большим ветреником, но теперь ему было уже за пятьдесят, у него была жена, очень славная женщина, и двое маленьких сыновей. К сожалению, леди Харди когда-то играла на сцене, а Роберт относился к актрисам несколько предубежденно, но все говорили, что у нее безупречные манеры и что догадаться о ее былой профессии невозможно. Форестьеры познакомились с ней на чаепитии, куда сэр Фредерик не пошел, и Роберт признал, что она производит очень приятное впечатление; Элеонора, желая сойтись с ними поближе, пригласила их обоих на ленч. Назначили день. Форестьеры пригласили много людей для знакомства с ними, и Харди поэтому немного задержались. Элеонора, увидев сэра Фредерика, сразу же ощутила к нему симпатию. Выглядел он моложе, чем она ожидала, на его коротко остриженной голове не было ни единого седого волоса; в его облике было что-то мальчишеское, и это делало его довольно привлекательным. Он был худощав, чуть пониже ее ростом; у него были яркие, дружелюбные глаза и живая улыбка. Она заметила на нем такой же гвардейский галстук, какой иногда надевал Роберт; одет он был похуже Роберта, словно только что сошедшего с витрины, но держался так, словно не придавал своему костюму никакого значения. Элеонора вполне могла поверить, что в молодости он был ветреником, и не собиралась осуждать его за это.

— Я должна представить вам своего мужа,— сказала она.

Она позвала его. Роберт болтал на террасе с кем-то из гостей и не заметил, как пришли Харди. Вошел он с приветливой, сердечной улыбкой и с грацией, всегда восхищавшей Элеонору, пожал руку гостю. Затем повернулся к сэру Фредерику. Тот недоуменно взглянул на него.

— Мы не встречались раньше?

Роберт ответил ему равнодушным взглядом.

— По-моему, нет.

— Готов поклясться, что ваше лицо мне знакомо.

Элеонора почувствовала, что ее муж насторожился, и сразу же поняла, что здесь что-то неладно. Роберт рассмеялся.

— Это может показаться невежливым, но я уверен, что ни разу в жизни не видел вас. Возможно, мы случайно встречались на фронте. Тогда было много таких встреч, не правда ли? Леди Харди, позвольте предложить вам коктейль.

Элеонора заметила, что во время ленча Харди все время глядел на Роберта. Видимо, старался припомнить его. Роберт оживленно беседовал с дамами по другую сторону стола и не замечал его взглядов. Он старался развлечь гостей, и смех его раздавался на всю комнату. Хозяином он был прекрасным. Элеонора постоянно восхищалась его чувством общественного долга: как бы ни были скучны женщины, рядом с которыми он сидел, Роберт изо всех сил старался развлечь их. Но когда гости разошлись, веселость спала с Роберта, как мантия с плеч. Она почувствовала, что он чем-то недоволен.

— Принцесса была очень скучной? — дружелюбно спросила она.

— Это старая злая кошка, но сегодня она была сносной.

— Странно, что сэра Фредерик принял тебя за знакомого.

— Я не видел его ни разу в жизни, но знаю о нем все. На твоём месте, Элеонора, я общался бы с ним как можно меньше. По-моему, он не совсем нашего круга.

— Но ведь его род один из старейших в Англии. Мы смотрели в справочнике «Кто есть кто».

— Он бесчестный негодяй. Кто бы мог подумать, что капитан Харди... Фред Харди,— поправился Роберт,— о котором мне приходилось слышать, теперь уже сэра Фредерик. Я ни за что не позволил бы тебе пригласить его в мой дом.

— Почему, Роберт? Надо сказать, я нашла его очень привлекательным.

Элеоноре показалось, что на этот раз ее муж хватил через край.

— Многие женщины находили его привлекательным, и это им дорого обошлось.

— Ты же знаешь, какие люди сплетники. Нельзя верить всему, что болтают.

Роберт взял ее за руку и проникновенно взглянул в глаза.

— Элеонора, тебе ли не знать, что я не из тех, кто злословит о человеке за его спиной. Я не стану рассказывать того, что знаю о Харди; прошу лишь, поверь, что с ним не стоит поддерживать отношения.

Это был призыв, и не откликнуться на него Элеонора не могла. Такое доверие восхищало ее; он знал, что в решительную минуту ему нужно только взывать к ее преданности, и она его не подведет.

— Роберт,— торжественно сказала она,— никто лучше меня не знает о твоей безупречной порядочности; я знаю, ты рассказал бы мне все, если б мог, но теперь, даже если и захочешь, я не позволю; получится, будто я доверяю тебе меньше, чем ты мне. Твое мнение для меня свято. Обещаю, что ноги их больше не будет в нашем доме.

Но когда Роберт играл в гольф, Элеонора часто завтракала где-нибудь одна и нередко встречала супругов Харди. С сэром Фредериком она держалась очень холодно, считая, что раз Роберт относится к нему неприязненно, она должна тоже; но сэр Фредерик или не замечал этого, или ему было все равно. Он был по-прежнему любезен, и она решила, что с ним очень легко ладить. Трудно было недолюбливать человека, откровенно считавшего, что все женщины оставляют желать лучшего, однако столь любезного и с такими восхитительными манерами. Возможно, он был не тем человеком, с кем стоило поддерживать отношения, но ей невольно нравился взгляд его карих глаз. Это был насмешливый взгляд, он заставлял настораживаться, и в то же время такой мягкий, что нельзя было заподозрить ничего недоброго. Но чем больше Элеонора слышала о нем, тем больше понимала, как прав был Роберт. Это был беспринципный повеса. Упоминались имена женщин, пожертвовавших ради него всем и бесцеремонно отвергнутых, едва они ему наскучили. Теперь, казалось, он остепенился и был привязан к жене и детям, но может ли леопард избавиться от своих пятен? Возможно, леди Харди приходилось сносить гораздо больше, чем кто-либо подозревал.

Фред Харди был безнравственным человеком. Красивые женщины, игра в карты и злосчастное свойство ставить не на ту лошадь привели его в суд по делам о несостоятельности, когда ему было двадцать пять лет, и это вынудило его подать в отставку. Потом он жил на содержании у очарованных им женщин не первой молодости и не видел в том ничего зазорного. Но когда началась война, он снова вступил в свой полк и был награжден орденом «За безупречную службу». Потом отправился в Кению, где ухитрился стать соответчиком в нашумевшем деле о разводе; Кению он покинул из-за каких-то осложнений с чеком. Его представления о честности были неопределенны. Покупать у него машину или лошадь было рискованно, а от шампанского, которое он радушно рекомендовал вам, лучше всего было отказаться. Когда он со всем своим обаянием настойчиво предлагал вам соучастие в спекуляции, которая принесет состояние обоим, можно было не сомневаться, что, сколько бы ни получил от нее он, вы не получите ничего. Он был поочередно торговцем автомобилями, маклером, комиссионером и актером. Если бы в мире существовала какая-то справедливость, он должен был бы кончить если не тюрьмой, то труппой. Но капризной волею судьбы унаследовав наконец баронетство и соответствующий доход, женившись далеко за сорок на красивой и умной женщине, родившей ему в свой срок двух здоровых, хорошеньких мальчишек, он приобрел богатство, положение в обществе и респектабельность. К жизни он всегда относился так же легкомысленно, как к женщинам, и жизнь была ласкова с ним, как женщина. О своем прошлом он вспоминал с удовлетворением; он неплохо пожил, превратности судьбы его только забавляли; и теперь, в добром здравии и с чистой совестью, он собирался стать сквайром, черт возьми, воспитать детей по всем правилам, а когда старый хрыч, представляющий в парламенте его избирательный округ, сыграет в ящик, сам, черт возьми, стать членом парламента.

— Я мог бы рассказать там кое-что, чего они не знают,— говорил он.

Возможно, он был прав, но ему не приходило в голову, что, скорей всего, «они» вовсе не желают этого знать.

Однажды под вечер Фред Харди зашел в бар на Круазетт. Он был общительным человеком и не любил пить в одиночестве, поэтому огляделся, нет ли кого из знакомых. На глаза ему попался Роберт, поджидавший после гольфа Элеонору.

— Эй, Боб, может, пропустим по стаканчику?

Роберт вздрогнул. На Ривьере никто не называл его Бобом. Увидев, кто это, он холодно ответил:

— Благодарю, я уже выпил.

— Давай еще. Моя старуха не одобряет выпивок перед обедом, но если мне удастся вырваться, то примерно в это время я заглядываю сюда. Не знаю, как считаешь ты, но, по-моему, Господь Бог создал вечер для того, чтобы мужчина мог промочить горло.

Он плюхнулся в большое кожаное кресло рядом с Робертом, позвал официанта, потом добродушно улыбнулся.

— Много воды протекло под мостами с первой нашей встречи, не так ли, старина.

Роберт, слегка нахмурясь, бросил на него взгляд, который сторонний наблюдатель мог бы назвать настороженным.

— Не совсем понимаю, что вы хотите сказать. Насколько я помню, впервые мы встретились три или четыре недели назад, когда вы и ваша супруга были столь любезны, что пришли к нам на ленч.

— Да брось ты, Боб. Я догадался, что встречал тебя раньше. Поначалу ломал себе голову, а потом вдруг вспомнил. Ты был мойщиком в гараже на Брутон-стрит, где я держал машину.

Капитан Форестьер добродушно рассмеялся.

— Прошу прощения, но вы ошибаетесь. В жизни не слышал ничего более смехотворного.

— У меня чертовски хорошая память, особенно на лица. Держу пари, что ты тоже помнишь меня. Немало полукрон перепало тебе за то, что ты отгонял в гараж мою машину, когда мне не хотелось возиться самому.

— Вы говорите полнейшую чепуху. Я ни разу не встречал вас, пока вы не появились в моем доме.

Харди весело усмехнулся.

— Знаешь, я давно увлекаюсь фотографией, и у меня есть несколько альбомов со снимками. Тебе, наверно, приятно будет узнать, что я обнаружил снимок, где ты стоишь у только что купленной мною двухместной машины. Чертовски симпатичным парнем был ты в те дни, хотя там на тебе комбинезон и лицо не особенно чистое. Конечно, сейчас ты возмужал, волосы поседели, появились усики, но это тот самый парень. Вне всяких сомнений.

Капитан Форестьер холодно поглядел на него.

— Должно быть, вас ввело в заблуждение случайное сходство. Свои полкроны вы давали кому-то другому.

— Ладно, где, в таком случае, ты был между девятьсот тринадцатым и девятьсот четырнадцатым?



— В Индии.

— Со своим полком? — снова усмехнулся Харди.

— Я охотился.

— Врешь.

Роберт густо покраснел.

— Здесь не место для ссоры, но если вы думаете, что я стану терпеть оскорбления от пьяной свиньи вроде вас, то ошибаетесь.

— Хочешь знать, что еще мне известно о тебе? Если уж начнешь вспоминать, то вспоминается многое.

— Меня это ничуть не интересует. Говорю вам, что вы глубоко ошибаетесь. Вы меня с кем-то путаете.

Но попытки уйти он не сделал.

— Ты был бездельником даже в те дни. Помню, однажды я собирался за город рано утром и велел тебе приготовить машину к девяти, а она оказалась не готова, я поднял шум, и старик Томпсон сказал тогда мне, что твой отец был его приятелем, и он взял тебя на работу из милости, потому что ты дошел до ручки. Твой отец был буфетчиком в одном из клубов, не помню в каком, и ты сам был там на побегушках. Если мне не изменяет память, ты завербовался потом в Колдстримский гвардейский полк, какой-то мальчик выкупил тебя оттуда и сделал слугой.

— Слишком уж фантастично, — с презрением сказал Роберт.

— Помню, когда я был в отпуске и заглянул в гараж, старый Томпсон сказал мне, что ты зачислился в службу снабжения. Рисковать тебе не очень-то хотелось, так ведь? Рассказы о твоей доблести в окопах чуточку преувеличены, а? Офицерское звание, надеюсь, ты все же получил, или это тоже выдумки?

— Разумеется, получил.

— Что ж, в те дни много случайных людей становились офицерами, но знаешь, старик, если это было в тыловой службе, я на твоём месте не носил бы гвардейский галстук.

Капитан Форестьер машинально коснулся галстука, и Фред Харди, насмешливо глядевший на него, ясно увидел, что, несмотря на загар, он побледнел.

— Не ваше дело, какой галстук я ношу.

— Не злись, старина. Ни к чему становиться на дыбы. Я кое-что о тебе знаю, но выдавать тебя не собираюсь, так почему не выложить все начистоту?

— Выкладывать мне нечего. Говорю вам, это нелепая ошибка. И должен заявить, что, если вы будете распро-

странять эти лживые рассказы, я подам на вас в суд за клевету.

— Брось ты, Боб. Я ничего не собираюсь распространять. Зачем это мне? По-моему, вся эта история довольно забавна. Я ничего против тебя не имею. Я и сам пускался в авантюры, а тобой просто восхищаюсь за такой изумительный блеф. Начал мальчиком на побегушках, потом был солдатом, слугой, мойщиком, а теперь ты блестящий джентльмен, у тебя роскошный дом, ты принимаешь у себя всех тузов Ривьеры, побеждаешь на турнирах по гольфу, ты вице-президент яхт-клуба и не знаю кто там еще. Бесспорно, здесь ты видный человек. Это изумительно. В свое время я тоже совершал довольно сомнительные поступки, но твоя смелость... старик, я снимаю перед тобой шляпу.

— К сожалению, я не заслуживаю ваших комплиментов. Мой отец служил в индийской кавалерии, и, уж во всяком случае, родился я джентльменом. Возможно, я не сделал блестящей карьеры, но стыдиться мне решительно нечего.

— Да ладно тебе, Боб. Ты же понимаешь, я не проболтаюсь даже своей старухе. Я не рассказываю женщинам того, чего они еще не знают. Поверь, я попадал бы в еще худшие передраги, чем бывало, если б не завел себе такого правила. Мне казалось, ты будешь рад иметь по близости человека, с которым можно бывать самим собой. Глупо с твоей стороны держать меня на расстоянии. Старик, я ничего не имею против тебя. Правда, теперь я баронет и землевладелец, но в свое время не раз попадал в переplet и просто удивляюсь, как не угодил в тюрьму.

— Этому удивляются многие.

Фред Харди разразился хохотом.

— Здорово ты поддел меня, старина. Кстати, не обижайся, но ты слишком уж хватил, заявив супруге, что я не тот человек, с кем стоит поддерживать отношения.

— Я не говорил ничего подобного.

— Говорил, чего там. Она великолепная старушка, но слегка болтлива. Или я ошибаюсь?

— Я не намерен говорить о своей жене с человеком вроде вас,— холодно сказал капитан Форестьер.

— Да не корчи ты со мной джентльмена, Боб. Мы с тобой пара бездельников, вот и все. Можно было б иной раз недурно провести вдвоем время, будь у тебя побольше здравого смысла. Ты лжец, мошенник и самозванец, но ты очень порядочен по отношению к своей жене, и это делает тебе честь. Она, видимо, души в тебе не чает. Странная это штука — женское сердце. Она очень милая женщина, Боб.

Лицо Роберта побагровело, он сжал кулак и приподнялся.

— Прекратите говорить о моей жене, черт возьми! Если вы еще заикнетесь о ней, я изобью вас.

— Не может быть. Ты слишком джентльмен, чтобы ударить человека слабее себя.

Харди произнес эти слова насмешливо, не спуская с Роберта глаз, готовый увернуться, если громадный кулак устремится к нему, и был поражен результатом. Роберт опустил на стул и разжал руку.

— Вы правы. Но только подлая тварь может пользоваться этим.

Ответ прозвучал так театрально, что Фред Харди рассмеялся, но потом увидел, что Роберт это всерьез. Без всякой нарочитости. Фред Харди был неглуп; он не прожил бы двадцать пять лет на сомнительные доходы, если б ему не хватало сообразительности. И теперь, глядя в изумлении на крупного, сильного человека, так похожего на типичного английского спортсмена, он внезапно понял все. Этот человек не был заурядным мошенником, женившимся на богатой дуре, чтобы жить в роскоши и праздности. Она была лишь средством для достижения более крупной цели. Его манил некий идеал, и в стремлении к нему он не останавливался ни перед чем. Возможно, мысль эта зародилась у него, когда он был еще мальчиком на побегушках в фешенебельном клубе; его члены с их ленивой непринужденностью, небрежными манерами, должно быть, поразили его воображение; и позднее, будучи солдатом, слугой, мойщиком, он встречал многих людей, принадлежавших к другому миру, видел в них чуть ли не полубогов и проникался восхищением и завистью. Ему хотелось быть таким, как они. Ему хотелось быть одним из них. Это и был идеал, тревоживший его сны. Он мечтал—это было достойно смеха и жалости,—он мечтал стать джентльменом. Война и полученное там офицерское звание дали ему такую возможность. Деньги Элеоноры помогли ее реализовать. Этот несчастный прожил двадцать лет, изображая то, что ценится только своей подлинностью. Это было тоже достойно смеха и жалости. Фред Харди невольно высказал мысль, пришедшую ему на ум.

— Бедняга,—сорвалось у него.

Форестьер бросил на собеседника острый взгляд. Он не понимал, какое отношение это слово и этот тон могут иметь к нему. Лицо его вспыхнуло.

— Что вы имеете в виду?

— Ничего. Ничего.

— По-моему, нет смысла продолжать этот разговор. Очевидно, я не сумею убедить вас, что во всей этой истории нет ни слова правды. Я не тот, за кого вы меня принимаете.

— Ладно, старина, будь по-твоему.

Форестьер подозвал официанта.

— Заплатить за вас? — спросил он ледяным тоном.

— Да, старина.

Форестьер с величественным видом подал официанту деньги, сдачу велел оставить себе, потом, не сказав ни слова и не взглянув на Харди, вышел из бара.

Больше они не встречались до той ночи, когда Роберт Форестьер погиб.

Зима сменилась весной, и сады Ривьеры покрылись яркой зеленью. Склоны холмов запестрели дикими цветами. Весна сменилась летом. Улицы в прибрежных городах были залиты жгучей, слепящей жарой, заставляющей кровь бежать быстрее; женщины разгуливали в пижамах и соломенных шляпах. Пляжи были переполнены. Мужчины в купальных трусах и почти обнаженные женщины подставляли тела солнцу. Вечерами бары на Круазетт заполняла неутомная, шумная толпа, пестрая, как весенние цветы. Дожда не было несколько недель. То тут, то там возникали лесные пожары, и Роберт Форестьер беспечно замечал, что, если загорится лес возле их дома, им придется туго. Кое-кто советовал ему вырубить часть деревьев, но он не хотел и слышать об этом: когда Форестьеры купили дом, деревья были в запустении, но теперь, после вырубки сухих стволов и уничтожения вредителей, они прекрасно разрослись.

— Да ведь срубить одно из них — это все равно что отсечь себе ногу. Большинству там, должно быть, не менее ста лет.

Четырнадцатого июля Форестьеры отправились на праздничный обед в Монте-Карло, а весь штат прислуги отпустили в Канн. Был национальный праздник, устраивались танцы под платанами, фейерверки, и люди отовсюду ехали туда повеселиться. Харди тоже отпустили своих слуг, но сами остались дома и уложили детей в постель. Фред раскладывал пасьянс, а леди Харди возилась с чехлом для кресла. Вдруг раздался звонок и громкий стук в дверь.

— Кто там, черт возьми?

Харди отворил дверь и обнаружил мальчишку, сообщившего, что в лесу Форестьеров вспыхнул пожар. Несколько человек из деревни уже там и сражаются с огнем, но им нужна помощь. Не пойдет ли он туда?

— Конечно, пойду.— Харди поспешил к жене и сказал ей о случившемся.— Разбуди детей, пусть посмотрят. Черт возьми, после такой засухи там будет настоящий ад.

Он выбежал из дома. Посыльный сказал ему, что уже позвонили в полицию и там обещали прислать солдат. Пытаются связаться с Монте-Карло и вызвать капитана Форестьера.

— Раньше чем через час ему не вернуться,— сказал Харди.

На бегу они видели зарево над холмом, а добравшись до вершины, увидели и языки пламени. Воды не было, оставалось только сбивать их. Несколько человек уже занимались этим. Харди присоединился к ним. Но прежде чем удавалось сбить пламя с куста, соседний начинал потрескивать и мгновенно превращался в пылающий факел. Жар был нестерпимый, и люди медленно отступали. Дул бриз, с деревьев летели искры. После долгой засухи все было сухим, как трут, и едва искра попадала на куст, он тут же вспыхивал. Если б не было так жутко, зрелище пылающей, как спичка, громадной шестидесятифутовой пихты вызывало бы благоговейный трепет. Пламя ревело, как в шахтной печи. Лучшим средством остановить его продвижение была бы вырубка кустов и деревьев, но людей не хватало, и топоры были только у двоих или троих. Единственная надежда была на солдат, привыкших управляться с лесными пожарами, но они не появлялись.

— Если они не прибудут с минуты на минуту, нам не спасти дом,— сказал Харди.

Заметив жену, пришедшую с обоими сыновьями, он помахал им рукой. По его почерневшему от сажи лицу струился пот. Леди Харди подбежала к нему.

— Фред, там собаки и цыплята.

— Черт возьми, да.

Вольеры собак и курятник находились позади дома, и несчастные животные обезумели от ужаса. Харди выпустил их, и они бросились наутек. Оставалось лишь предоставить их пока самим себе. Зарево уже было видно издали. Но солдаты не появлялись, и горстка людей была бессильна против надвигающегося огня.

— Черт возьми, если солдаты теперь же не явятся, дом обречен,— сказал Харди.— Надо, пожалуй, вынести оттуда все, что возможно.

Дом был каменный, но вокруг него шли деревянные веранды, и они вспыхнули бы как щепки. Слуги Форестьеров были уже здесь. Харди с помощью жены и сыновей

собрал их; они стали выносить на площадку перед домом все, что можно было вынести: белье, столовое серебро, одежду, безделушки, картины, мебель. Наконец на двух грузовиках прибыли солдаты и принялись методично валить деревья и рыть траншеи. Командовал солдатами офицер, Харди обратил его внимание на то, что дом в опасности, и попросил валить в первую очередь ближайшие деревья.

— Дом не моя забота,— ответил тот.— Я должен предотвратить распространение огня.

Показался свет фар, машина быстро неслась по извилистой дороге, и через несколько минут из нее выскочили Форестьер с женой.

— Где собаки? — крикнул он.

— Я выпустил их,— сказал Харди.

— А, это вы.

В этом грязном человеке с потным, измазанным сажей лицом трудно было узнать Фреда Харди. Форестьер сердито нахмурился.

— Я боялся, что дом загорится, и вынес все, что возможно.

Форестьер поглядел на пылавший лес.

— Да,— сказал он,— моим деревьям пришел конец.

— На склоне холма работают солдаты. Они пытаются спасти соседние владения. Пойдем, посмотрим, удастся ли что-нибудь сделать.

— Я пойду сам. Обойдусь без вас,— раздраженно ответил Форестьер.

Вдруг Элеонора пронзительно вскрикнула:

— Смотрите, дом!

Оттуда, где они стояли, было видно, как вспыхнула задняя веранда.

— Ничего, Элеонора. Дом останется цел. Сгорят только деревянные части. Возьми мой пиджак. Я пойду помогу солдатам.

Он снял смокинг и отдал его жене.

— Я тоже иду,— сказал Харди.— Миссис Форестьер, вам лучше пойти к своим вещам. Кажется, все ценное мы вынесли.

— Слава богу, большинство драгоценностей было на мне. Леди Харди была практичной женщиной.

— Миссис Форестьер, давайте соберем слуг и перенесем к нам все, что можно.

Оба мужчины направились к занятым работой солдатам.

— Вы поступили очень любезно, вынеся из дома вещи,— холодно сказал Роберт.

— Ерунда,— отмахнулся Харди.

Не успев отойти далеко, они услышали, что их кто-то зовет. Они оглянулись и увидели сквозь дым женщину, бегущую за ними.

— Месье, месье!

Они остановились, и женщина, простирая руки, подбежала к ним. Оказалось, это служанка Элеоноры. Она была в отчаянии.

— *La petite*<sup>1</sup> Джуди. Джуди. Я заперла ее, когда мы уходили. Она сгорит. Я посадила ее в ванную для слуг.

— Господи!— воскликнул Форестьер.

— Что там такое?

— Собачка Элеоноры. Я должен во что бы то ни стало спасти ее.

Он повернулся и бросился к дому. Харди схватил его за руку.

— Не будь дураком, Боб. Дом весь в огне. Соваться туда нельзя.

Форестьер стал вырываться.

— Пустите, черт возьми. Думаете, я допущу, чтобы собачка сгорела заживо?

— Брось. Сейчас не время ломать комедию.

Форестьер отшвырнул Харди, но тот снова бросился к нему и обхватил поперек туловища. Форестьер изо всех сил ударил Харди по лицу. Харди пошатнулся, и Форестьер ударил еще раз. Харди упал.

— Грязный прохвост. Я покажу тебе, как ведет себя джентльмен.

Фред Харди поднялся и потрогал лицо. Было больно.

— Черт, ну и синячище будет у меня завтра.

Он пошатывался, немного кружилась голова. Служанка внезапно разразилась истерическими рыданиями.

— Заткнись ты, шлюха!— грубо прикрикнул он.— И не смей говорить ни слова своей хозяйке.

Форестьера нигде не было видно. Прошло больше часа, прежде чем удалось его найти. Он лежал на лестничной площадке возле ванной, мертвый, с мертвой собачкой в руках. Харди долго глядел на него.

— Дурак,— гневно процедил он сквозь зубы.— Безмозглый дурак.

Обман, в конце концов, обернулся против него самого. Как человек, предающийся пороку, пока тот не схватит его мертвой хваткой и не превратит в покорного раба, он лгал

---

<sup>1</sup> Малютка (*фр.*).

так долго, что сам поверил в собственную ложь. Боб Форестьер много лет притворялся джентльменом и наконец, забыв, что это фикция, оказался перед необходимостью поступить так, как по соображениям его тупого, косного ума должен поступать джентльмен. Уже не сознавая разницы между подлинным и мнимым, он пожертвовал жизнью во имя ложного героизма. Однако Фреду Харди предстояло сообщить эту весть миссис Форестьер. Она находилась с его женой на их вилле у подножия холма в полной уверенности, что Роберт вместе с солдатами валит деревья и расчищает кустарник. Харди говорил с ней так осторожно, как только мог, но он должен был рассказать ей обо всем. Сперва казалось, что она не может уловить смысл его слов.

— Погиб? — воскликнула она. — Погиб? Мой Роберт?

И тут Фред Харди, распутник, циник, бесчестный негодяй, взял ее руки в свои и произнес единственные слова, какие могли помочь ей справиться с горем:

— Миссис Форестьер, он был истинный джентльмен.



## САНАТОРИЙ

Первые шесть недель Эшенден провел в санатории, не вставая с постели. Он видел лишь доктора, навещавшего к нему утром и вечером, нянек, ухаживавших за ним, и горничную, приносящую ему еду. Заболев туберкулезом, Эшенден обратился в Лондоне к специалисту-легочнику, и, поскольку в Швейцарию он по некоторым причинам поехать не мог, врач порекомендовал ему санаторий на севере Шотландии. Но вот наступил долгожданный день — доктор разрешил Эшендену встать; после полудня няня помогла ему одеться и сойти вниз, на веранду, подложила под спину подушку, укутала пледом и предоставила ему наслаждаться солнечными лучами, струившимися с безоблачного неба. Была середина зимы. Санаторий стоял на вершине холма, откуда открывался широкий вид на заснеженные окрестности. По всей веранде в шезлонгах лежали люди, одни тихо беседовали, другие читали. То и дело кто-нибудь начинал задыхаться от кашля, а потом украдкой бросал взгляд на свой носовой платок. Перед тем как уйти, няня заученно бодрым тоном обратилась к человеку, лежавшему в соседнем шезлонге.

— Вот, познакомьтесь, пожалуйста, с мистером Эшенденом,— сказала она. А затем повернулась к Эшендену: — Это мистер Маклеод. Он и мистер Кембл живут здесь дольше всех.

По другую сторону от Эшендена лежала красивая девушка, рыженькая, с ярко-голубыми глазами; она не была накрашена, но губы ее ярко алели, а на щеках играл румянец. Это лишь подчеркивало необычайную белизну ее кожи. Кожа у нее была восхитительная, хоть и ясно было, что эта нежная белизна — следствие тяжелой болезни. Де-

вушка была одета в меховое манто и закутана в пледы, оставлявшие открытым только лицо, невероятно худое, до того худое, что нос, в сущности совсем небольшой, все же казался крупноватым. Она дружелюбно взглянула на Эшендена, но промолчала, а он, чувствуя себя неловко среди незнакомых людей, ждал, пока с ним заговорят.

— Вам сегодня, видно, в первый раз позволили встать? — осведомился Маклеод.

— Да.

— Где ваша комната?

Эшенден ответил.

— Маловата. Я знаю здесь все комнаты. Семнадцать лет я в санатории. Моя комната самая удобная, и я имею на нее все права, можете не сомневаться. Кембл старается выжить меня, сам хочет туда перебраться, но я и не подумаю уступить: с какой стати, я приехал на шесть месяцев раньше его.

Маклеод казался непомерно длинным в своем шезлонге; кожа его плотно обтягивала кости, щеки ввалились, а под впалыми висками и скулами легко угадывалась форма черепа; на изможденном лице с большим костлявым носом выделялись огромные глаза.

— Семнадцать лет — немалый срок, — заметил Эшенден, чтобы как-то поддержать разговор.

— Время летит быстро. И мне здесь нравится. Бывало, каждые год-два я уезжал отсюда на лето, но потом бросил. Теперь мой дом тут. Есть у меня брат и две сестры; но они обзавелись семьями, я стал им в тягость. Вот поживете здесь годик-другой, а потом захотите снова попасть в колею. Старые друзья пошли своими дорогами, и у вас не осталось с ними ничего общего. Везде какая-то сумасшедшая спешка. Много шуму из ничего, вот что это такое. Суэта, толчея. Нет, здесь куда спокойнее. Я с места не двинусь, пока меня не вынесут отсюда ногами вперед.

Лондонский специалист сказал Эшендену, что если он некоторое время последит за своим здоровьем, то совершенно поправится, и теперь Эшенден с любопытством взглянул на Маклеода.

— Что вы делаете здесь целыми днями? — спросил он.

— Делаю? Когда болеешь туберкулезом, забот целая куча, милейший. Я меряю температуру, потом взвешиваюсь. Потихоньку одеваюсь. Завтракаю, читаю газеты и иду гулять. Потом отдыхаю. После второго завтрака играю в бридж и снова отдыхаю, потом обедаю. Снова играю в бридж и ложусь спать. Здесь неплохая библиотека, можно

получить все новинки, но на чтение у меня почти не остается времени. Я беседую с людьми. Каких только людей здесь не встретишь! Они приходят и уходят. Порой уходят, воображая, что излечились, но по большей части возвращаются назад, а порой уходят в лучший мир. Я проводил многих и надеюсь проводить еще больше, прежде чем уйду сам.

Девушка, сидевшая по другую сторону от Эшендена, внезапно вмешалась в разговор:

— Должна вам сказать, мало кто способен так от души радоваться похоронам, как мистер Маклеод.

Маклеод хихикнул.

— Не знаю, право, но, по-моему, было бы противоестественно, если бы я не говорил себе: ну что ж, слава богу, что это его, а не меня спроваживают на тот свет.

Тут он вспомнил, что следует представить Эшендена девушке.

— Вы, кажется, не знакомы... Мистер Эшенден — мисс Бишоп. Она англичанка, но славная девушка.

— А вы давно здесь? — осведомился Эшенден.

— Всего два года. И пробуду только до весны. Доктор Леннокс говорит, что через несколько месяцев я совсем окрепну и вполне смогу уехать домой...

— Ну и глупо, — пробурчал мистер Маклеод. — От добра добра не ищут — вот как я рассуждаю.

Между тем на веранде показался человек; он медленно ковылял, опираясь на палку.

— Смотрите, вон майор Темплтон. — В голубых глазах мисс Бишоп засветилась улыбка; когда он приблизился, она сказала:

— Рада видеть вас снова на ногах.

— Ах, пустое! Легкая простуда. Теперь я чувствую себя превосходно.

Едва произнеся эти слова, майор закашлялся. Он тяжело оперся на палку. Но когда приступ прошел, весело улыбнулся.

— Никак не избавлюсь от этого распроклятого кашля, — сказал он. — Курить надо поменьше. Доктор Леннокс велит бросить совсем, но где там: я все равно не могу себя заставить.

Это был рослый, красивый человек с несколько театральной внешностью, смуглым, но болезненным лицом, чудесными темными глазами и аккуратными черными усиками. На нем была шуба с каракулевым воротником. Вид у него был щеголеватый и, пожалуй, чуточку слишком эффектный. Мисс Бишоп представила ему Эшендена.

Майор Темплтон сказал несколько любезных слов непринужденным и сердечным тоном, а потом предложил девушке пойти прогуляться: ему было предписано каждый день ходить до какого-то определенного места в лесу за санаторием и обратно. Маклеод поглядел им вслед.

— Любопытно, есть ли между ними что-нибудь,— сказал он.— Говорят, до болезни Темплтон был не последним сердцеедом.

— Глядя на него, трудно себе представить,— заметил Эшенден.

— Ну, не скажите. Я тут чего только не перевидал за эти годы. Мог бы рассказать вам бездну всяких историй.

— Так за чем же дело стало?

Маклеод ухмыльнулся.

— Ладно, я расскажу вам кое-что. Года три или четыре назад здесь жила одна темпераментная дамочка. Муж навещал ее каждые две недели, по субботам, души в ней не чаял, всякий раз прилетал самолетом из Лондона; но доктор Леннокс был убежден, что она путается здесь с кем-то, только не мог доискаться, с кем. И вот как-то вечером, когда все мы легли спать, он велел покрыть пол перед ее дверью тонким слоем краски, а наутро осмотреть все ночные туфли. Ловко, не правда ли? Тот молодец, на чьих туфлях оказалась краска, вылетел отсюда в два счета. Доктору приходится быть строгим, ничего не поделаешь. Он не хочет, чтобы о санатории пошла дурная слава.

— А Темплтон давно здесь?

— Месяца три. Он почти не вставал с постели все это время. Его песенка спета. Айви Бишоп будет последней душой, если влюбится в него. У нее все шансы выздороветь. Я ведь многих перевидал здесь, у меня глаз наметанный. Мне довольно взглянуть на человека, чтобы определить, выздоровеет он или нет, а если нет, мне ничего не стоит предсказать, сколько он протянет. Ошибаюсь я редко. Темплтону осталось жить не больше двух лет.

Маклеод бросил на Эшендена испытующий взгляд, и Эшенден, поняв значение этого взгляда, хоть и пытался внушить себе, что это его только забавляет, невольно ощутил некоторую тревогу. Глаза Маклеода лукаво блеснули. Он отлично понимал, что творится в душе у Эшендена.

— Вы-то поправитесь. Стал бы я откровенничать с вами, не будь я в этом уверен! Не имею ни малейшего желания, чтобы доктор Леннокс выставил меня отсюда за то, что я нагоняю страх Божий на его пациентов.

Пришла няня, чтобы снова уложить Эшендена в постель. Хотя Эшенден просидел на веранде всего час, он устал и с удовольствием снова ощутил прохладное прикосновение простынь. Вечером зашел доктор Леннокс. Он взглянул на температурный листок.

— Недурно, недурно, — сказал он.

Доктор Леннокс был маленький, живой и очень добродушный человек. Вполне знающий врач и неплохой делец, он страстно увлекался рыбной ловлей. Как только наступал рыболовный сезон, он с легкой душой сваливал заботу о больных на своих помощников; больные хотя и выказывали неудовольствие, но охотно лакомились свежей семгой, которая разнообразила их рацион. Доктор, говоривший с сильным шотландским акцентом, любил поболтать и теперь, стоя у кровати Эшендена, осведомился, беседовал ли он с кем-нибудь из больных. Эшенден рассказал, что няня познакомила его с Маклеодом. Доктор Леннокс рассмеялся.

— Это наш старожил. Ему известно о санатории и о больных больше, чем мне самому. Откуда он все узнает, для меня загадка, но от него не укрывается ни одна интимная подробность. Во всем санатории не найти старой девы, у которой был бы более тонкий нюх на всякие пикантные происшествия. Он рассказал вам о Кембле?

— Он упомянул это имя.

— Они с Кемблом ненавидят друг друга. Смешно, не правда ли? Оба прожили здесь семнадцать лет и в лучшем случае имеют одно здоровое легкое на двоих. Они видеть друг друга спокойно не могут. Я отказался выслушивать их бесконечные жалобы. Комната Маклеода расположена прямо над комнатой Кембла, а Кембл играет на скрипке. Маклеод приходит в бешенство. По его словам, он выслушивает одни и те же мелодии вот уже пятнадцать лет, а Кембл уверяет, что Маклеод просто не способен отличить одну мелодию от другой. Маклеод хочет, чтобы я запретил Кемблу играть, но, что поделаешь, это его право, лишь бы он не играл в те часы, когда больные отдыхают. Я предложил Маклеоду переехать в другую комнату, но он отказался. Говорит, что Кембл играет нарочно, чтобы выжить его из лучшей комнаты во всем санатории, и уверяет, что этот номер не пройдет. Не странно ли, что два пожилых человека только о том и думают, как бы отравить друг другу существование? Никак не угомонятся. Едят за одним столом, вместе играют в бридж; и дня не проходит без скандала. Я даже грозил выгнать обоих, если они не образумят-

ся. На короткое время это помогало. Они не хотят уезжать. Они пробыли здесь так долго, что ни одной душе нет до них дела, они не в силах вернуться к прежней жизни. Как-то, несколько лет назад, Кембл вздумал уехать месяца на два. Он вернулся через неделю; сказал, что не может выдержать шума, а при виде стольких людей на улице его охватывает ужас.

В странном мире очутился Эшенден, когда состояние его стало улучшаться и он мог ближе познакомиться с другими обитателями санатория. Однажды доктор Леннокс разрешил ему завтракать в столовой. Это была большая комната с низким потолком и огромными окнами; окна всегда были распахнуты настежь, и в погожие дни солнце заливало всю столовую. Эшенден застал там множество людей, и ему не сразу удалось разобраться в своих впечатлениях. Люди были такие разные — молодые, пожилые и совсем старые. Одни, подобно Маклеоду и Кемблу, провели в санатории много лет и не собирались покидать его до конца жизни. Другие приехали всего несколько месяцев назад. Одна старая дева, некая мисс Аткин, имела обыкновение проводить здесь каждую зиму, а на лето уезжать к друзьям и родственникам. Она уже вполне поправила свое здоровье и могла бы вообще обходиться без лечения, но санаторная жизнь ей нравилась. За долгие годы она приобрела здесь известное положение, стала почетным библиотекарем и пользовалась дружбой самой экономки. Она всегда рада бывала посплетничать с кем угодно, но доверчивого новичка вскоре предупреждали, что каждое его слово становится известно доктору Ленноксу. Доктору ведь не мешало знать, что его пациенты не ссорятся между собой, всем довольны, ведут себя благоразумно и выполняют его указания. Мало что укрывалось от зоркого глаза мисс Аткин, и обо всем она сообщала экономке, а та — доктору Ленноксу. Поскольку мисс Аткин в течение стольких лет каждую зиму приезжала в санаторий, она сидела за одним столом с Маклеодом и Кемблом наравне со старым генералом, которому отвели там место из уважения к его высокому чину. Стол этот ничем не отличался от остальных, и место, где он стоял, было ничуть не лучше всякого другого, но, поскольку он предназначался для старожил, сидеть здесь считалось за особую честь, и некоторые пожилые дамы были глубоко уязвлены тем, что мисс Аткин, которая уезжает каждое лето на четыре или пять месяцев, занимает почетное место, тогда как они, хоть и живут в санатории круглый год, принуждены сидеть за другими столами. Был

здесь старый чиновник индийской службы, который прожил в санатории дольше всех, не считая Маклеода и Кембла; в свое время этот человек управлял целой провинцией, а теперь он нетерпеливо ждал смерти Маклеода или Кембла, чтобы занять место за почетным столом. Эшенден познакомился и с Кемблом. Это был долговязый, костлявый мужчина, лысый и тощий — в чем только душа держится; когда он, съезжившись, сидел в кресле, то странным образом походил на злобного горбуна из кукольного спектакля. Был он резкий, обидчивый и раздражительный. Первым делом он осведомился у Эшендена:

— Вы любите музыку?

— Да.

— Здесь никто в ней ни черта не смыслит. Я играю на скрипке. Если угодно, заходите как-нибудь ко мне, я вам сыграю.

— Не ходите,— вмешался Маклеод, слышавший их разговор.— Это попытка.

— Как вы грубы!— вскричала мисс Аткин.— Мистер Кембл играет очень мило.

— В этой дыре не найти человека, способного отличить одну ноту от другой,— заявил Кембл.

Маклеод удалился с презрительным смехом. Мисс Аткин попыталась загладить неловкость:

— Не обращайтесь внимания на слова мистера Маклеода.

— Вот еще! Я у него в долгу не останусь, будьте покойны.

До самого вечера он без конца наигрывал один и тот же мотив. Маклеод стучал в пол, но Кембл не унимался. Маклеод послал горничную сказать, что у него болит голова и он просит мистера Кембла прекратить игру; Кембл ответил, что имеет право играть, а если мистеру Маклеоду это не нравится — что ж, очень жаль. На следующий день при встрече они наговорили друг другу резкостей.

Эшендена посадили за один стол с красивой мисс Бишоп, Темплтоном и бухгалтером из Лондона, по имени Генри Честер. Это был коренастый, широкоплечий, жилистый человек, меньше всего похожий на туберкулезного. Болезнь обрушилась на него, словно мгновенный удар из-за угла. Это был самый заурядный человек лет сорока, женатый, отец двоих детей. Жил он в скромном лондонском предместье. Каждое утро он уезжал в Сити и прочитывал утреннюю газету; каждый вечер приезжал из Сити и прочитывал вечернюю газету. У него не было других интересов, кроме работы и семьи. Дело свое он любил; он зарабатывал

достаточно, чтобы жить безбедно, каждый год откладывал небольшую сумму, по субботам и воскресеньям играл в гольф, в августе ездил отдохнуть недели три на восточное побережье, всегда на один и тот же курорт. Вот дети подрастут, он устроит на свое место сына, а сам поселится с женой в маленьком деревенском домике, где и проживет на покое до тех пор, пока не пробьет его час. Как и многие тысячи ему подобных, он ничего больше не желал от жизни. Это был средний англичанин. А потом случилась беда. Он простудился, играя в гольф, затем появилась боль в груди и кашель, от которого он никак не мог избавиться. Он всегда был крепкого здоровья и терпеть не мог лечиться; но, в конце концов, поддался уговорам жены и согласился пойти к врачу. Он был поражен, поражен до глубины души, когда узнал, что у него каверны в обоих легких и единственная возможность сохранить жизнь — это уехать в санаторий. Специалист, к которому Честер сразу же обратился, сказал, что он, вероятно, сможет вернуться к работе через год-другой, но два года прошло, и доктор Леннокс посоветовал ему выкинуть эту мысль из головы, по крайней мере, еще на год. Он показал ему бацилл в его мокроте и рентгеновский снимок, где затемнения свидетельствовали об активном процессе. Честер совсем упал духом. Он считал, что судьба сыграла с ним жестокую и несправедливую шутку. Это было бы объяснимо, если бы он вел разгульную жизнь, пьянствовал, волочился за женщинами, мало спал. Тогда он получил бы по заслугам. А так... Какая чудовищная несправедливость! Лишенный духовных запросов, равнодушный к книгам, он способен был только размышлять о своем здоровье. Это перешло в манию. Он напряженно следил за симптомами. Пришлось отобрать у него градусник, потому что он мерил температуру десять раз на день. Он вбил себе в голову, что доктора относятся к его состоянию слишком равнодушно, и, чтобы привлечь к себе их внимание, старался с помощью всяких ухищрений сделать так, чтобы термометр показывал угрожающе высокую температуру; а когда его уличили в обмане, он стал угрюмым и раздражительным. Но по натуре это был живой, общительный человек, и порой, забыв о своих горестях, он весело болтал и смеялся; потом внезапно вспоминал о болезни, и в глазах его появлялся страх перед смертью.

В конце каждого месяца его жена приезжала на день или два и останавливалась в гостинице по соседству. Доктор Леннокс не особенно жаловал родственников своих пациентов — их посещения волновали и расстраивали больных.



Трогательно было глядеть, с каким нетерпением Генри Честер ждал приезда жены; но, странное дело, в ее присутствии он почему-то казался вовсе не таким уж счастливым. Миссис Честер была маленькая, приятная, живая женщина, некрасивая, но не лишенная изящества и столь же заурядная, как и ее муж: стоило только взглянуть на нее, и становилось ясно, что она хорошая жена и мать, бережливая хозяйка, милое, тихое существо, которое исполняет свой долг и никому не мешает. Ее вполне удовлетворяла та скучная, замкнутая жизнь, которую она вела столько лет, и единственным ее развлечением было кино, а единственным бурным переживанием — дешевая распродажа в лондонских универмагах, ей никогда не приходило в голову, что ее существование однообразно. Другой жизни она и вообразить не могла. Эшендену понравилась миссис Честер. Он с интересом слушал ее болтовню о детях и домике в лондонском предместье, о соседях и мелочных заботах. Однажды он встретил ее на дороге. Честер из-за каких-то лечебных процедур остался в санатории, и она гуляла одна. Эшенден предложил пройтись вместе. Они поговорили немного о том о сем. Потом она внезапно спросила, как он находит ее мужа.

— По-моему, он поправляется.

— Ах, я так беспокоюсь...

— Не забывайте, туберкулез — болезнь затяжная. Наберитесь терпения.

Они прошли еще немного, и тут Эшенден заметил, что она плачет.

— Не надо расстраиваться, — сказал он мягко.

— Ах, вы не представляете себе, что мне приходится переносить, когда я приезжаю сюда. Я знаю, что не должна рассказывать об этом, но ведь я могу вам довериться, правда?

— Конечно.

— Я люблю его. Я к нему привязана. Я пожертвовала бы ради него всем на свете. Мы никогда не ссорились, никогда даже не спорили, ни разу. А теперь он меня ненавидит, и это разбивает мне сердце.

— Что вы, не может быть... Ведь когда вас здесь нет, он только о вас и говорит. И с такой любовью! Он к вам очень привязан.

— Да, когда меня здесь нет. Но когда я здесь, перед ним, здоровая и полная сил, тут-то на него и находит. Ему ужасно тяжело, что он болен, а я здорова. Он боится смерти и ненавидит меня за то, что я останусь жить. Мне приходит-

ся все время быть начеку; о чем бы я ни заговорила — о детях, о будущем, — все выводит его из себя, и он бросает мне горькие, обидные слова. Когда я заговариваю о делах, которые мне предстоит сделать дома, или о том, что я сменила кого-нибудь из прислуги, это его бесит. Он жалуется, что я обращаюсь с ним так, словно уже не принимаю его в расчет. Раньше мы жили дружно, а теперь я чувствую, что между нами выросла глухая стена. Я знаю, его винить нельзя, причиной всему болезнь, ведь он такой хороший и ласковый, воплощенная доброта, когда он был здоров, я не знала человека более мягкого; а теперь я просто боюсь навещать его и уезжаю с чувством облегчения. Заболей я туберкулезом, он очень опечалился бы, но я знаю, где-то в глубине души он бы обрадовался. Он смог бы примириться со мной, примириться со своей участью, если б знал, что и я скоро умру. Иногда он мучит меня разговорами о том, что я буду делать, когда его не станет, я прихожу в отчаяние и умоляю его замолчать, а он отвечает, что я не должна лишать его этого невинного удовольствия: ведь он так скоро умрет, а я могу еще долгие годы жить и не знать горя. Ах, это просто невыносимо — столько лет мы любили друг друга, а теперь все кончается так отвратительно, так ужасно.

Миссис Честер села на придорожный камень и дала волю слезам. Эшенден глядел на нее с жалостью, но не мог найти слов утешения. Все, что он услышал, не было для него неожиданностью.

— Дайте мне сигарету, — попросила она наконец. — Я не хочу, чтобы глаза у меня покраснели и опухли, а то Генри догадается, что я плакала, и подумает, будто мне сообщили о нем дурные новости. Разве смерть так страшна? Неужели все мы так безумно боимся смерти?

— Не знаю, — отозвался Эшенден.

— Когда умирала моя мать, она, мне кажется, прощалась с жизнью без сожаления. Она знала, что нет никакой надежды, и даже слегка подшучивала над смертью. Но она была уже старая женщина.

Миссис Честер овладела собой, и они двинулись дальше. Некоторое время они шли молча.

— Вы не измените своего мнения о Генри после всего, что я вам рассказала? — спросила она наконец.

— Разумеется, нет.

— Он был хорошим мужем и отцом. Я никогда не встречала лучшего человека. До болезни, поверьте, ни одна жестокая или бесчестная мысль не могла прийти ему в голову.

Разговор этот заставил Эшендена задуматься. Его часто упрекали в том, что он слишком низкого мнения о человеческой природе. А все потому, что он не всегда судил о своих ближних в соответствии с общепринятыми нормами. Не раз, когда другие приходили в ужас, он только улыбался, огорченно вздыхал или пожимал плечами. Конечно, кто мог ожидать, что этот добрый, ничем не примечательный человек затаил столь злобные и недостойные мысли; но разве дано нам предвидеть, как низко человек способен пасть и как высоко вознестись? Вся беда в скудости его идеалов. Генри Честеру на роду было написано вести заурядную жизнь, подверженную лишь обычным превратностям, и когда несчастье неожиданно обрушилось на него, он оказался безоружным. Он был подобен кирпичу, который изготовлен на большом заводе для того, чтобы занять свое место среди миллионов других кирпичей, но оказался с изъяном и поэтому не пошел в дело. Ведь и кирпич, будь у него разум, мог бы крикнуть: в чем я провинился, почему я не могу выполнять свою скромную задачу, почему меня отделили от других кирпичей, моей опоры и поддержки, и выбросили на свалку? И не вина Генри Честера, если он не мог найти в себе силы, чтобы безропотно переносить несчастье. Не каждому дано обрести утешение в искусстве или философии. Трагедия нашего времени в том и состоит, что эти простые души утратили веру в Бога, на которого уповали, и надежду на загробную жизнь и на счастье, которого они лишены в этом мире; взамен же они не нашли ничего.

Говорят, что страдание облагораживает человека. Но это не так. Как правило, оно делает человека мелочным, раздражительным и эгоистичным. Впрочем, здесь, в санатории, люди не слишком страдали. На определенной стадии туберкулеза появляется легкая лихорадка, которая скорее возбуждает, чем угнетает, и больной оживляется, обретает надежду, видит будущее в розовом свете; но при всем этом мысль о смерти постоянно живет в подсознании. Она подобна зловещему лейтмотиву, пронизывающему игривую оперетку. Сквозь веселые, ласкающие слух арии и танцевальные ритмы нет-нет да прорываются какие-то трагические ноты, которые угрожающе бьют по нервам; мелочные повседневные интересы, пустяковые обиды и пошлые заботы отступают на задний план; от боли и ужаса сжимается сердце, и страх смерти снисходит на душу, подобно тому как тишина, предвещающая тропический ливень, снисходит на джунгли. Вслед за Эшенденом в санатории появился

юноша лет двадцати. Моряк, младший лейтенант, он служил на подводной лодке и заболел тем, что в романах принято называть «скоротечной чахоткой». Это был высокий, красивый юноша с вьющимися каштановыми волосами, голубыми глазами и ласковой улыбкой. Эшенден виделся с ним два или три раза на веранде, и они обменялись поклонами. Это был веселый парень. Он болтал о музыкальных ревию и кинозвездах; читал в газетах сообщения о футбольных матчах и состязаниях боксеров. А потом юношу уложили в постель, и Эшенден больше его не видел. Вызвали родственников, и через два месяца его не стало. Он умер без жалоб. Он понимал, что с ним происходит, не больше, чем какое-нибудь животное. Несколько дней санаторием владело то же тягостное чувство, какое бывает в тюрьме после казни одного из заключенных; а потом, словно по уговору, повинувшись инстинкту самосохранения, все выбросили мысль о юноше из головы: жизнь с ее неизменным распорядком, с питанием три раза в день, гольфом на миниатюрной площадке, принудительным отдыхом, ссорами и обидами, сплетнями и мелочными неприятностями пошла своим чередом. Кембл, к ярости Маклеода, все так же пиликал на своей скрипке модную песенку и трогательную мелодию «Энни Лори». Маклеод все так же бахвалился своим искусством игры в бридж и сплетничал насчет здоровья и нравственности других. Мисс Аткин все так же злословила. Генри Честер все так же жаловался, что доктора уделяют ему мало внимания, и сетовал на судьбу, которая с ним, человеком праведной жизни, сыграла такую подлую шутку. Эшенден все так же читал и со снисходительным любопытством наблюдал за причудами своих страдающих братьев.

Он сблизился с майором Темплтоном. Темплтону было на вид немногим больше сорока, в свое время он служил в королевской гвардии, но после войны ушел в отставку. Человек весьма состоятельный, он стал жить в свое удовольствие. В сезон он участвовал в скачках, в сезон стрелял куропаток, в сезон травил лисиц. А когда все сезоны кончались, ехал в Монте-Карло. Он рассказывал Эшендену, какие крупные суммы выигрывал и проигрывал в баккара. Он волочился за женщинами и, если верить его рассказам, делал это не без успеха. Он любил хорошо поесть и выпить. Он знал по имени метрдотелей всех лучших лондонских ресторанов. Он был членом полдюжины клубов. Много лет он вел бесполезную, пустую жизнь самовлюбленного эгоиста, ту жизнь, которая в будущем, быть может, станет

немыслима, но ему тем не менее жилось легко и беззаботно. Однажды Эшенден полюбопытствовал, как бы поступил Темптон, если бы можно было все начать сначала, и тот ответил, что поступил бы точно так же. Это был интересный собеседник, веселый и беззлобно насмешливый, он скользил по поверхности явлений — не будучи способен на большее — легко, свободно и уверенно. У него всегда находился комплимент для поблекших старых дев и шутка для вспыльчивых пожилых джентльменов, потому что хорошие манеры сочетались в нем с врожденной добротой души. В легкомысленном мире людей, которые имеют больше денег, чем могут истратить, он чувствовал себя так же уверенно и свободно, как среди фешенебельных особняков Мэйфера. Он был из тех, кто всегда готов заключить пари, помочь другу или дать десятку нищему. Пусть он сделал не так уж много добра, зато и зла сделал не много. Баланс его жизни сводился к нулю. Но общаться с ним было куда приятнее, чем со многими обладателями более цельных характеров и достойных качеств. Теперь он был тяжело болен. Он умирал — и знал это. Он относился к своему положению с такой же легкой, улыбчивой беззаботностью, как и ко вссму на свете. Он порядком покутил на своем веку и ни о чем не жалеет, правда, ему здорово не повезло — схватил туберкулез, — но, черт возьми, никто не вечен: ведь с таким же успехом он мог погибнуть от вражеской пули или сломать себе шею, беря барьер. Всю жизнь он придерживался правила: если ты заключил неудачное пари, уплати проигрыш и забудь о нем. За свои деньги он получил достаточно и теперь готов прикрыть лавочку. Вся его жизнь была сплошным праздником, но всякий праздник рано или поздно кончается, и на другой день не имеет особого значения, уехал ли ты домой на рассвете или исчез, когда веселье было в разгаре.

В отношении морали он стоял ниже всех обитателей санатория, но зато один только он с искренней беспечностью принимал неизбежное. Он открыто презирал смерть, предоставляя другим считать его легкомыслие неприличным или восхищаться его мужественным спокойствием.

Поселившись в санатории, он меньше всего предполагал, что здесь его ожидает такая любовь, какой он ни разу в жизни не испытал. Романов у него было множество, но настоящего — ни одного. Он довольствовался благопристойно-продажной любовью хористок и мимолетными связями с женщинами не слишком строгого нрава, которых встречал

в знакомых домах. Он всегда стремился избежать всякой привязанности, которая угрожала бы его свободе. Его единственной целью в жизни было получить возможно больше удовольствия, и там, где дело касалось женщин, бесконечное разнообразие его вполне устраивало и ничуть не смущало. К женщинам его влекло постоянно. Даже с пожилыми дамами он не мог разговаривать без ласкового блеска в глазах и нежности в голосе. Он готов был на все, лишь бы угодить им. Они знали об этой его слабости, были приятно польщены и испытывали к нему безотчетное доверие, совершенно, впрочем, неоправданное. Однажды он обронил замечание, поразившее Эшендена своей пронизательностью:

— Всякий мужчина, знаете ли, может добиться женщины, какой только пожелает, стоит лишь постараться, это невелика хитрость; но только мужчина, уважающий женщину, может расстаться с ней, не унижая ее.

За Айви Бишоп он начал ухаживать просто в силу привычки. Она была моложе и красивее других женщин в санатории. На самом деле она была не так молода, как показалось Эшендену при первом знакомстве,— ей было двадцать девять, но последние восемь лет она кочевала из одного санатория в другой, в Швейцарии, Англии и Шотландии, и тепличный образ жизни помог девушке сохранить юную внешность, так что с виду ей вполне можно было дать лет двадцать. Весь свой жизненный опыт она приобрела в этих лечебных заведениях и любопытным образом сочетала в себе поразительную наивность с не менее поразительной искушенностью. В сердечных делах для нее не было тайн. В нее влюблялось множество мужчин самых различных национальностей; она принимала их ухаживания спокойно и слегка насмешливо и всегда находила в себе довольно твердости, если они пытались зайти слишком далеко. Была в ней сила характера, удивительная в столь хрупком существе, и, когда доходило до игры в открытую, она умела высказать все, что думала, в ясных, холодных и решительных выражениях. Айви была не прочь пофлиртовать с Джорджем Темптоном. Она понимала, что это лишь игра, и хотя бывала с ним очень мила, однако ее шутивная непринужденность не оставляла сомнений в том, что она раскусила Темплтона и отнюдь не намерена смотреть на их отношения серьезнее, чем он сам. Подобно Эшендену Темплтон каждый вечер ложился в шесть и обедал в своей комнате, а потому виделся с Айви только днем. Они совершали вместе маленькие прогулки, в другое же время редко оставались

наедине. За завтраком завязывался общий разговор между Айви, Темплтоном, Генри Честером и Эшенденом, но ясно было, что не мужчин Темплтон так усердно старается развлечь. Эшендену казалось, что Темплтон уже не просто волочит за Айви от скуки, что его чувство становится глубже и искреннее; трудно было понять, подозревает ли Айви об этом и принимает ли происходящее близко к сердцу. Стоило Темплтону сказать что-либо более интимное, чем приличествовало случаю, как она отвечала ироническим замечанием, вызывавшим общий смех. Смеялся и Темплтон, но вид у него был невеселый. Теперь ему уже не хотелось, чтобы Айви считала его легкомысленным повесой. Чем ближе узнавал Эшенден Айви Бишоп, тем больше она ему нравилась. Было что-то трогательное в ее болезненной красоте, в прозрачной коже, в худом лице с огромными и необычайно голубыми глазами; было что-то трогательное и в ее участи, ведь, подобно многим другим обитателям санатория, она, по сути дела, осталась одна на свете. Мать ее вела светскую жизнь, сестры вышли замуж; они лишь формально интересовались молодой женщиной, которая жила вдали от них вот уже восемь лет. Они писали, время от времени приезжали навестить ее, но теперь их мало что связывало. Айви мирилась с этим без горечи. Она со всеми была в дружеских отношениях, всегда готова сочувственно выслушать любые жалобы и сетования. Особенно ласкова была она с Генри Честером и старалась, как могла, ободрить его.

— Ну, мистер Честер,— сказала она как-то за завтраком,— месяц кончается, завтра придет ваша жена. А до тех пор вам предстоит провести время в приятном ожидании.

— Нет, в этом месяце она не придет,— тихо ответил он, глядя в тарелку.

— Какая жалость! Но почему же? Надеюсь, дети здоровы?

— Доктор Леннокс считает, что так будет лучше для меня.

Водворилось молчание. Айви тревожно взглянула на Честера.

— Какая досада, старина,— заметил Темплтон с присущей ему сердечностью.— Почему вы не послали Леннокса ко всем чертям?

— Ему лучше знать, что нужно для моего здоровья.

Айви снова взглянула на него и перевела разговор на другое.

Позже Эшенден понял, что она сразу заподозрила истину. На следующий день Эшенден и Честер вышли прогуляться вдвоем.

— Как жаль, что ваша жена не придет,— сказал Эшенден.— Вам ведь, наверно, очень хотелось бы повидать ее.

— Очень.

Он бросил на Эшендена косой взгляд. Эшенден почувствовал, что Честеру хочется что-то сказать ему, но он не может собраться с духом. Честер сердито передернул плечами.

— Я сам во всем виноват. Это я попросил Леннокса написать, чтобы она не приезжала. У меня больше нет сил. Целый месяц жду ее, а когда она приезжает — я ее ненавижу. Понимаете, я так страдаю из-за этой мерзкой болезни. Она же полна сил, здоровья, энергии. Когда я вижу в ее глазах жалость, я готов сойти с ума. Что ей до меня? Кому есть дело до больного человека? Все только притворяются, но в душе рады-радешеньки, что сами здоровы. Наверно, я рассуждаю по-свински?

Эшенден вспомнил, как миссис Честер сидела на придорожном камне и плакала.

— А вы не боитесь причинить ей огорчение, если запретите ей приезжать сюда?

— Что ж поделаешь. У меня у самого довольно огорчений.

Эшенден не нашелся что ответить, и одно время они шли молча. Внезапно раздражение Честера прорвалось:

— Вам легко быть благородным и бескорыстным, вам не грозит смерть. А я умру, но, черт возьми, я не хочу умирать. С какой стати? Это несправедливо.

Время шло. В санатории, где так мало пищи для ума, всем вскоре стало известно, что Джордж Темплтон влюбился в Айви Бишоп. Труднее было дознаться, каковы ее чувства. Все видели, что Темплтон ей нравится, однако общества его она не искала и как будто даже избегала оставаться с ним наедине. Время от времени какая-нибудь из пожилых дам пробовала вызвать Айви на компрометирующие признания, но та при всей своей бесхитростности оказалась достойным противником. Она игнорировала намеки, а на прямые вопросы отвечала недоверчивым смехом. В конце концов, дамы пришли в бешенство.

— Она не настолько глупа, чтобы не видеть, что он от нее без ума!

— Как она смеет так играть его чувствами!

— Доктор Леннокс обязан сообщить об этом ее матери.



Но больше всех негодовал Маклеод:

— Это просто смешно. Ведь, в сущности, к чему все может привести? У него не легкие, а решето, да и ей похвастаться нечем.

Кембл, напротив, высказался насмешливо и цинично:

— Пусть наслаждаются жизнью, пока могут. Держу пари, здесь дело нечисто, только все шито-крыто, и я их не вию.

— Пошляк! — вспыхнул Маклеод.

— Ах, оставьте. Темплтон не такой человек, чтобы возиться с девчонкой, если у него нет какой-то цели, и она тоже не вчера родилась, поверьте.

Эшенден, который часто бывал в обществе Темплтона и Айви, знал гораздо больше других. Темплтон как-то разоткровенничался. Он сам над собой иронизировал.

— Нелепо в моем возрасте влюбиться в порядочную девушку. Меньше всего ожидал этого от себя. Но что толку отрицать, я влюблен по уши; будь я здоров, я завтра же сделал бы ей предложение. Никогда не думал, что девушка может быть так мила. Мне всегда казалось, что иметь дело с девушками — я хочу сказать, с порядочными девушками — ужасно скучно. Но с ней не скучно, она умница, большая умница. И вдобавок хороша собой. Бог мой, какая кожа! А волосы... Но не это повергло меня в прах. Знаете, что меня покорило? Смешно, да и только. Меня, старого распутника... Добродетель. Стоит мне подумать об этом, и я готов хохотать, как гиена. Меньше всего я искал этого в женщинах, и вот, пожалуйста, никуда не денешься — она чиста, и я чувствую себя последним червем. Вы удивлены?

— Нисколько, — ответил Эшенден. — Вы не первый старик, покоренный невинностью. Это обычная сентиментальность, свойственная пожилому возрасту.

— Ах, язва! — рассмеялся Темплтон.

— Что она вам сказала?

— Бог мой, уж не думаете ли вы, что я ей признался? Я не обмолвился с ней ни единым словом, которого не мог бы сказать при всех. А вдруг я умру через полгода, и, кроме того, что я могу предложить такой девушке?

Эшенден к этому времени был уже совершенно уверен, что Айви влюблена в Темплтона не меньше, чем тот в нее. От него не укрылся ни румянец, заливавший ее щеки, когда Темплтон входил в столовую, ни ласковые взгляды, которые она украдкой на него бросала. Ее улыбка приобретала какую-то особенную нежность, когда она слушала его воспоминания о прошлом. Эшендену казалось, что она безмя-

тежно греется в лучах его любви, подобно тому как больные на веранде, среди снеговых гор, греются в горячих лучах солнца; но вполне возможно, что она ни о чем ином даже не помышляет, и, уж конечно, не его дело сообщать Темплтону то, что она, по-видимому, желает скрыть.

Потом произошло событие, нарушившее однообразие санаторной жизни. Хотя Маклеод и Кембл вечно ссорились, они играли в бридж вместе, потому что до приезда Темплтона были лучшими игроками в санатории. Они перебрались без умолку и во время игры и между робберами, но за долгие годы каждый до тонкости изучил игру другого и испытывал острое удовольствие от выигрыша. Обыкновенно Темплтон отказывался составить им компанию; прекрасный игрок, он тем не менее предпочитал играть с Айви, а Маклеод и Кембл единодушно считали, что это одно баловство. Айви принадлежала к числу тех игроков, которые, сделав ошибку, влекущую за собой проигрыш целого роббера, говорят со смехом: «Невелика беда — одной взяткой меньше». Но однажды у Айви болела голова, она осталась в своей комнате, и Темплтон согласился играть с Кемблом и Маклеодом. Эшенден сел четвертым.

Хотя был конец марта, несколько дней кряду шел снег, и они играли на веранде, открытой с трех сторон холодному ветру, в меховых пальто, шапках и перчатках. Ставки были слишком незначительны, чтобы побудить такого игрока, как Темплтон, играть осторожно, а потому он то и дело зарывался. Но играл он настолько лучше остальных, что почти всегда ухитрялся отобрать свои взятки или на худой конец садился без одной. Всем везло, и чаще обычного объявлялся малый шлем; игра проходила бурно, и Маклеод с Кемблом без устали пререкались. В половине шестого начался последний роббер, так как в шесть все должны были по звонку разойтись на отдых. Этот роббер протекал в упорной борьбе, обе стороны шли на штраф, ибо Маклеод и Кембл были противниками и каждый старался не дать выиграть другому. Без десяти шесть игра подходила к концу, оставалась последняя сдача. Темплтон играл с Маклеодом, а Эшенден — с Кемблом. Маклеод назначил две трфы; Эшенден спасовал; Темплтон показал сильную поддержку, и Маклеод назначил большой шлем. Кембл дублировал, Маклеод редублировал. Услышав это, игроки с других столов побросали карты и столпились около Маклеода, после чего игра шла при гробовом молчании небольшой кучки зрителей. Лицо Маклеода побледнело от волнения, на лбу проступили капли пота. Руки его тряслись.

Кембл стал мрачнее тучи. Маклеод вынужден был дважды прорезать, и оба раза удачно. Под конец он заставил противников прокинуться и взял тринадцатую взятку. Зрители зааплодировали. Маклеод, гордый победой, вскочил на ноги. Он погрозил Кемблу кулаком.

— Где вам в карты играть, скрипач несчастный! — крикнул он. — Большой шлем, с дублем и редублем! Всю жизнь я мечтал о нем, и вот он мой! Мой! Мой!

Он задышался. Его шатнуло, и он медленно повалился на стол. Кровь хлынула горлом. Послали за доктором. Прибежали служители. Маклеод был мертв.

Его похоронили через два дня, рано утром, чтобы не волновать больных печальным зрелищем. Из Глазго приехал какой-то родственник в трауре. Никто не любил Маклеода. Никто не жалел о нем. К концу недели его, по-видимому, забыли. Чиновник индийской службы занял его место за почетным столом, а Кембл переехал в комнату, о которой так давно мечтал.

— Теперь конец неприятностям, — сказал доктор Леннокс Эшендену. — Трудно поверить, что мне столько лет приходилось терпеть жалобы и склоки этой пары... Право же, нужно иметь ангельское терпение, чтобы содержать санаторий. И вот теперь, после того как этот человек доставил мне столько беспокойства, он умер такой нелепой смертью и перепугал всех больных до потери сознания.

— Да, это было сильное ощущение, — сказал Эшенден.

— Он был пустой человек, но некоторые женщины ужасно расстроились. Бедняжка мисс Бишоп заплакала все глаза.

— Мне кажется, она единственная из всех оплакивала его, а не себя.

Но вскоре выяснилось, что один человек не забыл Маклеода. Кембл бродил по санаторию, как собака, потерявшая хозяина. Он не играл в бридж. Не разговаривал. Сомнений быть не могло: он тосковал по Маклеоду. Несколько дней он не выходил из своей комнаты, даже в столовой не появлялся, а потом пошел к доктору Ленноксу и заявил, что эта комната нравится ему меньше, чем старая, и он хочет переехать обратно. Доктор Леннокс вышел из себя, что случалось с ним редко, и ответил, что Кембл много лет приставал к нему с просьбой перевести его в эту комнату; так пусть теперь либо остается в ней, либо вовсе убирается из санатория. Кембл вернулся к себе и погрузился в мрачное раздумье.

— Отчего вы не играете на скрипке? — не выдержала наконец экономка. — Уже недели две вас не слышно.

— Не хочу.

— Почему же?

— Мне это не доставляет больше удовольствия. Раньше мне нравилось выводить Маклеода из себя. Но теперь никому нет дела, играю я или нет. Я никогда больше не буду играть.

И до самого отъезда Эшендена из санатория он ни разу не взял в руки скрипку. Как ни странно, но после смерти Маклеода он потерял всякий вкус к жизни. Не с кем стало ссориться, некого дразнить, пропал последний стимул, и не оставалось сомнений, что в самом скором времени он последует за своим недругом в могилу.

Но на Темплтона смерть Маклеода произвела совершенно иное впечатление, имевшее самые неожиданные последствия. Он сказал Эшендену, как всегда, равнодушно-беспечным тоном:

— А ведь это здорово — умереть, как он, в минуту своего торжества. Не могу понять, почему все так опечалились. Он провел здесь много лет, не так ли?

— Кажется, восемнадцать.

— По мне, такая игра не стоит свеч. По мне, лучше уж разом взять свое, а потом будь что будет.

— Разумеется, все зависит от того, насколько вы дорожите жизнью.

— Да разве это жизнь?

Эшенден не нашел что ответить. Сам он надеялся выздороветь через несколько месяцев, но стоило взглянуть на Темплтона, и становилось ясно, что ему не поправиться. На лице его уже проступила печать смерти.

— Знаете, что я сделал? — сказал Темплтон. — Я предложил Айви стать моей женой.

Эшенден был поражен.

— Ну и что же она?

— Она, доброе сердечко, ответила, что это самое смешное предложение, какое ей только приходилось выслушивать, и я, должно быть, с ума сошел.

— Признайтесь, что она права.

— Конечно. Но она согласилась выйти за меня замуж.

— Это безумие.

— Разумеется, безумие. Но как бы то ни было, мы намерены поговорить об этом с Ленноксом.

Зима наконец миновала; в горах еще лежал снег, но в долинах он стаял, и внизу, на склонах, березки уже украсились почками, вот-вот готовыми пробрызнуть нежной молодой зеленью. Очарование весны ощущалось повсюду.

Солнце уже пригревало. Все оживились, некоторые даже блаженствовали. Ветераны, приезжавшие только на зиму, собирались в южные края. Темплтон и Айви вместе пошли к доктору Ленноксу. Они рассказали о своих планах. Леннокс осмотрел их; были сделаны рентгеновские снимки и различные анализы. Доктор назначил день, в который обещал сообщить результаты и в соответствии с этим обсудить их намерение. Эшенден видел их перед решительным разговором с доктором. Оба были взволнованы, но изо всех сил старались не подавать виду. Доктор Леннокс показал им результаты исследования и в простых словах обрисовал их состояние.

— Все это очень мило и любопытно,— заметил Темплтон,— но нам хотелось бы знать, можем ли мы пожениться.

— Это было бы крайне неразумно...

— Мы знаем, но какое это имеет значение?

— И преступно, если у вас родится ребенок.

— Ребенка не будет,— сказала Айви.

— Что ж, в таком случае я очень коротко изложу вам, как обстоят дела. А потом решайте сами.

Темплтон ободряюще улыбнулся Айви и взял ее за руку. Доктор продолжал:

— Мисс Бишоп едва ли окрепнет когда-нибудь настолько, чтобы вернуться к нормальной жизни, но если она и дальше будет жить так, как последние восемь лет...

— В санаториях?

— Да. Не вижу причин, почему бы ей благополучно не дожить если не до преклонных лет, то, по крайней мере, до того времени, которым следует удовольствоваться всякому благоразумному человеку. Болезнь не прогрессирует. Если же мисс Бишоп выйдет замуж и пожелает вести нормальную жизнь, очаги инфекции могут снова возродиться, и последствия этого никто не в состоянии предсказать. Что касается вас, Темплтон, то ваше состояние я могу охарактеризовать еще короче. Вы сами видели рентгеновские снимки. Какие у вас легкие — живого места нет. Если вы женитесь, то не проживете и полгода.

— А если не женюсь, сколько я могу прожить?

Доктор колебался.

— Не бойтесь, можете сказать мне правду.

— Два или три года.

— Благодарю вас, это все, что мы хотели знать.

Они вышли, как и вошли, рука об руку; Айви тихо плакала. Никто не слышал, о чем они разговаривали, но, когда они вышли к завтраку, лица у обоих сияли. Они сказали

Эшендену и Честеру, что поженятся, как только получат разрешение на брак. Потом Айви повернулась к Честеру.

— Мне бы так хотелось видеть вашу жену у нас на свадьбе. Как вы думаете, она придет?

— Неужели вы намерены пожениться здесь?

— Да. И мои и его родственники будут только недовольны, так что мы решили пока ничего не сообщать им. Мы попросим доктора быть моим посаженным отцом.

Она ласково взглянула на Честера, ожидая ответа. Двое других мужчин тоже посмотрели на него. Когда Честер заговорил, голос его слегка дрожал:

— Это очень любезно с вашей стороны. Я напишу ей и передам ваше приглашение.

Когда новость распространилась среди больных, многие, хотя и поздравили Айви и Темплтона, втихомолку решили между собой, что это настоящее безрассудство. Но когда им стал известен приговор доктора Леннокса — а в санатории все рано или поздно становится известным — и они представили себе, что если Темплтон женится, то не проживет и полгода, все умолкли в благоговейном страхе. Даже самые равнодушные не могли без волнения думать об этих двух людях, которые так любят друг друга, что не испугались смерти. Дух всепрощения и доброй воли снизошел на санаторий: те, кто был в ссоре, помирились; остальные на время забыли о своих горестях. Казалось, каждый разделял радость этой счастливой четы. И не только весна наполнила эти больные сердца новой надеждой: великая любовь, охватившая мужчину и девушку, словно обогрела своими лучами все вокруг. Айви пребывала в тихом блаженстве; волнение красило ее, она выглядела моложе и привлекательней. Темплтон был на седьмом небе. Он смеялся и шутил, словно забот у него не было и в помине. Казалось, ему предстоят долгие годы безоблачного счастья. Но однажды он открылся Эшендену.

— Собственно говоря, здесь не так плохо, — сказал он. — Айви обещала, что, когда я сыграю свой последний роббер, она вернется в этот санаторий. Тут у нее много знакомых, и ей не будет так тоскливо.

— Доктора часто ошибаются, — заметил Эшенден. — Если вы будете благоразумны, почему бы вам не прожить еще довольно долго...

— Мне бы только три месяца протянуть. Только три месяца, о большем я и не мечтаю.

Миссис Честер приехала за два дня до свадьбы. Она не виделась с мужем несколько месяцев, и теперь оба

смугились. Нетрудно было догадаться, что, оставаясь наедине, они чувствовали себя неловко и скованно. Однако Честер всеми силами старался побороть угнетенное состояние, ставшее для него уже привычным, и, по крайней мере, за столом показал себя веселым, сердечным человеком, каким он, наверное, и был до болезни. Накануне свадьбы все пообедали вместе: Темплтон и Эшенден нарушили режим и не ушли к себе; они пили шампанское, и до десяти вечера не прекращались шутки, смех и веселье. Бракосочетание состоялось на другое утро в ближней церкви. Эшенден был шафером. Собрались все больные, способные держаться на ногах. А сразу после завтрака новобрачные должны были уехать автомобилем. Больные, врачи и няни вышли проводить их. Кто-то привязал к заднему буферу машины старый башмак, и когда Темплтон с женой появились в дверях санатория, их осыпали рисом. Раздалось «ура», и они тронулись в путь, навстречу любви и смерти. Толпа медленно расходилась. Честер и его жена молча шли рядом. Сделав несколько шагов, он робко взял ее за руку. Сердце ее замерло. Краешком глаза она заметила слезы на его ресницах.

— Прости меня, дорогая,— заговорил он.— Я был жесток к тебе.

— Я знаю, ты не хотел меня обидеть,— ответила она запинаясь.

— Нет, хотел. Я хотел причинить тебе страдание, потому что страдал сам. Но теперь с этим покончено. То, что произошло с Темплтоном и Айви Бишоп... не знаю, как это назвать... заставило меня по-новому взглянуть на вещи. Я больше не боюсь смерти. Мне кажется, смерть значит для человека меньше, гораздо меньше, чем любовь. И я хочу, чтобы ты жила и была счастлива. Я больше ни в чем не завижую тебе и ни на что не жалуясь. Теперь я рад, что умереть суждено мне, а не тебе. Я желаю тебе всего самого хорошего, что есть в мире. Я люблю тебя.

## НЕПОКОРЕННАЯ

Он вернулся в кухню. Старик все еще лежал на полу там, где Ганс сбил его с ног; лицо у него было в крови, он стонал. Старуха стояла, прижавшись спиной к стене, и с ужасом, широко раскрыв глаза, смотрела на Вилли, приятеля Ганса, а когда вошел Ганс, она ахнула и бурно зарыдала.

Вилли сидел за столом, сжимая в руке револьвер. На столе перед ним стоял недопитый стакан с вином. Ганс подошел к столу, налил себе стакан и осушил его залпом.

— А здорово тебя, мой милый, разукрасили,— сказал Вилли, ухмыляясь.

На физиономии у Ганса была размазана кровь и тянулись глубокие царапины: следы пяти пальцев с острыми ногтями. Он осторожно коснулся рукой щеки.

— Чуть глаза не выдрала, сука. Надо будет йодом смазать. Ну, теперь она угомонилась. Иди.

— Да я не знаю... Пойти? Ведь уже поздно.

— Брось дурить. Мужчина ты или кто? Ну и что ж, что поздно? Мы заблудились, так и скажем.

Еще не стемнело, и клонящееся к западу солнце лило свет в окна фермерской кухни. Вилли помялся. Он был щуплый, темноволосый и узколицый, до войны работал портным-модельером. Ему не хотелось, чтобы Ганс считал его размазней. Он встал и шагнул к двери, в которую только что вошел Ганс. Женщина, поняв, зачем он идет, вскрикнула и рванулась вперед.

— Non, non <sup>1</sup>,— закричала она.

---

<sup>1</sup> Нет, нет (*фр.*).



Ганс одним прыжком очутился возле нее. Он схватил ее за плечи и с силой отшвырнул назад. Женщина упала. Ганс взял у Вилли револьвер.

— Молчать, вы оба! — рявкнул он. Он сказал это по-французски, но с гортанным немецким выговором. Потом кивнул Вилли на дверь. — Иди, я тут за ними присмотрю.

Вилли вышел, но через минуту вернулся.

— Она без памяти.

— Ну и что?

— Не могу я. Не стоит.

— Дурень, вот ты кто. Ein Weibchen. Баба.

Вилли покраснел.

— Лучше, пожалуй, пойдем, — сказал он.

Ганс презрительно пожал плечами.

— Вот допью бутылку, тогда и пойдем.

Ему не хотелось спешить, приятно было еще немного поблагодарствовать. Сегодня он с самого утра не слезал с мотоцикла, руки и ноги ныли. По счастью, ехать недалеко, только до Суассона, всего километров десять — пятнадцать. Может, повезет: удастся выспаться на приличной постели.

Конечно, ничего б этого не случилось, если бы она не вела себя так глупо. Они с приятелем сбились с дороги. Окликнули работавшего в поле крестьянина, а он им нарочно наврал, вот они и запутались в каких-то проселках. На ферму зашли, только чтобы спросить дорогу. Очень вежливо спросили — с населением было приказано обращаться по-хорошему, если только, конечно, французы сами будут вести себя подобающим образом. Девушка-то и открыла дверь. Она сказала, что не знает, как проехать к Суассону, и тогда они ввалились в кухню; старуха (ее мать, наверное, решил Ганс) объяснила, как туда доехать. Все трое — фермер, его жена и дочь — только что отужинали, на столе еще оставалась бутылка с вином. Тут Ганс почувствовал, что просто умирает от жажды. Жара стояла страшная, а пить в последний раз пришлось в полдень. Он попросил у них бутылку вина, и Вилли сказал при этом, что они заплатят. Вилли — паренек славный, только рохля. В конце концов, ведь немцы победили. Где теперь французская армия? Улепечивает со всех ног. Да и англичане тоже — все побросали, поскакали, как кролики, на свой островишко. Победители по праву взяли то, что хотели, — разве не так? Но Вилли проработал два года в парижском ателье. По-французски он болтает здорово, это верно, потому его и назначили сюда. Но жизнь среди французов не прошла для Вилли

даром. Никудашный народ французы. Немцу жить среди них не годится.

Фермерша поставила на стол две бутылки вина. Вилли вытащил из кармана двадцать франков и протянул ей. Она ему даже спасибо не сказала. Ганс по-французски говорил не так бойко, как Вилли, но все-таки малость научился, между собой они всегда говорили по-французски, и Вилли поправлял его ошибки. Потому-то Ганс и завел с ним приятельские отношения, Вилли был ему очень полезен, и к тому же Ганс знал, что Вилли им восхищается. Да, восхищается, потому что Ганс высокий, стройный, широкоплечий, потому что курчавые волосы его уж такие белокурые, а глаза — голубые-преголубые. Ганс никогда не упускал случая поупражняться во французском, и тут он тоже заговорил с хозяевами, но те — все трое — словно воды в рот набрали. Он сообщил им, что у него у самого отец фермер, и, когда война кончится, он, Ганс, вернется на ферму. В школе он учился в Мюнхене, мать хотела, чтобы из него вышел коммерсант, но у него душа к этому не лежит, поэтому, сдав выпускные экзамены, он поступил в сельскохозяйственное училище.

— Вы пришли сюда спросить дорогу, и вам ответили,— сказала девушка.— Допивайте вино и уходите.

Он только тут рассмотрел ее как следует. Не то чтобы хорошенькая, но глаза красивые, темные, нос прямой. Лицо очень бледное. Одетая совсем просто, но почему-то не похожа на обыкновенную крестьянку. Какая-то она особенная, нет в ней деревенской грубости, неотесанности. С самого начала войны Ганс постоянно слышал рассказы солдат о французенках. Есть в них, говорили они, что-то такое, чего нет в немецких девушках. Шик, вот что, сказал Вилли, но, когда Ганс спросил, что он, собственно, имеет в виду, тот ответил, что это надо самому видеть, тогда и поймешь. Гансу, конечно, приходилось слышать о французенках и другое, что они корыстные и пальца им в рот не кладут. Ладно, через неделю он сам будет в Париже, увидит все своими глазами. Говорят, верховное командование уже распорядилось насчет веселых домов для немецких солдат.

— Допивай вино и пошли,— сказал Вилли.

Но Гансу здесь нравилось, он не хотел, чтобы его торопили.

— А ты не похожа на фермерскую дочку,— сказал он девушке.

— Ну и что?

— Она у нас учительница,— пояснила мать.

— Ага, образованная, значит.

Девушка передернула плечами, но Ганс продолжал добродушно на своем ломаном французском:

— Значит, ты должна понимать, что капитуляция для французов — благодеяние. Не мы затеяли войну, вы ее начали. А теперь мы сделаем из Франции приличную страну. Мы наведем в ней порядок. Мы приучим вас работать. Вы у нас узнаете, что такое повиновение и дисциплина.

Девушка сжала кулаки и глянула на него. Черные глаза ее горели ненавистью. Но она промолчала.

— Ты пьян, Ганс, — сказал Вилли.

— Трезвее трезвого. Говорю сущую правду, и пусть они эту правду узнают раз и навсегда.

— Нет, ты пьян! — крикнула девушка. Она уже больше не могла сдерживаться. — Уходите, уходите же!

— А, так ты понимаешь по-немецки? Ладно, я уйду. Только на прощание ты меня поцелуешь.

Она отпрянула, но он удержал ее за руку.

— Отец! — закричала девушка. — Отец!

Фермер бросился на немца. Ганс отпустил девушку и изо всей силы ударил старика по лицу. Тот рухнул на пол. Девушка не успела убежать, и Ганс тут же схватил ее и стиснул в объятиях. Она ударила его наотмашь по щеке. Ганс коротко и зло рассмеялся.

— Так-то ты ведешь себя, когда тебя хочет поцеловать немецкий солдат? Ты за это заплатишься.

Он что было сил скрутил ей руки и потащил к двери, но мать кинулась к нему, вцепилась ему в рукав, стараясь оторвать от дочери. Плотной обхватив девушку одной рукой, он ладонью другой грубо отпихнул старуху, и та, едва устояв на ногах, отлетела к стене.

— Ганс! Ганс! — кричал ему Вилли.

— А, иди ты к черту!

Ганс зажал рот девушки руками, заглушая ее крики, и выволок ее за дверь.

Вот так оно все и произошло. Ну, сами посудите, кто во всем этом виноват, не она разве? Залепила пощечину. Дала бы себя поцеловать, он тут же и ушел бы.

Ганс мельком взглянул на фермера, все еще лежавшего на полу, и еле удержался от смеха: до того комична была у старика физиономия. Глаза Ганса улыбались, когда он посмотрел на старуху, жавшуюся к стенке. Бойтся, что сейчас и ее очередь подойдет? Напрасно беспокоится. Он вспомнил французскую пословицу.

— C'est le premier pas qui coûte <sup>1</sup>,— сказал он.— Нечего реветь, старуха. Этого все равно не миновать, рано или поздно.

Он сунул руку в боковой карман и вытащил бумажник.

— На вот сотню франков. Пусть мадемуазель купит себе новое платье. От ее старого осталось не много.

Он положил деньги на стол и надел каску.

— Идем.

Они вышли, хлопнув дверью, сели на мотоциклы и уехали. Старуха поплелась в соседнюю комнату. Там на диване лежала ее дочь. Она лежала так, как он ее оставил, и плакала навзрыд.

Три месяца спустя Ганс снова оказался в Суассоне. Вместе с победоносной германской армией он побывал в Париже и проехал на своем мотоцикле через Триумфальную арку. Вместе с армией он продвинулся сперва к Туру, затем к Бордо. Боев он и не нюхал, а солдат французских видел только пленных. Весь поход был такой развеселой потехой, какая ему и не снилась. После перемирия он еще с месяц пожил в Париже. Послал цветные почтовые открытки родне в Баварию, накупил всем подарков. Приятель его Вилли, знавший Париж как свои пять пальцев, там и остался, а Ганса и все его подразделение направили обратно в Суассон в оставленную здесь немецкими властями часть. Суассон — городок славный, и солдат расквартировали неплохо. Еды вдоволь, а шампанское почти даром, за бутылку одна марка на немецкие деньги. Когда вышел приказ о переводе в Суассон, Гансу пришло в голову, что забавно будет зайти взглянуть на ту девчонку с фермы. Он приготовил ей в подарок пару шелковых чулок, чтобы она поняла, что он зла не помнит. Ганс хорошо ориентировался и был уверен, что без труда разыщет ферму. Как-то вечером, когда заняться было нечем, он сунул чулки в карман, сел на мотоцикл и поехал. Стоял погожий осенний день, в небе ни облачка; местность красивая, холмистая. Уже очень давно не выпадало ни капли дождя, и, хотя был сентябрь, даже немолчно шелестящие тополя не давали почувствовать, что лето близится к концу.

Один раз Ганс свернул не в ту сторону, это его несколько задержало, но все равно в какие-нибудь полчаса он добрался до фермы. Возле дверей его облаяла хозяйская дворняжка. Он, не постучав, повернул дверную ручку и вошел. Девушка сидела за столом, чистила картофель. При виде солдатской формы Ганса она вскочила на ноги.

---

<sup>1</sup> Труден только первый шаг (*фр.*).

— Вам что?

И тут она его узнала. Она попятилась к стене, крепко стиснув в руке нож.

— Ты? Cochon<sup>1</sup>.

— Ну-ну, не горячись, не обижу. Смотри лучше, что я тебе привез — шелковые чулки.

— Забирай их и убирайся вместе с ними.

— Не глупи. Брось-ка нож. Тебе же будет хуже, если будешь так злиться. Можешь меня не бояться.

— Я тебя не боюсь.

Она разжала пальцы, нож упал. Ганс снял каску, сел на стул. Вытянув вперед ногу, носком сапога пододвинул нож поближе к себе.

— Давай помогу тебе картошку чистить, а?

Она не ответила. Ганс нагнулся, поднял нож, вытащил из миски картофелину и стал ее чистить. Лицо девушки хранило жесткое выражение, глаза смотрели враждебно. Она продолжала стоять у стены и молча следила за ним. Ганс улыбнулся добродушной, обезоруживающей улыбкой.

— Ну что ты смотришь такой злючкой? Не так уж я тебя обидел. Я был тогда очень взвинчен, ты пойми. Все мы тогда такие были. В то время еще поговаривали о непобедимости французской армии, о линии Мажино...— У него вырвался смешок.— Ну и винцо, конечно, бросилось мне в голову. Тебе еще повезло. Женщины говорили мне, что я не такой уж урод.

Девушка окинула его с ног до головы уничтожающим взглядом.

— Убирайся отсюда вон.

— Уйду, когда сам захочу.

— Если не уйдешь, отец сходит в Суассон, подаст на тебя жалобу генералу.

— Очень это генералу надо. У нас есть приказ налаживать мирные отношения с населением. Как тебя зовут?

— Не твое дело.

Щеки у нее пылали, глаза сверкали гневом. Она показалась ему сейчас красивее, чем он ее тогда запомнил. Что ж, в общем получилось удачно. Не какая-нибудь простенькая деревенская девчонка. Больше похожа на горожанку. Да, ведь мать сказала, что она учительница. И именно потому, что это была не обычная деревенская девушка, а учительница, образованная, ему было особенно приятно ее пому-

<sup>1</sup> Свинья (*фр.*).

чить. Он ощущал себя сильным, крепким. Он взъерошил свои курчавые белокурые волосы и усмехнулся при мысли, сколько девчонок с радостью оказались бы тогда на ее месте. За лето он так загорел, что голубые глаза его казались какими-то уж чересчур голубыми.

— Отец с матерью где?

— В поле работают.

— Слушай, я проголодался. Дай мне хлеба и сыра и стакан вина. Я заплачу.

Она жестко рассмеялась.

— Мы уже три месяца не знаем, что такое сыр. Хлеба не наедаемся досыта. Год назад свои же французы забрали у нас лошадей, а теперь боши растащили и все остальное: коров наших, свиней, кур — все.

— Ну и что ж, мы не даром взяли, мы заплатили.

— Думаешь, мы можем быть сыты пустыми бумажками, которые вы нам даете взамен?

Она вдруг заплакала.

— Ты что, голодна?

— Нет, что ты, — сказала она с горечью. — Мы же питаемся по-королевски: картошкой, хлебом, брюквой и салатом. Завтра отец пойдет в Суассон — может, удастся купить конины.

— Послушай, честное слово, я неплохой парень. Я привезу вам сыра и, может, даже немного ветчины.

— Я в твоих подачках не нуждаюсь. Скорее умру с голоду, чем прикоснусь к еде, которую вы, свиньи, украли у нас.

— Ну ладно, посмотрим, — ответил он невозмутимо.

Он надел каску, поднялся, сказал: «*Au revoir, mademoiselle*»<sup>1</sup> — и ушел.

Он не мог, понятно, развезжать на мотоцикле по окрестным дорогам ради собственного удовольствия, приходилось ждать, пока пошлют с поручением и он сможет снова побывать на ферме. Это случилось десять дней спустя. Он ввалился бесцеремонно, как и тогда. На этот раз в кухне оказались фермер с женой. Было уже за полдень, фермерша стояла у печки, мешала что-то в горшке. Старик сидел за столом. Они взглянули на Ганса, но как будто не удивились. Дочь, вероятно, рассказала им, что он приходил. Они молчали. Старуха продолжала стряпать, а фермер угрюмо, не отводя глаз, смотрел на клеенку на столе. Но не так-то легко было обескуражить добродушного Ганса.

---

<sup>1</sup> До свидания, мадемуазель (фр.).

— Bonjour, la compagnie <sup>1</sup>,—приветствовал он их весело.— Вот, привез вам гостинцев.

Он развязал пакет, вытащил и разложил на столе порядочный кусок сыра, кусок свинины и две коробки сардин. Старуха обернулась, и Ганс усмехнулся, подметив в ее глазах жадный блеск. Фермер окинул продукты хмурым взглядом. Ганс приветствовал его широкой улыбкой.

— У нас тогда вышло недоразумение, в прошлый раз. Прошу прощения. Но тебе, старик, не надо было вмешиваться.

В этот момент вошла девушка.

— Что ты здесь делаешь?—крикнула она ему резко. Взгляд ее упал на продукты. Она сгребла их все вместе и швырнула Гансу.— Забирай! Забирай их отсюда!

Но мать бросилась к столу.

— Аннет, ты с ума сошла!

— Я не приму от него подачки.

— Да ведь это наши продукты, наши! Они украли их у нас. Ты только посмотри на сардины—это сардины из Бордо!

Старуха нагнулась и подняла их. Ганс взглянул на девушку—голубые глаза его глядели насмешливо.

— Значит, тебя зовут Аннет? Красивое имя. Что ж ты не позволишь своим старикам немного полакомиться? Сама ведь говорила, что вы уже три месяца сыра не пробовали. Ветчины я достать не смог. Привез то, что удалось раздобыть.

Фермерша взяла обеими руками свинину, прижала ее к груди. Казалось, она готова была расцеловать этот кусок мяса. По щекам Аннет текли слезы.

— Господи, стыд какой!—вырвалось у нее как стон.

— Ну что ты. Какой тут стыд? Кусок сыра и немножко свинины, только и всего.

Ганс уселся, закурил папиросу и передал пачку старику. Одно мгновение тот колебался, но искушение было слишком велико: он вытащил одну папиросу и протянул пачку обратно Гансу.

— Оставь себе,—сказал Ганс.— Я достану еще сколько угодно.— Он затаился и выпустил дым через нос.— Чего нам ссориться? Что сделано, того не переделаешь. Война есть война, сами понимаете. Аннет—девушка образованная, я знаю; я не хочу, чтоб она обо мне худо думала. Наша часть, вероятно, задержится в Суассоне надолго. Я могу

---

<sup>1</sup> Привет всей компании (*фр.*).

заезжать иногда, привозить чего-нибудь съестного. Вы знаете, ведь мы изо всех сил стараемся наладить отношения с населением в городе, но французы упорствуют. И глядеть на нас не желают. В конце концов, ведь это просто досадная случайность — ну, то, что произошло здесь в тот раз, когда я заходил с приятелем. Вам нечего меня бояться. Я готов отнестись к Аннет со всем уважением, как к родной сестре.

— Зачем тебе приходится сюда? Почему ты не оставишь нас в покое? — сказала Аннет.

В сущности, он и сам толком не знал. Ему не хотелось признаться, что он просто стосковался по нормальным человеческим отношениям. Молчаливая враждебность, окружающая немцев в Суассоне, действовала ему на нервы; иной раз он готов был подойти на улице к первому встречному французу, смотрящему на него так, будто он пустое место, и двинуть его как следует, а иной раз это доводило его чуть не до слез. Хорошо бы найти семью, где б тебя принимали дружелюбно. Он не соврал, сказав, что у него нет нечистых намерений в отношении Аннет. Она не принадлежала к его типу женщин. Ему нравились высокие, полногрудые; такие же, как он сам, голубоглазые и белокурые, чтоб они были крепкие, горячие и в теле. Непонятная ему изысканность, прямой тонкий нос, темные глаза, бледное продолговатое лицо — нет, это все не для него. В этой девушке было что-то внушавшее ему робость. Если б он не был тогда в таком упоении от побед германской армии, если бы не был так утомлен и в то же время взвинчен и не выпил бы столько вина на пустой желудок, ему бы и в голову не пришло, что его может пленить такая вот девушка.

Недели две Ганс никак не мог отлучиться из части. Он оставил на ферме привезенные тогда продукты и не сомневался, что старики накинулись на них, как голодные волки. Он не удивился бы, если б и Аннет, едва он вышел за дверь, составила им компанию. Уж таковы французы: любят пройтись на дармовщинку. Слабый народ, вымирающий. Конечно, Аннет ненавидит его — бог ты мой, еще как ненавидит! — но свинина есть свинина, а сыр есть сыр.

Аннет не выходила у него из головы. Ее отвращение к нему раздражило его. Он привык нравиться женщинам. Вот будет здорово, если она, в конце концов, все же влюбится в него! Ведь он у нее первый. Студенты в Мюнхене, болтая за кружкой пива, уверяли, что по-настоящему женщина любит того, кто ее совратил, — после этого она начинает любить самую любовь. Обычно, наметив себе девушку, Ганс был совершенно уверен, что не получит



отказа. Он посмеивался про себя, и глаза его зажигались хитрецей.

Наконец случай позволил ему снова побывать на ферме. Он забрал сыру, масла, сахару, банку колбасных консервов, немного кофе и укатил на мотоцикле. Но на этот раз повидать Аннет ему не удалось. Она с отцом работала в поле. Мать была во дворе, и при виде свертка в руках Ганса глаза ее загорелись. Она повела Ганса в кухню. У нее дрожали руки, пока она развязывала сверток, а когда увидела, что он принес, на глазах у нее выступили слезы.

— Ты очень добр,— сказала она.

— Могу я присесть?— спросил он учтиво.

— Садись, садись.— Она взглянула в окно. Ганс понял, что старуха хочет проверить, не идет ли дочь.— Может, выпьешь стаканчик вина?

— С удовольствием.

Он без труда сообразил, что жадность к еде заставила старуху относиться к нему если и не вполне благожелательно, то, во всяком случае, терпимо: она уже готова наладить с ним отношения. Этот ее взгляд, брошенный в окно, как бы сделал их сообщниками.

— Ну, как свинина — ничего?

— Давно такой не пробовали.

— В следующий раз, как приеду, привезу еще. А ей, Аннет, понравилось?

— Она ни к чему и не притронулась. Скорее, говорит, с голоду помру, чем возьму.

— Глупая.

— Вот и я ей так сказала. Уж раз, говорю, есть еда, так ешь, нечего отворачиваться, этим дела все равно не поправишь.

Они вели мирную беседу, пока Ганс не спеша потягивал вино. Он узнал, что фермершу зовут мадам Перье. Он спросил, есть ли у нее еще дети. Фермерша вздохнула. Нет, нету. Был у них сын, но его мобилизовали в начале войны, и он погиб. Его не на фронте убили, он умер в госпитале в Нанси от воспаления легких.

— А-а,— сказал Ганс.— Жалко.

— Может, так оно и к лучшему. Он ведь был вроде Аннет. Все равно бы пропал, не вынес бы позора поражения.— Фермерша снова вздохнула.— Ах, дружок, ведь нас предали, оттого все так и получилось.

— И чего ради вы кинулись на защиту поляков? Что они вам?

— Верно, верно. Если б мы не стали мешать вашему Гитлеру, дали бы ему захватить Польшу, он бы оставил нас в покое.

Уходя, Ганс повторил, что зайдет еще.

— Насчет свинины я не забуду,— добавил он.

Обстоятельства сложились Гансу на руку. Он получил задание, связанное с обязательными, дважды в неделю, поездками в соседний городок, и это дало ему возможность чаще навещать ферму. Он поставил себе за правило никогда не являться туда с пустыми руками. Но с Аннет дело у него не клеилось. Стараясь добиться ее расположения, он пускал в ход все те нехитрые приемы, которые, как научил Ганса его мужской опыт, так действуют на женщин; но Аннет на все отвечала язвительными насмешками. Плотно сжав губы, колючая, неприступная, она смотрела на Ганса так, словно хуже его и на свете никого не было. Не раз она доводила его до того, что, обозлившись, он готов был схватить ее за плечи и так тряхануть, чтобы душу из нее вытрясти.

Однажды он застал ее одну, а когда она встала, собираясь уйти, он загородил ей дорогу.

— Стой-ка. Я хочу поговорить с тобой.

— Говори. Я женщина и беззащитна.

— Вот что я хочу тебе сказать. Насколько мне известно, я здесь могу пробыть еще долго. Жизнь для вас, французов, легче не станет, она станет труднее. Я могу кое в чем оказаться тебе полезным. Почему ты не хочешь образумиться, как твой отец с матерью?

Со стариком Перье у него и впрямь дело шло на лад. Нельзя сказать, чтобы старик принимал Ганса сердечно. Сказать правду, он держался с ним сурово и отчужденно, но все-таки вежливо. Он даже как-то попросил Ганса принести ему табак и, когда тот отказался взять с него деньги, поблагодарил его. Старик интересовался новостями из Суассона и жадно хватал газету, которую привозил ему Ганс. Ганс, фермерский сын, мог поговорить о делах на ферме как человек, знающий толк в хозяйстве. Ферма у Перье была хорошая, не слишком велика и не слишком мала, с поливкой удобно — по участку протекал довольно широкий ручей, есть и плодовый сад, и пашня, и выгон. Ганс понимающе и сочувственно выслушивал старика, когда тот жаловался, что не хватает рабочих рук, нет удобрения, что скот и хозяйственный инвентарь у него отобрали и на ферме все идет прахом.

— Ты спрашиваешь, почему я не могу образумиться, как мой отец с матерью? Смотри!

Аннет туго обтянула на себе платье и так стояла перед Гансом. Он не поверил своим глазам. То, что он увидел, повергло его в никогда доселе не испытанное смятение. Кровь прилила ему к щекам.

— Ты беременна!

Она села на стул и, опустив голову на руки, зарыдала так, словно сердце у нее разрывалось на части.

— Позор! Позор! — повторяла она.

Ганс кинулся к ней, распростер объятия.

— Милая моя!

Она вскочила на ноги и оттолкнула его.

— Не прикасайся ко мне! Уходи! Уходи! Или тебе мало того, что ты со мной сделал?

Она выскочила из комнаты. Ганс несколько минут постоял один. Он был потрясен. Голова у него шла кругом, когда он медленно ехал обратно в Суассон, и вечером, улегшись в постель, он лежал час за часом и никак не мог уснуть. Он все время видел перед собой Аннет, ее раздавленное, округлившееся тело. Она была такой нестерпимо жалкой, когда сидела у стола и плакала, надрываясь от слез. Ведь это его дитя она вынашивает в утробе.

Он было задремал, и вдруг весь сон словно рукой сняло. Неожиданная мысль ошеломила его с внезапной и сокрушительной силой орудийного залпа: он любит Аннет. Открытие это совершенно потрясло Ганса, он даже не сразу осознал его до конца. Конечно, он постоянно думал об Аннет, но совсем по-другому. Он просто представлял себе, что вдруг она в него влюбится и как он будет торжествовать, если она сама предложит ему то, что он взял тогда силой, но ни на одно мгновение ему не приходило в голову, что Аннет для него — нечто большее, чем любая другая женщина. Она не в его вкусе. Она и не так чтоб уж очень хорошенькая. Ничего в ней нет особенного. Откуда же у него вдруг это странное чувство? И чувство это не было приятным, оно причиняло боль. Но Ганс уже понял: это любовь, и его охватило ощущение счастья, какого он еще не знал. Ему хотелось обнять ее, приласкать, хотелось целовать ее полные слез глаза. Он, казалось, не испытывал желания к ней как к женщине, он только хотел бы утешить ее и чтоб она ответила ему улыбкой — странно, он никогда не видел ее улыбающейся; он хотел бы заглянуть ей в глаза, в ее чудные, прекрасные глаза, и чтоб взгляд их смягчился нежностью.

В течение трех дней Ганс никак не мог выбраться из Суассона, и в течение трех дней и трех ночей он думал об

Аннет и о ребенке, которого она родит. Наконец ему удалось съездить на ферму. Он хотел повидать мадам Перье с глазу на глаз, и случай ему благоприятствовал: он встретил ее на дороге неподалеку от дома. Она собирала хворост в лесу и возвращалась домой, таща на спине большую вязанку. Ганс остановил мотоцикл. Он знал, что радушие фермерши вызвано лишь тем, что он приносит им продукты, но это его мало трогало; достаточно того, что она с ним любезна и будет вести себя так и дальше, пока можно будет что-нибудь из него вытянуть. Ганс сказал, что хочет поговорить с ней, и попросил, чтоб она опустила вязанку на землю. Она послушалась. День был серый, по небу ходили тучи, но было не холодно.

— Я знаю насчет Аннет,— сказал Ганс.

Она вздрогнула.

— Как ты узнал? Она ни за что не хотела, чтобы ты знал.

— Она сама мне сказала.

— Да, хороших дел ты тогда натворил.

— Мне и в голову не приходило, что она... Почему вы раньше мне не сообщили?

Она начала рассказывать. Без горечи, даже не обвиняя, как если бы случившееся лишь обычная житейская невзгода — ну, как если бы сдохла корова во время отела или крепкий весенний мороз прихватил фруктовые деревья и сгубил урожай, — невзгода, которую должно принимать смиренно и безропотно. После того страшного вечера Аннет несколько дней пролежала в постели в бреду, с высокой температурой. Боялись за ее рассудок. Она вскрикивала не переставая по многу часов подряд. Врача достать было негде. Деревенского доктора призывали в армию. В Суассоне осталось всего два врача, оба старики: как таким добраться до фермы, если б даже и была возможность их вызвать? Но врачам было запрещено покидать пределы города. Потом температура спала, но Аннет была все же слишком плоха, не могла подняться с постели, а когда наконец встала, то такая была бледная, слабая — смотреть жалко. Потрясение оказалось для нее слишком тяжким. Прошел месяц, затем второй, истекли все положенные сроки обычного женского недомогания, но Аннет и не заметила этого. У нее это всегда бывало нерегулярно. Первой почувяла неладное мадам Перье. Она расспросила Аннет. Обе пришли в ужас, но все-таки они не были вполне уверены и отцу ничего не сказали. Когда миновал и третий месяц, сомневаться уже больше не приходилось... Аннет забеременела.

У них был старенький «ситроен», в котором до войны мадам Перье два раза в неделю возила продукты на рынок в Суассон, но со времени немецкой оккупации продуктов на продажу оставалось так мало, что не стоило из-за этого гонять машину. Бензин достать было почти невозможно. На этот раз они кое-как заправили машину и поехали в город. В Суассоне можно было теперь увидеть только немецкие машины, по улицам расхаживали немецкие солдаты, вывески были на немецком языке, а обращения к населению, подписанные комендантом города,— на французском. Многие магазины прекратили торговлю.

Они зашли к старому, знакомому им врачу, и он подтвердил их подозрения. Но врач был ревностным католиком и не пожелал оказать им нужную помощь. В ответ на их слезы он пожал плечами.

— Ты не единственная,— сказал он Аннет.— Il faut souffrir<sup>1</sup>.

Они знали, что есть еще другой доктор, и пошли к нему. Они позвонили. Им долго никто не отворял. Наконец дверь открыла женщина в черном платье. Когда они спросили доктора, она заплакала. Немцы его арестовали за то, что он масон, и держат в качестве заложника. В кафе, часто посещаемом немецкими офицерами, взорвалась бомба: двоих убило, нескольких ранило. Если к определенному сроку виновные не будут выданы, всех заложников расстреляют. Женщина казалась доброй, и мадам Перье поведала ей свою беду.

— Скоты,— сказала женщина. Она поглядела на Аннет с состраданием.— Бедная девочка.

Она дала им адрес акушерки, добавив, что они могут сослаться на ее рекомендацию. Акушерка дала лекарство. От этого лекарства Аннет стало так плохо, что она уж думала, что умирает, но желанного результата от него не последовало. Беременность Аннет не прекратилась.

Все это мадам Перье рассказала Гансу. Некоторое время он молчал.

— Завтра воскресенье,— произнес он наконец.— Я завтра не занят. Заеду к вам, поговорим. Привезу чего-нибудь вкусного.

— У нас иголок нет. Ты бы не мог достать?

— Постараюсь.

Она взвалила на спину вязанку и поплелась по дороге. Ганс вернулся в Суассон.

---

<sup>1</sup> Здесь: надо смириться (*фр.*).

Он побоялся брать мотоцикл и на следующий день взял напрокат велосипед. Пакет с продуктами он привязал к раме. Пакет был больше обычного, в нем находилась еще бутылка шампанского. На ферму он приехал, когда стемнело и он мог быть уверен, что вся семья вернулась домой после работы. Он вошел в кухню. Там было тепло и уютно. Мадам Перье стряпала, муж читал «Пари суар». Аннет штопала чулки.

— Вот взгляните, привез вам иголки,— сказал Ганс, развязывая пакет.— А это материя тебе, Аннет.

— Она мне не нужна.

— Разве? — ухмыльнулся он.— А не пора тебе начать шить белье ребенку?

— Верно, Аннет, пора,— вмешалась мать,— а у нас ничего нет.— Аннет не поднимала глаз от работы. Мадам Перье окинула жадным взглядом содержимое пакета.— Шампанское!

Ганс издал смешок.

— Сейчас я вам скажу, зачем я его привез. У меня возникла идея.— Мгновение он колебался, потом взял стул и уселся напротив Аннет.— Право, не знаю, с чего начать. Я сожалею о том, что произошло тогда, Аннет. Не моя это была вина, виной тому обстоятельства. Можешь ты меня простить?

Она метнула в него ненавидящий взгляд.

— Никогда! Почему ты не оставишь меня в покое? Мало тебе того, что ты погубил мою жизнь?

— Я как раз об этом. Может, и не погубил. Когда я услышал, что у тебя будет ребенок, меня всего точно перевернуло. Все теперь стало по-другому. Я горжусь этим.

— Гордишься? — бросила она ему едко.

— Я хочу, чтобы ты родила ребенка, Аннет. Я рад, что тебе не удалось от него отделаться.

— Как у тебя хватает наглости говорить мне это?

— Да ты послушай! Я ведь только об этом теперь и думаю. Через полгода война кончится. Весной мы поставим англичан на колени. Дело верное. И тогда меня демобилизуют, и я женюсь на тебе.

— Ты? Почему?

Сквозь загар у него проступил румянец. Он не мог заставить себя произнести это по-французски и потому сказал по-немецки — он знал, что Аннет понимает немецкий:

— Ich liebe dich <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Я люблю тебя (нем.).

— Что он говорит? — спросила мадам Перье.

— Говорит, что любит меня.

Аннет запрокинула голову и закатилась пронзительным смехом. Она хохотала все громче и громче, она не могла остановиться; из глаз у нее текли слезы. Мадам Перье больно ударила ее по щекам.

— Не обращай внимания, — обратилась она к Гансу. — Истерика. В ее положении это бывает.

Аннет с трудом перевела дыхание и овладела собой.

— Я захватил бутылку шампанского, отпразднуем нашу помолвку.

— Вот это-то и обиднее всего, — сказала Аннет, — что нас победили дураки, безмозглые дураки.

Ганс продолжал уже по немецки:

— Я и сам не знал, что люблю тебя, не знал до того дня, как ты сказала, что у тебя будет ребенок. Меня тогда как громом ударило, но я думаю, что люблю-то я тебя уже давно.

— Что он говорит? — спросила мадам Перье.

— Ничего. Чепуха.

Ганс снова перешел на французский. Пусть родители Аннет услышат все, что он собирается сказать.

— Я бы и сейчас на тебе женился, только мне не разрешат. И ты не думай, что я ничего собой не представляю. Отец у меня со средствами, у нашей семьи солидное положение. Я старший сын, и ты ни в чем не будешь нуждаться.

— Ты католик? — спросила мадам Перье.

— Да, я католик.

— Вот это хорошо.

— У нас там, где мы живем, места красивые и земля отличная. Лучшего участка не сыщешь от Мюнхена до Инсбрука. И участок наш собственный. Мой дед купил его после войны семидесятого года. У нас и машина есть, и радио, и телефон поставлен.

Аннет повернулась к отцу.

— Он на редкость тактичен, этот субъект, — сказала она иронически, поглядев на Ганса в упор. — Да, конечно, мне там уготована сладкая жизнь — мне, иностранке из побежденной страны, с ребенком, рожденным вне брака. Все это гарантирует мне полное счастье, не правда ли?

Тут впервые заговорил Перье, человек скупой на слова.

— Должен признать, — сказал он Гансу, — ты это поступаешь великодушно, ничего не скажешь. Я сам участвовал в прошлой войне, и все мы на войне вели себя не так, как в мирное время. Уж такова человеческая натура, ничего не

поделаешь. Но теперь, когда сын наш умер, у нас никого нет, кроме дочери. Мы не можем расстаться с Аннет.

— Я уже подумал, что вам это нелегко будет. И вот что я решил: я останусь здесь.

Аннет окинула Ганса быстрым взглядом.

— Как это надо понимать?—спросила его мадам Перье.

— У меня есть брат. Он останется с отцом, будет ему помогать. Мне здешние края нравятся. Человек предприимчивый и с головой может добиться толку на такой ферме, как ваша. После войны многие немцы осядут во Франции. Всем известно, что у французов земли много, а обрабатывать ее некому. Я сам слышал это от одного нашего лектора в Суассоне. Он сказал, что треть французских ферм запущена, потому что на них некому работать.

Старики переглянулись. Аннет видела, что родители готовы идти на уступки. Именно об этом они и мечтали с тех пор, как умер их сын: им нужен хороший зять, здоровый, сильный, чтоб было кому заботиться о ферме, когда сами они состарятся и смогут выполнять лишь самую легкую работу.

— Это меняет дело,— сказала мадам Перье.— О таком предложении стоит подумать.

— Замолчите,— сказала Аннет резко. Она наклонилась вперед и впилась в немца горящим взглядом.— У меня есть жених, учитель, он преподавал в том же городе, где и я. После войны мы поженимся. Он не такой здоровяк и не такой смазливый, как ты. Он невысок и узкоплеч. Его красота—его ум, он светится у него в лице, и вся сила его—сила душевного величия. Он не варвар, он культурный человек, за его плечами тысяча лет цивилизации. Я люблю его. Люблю всей душой.

Ганс помрачнел. Ему не приходило в голову, что Аннет может любить еще кого-то.

— Где он сейчас?

— Где ему быть, как ты думаешь? В Германии, в плену, умирает с голоду. А вы тут живете припеваючи. Сколько раз мне повторять, что я тебя ненавижу? Ты ждешь, чтоб я тебя простила? Никогда—слышишь? Ты готов искупить вину? Ты глуп.—Она откинула голову: в глазах ее горела нестерпимая тоска.—Я опозорена. Но он простит меня, у него нежная душа. Меня только мучит мысль, что вдруг когда-нибудь у него возникнет подозрение, что, может, ты взяла меня не силой, что я сама отдалась тебе за сыр и масло, за шелковые чулки. Я была бы не единственная, такие есть.



Во что превратится тогда наша жизнь? Между нами будет стоять ребенок — ребенок, прижитый от немца. Твой ребенок, такой же большой и белокурый, такой же голубоглазый, как ты. О Боже, Боже, за что я так наказана?

Она порывисто встала и вышла из кухни. С минуту все трое, оставшиеся в кухне, молчали. Ганс уныло уставился на бутылку с шампанским. Потом вздохнул и поднялся. Когда он шагнул к двери, мадам Перье последовала за ним.

— Ты это серьезно сказал, что женишься на ней? — спросила она вполголоса.

— Да. Абсолютно серьезно. Я люблю ее.

— И ты не заберешь ее отсюда? Ты останешься здесь и будешь работать на ферме?

— Даю слово.

— Старик мой вечно работать не сможет, это ясно. Дома тебе пришлось бы делить все с братом. Здесь тебе ни с кем не придется делиться.

— Да, и это тоже, конечно, имеет значение.

— Мы никогда не одобряли, что Аннет собирается замуж за этого своего учителя. Но тогда еще был жив сын. Он говорил, пусть выходит, за кого хочет. Аннет любит его без памяти. Но теперь сын наш, бедный мальчик, умер, теперь дело другое. Одной ей с фермой не управиться, если б даже она захотела.

— Просто срам продавать такую ферму. Я-то знаю, как дорога человеку своя земля.

Они дошли до дороги. Мадам Перье взяла его за руку, слегка сжала ее.

— Приходи опять поскорее.

Ганс видел, что старуха держит его сторону. Этой мыслью он и утешался, когда ехал обратно в Суассон. Досадно, что Аннет влюблена в другого. По счастью, он в плену. К тому времени, как его выпустят, ребенок успеет родиться. И это может изменить отношение Аннет. Женщин разве поймешь? У них в деревне одна была так влюблена в своего мужа, что над ней все потешались, а потом она родила и мужа после этого просто видеть не могла. Как знать, может, что-нибудь в этом роде — только наоборот — произойдет и с Аннет. Теперь, когда он предложил ей вступить с ним в брак, она должна понять, что он парень порядочный. Бог ты мой, до чего же трогательный был у нее вид, когда она сидела вот так, откинув назад голову. И как замечательно она говорила! Актриса на сцене и то не сумела бы выразить все это лучше. И при этом слова ее звучали так естественно. Да, надо признаться, французы

говорить умеют. Аннет, безусловно, умна. Даже когда она язвит его своим злым языком, слушать ее — наслаждение. У него у самого не такое уж плохое образование, но он не стоит ее мизинца. Она культурная, вот уж чего у нее не отнять.

— Осел я,— сказал он вслух, продолжая нестись на своем велосипеде. Она же сама сказала про него, что он рослый, сильный, красивый. Разве б она так сказала, если б все это не имело для нее ровно никакого значения? И про ребенка она говорила, что у него глаза будут голубые, как у отца. Провались он на этом месте, если его светлые кудри и голубые глаза не произвели на нее впечатления! Ганс хихикнул. Дай срок. Запасемся терпением, а природа свое дело сделает.

Недели проходили одна за другой. Командир части в Суассоне был человек пожилой, не педант: зная, что ожидает солдат весной, он не слишком донимал их работой. Немецкие газеты утверждали, что Англия совершенно разрушена налетами Luftwaffe<sup>1</sup> и что население страны охвачено паникой. Немецкие подводные лодки топят британские суда десятками. Англия голодает. Близятся большие перемены. К лету все будет кончено, немцы станут хозяевами мира. Ганс написал родителям, что собирается жениться на француженке и в придачу получит отличную ферму. Он предложил брату занять денег и выкупить его, Ганса, долю в хозяйстве, чтобы Ганс мог прикупить земли во Франции, расширить участок при ферме. После войны, да при теперешнем курсе, землю можно будет купить за гроши. Ганс расхаживал по ферме со стариком Перье и делился с ним своими планами. Тот спокойно его выслушивал. Надо будет обновить инвентарь. Он, как немец, получит льготы. Трактор устарел, Ганс привезет отличный новый из Германии, и механический плут тоже. Чтобы ферма давала доход, надо применять новейшие усовершенствования. Мадам Перье потом передавала Гансу, что муж ее считает его очень дельным и знающим. Она теперь принимала Ганса радушно и настояла на том, чтобы он обедал у них каждое воскресенье. Она переименовала его имя на французский лад и звала его Жаном. Он охотно помогал по хозяйству. Аннет уже не могла выполнять тяжелую работу, и на ферме был очень полезен человек, всегда готовый подсобить, если нужно.

Аннет держалась все так же неприступно и враждебно. Она никогда не заговаривала с ним сама, только отвечала,

---

<sup>1</sup> Германский военно-воздушный флот (нем.).

если он что спрашивал, и при малейшей возможности уходила наверх, к себе в комнату. Когда наверху становилось совсем уж невыносимо холодно, она спускалась в кухню, усаживалась возле печки, шила или читала, не обращая на Ганса ни малейшего внимания, будто его тут и не было. Она поздоровела, расцвела, на щеках у нее заиграл румянец. В глазах Ганса она была красавицей. Близящееся материнство придавало ей какое-то особое достоинство. Ганс глядел на нее и ликовал в душе.

Однажды, подъезжая к ферме, он увидел, что по дороге навстречу идет мадам Перье и машет рукой, чтобы он остановился. Ганс резко затормозил.

— Я поджидаю тебя уже целый час. Думала, ты и не придешь. Не заходи к нам сегодня. Пьер умер.

— Какой Пьер?

— Пьер Гавэн. Учитель, за которого Аннет собиралась замуж.

Сердце у Ганса радостно дрогнуло. Вот это удача! Теперь он свое возьмет!

— Она очень расстроена?

— Она не плачет. Я было пыталась заговорить с ней, но она на меня так и накинулась. Если ты ей сегодня покажешься на глаза, она, чего доброго, всадит в тебя нож.

— Я ж не виноват, что он умер. Как вы об этом узнали?

— Его друг бежал из плена, пробрался через Швейцарию. Он написал Аннет. Письмо получили сегодня утром. Заключенные в лагере подняли бунт: их там морили голодом. И зачинщиков расстреляли. Среди них оказался и Пьер.

Ганс молчал. Пьер, по его мнению, получил по заслугам. Они что ж, воображают, что концентрационный лагерь — это им курорт, что ли?

— Дай ей время прийти в себя,— продолжала мадам Перье.— Когда успокоится, я с ней переговорю. Я напишу, когда тебе можно будет зайти к нам.

— Ладно. Вы меня поддержите, а?

— Можешь быть уверен. Мы с мужем согласны. Мы все обсудили и порешили на том, что нам ничего не остается, как принять твоё предложение. Он не дурак, мой муж, а он говорит, что единственное спасение для Франции — это содружество с немцами. И уж что бы там ни было, ты мне пришелся по душе. Я даже так думаю, что ты более подходящий муж для Аннет, чем тот учитель. Да еще ребенок у вас будет, и все такое.

— Я хочу, чтобы это был мальчик,— сказал Ганс.

— Мальчик и будет, я наверняка знаю. Я уже гадала на кофейной гуще. И на картах гадала. Каждый раз выходит одно и то же: будет мальчик.

— Чуть было не забыл, тут у меня для вас газеты,— сказал Ганс, поворачивая мотоцикл и собираясь садиться.

Он передал ей три номера «Пари суар». Старик Перье читал их каждый вечер. Он читал о том, что французы должны трезво смотреть на факты, что они должны признать «новый порядок», который Гитлер собирается установить в Европе; он читал о том, что немецкие подводные лодки повсюду бороздят моря, что генеральный штаб продумал в мельчайших деталях план кампании, которая поставит Англию на колени, и что американцы слишком плохо подготовлены, слишком неоперативны, слишком раздроблены, чтобы оказать помощь Англии. Он читал о том, что Франция должна воспользоваться самим небом посланной ей возможностью и в лояльном сотрудничестве с немецким рейхом восстановить свое почетное положение в обновленной Европе. И писали все это не немцы, нет,— сами французы. Перье одобрительно кивал головой, читая о том, что плутократы и евреи будут истреблены и что простой народ во Франции возьмет наконец то, что принадлежит ему по праву. Они это верно говорят, те умные люди, которые объясняют, что Франция— в основе своей страна земледельческая и ее опора— трудолюбивые фермеры. Во всем этом есть здравый смысл.

Как-то вечером, когда они кончали ужинать— прошло десять дней после получения известия о смерти Пьера Гавэна,— мадам Перье, заранее договорившись с мужем, обратилась к Аннет:

— Я на днях написала Жану, чтоб он зашел к нам завтра.

— Спасибо за предупреждение. Я не выйду из своей комнаты.

— Послушай, дочка, пора бросить глупости. Смотри на вещи трезво. Пьер умер. Жан тебя любит, готов на тебе жениться. Парень он красивый. Любая девушка гордилась бы таким мужем. Как нам управиться на ферме без его поддержки? Он обещал купить на свои деньги трактор и плуг. Уж что было, то было, постарайся забыть об этом.

— Зря тратишь слова, мама. Я и прежде зарабатывала себе на жизнь, заработаю и потом. Я его ненавижу. Мне ненавистно его тщеславие, его самонадеянность. Я готова убить его. Но мне и смерти его мало. Я хотела бы причинить ему такие муки, какие он причинил мне. Мне кажется,

я умру спокойно, только если найду способ ранить его так же больно, как он меня.

— Какой ты вздор говоришь, бедное ты мое дитя.

— Мать права, дочка,— сказал Перье.— Нас победили, и приходится мириться с обстоятельствами. Мы поумнее их, и если сумеем пустить в ход свои козыри, мы еще окажемся в выигрыше. Франция вся насквозь прогнила. Евреи и плутократы — вот кто погубил нашу страну. Почитай-ка газеты, сама поймешь.

— И ты полагаешь, что я верю хоть единому слову этой газетки? Ты думаешь, почему он тебе ее таскает? Потому что это продажная газетка, она продана немцам. Те, кто пишет в ней,— изменники. Да, изменники! Господи, хоть бы дожить мне до того дня, когда толпа разорвет их в клочки! Все они куплены, куплены на немецкие деньги. Подлецы!

Мадам Перье начала терять терпение.

— И что ты так взъелась на парня? Ну да, он взял тебя силой. Он был пьян, ничего не соображал. Не ты первая, не ты последняя, с кем такое случилось. Ведь вот он тогда ударил твоего отца, из него кровь хлестала, как из борава, а разве отец твой помнит зло?

— История неприятная, но я предпочитаю забыть о ней,— сказал Перье.

Аннет насмешливо захохотала.

— Тебе бы священником быть. Ты прощаешь обиды с истинно христианским смирением.

— Ну и что тут плохого? — сердито сказала мать.— Парень сделал все, что мог, чтобы загладить вину. Где бы отец твой доставал табак все эти месяцы, если бы не Жан? И если мы не голодали, так только благодаря Жану.

— Будь у вас хоть капля гордости, хоть малейшее чувство достоинства, вы бы швырнули ему в лицо его подачки.

— Ты ведь тоже кое-чем от них попользовалась. Скажешь, нет?

— Нет! Ни разу!

— Это неправда, и ты сама отлично это знаешь. Да, ты отказывалась есть сыр, который он принес, и масло, и сардины. Но суп ты ела, а я в него положила мясо, которое принес нам Жан. И вот этот салат сегодня за ужином: ты бы ела его без всякой приправы, если бы Жан не достал мне масла.

Аннет глубоко вздохнула. Она провела рукой по глазам.

— Знаю. Я не хотела притрагиваться, но не могла удержаться: я так наголодалась. Да, я знала, что в супе

мясо, которое он принес, и все-таки поела супу. И я знала, что салат приправлен его маслом. Я решила отказаться, но мне так хотелось есть! Это не я его ела, а голодный зверь, который сидит во мне.

— Так ли, этак ли, а суп ты ела.

— Да, со стыдом, с отчаянием в душе. Сперва они сломили танками и самолетами нашу силу, а теперь, когда мы беззащитны, сокрушают наш дух, морят нас голодом.

— Драмы разводить, дочка, ни к чему, этим делу не поможешь. Ты женщина образованная, а здравого смысла в тебе нет. Забудь про то, что было, подумай, ведь ребенку нужно дать отца, не говоря уж о том, что мы получим такого ценного работника на ферме. Он один стоит двух батраков. Так-то будет благоразумнее.

Аннет устало пожала плечами, и все трое умолкли.

На следующий день приехал Ганс. Аннет хмуро взглянула на него, но не шелохнулась, не проронила ни слова. Ганс улыбнулся.

— Спасибо, что не убежала от меня,— сказал он.

— Родители приглашали тебя зайти. Они ушли в деревню. Я пользуюсь случаем поговорить с тобой начистоту. Садись.

Он снял шинель и каску, пододвинул стул к столу.

— Отец с матерью хотят, чтобы я вышла за тебя замуж. Ты повел себя ловко. Своими подачками и посулами ты обвел их вокруг пальца. Они верят тому, что пишут в газетке, которую ты им носишь. Так вот, знай: я никогда не стану твоей женой. Я прежде не подозревала, я и представить себе не могла, что можно так ненавидеть человека, как я ненавижу тебя.

— Послушай, давай я буду говорить по-немецки. Ты достаточно хорошо знаешь немецкий, поймешь, что я скажу.

— Еще бы мне не знать немецкий! Я преподавала его. Я два года была гувернанткой двух девочек в Штутгарте.

Ганс перешел на немецкий, она же продолжала говорить по-французски.

— Я не только люблю тебя, я тобой восхищаюсь. Я восхищаюсь твоими манерами, твоей культурностью. В тебе есть что-то для меня непонятное. Я уважаю тебя. Ну да, я понимаю, сейчас ты не захочешь выйти за меня замуж, будь это даже возможно. Но ведь Пьер умер.

— Не смей произносить его имя! — крикнула она вне себя. — Этого еще не хватало!

— Я только хотел выразить тебе сочувствие по поводу того, что он...

— Безжалостно расстрелян немецкими тюремщиками.

— Может, со временем ты станешь горевать о нем меньше. Знаешь, когда умирает человек, которого любишь, кажется, этого и не пережить. Но постепенно оно забывается. Ну а в таком случае, ты не думаешь, что твоему ребенку нужен отец?

— Допустим, если б я даже не любила другого: неужели ты воображаешь, что я смогла бы когда-нибудь забыть, что ты немец, а я француженка? Если бы ты не был туп, как только могут быть тупы немцы, ты бы сообразил, что ребенок этот будет для меня вечным укором. Думаешь, у меня нет друзей? Как я стану глядеть им в глаза — я, у которой ребенок от немецкого солдата? Я прошу тебя об одном: оставь меня одну с моим позором. Уходи, ради бога, уходи и никогда не возвращайся.

— Но ведь это и мой ребенок. Я хочу его.

— Ты? — воскликнула она изумленно. — Что он тебе — ребенок, зачатый в скотском опьянении?

— Ты не понимаешь. Я горд и счастлив. Когда я услышал, что ты родишь, я тут-то и понял, что люблю тебя. Я сперва и сам не поверил, до того это было неожиданно. Неужели ты не понимаешь? Он для меня все на свете, этот ребенок. Не знаю, как тебе выразить это. Он меня так задел за душу, что я сам себя не понимаю.

Аннет внимательно посмотрела на него, и глаза ее странно блеснули. Казалось, она торжествует. Она коротко рассмеялась.

— Не знаю, что во мне сильнее: ненависть к скотству немцев или презрение к их сентиментальности.

Он, казалось, не слышал ее.

— Я все время только о нем и думаю.

— Ты так уверен, что будет мальчик?

— Я знаю, что будет мальчик. Мне хочется держать его на руках, я хочу сам учить его ходить. А когда подрастет, научу всему, что сам знаю. Научу ездить верхом, научу стрелять. В вашем ручье рыба водится? Научу его удить рыбу. Я буду самым счастливым отцом на свете.

Она смотрела на него в упор холодным, жестким взглядом. Выражение лица у нее было напряженное, суровое. Страшная мысль возникала и складывалась у нее в мозгу. Он улыбнулся ей обезоруживающей улыбкой.

— Когда ты увидишь, как крепко я люблю нашего сына, ты, может, меня тоже полюбишь. Я буду тебе хорошим мужем, моя красавица.

Она молчала. И только по-прежнему смотрела на него пристально и мрачно.

— Неужели у тебя не найдется для меня ласкового словечка? — сказа́л Ганс.

Аннет вспыхнула. Она крепко стиснула руки.

— Пусть меня презирают другие. Но я никогда не совершу поступка, за который буду презирать себя сама. Ты мой враг и всегда останешься для меня врагом. Мне бы только дожить до того дня, когда Франция будет снова свободна. День этот настанет. Пусть через год, через два, может, даже через тридцать лет, но он настанет. Остальные могут поступать, как им заблагорассудится, но я никогда не примирюсь с теми, кто поработил мою родину. Я ненавижу и тебя, и ребенка, которого зачала от тебя. Да, мы потерпели поражение. Но это не значит, что мы покорены, ты это еще увидишь. А теперь иди. Я приняла твердое решение, и никакая сила на свете не заставит меня изменить ему.

Минуты две он молчал.

— Ты позаботилась насчет доктора? Все расходы я беру на себя.

— Ты что, думаешь, мы хотим расславить наш позор по всей округе? Мать сама сделает все, что нужно.

— Ну а что, если роды пойдут неблагополучно?

— А что, если ты не будешь соваться не в свое дело?

Ганс вздохнул и поднялся со стула. Он вышел, прикрыв за собой дверь. Она следила за ним в окно, пока он шел по тропинке, ведущей к дороге. С яростью в душе она вдруг осознала, что какие-то сказанные им слова разбередили в душе ее чувство, неведомое ей прежде.

— Боже, Боже мой, дай мне сил! — выкрикнула она в отчаянии.

Старая дворняжка, много лет прожившая на ферме, подскочила к Гансу, свирепо на него лая. Ганс вот уже несколько месяцев пытался приручить собаку, но все без толку. Когда он тянулся ее погладить, она отскакивала, рыча и скаля зубы. И сейчас, вымещая на ней обиду за неоправдавшиеся надежды, давая выход раздражению, Ганс сильным пинком грубо отшвырнул собаку, она отлетела в кусты, взвыла и, прихрамывая, побежала прочь.

— Зверь! — воскликнула Аннет. — Все ложь, ложь! И я еще по слабости своей чуть не начала его жалеть!



На стене возле двери висело зеркало. Аннет подошла к нему. Она выпрямилась и улыбнулась своему отражению. Но улыбка получилась похожая на злобную гримасу.

Стоял уже март. В суассонском гарнизоне началась кипучая деятельность. Усиленная муштра и то и дело инспекции. Носились всякие слухи. Несомненно, часть готовили куда-то к отправке, но куда именно, об этом рядовые солдаты могли только гадать. Одни полагали, что наступил наконец момент вторжения в Англию, другие держались того мнения, что их пошлют на Балканы; поговаривали и об Украине. Все это время Ганс был очень занят. На ферму он смог поехать только через две недели.

День выдался пасмурный, холодный. Моросил дождь, но казалось, он, того и гляди, перейдет в снег и ветер подхватит и закружит снежные хлопья. Все вокруг было сумрачно и безрадостно.

— Наконец-то! — воскликнула мадам Перье, когда вошел Ганс. — Мы уж думали, ты помер.

— Раньше приехать не мог. Каждый день ждем приказа об отправлении. Когда будет приказ, неизвестно.

— Ребенок родился сегодня утром. Мальчик.

От бурной радости сердце у Ганса захолонуло. Он кинулся к старухе, обнял ее и расцеловал в обе щеки.

— В воскресенье родился, счастливым будет. Ну, сейчас откупорим шампанское. Как чувствует себя Аннет?

— Хорошо — насколько хорошо можно чувствовать себя в ее положении. Роды были легкие. С ночи начались схватки, а к пяти утра уже родила.

Старик Перье сидел у самой печки, курил трубку. Он спокойно улыбнулся не помнящему себя от радости Гансу.

— Это со всеми так бывает, когда у кого родится первый ребенок, — сказал он.

— Волосики у мальчика густые, и они светлые, как у тебя. А глаза голубые. Все так, как ты и думал, — сказала мадам Перье. — Первый раз вижу такого красивого младенчика. Весь будет в папу.

— Бог ты мой, до чего же я рад! — восклицал Ганс. — До чего же здорово жить на свете! Я хочу повидать Аннет.

— Не знаю, согласится ли она. Нельзя ее тревожить, а то еще молоко пропадет.

— Нет-нет, тогда не надо. Ни в коем случае. Если не хочет меня видеть, не надо. Но дайте мне хоть на минутку взглянуть на сына!

— Подожди. Попробую принести его сюда.

Мадам Перье вышла. Слышны были ее тяжелые шаги, пока она медленно взбиралась по лестнице. Но почти тут же ступени снова затрещали под ее быстрыми шагами. Она, запыхавшись, вбежала в кухню.

— Ее там нет. Ее нет в комнате. И ребенка нет.

Перье и Ганс вскрикнули, и все трое, не соображая, что делают, кинулись по лестнице наверх. Резкий свет зимнего дня беспощадно обнажал убогую обстановку: железная кровать, дешевый шкаф, комод. В комнате никого не было.

— Где она?—вопила мадам Перье. Она выбежала в узкий коридорчик, распахнула там двери, громко звала дочь:

— Аннет! Аннет! Господи, она просто с ума сошла!

— Может, она внизу, в гостиной?

Они бросились вниз, вбежали в гостиную, давно нежилую. Оттуда пахло ледяным холодом. Они заглянули в кладовку.

— Нигде нет! Ушла! Случилось что-то ужасное!

— Как она могла уйти из дому?—спросил Ганс, замирая от тревоги.

— Да через парадную дверь, дурень ты!

Перье пошел к парадной двери, осмотрел ее.

— Да, верно. Засов отодвинут.

— Господи! Боже мой!—вскрикивала мадам Перье.— Это погубит ее!

— Надо ее поискать,—сказал Ганс. По привычке он побежал обратно в кухню—он всегда входил и выходил только через кухню. Старики бежали за ним следом.

— Куда идти?

— Господи! Ручей...—вдруг ахнула старуха.

Ганс остановился как вкопанный. Он ошеломленно, с ужасом смотрел на старуху.

— Мне страшно!—кричала она.— Мне страшно!

Ганс распахнул дверь, и в тот же момент вошла Аннет. На ней была только ночная рубашка и тонкий халатик из вискозного шелка: бледно-голубые цветы по розовому полю. Она вся вымокла, мокрые, распущенные волосы прилипли к голове и свисали на плечи грязными, путаными прядями. Она была смертельно бледна. Мадам Перье кинулась к дочери, обняла ее.

— Где ты была? Бедная моя дочка, ты промокла насквозь. Сумасшедшая!

Но Аннет оттолкнула ее. Она взглянула на Ганса.

— Ты пришел вовремя.

— Где ребенок? — воскликнула мадам Перье.

— Я должна была сделать это немедленно. Я боялась, что позже у меня не хватит мужества.

— Аннет, что ты сделала?

— То, что велел мне долг. Я опустила его в ручей и держала под водой, пока он не умер...

Ганс дико вскрикнул — это был крик смертельно раненого зверя. Он закрыл лицо обеими руками и, шатаясь, как пьяный, кинулся вон из дома. Аннет рухнула в кресло и, опустив голову на сжатые кулаки, страстно, неистово зарыдала.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Новеллы У. С. Моэма располагаются в этом томе Собрания сочинений в хронологической последовательности первопубликаций.

«Макинтош». Впервые — в журнале «Космополитен», ноябрь 1920 г.; включена в сборник «Трепет листа» (1921), как и две следующие новеллы. Настоящий перевод опубликован в кн.: Моэм У. С. Избранные произведения. В 2-х томах, т. 2. М., «Радуга», 1985 (далее — Избр., т. 2); текст печатается по этому изданию.

«Дождь». Едва ли не самая знаменитая новелла писателя, включавшаяся во многие антологии английской и мировой новеллы, вышедшие в разных странах; неоднократно экранизировалась. Впервые под названием «Мисс Томпсон» — в журнале «Зе смолсет», апрель 1921 г. Переводы на русский язык: Могам В. С. Король острова Талуа: Полинезийские рассказы / Пер. Иды Хвас. М. — Л., «Земля и фабрика», 1926 (под названием «Сэди Томпсон»); Могам В. С. Правитель острова Талуа: Рассказы об островах Тихого океана / Пер. А. Рябинского. М. — Л., Гос. изд-во, 1927 (под названием «Ливень»); настоящий перевод — в кн.: Английская новелла. Л., Лениздат, 1961; текст печатается по кн.: Избр., т. 2.

«Рыжий». Впервые — в журнале «Эйша», апрель 1921 г. Настоящий перевод опубликован в кн.: Моэм У. С. Дождь: Рассказы. М., Изд-во иностр. лит., 1961 (далее — «Дождь», 61); текст печатается по этому изданию.

«Мэйхью». Впервые — в журнале «Космополитен», декабрь 1923 г.; включена в сборник «Космополиты: Очень короткие рассказы» (1936). Настоящий перевод опубликован в журнале «Иностранная литература», 1971, № 2; текст печатается по кн.: Избр., т. 2.

«Ровно дюжина». Впервые — в журнале «Гуд хаускипинг», март 1924 г.; включена в сборник «Шесть рассказов от первого лица» (1931). Переводы на русский язык: «Для ровного счета», пер. Б. Бобкова.— «Литературная Россия» от 18.01.1985; настоящий перевод опубликован в кн.: Избр., т. 2; текст печатается по этому изданию.

«Записка». Впервые — в журнале «Интернэшнл мэгазин», апрель 1924 г.; включена в сборник «Казуарина» (1926). Настоящий перевод опубликован в кн.: «Дождь», 61; текст печатается по кн.: Избр., т. 2.

«Сальваторе». Впервые под названием «Рыбак Сальваторе» — в журнале «Космополитен», июль 1924 г.; включена в сборник «Космополиты». Настоящий перевод опубликован в кн.: «Дождь», 61; текст печатается по этому изданию.

«На окраине империи». Впервые — в журнале «Интернэшнл мэгазин», август 1924 г.; включена в сборник «Казуарина». Настоящий перевод опубликован в кн.: «Дождь», 61; текст печатается по кн.: Избр., т. 2.

«Возвращение». Впервые под названием «Возвращение из плавания» — в журнале «Космополитен», сентябрь 1924 г.; включена в сборник «Космополиты», как и следующие четыре новеллы. Переводы на русский язык: «Дома», пер. А. Шарова.— «Литературная Россия» от 23.07.1982; настоящий перевод опубликован в кн.: Избр., т. 2; текст печатается по этому изданию.

«Стрекоза и муравей». Впервые — в журнале «Космополитен», октябрь 1924 г.; включена в сборник «Космополиты». Переводы на русский язык: «Муравей и кузнечик», пер. И. Вилькомир.— «Неделя», 1966, № 30; «Стрекоза и муравей», пер. А. Шарова.— «Литературная Россия» от 11.03.1983; настоящий перевод публикуется впервые.

«Мистер Всезнаяка». Впервые — в журнале «Космополитен», январь 1925 г. Настоящий перевод опубликован в кн.: «Дождь», 61; текст печатается по этому изданию.

«Человек со шрамом». Впервые — в журнале «Интернэшнл мэгазин», октябрь 1925 г. Настоящий перевод опубликован в журнале «Иностранная литература», 1971, № 2; текст печатается по кн.: Моэм В. С. Рассказы. М., «Правда», 1979.

«Поэт». Впервые под названием «Великий человек» — в журнале «Интернэшнл мэгазин», ноябрь 1925 г. Переводы на русский язык: «Поэт», пер. Р. Красильщикова.— «Звезда», 1965, № 1; настоящий перевод опубликован в кн.: Избр., т. 2; текст печатается по этому изданию.

«Безволосый Мексиканец». Впервые — в журнале «Интернэшнл мэгазин», декабрь 1927 г.; включена в сборник «Эшенден, или Британский агент» (1928), как и следующая новелла.

Переводы на русский язык: Мога м В. С. Безволосый Мексиканец, пер. Е. Коган. М., «Огонек», 1929; Моге м С. В. Безволосый Мексиканец, пер. П. Охрименко и В. Юлант.—«Вокруг света», 1939, № 4—5; настоящий перевод опубликован в кн.: Избр., т. 2; текст печатается по этому изданию.

«Белье мистера Харрингтона». Впервые—в журнале «Интернэшнл мэгазин», март 1928 г. При подготовке собрания своих рассказов писатель объединил эту новеллу с двумя другими на «русскую» тему из сборника «Эшенден»—«Случайное знакомство» и «Любовь и русская литература», назвав получившуюся большую новеллу «Белье мистера Харрингтона»; перевод последней публикуется впервые.

«Брак по расчету». Впервые—в журнале «Иллюстрейтед ландн ньюс» от 23.06.1928; включена в очерковую книгу «Джентльмен в гостинной» (1930). Настоящий перевод опубликован в газете «Литературная Россия» от 02.08.1974; текст печатается по этому изданию с небольшими изменениями.

«Чувство приличия». Впервые под названием «Выдающийся пол»—в журнале «Интернэшнл мэгазин», март 1929 г.; включена в сборник «Космополиты». Переводы на русский язык: «Общественное мнение», пер. А. Стерниной.—В кн.: Моэм У. С. Ожерелье. М., «Правда», 1969; настоящий перевод опубликован в кн.: Избр., т. 2; текст печатается по этому изданию.

«Нищ и й». Впервые под названием «Отверженный»—в журнале «Интернэшнл мэгазин», апрель 1929 г.; включена в сборник «Космополиты». Настоящий перевод опубликован в кн.: «Дождь», б1; текст печатается по этому изданию.

«Нечто человеческое». Впервые—в журнале «Интернэшнл мэгазин», декабрь 1930 г.; включена в сборник «Шесть рассказов от первого лица». Настоящий перевод опубликован в кн.: Избр., т. 2; текст печатается по этому изданию.

«Край света». Впервые под названием «Правильный поступок—это добрый поступок»—в журнале «Интернэшнл мэгазин», июль 1931 г.; включена в сборник «А Кинг» (1933). Настоящий перевод публикуется впервые.

«Сумка с книгами». Новелла была отклонена журналом «Космополитен» по причине «безнравственной» темы и впервые опубликована в составе одноименного сборника (1932). Настоящий перевод публикуется впервые.

«Жиголо и Жиголетта». Впервые—в журнале «Нэшиз мэгазин», март 1935 г.; включена в сборник «Все та же смесь» (1940), как и две следующие новеллы. Настоящий перевод опубликован в кн.: «Дождь», б1; текст печатается по этому изданию.

«Вкусивший ирваны». Впервые—в журнале «Нэшиз мэгазин», октябрь 1935 г. Настоящий перевод публикуется впервые.

«В львиной шкуре». Впервые — в журнале «Интернэшнл мэгазин», ноябрь 1937 г. Настоящий перевод опубликован в кн.: Избр., т. 2; текст печатается по этому изданию.

«Санаторий». Впервые — в журнале «Интернэшнл мэгазин», декабрь 1938 г.; включена в сборник «Игрушки судьбы» (1947), как и следующая новелла. Настоящий перевод опубликован в кн.: «Дождь», 61; текст печатается по кн.: Избр., т. 2.

«Непокоренная». Впервые — в журнале «Коллиерс мэгазин» от 10.04.1943; вышла отдельным изданием в США в 1944 г. Настоящий перевод опубликован в кн.: «Дождь», 61; текст печатается по кн.: Избр., т. 2.

*В. Скороденко*

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Макинтош. Перевод И. Бернштейн .....	5
Дождь. Перевод И. Гуровой .....	36
Рыжий. Перевод Е. Бучацкой .....	75
Мэйхью. Перевод В. Ашкенази .....	96
Ровно дюжина. Перевод М. Лорие .....	100
Записка. Перевод В. Маяцк .....	125
Сальваторе. Перевод Н. Чернявской .....	156
На окраине империи. Перевод Н. Галь .....	161
Возвращение. Перевод Н. Чернявской .....	191
Стрскоза и муравей. Перевод И. Гуровой .....	196
Мистер Всезнайка. Перевод Н. Ромм .....	200
Человек со шрамом. Перевод В. Ашкенази .....	206
Поэт. Перевод Н. Галь .....	210
Безволосый Мексиканец. Перевод И. Бернштейн .....	215
Белье мистера Харрингтона. Перевод И. Гуровой .....	250
Брак по расчету. Перевод М. Загот .....	286
Чувство приличия. Перевод Н. Галь .....	301
Нищий. Перевод В. Артемова .....	309
Нечто человеческое. Перевод Н. Галь .....	317
Край света. Перевод Р. Облонской .....	351
Сумка с книгами. Перевод Н. Куляевой .....	381
Жиголо и Жиголетта. Перевод И. Бернштейн .....	417
Вкусивший nirваны. Перевод И. Гуровой .....	435
В львиной шкуре. Перевод Д. Вознякевича .....	450
Санаторий. Перевод В. Хижиса .....	472
Непокоренная. Перевод Н. Дехтеревой .....	495
Библиографическая справка В. Скороденко .....	523



## **Мозэм У.-С.**

М 87 Собрание сочинений. В 5 т. Т. 4. Рассказы. Пер. с англ./Редкол.: Н. Демурова и др.; Сост. и библиограф. справка В. Скороденко.— М.: Худож. лит., 1997. — 527 с.  
ISBN 5-280-03207-7 (Т. 4)

В четвертый том Собрания сочинений Уильяма Сомерсета Мозэма вошли рассказы из различных сборников.

**ББК 84(4Вл)**

### *Уильям Сомерсет Мозэм*

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Том четвертый

Редакторы *Н. Будаев, С. Митюшина*

Художественный редактор *Л. Калитовская*

Технический редактор *Л. Свищкина*

Корректоры *О. Иванова, И. Шевлякова*

Изд. лиц. № 010153 от 14.02.97.

Подписано к печати с готовых диапозитивов 27.02.97. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага типогр. Гарнитура «Баскервиль». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 27,72. Уч.-изд. л. 31,07. Тираж 10 000 экз. Заказ № 1828. «С»—101

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Отпечатано в ИПП «Правда Севера».  
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32